

В.Г.Короленко

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Классики
и
современники



В.Г. Короленко

ПОВЕСТИ
И РАССКАЗЫ



Москва
«Художественная литература»
1986

*Русская
классическая
литература*



Текст печатается по изданию:

Короленко В. Г. Собрание сочинений в десяти томах,
т. 1—4. М., Художественная литература, 1953-1954.

Художник

Л. Хайлов

СОН МАКАРА

Святочный рассказ

I

Этот сон видел бедный Макар, который загнал своих телят в далекие, угрюмые страны,— тот самый Макар, на которого, как известно, валятся все шишки.

Его родина — глухая слободка Чалган — затерялась в далекой якутской тайге. Отцы и деды Макара отвоевали у тайги кусок промерзшей землицы, и, хотя угрюмая чаща все еще стояла кругом враждебною стеной, они не унывали. По расчищенному месту побежали изгороди, стали скирды и стога, разрастались маленькие дымные юртенки; наконец, точно победное знамя, на холмике из середины поселка выстрелила к небу колокольня. Стал Чалган большою слободой.

Но пока отцы и деды Макара воевали с тайгой, жгли ее огнем, рубили железом, сами они незаметно дичали. Женись на якутках, они перенимали якутский язык и якутские нравы. Характеристические черты великого русского племени стирались и исчезали.

Как бы то ни было, все же мой Макар твердо помнил, что он коренной чалганский крестьянин. Он здесь родился, здесь жил, здесь же предполагал умереть. Он очень гордился своим званием и иногда ругал других «погаными якутами», хотя, правду сказать, сам не отличался от якутов ни привычками, ни образом жизни. По-русски он говорил мало и довольно плохо, одевался в звериные шкуры, носил на ногах торбасá¹, питался в

¹ Торбаса — мягкие оленьи сапоги, мехом наружу.

обычное время одною лепешкой с настоем кирпичного чая, а в праздники и в других экстренных случаях съедал топленого масла именно столько, сколько стояло перед ним на столе. Он ездил очень искусно верхом на быках, а в случае болезни призывал шамана, который, беснуясь, со скрежетом кидался на него, стараясь испугать и выгнать из Макара засевшую хворь.

Работал он страшно, жил бедно, терпел голод и холод. Были ли у него какие-нибудь мысли, кроме непрестанных забот о лепешке и чае?

Да, были.

Когда он бывал пьян, он плакал. «Какая наша жизнь,— говорил он,— господи боже!» Кроме того, он говорил иногда, что желал бы все бросить и уйти на «гору». Там он не будет ни пахать, ни сеять, не будет рубить и возить дрова, не будет даже молотить зерно на ручном жернове. Он будет только спасаться. Какая это гора, где она, он точно не знал; знал только, что гора эта есть, во-первых, а во-вторых, что она где-то далеко,— так далеко, что оттуда его нельзя будет добыть самому тойону-исправнику... Податей платить, понятно, он также не будет...

Трезвый он оставлял эти мысли, быть может сознавая невозможность найти такую чудную гору; но пьяный становился отважнее. Он допускал, что может не найти настоящую гору и попасть на другую. «Тогда пропадать буду»,— говорил он, но все-таки собирался; если же не приводил этого намерения в исполнение, то, вероятно, потому, что поселенцы-татары продавали ему всегда скверную водку, настоянную, для крепости, на махорке, от которой он вскоре впадал в бессилие и становился болен.

II

Дело было в канун рождества, и Макару было известно, что завтра большой праздник. По этому случаю его томило желание выпить, но выпить было не на что: хлеб был в исходе; Макар уже задолжал у местных купцов и у татар. Между тем завтра большой праздник, работать нельзя,— что же он будет делать, если не напьемся? Та мысль делала его несчастным. Какая его жизнь! Даже в большой зимний праздник он не выпьет одну бутылку водки!

Ему пришла в голову счастливая мысль. Он встал и надел свою рваную *сону* (шубу). Его жена, крепкая, жилистая, замечательно сильная и столь же замечательно безобразная женщина, знавшая насквозь все его нехитрые помышления, угадала и на этот раз его намерение.

— Куда, дьявол? Опять один водку кушать хочешь?

— Молчи! Куплю одну бутылку. Завтра вместе выпьем.— Он хлопнул ее по плечу так сильно, что она покачнулась, и лукаво подмигнул. Таково женское сердце: она знала, что Макар непременно ее надует, но поддалась обаянию супружеской ласки.

Он вышел, поймал в *аласе*¹ старого лысанку, привел его за гриву к саням и стал запрягать. Вскоре лысанка вынес своего хозяина за ворота. Тут он остановился и, повернув голову, вопросительно поглядел на погруженного в задумчивость Макара. Тогда Макар дернул левую вожжой и направил коня на край слободы.

На самом краю слободы стояла небольшая юртенка. Из нее, как и из других юрт, поднимался высоко-высоко дым камелька, застилая белую, волнующуюся массу холодных звезд и яркий месяц. Огонь весело переливался, отсвечивая сквозь матовые льдины. На дворе было тихо.

Здесь жили чужие, дальние люди. Как попали они сюда, какая непогода кинула их в далекие дебри, Макар не знал и не интересовался, но он любил вести с ними дела, так как они его не прижимали и не очень стояли за плату.

Войдя в юрту, Макар тотчас же подошел к камельку и протянул к огню свои иззябшие руки.

— Ча! — сказал он, выражая тем ощущение холода.

Чужие люди были дома. На столе горела свеча, хотя они ничего не работали. Один лежал на постели и, пуская кольца дыма, задумчиво следил за его завитками, видимо, связывая с ними длинные нити собственных дум. Другой сидел против камелька и тоже вдумчиво следил, как перебегали огни по нагоревшему дереву.

— Здорóво! — сказал Макар, чтобы прервать тяготившее его молчание.

Конечно, он не знал, какое горе лежало на сердце чужих людей, какие воспоминания теснились в их голо-

¹ А л а с а — прогалина, лужайка в лесу.

вах в этот вечер, какие образы чудились им в фантастических переливах огня и дыма. К тому же у него была своя забота.

Молодой человек, сидевший у камелька, поднял голову и посмотрел на Макара смутным взглядом, как будто не узнавая его. Потом он тряхнул головой и быстро поднялся со стула.

— А, здорово, здорово, Макар! Вот и отлично! Напьемся с нами чаю?

Макару предложение понравилось.

— Чаю? — переспросил он. — Это хорошо!.. Вот, брат, хорошо... Отлично!

Он стал живо разоблачаться. Сняв шубу и шапку, он почувствовал себя развязнее, а увидав, что в самоваре запылали уже горячие угли, обратился к молодому человеку с излиянием:

— Я вас люблю, верно!.. Так люблю, так люблю... Ночи не сплю...

Чужой человек повернулся, и на лице его появилась горькая улыбка.

— А, любишь? — сказал он. — Что же тебе надо?

Макар замялся.

— Есть дело, — ответил он. — Да ты почему узнал?.. Ладно. Ужо чай выпью, скажу.

Так как чай был предложен Макару самими хозяевами, то он счел уместным пойти далее.

— Нет ли жареного? Я люблю, — сказал он.

— Нет.

— Ну, ничего, — сказал Макар успокоительным тоном, — съем в другой раз... Верно? — переспросил он, — в другой раз?

— Ладно.

Теперь Макар считал за чужими людьми в долгу кусок жареного мяса, а у него подобные долги никогда не пропадали.

Через час он опять сел в свои дровни. Он добыл целый рубль, продав вперед пять возов дров на сходных сравнительно условиях. Правда, он клялся и божился, что не пропьет этих денег сегодня, а сам намеревался это сделать немедленно. Но что за дело? Предстоящее удовольствие заглушало укоры совести. Он не думал даже о том, что пьяному ему предстоит жестокая трепка от обманутой верной супруги.

— Куда же ты, Макар? — крикнул, смеясь, чужой человек, видя, что лошадь Макара, вместо того чтобы

ехать прямо, свернула влево, по направлению к татарам.

— Тиру-у!.. Тиру-у!.. Видишь, конь проклятый какой... куда едет! — оправдывался Макар, все-таки крепко натягивая левую вожжу и незаметно подхлестывая лысанку правой.

Умный конек, помахивая укоризненно хвостом, тихо поковылял в требуемом направлении, и вскоре скрип Макаровых полозьев затих у татарских ворот.

III

У татарских ворот стояли на привязи несколько коней с высокими якутскими седлами.

В тесной избе было душно. Резкий дым махорки стоял целой тучей, медленно вытягиваемый камельком. За столами и на скамейках сидели приезжие якуты; на столах стояли чашки с водкой; кое-где помещались кучки играющих в карты. Лица были потные и красные. Глаза игроков дико следили за картами. Деньги вынимались и тотчас же прятались по карманам. В углу, на соломе, пьяный якут покачивался сидя и тянул бесконечную песню. Он выводил горлом дикие скрипучие звуки, повторяя на разные лады, что завтра большой праздник, а сегодня он пьян.

Макар отдал деньги, и ему дали бутылку. Он сунул ее за пазуху и незаметно для других отошел в темный угол. Там он наливал чашку за чашкой и тянул их одна за другой. Водка была горькая, разведенная, по случаю праздника, водой более чем на три четверти. Зато махорки, видимо, не жалели. У Макара каждый раз захватывало на минуту дыхание, а в глазах ходили какие-то багровые круги.

Вскоре он опьянел. Он тоже опустился на солому и, обхватив руками колени, положил на них отяжелевшую голову. Из его горла сами собой полились те же нелепые скрипучие звуки. Он пел, что завтра праздник и что он вынул пять возов дров.

Между тем в избе становилось все теснее и теснее. Входили новые посетители — якуты, приехавшие молиться и пить татарскую водку. Хозяин увидел, что скоро не хватит всем места. Он встал из-за стола и окинул взглядом собрание. Взгляд этот проник в темный угол и увидел там якута и Макара.

Он подошел к якуту и, взяв его за шиворот, вышвыр-

пул вон из избы. Потом подошел к Макару. Ему, как местному жителю, татарин оказал больше почета: широко отворив двери, он поддал бедняге сзади ногою такого леща, что Макар вылетел из избы и ткнулся носом прямо в сугроб снега.

Трудно сказать, был ли он оскорблен подобным обращением. Он чувствовал, что в рукавах у него снег, снег на лице. Кое-как выбравшись из сугроба, он полпелся к своему лысанке.

Луна поднялась уже высоко. Большая Медведица стала опускаться хвост книзу. Мороз крепчал. По временам на севере, из-за темного полукруглого облака, вставали, слабо играя, огненные столбы начинавшегося северного сияния.

Лысанка, видимо понимавший положение хозяина, осторожно и разумно поплелся к дому. Макар сидел на дровнях, покачиваясь, и продолжал свою песню. Он пел, что выпил пять возов дров и что старуха будет его колотить. Звуки, вырывавшиеся из его горла, скрипели и стонали в вечернем воздухе так уныло и жалобно, что у чужого человека, который в это время взобрался на юрту, чтобы закрыть трубу камелька, стало от Макаровой песни еще тяжелее на сердце. Между тем лысанка вынес дровни на холмик, откуда видны были окрестности. Снега ярко блестели, облитые лунным сиянием. Временами свет луны как будто таял, снега темнели, и тотчас же на них переливался отблеск северного сияния. Тогда казалось, что снежные холмы и тайга на них то приближались, то опять удалялись. Макару ясно виднелась под самою тайгой снежная плешь Ямалахского холмика, за которым в тайге у него поставлены были ловушки для всякого лесного зверя и птицы.

Это изменило ход его мыслей. Он запел, что в ловушку его попала лисица. Он продаст завтра шкуру, и старуха не станет его колотить.

В морозном воздухе раздался первый удар колокола, когда Макар вошел в избу. Он первым словом сообщил старухе, что у них в плашку попала лисица. Он совсем забыл, что старуха не пила вместе с ним водки, и был сильно удивлен, когда, невзирая на радостное известие, она немедленно нанесла ему ногою жестокий удар пониже спины. Затем, пока он повадился на постель, она еще успела толкнуть его кулаком в шею.

Над Чалганом, между тем, неся, разливаясь далеко-далеко, торжественный праздничный звон...

Он лежал на постели. Голова у него горела. Внутри жгло, точно огнем. По жилам разливалась крепкая смесь водки и табачного настоя. По лицу текли холодные струйки талого снега; такие же струйки стекали и по спине.

Старуха думала, что он спит. Но он не спал. Из головы у него не шла лисица. Он успел вполне убедиться, что она попала в ловушку; он даже знал, в которую именно. Он ее видел, — видел, как она, прищемленная тяжелой плахой, роет снег когтями и старается вырваться. Лучи луны, продираясь сквозь чащу, играли на золотой шерсти. Глаза зверя сверкали ему навстречу.

Он не выдержал и, встав с постели, направился к своему верному лысанке, чтобы ехать в тайгу.

Что это? Неужели сильные руки старухи схватили за воротник его соны и он опять брошен на постель?

Нет, вот он уже за слободою. Полозья ровно поскрипывают по крепкому снегу. Чалган остался сзади. Сзади несется торжественный гул церковного колокола, а над темною чертой горизонта, на светлом небе мелькают черными силуэтами вереницы якутских всадников, в высоких, остроконечных шапках. Якуты спешат в церковь.

Между тем луна опустилась, а вверху, в самом зените, стало белесоватое облачко и засияло переливчатым фосфорическим блеском. Потом оно как будто разорвалось, растянулось, прыснуло, и от него быстро потянулись в разные стороны полосы разноцветных огней, между тем как полукруглое темное облачко на севере еще более потемнело. Оно стало черно, чернее тайги, к которой приближался Макар.

Дорога вилась между мелкою, частою порослью. Направо и налево подымались холмы. Чем далее, тем выше становились деревья. Тайга густела. Она стояла безмолвная и полная тайны. Голые деревья лиственниц были опушены серебряным инеем. Мягкий свет сполоха, продираясь сквозь их вершины, ходил по ней, кое-где открывая то снежную полянку, то лежащие трупы разбитых лесных гигантов, запущенных снегом... Мгновение — и все опять тонуло во мраке, полном молчания и тайны.

Макар остановился. В этом месте, почти на самую дорогу, выдвигалось начало целой системы ловушек.

При фосфорическом свете ему была ясно видна невысокая городьба из валежника; он видел даже первую плаху — три тяжелые длинные бревна, упертые на отвесном колу и поддерживаемые довольно хитрою системой рычагов с волосяными веревочками.

Правда, это были чужие ловушки; но ведь лисица могла попасть и в чужие. Макар торопливо сошел с дровней, оставил умного лысанку на дороге и чутко прислушался.

В тайге ни звука. Только из далекой, невидной теперь слободы неся по-прежнему торжественный звон.

Можно было не опасаться. Владелец ловушек, Алешка-чалганец, сосед и кровный враг Макара, наверное, был теперь в церкви. Не было видно ни одного следа на ровной поверхности недавно выпавшего снега.

Он пустился в чащу, — ничего. Под ногами хрустит снег. Плахи стоят рядами, точно ряды пушек с открытыми жерлами, в безмолвном ожидании.

Он прошел взад и вперед, — напрасно. Он направился опять на дорогу.

Но, чу!.. Легкий шорох... В тайге мелькнула красноватая шерсть, на этот раз в освещенном месте, так близко!.. Макар ясно видел острые уши лисицы; ее пушистый хвост вилял из стороны в сторону, как будто заманивая Макара в чащу. Она исчезла между стволами, в направлении Макаровых ловушек, и вскоре по лесу пронесся глухой, но сильный удар. Он прозвучал сначала отрывисто, глухо, потом как будто отдался под навесом тайги и тихо замер в далеком овраге.

Сердце Макара забилося. Это упала плаха.

Он бросился, пробираясь сквозь чащу. Холодные ветви били его по глазам, сыпали в лицо снегом. Он спотыкался; у него захватывало дыхание.

Вот он выбежал на просеку, которую некогда сам прорубил. Деревья, белые от инея, стояли по обеим сторонам, а внизу, суживаясь, маячила дорожка, и в конце ее насторожилось жерло большой плахи... Недалеко...

Но вот на дорожке, около плахи, мелькнула фигура, — мелькнула и скрылась. Макар узнал чалганца Алешку: ему ясно была видна его небольшая коренастая фигура, согнутая вперед, с походкой медведя. Макару казалось, что темное лицо Алешки стало еще темнее, а большие зубы оскалились еще более, чем обыкновенно.

Макар чувствовал искреннее негодование. «Вот под-

лец!.. Он ходит по моим ловушкам». Правда, Макар и сам сейчас только прошел по плахам Алешки, но тут была разница... Разница состояла именно в том, что, когда он сам ходил по чужим ловушкам, он чувствовал страх быть застигнутым; когда же по его плахам ходили другие, он чувствовал негодование и желание самому настичь нарушителя его прав.

Он бросился наперерез к упавшей плахе. Там была лисица. Алешка своею развалистою, медвежьей походкой направлялся туда же. Надо было поспевать ранее.

Вот и лежачая плаха. Под нею краснеет шерсть прихлопнутого зверя. Лисица рылась в снегу когтями именно так, как она ему виделась прежде, и так же смотрела ему навстречу своими острыми, горящими глазами.

— *Тыгыма́* (не тронь)!.. Это мое! — крикнул Макар Алешке.

— *Тыгыма́!* — отдался, точно эхо, голос Алешки. — Мое!

Они оба побежали в одно время и торопливо, наперебой, стали подымать плаху, освобождая из-под нее зверя. Когда плаха была приподнята, лисица поднялась также. Она сделала прыжок, потом остановилась, посмотрела на обоих чалганцев каким-то насмешливым взглядом, потом, загнув морду, лизнула прищемленное бревном место и весело побежала вперед, приветливо виляя хвостом.

Алешка бросился было за нею, но Макар схватил его сзади за полу соны.

— *Тыгыма́!* — крикнул он. — Это мое! — и сам побежал вслед за лисицей.

— *Тыгыма́!* — опять эхом отдался голос Алешки, и Макар почувствовал, что тот схватил его, в свою очередь, за сону и в одну секунду опять выбежал вперед.

Макар обозлился. Он забыл про лисицу и устремился за Алешкой.

Они бежали все быстрее. Ветка лиственницы сдернула шапку с головы Алешки, но тому некогда было подымать ее: Макар уже настигал его с яростным криком. Но Алешка всегда был хитрее бедного Макара. Он вдруг остановился, повернулся и нагнул голову. Макар ударился в нее животом и кувыркнулся в снег. Пока он падал, проклятый Алешка схватил с головы Макара шапку и скрылся в тайге.

Макар медленно поднялся. Он чувствовал себя окончательно побитым и несчастным. Нравственное состоя-

ние было отвратительно. Лисица была в руках, а теперь... Ему казалось, что в потемневшей чаще она насмешливо вильнула еще раз хвостом и окончательно скрылась.

Потемнело. Белесоватое облачко чуть-чуть виднелось в зените. Оно как будто тихо таяло, и от него, как-то устало и томно, лились еще замиравшие лучи сияния.

По разгоряченному телу Макара бежали целые потоки острых струек талого снега. Снег попал ему в рукава, за воротник соны, стекал по спине, лился за торбаса. Проклятый Алешка унес с собой его шапку. Рукавицы он потерял где-то на бегу. Дело было плохо. Макар знал, что лютый мороз не шутит с людьми, которые уходят в тайгу без рукавиц и без шапки.

Он шел уже долго. По его расчетам, он давно должен бы уже выйти из Ямалаха и увидеть колокольню, но он все кружил по тайге. Чаща, точно заколдованная, держала его в своих объятиях. Издали доносился все тот же торжественный звон. Макару казалось, что он идет на него, но звон все удалялся, и, по мере того как его переливы доносились все тише и тише, в сердце Макара вступало тупое отчаяние.

Он устал. Он был подавлен. Ноги подкашивались. Его избитое тело ныло тупою болью. Дыхание в груди захватывало. Руки и ноги коченели. Обнаженную голову стягивало точно раскаленными обручами.

«Пропадать буду, однако!» — все чаще и чаще мелькало у него в голове. Но он все шел.

Тайга молчала. Она только смыкалась за ним с каким-то враждебным упорством и нигде не давала ни просвета, ни надежды.

«Пропадать буду, однако!» — все думал Макар.

Он совсем ослаб. Теперь молодые деревья прямо, без всяких стеснений, били его по лицу, издеваясь над его беспомощным положением. В одном месте на прогалину выбежал белый ушкán (заяц), сел на задние лапки, повел длинными ушами с черными отметинками на концах и стал умываться, делая Макару самые дерзкие рожи. Он давал ему понять, что он отлично знает его, Макара, — знает, что он и есть тот самый Макар, который настроил в тайге хитрые машины для его, зайца, гибели. Но теперь он над ним издевался.

Макару стало горько. Между тем тайга все оживлялась, но оживлялась враждебно. Теперь даже дальние деревья протягивали длинные ветви на его дорожку и

хватали его за волосы, били по глазам, по лицу. Тетерева выходили из тайных логовищ и уставлялись в него любопытными круглыми глазами, а косачи бегали между ними, с распущенными хвостами и сердито оттопыренными крыльями, и громко рассказывали самкам про него, Макара, и про его козни. Наконец в дальних чащах замелькали тысячи лисьих морд. Они тянули воздух и насмешливо смотрели на Макара, поводя острыми ушами. А зайцы становились перед ним на задние лапки и хохотали, докладывая, что Макар заблудился и не выйдет из тайги.

Это было уже слишком.

«Пропадать буду!» — подумал Макар и решил сделать это немедленно.

Он лег в снег.

Мороз крепчал. Последние переливы сияния слабо мерцали и тянулись по небу, заглядывая к Макару сквозь вершины тайги. Последние отголоски колокола доносились с далекого Чалгана.

Сияние полыхнуло и погасло. Звон стих.

И Макар умер.

V

Как это случилось, он не заметил. Он знал, что из него должно что-то выйти, и ждал, что вот-вот оно выйдет... Но ничего не выходило.

Между тем он сознавал, что уже умер, и потому лежал смирно, без движения. Лежал он долго, — так долго, что ему надоело.

Было совершенно темно, когда Макар почувствовал, что его кто-то толкнул ногою. Он повернул голову и открыл сомкнутые глаза.

Теперь лиственницы стояли над ним смиренные, тихие, точно стыдясь прежних проказ. Мохнатые ели вытягивали свои широкие, покрытые снегом, лапы и тихо-тихо качались. В воздухе так же тихо садились лучистые снежинки.

Яркие добрые звезды заглядывали с синего неба сквозь частые ветви и как будто говорили: «Вот, видите, бедный человек умер».

Над самым телом Макара, толкая его ногою, стоял старый попик Иван. Его длинная ряса была покрыта снегом; снег виднелся на меховом *бергесе* (шапке), на

плечах, в длинной бороде попа Ивана. Всего удивительнее было то обстоятельство, что это был тот самый попик Иван, который умер назад тому четыре года.

Это был добрый попик. Он никогда не притеснял Макара насчет руги¹, никогда не требовал даже денег за требы. Макар сам назначал ему плату за крестины и молебны и теперь со стыдом вспомнил, что иногда платил маловато, а порой не платил вовсе. Поп Иван и не обижался; ему требовалось одно: всякий раз надо было поставить бутылку водки. Если у Макара не было денег, поп Иван сам посылал за бутылкой, и они пили вместе. Попик напивался непременно до положения риз, но при этом дрался очень редко и не сильно. Макар доставлял его, беспомощного и беззащитного, домой на попечение матушки-попады.

Да, это был добрый попик, но умер он пехорошею смертью. Однажды, когда все вышли из дому и пьяный попик остался один лежать на постели, ему вздумалось покурить. Он встал и, шатаясь, подошел к огромному, жарко натопленному камельку, чтобы закурить у огня трубку. Он был слишком уж пьян, покачнулся и упал в огонь. Когда пришли домочадцы, от попа остались лишь ноги.

Все жалели доброго попа Ивана; но так как от него остались одни только ноги, то вылечить его не мог уже ни один доктор в мире. Ноги похоронили, а на место попа Ивана назначили другого.

Теперь этот попик, в целом виде, стоял над Макаром и поталкивал его ногою.

— Вставай, Макарушко, — говорил он. — Пойдем-ка.

— Куда я пойду? — спросил Макар с неудовольствием.

Он полагал, что раз он «пропал», его обязанность — лежать спокойно и ему нет надобности идти опять по тайге, бродя без дороги. Иначе зачем было ему пропадать?

— Пойдем к большому Тойону².

— Зачем я пойду к нему? — спросил Макар.

— Он будет тебя судить, — сказал попик скорбным и несколько умиленным голосом.

¹ Руга — содержание попу от прихожан, выплачиваемое деньгами и продуктами.

² Тойон — господин, хозяин, начальник. (Примеч. В. Г. Короленко.)

Макар вспомнил, что действительно после смерти падо идти куда-то на суд. Он это слышал когда-то в церкви. Значит, попик был прав. Приходилось подняться.

И Макар поднялся, ворча про себя, что даже после смерти не дают человеку покоя.

Попик шел впереди, Макар за ним. Шли они все прямо. Лиственницы смиренно сторонились, давая дорогу. Шли на восток.

Макар с удивлением заметил, что после попа Ивана не остается следов на снегу. Взглянув себе под ноги, он также не увидел следов: снег был чист и гладок, как скатерть.

Он подумал, что теперь ему очень удобно ходить по чужим ловушкам, так как никто об этом не может узнать; но попик, угадавший, очевидно, его сокровенную мысль, повернулся к нему и сказал:

— *Кабысь* (брось, оставь)! Ты не знаешь, что тебе достанется за каждую подобную мысль.

— Ну, ну! — ответил недовольно Макар. — Уж нельзя и подумать! Что ты нынче такой стал строгий? Молчи ужó!..

Попик покачал головой и пошел дальше.

— Далеко ли идти? — спросил Макар.

— Далеко, — ответил попик сокрушенно.

— А чего будем есть? — спросил опять Макар с беспокойством.

— Ты забыл, — ответил попик, повернувшись к нему, — что ты умер и что теперь тебе не надо ни есть, ни пить.

Макару это не очень понравилось. Конечно, это хорошо в том случае, когда нечего есть, но тогда уж надо бы лежать так, как он лежал тотчас после своей смерти. А идти, да еще идти далеко, и не есть ничего, это казалось ему ни с чем не сообразным. Он опять заворчал.

— Не ропщи! — сказал попик.

— Ладно! — ответил Макар обиженным тоном, но сам продолжал жаловаться про себя и ворчать на дурные порядки: «Человека заставляют ходить, а есть ему не надо! Где это слыхано?»

Он был недоволен все время, следуя за попом. А шли они, по-видимому, долго. Правда, Макар не видел еще рассвета, но, судя по пространству, ему казалось, что они шли уже целую неделю: так много они оставили за

собой падей и сопок¹, рек и озер, так много прошли они лесов и равнин. Когда Макар оглядывался, ему казалось, что темная тайга сама убегает от них назад, а высокие снежные горы точно таяли в сумраке ночи и быстро скрывались за горизонтом.

Они как будто поднимались все выше. Звезды становились все больше и ярче. Потом из-за гребня возвышенности, на которую они поднялись, показался краешек давно закатившейся луны. Она как будто торопилась уйти, но Макар с поником ее нагоняли. Наконец она вновь стала подниматься над горизонтом. Они пошли по ровному, сильно приподнятому месту.

Теперь стало светло — гораздо светлее, чем при начале ночи. Это происходило, конечно, оттого, что они были гораздо ближе к звездам. Звезды, величиною каждая с яблоко, так и сверкали, а луна, точно дно большой золотой бочки, сияла, как солнце, освещая равнину от края и до края.

На равнине совершенно явственно виднелась каждая снежинка. По ней пролегало множество дорог, и все они сходились к одному месту на востоке. По дорогам шли и ехали люди в разных одеждах и разного вида.

Вдруг Макар, внимательно всматривавшийся в одного всадника, свернул с дороги и побежал за ним.

— Постой, постой! — кричал поник, но Макар даже не слышал. Он узнал знакомого татарина, который шесть лет назад увел у него пегого коня, а пять лет назад скончался. Теперь татарин ехал на том же пегом коне. Конь так и взвизывался. Из-под копыт его летели целые тучи снежной пыли, сверкавшей разноцветными переливами звездных лучей. Макар удивился при виде этой бешеной скачки, как мог он, пеший, так легко догнать конного татарина. Впрочем, завидев Макара в нескольких шагах, татарин с большою готовностью остановился. Макар запальчиво напал на него.

— Пойдем к старосте, — кричал он, — это мой конь. Правое ухо у него разрезано... Смотри, какой ловкий!.. Едет на чужом копе, а хозяин идет пешком, точно нищий.

— Постой! — сказал на это татарин. — Не надо к старосте. Твой конь, говоришь?.. Ну, и бери его! Проклятая животина! Пятый год еду на ней, и все как буд-

¹ Падь — ущелье, овраг между горами; сопка — острокопечная гора. (Примеч. В. Г. Короленко.)

то ни с места... Пешие люди то и дело обгоняют меня; хорошему татарину даже стыдно.

И он занес ногу, чтобы сойти с седла, но в это время запыхавшийся попик подбежал к ним и схватил Макара за руку.

— Несчастный! — вскричал он. — Что ты делаешь? Разве не видишь, что татарин хочет тебя обмануть?

— Конечно, обманывает, — вскричал Макар, размахивая руками, — конь был хороший, настоящая хозяйская лошадь... Мне давали за нее сорок рублей еще по третьей траве... Не-ет, брат! Если ты испортил коня, я его зарежу на мясо, а ты заплатишь мне чистыми деньгами. Думаешь, что — татарин, так и нет на тебя управы?

Макар горячился и кричал нарочно, чтобы собрать вокруг себя побольше народу, так как он привык бояться татар. Но попик остановил его:

— Тише, тише, Макар! Ты все забываешь, что ты уже умер... Зачем тебе конь? Да притом, разве ты не видишь, что пешком ты подвигаешься гораздо быстрее татарина? Хочешь, чтоб тебе пришлось ехать целых тысячу лет?

Макар смекнул, почему татарин так охотно уступал ему лошадь.

«Хитрый народ!» — подумал он и обратился к татарину:

— Ладно уж! Поезжай на коне, а я, брат, сделаю на тебя прощение.

Татарин сердито нахлобучил шапку и хлестнул коня. Конь взвился, клубы снега посыпались из-под копыт, но пока Макар с попом не тронулись, татарин не уехал от них и пяди.

Он сердито плюнул и обратился к Макару:

— Послушай, *догб́р* (приятель), нет ли у тебя листочка махорки? Страшно хочется курить, а свой табак я выкурил уже четыре года назад.

— Собака тебе приятель, а не я! — сердито ответил Макар. — Видишь ты: украл коня и просит табаку! Пропадай ты совсем, мне и то не будет жалко.

И с этими словами Макар тронулся далее.

— А ведь напрасно ты не дал ему листок махорки, — сказал ему поп Иван. — За это на суде Тойон простил бы тебе не менее сотни грехов.

— Так что ж ты не сказал мне этого ранее? — огрызнулся Макар.

— Да уж теперь поздно учить тебя. Ты должен был узнать об этом от своих попов при жизни.

Макар осердился. От попов он не видал никакого толку: получают ругу, а не научили даже, когда надо дать татарину листок табаку, чтобы получить отпущение грехов. Шутка ли: сто грехов... и всего за один листочек!.. Это ведь чего-нибудь стбит!

— Постой,— сказал он.— Будет с нас одного листочка, а остальные четыре я отдам сейчас татарину. Это будет четыре сотни грехов.

— Оглянись,— сказал попик.

Макар оглянулся. Сзади расстилалась только белая пустынная равнина. Татарин мелькнул на одну секунду далекою точкой. Макару казалось, что он увидел, как белая пыль летит из-под копыт его пегашки, но через секунду и эта точка исчезла.

— Ну, ну,— сказал Макар.— Будет татарину и без табаку ладно. Видишь ты: испортил коня, проклятый!

— Нет,— сказал попик,— он не испортил твоего коня, но конь этот краденый. Разве ты не слышал от стариков, что на краденном коне далеко не уедешь?

Макар действительно слышал это от стариков, но так как во время своей жизни видел нередко, что татары уезжали на краденых конях до самого города, то, понятно, он старикам не давал веры. Теперь же он пришел к убеждению, что и старики говорят иногда правду.

И он стал обгонять на равнине множество всадников. Все они мчались так же быстро, как и первый. Кони летели, как птицы, всадники были в поту, а между тем Макар то и дело обгонял их и оставлял за собою.

Большую частью это были татары, но попадались и коренные чалганцы; некоторые из последних сидели на краденых быках и подгоняли их талинками.

Макар смотрел на татар враждебно и каждый раз ворчал, что этого им еще мало. Когда же он встречался с чалганцами, то останавливался и благодушно беседовал с ними: все-таки это были приятели, хоть и воры. Порой он даже выражал свое участие тем, что, подняв на дороге талинку, усердно подгонял сзади быков и коней; но лишь только сам он делал несколько шагов, как уже всадники оставались сзади чуть заметными точками.

Равнина казалась бесконечною. Они то и дело обгоняли всадников и пеших людей, а между тем вокруг все

казалось пусто. Между каждыми двумя путниками лежали как будто целые сотни или даже тысячи верст.

Между другими фигурами Макару попался незнакомый старик; он был, очевидно, чалганец; это было видно по лицу, по одежде, даже по походке, но Макар не мог припомнить, чтоб он когда-либо прежде его видел. На старике была рваная сона, большой ухастьй бергес, тоже рванный, кожаные старые штаны и рваные телячьи торбасá. Но, что хуже всего, — несмотря на свою старость, — он тащил на плечах еще более древнюю старуху, ноги которой волочились по земле. Старик трудно дышал, заплетался и тяжело налегал на палку, Макару стало его жалко. Он остановился. Старик остановился тоже.

- *Kancé* (говори)! — сказал Макар приветливо,
- Нет, — ответил старик,
- Что слышал?
- Ничего не слыхал,
- Что видел?
- Ничего не видал.

Макар помолчал немного и тогда уже счел возможным расспросить старика, кто он и откуда плетется.

Старик назвался. Давно уже, — сам он не знает, сколько лет назад, — он оставил Чалган и ушел на «гору» спасаться. Там он ничего не делал, ел только морошку и корни, не пахал, не сеял, не молот на жернове хлеба и не платил податей. Когда он умер, то пришел к Тойону на суд. Тойон спросил, кто он и что делал. Он рассказал, что ушел на «гору» и спасался. «Хорошо, — сказал Тойон, — а где же твоя старуха? Поди приведи сюда твою старуху». И он пошел за старухой, а старуха перед смертью побиралась, и ее некому было кормить, и у нее не было ни дома, ни коровы, ни хлеба. Она ослабела и не может волочить ног. И он теперь должен тащить к Тойону старуху на себе.

Старик заплакал, а старуха ударила его ногою, точно быка, и сказала слабым, но сердитым голосом:

— Неси!

Макару стало еще более жаль старика, и он порадовался от души, что ему не удалось уйти на «гору». Его старуха была громадная, рослая старуха, и ему нести ее было бы еще труднее. А если бы вдобавок она стала пинать его ногою, как быка, то, наверное, скоро заездила бы до второй смерти.

Из сожаления он взял было старуху за ноги, чтобы помочь добру, но едва сделал два-три шага, как должен был быстро выпустить старухины ноги, чтоб они не остались у него в руках. В одну минуту старик с своей ношей исчезли из виду.

В дальнейшем пути не встречалось более лиц, которых Макар удостоил бы своим особенным вниманием. Тут были воры, нагруженные, как вьючная скотина, краденым добром и подвигавшиеся шаг за шагом; толстые якутские тойоны тряслись, сидя на высоких седлах, точно башни, задевая за облака высокими шапками. Тут же, рядом, вприпрыжку бежали бедные *комночиты* (работники), поджарые и легкие, как зайцы. Шел мрачный убийца, весь в крови, с дико блуждающим взглядом. Напрасно кидался он в чистый снег, чтобы смыть кровавые пятна. Снег мгновенно обагрался кругом, как кипящий, а пятна на убийце выступали яснее, и в его зоре виднелись дикое отчаяние и ужас. И он все шел, избегая чужих испуганных взглядов.

А маленькие детские души то и дело мелькали в воздухе, точно птички. Они летели большими стаями, и Макара это не удивляло. Дурная, грубая пища, грязь, огонь камельков и холодные сквозняки юрт выживали их из одного Чалгана чуть не сотнями. Поравнявшись с убийцей, они испуганной стаей кидались далеко в сторону, и долго еще после того слышался в воздухе быстрый, тревожный звон их маленьких крыльев.

Макар не мог не заметить, что он подвигается сравнительно с другими довольно быстро, и поспешил приписать это своей добродетели.

— Слушай, *агабыт* (отец), — сказал он, — как ты думаешь? Я хоть и любил при жизни выпить, а человек был хороший. Бог меня любит...

Он пытливо взглянул на попа Ивана. У него была задняя мысль: выведать кое-что от старого попика. Но тот сказал кратко:

— Не гордись! Уже близко. Скоро узнаешь сам.

Макар и не заметил раньше, что на равнине как будто стало светать. Прежде всего из-за горизонта выбежали несколько светлых лучей. Они быстро пробежали по небу и потушили яркие звезды. И звезды погасли, а луна закатилась. И снежная равнина потемнела.

Тогда над нею поднялись туманы и стали кругом равнины, как почетная стража.

И в одном месте, на востоке, туманы стали светлее, точно войны, одетые в золото.

И потом туманы заколыхались, золотые войны наклонились долу.

И из-за них вышло солнце, и стало на их золотистых хребтах, и оглянуло равнину.

И равнина вся засияла невиданным, ослепительным светом.

И туманы торжественно поднялись огромным хороводом, разорвались на западе и, колеблясь, понеслись вверх.

И Макару казалось, что он слышит чудную песню. Это была как будто та самая, давно знакомая песня, которою земля каждый раз приветствует солнце. Но Макар никогда еще не обращал на нее должного внимания и только в первый раз понял, какая это чудная песня.

Он стоял и слушал и не хотел идти далее, а хотел вечно стоять здесь и слушать...

Но поп Иван тронул его за рукав.

— Войдем, — сказал он. — Мы пришли.

Тогда Макар увидел, что они стоят у большой двери, которую раньше скрывали туманы.

Ему очень не хотелось идти, но — делать нечего — он повиновался.

VI

Они вошли в хорошую, просторную избу, и, только войдя сюда, Макар заметил, что на дворе был сильный мороз. Посредине избы стоял камелек чудной резной работы, из чистого серебра, и в нем пылали золотые поленья, давая ровное тепло, сразу проникавшее все тело. Огонь этого чудного камелька не резал глаз, не жег, а только грел, и Макару опять захотелось вечно стоять здесь и греться. Поп Иван также подошел к камельку и протянул к нему изящные руки.

В избе было четверо дверей, из которых только одна вела наружу, а в другие то и дело входили и выходили какие-то молодые люди в длинных белых рубахах. Макар подумал, что это, должно быть, работники здешнего Тойона. Ему казалось, что он где-то их уже видел, но не мог вспомнить, где именно. Немало удивляло его то

обстоятельство, что у каждого работника на спине болтались большие белые крылья, и он подумал, что, вероятно, у Тойона есть еще другие работники, так как эти, наверное, не могли бы с своими крыльями пробираться сквозь чащу тайги для рубки дров или жердей.

Один из работников подошел тоже к камельку и, повернувшись к нему спиной, заговорил с попом Иваном:

— Говори!

— Нечего,— отвечал попик.

— Что ты слышал на свете?

— Ничего не слышал.

— Что видел?

— Ничего не видал.

Оба помолчали, и тогда поп сказал:

— Привел вот одного.

— Это чалганец? — спросил работник.

— Да, чалганец.

— Ну, значит, надо приготовить большие весы.

И он ушел в одну из дверей, чтобы распорядиться, а Макар спросил у попа, зачем нужны весы и почему именно большие?

— Видишь,— ответил поп несколько смущенно,— весы нужны, чтобы взвесить добро и зло, какое ты сделал при жизни. У всех остальных людей зло и добро приблизительно уравнивают чашки; у одних чалганцев грехов так много, что для них Тойон велел сделать особые весы с громадной чашкой для грехов.

От этих слов у Макара как будто скребнуло по сердцу. Он стал робеть.

Работники внесли и поставили большие весы. Одна чашка была золотая и маленькая, другая — деревянная, громадных размеров. Под последней вдруг открылось глубокое черное отверстие.

Макар подошел и тщательно осмотрел весы, чтобы не было фальши. Но фальши не было. Чашки стояли ровно, не колеблясь.

Впрочем, он не вполне понимал их устройство и предпочел бы иметь дело с безменом, на котором в течение долгой жизни он отлично выучился и продавать и покупать с некоторой выгодой для себя.

— Тойон идет,— сказал вдруг поп Иван и стал быстро обдергивать раску.

Средняя дверь отворилась, и вошел старый-престарый Тойон, с большою серебристою бородой, спускавшеюся ниже пояса. Он был одет в богатые, неизвестные Макару меха и ткани, а на ногах у него были теплые сапоги, обшитые плисом, какие Макар видел на старом иконописце.

И при первом же взгляде на старого Тойона Макар узнал, что это тот самый старик, которого он видел нарисованным в церкви. Только тут с ним не было сына; Макар подумал, что, вероятно, последний ушел по хозяйству. Зато голубь влетел в комнату и, покружившись у старика над головою, сел к нему на колени. И старый Тойон гладил голубя рукою, сидя на особо приготовленном для него стуле.

Лицо старого Тойона было доброе, и, когда у Макара становилось слишком уж тяжело на сердце, он смотрел на это лицо, и ему становилось легче.

А на сердце у него становилось тяжело потому, что он вспомнил вдруг всю свою жизнь до последних подробностей, вспомнил каждый свой шаг, и каждый удар топора, и каждое срубленное дерево, и каждый обман, и каждую рюмку выпитой водки.

И ему стало стыдно и страшно. Но, взглянув в лицо старого Тойона, он ободрился.

А ободрившись, подумал, что, быть может, кое-что удастся и скрыть.

Старый Тойон посмотрел на него и спросил, кто он, и откуда, и как зовут, и сколько ему лет от роду.

Когда Макар ответил, старый Тойон спросил:

— Что сделал ты в своей жизни?

— Сам знаешь, — ответил Макар. — У тебя должно быть записано.

Макар испытывал старого Тойона, желая узнать, действительно ли у него записано все.

— Говори сам, не молчи! — сказал старый Тойон.

И Макар опять ободрился.

Он стал перечислять свои работы, и хотя он помнил каждый удар топора, и каждую срубленную жердь, и каждую борозду, проведенную сохою, но он прибавлял целые тысячи жердей, и сотни возов дров, и сотни бревен, и сотни пудов посева.

Когда он все перечислил, старый Тойон обратился к попу Ивану:

— Принеси-ка сюда книгу.

Тогда Макар увидел, что поп Иван служит у Тойона

суруксугом (писарем), и очень осердился, что тот по-приятельски не сказал ему об этом раньше.

Поп Иван принес большую книгу, развернул ее и стал читать.

— Загляни-ка,— сказал старый Тойон,— сколько жердей?

Поп Иван посмотрел и сказал с прискорбием:

— Он прибавил целых тринадцать тысяч.

— Врет он! — крикнул Макар запальчиво. — Он, верно, ошибся, потому что он пьяница и умер нехорошою смертью!

— Замолчи ты! — сказал старый Тойон. — Брал ли он с тебя лишнее за крестины или за свадьбы? Вымогал ли он ругу?

— Что говорить напрасно! — ответил Макар.

— Вот видишь,— сказал Тойон,— я знаю и сам, что он любил выпить...

И старый Тойон осердился.

— Читай теперь его грехи по книге, потому что он обманщик и я ему не верю,— сказал он попу Ивану.

А между тем работники кинули на золотую чашку Макаровы жерди, и его дрова, и его пахоту, и всю его работу. И всего оказалось так много, что золотая чашка весов опустилась, а деревянная поднялась высоко-высоко, и ее нельзя было достать руками, и молодые божьи работники взлетели на своих крыльях, и целая сотня тянула ее веревками вниз.

Тяжела была работа чалганца!

А поп Иван стал вычитывать обманы, и оказалось, что обманов было — двадцать одна тысяча девятьсот тридцать три обмана; и поп стал высчитывать, сколько Макар выпил бутылок водки, и оказалось — четыреста бутылок; и поп читал далее, а Макар видел, что деревянная чашка весов перетягивает золотую и что она опускается уже в яму, и, пока поп читал, она все опускалась.

Тогда Макар подумал про себя, что дело его плохо, и, подойдя к весам, попытался незаметно поддержать чашку ногою. Но один из работников увидел это, и у них вышел шум.

— Что там такое? — спросил старый Тойон.

— Да вот он хотел поддержать весы ногою,— ответил работник.

Тогда Тойон гневно обратился к Макару и сказал:

— Вижу, что ты обманщик, ленивец и пьяница... И за тобой осталась недоимка, и поп за тобою считает ругу, и исправник грешит из-за тебя, ругая тебя каждый раз скверными словами!..

И, обратясь к попу Ивану, старый Тойон спросил:

— Кто в Чалгане кладет на лошадей более всех клади и кто гоняет их всех больше?

Поп Иван ответил:

— Церковный трапезник. Он гоняет почту и возит исправника.

Тогда старый Тойон сказал:

— Отдать этого ленивца трапезнику в мерины, и пусть он возит на нем исправника, пока не заедит... А там мы посмотрим.

И только что старый Тойон сказал это слово, как дверь отворилась и в избу вошел сын старого Тойона и сел от него по правую руку.

И сын сказал:

— Я слышал твой приговор... Я долго жил на свете и знаю тамошние дела: тяжело будет бедному человеку возить исправника! Но... да будет!.. Только, может быть, он еще что-нибудь скажет. Говори, *барахсан* (бедняга)!

Тогда случилось что-то странное. Макар, тот самый Макар, который никогда в жизни не произносил более десяти слов кряду, вдруг ощутил в себе дар слова. Он заговорил и сам изумился. Стало как бы два Макара: один говорил, другой слушал и удивлялся. Он не верил своим ушам. Речь у него лилась плавно и страстно, слова гнались одно за другим вперегонку и нотом становились длинными, стройными рядами. Он не робел. Если ему и случалось запнуться, то тотчас же он оправлялся и кричал вдвое громче. А главное — чувствовал сам, что говорил убедительно.

Старый Тойон, немного осердившийся сначала за его дерзость, стал потом слушать с большим вниманием, как бы убедившись, что Макар не такой уж дурак, каким казался сначала. Поп Иван в первую минуту даже испугался и стал дергать Макара за полу соны, но Макар отмахнулся и продолжал по-прежнему. Потом и попик перестал пугаться и даже расцвел улыбкой, видя, что его прихожанин режет правду и что эта правда приходится по сердцу старому Тойону. Даже молодые люди в длинных рубахах и с белыми крыльями, жившие у старого Тойона в работниках, приходили из своей ноло-

вины к дверям и с удивлением слушали речь Макара, поталкивая друг друга локтями.

Он начал с того, что не желает идти к трапезнику в мерины. И не потому не желает, что боится тяжелой работы, а потому, что это решение неправильно. А так как это решение неправильно, то он ему не подчинится и не поведет даже ухом, не двинет ногою. Пусть с ним делают что хотят! Пусть даже отдадут чертям в вечные комночнты,— он не будет возить исправника, потому что это неправильно. И пусть не думают, что ему страшно положение мерина: трапезник гоняет мерина, но кормит его овсом, а его гоняли всю жизнь, но овсом никогда не кормили.

— Кто тебя гонял? — спросил старый Тойон с сердцем.

Да, его гоняли всю жизнь! Гоняли старосты и старшины, заседатели и исправники, требуя подати; гоняли попы, требуя ругу; гоняли нужда и голод; гоняли морозы и жары, дожди и засуха; гоняла промерзшая земля и злая тайга!.. Скотица идет вперед и смотрит в землю, не зная, куда ее гонят... И он также... Разве он знал, что поп читает в церкви и за что идет ему руга? Разве он знал, зачем и куда увели его старшего сына, которого взяли в солдаты, и где он умер, и где теперь лежат его бедные кости?

Говорят, он пил много водки? Конечно, это правда: его сердце просило водки...

— Сколько, говоришь ты, бутылок?

— Четыреста,— ответил поп Иван, заглянув в книгу.

Хорошо! Но разве это была водка? Три четверти было воды и только одна четверть настоящей водки, да еще настой табаку. Стало быть, триста бутылок надо скинуть со счета.

— Правду ли он говорит все это? — спросил старый Тойон у попа Ивана, и видно было, что он еще сердится.

— Чистую правду,— торопливо ответил поп, а Макар продолжал.

Он прибавил тринадцать тысяч жердей? Пусть так! Пусть он нарубил только шестнадцать тысяч. А разве этого мало? И притом, две тысячи он рубил, когда у него была больна первая его жена... И у него было тяжело на сердце, и он хотел сидеть у своей старухи, а нужда его гнала в тайгу... И в тайге он плакал, и слезы мерзли у

него на ресницах, и от горя холод проникал до самого сердца... А он рубил!

А после баба умерла. Ее надо было хоронить, а у него не было денег. И он нанялся рубить дрова, чтобы заплатить за женин дом на том свете... А купец увидел, что ему нужна, и дал только по десяти копеек... И старуха лежала одна в нетопленной мералой избе, а он опять рубил и плакал. Он полагал, что эти возы надо считать впятеро и даже более.

У старого Тойона показались на глазах слезы, и Макар увидел, что чашки весов колыхнулись и деревянная приподнялась, а золотая опустилась.

А Макар продолжал: у них все записано в книге... Пусть же они поищут: когда он испытал от кого-нибудь ласку, привет или радость? Где его дети? Когда они умирали, ему было горько и тяжело, а когда вырастали, то уходили от него, чтобы в одиночку биться с тяжелою нуждой. И он состарился один со своей второю старухой и видел, как его оставляют силы и подходит злая, бесприютная дряхлость. Они стояли одинокие, как стоят в степи две сиротливые елки, которых бьют отовсюду жестокие метели.

— Правда ли? — спросил опять старый Тойон.

И поп поспешил ответить:

— Чистая правда!

И тогда весы опять дрогнули... Но старый Тойон задумался.

— Что же это, — сказал он, — ведь есть же у меня на земле настоящие праведники... Глаза их ясны, и лица светлы, и одежды без пятен... Сердца их мягки, как добрая почва; принимают доброе семя и возвращают криносельный и благовонные всходы, запах которых угоден передо мною. А ты посмотри на себя...

И все взгляды устремились на Макара, и он устыдился. Он почувствовал, что глаза его мутны и лицо темно, волосы и борода всклокочены, одежда изорвана. И хотя задолго до смерти он все собирался купить сапоги, чтобы явиться на суд, как подобает настоящему крестьянину, но все пропивал деньги, и теперь стоял перед Тойоном, как последний якут, в дрянных торбасишках... И он пожелал провалиться сквозь землю.

— Лицо твое темное, — продолжал старый Тойон, — глаза мутные, и одежда разорвана. А сердце твое поросло бурьяном, и тернием, и горькою полынью. Вот по-

чему я люблю моих праведных и отвращаю лицо от подобных тебе нечестивцев.

Сердце Макара сжалось. Он чувствовал стыд собственного существования. Он было понурил голову, но вдруг поднял ее и заговор опять.

О каких это праведниках говорит Тойон? Если о тех, что жили на земле в одно время с Макаром в богатых хоромах, то Макар их знает... Глаза их ясны, потому что не проливали слез столько, сколько их пролил Макар, и лица их светлы, потому что обмыты духами, а чистые одежды сотканы чужими руками.

Макар опять понурил голову, но тотчас же опять поднял ее.

А между тем разве он не видит, что и он родился, как другие, — с ясными, открытыми очами, в которых отражались земля и небо, и с чистым сердцем, готовым раскрыться на все прекрасное в мире? И если теперь он желает скрыть под землею свою мрачную и позорную фигуру, то в этом вина не его... А чья же? — Этого он не знает... Но он знает одно, что в сердце его истощилось терпение.

VII

Конечно, если бы Макар мог видеть, какое действие производила его речь на старого Тойона, если б он видел, что каждое его гневное слово падало на золотую чашку, как свинцовая гиря, он усмирил бы свое сердце. Но он всего этого не видел, потому что в его сердце вливалось слепое отчаяние.

Вот он оглядел всю свою горькую жизнь. Как мог он до сих пор выносить это ужасное бремя? Он нес его потому, что впереди все еще маячила — звездочкой в тумане — надежда. Он жив, стало быть, может, должен еще испытать лучшую долю... Теперь он стоял у конца, и надежда угасла...

Тогда в его душе стало темно, и в ней забушевала ярость, как буря в пустой степи глухою ночью. Он забыл, где он, пред чьим лицом предстоит, — забыл все, кроме своего гнева...

Но старый Тойон сказал ему:

— Погоди, барахсан! Ты не на земле... Здесь и для тебя найдется правда...

И Макар дрогнул. На сердце его пало сознание, что его жалеют, и оно смягчилось; а так как перед его глазами все стояла его бедная жизнь, от первого дня до последнего, то и ему стало самого себя невыносимо жалко. И он заплакал...

И старый Тойон тоже плакал... И плакал старый попик Иван, и молодые божьи работники лили слезы, утирая их широкими белыми рукавами.

А весы все колыхались, и деревянная чашка подымалась все выше и выше!

1883

ФЕДОР БЕСПРИЮТНЫЙ

Из рассказов о бродягах

I

Пешая этапная партия подымалась по трактовой дороге на «возгорок».

По обе стороны дороги кучки елей и лиственниц избегали кверху оживленной кудрявой зеленью. На гребне холма они сдвинулись гуще, стали стеной тайги; но на склоне меж деревьев и ветвей виднелась даль, расстилавшаяся лугами, сверкавшая кое-где полоской речной глади, затянутая туманами в низинах и болотах...

Вечерело. На землю налегала прохлада; кругом все как-то стихло, темнело, заволакивалось синевой, и только кусок широкой дороги меж зеленью елей и лиственниц весь будто шевелился, кишел серыми арестантскими фигурами, звелел кандалами.

Партия растянулась почти на версту. Арестанты разбрелись по сторонам, избегая дорожной пыли, которую взбивала главная масса, двигавшаяся по тракту. Впереди всех, в голове отряда, шли кандалные; телеги с женщинами, детьми и больными перемешались с пешеходами. По опушкам придорожной тайги слышались голоса, хотя и не особенно оживленные. Партия шла вольно; солдаты частью спали в телегах, свесив оттуда

ноги в сапогах бураками, частью же мирно беседовали друг с другом, беспечно покуривая на ходу «цигарки» из простой бумаги с махоркой; офицера совсем не было видно. Партия шла на слово старосты Федора, по прозвищу «Бесприютного»...

Голова партии дотянулась уже до вершины холма. Федор Бесприютный взошел туда и, остановившись на гребне, откуда дорога падала книзу, окинул взглядом пройденный путь, и темневшую долину, и расползшуюся партию. Затем он выпрямился и крикнул арестантам:

— Ну, подтягивайся, ребята, подтягивайся! Недалече уже! Хлестни лошадей, подводы! Хлестни лошадей... Близко!..

Под влиянием этого окрика партия зашевелилась быстрее.

Из кустов выбегали арестанты, телеги встряхнулись, и сапоги бураками заболтались на рысях в воздухе.

Серые разбросанные кучки, оживлявшие дорогу, стягивались в одну плотную массу, которая катилась кверху, туда, где, рисуясь на холодевшем небе, виднелась фигура высокого сгорбленного человека.

II

Обок дороги шел по траве молодой человек, одетый не в арестантское, а в свое собственное платье. Уже это обстоятельство выделяло его из остальной серой массы: его клетчатые брюки, запыленные ботинки, круглая шляпа котелком, из-под которой выбивались мягкие белокурые волосы, синие очки — все это как-то странно резало глаз, выступая на однообразном фоне партии. Но, помимо этого, фигура была несколько странна: молодой человек в круглой шляпе шел ровным шагом, выступая немного по-журавлиному, как ходят люди, выработавшие свою походку в кабинете. Теперь он, видимо, сознавал, что он уже не в кабинете, и прилаживал свой шаг к ходу партии. Ему это удавалось, и он был доволен, что сказывалось во всей его фигуре. Он не просто шел, а как бы свершал нечто важное, и это сознание придавало всей солидно и широко шагавшей фигуре оттенок неотразимого комизма. Черты его лица были тонки, губы легко складывались в какую-то нервную, несколько кривую, но все же очень добрую улыбку.

ку. Но синие глаза всегда глядели серьезно, задумчиво, а высокий лоб придавал верхней части лица характер спокойной, ничем не возмутимой мысли.

Его отношения к партии тоже были отмечены характером двойственности и противоречий. «Барину» полагалась подвода, но он ею никогда не пользовался, и партия завладела телегой для своих надобностей. Его присутствие как будто игнорировалось, но вместе с тем, когда чудной барин подходил к кому-нибудь одному или к целой кучке арестантов, люди как будто смущались и робели. Когда думали, что он не видит, то подталкивали друг друга локтями и смеялись, но всякий, на ком останавливался этот задумчивый взгляд, как-то терялся и будто чувствовал, что где-то что-то не ладно.

— Почему вы делаете то или другое? — спрашивал он иногда об артельных порядках, далеко не всегда, по его мнению, соответствовавших справедливости.

— Да ведь оно уже заведено, — мямлили арестанты.

Молодой человек задумывался и через несколько минут произносил:

— Но ведь это несправедливо.

— Д-да уж... не очень чтобы правильно, что говорить...

— Значит, надо переменить, — замечал молодой человек, как бы удивляясь, что логическая победа далась так легко, даже без спора.

— Да ведь как уж... не нами заведено... невозможно менять, — возражали арестанты, и губы молодого человека нервно вздрагивали. Он смотрел на людей своим испытующим взглядом, как будто разыскивая в них что-то затерянное. Этот взгляд очень смущал партию: все чувствовали, что этот барин в сущности «младенец», но вместе с тем чувствовали также, что среди них есть человек, который обдумывает каждый их поступок, чуть не каждое слово. Это стесняло партию, но никто не чувствовал против барина недоброжелательства. Вначале выходили иногда споры, так как он сам решительно отказывался подчиняться тем правилам, о которых шла речь как о несправедливых и неразумных. Но впоследствии на молодого человека махнули рукой. Даже более — смеясь за глаза над барином как над юродивым, партия незаметно меняла тон своих отношений. Цинизм и разгул стихали порой не в силу сознания, но просто потому, что ощущение пристального анализирующего взгля-

да разлагало непосредственные чувства грубой толпы и умеряло широту размаха.

Так этот странный человек совершал свой путь с людьми и вместе одинокий. Он вместе с другими выходил поутру с этапа и вечером, усталый, запыленный, приходил на другой, всю дорогу думая о чем-то, наблюдая, порой дополняя свои размышления расспросами. Вопросы были непонятны арестантам, а когда, получив ответ, он кивал головой, будто утверждаясь в своей догадке, собеседники переглядывались друг с другом. А молодой человек шел опять своей дорогой, не глядя по сторонам, весь поглощенный какой-то внутренней работой.

Теперь рядом с молодым человеком, держась за его руку, шел мальчик лет пяти, одетый не совсем по росту. Рукава какой-то кацавейки были завернуты на детских руках, талия перевязана белым платком; таким же платком перевязан подбородок, большой картуз с обширным козырьком, из-под которого глядели простодушные синие глаза ребенка. Он старался шагать широко, чтобы не отставать от остальных.

— Так тебя, значит, зовут Мишей? — спрашивал молодой человек, глядя вперед и о чем-то думая.

— Мишей, — повторил мальчик.

— Чей же ты?

— Мамкин... Вот, — указал ребенок на одну из телег, где сидела женщина с ребенком на руках. Она кормила ребенка грудью и в то же время следила взглядом за Мишей, который разговаривал с «барином». Эта женщина примкнула к партии на одном из ближайших этапов, недавно оправившись от болезни.

— Куда же вы идете? — спросил опять молодой человек.

— К тятке идем, — ответил мальчик с детской беспечностью в тоне.

— А кто твой тятка?

Этот вопрос несколько затруднил мальчишку.

— Тятка-то? — переспросил он.

— Да... кто твой тятка?

— Тятка!.. — ответил мальчик просто, с полной уверенностью, что этим сказано все, что нужно.

— Глупый, не умеешь барины ответить, — наставительно вмешался шедший невдалеке чахлый арестант и как-то снисходительно-заискивающе улыбнулся барину.

— Глуп еще, не понимает,— пояснил он за ребенка, пользуясь случаем, чтобы вступить в разговор.— А ты говори: посельщик, мол, тятка, вот кто.

Мальчишка вскинул глазами на говорившего и, как будто недоумевая, почему к имени его тятки прибавляют незнакомое слово, опустил опять глаза и проговорил угрюмо:

— Нет, тятка он...

Семенов (так звали молодого человека) утвердительно кивнул головой, как будто находя ответ вполне удовлетворительным.

— Глупый младенец, дозвоьте вам сказать,— вмешался опять чахлый арестант тем же заискивающим тоном. Он тоже примкнул к партии недавно. Если бы не это обстоятельство, он знал бы, что Семенов если и барин, то не такой, от которого можно пожить. Но, не успев узнать этого, чахлый арестант все время терся около «барина», подыскивая удобный случай для униженной просьбы в надежде получить полтину-другую ради своего сиротства. Теперь он желал помочь в том же смысле младенцу.

— Кабы ты не глуп был,— наставлял он,— ты бы сказал барину: к посельщику, мол, идем... должна наша жизнь быть теперича самая несчастная, вот что.

Семенов нервно повел плечами и, повернувшись к арестанту, сказал:

— Идите, пожалуйста, своей дорогой.

Чахлый арестант съехался и отошел в сторону, а мальчишка, еще ниже опустив голову, повторил упрямо:

— К тятке, к тятке...

— Верно,— сказал молодой человек, и в его голове заронились невеселые мысли.

«Да,— думал он, шагая вдоль дороги,— вот целая программа жизни в столкновении двух взглядов на одного и того же человека: тятка и посельщик... Для других это — посельщик, может быть, вор или убийца, но для мальчишки он — отец, и больше ничего. Ребенок по-прежнему ждет от него отцовской ласки, привета и наставления в жизни. И так или иначе, он найдет все это... Каковы только будут эти наставления?..»

Молодой человек оглядел бойко шагавшего мальчишку своим задумчивым взглядом.

«Да,— продолжал он размышлять,— вот она, судьба будущего человека. Она поставила уже мальчишку на дорогу. Тятка и посельщик... Две координаты будущей

жизни... Любовь сына, послушание отцу — две добродетели, из которых может выработаться целая система пороков. Житейский парадокс, и этот парадокс, быть может, воплотится в какую-нибудь мрачную фигуру, которая возникнет из этого мальчика с такими синими глазами...»

Дальнейшая нить размышлений молодого человека была прервана окриком арестантского старосты. Партия зашевелилась, и Семенов посадил Мишу на телегу рядом с матерью. Сам он на мгновение остановился и посмотрел в том направлении, где виднелась фигура Бесприютного. Казалось, фигура эта вновь вызвала в его голове новую нить размышлений.

III

Трудно сказать почему, но именно эта минута, именно этот кусок пути запечатлелся в его памяти с особенной яркостью, и каждый раз, когда он вспоминал впоследствии о Федоре Бесприютном, в его воображении тотчас оживали холмик, и расстилавшиеся у его подножья луга, тихо лежавшие под лучами заката, и холодок близкой ночи, и высокий силуэт человека, стоявшего вверху... И этот голос, звучавший своеобразным, странным призывом.

«Близко!..» Что же близко? — Этап, один из многих сотен этапов на расстоянии тысячеверстного длинного и трудного пути! Странное утешение! Солнце закатывается, день отходит, партия тянется по дороге. И завтра, и через неделю, и через месяц — то же солнце увидит тех же людей на такой же, только, быть может, еще более трудной дороге, — что за дело? Что за дело, если путь бесконечно длинен, если он пролегает через знойное лето и через холодную страшную сибирскую зиму? Что за дело, если старик, который теперь еле выносит летнее путешествие, наверное, не вынесет осеннего. Что за дело, если ребенок, рожденный на этапе весной, умрет на другом этапе осенью. Что за дело и до того, что в конце пути для тех, кто его выдержит, лежит каторжный труд или горькая доля изгнания!

Что за дело! Солнце садится, и отдых близок! — вот что слышалось Семенову в голосе вожака арестантской партии.

Молодой человек ускоренной, но ровной походкой обогнал телеги и подошел к Федору.

— Скоро придем? — спросил он.

— Недалече, — ответил Федор. — Вот в эту падушку¹ спустимся да опять на узгорочек подыдемся. Там от кривой сосны за поворотом всего полверсты будет.

— Да уж Бесприютный знает, — льстиво заговорил тот же чахлый арестант, поспевший за барином. — Чать, Бесприютному этой дорожкой не впервой иттить.

Арестант, очевидно, хотел польстить опытному бродяге, но суровое лицо Бесприютного с резкими чертами, с морщинами около глаз осталось таким же неподвижно суровым. Он осматривал внимательным взглядом свою ватагу. Он знал, конечно, что в партии, которую он вел, не может быть побега. Он дал слово начальнику, партия дала слово ему. Ценой этого слова партия покупает известные вольности: возможность по временам снимать кандалы, зайти вперед, прилечь в тени, пока подойдут остальные, отправить в какую-нибудь деревушку, в стороне от тракта, несколько человек за сбором подаяния и т. д. И, дорожа этими вольностями, арестанты свято блюдут данное слово, строго следя друг за другом. Но, не опасаясь побегов, Бесприютный боялся, что «шпанка» разбредется по лесу, пожалуй, кое-кто заблудится и отстанет, и таким образом партия явится к этапу не в полном составе. А этого он не любил. Он дорожил своею репутацией; ему было бы неприятно, если бы про Бесприютного сказали, что у него в партии беспорядок.

Но этого не случилось; все было налицо; вот, звеня кандалами, подходят «каторжане»; громыхая, подъезжают подводы с женщинами и детьми; сгрудившись плотной кучей, всходят на пригорок пешие арестанты. И Бесприютный, окончив осмотр, опять двинулся вперед своей развалистой, характерной походкой бродяги.

Шестьдесят верст «на круг» в сутки — такова была эта походка. Так идет человек, у которого нет ближайшей цели. Он не торопится, чтобы прийти до ночи, чтобы не опоздать к обедне в храмовой праздник, чтобы поспеть к базару. Он просто — идет. Дни, недели, месяцы... По хорошей и по дурной дороге, в жару и слякоть, гольцами и тайгой, и ровною Барабинскою степью бродяга все идет к своей неопределенной далекой цели...

¹ От слова падъ — долина. (Примеч. В. Г. Короленко.)

Он не торопится, потому что торопиться всю жизнь невозможно. Самое страстное, самое горячее стремление в эти долгие месяцы и годы уляжется в привычные, размеренные, бессознательно рассчитанные движения. Туловище подается вперед, будто хочет упасть, но следующий шаг несет его дальше, и так, покачиваясь на ходу, уставившись перед собой глазами, согнув спину с котелком и котомкой, отмеривает бродяга шаг за шагом эти бесконечные и бесчисленные версты... Эта ровная, неторопливая, хотя и довольно быстрая походка входит в привычку, и теперь, когда Семенов смотрел на фигуру шедшего впереди Бесприютного, ему виделось в этой сторбленной фигуре что-то роковое, почти символическое. Молодой человек опять кивнул головой. «Понимаю, — подумал он, — выражение этой походки состоит в том, что человек не идет по своей воле, а как будто отдается с полным фатализмом неведомому пространству».

Серые халаты с тузами и буквами на плечах вообще нивелируют всю эту массу. В первое время свежнему человеку все эти люди кажутся будто на одно лицо, точно бесконечное повторение одного и того же тюремного экземпляра. Но это только первое время. Затем вы начинаете под однообразной одеждой замечать бесконечные различия живых физиономий; вот на вас из-под серой шапки глядят плутоватые глаза ярославца; вот добродушно хитрый тверитянин, не переставший еще многому удивляться и то и дело широко раскрывающий голубые глаза; вот пермяк с сурово и жестко зарисованными чертами; вот золотушный вятчанин, прицокивающий смягченным говором. Вы начинаете различать под однообразной оболочкой и разные характеры, и условия, и профессии — все это выступает, точно очертания живого ландшафта из-под серого тумана.

Но, смотря на Бесприютного, трудно было решить — что это за человек, кем был он раньше, пока не надел серого халата. Тогда как на большинстве арестантов казенное платье сидело как-то неуклюже, не ладилось, топорщилось и слезало — на Бесприютном все было впору, сидело ловко, точно на него шито. Большие руки, дюжая фигура, грубоватые движения... как будто крестьянин. Но ни одно движение не обличало в нем пахари. Не было заметно и мещанской юркости, ни сноровки бывшего торговца. Кто же он? Семенов долго задавался этим вопросом, но наконец теперь, появив по-сво-

ему «выражение» его походки, он решил, что перед ним бродяга.

Бродяга — и ничего больше! Все характерные движения покрывались одной этой бродяжной походкой. Глаза Федора глядели не с мужичьей наивностью, в них заметна была своего рода интеллигентность. Ни роду, ни племени, ни звания, ни сословия, ни ремесла, ни профессии — ничего не было у этого странного человека. Он, как и мальчишка, с которым Семепов только что беседовал, пошел в Сибирь за отцом, бывшим крестьянином. Рос он дорогой, окреп в тюрьме, в первом побеге с отцом возмужал и закалился. Тюрьма и ссылка воспитали этого человека и наложили на него свой собственный отпечаток. Пройти столько, сколько прошел бродяга, видеть столько людей, сколько он видел, — это своего рода школа, и она-то дала ему этот умный наблюдательный взгляд, эту немужичью улыбку. Но эта школа была трагически односторонняя: люди, которых он изучал, были не те, что живут полной человеческой жизнью; это были арестанты, которые только *идут*, которых только *гонят*. Правда, во время бродяжества он сталкивался и с сибиряками, жила в деревнях и на заимках. Но опять и тут настоящая жизнь для бродяги была закрыта. Его дом — не изба, а баня на задах; его отношения к людям — милость или угроза. Он знал, в какой стороне чалдон живет мирный и мягкосердный; в каких деревнях бабы ревут ревмя, слышав заунывный напев «Милосердной»¹, и где бродяге надо идти с опаской; знал он, где для бродяжки готов хлеб «на полничке» и где встретят горбача винтовкой. Но жизнь семьи, круговая работа крестьянского года, житейские радости, печали и заботы — все это катилось сторопой, все это миновало бродягу, как минует быстрое живое течение оставленную на берегу продырявленную и высохшую от солнца лодку.

Эти характерные бродяжьи черты в Федоре Беспрыжном соединились с замечательной полнотой, и немудрено: ведь он не знал другой жизни — жизнь сибирской дороги владела его душевным строем безраздельно. Но, кроме этих характеристических черт, было в фигуре

¹ «Милосердная» — арестантская песня с чрезвычайно унылым напевом. «Партионные» и бродяги запевают ее, проходя по улицам деревень и выпрашивая подаяния. (Примеч. В. Г. Короленко.)

Бесприютного еще что-то, сразу выделявшее его из толпы. Каждая профессия имеет своих выдающихся личностей.

Бесприютный представлял такую личность бродяжьей профессии. Каторжная, скорбная дорога овладела в его лице недюжинной, незаурядной силой.

В волосах Федора уже виднелась седина. На лбу прошли морщины; резкие морщины обрамляли также глаза, глядевшие из глубоких впадин каким-то особенным выдержанным взглядом. Казалось, человек, смотрящий этим странным взглядом, знает о жизни нечто очень горькое... Но он таит про себя это знание, быть может сознавая, что оно под силу не всякому, и, быть может, именно в этом сдержанном выражении, глядевшем точно из-за какой-то завесы на всякого, к кому обращался Федор Бесприютный с самыми простыми словами, скрывалась главная доля того обаяния, которое окружало вожака арестантской партии.

— Бесприютный знает! Бесприютный зря слова не скажет,— говорили арестанты.

И каждое слово человека, глядевшего этим спокойным, сдержанным, знающим взглядом, приобретало в глазах толпы особенную авторитетность. Ко всякому самому простому слову Федора (он был вообще неразговорчив), кроме прямого его значения, присоединялось еще нечто... Нечто неясное и смутное прикасалось к душе слушателя, что-то будило в ней, на что-то намекало. Что это было,— слушатель не знал, но он чувствовал, что Федор Бесприютный что-то «знает»... Знает, но не скажет, и поэтому в каждом его слове слышалось нечто большее обыкновенного смысла этого слова.

В лицо он знал в партии всех, но друзей и товарищей у него не было. Ближе других сошлись с ним два человека, но и с теми соединяли его особые отношения. Первым был старый бродяга, Хомяк, вторым — барин.

Бродяга Хомяк был дряхлый старик. Сколько ему было лет — сказать трудно, но он не мог уже ходить и «следовал» на подводе. Одна из телег, именно та, на которой помещался старик, служила предметом особенных попечений старосты. Он сам настилал в ней солому, прилаживал сиденье, сам выносил с этапа и усаживал старого бродягу. В продолжение пути он то и дело подходил к этой телеге и подолгу шел рядом с нею. Никто не слышал, чтобы они разговаривали друг с другом. Бесприютный только пощупывал сиденье и шел,

держась за переплет телеги. Хомяк сидел, свесив ноги, боком к лошадям и смотрел неизменно перед собою неподвижным взглядом. Его руки лежали на коленях, ноги бессильно болтались, спина была сгорблена. Густая шапка только наполовину седых волос странно обрамляла темное обветренное лицо, на котором тусклые глаза совсем терялись, что придавало лицу выражение особенного бесстрастия. Картина за картиной менялись, появляясь и исчезая, но эти выцветшие глаза смотрели на все одинаково равнодушно. Старик мог видеть и слышать, но как будто не хотел уже ни глядеть, ни прислушиваться. Он мог говорить, но до сих пор Семенов ни разу еще не слышал звуков его голоса. От всей фигуры веяло каким-то замогильным безучастием; не было в ней даже ни одной черты страдания: в холод и жар, в дождь и непогоду он сидел одинаково сгорбившись и по временам только постукивал пальцем одной руки по другой. Это было единственным проявлением жизни в этой старчески невозмутимой фигуре.

Арестанты говорили, что Федор Бесприютный приходится Хомяку товарищем по прежним бродяжествам.

IV

На одной из телег среди всякой арестантской рухляди лежал белый чемоданчик, принадлежавший Семенову. Иногда на этапе он просил старосту принести чемодан, чтобы переменить белье и взять что нужно, и Федор, исполнявший очень внимательно все его просьбы, обыкновенно сам приносил просимое. Этот чемодан и послужил первым поводом для их сближения.

За несколько дней до описываемого случая молодой человек попросил принести чемодан. Федор принес и отошел было, как всегда, пока молодой человек разбирался, но, оглянувшись как-то, староста увидал, что Семенов открыл одну из крышек и стал разбирать книги. Вынув одну из них, он закрыл чемодан и лег с книжкой на нарах. Федор посмотрел несколько секунд будто в перешителности, потом подошел к Семенову и сказал:

— Книжки у вас?

— Книжки, — ответил Семенов и, взглянув на Федора из-за страницы, спросил: — А вы читаете?

— Мерекаю самоучкой, — сказал бродяга, приседа

у чемодана и без спроса открывая крышку. Семенов смотрел на это, не говоря ни слова. Федор стал раскрывать одну книгу за другой, просматривая заглавия и иногда прочитывая кое-что из середины. При этом его высокий лоб собирался в морщины, а губы шевелились, несмотря на то, что он читал про себя. Видно было, что чтение стоило ему некоторого усилия.

— Нельзя ли и мне какой-нибудь книжечки почитать? — спросил он, продолжая перелистывать книги одну за другой.

Молодой человек приподнялся.

— Возьмите, — сказал он живо и как будто обрадовавшись, — не знаю только, найдете ли вы что-нибудь интересное.

— Ну, ничего, — сказал снисходительно бродяга, — все-таки время провести. Конечно, и в книгах тоже... настоящего нету.

— Настоящего? — удивился Семенов. — Как это странно! Каждая книга говорит о каком-нибудь одном предмете, и, если бы у меня их было побольше, вы, вероятно, нашли бы, что вам нужно.

Бродяга слегка усмехнулся, и в его глазах промелькнул мгновенно огонек, опять в них засветилось такое выражение, как будто бродяга знает и по этому предмету кое-что, но возражать не желает.

— Читал я их, — продолжал он, помолчав и по-прежнему рассматривая книги, — немало читал. Конечно, есть занятные истории, да ведь, поди, не все и правда... Вот тоже у поселенца одного, из раскольников, купил я раз книжку; называется эта книжка «Ключ к тайнам природы»... Говорил он, в ней будто все сказано, как есть...

— Ну и что же?

— Да нет, толку мало. Неотчетливо пишет этот сочинитель. Читаешь, читаешь, в голове затрещит, а ничего настоящего не понимаешь. Вечная единица, треугольники там, высшая сила... а понять ничего невозможно. Конечно, я человек темный, а все же, думаю, обман это, больше ничего.

— Я тоже думаю, что вам попало не то, что нужно...

— То-то и я думаю. Надо чем-нибудь кормиться хоть бы и сочинителям.

Перебирая книги одну за другой, он вдруг со вниманием остановился на одном заглавии.

— Это что же такое? — сказал он, поворачивая заглавие.

Это были «Вопросы о жизни и духе» Льюиса.

— Это насчет чего? — спросил бродяга, с любопытством осматривая со всех сторон книгу.

Молодой человек затруднился ответом. Если заглавие непонятно, то что же сказать в объяснение? Как пояснить содержание трактата о сложных «проклятых» вопросах, над которыми, быть может, никогда не задумывался этот человек, с трудом разбирающийся по складам?

— О жизни и духе!.. — задумчиво повторил между тем бродяга и опять с видом удивления стал поворачивать книгу во все стороны, осматривая и корешок, и колленкорный переплет, и даже самый шрифт. Казалось, он удивлялся, что книга с таким заглавием так проста на вид. Быть может, он ожидал встретить «вопросы о духе» в каком-нибудь фолианте, переплетенном в старинный сафьян.

— Это насчет жизни и, например, о душе?.. Так, что ли?

— Да, — ответил молодой человек нерешительно.

Бродяга пытливо посмотрел на него.

— И все тут сказано?.. явственно?..

— Как вам сказать?.. конечно, все, что мог сказать этот писатель. Но явственно ли?.. Знаете что! Лучше возьмите какую-нибудь другую книжку.

Бродяга с живостью отдернул книгу, к которой молодой человек протянул было руку.

— Нет уж, дозвоьте мне этой книжки почитать... Ежели тут насчет души и о прочем...

— Извольте, — неохотно ответил молодой человек. — Если встретится вам что-нибудь непонятное, слово какое-нибудь, выраженье, я с удовольствием постараюсь вам разъяснить...

— Нет, что выражение, выражение ничего не составляет. Конечно, мало ли их, слов-то непонятных. Ну да все же прочитаешь раз, прочитаешь другой, оно и видно, к чему что идет. Так можно?

— Можно.

— Спасибо, — сказал он и опять взглянул в книгу. — «Вопросы о жизни и духе», — прочитал он еще раз с расстановкой. — Должно быть, она самая!..

Он встал, но, подымаясь, раскрыл книгу на предисловии и зашевелил губами, прочитывая кое-что на вы-

держку. Одна фраза остановила на себе его внимание. Что-то вроде удовлетворения мелькнуло в его лице и в глазах, когда он взглянул на молодого человека.

— Вот,— сказал он, ткнув пальцем в одно место, и затем прочитал: — «Наш век страстно ищет веры». Это верно,— подтвердил он с какой-то наивной авторитетностью, махнув головой.

Молодой человек усмехнулся.

— Верно,— подтвердил бродяга,— сколько теперича этих самых молоканов да штундистов с партиями гонят. И что ни дальше, то больше. Ну, спасибо. Эту книгу я теперича беспрерывно читаю.

И он ушел.

Когда наступила ночь, в камере этапа не спали только два человека. Бесприютный, полулежа на нарах, при свете сального огарка поворачивал страницу за страницей. Лицо его выражало сильное, почти болезненное напряжение мысли, морщины на лбу углубились, и по временам, когда бродяга отрывался от книги и, устремив глаза в потолок, старался вдуматься в прочитанное,— на лице его явственно виднелось страдание.

Не спал и молодой человек. Лежа под открытым окном — это было его любимое место,— заложив руки за голову, он задумчиво следил за читавшим. Когда бродяга углублялся в книгу и лицо его становилось спокойнее, на лице молодого человека тоже выступало спокойное удовлетворение, когда же лоб бродяги сводился морщинами и глаза мутились от налегавшего на его мысли тумана, молодой человек беспокоился, приподымался с подушки, как будто порываясь вмешаться в тяжелую работу.

Он был утомлен дневным переходом. Все члены ныли от усталости, и он чувствовал потребность в успокоении. Но голова его горела, глаза тоже были охвачены будто кольцами лихорадочного жара, он беспокойно метался каждый раз, когда шелест перекидываемой страницы долетал до его слуха среди сонных звуков камеры.

«Что-то он найдет в моей книге,— думал он,— этот наивный вопрошатель? Найдет ли хоть частицу того, что ему нужно?»

И молодому человеку глава за главой вспоминалась вся книга. Живучесть проклятых вопросов... Определение метафизики. Метод научный, метод эмпирический, метэмпирический метод... Что же тут почерпнет этот самоучка, что он поймет во всех этих определениях, за-

чем ему вся эта история бесплодных исканий, это блуждание за заблудившимися в бесконечном лабиринте?

Молодой человек смотрел теперь на труд мыслителя с особенной точки зрения; он хотел представить себе, что может почерпнуть из него человек, незнакомый со специальной историей человеческой мысли, и он метался беспокойно, боясь, не дал ли он просившему камень вместо хлеба. Эта работа внимания и воображения утомила Семенова. Голова его отяжелела, тусклый свет огарка стал расплываться в глазах, темная фигура маячила точно в тумане.

V

И приснился молодому человеку странный сон. Видел он густой темный лес ночью... Во мраке качались гигантские ветви, старые стволы стояли, точно великаны-призраки, и ни одна звезда не заглядывала в чашу, ни один луч не освещал темноты. Толпа людей билась в этом лесу, разыскивая, где выход к вольному простору и свету. Долго шла толпа, расчищая путь, прорубая просеки, прокладывая в лесу дороги. Куда вести эти дороги, так ли направлены просеки, кратчайшим ли путем приведут они к выходу, туда, где солнце золотит нивы, — люди не знают. Лишь только бледная зоря разольется по лесной глуши, люди встанут ото сна и поведут дальше работу. Сзади за ними теряется в бесконечном лесу пройденный путь, вперед призывает работа, и пот выступает на лбу, и ноют усталые члены, а люди рубят деревья, стелют мосты, жгут и уничтожают чашу. Ночной отдых сменяет усталость дневной работы. Приходит смерть, и люди ложатся в могилы, в темноте чащи, обращаясь головами туда, откуда — они верят — свет светит и лежит страна, которую они ищут. Там ли она, так ли направили они свою тяжелую работу — они не знают. Знают другие. Им известно только, что они тяжело трудились, что заслужили отдых, чтобы завтра трудиться опять, или смерть, чтобы успокоиться навеки.

Толпа спит спокойным трудовым сном. Но в ней есть люди, которых члены не ноют, над которыми сон не налег так тяжело, как над остальными, потому что их работа легче. У них были глаза острее, слух чутче, и потому они не рубили дерев, не копали землю лопатами, не настилали мостов. Они проверяли пути, они ходили вперед, они ставили позади вехи и вечно думали

э той стране простора и света, куда стремились. Иногда они подымались на высокие деревья... Но оттуда только бесконечное море древесных вершин колыхалось и шумело листвою... То самое море, на дне которого, там назади — в тесных могилах — полегло столько людей, искавших выхода... И люди спускались опять в чащу, исследовали и меряли путь, а сердца их нередко сжимались от боли, их душу тяготило чувство ответственности, но члены их не ныли и ноги не подкашивались от утомления.

И вот раз в глухую полночь они поднялись от сна и, оставив сияющую толпу, пошли в чащу. Одних неодолимо влекло вперед представление о стране простора и света, других манил мираж близости этой страны, третьим надоело тянуться с «презренной толпой, которая только и знает, что спать да работать руками», четвертым казалось, что все идут не туда, куда надо. Они надеялись разыскать путь своими одинокими усилиями и, вернувшись к толпе, сказать ей: вот близкий путь. Желанный свет тут, я его видел...

И эти люди пошли, а толпа еще спит. До зари далеко, крутом темно. Далеко зашли ушедшие, и многим уже не вернуться. Они сбивались с пути, возвращались, встречались друг с другом и расходились опять. Они менялись опытом своих неудач и успехов, они ставили свои вехи, делали свои зарубки, условные знаки, понятные другим искателям. Иногда кто-нибудь из них наталкивался на какой-нибудь символ, смысл которого не давался пониманию. Тогда сходились другие и по большей части разглядывали знак: знамение неведомой гибели и незнакомой доселе опасности. И так прошло много дней и ночей. Толпа осталась где-то далеко, продолжая прежде намеченный путь, а те, что ушли вперед, — все шли, у них выработался свой условный язык, свои знаки...

И вот в одну ночь, когда отдыхавшая толпа спала, как прежде, еще один человек поднялся задолго до зари и, беспокояно оглядевшись, тоже пустился в чащу. И чаща замкнулась за ним. Он искал пути, как и другие, но был один. Ему непонятен условный язык. Он остановился у громадного столетнего дерева и, подняв свой фонарь, с тоской рассматривает зарубку... Знак, когда-то высеченный твердой рукой, стоит перед ним неведомым иероглифом, и, несмотря на это указание, чаща стоит вокруг него полная прежней тайны, и мрак

кажется еще глубже, лесная глушь еще враждебнее и страшнее... Зачем он поднялся, что его разбудило?

Молодой человек спал плохо. Он метался, и весь этот сон проходил в его мозгу, как это нередко бывает, то в виде образов, то будто написанный где-то, то как воспоминание о чем-то рассказе, звучавшем в его ушах и отдававшимся в сердце скорбными нотами какого-то незнакомого голоса... Только лицо человека, стоявшего перед знаком на дереве, вдруг встало в его воображении с такой знакомой яркостью, что он проснулся и окинул камеру мутным взглядом... Действительность не сразу овладела сознанием. В обширной камере вповалку спала толпа, и один человек склонился у самого огарка над книгой с выражением тоскующего недоумения...

Молодой человек быстро отвернулся. В нем шевельнулась досада. «Что это такое, — думал он, — или я в самом деле становлюсь болен и начинаю бредить?.. Чем я виноват и что мне за дело?.. Я не бросал спящей толпы, я не уходил от нее в чащу, и, наконец, не я и разбудил этого человека... Не я виновен, что путь мысли труден, что они не понимают условных знаков на пути... Я сам родился где-то на глухом бездорожье и сам вынужден искать пути в глухой чаще...»

И молодой человек заснул...

Между тем бродяга прекратил чтение; он посидел некоторое время отуманенный, с выражением разочарования, затем оглядел книжку со всех сторон удивленным и насмешливым взглядом, точно удивляясь, как мог он ждать от нее чего-либо и тратить на нее так много времени... Если бы молодой человек видел все это, то его сон был бы менее спокоен и на его лице едва ли горела бы улыбка...

На следующий день была дневка, затем опять два дня пути с остановками только для ночлегов, и опять дневка. Все это время Бесприютный не заговаривал о книге и как будто избегал Семенова.

VI

Когда теперь на гребне холма Семенов подошел к старосте, на лице Бесприютного виднелось сдержанное и холодное выражение.

— Ну, как вам понравилась книга? — спросил молодой человек.

— Ничего, книга хорошая,— сказал Федор, но в его тоне слышалось полное осуждение книги; он говорил о ней так же, как отзывался раньше о тех, которые помогают «провести время»; вслед за тем он неожиданно заговорил о другом предмете:

— Которая в этой книге вложена карточка,— это кто такие вам приходится?

Семенов вспомнил, что действительно он вложил в книгу фотографию и, забыв об этом, после не мог разыскать карточку.

— Это, должно быть, моя сестра,— ответил он.

— Сестра,— проговорил Бесприютный задумчиво, и Семенова поразили особенный тон, каким звучало в устах бродяги это слово; казалось, все, что можно соединить любовного и нежного с идеальным представлением о сестре,— все вылилось в голосе Бесприютного.— Сестра... так... у меня тоже есть сестра... две сестры было...

— Было? А теперь?

— Да, чай, и теперь есть.

— Вы их давно не видали?

— Давно. Мальчонкой по улице вместе бегивали. С тех пор... Чай, теперь такая же, как и ваша. Только моя — крестьянка. Ну, да ведь все равно это... Все ведь равно — я говорю?

Семенов невольно посмотрел в лицо Бесприютного при этом повторенном вопросе. Суровые черты бродяги будто размякли, голос звучал тихо, глубоко и как-то смутно, как у человека, который говорил не совсем сознательно, поглощенный страстным созерцанием. Семенову казалось тоже странным, что бродяга говорит о сестре, тогда как у него были сестры, как будто представление о личности стерлось в его памяти и он вспоминал только о том, что и у него есть сестра, как и у других людей.

— А мальчик,— спросил он опять,— чать, сынок ейный?

— Да.

— Вам значит — племянник?

— Конечно.

— Чать, и у моей тоже... племянник...— сказал он по-прежнему тихо и с тем же затуманенным взглядом.

Пройдя несколько саженьей, он встряхнулся и резко вернулся к началу разговора.

— Не совсем и эта книга хороша. Не договаривает сочинитель.

— Чего не договаривает? — удивился Семенов.

— Нет настоящего...— И, видя, что молодой человек ждет пояснений, Бесприютный заговорил серьезно и с расстановками.— Не договаривает!.. Да!.. Как то есть надо понимать. Вот у вас племянник. Чать, у него отец с матерью?

— Да.

— Ну, подрастет, станут наставлять... потом в школу, потом к ремеслу аль к месту. Верно?

— Конечно,— ответил молодой человек, недоумевая, к чему клонится этот разговор.

— Ну вот. Это ведь всегда так. Взять хоть скотину: гонят ее, например, по дороге к околице. Станет теленок брыкаться, с дороги соскакивать, сейчас его пастух опять на дорогу гонит. Он вправо — он его справа кнутиком, он влево — его и слева. Глядишь — и привык, придет в возраст, уж он ни вправо, ни влево, а прямо идет, куда требуется. Верно ли?

— Верно.

— То-то. Так вот и с человеком все равно. Только бы с малых лет не сбился, на линию стал. А уж там, на какую линию его установили,— не собьется.

— Это верно все, но к чему вы это говорите?..

— А к тому и говорю, что племянник-то ваш, я вижу, сытенький мальчик, и притом с отцом, с матерью. Поставят его на дорогу, научат, и пойдет он себе жить благородно, по-божьему. А вот Мишка, с которым вы сейчас шли, с малых лет все по тюрьмам да на поселении. Так же и я вот: с самых с тех пор, как пошел за отцом да как мать померла, я, может, и человека хорошего не видал и слова хорошего не слышал. Откуда мне было в понятие войти? Верно ли я говорю?

— Что же дальше?

— Ну вот! Может, спросили бы меня теперь, я бы согласнее в младых летах свою жизнь кончить, чем этак-то жить. И верно, что согласился бы. Так ведь у меня никто не спрашивал, а сам я был без понятия... Положи сейчас кусок хлеба, пуцай мимо голодная собака бежит. Ведь должна она этот хлеб схватить. Ну, так и я. Вот и вырос. Жить мне негде, к работе не приучен. Идешь по бродяжеству — тут всего бывало: где

подают, ну а где и сам промышляешь. Помню это в первый раз мы с отцом да со стариком вон с тем шли. Оголодали. Вот подошли ночью к амбару, в амбаре оконце. Ломать ежели амбар — услышат. Подсадил меня отец к оконцу: «Ну-ко, говорит, пробуй, Федька, пролезет ли голова. Голова пролезет, так и весь пролезешь». А мне боязно: в амбаре-то темно, да еще, может, и чалдон сторожит где-нито за углом. А тоже послушаться не смею. Сунул голову. «Не лезет», говорю (а голова-то ведь лезет!). Вот и слышу, говорит отец Хомяку: «А что, брат Хомяк, ничего не поделаешь, — видно, ломать придется». — «Плохо, — тот отвечает, — услышат на займке или собака взлает. Народ здесь — варвар — убьют». — «Да ведь как быть, — отец отвечает, — мочи моей нет. Ведь я вторые сутки не ел, вчерась свой кусок мальчонке отдал...» Повернулось у меня сердце, куда и страх девался. Сунул голову в оконце. «Тятка, кричу, тятка! Голова-то пролезла!» Ну, вот... А там и пошло; со временем все больше да больше... Вот она — наука-то моя. Поставили меня на линию тоже... А теперь должен я за это отвечать?.. Это как?

— Что же, — заметил Семенов, — если бы вас судили судом присяжных, то, вероятно, все это приняли бы во внимание...

Но тотчас он понял, что сказал ужасную глупость. Бесприютный окинул его быстрым взглядом, в котором он прочел удивление, а затем что-то вроде пренебрежения. И тотчас точно луч блеснул в уме молодого человека: он сообразил теперь, о какой ответственности говорил бродяга, в чем этот человек сомневался, чего добивался от книги.

— Продолжайте, — сказал Семенов, — я ошибся, но теперь понимаю.

По-видимому, бродяга убедился, что недоразумение действительно рассеяно.

— Каждый человек поставлен на линию, — подтвердил он, — вот что. Как же теперь понимать, за что отвечать человеку? Шел два года назад арестант один, так тот так понимает, что ничего этого нет. Помер человек, и кончено. Больше ничего. Все одно — как вот дерево: растет, качается, родится от него другая лесина. Потом, например, упадет, согнет на земле — и нету... И растет из него трава. Ну, опять на это я тоже не согласен...

Он прошел несколько шагов молча и опять, как Семенову показалось сначала, заговорил о постороннем:

— Третий раз я бежал в ту пору. Отец у меня уже помер, товарища не было, пошел один. Ну, скучно было. Тайгой иду, и все вспоминается, как мы тут с отцом шли. Только раз ночью бреду себе знакомой тропкой, запоздал шибко, до ночлега. Хотел в шалашике ночевать, который шалаш мы с отцом когда-то вместе строили. Только подхожу к шалашику — гляжу: огонек горит, и сидит у огонька старик бродяга. Исхудалый, глаза точно у волка. Кидает он на огонь сучья, сам к огню тянется, дрожит. Одним словом, оголодал, и одежда на нем рваненькая. Почитай, нагишом совсем... Вот хорошо, я даже этому случаю шибко обрадовался, — думаю, товарища встретил. Покормил я его, чем богат, чайком обогрел. Посидели, потолковали, — спать!.. Лег я, халат под голову положил... полежал — слышу: встает мой старик, из шалаша вон выходит. «Куда?» — спрашиваю. «Да так, говорит, не спится что-то. Пойду к ручью, водицы в котелок возьму да сучьев натаскаю: завтра пораньше чай варить. Да ты что же, молодец, головой-то под самый навес уткнулся, — чай, ведь душно...» А меня покойник отец учил: случится, говорит, с незнакомым человеком ночевать, пуще всего голову береги. В живот хоть, может, и ткнет, все же труднее убить. А по голове ничего не стоит. Вот я, хоть насчет старика этого и в уме у меня не было, а все же завет отцовский берегу. «Ничего, говорю, в привычку мне этак, и комар не ест». Хорошо!.. Ушел старик к ручью, не идет да не идет. Ночь, помню, темная была, на небе тучи, да еще и неба сквозь дерев не видать. Огонек у входа эдак дымит, потрескивает, да листья шелестят. Тихо. Вот лежал я, лежал — и вздремнул, да не очень крепко. Только слышу — вдруг отец меня окликает: «Федор, не спи!» Так это будто издалека слышно. Открыл я глаза, гляжу опять — огонек дымит да ветка качается. Я опять заснул. Только слышу опять, будто идет кто к шалашу и даже так, что вижу — за огоньком эдак кто-то стоит. И опять: «Эй, Федор, не спи!» Вот я опять и проснулся. Что, думаю, такое это? Ну, как за день я сильно притомился, то и не могу вовсе проснуться — глаза так и слипаются. Заснул опять, да, видно, еще того крепче. Прошло сколько-то времени. Опять слышу — подходит отец, стал в дверях шалашика, руки эдак упер, сам наклонился ко мне в дыру-то: «Слышь,

Федор, не спи, а заснешь — навеки!» Да таково явственно сказал, что сон с меня вовсе соскочил. Гляжу: нет никого, огонек погас, почитай, вовсе, по листьям дождик шумит. И будто за костром кто-то маячит — так помаячил и исчез. Поднял я голову: «Что бы это, думаю, могло обозначать? Видно, неспроста. А где, мол, старик проходящий, что это он в дождь по тайге ходит?» И вдруг опять кто-то крадется тихонько к шалашику. Подошел этот старик, остановился у самого того места, куда я головой улегся, потом слышу — шарит осторожно, хворост разворачивает. Встал я незаметно, выхожу из шалашика. «Что это, мол, ты делаешь, почтенный?» А у него, подлеца, уже и шелеп изготовлен: в тайге вырезал здоровенную корягу... Да, вот оно дело какое. Как же теперь надо понимать: ведь уж это явственно ко мне отец приходил с того свету. Кабы с другим было — может быть, и не поверил, а ведь со мной...

Несколько шагов они прошли молча.

— Рассказать вам, что после у меня с этим стариком вышло? — спросил бродяга, кинув искоса взгляд на молодого человека.

— Расскажите.

— Да, вот я вам расскажу, а вы подумайте, как оно бывает иногда. Потому: вы еще молоды. Книжек-то вы читали много, ну а все же пожили бы с мое, увидали бы такое, чего и в книжках нету. Вот, когда услышал старик такие мои слова, — сейчас бросил свою корягу, сел к огню и говорит: «Ну, бей, говорит, ты человек молодой и в силе. Мне с тобой не справиться, а без одежды да без пищи я все равно в тайге смерть приму. Так уж лучше сразу...» Посмотрел я на старика этого: ноги у него в кровь изодраны, одежонка рваная, промок, дрожит весь; борода лохматая, лицо худое, а глаза горят, все равно как угли. Видно, лихоманка к нему привязалась не на шутку. Жалко мне его стало. «Ты что же это, говорю, на подлости пошел? Я тебя хотел вместо товарища взять, весь бы запас разделил пополам, а ты что задумал?» — «Не хватит, — говорит старик, — все одно на двух-то...» А запасу, правду сказать, и у меня было немного. Тайгой этой идти надо было еще дён шесть, а то и больше, а мне одному-то на три дня в силу хватит. Ну, думал себе, ягодой, мол, станем пробавляться да корнем — как-нибудь выберемся. А как увидел его поступки, тут уж какое товарищество, конечно... Однако отделил сколько-то сухарей, да чаю, да

табаку немного и говорю: «Бери! Я на тебе зла не помню». Взял он, сгреб все обеими руками, сам на меня глазами уставился — не стану ли отнимать... Вижу я: в глазах у него точно огонь бежит. Даже страшно. Собрался я, подвизал котомку и котелок — пошел. Прошел сколько-то, оглядываюсь: старик мой тоже собирается. Завязал все кое-как в узел, айда за мной... Верите, сколько я с ним муки принял, так это и рассказать невозможно. Ни отдохнуть, ни поспать — сейчас он тут как тут. Видели вы летом слепую муху, как она к скотине привяжется? Ну, так и этот старик. И ведь не думайте, нисколько моего добра не помнил: чуть, бывало, прилягу к ночи, прислушаюсь: уж он тут... крадется в тайге и все с корягой. Как только поспевал за мной — удивительно! Я иду скоро, как могу, а он не отстает, да и только. Вот подошел я к нему раз и говорю: «Что тебе надо? Отстань, а коли не отстанешь, тут и жизни твоей конец...» Хотел запугать, да где тут! Отошел я версты три, к вечеру дело было, и думаю: «Дай схоронюсь за дерево, обожду», а сам огонек разложил небольшой в другом месте, подальше. Только, этак через полчаса времени, гляжу, выходит мой старик на тропку... идет, как медведь, переваливается, глаза горят, сам носом по воздуху так и водит. Завидел мой огонек и сейчас в тайгу, да стороной-то, да крадучись, так и ползет к огню с корягой... Что мне тут делать: парень я молодой, непривычный, кругом, может, на сколько верст души человеческой нету, только лес один, на сердце и без того тоскливо, а тут этот старик увязался. Заревел я тут, просто сказать, по-бабьи, да ну бежать. Бежал, бежал, сколько было мочи; наконец притомился, лег и заснул. Сколько-то проспал, просыпаюсь — опять старик тут. Впоследствии времени уж он и стыд потерял. Я к нему усовещивать, а он на меня с корягой так и кидается, так и паскакивает. Ах, ты, господи! Выбился я на вторые сутки из сил, вижу: либо мне, либо ему не жить. Стал супротив его на тропке, дожидаясь. Увидел он, что я стою, да, видно, не испугался: так сослепу с корягой и лезет. А я стою, голосом реву, слезами плачу, вышел уже из всякого терпения, нет моей мочи. Подскочил он ко мне, замахнулся — бац шелепом по голове. Изловчился-таки достать порядочно... Ну, тут уж я ожесточился, вырвал корягу, ударил раз и другой... Да тут же и сам свалился, заснул. Ночью проснулся — так мне и кажется, что опять старик

крадется в тайге потихоньку. Да нет: лежит на тропке, не шевельнется. Схватил я тут котомку да опять бежать. Ни сна, ни отдыха; иду-иду, а самому кажется, что никогда мне из этой тайги не выйти; и все сзади будто старик идет, сонит, переваливается, нагоняет... Как уж я вышел к деревне — и сам не знаю: подняли меня сибиряки у поскотины замертво... Да, так вот оно, дело-то... Иной человек и век проживет без греха. Сходит к празднику в церковь, оттуда домой придет, о божественном разговаривает с детьми, потом пообедаст, ложится спать... Совесть, думает, чиста у меня, не как у прочих других. А между прочим, может, и совесть потому у него чистая, что горя он не видал да на линию такую поставлен. А вот моя линия совсем другая... И совесть у меня нечиста, а иной раз так даже и места себе не найду... И по сию пору, бывает, старик этот не дает мне покою. Потому что, не иначе, думаю я, только что был он тогда вроде как в горячке. А я его, больного человека, убил... Как же теперь, по вашему-то: должен я за это отвечать или нет?..

VII

Не дожидаясь ответа, Бесприютный вдруг сошел с дороги и остановился. Невдалеке виднелась уже кривая сосна. Этапные проходили мимо, и староста занялся счетом людей, не обращая более внимания на молодого человека, который остановился с ним рядом.

Последняя телега поравнялась с ними. На ней сидело несколько женщин, и старый Хомяк глядел с нее своими оловянными глазами. Староста подошел к телеге.

— Что, старичок божий, хорошо ли сидеть-то? — спросил он, взявшись, по обыкновению, за переплет телеги.

Старые губы прощамкали что-то невнятное.

— Стар дедушка, — сказал Семенов.

— Не очень, должно быть, — насмешливо возразил Федор. — Год назад еще его в Одессе отодрали. Ничего — выдержал. Стало быть, еще молодец.

— Что вы это, Федор, говорите?

— То и говорю, что было. По закону, оно конечно, не надó бы, да про закон вспомнили, когда уже всыпали. Ну, что же тут поделаешь — назад не вернешь.

Старый Хомяк закачал головой, его морщинистое лицо пришло в движение, глаза заморгали, и в первый раз Семенов услышал его голос. Он повернулся к Бесприютному, уставился на него глазами и сказал:

— Ничего не поделаешь, парень! Да, ничего не поделаешь.

Он говорил ровным дребезжавшим голосом, бесстрастным, как его тусклый взгляд, хотя, по-видимому, находился в состоянии оживления, на какое только был способен. Долго еще шамкали и двигались бескровные губы, голова шевелилась, даже полуседые волосы, торчавшие из-под шапки, казалось, задорно поднимаются, и среди невинного шамканья слышалась все та же фраза:

— Ничего не поделаешь!

При этом Бесприютного старик называл парнем или малым, вероятно, по старой памяти.

— То-то и я говорю, ничего не поделаешь, всынали, так уж назад не высыпешь,— ответил Федор с выражением грубоватой насмешки; была ли это действительно насмешка, или под ней скрывались горечь и участие, Семенов не мог разобрать. Резкие черты Федора были довольно грубы, и не особенно подвижная обветренная физиономия плохо передавала тонкие оттенки выражения.

За поворотом от кривой сосны действительно открылся и этап. Высокий частокол с зубчатым гребнем скрывал крышу здания; лес подступал к нему с трех сторон. Невдалеке, под темной стеной тайги, небольшая деревушка искрилась несколькими красными огопками, между тем как дома уже терялись в тумане. Невеселый сибирский пейзаж охватывал кругом печальные здания этапа; вечерний сумрак делал картину еще грустнее, но партия весело и шумно оглядела угол частокола и входила в отворенные ворота: ужин манил изголодавшихся, широкие нары — усталых.

Один Бесприютный не изменил походки, не прибавил шагу. Он только окинул этап быстрым, угрюмым взглядом, как бы желая убедиться, что все осталось без перемен с тех пор, как он был здесь в последний раз.

Все было по-прежнему, только разве лес несколько отступил от частокола, оставив при и обнажив кочковатое болото, да частокол еще более потемнел, да караулка еще более покосилась. И бродяга отвел глаза от знакомого здания. Да, все здесь в порядке... здания сгиба-

ются от старости, как и люди, старые окна глядят так же тускло, как и старые очи... Он знал это и прежде.

Посмотрев еще раз кругом на оставшуюся сзади только что пройденную дорогу, на темнеющий лес, на огоньки деревушки, на стаю ворон, кружившихся и каркавших над болотом, и проводив в ворота последнюю телегу, на которой сидел Хомяк, староста сам вошел во двор этапа, где уже слышались шум голосов и суета располагавшейся на ночевку партии.

VIII

Первая суета стихла в старом этапном здании. Места заняты, споры об этих местах покончены. Арестанты лежат на нарах, сидят кучками, играют в три листика, иные уже дремлют. Из отдельных, «семейных», камер слышится крик ребят, матери баюкают грудных детей, а в окна и открытые двери глядит сырая, но теплая сибирская ночь, и полная луна всплывает красноватым шаром над зубцами частокола.

Часа через полтора после прибытия партии два арестанта-кашевара внесли в общую камеру на шесте ушат со щами. Бесприютный вошел вместе с ними из кухни и стал у стола, чтобы наблюдать за раздачей партии горячей пищи. Арестанты засуетились, разбились на кучки. Каждая кучка посылала от себя человека с посудой, который, подходя к столу, произносил: пятеро, четверо, шестеро — и соответственно с этим получал пять, шесть, четыре больших ложки щей. Больные и женщины, кормившие грудью детей, имели при раздаче преимущество, и Бесприютный внимательно и деловито следил за правильностью раздачи.

В это время в ночном воздухе, там, за оградой, слышался топот приближавшейся к этапу тройки. Тройка катила лихо, но под дугой заливался не почтовый колокольчик, а бились и «шаркотали» бубенцы.

— Эй, подтянись, ребята, смирно! — высунулся головой один из караульных. — Чай, это инспектор приехал.

Среди арестантов произошло невольное движение, которое Бесприютный прекратил спокойным замечанием:

— Подходи, ребята, подходи, полно!

И раздача продолжалась прежним порядком, а Бесприютный стоял у стола с тем же равнодушным видом человека, мало заинтересованного всем происходящим.

Раздача еще не совсем кончилась, когда на пороге, выступая из темноты, появилась полная фигура немолодого уже полковника.

— Здорово, ребята! — сказал он тем бодрым и добродушно-веселым тоном, которым приветствуют обыкновенно подчиненную толпу добрые и благодушные начальники.

— Желаем здравия, ваше скородие, — нестройно ответили в камере, и арестанты повстали с мест, с ложками в руках. Иные стали вылезать из-под нар.

— Оставь, ребята, оставь, ничего! — махнул он рукой, входя в камеру. За ним вошел начальник этапа, болезненный и худой офицер, да еще два-три молоденьких прапорщика конвойной команды. Фельдфебель, молодцевато выпятив грудь, вынырнул из темноты и мгновенно прилип к косяку вытянутой фигурой.

— Хлеб-соль, ребята! — продолжал полковник, обходя кругом средних нар. — Не имеете ли претензий?

— Никак нет, ваше скородие, — слышались опять голоса.

— Ну и отлично, ребятунки! А каковы у вас щи? Хороши ли? — И с этими словами он направился к тому концу, где стоял Бесприютный у опорожненного почти ушата. Полковник среди раздававшейся толпы арестантов шел тяжеловатой, но свободной походкой человека, который знает, что эта толпа уже заранее к нему расположена, что на него обращены одобрительные взгляды. Казалось, он испытывал самодовольное чувство от сознания, что он добрый начальник, что он знает, как можно говорить с этими преступными людьми, что он умеет с ними ладить.

Староста стоял на своем месте, и его глаза по-прежнему следили за ложкой разливальщика, причем ни один мускул не шевельнулся при входе и приближении начальника. На мгновение только его быстрый испытующий взгляд остановился на толстой фигуре полковника с тем же выражением, с каким он исследовал за несколько часов перед тем покосившиеся этапные постройки. Казалось, расплывшаяся и несколько обрюзглая фигура инспектора доставила бродяге материал для нового, хотя и не неожиданного заключения. Затем он равнодушно отвел глаза и занялся своим делом.

Но полковник, заметивший бродягу еще на половине своего пути, оказал ему более внимания. Он прибавил шагу, потом, приблизившись, быстро и внезапно остановился, причем ножны его сабли с размаху ударили по коротким ногам. Откинув назад голову с широким добродушным лицом, он взглянул на бродягу из-под громадного козырька и хлопнул себя рукой по бедру.

— Панов! Бесприютный! Да, никак, это ты!

— Я самый,— ответил бродяга, опять кидая на полковника равнодушный короткий взгляд.

— Вот! Сразу узнал,— не без самодовольства обратился полковник к следовавшей за ним кучке подчиненных.— А ведь имейте в виду: уже более двадцати лет я его не встречал. Так, что ли? Да ты меня, братец, узнал ли?

— Как не признать,— ответил Бесприютный спокойно и затем прибавил: — Да! Чать, не менее двадцати-то лет...

— Двадцать, двадцать, я тебе верно говорю! Уж я не ошибусь,— у меня, братец, память! Д-да. Имейте в виду, господа,— это было два года спустя после моего поступления на службу, как мы с ним встретились первый раз. Как же! Мы с ним старые знакомцы. Много, братец, много воды утекло.

— Так точно, ваше высокородие,— ответил бродяга равнодушно. Казалось, он не видел особенных причин к тому, чтобы радоваться и этой встрече, и вызванным ею воспоминаниям.

— Ну, каково поживаешь, братец, каково поживаешь? — И добряк полковник присел на угол нары с очевидным намерением удостоить беднягу благосклонным разговором.

Бесприютный ничего не ответил, но это не остановило словоохотливого полковника. Повернувшись в свободной и непринужденной позе фамильяричающего начальника к стоящим за ним офицерам, он сказал, указывая через плечо на бродягу большим пальцем:

— Русская поговорка, гора, дескать, с горой не сходится!.. Да-с... Вот она, судьба-то, сводит. Имейте в виду, господа, двадцать лет назад я вел партию в первый раз. Понимаете, молодой прапорщик, первый мундир, эполеты, одним словом — начинал карьеру. А он в то время бежал во второй раз и был пойман. Он молодой, и я молодой... Оба молодые люди у порога, так ска-

зять, жизни... И вот судьба сводит опять... Знаете, для ума много, так сказать... Понимаете, для размышления...

Почувствовав некоторое затруднение в точной формулировке тех философских заключений, которые теснились под его форменной фуражкой, полковник быстро повернулся опять к бродяге и измерил его с ног до головы пристальным и любопытным взглядом.

Фигура Бесприютного как-то потемнела; он насутился и как будто слегка растерялся. Но полковник, не замечавший, по-видимому, ничего, кроме своего собственного прекраснодушия, продолжал осматривать своего собеседника и при этом слегка покачал головой.

— Постарел, братец, постарел. А что! Я, брат, слышал, что ты с тех пор еще несколько раз бегал. Небось раз десять пускался, а?

— Тринадцать раз,— глухо ответил Панов.

— Ай-ай-ай. Имейте в виду,— повернулся опять полковник к молодым офицерам,— и все неудачно!

Инспектор покачал опять головой с видом глубокого сожаления. И это сожаление было совершенно искренно. Конечно, в то время, когда он конвоировал партию, и после, будучи начальником этапа, он не только не отпустил бы Панова на волю, но даже, пожалуй, усилил бы в иных случаях надзор за ловким бродягой. Конечно, и теперь в случае побега он постарался бы с особенным усердием устроить облаву, потому что этого требовали прямые интересы его службы. Но ведь Панов-Бесприютный мог убежать не у него (у него вообще не бегали); он мог уйти с каторги или поселения, и, в этом случае встретившись с ним где-нибудь на тракту, полковник без сомнения дал бы ему рубль на дорогу и проводил бы старого знакомого добрыми пожеланиями. Теперь он искренно жалел человека, с которым его связывали воспоминания о давнем прошлом. Когда он начинал свою карьеру молодым урядником конвойной команды, Бесприютный начинал карьеру бродяги, и теперь в сердце полковника ожили давние приятные ощущения. Он был тогда молод, усйки только что пробились над губой и доставляли ему такое же удовольствие, как и новый мундир и погоны; все это наполняло его жизнь радостью и блеском. С тех пор он подвигался вперед и вперед по ровной, проторенной и верно расчищенной дороге. Молодому прапорщику жизнь представлялась целой лестницей повышений. Если во столь-

ко-то лет он достигнет чина поручика, то, наверно, умрет полковником... а при успехе... Теперь полковник оглядывался назад на пройденное пространство и видел с удовольствием, что он ушел гораздо дальше, чем это представлялось безумному фендрику: вот он еще бодр и крепок, а уже достиг высшего предела своих молодых мечтаний. Он уже полковник, и все, чего удастся еще добиться по службе, будет сверхсметным подарком судьбы. И старик инспектор был доволен своей трезвой, благоразумной, уравновешенной жизнью; у него была семья; сына он поставил сразу гораздо выше, чем стоял сам при начале пути; дочери он дал приданое, потому что он не пьяница и не картежник, как многие другие. А исполнив все это, он снокойно сомкнет глаза перед последним часом, потому что и там, в другом мире, его формуляр — в этом он твердо убежден — заслужит полное одобрение.

Да, вот какова его жизнь! А ведь не все умеют так устраивать ее. Полковник испытывал в глубине сердца — под сожалением к бродяге — еще то особенное чувство, которое заставляет человека тем более ценить свой уютный угол, свой очаг, когда он вспоминает об одиноком и усталом путнике, пробирающемся во тьме под метелью и ветром безвестной и нерадостной тропой.

Хорошо полковнику, согревшему свою жизнь светом общепризнанных солидных добродетелей. А вот он — старый бродяга — стоит перед ним, сгорбившись, в том же сером халате, с тем же тузом на спине, с сединой в волосах, с угрюмой лихорадкой во взгляде. Да, карьера Панова, связанная в воспоминании полковника с началом его собственной карьеры, — не удалась. Несмотря на всю силу и удачу, несмотря на то, что имя Панова гремит по всему тракту, что об его ловкости и влиянии сложились целые легенды, что его имя от Урала и до Амура известно всем гораздо более, чем знают имя полковника, даже в районе его служебного влияния, — все же к этому имени всюду прибавляется один эпитет — несчастного, незадачливого бродяги.

Полковник опять повернулся к своим спутникам, и во взгляде, который он бросил им, заключалось целое невысказанное наставление. Наставление, очевидно, было понятно, потому что молоденький урядник, державший в руках новенькую папаху с кокардой, тоже посмотрел на бродягу и покачал головой; за ним так же

укоризненно покачали головами два его сотоварища. Только один смотритель этапа, худой, с раздражительным и угрюмым лицом, не обращал на слова философствовавшего начальника никакого внимания, и вся его фигура обличала по меньшей мере равнодушие и пассивное неодобрение. Впрочем, может быть, это происходило оттого, что Степанов, немолодой уже поручик, и вообще-то не вполне соответствовал видам начальства, получал частые выговоры, а теперь, кажется, был еще вдобавок с похмелья.

— Удалось ли хоть побывать на родине? — спросил опять полковник бродягу.

— До своей губернии доходил два раза, — говорит бродяга и затем добавляет глуше: — в своем месте не бывал ни разу.

— Ай-ай-ай! — закачал опять головой полковник, и затем, усевшись поудобнее на нарах, он положил локти на коленях и, сложив руки ладонями, подался туловищем вперед, как человек, располагающийся побеседовать подольше. Раздача была кончена, ушат убрали, у Бесприютного не было больше дела у стола, но он стоял на том же месте. Теперь у него не было уже того равнодушно-горделивого вида, как прежде. Окруженный кучей арестантов, стоявших на почтительном отдалении, бродяга стоял с несколько растерянным видом прямо перед сидевшим в свободной позе инспектором.

— Ну, — произнес тот, усевшись, — скажи ты мне, куда ты все бегаешь?

Бродяга еще больше растерялся, и, если бы полковник был несколько наблюдательнее, у него, вероятно, не хватило бы духу продолжать свой допрос. Но он принадлежал к числу тех людей, для которых самодовольное прекрасноречие застилает все происходящее перед глазами. В этом была его несомненная сила, и Бесприютный как-то растерянно ответил:

— Да как же, ваше высокородие, в свою сторону хочется все...

— Так! — сказал полковник. — А давно ли ты оттуда?

— Дитёй оттуда, ваше высокородие.

— Отец твой ведь помер в Сибири?.. Ну, а мать-то жива?

— Нету. Ранее еще померла, без матери вырос, — сказал Бесприютный, и затем как-то робко, будто высказывая последний аргумент и вместе боясь за него

перед лицом этого бесноватно-здравомыслящего человека, он добавил: — Сестра у меня родная...

— Сестра! Пишет она тебе письма?

— Где уж писать!

— Может, и она умерла давно.

— Две было,— протестует бродяга.

— Ну, пусть. Ну, допустим, обе они живы. Так ведь они теперь замужем, своя семья у них, дети. И вдруг явишься ты, беспаспортный, беглый из Сибири... Думаешь — обрадуются? Что им с тобой делать?.. Имейте в виду, господа,— повернулся опять полковник с своим поучением к молодежи,— я знаю этих людей: чем опытнее бродяга, чем больше исходил свету, тем глупее в житейских делах.

Было что-то ужасное в этой простой сцене. В голосе полковника звучала такая полная уверенность, что, казалось, сама практическая жизнь говорила его устами, глядела из его несколько заплывших глаз; между тем опытный бродяга, тот самый Бесприютный, который пользовался у сотен людей безусловным авторитетом, стоял перед ним и бормотал что-то, как школьник. Лица обступивших эту группу арестантов были угрюмы. На одной из нар сидел в своей обычной позе Хомяк, и даже он как будто прислушивался к громкому голосу полковника и к тихим ответам Бесприютного.

— Эх, вы! — махнул полковник рукой. — Недаром говорится: горбатого исправит могила!

И затем, переменяв тон, он добавил благодушно:

— А постарел ты, братец, сильно постарел. Да и то сказать, все к могиле идем. И я не тот, что был: женился, пятеро детей; старший учение кончает, дочь невеста... Вон меньший карапуз во дворе играет.

Взгляд Бесприютного, который он поднял на полковника, стал как-то тяжел и мутен. Но полковник теперь не глядел на бродягу. Полковник знал про себя, что он добр, что его любят арестанты «за простоту». Вот и теперь он приехал сюда со своим мальчишкой, и семилетний ребенок играет на дворе с собакой среди спущенной по двору канальной толпы. Прислушавшись, инспектор различил среди наступившей в камере тишины игривое урчание собаки во дворе и звонкий детский смех.

— Васька, эй, Васька,— крикнул полковник.

— Василь Ваныч,— повторил почтительно стоявший у дверей фельдфебель.

На пороге открытой двери появился краснощекий мальчуган в синей косоворотке и военной фуражке. Свет керосиновой лампы на мгновение заслепил его голубые глаза; мальчик с улыбкой закрыл их рукавом, но затем, разглядев отца, он бросился к нему с веселым смехом среди расступающихся арестантов. Физиономия старого полковника расплылась благодушной улыбкой; с нее исчезли последние признаки философского глубокомыслия; он поставил около себя своего любимца и, положив ему на голову свою руку, повернул лицо мальчика к бродяге.

— Вон какой растет, — произнес он. — Это у меня самый младший, а ведь тогда, как мы с тобой в первый-то раз шли, я еще сам молокосос был.

Мальчика не пугала серая толпа, окружавшая его со всех сторон в этой камере, — он привык к этим лицам, привык к звону кандалов, и не одна жесткая рука каторжника или бродяги гладила его белокурые волосы. Но, очевидно, в лице одиноко стоявшего перед отцом его человека, в его воспаленных глазах, устремленных с каким-то тяжелым недоумением на отца и на ребенка, было что-то особенное, потому что мальчик вдруг при-смирел, прижался к отцу головой и тихо сказал:

— Папа, пойдем отсюда!.. Папочка!..

— В самом деле пора. Мальчишка набегался за день, поневоле спать захочет. Ну, Бесприютный, прощай. Спокойной ночи, ребята, счастливый путь!

— Вам также, — послышалось откуда-то несколько голосов. Ближайшие арестанты молчали.

Кажется, мальчик на этот раз, по счастливому инстинкту, оказался благоразумнее опытного и «знающего этот народ» инспектора. Когда отец и сын направились к выходу, Бесприютный провожал их горящими глазами; лицо его сделалось страшно, он скрипел крепко стиснутыми зубами,

IX

Утомленный дневным переходом, Семенов заснул скоро и, вероятно, очень крепко, потому что очень долго шум, стоявший в камере, не мог его разбудить. Однако мало-помалу крепкий сон стал переходить в беспокойство, потом над ним нависло какое-то дремотное полусознание. Молодой человек слышал неприятный гул голосов, сквозь который прорывался то чей-то ок-

лик, то клочок песни, и опять все эти звуки удалялись, тонули, чтобы опять выделиться с беспокоящею резкостью. Особенно неприятным казался ему один голос, звучавший громче других. Он как будто узнавал его сквозь сон, и от этого ему еще более не хотелось проснуться, не хотелось убедиться в том, что он не ошибся.

— Пей, мамка, пей!.. Эй, жги, нажигай, молодка!

Семенов открыл отяжелевшие веки, и в сизом тумане душевной камеры перед ним обрисовывалось красное лицо с горящими глазами. Кто-то сидел на нарах, обнявшись с пьяной простоволосой арестанткой, которая покачивалась и, нагло ухмыляясь по временам, заводила пьяную песню. Большинство арестантов спало, но в центре камеры шла попойка. Увидев все это, Семенов тотчас же опять сомкнул глаза, и двоившееся сознание затуманилось. «Это был только сон», — думалось ему во сне об этой картине из действительности.

Но вдруг шум усилился. Молодой человек проснулся и некоторое время не мог отдать себе отчета в том, что перед ним происходило, — в камере кто-то плакал, как-то дико и с причитаниями. Это был голос Бесприютного, и к нему примешивались пьяные причитания арестантки.

— Феди-инька, горемышно-ой!.. О-ох-ох-хо-о-о!..

И пьяная простоволосая баба тянулась руками, стараясь приподнять голову Бесприютного, припавшего к нарам, а сам Бесприютный как-то глухо и протяжно ревел. Это не был плач пьяного человека и не прерывистое рыдание мгновенно прорвавшегося горя. Это был именно протяжный грудной рев, как-то безнадежно, ужасающе ровный, долгий, которому, казалось, не будет конца. В камере воцарилось гробовое молчание. Арестанты приподнимались на нарах; недоумевающие лица обращались к Бесприютному, и на них виднелось общее выражение испуга.

Вдруг Бесприютный поднял голову и обвел взглядом всю камеру. Казалось, водка не оказала на него обычного действия: его глаза не затуманились, черты не расплылись. Напротив, бледное лицо стало как будто суше и резче, а взгляд горел.

Он тяжело приподнялся, опираясь руками на нары, и все искал кого-то блуждающим взором. Вдруг он увидел Семенова, который смотрел на бродягу вдумчиво и с участием. Во взгляде Бесприютного мелькнуло определенное выражение.

— А, барин! — крикнул вдруг Бесприютный, подавая всем могучим корпусом вперед, и скверное циничное ругательство сорвалось с его языка. — Ва-апросы, — продолжал с горькой язвительностью, — я, брат, и сам спрашивать мастер... Нет, ты мне скажи: за что я отвечать должен — вот что. А то ва-апросы! На сигарки я твою книгу искурил... ха-ха!.. Се-естра! У меня у самого сестра.

И опять ругательства полились уже по адресу сестры, на этот раз еще более циничные и ожесточенные. Казалось, он чувствовал особое, злобное наслаждение, втаптывая в грязь свою мечту о мифической сестре; и вместе с тем безумный огонь в его глазах разгорался еще сильнее, а из груди вырывался сухой кашель, похожий на глухие стоны.

Он замолчал и опустил голову. Когда он поднял ее, выражение лица изменилось.

— Из лесу выйду, — заговорил он опять, глядя куда-то в пространство тоскующим взглядом, — люди этта в полях копошатся, чего-то работают, стараются... А я гляжу на них, точно волк из кустов... А что делают, для чего стараются... не знаю!..

Гробовое молчание камеры, казалось, стало еще глубже. Освещенная салным огарком, она вся замерла, хотя не спал в ней никто, и отрывистые жалобы и проклятия бродяги с какою-то тяжелою отчетливостью падали в испуганную, взволнованную и сочувственную толпу. Даже пьяная арестантка прекратила свои причитания и уставилась на Бесприютного мутным застывшим взглядом.

Вдруг среди тишины раздался дребезжащий голос старого Хомяка. Уже несколько минут назад старик, кряхтя и охая, медленно сполз с нары и направился к Федору. Теперь он остановился по другую сторону нары и произнес своим обычным тоном:

— Ничего не поделаешь, парень... Д-да!..

И затем прибавил с более определенным выражением:

— Терпи, Федор, терпи, паренек. Ничего не поделаешь.

Помутившийся от внутренней боли взгляд Федора повернулся к Хомяку.

— А ты, старый сын! Молчи, поротая собака!.. Что? Думаешь, и я эдак же? И меня в девяносто лет... пороть... Н-нет же!.. — стукнул он кулаком по нарам так,

что дерево затрещало, и в то же мгновение в камере началась невообразимая возня. Семенов видел только, как в руках Бесприютного сверкнуло что-то, как ближайшие арестанты кинулись на него. Завязалась борьба. Федор рвался и бился, как бешеный зверь, но толпа, без вражды и гнева, но с молчаливым испугом настойчиво боролась с одним человеком. Более робкие повскакали на нарах, крестясь и вздыхая.

Наконец толпа осилила. Несколько тел грузно рухнулись на пол.

— Берегись, братцы, пожик!

Отнятый у Панова и кинутый чьей-то рукой из толпы пожик с лязгом упал на пустые нары. Из груди Бесприютного вырвался стон, и затем он только храпел и глухо рыдал. Его вязали.

— Господи, царица небесная, — нугливо причитал чахлый арестант, глядевший на всю эту сцену широко раскрытыми лихорадочными глазами.

Когда, привлеченные шумом, в открытые настежь двери камеры вошли конвойные солдаты, все было кончено. Панов, весь опутанный веревками, принесенными наскоро со двора, где висело белье, уже лежал на нарах. Он глухо рычал и безумно озирался, крепко стиснув губы, на которых виднелась красноватая пена. Лицо страшно побледнело, и на нем резко виднелись черные огромные глаза, в которых теперь исчезло всякое выражение. С какой-то ужасающей размеренностью бродяга поворачивал голову, останавливая взгляд на ком-нибудь из арестантов. По всем вероятностям, он никого не видел; однако когда молодой человек почувствовал на себе этот упорный взгляд, ему сделалось жутко.

Понемногу разговоры стихли; усталые, измученные борьбой арестанты улеглись по нарам, оставив около связанного троих караульных. Хомяк подошел было к нему, но, увидев его, Федор заметался так враждебно, что старик отошел. Кряхтя и охая, он уселся в обычной позе недалеке от Федора, но так, что тот не мог его видеть, и все стихло. В окна глядела ночь, свеча нагорела и вздрагивала, по временам стопа и ворочался связанный бродяга да храпел уже кое-кто из арестантов. Молодой человек тоже забылся, но его дремота странно сливалась с бодрствованием: он все время сознавал на себе тяжелый взгляд лежавшего насупротив бродяги.

Много ли времени прошло таким образом, сказать было бы трудно, но вдруг молодой человек встрепенулся, и его дремоты мгновенно как не бывало. Прямо против него на нарах сидел Федор, по-прежнему опутанный веревками, но теперь его глаза смотрели сознательно.

— Барин, а барин! — тихо звал Семенова бродяга, и этот тихий возглас разбудил молодого человека. По видимому, его услышал также старый Хомяк. Он раскрыл глаза и, тяжело кряхтя, спустился с лавки. Остальные арестанты крепко спали; спали даже приставленные к Федору караульные, прислонившись спинами к колонке и низко свесив головы.

Хомяк подошел к Федору, вздохнул и сказал со старческим сожалением:

— Эх, паренек, паренек!..

Покачав головой и вздохнув, он прибавил обычную сентенцию:

— Что тут поделаешь, терпи! — и затем стал развязывать дрожащими руками веревки.

— Барин, помоги развязать, — сказал Федор Семенову.

Тот подошел и, вынув перочинный ножик, разрезал веревку в нескольких местах. Лицо бродяги было бледно, глаза глядели хотя и угрюмо, но совершенно сознательно, так что молодой человек несколько не колебался исполнить обращенную к нему просьбу Бесприютного. Последний встал на ноги, кивнул головой и, потупясь, быстро вышел из камеры. Протягивая перед собой руки, пошел за ним и Хомяк.

Молодой человек посмотрел им вслед и затем, улегшись на наре, выглянул в окно. На дворе было темно. Две фигуры медленно ходили взад и вперед, о чем-то разговаривая. Семенов не слышал слов, и только грудной голос Бесприютного долетал до его слуха. Казалось, бродяга жаловался на что-то, изливая перед стариком наболевшую душу. Временами среди этой речи дребезжали старческие ответы, в которых молодому человеку слышалась неизменная безнадежная формула смирения перед судьбой.

Наконец Федор подвел старика к стене, подостлал свой халат и уложил старого бродягу. А сам уселся на ступенях крыльца, так что молодому человеку была видна вся его фигура.

И долго сидел этот человек, опустив голову и не ше-

велясь, и молодой человек, крепко прижавшись горячей головой к холодному железу решеток, смотрел на него и думал.

А ночь все лежала над двором, безмолвная и темная.

Х

Этапный двор казался угрюм и неприветлив. Ровная с прибитой пылью площадка замыкалась забором. Столбы частокола, поднявшись рядами, встали угрюмой тенью между взглядом и просторною далью. Зубчатый гребень как-то сурово рисовался на темной синеве ночного неба. Двор казался какой-то коробкой... в тени смутно виднелся ворот колодца и еще неясные очертания каких-то предметов. Глухое бормотание и дыхание спящих арестантов неслись из открытых окон...

Сверху темнота налегла на эту коробку плотной непроницаемой крышкой. Где-то далеко в вышине, вглядевшись, молодой человек различил неясные очертания белесоватого облака, тихо плившего над этой коробкой. Но очертания были нежны, смутны; казалось, этот бесцветный призрак облака тонул и терялся в густой темноте, наводя своим неопределенным движением грустные, тоскливые грезы...

И молодому человеку показалось в эту темную безлунную ночь, что весь мир замкнулся для него этой зубчатой стеной... Весь мир сомкнулся, затих и замер, огравдившись частоколом и захлопнувшись синеватою тьмою неба. И никого больше не было в мире... Был только он да эта темная, неподвижно сидевшая на ступеньках фигура... Молодой человек отрешился от всего, что его волновало гневом, надеждами, запросами среди шума и грохота жизни, которая где-то катилась там... далеко... за этими стенами...

Это было когда-то давно. Теперь ему ни до чего не было дела, кроме одной мрачной и неподвижной фигуры...

И по неясной для него самой аналогии в его воспоминании наряду с этой темной фигурой возникала другая, вставал в душе эпизод далекого детства.

Отца его все любили. Он был добр и великодушен — сердит, да отходчив. За обиду он вознаграждал всегда очень щедро, и многие сами напрашивались на обиду, чтобы потом воспользоваться великодушием сожаления. Однажды отец нанял молодого лакея. Говорили, что это

сирота, что ему выпало счастье в виде места у доброго барина. Это был странный человек, не похожий на остальную дворню, чуткий и гордый. Отец вспылил как-то, разгневался и при всех ударил молодого лакея. Потом оказалось, что отец был совершенно не прав. Семенов вспоминал болезненное, горькое, исполненное недоумения выражение на лице оскорбленного. На другой день молодой слуга ушел. Связал свои вещи в узелок, надел узелок на палку, вышел за ворота и тихо, не оглянувшись, ушел по дороге. Мальчик долго глядел, и на глазах его были слезы, потому что он не знал, откуда пришел этот Павел и куда он ушел, он знал только, что ему было плохо и будет еще хуже... Но он ушел, потому что над ним совершена несправедливость. Отец предлагал ему денег, извинялся перед ним, уговаривал его, но он, отвернув глаза в сторону, твердил одно: «Прощайте, пан, пойду». И пошел.

Но раньше чем уйти, всю ночь до утра он просидел на крыльце, и мальчик долго смотрел на него из окна. Павел сидел точь-в-точь так, как теперь сидел бродяга: опустив голову, не двигаясь, точно будто он окаменел или спит непробудным тяжелым сном. Он не спал, а только тосковал о том, что добрый человек, которого все любили и которого он тоже начал любить, совершил над ним жестокую неизгладимую несправедливость. И мальчик никогда не мог забыть этого ночного часа, и этой фигуры, и совершенной над этим человеком несправедливости. Он не примирился с нею, и даже теперь, когда он вспоминал об отце, к его любви и к её грусти примешивалось воспоминание о тяжелой, неизгладимой и неизглаженной неправде.

И вот опять такая же ночь и такая же фигура. Но теперь не отец виноват в тяжелой неправде... Виноват кто-то другой, тоже любимый и тоже для многих других великодушный и щедрый... Жизнь над бродягой совершила эту страшную несправедливость...

И молодой человек с горечью отворачивался от того, что называют жизнью, яркой, веселой, сверкающей, гремющей, живой и неудержимо катящей свои волны. Душа одного человека — это целый мир, и вот этот мир в душе бродяги отравлен тяжелой неправдой. За что?

Теперь эта душа открылась перед молодым человеком; он понял, чего искал бродяга своим темным умом; понял, что и перед человеком с грубыми чертами могут вставать проклятые вопросы. Жизнь оскорбила этого

человека — вот он восстал, и он ставит эти вопросы, обращая их к жизни, требуя у нее ответа.

То, что другим дается как подарок, с рождения, что составляет как бы воздух, которым грудь дышит даже без сознания этого блага, то для бродяги — иллюзия. «У меня тоже сестра!» *Тот же*, как и у других, как у всех людей!.. Да, в устах бродяги это только иллюзия, это надежда, миф, идеал. *Как у всех!* Бродяга мечтал о том, чтобы быть, *как все*, мечтал паивно, и эта мечта разбивалась, как все недостижимые иллюзии.

Уйти? Но куда же? Павел — тот вскинул свою палку на плечи, шел, шел по прямой дороге, все уменьшаясь, мелькнул беленькой точкой у самого леса, который составлял для мальчика грань видимого мира. Мелькнул еще раз и скрылся. Будет ли ему там хорошо или дурно, найдет ли он там забвение горькой обиды, спокойствие, счастье или тягчайшие, еще более жестокие обиды?..

Сегодня, после того как последние иллюзии жизни разбиты практическим полковником, бродяга тоже пытался *уйти*, совсем расчитаться с жизнью. Но куда бы он ушел? Что встретил бы там, за краем видимого мира?.. За что он должен ответить и кто перед ним ответит? Забвение ждет его или награда за страдания? Или в самом деле — ничего, этот мир — душа человека, мир, отравленный ядом незаслуженного страдания, — промелькнул и исчезнет, оставив в общем балансе природы одно ничем не вознагражденное, ничем не уравновешенное страдание?..

Вот как понимал молодой человек теперь все вопросы бродяги, его поиски в книгах, его иллюзии. Вот о чем он думал, глядя с переполненным сердцем на темную неподвижную фигуру.

О чем же в эту ночь думал сам бродяга? Быть может, он ни о чем теперь не думал, а только ощущал в сердце тяжесть от обломков разбитых надежд и боялся пошевелиться, чтобы вместе с ним не зашевелилась глухая тоска. И потому он сидел, опустив голову и с закрытыми глазами.

А между тем ночь бежала и убегала своим обычным путем, и мир начинал пробуждаться. Жизнь тихо, неслышно, но неуклонно прокрадывалась на маленький дворик. Сначала темная крышка, плотно надвинувшаяся сверху, стала будто приподыматься. Дыхание утра легко развеяло сумрачную серую тьму ночи... Небо за-

синело, стало прозрачнее, взгляд молодого человека уходил все дальше и дальше ввысь. Мир сверху раздвигался, маня синим простором.

Потом розовые лучи разлились по небу с восточной стороны и, смешавшись с сумерками, заиграли на зубцах частокола. Это розовое сияние упало вниз на землю, где прежде лежала густая тень, мягко легло на дерево колодца, на прибитую росой пыль, заиграло в капельках на траве и разливалось все обильнее и дальше.

Затем белая тучка выглянула краем из-за зубцов частокола. Она будто заглянула во двор и понеслась вверх, все выше и выше. За ней другая, третья. И чем быстрее пелись они, играя и переливая лучами, тем яснее было видно, как они высоко, как бесконечно велик свод...

Встрепевшись от холода и росы, жаворонок, спавший за кочкой вне ограды, вдруг поднялся от земли и, кинувшись вверх, точно камень, брошенный сильной рукой, посыпал оттуда яркой, нежной, веселой трелью. И вслед за тем мысль молодого человека перешагнула за ограду, и опять сверкающий, манящий, живой мир развернулся перед его воображением. Он увидел, как тихо колышутся ветки елей под дуновеньем утреннего ветра. Там вьется меж деревьев еще спокойная и безмолвная дорога, там ручей журчит и бормочет под белой пеленой утреннего тумана... И речка, и луга, и горы — все встало в воображении молодого человека и потянулось вдоль необозримой, бесконечно разнообразной перспективой.

Свежее дуновение утра коснулось также и неподвижной фигуры сидевшего на крыльце человека. Бесприютный вздрогнул от холода, пробежавшего по спине, повел плечами и поднял голову. Затуманенным взглядом он посмотрел на небо.

Из «семейной» камеры вдруг послышался плач ребенка, и эти неудержимые всхлипывания резко пронесли из окна по этапному дворику. Когда ребенок смолкал на время, тогда было слышно дыхание спящих, чье-то сонное бормотание и храп. Но вскоре детский плач раздавался опять, наполняя собой тишину свежего утра.

Бледная, изможденная, вышла на крыльцо мать ребенка. Месяца два назад она родила, и теперь в дороге, несмотря на все трудности, на собственные страдания, она с материнской неутомимостью и энергией отстаива-

ла юную жизнь. И, по-видимому, старанья не оставались безуспешны: достаточно было прислушаться к звонкому, крепкому и настойчивому крику ребенка, чтобы получить представление о здоровой груди и хороших легких.

Нельзя было того же сказать о матери. Некрасивое, испытанное и изможденное лицо носило следы крайнего утомления; глаза были окружены синевою; она кормила и вместе с тем вынуждена была продаваться за деньги, чтобы покупать молоко и окружить ребенка возможными в этом положении удобствами. Теперь она стояла на крыльце, слегка покачиваясь на нетвердых ногах. Она, казалось, все еще спала, и если двигалась, то лишь под впечатлением детского крика, который управлял ею, помимо ее сознания.

Бесприютный поднялся.

— Матрена! — окликнул он женщину, — тебе молока, что ли?

Женщина протерла глаза, увидела Бесприютного, и довольное, доброе выражение появилось на ее сонном лице.

— А, ты здесь, Федор? Никак, уже встал? Да, Федорушко, молочка бы ему: слышь, как заливается.

Федор направился к небольшому домику, где помещались караулка и кухня. Каждый раз с вечера он заготавливал молоко для партионных ребят, и не было еще случая, чтобы он забыл об этом. Не желая будить кашеваров, так как было еще рано, Бесприютный вышел из кухни во двор с охапкой щенок и кастрюлькой. Через минуту синий дымок взвился кверху, и огонь весело потрескивал и разгорался. Бесприютный держал над пламенем кастрюльку, арестантка, все еще сонная, с выбившейся из-под платка косой, стояла тут же.

— Ишь, заливается, орет, — произнес Бесприютный, — ты бы хоть грудь дала.

— Чего давать, молока ни капли нету; всю он меня высосал...

— Ишь бутуз. В кого он такой уродился? Ась?

Арестантка слегка потупилась.

— Да, чать, в Микиту Тобольского, с ним я в ту пору жила, — ответила она грустно. — А ты, Федор, вечер пошумел маленько.

— Пошумел, — ответил Бесприютный, — на вот, тащи. Покорми дитё скорей.

Арестантка ушла. Бесприютный поднялся и прислу-

шался, как мадьчишка тянул теплое молоко, жадно ворча и чмокая. Лицо бродяги стало спокойнее.

А между тем день совсем разгорелся. Выкатилось на небо сияющее солнце, лес вздыхал и шумел, шуршали за оградой телеги, слышно было, как весело бежали к водопою лошади, скрипел очен колодца.

Жизнь закипала кругом и вливалась также в сердце бродяги. Его лицо было спокойно, как будто вчерашнего не бывало, как будто ожили надежды и образ мифической сестры загорелся всеми живыми красками, как те облака, что бежали в синева небес...

Бродяга глядел своим обычным взглядом. Выражение горечи опять спряталось куда-то в глубь его спокойных, задумчивых глаз, и в движениях явилась привычная уверенность авторитетного старосты.

Он разбудил кашеваров, потом вошел в общую камеру.

— Ну, вставай, ребята, вставай. Переход поньче дальний.

— А много ли?

— Тридцать верст до лукояновского стану.

— Тише, ребята, не возись,— добавил он, взглянув в сторону, где было место молодого человека.— Барин вон заснул... Чай, всю ночь не спал — не буди! Уходить станем, тогда побудим.

Действительно, молодой человек спал. Он вздыхал полной грудью; чистое бледное лицо было спокойно, и ветер, врываясь в окно, слегка шевелил его белокурые волнистые волосы...

1885

В ДУРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Из детских воспоминаний моего приятеля

I. Развалины

Моя мать умерла, когда мне было шесть лет. Отец, весь отдавшись своему горю, как будто совсем забыл о моем существовании. Порой он ласкал мою маленькую сестру и по-своему заботился о ней, потому что в ней были черты матери. Я же рос, как дикое дерево в

поле, — никто не окружал меня особенною заботливостью, но никто и не стеснял моей свободы.

Местечко, где мы жили, называлось Княжье-Вено, или, проще, Княж-городок. Оно принадлежало одному захудалому, но гордому польскому роду и представляло все типические черты любого из мелких городов юго-западного края, где, среди тихо струящейся жизни тяжелого труда и мелко-суетливого еврейского гешефта, доживают свои печальные дни жалкие останки гордого панского величия.

Если вы подъезжаете к местечку с востока, вам прежде всего бросается в глаза тюрьма, лучшее архитектурное украшение города. Самый город раскинулся внизу над сонными, заплесневшими прудами, и к нему приходится спускаться по отлогому шоссе, загороженному традиционной «заставой». Сонный инвалид, порыжелая на солнце фигура, олицетворение безмятежной дремоты, лениво поднимает шлагбаум, и — вы в городе, хотя, быть может, не замечаете этого сразу. Серые заборы, пустыри с кучами всякого хлама понемногу перемежаются с подслеповатыми, ушедшими в землю хатками. Далее широкая площадь зияет в разных местах темными воротами еврейских «заезжих домов», казенные учреждения наводят уныние своими белыми стенами и казарменно-ровными линиями. Деревянный мост, перекинутый через узкую речушку, кряхтит, вздрагивая под колесами, и шатается, точно дряхлый старик. За мостом потянулась еврейская улица с магазинами, лавками, лавчонками, столами евреев-менял, сидящих под зонтами на тротуарах, и с навесами калачниц. Вонь, грязь, кучи ребят, ползающих в уличной пыли. Но вот еще минута и — вы уже за городом. Тихо шепчутся березы над могилами кладбища, да ветер волнуется хлеба на нивах и звенит унылою, бесконечною песней в проволочках придорожного телеграфа.

Речка, через которую перекинут упомянутый мост, вытекала из пруда и впадала в другой. Таким образом, с севера и юга городок ограждался широкими водяными гладями и топями. Пруды год от году мелели, зарастали зеленью, и высокие густые камыши волновались, как море, на громадных болотах. Посредине одного из прудов находится остров. На острове — старый, полуразрушенный замок.

Я помню, с каким страхом я смотрел всегда на это величавое дряхлое здание. О нем ходили предания и рас-

сказы один другого страшнее. Говорили, что остров насыпан искусственно, руками пленных турок. «На костях человеческих стоит старое замчище», — передавали старожилы, и мое детское испуганное воображение рисовало под землей тысячи турецких скелетов, поддерживающих костлявыми руками остров с его высокими пирамидальными тополями и старым замком. От этого, попятно, замок казался еще страшнее, и даже в ясные дни, когда, бывало, ободренные светом и громкими голосами птиц, мы подходили к нему поближе, он нередко паводил на нас припадки панического ужаса, — так страшно глядели черные впадины давно выбитых окон; в пустых залах ходил таинственный шорох: камешки и штукатурка, отрываясь, падали вниз, будя гулкое эхо, и мы бежали без оглядки, а за нами долго еще стояли стук, и топот, и гоготанье.

А в бурные осенние ночи, когда гиганты тополи качались и гудели от налетавшего из-за прудов ветра, ужас разливался от старого замка и царил над всем городом. «Ой-вей-мир!»¹ — пугливо произносили евреи; богобоязненные старые мещанки крестились, и даже наш ближайший сосед, кузнец, отрицавший самое существование бесовской силы, выходя в эти часы на свой дворик, творил крестное знамение и шептал про себя молитву об упокоении усопших.

Старый, седобородый Януш, за неимением квартиры приютившийся в одном из подвалов замка, рассказывал нам не раз, что в такие ночи он явственно слышал, как из-под земли неслись крики. Турки начинали возиться под островом, стучали костями и громко укоряли панов в жестокости. Тогда в залах старого замка и вокруг него на острове брякало оружие, и паны громкими криками сзывали гайдуков. Януш слышал совершенно ясно, под рев и завывание бури, топот коней, звяканье сабель, слова команды. Однажды он слышал даже, как покойный прадед нынешних графов, прославленный на вечные веки своими кровавыми подвигами, выехал, стуча копытами своего аргамака, на середину острова и неистово ругался: «Молчите там, лайдаки², пся вяра!»

Потомки этого графа давно уже оставили жилище предков. Большая часть дукатов и всяких сокровищ,

¹ О горе мне! (евр.)

² Бездельники (польск.).

от которых прежде ломились сундуки графов, перешла за мост, в еврейские лачуги, и последние представители славного рода выстроили себе прозаическое белое здание на горе, подальше от города. Там протекало их скучное, но все же торжественное существование в презрительно-величавом уединении.

Изредка только старый граф, такая же мрачная развалина, как и замок на острове, появлялся в городе на своей старой английской кляче. Рядом с ним, в черной амазонке, величавая и сухая, проезжала по городским улицам его дочь, а сзади почтительно следовал штальмейстер. Величественной графине суждено было навсегда остаться девой. Равные ей по происхождению женихи, в погоне за деньгами купеческих дочек за границей, малодушно рассеялись по свету, оставив родовые замки или продав их на слом евреям, а в городишке, расстилавшемся у подножия ее дворца, не было юноши, который бы осмелился поднять глаза на красавицу-графиню. Завидев этих трех всадников, мы, малые ребята, какстая птица, снимались с мягкой уличной пыли и, быстро рассеявшись по дворам, испуганно-любопытными глазами следили за мрачными владельцами страшного замка.

В западной стороне, на горе, среди истлевших крестов и провалившихся могил, стояла давно заброшенная униатская часовня. Это была родная дочь расстилавшегося в долине собственно обывательского города. Некогда в ней собирались, по звону колокола, горожане в чистых, хотя и не роскошных кунтушах, с палками в руках, вместо сабель, которыми гремела мелкая шляхта, тоже являвшаяся на зов звонкого униатского колокола из окрестных деревень и хуторов.

Отсюда был виден остров и его темные громадные тополи, но замок сердито и презрительно закрывался от часовни густою зеленью, и только в те минуты, когда юго-западный ветер вырывался из-за камышей и налетал на остров, тополи гулко качались, и из-за них проблескивали окна, и замок, казалось, кидал на часовню угрюмые взгляды. Теперь и он, и она были трупы. У него глаза потухли, и в них не сверкали отблески вечернего солнца; у нее кое-где провалилась крыша, стены осыпались, и, вместо гулко, с высоким тоном, медного колокола, совы заводили в ней по ночам свои зловещие песни.

Но старая, историческая рознь, разделявшая некогда гордый панский замок и мещанскую униатскую ча-

совню, продолжалась и после их смерти: ее поддерживали копошившиеся в этих дряхлых трупах черви, занимавшие уцелевшие углы подземелья, подвалы. Этими могильными червями умерших зданий были люди.

Было время, когда старый замок служил даровым убежищем всякому бедняку без малейших ограничений. Все, что не находило себе места в городе, всякое выскочившее из колен существование, потерявшее, по той или другой причине, возможность платить хотя бы и жалкие гроши за кров и угол на ночь и в непогоду, — все это тянулось на остров и там, среди развалин, преклоняло свои победные головушки, платя за гостеприимство лишь риском быть погребенными под горами старого мусора. «Живет в замке» — эта фраза стала выражением крайней степени нищеты и гражданского падения. Старый замок радушно принимал и покрывал и перекатную голь, и временно обнищавшего писца, и сиротливых старушек, и безродных бродяг. Все эти существа терзали внутренности дряхлого здания, обламывая потолки и полы, топили печи, что-то варили, чем-то питались, — вообще, отправляли неизвестным образом свои жизненные функции.

Однако настали дни, когда среди этого общества, ютившегося под кровом седых руин, возникло разделение, пошли раздоры. Тогда старый Януш, бывший некогда одним из мелких графских «официалистов», выхлопотал себе нечто вроде владетельной хартии и захватил бразды правления. Он приступил к преобразованиям, и несколько дней на острове стоял такой шум, раздавались такие вопли, что по временам казалось, уж не турки ли вырвались из подземных темниц, чтоб отомстить утеснителям. Это Януш сортировал население развалин, отделяя овец от козлищ. Овцы, оставшиеся по-прежнему в замке, помогали Янушу изгонять несчастных козлищ, которые упирались, выказывая отчаянное, но бесполезное сопротивление. Когда наконец при молчаливом, но тем не менее довольно существенном содействии будочника, порядок вновь водворился на острове, то оказалось, что переворот имел решительно аристократический характер. Януш оставил в замке только «добрых христиан», то есть католиков, и притом преимущественно бывших слуг или потомков слуг графского рода. Это были все какие-то старики в потертых сюртуках и «чамарках», с громадными синими носами и суковатыми палками, старухи, крикливые и безобраз-

ные, но сохранившие на последних ступенях обнищания свои капоры и салоны. Все они составляли однородный, тесно сплоченный аристократический кружок, взявший как бы монополию признанного нищенства. В будни эти старики и старухи ходили, с молитвой на устах, по домам более зажиточных горожан и среднего мещанства, разнося сплетни, жалуясь па судьбу, проливая слезы и кланча, а по воскресеньям они же составляли почтеннейших лиц из той публики, что длинными рядами выстраивалась около костелов и величественно принимала подачки во имя «пана Иисуса» и «паньны Богоматери».

Привлеченные шумом и криками, которые во время этой революции неслись с острова, я и несколько моих товарищей пробрались туда и, спрятавшись за толстыми стволами тополей, наблюдали, как Януш, во главе целой армии красноносых старцев и безобразных мегер, гнал из замка последних, подлежавших изгнанию, жильцов. Наступал вечер. Туча, нависшая над высокими вершинами тополей, уже сыпала дождиком. Какие-то несчастные темные личности, запахиваясь изорванными донельзя лохмотьями, испуганные, жалкие и сконфуженные, совались по острову, точно кроты, выгнанные из нор мальчишками, стараясь вновь незаметно шмыгнуть в какое-нибудь из отверстий замка. Но Януш и мегеры с криком и ругательствами гоняли их отовсюду, угрожая кочергами и палками, а в стороне стоял молчаливый будочник, тоже с увесистой дубиной в руках, сохранявший вооруженный нейтралитет, очевидно, дружественный торжествующей партии. И несчастные темные личности поневоле, понурясь, скрывались за мостом, навсегда оставляя остров, и одна за другой тонули в слякотном сумраке быстро спускавшегося вечера.

С этого памятного вечера и Януш, и старый замок, от которого прежде веяло на меня каким-то смутным величием, потеряли в моих глазах всю свою привлекательность. Бывало, я любил приходить на остров и хотя издали любоваться его серыми стенами и замшею старую крышей. Когда на утренней заре из него выползали разнообразные фигуры, зевавшие, кашлявшие и крестившиеся на солнце, я и на них смотрел с каким-то уважением, как на существа, облеченные тою же таинственностью, которою был окутан весь замок. Они спят там ночью, они слышат все, что там происходит, когда в огромные залы сквозь выбитые окна заглядывает луна или когда в бурю в них врывается ветер. Я любил слу-

шать, когда, бывало, Япуш, усевшись под тополями, с болтливостью семидесятилетнего старика начинал рассказывать о славном прошлом умершего здания. Перед детским воображением вставали, оживая, образы прошедшего, и в душу веяло величавою грустью и смутным сочувствием к тому, чем жили некогда понурые стены, и романтические тени чужой старины пробегали в юной душе, как пробегают в ветреный день легкие тени облаков по светлой зелени чистого поля.

Но с того вечера и замок, и его бард явились передо мной в новом свете. Встретив меня на другой день вблизи острова, Януш стал зазывать меня к себе, уверяя с довольным видом, что теперь «сын таких почтенных родителей» смело может посетить замок, так как найдет в нем вполне порядочное общество. Он даже привел меня за руку к самому замку, но тут я со слезами вырвал у него свою руку и пустился бежать. Замок стал мне противен. Окна в верхнем этаже были заколочены, а низ находился во владении капоров и салопов. Старухи выползали оттуда в таком непривлекательном виде, льстили мне так приторно, ругались между собой так громко, что я искренно удивлялся, как это строгий покойник, усмирявший турок в грозные ночи, мог терпеть этих старух в своем соседстве. Но главное — я не мог забыть холодной жестокости, с которою торжествующие жильцы замка гнали своих несчастных сожителей, а при воспоминании о темных личностях, оставшихся без крова, у меня сжималось сердце.

Как бы то ни было, на примере старого замка я узнал впервые истину, что от великого до смешного один только шаг. Великое в замке поросло плющом, повиликой и мхами, а смешное казалось мне отвратительным, слишком резало детскую восприимчивость, так как ирония этих контрастов была мне еще недоступна.

II. Проблематические натуры

Несколько ночей после описанного переворота на острове город провел очень беспокойно: лаяли собаки, скрипели двери домов, и обыватели, то и дело выходя на улицу, стучали палками по заборам, давая кому-то знать, что они настороже. Город знал, что по его улицам в ненастной тьме дождливой ночи бродят люди, которым голодно и холодно, которые дрожат и мокнут; по-

нимая, что в сердцах этих людей должны рождаться жестокие чувства, город насторожился и навстречу этим чувствам посылал свои угрозы. А ночь, как нарочно, спускалась на землю среди холодного ливня и уходила, оставляя над землею низко бегущие тучи. И ветер бушевал среди ненастья, качая верхушки деревьев, стуча ставнями и напевая мне в моей постели о десятках людей, лишенных тепла и приюта.

Но вот весна окончательно восторжествовала над последними порывами зимы, солнце высушило землю, и вместе с тем бездомные скитальцы куда-то схлынули. Собачий лай по ночам утомился, обыватели перестали стучать по заборам, и жизнь города, сонная и однообразная, пошла своею колеей. Горячее солнце, выкатываясь на небо, жгло пыльные улицы, загоняя под навесы юрких детей Израиля, торговавших в городских лавках; «факторы» лениво валялись на солнцееке, зорко выглядывая проезжающих; скрип чиновничьих перьев слышался в открытые окна присутственных мест; по утрам городские дамы сновали с корзинами по базару, а под вечер важно выступали под руку со своими благоверными, подымая уличную пыль пышными шлейфами. Старики и старухи из замка чинно ходили по домам своих покровителей, не нарушая общей гармонии. Обыватель охотно признавал их право на существование, находя совершенно основательным, чтобы кто-нибудь получал милостыню по субботам, а обитатели старого замка получали ее вполне респектабельно.

Только несчастные изгнанники не нашли и теперь в городе своей колеи. Правда, они не слонялись по улицам ночью; говорили, что они нашли приют где-то на горе, около униатской часовни, но как они ухитрились пристроиться там, никто не мог сказать в точности. Все видели только, что с той стороны, с гор и оврагов, окружавших часовню, спускались в город по утрам самые невероятные и подозрительные фигуры, которые в сумерки исчезали в том же направлении. Своим появлением они возмущали тихое и дремливое течение городской жизни, выделяясь на сереньком фоне мрачными пятнами. Обыватели косились на них с враждебной тревогой, они, в свою очередь, окидывали обывательское существование беспокойно-внимательными взглядами, от которых многим становилось жутко. Эти фигуры несколько не походили на аристократических нищих из замка,— город их не признавал, да они и не просили при-

знания; их отношения к городу имели чисто боевой характер: они предпочитали ругать обывателя, чем льстить ему, брать самим, чем выпрашивать. Они или жестоко страдали от преследований, если были слабы, или заставляли страдать обывателей, если обладали нужною для этого силой. Притом, как это встречается нередко, среди этой оборванной и темной толпы несчастливцев встречались лица, которые по уму и талантам могли бы сделать честь избраннейшему обществу замка, но не ужились в нем и предпочли демократическое общество униатской часовни. Некоторые из этих фигур были отмечены чертами глубокого трагизма.

До сих пор я помню, как весело грохотала улица, когда по ней проходила согнутая, унылая фигура старого «профессора». Это было тихое, угнетенное идиотизмом существо, в старой фризовой шинели, в шапке с огромным козырьком и почерневшей кокардой. Ученое звание, как кажется, было присвоено ему вследствие смутного предания, будто где-то и когда-то он был гувернером. Трудно себе представить создание более безобидное и смирное. Обыкновенно он тихо бродил по улицам, по-видимому без всякой определенной цели, с тусклым взглядом и понуренною головой. Досужие обыватели знали за ним два качества, которыми пользовались в видах жестокого развлечения. «Профессор» вечно бормотал что-то про себя, но ни один человек не мог разобрать в этих речах ни слова. Они лились, точно журчание мутного ручейка, и при этом тусклые глаза глядели на слушателя, как бы стараясь вложить в его душу неуловимый смысл длинной речи. Его можно было завести, как машину; для этого любому из факторов, которому надоело дремать на улицах, стоило подозвать к себе старика и предложить какой-либо вопрос. «Профессор» покачивал головой, вдумчиво вперив в слушателя свои выцветшие глаза, и начинал бормотать что-то до бесконечности грустное. При этом слушатель мог спокойно уйти или хотя бы заснуть, и все же, проснувшись, он увидел бы над собой печальную темную фигуру, все так же тихо бормочущую непонятные речи. Но, само по себе, это обстоятельство не составляло еще ничего особенно интересного. Главный эффект уличных верзил был основан на другой черте профессорского характера: несчастный не мог равнодушно слышать упоминания о режущих и колющих орудиях. Поэтому, обыкновенно в самый разгар непонятной элоквенции, слушатель, вдруг

поднявшись с земли, вскрикивал резким голосом: «Ножи, ножницы, иголки, булавки!» Бедный старик, так внезапно пробужденный от своих мечтаний, взмахивал руками, точно подстреленная птица, испуганно озираясь и хватался за грудь. О, сколько страданий остаются непонятными долговязым факторам лишь потому, что страдающий не может внушить представления о них посредством здорового удара кулаком! А бедняга-«профессор» только озираясь с глубокою тоской, и невыразимая мука слышалась в его голосе, когда, обращая к мучителю свои тусклые глаза, он говорил, судорожно царапая пальцами по груди:

— За сердце... за сердце крючком!.. за самое сердце!

Вероятно, он хотел сказать, что этими криками у него истерзано сердце, но, по-видимому, это-то именно обстоятельство и способно было несколько развлечь досужего и скучающего обывателя. И бедный «профессор» торопливо удалялся, еще ниже опустив голову, точно опасаясь удара; а за ним гремели раскаты довольного смеха, в воздухе, точно удары кнута, хлестали все те же крики:

— Ножи, ножницы, иголки, булавки!

Надо отдать справедливость изгнанникам из замка: они крепко стояли друг за друга, и если на толпу, преследовавшую «профессора», налетал в это время с двумя-тремя оборванцами пан Туркевич или в особенности отставной штык-юнкер Заусайлов, то многих из этой толпы постигала жестокая кара. Штык-юнкер Заусайлов, обладавший громадным ростом, сизо-багровым носом и свирепо выкаченными глазами, давно уже объявил открытую войну всему живущему, не признавая ни перемирий, ни нейтралитетов. Всякий раз после того, как он натыкался на преследуемого «профессора», долго не смолкали его бранные крики; он носился тогда по улицам, подобно Тамерлану, уничтожая все, попадавшееся на пути грозного шествия; таким образом он практиковал еврейские погромы, задолго до их возникновения, в широких размерах; попадавшихся ему в плен евреев он всячески истязал, а над еврейскими дамами совершал гнусности, пока наконец экспедиция braveго штык-юнкера не кончалась на съезжей, куда он неизменно водворялся после жестоких схваток с бутарями. Обе стороны проявляли при этом немало геройства.

Другую фигуру, доставлявшую обывателям развлечение зрелищем своего несчастья и падения, представ-

лял отставной и совершенно спившийся чиновник Лавровский. Обыватели помнили еще недавнее время, когда Лавровского величали не иначе, как «пан писарь», когда он ходил в вицмундире с медными пуговицами, появлялся шею восхитительными цветными платочками. Это обстоятельство придавало еще более пикантности зрелищу его настоящего падения. Переворот в жизни пана Лавровского совершился быстро: для этого стоило только приехать в Княжье-Вено блестящему драгунскому офицеру, который прожил в городе всего две недели, но в это время успел победить и увезти с собою белокурую дочь богатого трактирщика. С тех пор обыватели ничего не слыхали о красавице Анне, так как она навсегда исчезла с их горизонта. А Лавровский остался со всеми своими цветными платочками, но без надежды, которая скрашивала раньше жизнь мелкого чиновника. Теперь он уже давно не служит. Где-то в маленьком местечке осталась его семья, для которой он был некогда надеждой и опорой; но теперь он ни о чем не заботился. В редкие трезвые минуты жизни он быстро проходил по улицам, потупясь и ни на кого не глядя, как бы подавленный стыдом собственного существования; ходил он оборванный, грязный, обросший длинными, нечесаными волосами, выделяясь сразу из толпы и привлекая всеобщее внимание; но сам он как будто не замечал никого и ничего не слышал. Изредка только он кидал вокруг мутные взгляды, в которых отражалось недоумение: чего хотят от него эти чужие и незнакомые люди? Что он им сделал, зачем они так упорно преследуют его? Порой, в минуты этих проблесков сознания, когда до слуха его долетало имя панны с белокурою косой, в сердце его поднималось бурное бешенство; глаза Лавровского загорались темным огнем на бледном лице, и он со всех ног кидался на толпу, которая быстро разбегалась. Подобные вспышки, хотя и очень редкие, странно подзадоривали любопытство скучающего безделья; немудрено поэтому, что, когда Лавровский, потупясь, проходил по улицам, следовавшая за ним кучка бездельников, напрасно старавшихся вывести его из апатии, начинала с досады швырять в него грязью и камнями.

Когда же Лавровский бывал пьян, то как-то упорно выбирал темные углы под заборами, никогда не просыхавшие лужи и тому подобные экстраординарные места, где он мог рассчитывать, что его не заметят. Там он садился, вытянув длинные ноги и свесив на грудь свою

победную головушку. Уединение и водка вызывали в нем прилив откровенности, желание излить тяжелое горе, угнетающее душу, и он начинал бесконечный рассказ о своей молодой загубленной жизни. При этом он обращался к серым столбам старого забора, к березке, снисходительно шептавшей что-то над его головой, к сорокам, которые с бабьим любопытством подсакивали к этой темной, слегка только копошившейся фигуре.

Если кому-либо из нас, малых ребят, удавалось выследить его в этом положении, мы тихо окружали его и слушали с замиранием сердечным длинные и ужасающие рассказы. Волосы становились у нас дыбом, и мы со страхом смотрели на бледного человека, обвинявшего себя во всевозможных преступлениях. Если верить собственным словам Лавровского, он убил родного отца, вогнал в могилу мать, заморил сестер и братьев. Мы не имели причин не верить этим ужасным признаниям; нас только удивляло то обстоятельство, что у Лавровского было, по-видимому, несколько отцов, так как одному он пронзал мечом сердце, другого изводил медленным ядом, третьего топил в какой-то пучине. Мы слушали с ужасом и участием, пока язык Лавровского, все более заплетаясь, не отказывался наконец произносить членораздельные звуки и благодетельный сон не прекращал покаянные излияния. Взрослые смеялись над нами, говоря, что все это враки, что родители Лавровского умерли своею смертью, от голода и болезней. Но мы, чуткими ребячьими сердцами, слышали в его стогах искреннюю душевную боль и, принимая аллегории буквально, были все-таки ближе к истинному пониманию трагически свихнувшейся жизни.

Когда голова Лавровского опускалась еще ниже и из горла слышался храп, прерываемый нервными всхлипываниями, — маленькие детские головки наклонялись тогда над несчастным. Мы внимательно вглядывались в его лицо, следили за тем, как тени преступных деяний пробегали по нем и во сне, как нервно сдвигались брови и губы сжимались в жалостную, почти по-детски плачущую гримасу.

— Уббью! — вскрикивал он вдруг, чувствуя во сне беспредметное беспокойство от нашего присутствия, и тогда мы испуганною стаей кидались врозь.

Случалось, что в таком положении сонного его заливало дождем, засыпало пылью, а несколько раз, осенью, даже буквально заносило снегом; и если он не погиб

преждевременною смертью, то этим, без сомненья, был обязан заботам о своей грустной особе других, подобных ему, несчастливцев и, главным образом, заботам веселого пана Туркевича, который, сильно пошатываясь, сам разыскивал его, тормозил, ставил на ноги и уводил с собою.

Пан Туркевич принадлежал к числу людей, которые, как сам он выражался, не дают себе плевать в кашу, и в то время, как «профессор» и Лавровский пассивно страдали, Туркевич являл из себя особу веселую и благополучную во многих отношениях. Начать с того, что, не справляясь ни у кого об утверждении, он сразу произвел себя в генералы и требовал от обывателей соответствующих этому званию почестей. Так как никто не смел оспаривать его права на этот титул, то вскоре пан Туркевич совершенно проникся и сам верой в свое величие. Выступал он всегда очень важно, грозно насунив брови и обнаруживая во всякое время полную готовность сокрушить кому-нибудь скулы, что, по-видимому, считал необходимейшею прерогативой генеральского звания. Если же по временам его беззаботную голову посещали на этот счет какие-либо сомненья, то, изловив на улице первого встречного обывателя, он грозно спрашивал:

— Кто я по здешнему месту? а?

— Генерал Туркевич! — смиренно отвечал обыватель, чувствовавший себя в затруднительном положении. Туркевич немедленно отпускал его, величественно покручивая усы.

— То-то же!

А так как при этом он умел еще совершенно особенным образом шевелить своими тараканьими усами и был неистощим в прибаутках и островах, то не удивительно, что его постоянно окружала толпа досужих слушателей и ему были даже открыты двери лучшей «ресторации», в которой собирались за билльярдом приезжие помещики. Если сказать правду, бывали нередко случаи, когда пан Туркевич вылетал оттуда с быстротой человека, которого подталкивают сзади не особенно церемонно; но случаи эти, объяснявшиеся недостаточным уважением помещиков к остроумию, не оказывали влияния на общее настроение Туркевича: веселая самоуверенность составляла нормальное его состояние, так же как и постоянное опьянение.

Последнее обстоятельство составляло второй источ-

ник его благополучия, — ему достаточно было одной рюмки, чтобы зарядиться на весь день. Объяснялось это огромным количеством выпитой уже Туркевичем водки, которая превратила его кровь в какое-то водочное сусло; генералу теперь достаточно было поддерживать это сусло на известной степени концентрации, чтоб оно играло и бурлило в нем, окрашивая для него мир в радужные краски.

Зато, если по какой-либо причине дня три генералу не перепадало ни одной рюмки, он испытывал невыносимые муки. Сначала он впадал в меланхолию и малодушие; всем было известно, что в такие минуты грозный генерал становился беспомощнее ребенка, и многие спешили выместить на нем свои обиды. Его били, оплевывали, закидывали грязью, а он даже не старался избегать поношений; он только ревел во весь голос, и слезы градом катились у него из глаз по уныло обвисшим усам. Бедняга обращался ко всем с просьбой убить его, мотивируя это желание тем обстоятельством, что ему все равно придется помереть «собачьей смертью под забором». Тогда все от него отступались. В таком градусе было что-то в голосе и в лице генерала, что заставляло самых смелых преследователей поскорее удалиться, чтобы не видеть этого лица, не слышать голоса человека, на короткое время приходившего к сознанию своего ужасного положения... С генералом опять происходила перемена; он становился ужасен, глаза лихорадочно загорались, щеки вваливались, короткие волосы подымались на голове дыбом. Быстро поднявшись на ноги, он ударял себя в грудь и торжественно отправлялся по улицам, оповещая громким голосом:

— Иду!.. Как пророк Иеремия... Иду обличать нечестивых!

Это обещало самое интересное зрелище. Можно сказать с уверенностью, что пан Туркевич в такие минуты с большим успехом выполнял функции неведомой в нашем городишке гласности; поэтому нет ничего удивительного, если самые солидные и занятые граждане бросали обыденные дела и примыкали к толпе, сопровождавшей новоявленного пророка, или хотя издали следили за его похождениями. Обыкновенно он прежде всего направлялся к дому секретаря уездного суда и открывал перед его окнами нечто вроде судебного заседания, выбрав из толпы подходящих актеров, изображавших истцов и ответчиков; он сам говорил за них речи и сам же

отвечал им, подражая с большим искусством голосу и манере обличаемого. Так как при этом он всегда умел придать спектаклю интерес современности, намекая на какое-нибудь всем известное дело, и так как, кроме того, он был большой знаток судебной процедуры, то немудрено, что в самом скором времени из дома секретаря выбегала кухарка, что-то совала Туркевичу в руку и быстро скрывалась, отбиваясь от любезностей генеральской свиты. Генерал, получив давание, злобно хохотал и, с торжеством размахивая монетой, отправлялся в ближайший кабак.

Оттуда, утолив несколько жажду, он вел своих слушателей к домам «подсудков», видоизменяя репертуар соответственно обстоятельствам. А так как каждый раз он получал перспективную плату, то натурально, что грозный тон постепенно смягчался, глаза иступленного пророка умасливались, усы закручивались кверху, и представление от обличительной драмы переходило к веселому водевилю. Кончалось оно обыкновенно перед домом исправника Коца. Это был добродушнейший из градоправителей, обладавший двумя небольшими слабостями: во-первых, он красил свои седые волосы черною краской и, во-вторых, питал пристрастие к толстым кухаркам, полагаясь во всем остальном на волю божию и на добровольную обывательскую «благодарность». Подойдя к исправничьему дому, выходявшему фасом на улицу, Туркевич весело подмигивал своим спутникам, кидал кверху картуз и объявлял громогласно, что здесь живет не начальник, а родной его, Туркевича, отец и благодетель.

Затем он устремлял свои взоры на окна и ждал последствий. Последствия эти были двойного рода: или немедленно же из парадной двери выбегала толстая и румяная Матрена с милостивым подарком от отца и благодетеля, или же дверь оставалась закрытою, в окне кабинета мелькала сердитая старческая физиономия, обрамленная черными, как смоль, волосами, а Матрена тихонько задами прокрадывалась на съезжую. На съезжей имел постоянное местожительство бутарь Микита, замечательно набивший руку именно в обращении с Туркевичем. Он тотчас же флегматически откладывал в сторону сапожную колодку и подымался со своего сиденья.

Между тем Туркевич, не видя пользы от дифирамбов, понемногу и осторожно начинал переходить к сати-

ре. Обыкновенно он начинал сожалением о том, что его благодетель считает зачем-то нужным красить свои почтенные седины сапожной ваксой. Затем, огорченный полным невниманием к своему красноречию, он возвышал голос, подымал тон и начинал громить благодетеля за плачевный пример, подаваемый гражданам незаконным сожиганием с Матреной. Дойдя до этого щекотливого предмета, генерал терял уже всякую надежду на примирение с благодетелем и потому воодушевлялся истинным красноречием. К сожалению, обыкновенно на этом именно месте речи происходило неожиданное постороннее вмешательство; в окно высовывалось желтое и сердитое лицо Коца, а сзади Туркевича подхватывал с замечательною ловкостью подкравшийся к нему Микита. Никто из слушателей не пытался даже предупредить оратора об угрожавшей ему опасности, ибо артистические приемы Микиты вызвали всеобщий восторг. Генерал, прерванный на полуслове, вдруг как-то странно мелькал в воздухе, опрокидывался спиной на спину Микиты — и через несколько секунд дюжий бутарь, слегка согнувшийся под своей ношей, среди оглушительных криков толпы, спокойно направлялся к кутузке. Еще минута, черная дверь съезжей раскрывалась, как мрачная пасть, и генерал, беспомощно болтавший ногами, торжественно скрывался за дверью кутузки. Неблагодарная толпа кричала Миките «ура» и медленно расходилась.

Кроме этих выделявшихся из ряда личностей, около часовни ютилась еще темная масса жалких оборванцев, появление которых на базаре производило всегда большую тревогу среди торговков, снешивших прикрыть свое добро руками, подобно тому, как наседки прикрывают цыплят, когда в небе покажется коршун. Ходили слухи, что эти жалкие личности, окончательно лишенные всяких ресурсов со времени изгнания из замка, составили дружное сообщество и занимались, между прочим, мелким воровством в городе и окрестностях. Основывались эти слухи, главным образом, на той бесспорной посылке, что человек не может существовать без пищи; а так как почти все эти темные личности, так или иначе, отбились от обычных способов ее добывания и были оттерты счастливыми из замка от благ местной филантропии, то отсюда следовало неизбежное заключение, что им было необходимо воровать или умереть. Они не умерли, значит... самый факт их существования обра-

щался в доказательство их преступного образа действий.

Если только это была правда, то уже не подлежало спору, что организатором и руководителем сообщества не мог быть никто другой, как пан Тыбурций Драб, самая замечательная личность из всех проблематических патур, не ужившихся в старом замке.

Происхождение Драба было покрыто мраком самой таинственной неизвестности. Люди, одаренные сильным воображением, приписывали ему аристократическое имя, которое он покрыл позором и потому принужден был скрыться, причем участвовал будто бы в подвигах знаменитого Кармелюка. Но, во-первых, для этого он был еще недостаточно стар, а во-вторых, наружность пана Тыбурция не имела в себе ни одной аристократической черты. Роста он был высокого; сильная сутуловатость как бы говорила о бремени вынесенных Тыбурцием несчастий; крупные черты лица были грубо-выразительны. Короткие, слегка рыжеватые волосы торчали врозь; низкий лоб, несколько выдававшаяся вперед нижняя челюсть и сильная подвижность личных мускулов придавали всей физиономии что-то обезьянье; но глаза, сверкавшие из-под нависших бровей, смотрели упорно и мрачно, и в них светились, вместе с лукавством, острая проницательность, энергия и недюжинный ум. В то время, как на его лице сменялся целый kaleidoscope гримас, эти глаза сохраняли постоянно одно выражение, отчего мне всегда бывало как-то безотчетно жутко смотреть на гаерство этого странного человека. Под ним как будто струилась глубокая неустанная печаль.

Руки пана Тыбурция были грубы и покрыты мозолями, большие ноги ступали по-мужичьи. Ввиду этого, большинство обывателей не признавало за ним аристократического происхождения, и самое большее, что соглашалось допустить, это — звание дворового человека какого-нибудь из знатных панов. Но тогда опять встречалось затруднение: как объяснить его феноменальную ученость, которая всем была очевидна. Не было кабака во всем городе, в котором бы пан Тыбурций, в назидание собиравшихся в базарные дни хохлов, не произносил, стоя на бочке, целых речей из Цицерона, целых глав из Ксенофонта. Хохлы разевали рты и подталкивали друг друга локтями, а пан Тыбурций, возвышаясь в своих лохмотьях над всею толпой, громил Катилину или описывал подвиги Цезаря или коварство Митридата. Хох-

лы, вообще наделенные от природы богатою фантазией, умели как-то влагать свой собственный смысл в эти одушевленные, хотя и непонятные речи... И когда, ударяя себя в грудь и сверкая глазами, он обращался к ним со словами: «*Patres conscripti*»¹ — они тоже хмурились и говорили друг другу:

— Ото ж, вражий сын, як лается!

Когда же затем пан Тыбурций, подняв глаза к потолку, начинал декламировать длиннейшие латинские периоды, — усатые слушатели следили за ним с боязливым и жалостным участием. Им казалось тогда, что душа декламатора витает где-то в неведомой стране, где говорят не по-христиански, а по отчаянной жестикуляции оратора они заключали, что она там испытывает какие-то горестные приключения. Но наибольшего напряжения достигало это участливое внимание, когда пан Тыбурций, закатив глаза и поводя одними белками, понимал аудиторию продолжительною скандовкой *Виргилия* или *Гомера*. Его голос звучал тогда такими глухими загробными раскатами, что сидевшие по углам и наиболее поддавшиеся действию жидовской горилки слушатели опускали головы, свешивали длинные подстриженные спереди «чуприны» и начинали всхлипывать:

— О-ох, матиньки, та и жалобно ж, хай ему бис! — И слезы капали из глаз и стекали по длинным усам.

Нет поэтому ничего удивительного, что, когда оратор внезапно соскакивал с бочки и разражался веселым хохотом, омраченные лица хохлов вдруг прояснялись, и руки тянулись к карманам широких штанов за медяками. Обрадованные благополучным окончанием трагических экскурсий пана Тыбурция, хохлы поили его водкой, обнимались с ним, и в его картуз падали, звеня, медяки.

Ввиду такой поразительной учености пришлось построить новую гипотезу о происхождении этого чудака, которая бы более соответствовала изложенным фактам. Помирились на том, что пан Тыбурций был некогда дворовым мальчишкой какого-то графа, который послал его вместе со своим сыном в школу отцов-иезуитов, собственно на предмет чистки сапогов молодого панича. Оказалось, однако, что в то время, как молодой граф воспринимал преимущественно удары треххвостной «дис-

¹ Отцы сенаторы (лат.).

циплины» святых отцов, его лакей перехватил всю мудрость, которая назначалась для головы барчука.

Вследствие окружавшей Тыбурция тайны, в числе других профессий ему приписывали также отличные сведения по части колдовского искусства. Если на полях, примыкавших волнуемым морем к последним лачугам предместья, появлялись вдруг колдовские «закруты», то никто не мог вырвать их с большею безопасностью для себя и жнецов, как пан Тыбурций. Если зловещий «пугач»¹ прилетал по вечерам на чью-нибудь крышу и громкими криками накликал туда смерть, то опять приглашали Тыбурция, и он с большим успехом прогонял зловещую птицу поучениями из Тита Ливия.

Никто не мог бы также сказать, откуда у пана Тыбурция явились дети, а между тем факт, хотя и никем не объясненный, стоял налицо... даже два факта: мальчик лет семи, но рослый и развитой не по летам, и маленькая трехлетняя девочка. Мальчика пан Тыбурций привел, или, вернее, принес с собой с первых дней, как явился сам на горизонте нашего города. Что же касается девочки, то, по-видимому, он отлучался, чтобы приобрести ее, на несколько месяцев в совершенно неизвестные страны.

Мальчик, по имени Валек, высокий, тонкий, черноволосый, угрюмо шатался иногда по городу без особенного дела, заложив руки в карманы и кидая по сторонам взгляды, смущавшие сердца калачниц. Девочку видели только один или два раза на руках пана Тыбурция, а затем она куда-то исчезала, и где находилась — никому не было известно.

Поговаривали о каких-то подземельях на униатской горе около часовни, и так как в тех краях, где так часто проходила с огнем и мечом татарщина, где некогда бушевала панская «сваволя» (своеволие) и правили кровавую расправу удалцы-гайдамаки, подобные подземелья очень нередки, то все верили этим слухам, тем более, что ведь жила же где-нибудь вся эта орда темных бродяг. А они обыкновенно под вечер исчезали именно в направлении к часовне. Туда своею сонною походкой ковылял «профессор», шагал решительно и быстро пан Тыбурций; туда же Туркевич, пошатываясь, провожал свирепого и беспомощного Лавровского; туда уходили под вечер, утопая в сумерках, другие темные личности,

¹ Филия.

и не было храброго человека, который бы решился следовать за ними по глинистым обрывам. Гора, изрытая могилами, пользовалась дурной славой. На старом кладбище в сырые осенние ночи загорались синие огни, а в часовне сычи кричали так пронзительно и звонко, что от криков проклятой птицы даже у бесстрашного кузнеца сжималось сердце.

III. Я и мой отец

— Плохо, молодой человек, плохо! — говорил мне передко старый Януш из замка, встречая меня на улицах города в свите пана Туркевича или среди слушателей пана Драба.

И старик качал при этом своею седою бородой.

— Плохо, молодой человек, — вы в дурном обществе!.. Жаль, очень жаль сына почтенных родителей, который не щадит семейной чести.

Действительно, с тех пор как умерла моя мать, а суровое лицо отца стало еще угрюмее, меня очень редко видели дома. В поздние летние вечера я прокрадывался по саду, как молодой волчонок, избегая встречи с отцом, отворял посредством особых приспособлений свое окно, полузакрытое густою зеленою сирени, и тихо ложился в постель. Если маленькая сестренка еще не спала в своей качалке в соседней комнате, я подходил к ней, и мы тихо ласкали друг друга и играли, стараясь не разбудить ворчливую старую няньку.

А утром, чуть свет, когда в доме все еще спали, я уж прокладывал росистый след в густой, высокой траве сада, перелезал через забор и шел к пруду, где меня ждали с удочками такие же сорванцы-товарищи, или к мельнице, где сонный мельник только что отодвинул шлюзы и вода, чутко вздрагивая на зеркальной поверхности, кидалась в «лотóки» и бодро принималась за дневную работу.

Большие мельничные колеса, разбуженные шумливыми толчками воды, тоже вздрагивали, как-то нехотя подавались, точно ленись проснуться, но чрез несколько секунд уже кружились, брызгая пеной и купаясь в холодных струях. За ними медленно и солидно трогались толстые валы, внутри мельницы начинали грохотать шестерни, шуршали жернова, и белая мучная пыль туча-

ми поднималась из щелей старого-престарого мельничного здания.

Тогда я шел далее. Мне нравилось встречать пробуждение природы; я бывал рад, когда мне удавалось вспугнуть заспавшегося жаворонка или выгнать из борозды трусливого зайца. Капли росы падали с верхушек трясушки, с головок луговых цветов, когда я пробирался полями к загородной роще. Деревья встречали меня шопотом ленивой дремоты. Из окон тюрьмы не глядели еще бледные, угрюмые лица арестантов, и только караул, громко звякая ружьями, обходил вокруг стены, сменяя усталых ночных часовых.

Я успевал совершить дальний обход, и все же в городе то и дело встречались мне заспанные фигуры, отворявшие ставни домов. Но вот солнце поднялось уже над горой, из-за прудов слышится крикливый звонок, сзывающий гимназистов, и голод зовет меня домой к утреннему чаю.

Вообще все меня звали бродягой, негодным мальчишкой и так часто укоряли в разных дурных наклонностях, что я наконец и сам проникся этим убеждением. Отец также поверил этому и делал иногда попытки заняться моим воспитанием, но попытки эти всегда кончались неудачей. При виде строгого и угрюмого лица, на котором лежала суровая печать неизлечимого горя, я робел и замыкался в себя. Я стоял перед ним, переминаясь, теребя свои штанишки, и озирался по сторонам. Временами что-то как будто подымалось у меня в груди; мне хотелось, чтоб он обнял меня, посадил к себе на колени и приласкал. Тогда я прильнул бы к его груди, и, быть может, мы вместе заплакали бы — ребенок и суровый мужчина — о нашей общей утрате. Но он смотрел на меня отуманенными глазами, как будто поверх моей головы, и я весь сжимался под этим непонятным для меня взглядом.

— Ты помнишь матушку?

Помнил ли я ее? О да, я помнил ее! Я помнил, как, бывало, просыпаясь ночью, я искал в темноте ее нежные руки и крепко прижимался к ним, покрывая их поцелуями. Я помнил ее, когда она сидела больная перед открытым окном и грустно оглядывала чудную весеннюю картину, прощаясь с нею в последний год своей жизни.

О да, я помнил ее!.. Когда она, вся покрытая цветами, молодая и прекрасная, лежала с печатью смерти на

бледном лице, я, как зверек, забился в угол и смотрел на нее горящими глазами, перед которыми впервые открылся весь ужас загадки о жизни и смерти. А потом, когда ее унесли в толпе незнакомых людей, не мои ли рыдания звучали сдавленным стоном в сумраке первой ночи моего сиротства?

О да, я ее помнил!.. И теперь часто, в глухую полночь, я просыпался, полный любви, которая теснилась в груди, переполняя детское сердце,— просыпался с улыбкой счастья, в блаженном неведении, навеянном розовыми снами детства. И опять, как прежде, мне казалось, что она со мною, что я сейчас встречу ее любящую милую ласку. Но мои руки протягивались в пустую тьму, и в душу проникало сознание горького одиночества. Тогда я сжимал руками свое маленькое, больно стучавшее сердце, и слезы прожигали горячими струями мои щеки.

О да, я помнил ее!.. Но на вопрос высокого, угрюмого человека, в котором я желал, но не мог почувствовать родную душу, я съеживался еще более и тихо выдерживал из его руки свою ручонку.

И он отворачивался от меня с досадою и болью. Он чувствовал, что не имеет на меня ни малейшего влияния, что между нами стоит какая-то непреодолимая стена. Он слишком любил ее, когда она была жива, не замечая меня из-за своего счастья. Теперь меня закрывало от него тяжелое горе.

И мало-помалу пропасть, нас разделявшая, становилась все шире и глубже. Он все более убеждался, что я — дурной, испорченный мальчишка, с черствым, эгоистическим сердцем, и сознание, что он *должен*, но не может заняться мною, *должен* любить меня, но не находит для этой любви угла в своем сердце, еще увеличивало его нерасположение. И я это чувствовал. Порой, спрятавшись в кустах, я наблюдал за ним; я видел, как он шагал по аллеям, все ускоряя походку, и глухо стонал от нестерпимой душевной муки. Тогда мое сердце загоралось жалостью и сочувствием. Один раз, когда, сжав руками голову, он присел на скамейку и зарыдал, я не вытерпел и выбежал из кустов на дорожку, повинуюсь неопределенному побуждению, толкавшему меня к этому человеку. Но он, пробудясь от мрачного и безнадежного созерцания, сурово взглянул на меня и осадил холодным вопросом:

— Что нужно?

Мне ничего не было нужно. Я быстро отвернулся, стыдясь своего порыва, боясь, чтоб отец не прочел его в моем смущенном лице. Убежав в чащу сада, я упал лицом в траву и горько заплакал от досады и боли.

С шести лет я испытывал уже ужас одиночества.

Сестре Соне было четыре года. Я любил ее страстно, и она платила мне такую же любовью; но установившийся взгляд на меня, как на отпетого маленького разбойника, воздвиг и между нами высокую стену. Всякий раз, когда я начинал играть с нею, по-своему шумно и резво, старая нянька, вечно сонная и вечно дравшая, с закрытыми глазами, куриные перья для подушек, немедленно просыпалась, быстро схватывала мою Соню и уносила к себе, кидая на меня сердитые взгляды; в таких случаях она всегда напоминала мне включенную насадку, себя я сравнивал с хищным коршуном, а Соню — с маленьким цыпленком. Мне становилось очень горько и досадно. Немудрено поэтому, что скоро я прекратил всякие попытки занимать Соню моими преступными играми, а еще через некоторое время мне стало тесно в доме и в садике, где я не встречал ни в ком привета и ласки. Я начал бродяжить. Все мое существо трепетало тогда каким-то странным предчувствием, предвкушением жизни. Мне все казалось, что где-то там, в этом большом и неведомом свете, за старою оградой сада, я найду что-то; казалось, что я что-то должен сделать и могу что-то сделать, но я только не знал, что именно; а между тем навстречу этому неведомому и таинственному, во мне из глубины моего сердца что-то подымалось, дразня и вызывая. Я все ждал разрешения этих вопросов и инстинктивно бегал и от няньки с ее перьями, и от знакомого ленивого шепота яблоней в нашем маленьком садике, и от глупого стука ножей, рубивших на кухне котлеты. С тех пор к прочим нелестным моим эпитетам прибавились названия уличного мальчишки и бродяги; но я не обращал на это внимания. Я притерпелся к упрекам и выносил их, как выносил внезапно налетавший дождь или солнечный зной. Я хмуро выслушивал замечания и поступал по-своему. Шатаясь по улицам, я всматривался детски-любопытными глазами в незатейливую жизнь городка с его лачугами, вслушивался в гул проволок на шоссе, вдали от городского шума, стараясь уловить, какие вести несутся по ним из далеких больших городов, или в шелест колосьев, или в шепот ветра на высоких гайдамацких

могилах. Не раз мои глаза широко раскрывались, не раз останавливался я с болезненным испугом перед картинами жизни. Образ за образом, впечатление за впечатлением ложились на душу яркими пятнами; я узнал и увидал много такого, чего не видали дети значительно старше меня, а между тем то неведомое, что подымалось из глубины детской души, по-прежнему звучало в ней несмолкающим, таинственным, подмывающим, вызывающим рокотом.

Когда старухи из замка лишили его в моих глазах уважения и привлекательности, когда все углы города стали мне известны до последних грязных закоулков, тогда я стал заглядываться на видневшуюся вдаль, на униатской горе, часовню. Сначала, как пугливый зверек, я подходил к ней с разных сторон, все не решаясь взобраться на гору, пользовавшуюся дурной славой. Но по мере того как я знакомился с местностью, передо мною выступали только тихие могилы и разрушенные кресты. Нигде не было видно признаков какого-либо жилья и человеческого присутствия. Все было как-то смиренно, тихо, заброшено, пусто. Только самая часовня глядела, насунувшись, пустыми окнами, точно думала какую-то грустную думу. Мне захотелось осмотреть ее всю, заглянуть внутрь, чтобы убедиться окончательно, что и там нет ничего, кроме пыли. Но так как одному было бы и страшно, и неудобно предпринимать подобную экскурсию, то я наwerbовал на улицах города небольшой отряд из трех сорванцов, привлеченных к предприятию обещанием булок и яблоков из нашего сада.

IV. Я приобретаю новое знакомство

Мы вышли в экскурсию после обеда и, подойдя к горе, стали подыматься по глинистым обвалам, взрытым лопатами жителей и весенними потоками. Обвалы обнажали склоны горы, и кое-где из глины виднелись высушившиеся наружу белые, истлевшие кости. В одном месте деревянный гроб выставился истлевающим углом, в другом — скалил зубы человеческий череп, уставясь на нас черными впадинами глаз.

Наконец, помогая друг другу, мы торопливо взобрались на гору из последнего обрыва. Солнце начинало склоняться к закату. Косые лучи мягко золотили зеле-

ную мураву старого кладбища, играли на покосившихся крестах, переливались в уцелевших окнах часовни. Было тихо, веяло спокойствием и глубоким миром брошенного кладбища. Здесь уже мы не видели ни черепов, ни голеней, ни гробов. Зеленая свежая трава ровным, слегка склонявшимся к городу пологом любовно скрывала в своих объятиях ужас и безобразие смерти.

Мы были одни; только воробы возились кругом да ласточки бесшумно влетали и вылетали в окна старой часовни, которая стояла, грустно покурясь, среди поросших травой могил, скромных крестов, полуразвалившихся каменных гробниц, на развалинах которых стлалась густая зелень, пестрели разноцветные головки лютиков, кашки, фиалок.

— Нет никого, — сказал один из моих спутников.

— Солнце заходит, — заметил другой, глядя на солнце, которое не заходило еще, но стояло над горою.

Дверь часовни была крепко заколочена, окна — высоко над землею; однако, при помощи товарищей, я надеялся взобраться на них и взглянуть внутрь часовни.

— Не надо! — вскрикнул один из моих спутников, вдруг потерявший всю свою храбрость, и схватил меня за руку.

— Пошел ко всем чертям, баба! — прикрикнул на него старший из нашей маленькой армии, с готовностью подставляя спину.

Я храбро взобрался на нее; потом он выпрямился, и я стал ногами на его плечи. В таком положении я без труда достал рукой раму и, убедясь в ее крепости, поднялся к окну и сидел на нем.

— Ну, что же там? — спрашивали меня снизу с живым интересом.

Я молчал. Перегнувшись через косяк, я заглянул внутрь часовни, и оттуда на меня пахнуло торжественною тишиной брошенного храма. Внутренность высокого, узкого здания была лишена всяких украшений. Лучи вечернего солнца, свободно врываясь в открытые окна, разрисовывали ярким золотом старые, ободранные стены. Я увидел внутреннюю сторону занертой двери, провалившиеся хоры, старые, истлевшие колонны, как бы покачнувшиеся под непосильною тяжестью. Углы были затканы паутиной, и в них ютилась та особенная тьма, которая залегает все углы таких старых зданий. От окна до пола казалось гораздо дальше, чем до травы снаружи. Я смотрел точно в глубокую яму и сначала не мог раз-

глядеть каких-то странных предметов, маячивших по полу причудливыми очертаниями.

Между тем моим товарищам надоело стоять внизу, ожидая от меня известий, и потому один из них, проделав ту же процедуру, какую проделал я раньше, повис рядом со мною, держась за оконную раму.

— Престол,— сказал он, взглядевшись в странный предмет на полу.

— И паникадило.

— Столик для Евангелия.

— А вон там что такое? — с любопытством указал он на темный предмет, видневшийся рядом с престолом.

— Поповская шапка.

— Нет, ведро.

— Зачем же тут ведро?

— Может быть, в нем когда-то были угли для кадила.

— Нет, это действительно шапка. Впрочем, можно посмотреть. Давай привяжем к раме пояс, и ты по нем спустишься.

— Да, как же, так и спущусь!.. Полезай сам, если хочешь.

— Ну, что ж! Думаешь, не полезу?

— И полезай!

Действуя по первому побуждению, я крепко связал два ремня, задел их за раму и, отдав один конец товарищу, сам повис на другом. Когда моя нога коснулась пола, я вздрогнул; но взгляд на участливо склонившуюся ко мне рожицу моего приятеля восстановил мою бодрость. Стук каблука зазвенел под потолком, отдался в пустоте часовни, в ее темных углах. Несколько воробьев вспорхнули с насиженных мест на хорах и вылетели в большую прореху в крыше. Со стены, на окнах которой мы сидели, глянуло на меня вдруг строгое лицо, с бородой, в терновом венце. Это склонялось из-под самого потолка гигантское распятие.

Мне было жутко; глаза моего друга сверкали захватывающим дух любопытством и участием.

— Ты подойдешь? — спросил он тихо.

— Подойду,— ответил я также, собираясь с духом. Но в эту минуту случилось нечто совершенно неожиданное.

Сначала послышался стук и шум обвалившейся на хорах штукатурки. Что-то завозилось вверх, тряхнуло в воздухе тучею пыли, и большая серая масса, взмахнув

крыльями, поднялась к прорехе в крыше. Часовня на мгновение как будто потемнела. Огромная старая сова, обеспокоенная нашей возней, вылетела из темного угла, мелькнула, распластавшись на фоне голубого неба в полете, и шарахнулась вон.

Я почувствовал прилив судорожного страха.

— Подымай! — крикнул я товарищу, схватившись за ремень.

— Не бойся, не бойся! — успокаивал он, приготовляясь поднять меня на свет дня и солнца.

Но вдруг лицо его исказилось от страха; он вскрикнул и мгновенно исчез, спрыгнув с окна. Я инстинктивно оглянулся и увидел странное явление, поразившее меня, впрочем, больше удивлением, чем ужасом.

Темный предмет нашего спора, шапка или ведро, оказавшийся в конце концов горшком, мелькнул в воздухе и на глазах моих скрылся под престолом. Я успел только разглядеть очертания небольшой, как будто детской руки.

Трудно передать мои ощущения в эту минуту. Я не страдал; чувство, которое я испытывал, нельзя даже назвать страхом. Я был на том свете. Откуда-то, точно из другого мира, в течение нескольких секунд доносился до меня быстрою дробью тревожный топот трех пар детских ног. Но вскоре затих и он. Я был один, точно в гробу, в виду каких-то странных и необъяснимых явлений.

Времени для меня не существовало, поэтому я не мог сказать, скоро ли я услышал под престолом сдержанный шепот.

— Почему же он не лезет себе назад?

— Видишь, испугался.

Первый голос показался мне совсем детским; второй мог принадлежать мальчику моего возраста. Мне показалось также, что в щели старого престола сверкнула пара черных глаз.

— Что же он теперь будет делать? — слышался опять шепот.

— А вот погоди, — ответил голос постарше.

Под престолом что-то сильно завожилось, он даже как будто покачнулся, и в то же мгновение из-под него вынырнула фигура.

Это был мальчик лет девяти, больше меня, худощавый и тонкий, как тростинка. Одет он был в грязной рубашонке, руки держал в карманах узких и коротких

штанишек. Темные курчавые волосы лохматились над черными задумчивыми глазами.

Хотя незнакомец, явившийся на сцену столь неожиданным и странным образом, подходил ко мне с тем беснечно-задорным видом, с каким всегда на нашем базаре подходили друг к другу мальчишки, готовые вступить в драку, но все же, увидев его, я сильно ободрился. Я ободрился еще более, когда из-под того же престола, или, вернее, из люка в полу часовни, который он покрывал, сзади мальчика показалось еще грязное личико, обрамленное белокурыми волосами и сверкавшее на меня детски-любопытными голубыми глазами.

Я несколько отодвинулся от стены и, согласно рыцарским правилам нашего базара, тоже положил руки в карманы. Это было признаком, что я не боюсь противника и даже отчасти намекаю на мое к нему презрение.

Мы стали друг против друга и обменялись взглядами. Оглядев меня с головы до ног, мальчишка спросил:

— Ты здесь зачем?

— Так,— ответил я.— Тебе какое дело?

Мой противник повел плечом, как будто намереваясь вынуть руку из кармава и ударить меня.

Я не моргнул и глазом.

— Я вот тебе покажу! — погрозил он.

Я выпятился грудью вперед.

— Ну, ударь... попробуй!..

Мгновение было критическое; от него зависел характер дальнейших отношений. Я ждал, но мой противник, окинув меня тем же испытующим взглядом, не шевелился.

— Я, брат, и сам... тоже... — сказал я, но уж более миролюбиво.

Между тем девочка, упершись маленькими ручонками в пол часовни, старалась тоже выкарабкаться из люка. Она падала, вновь приподымалась и, наконец, направила нетвердыми шагами к мальчишке. Подойдя вплоть, она крепко ухватила за него и, прижавшись к нему, поглядела на меня удивленным и отчасти испуганным взглядом.

Это решило исход дела; стало совершенно ясно, что в таком положении мальчишка не мог драться, а я, конечно, был слишком великодушен, чтобы воспользоваться его неудобным положением.

— Как твое имя? — спросил мальчик, глядя рукой белокурую головку девочки.

— Вася. А ты кто такой?

— Я Валеку... Я тебя знаю: ты живешь в саду над прудом. У вас большие яблоки.

— Да, это правда, яблоки у нас хорошие... не хочешь ли?

Вынув из кармана два яблока, назначавшиеся для расплаты с моею постыдно бежавшей армией, я подал одно из них Валеку, другое протянул девочке. Но она скрыла свое лицо, прижавшись к Валеку.

— Бойтся,— сказал тот и сам передал яблоко девочке.

— Зачем ты влез сюда? Разве я когда-нибудь лазал в ваш сад? — спросил он затем.

— Что ж, приходи! Я буду рад,— ответил я радужно. Ответ этот озадачил Валека; он призадумался.

— Я тебе не компания,— сказал он грустно.

— Отчего же? — спросил я, огорченный грустным тоном, каким были сказаны эти слова.

— Твой отец — пан судья.

— Ну так что же? — изумился я чистосердечно.— Ведь ты будешь играть со мной, а не с отцом.

Валеку покачал головой.

— Тыбурций не пустит,— сказал он, и, как будто это имя напомнило ему что-то, он вдруг спохватился: — Послушай... Ты, кажется, славный хлопец, но все-таки тебе лучше уйти. Если Тыбурций тебя застанет, будет плохо.

Я согласился, что мне действительно пора уходить. Последние лучи солнца уходили уже сквозь окна часовни, а до города было не близко.

— Как же мне отсюда выйти?

— Я тебе укажу дорогу. Мы выйдем вместе.

— А она? — ткнул я пальцем в нашу маленькую даму.

— Маруся? Она тоже пойдет с нами.

— Как, в окно?

Валеку задумался.

— Нет, вот что: я тебе помогу взобраться на окно, а мы выйдем другим ходом.

С помощью моего нового приятеля, я поднялся к окну. Отвязав ремень, я обвил его вокруг рамы и, держась за оба конца, повис в воздухе. Затем, отпустив один конец, я спрыгнул на землю и выдернул ремень. Валеку и Марусю ждали меня уже под стеной снаружи.

Солнце недавно еще село за гору. Город утонул в ли-

лово-туманной тени, и только верхушки тополей на острове резко выделялись червонным золотом, разрисованные последними лучами заката. Мне казалось, что, с тех пор как я явился сюда, на старое кладбище, прошло не менее суток, что это было вчера.

— Как хорошо! — сказал я, охваченный свежестью наступающего вечера и вдыхая полною грудью влажную прохладу.

— Скучно здесь... — с грустью произнес Валек.

— Вы все здесь живете? — спросил я, когда мы втроем стали спускаться с горы.

— Здесь.

— Где же ваш дом?

Я не мог себе представить, чтобы дети могли жить без «дома».

Валек усмехнулся с обычным грустным видом и ничего не ответил.

Мы миновали крутые обвалы, так как Валек знал более удобную дорогу. Пройдя меж камышей по высохшему болоту и переправившись через ручеек по тонким дощечкам, мы очутились у подножия горы, на равнине.

Тут надо было расстаться. Пожав руку моему новому знакомому, я протянул ее также и девочке. Она ласково подала мне свою крохотную ручонку и, глядя снизу вверх голубыми глазами, спросила:

— Ты придешь к нам опять?

— Приду, — ответил я, — непременно!..

— Что ж, — сказал в раздумье Валек, — приходи, пожалуй, только в такое время, когда наши будут в городе.

— Кто это «ваши»?

— Да наши... все: Тыбурций, Лавровский, Туркевич. Профессор... тот, пожалуй, не помешает.

— Хорошо. Я посмотрю, когда они будут в городе, и тогда приду. А пока прощайте!

— Эй, послушай-ка, — крикнул мне Валек, когда я отошел несколько шагов. — А ты болтать не будешь о том, что был у нас?

— Никому не скажу, — ответил я твердо.

— Ну вот, это хорошо! А этим твоим дуракам, когда станут приставать, скажи, что видел черта.

— Ладно, скажу.

— Ну, прощай!

— Прощай.

Густые сумерки залегли над Князьим-Вепом, когда я приблизился к забору своего сада. Над замком зарисо-

вался тонкий серп луны, загорелись звезды. Я хотел уже подняться на забор, как кто-то схватил меня за руку.

— Вася, друг,— заговорил взволнованным шепотом мой бежавший товарищ.— Как же это ты?.. Голубчик!..

— А вот, как видишь... А вы все меня бросили!..

Он потупился, но любопытство взяло верх над чувством стыда, и он спросил опять:

— Что же там было?

— Что,— ответил я тоном, не допускавшим сомнения,— разумеется, черти... А вы — трусы.

И, отмахнувшись от сконфуженного товарища, я полез на забор.

Через четверть часа я спал уже глубоким сном, и во сне мне виделись действительные черти, весело выскакивавшие из черного люка. Валек гонял их ивовым прутиком, а Маруся, весело сверкая глазками, смеялась и хлопала в ладоши.

V. Знакомство продолжается

С этих пор я весь был поглощен моим новым знакомством. Вечером, ложась в постель, и утром, вставая, я только и думал о предстоящем визите на гору. По улицам города я шатался теперь с исключительною целью — высмотреть, тут ли находится вся компания, которую Януш характеризовал словами «дурное общество»; и если Лавровский валялся в луже, если Туркевич и Тыбурций разглагольствовали перед своими слушателями, а темные личности шныряли по базару, я тотчас же бегом отправлялся через болото, на гору, к часовне, предварительно наполнив карманы яблоками, которые я мог рвать в саду без запрета, и лакомствами, которые я сберегал всегда для своих новых друзей.

Валек, вообще очень солидный и внушавший мне уважение своим манерами взрослого человека, принимал эти приношения просто и по большей части откладывал куда-нибудь, приберегая для сестры, но Маруся всякий раз всплескивала ручонками, и глаза ее загорались огоньком восторга; бледное лицо девочки вспыхивало румянцем, она смеялась, и этот смех нашей маленькой приятельницы отдавался в наших сердцах, вознаграждая за конфеты, которые мы жертвовали в ее пользу.

Это было бледное, крошечное создание, напоминавшее цветок, выросший без лучей солнца. Несмотря на свои четыре года, она ходила еще плохо, неуверенно ступая кривыми ножками и шатаясь, как былинка; руки ее были тонки и прозрачны; головка покачивалась на тонкой шее, как головка полевого колокольчика; глаза смотрели порой так не по-детски грустно, и улыбка так напоминала мне мою мать в последние дни, когда она, бывало, сидела против открытого окна и ветер шевелил ее белокурые волосы, что мне становилось самому грустно, и слезы подступали к глазам.

Я невольно сравнивал ее с моей сестрой; они были в одном возрасте, но моя Соня была кругла, как пышка, и упруга, как мячик. Она так резво бегала, когда, бывало, разыграется, так звонко смеялась, на ней всегда были такие красивые платья, и в темные косы ей каждый день горничная вплетала алую ленту.

А моя маленькая приятельница почти никогда не бегала и смеялась очень редко; когда же смеялась, то смех ее звучал, как самый маленький серебряный колокольчик, которого на десять шагов уже не слышно. Платье ее было грязно и старо, в косе не было лент, но волосы у нее были гораздо больше и роскошнее, чем у Сони, и Валека, к моему удивлению, очень искусно умел заплетать их, что и исполнял каждое утро.

Я был большой сорванец. «У этого малого,— говорили обо мне старшие,— руки и ноги налиты ртутью», чему я и сам верил, хотя не представлял себе ясно, кто и каким образом произвел надо мной эту операцию. В первые же дни я внес свое оживление и в общество моих новых знакомых. Едва ли эхо старой «кашлицы» повторяло когда-нибудь такие громкие крики, как в это время, когда я старался расшевелить и завлечь в свои игры Валека и Марусю. Однако это удавалось плохо. Валека серьезно смотрел на меня и на девочку, и раз, когда я заставил ее бегать со мной взапуски, он сказал:

— Нет, она сейчас заплачет.

Действительно, когда я растормошил ее и заставил бежать, Маруся, слышав мои шаги за собой, вдруг повернулась ко мне, подняв ручки над головой, точно для защиты, посмотрела на меня беспомощным взглядом захлопнутой пташки и громко заплакала. Я совсем растерялся.

— Вот, видишь,— сказал Валека,— она не любит играть.

Он усадил ее на траву, нарвал цветов и кинул ей; она перестала плакать и тихо перебирала растения, что-то говорила, обращаясь к золотистым лютикам, и подносила к губам синие колокольчики. Я тоже присмирел и лег рядом с Валеком около девочки.

— Отчего она такая? — спросил я наконец, указывая глазами на Марусю.

— Невеселая? — переспросил Валеk и затем сказал тоном совершенно убежденного человека: — А это, видишь ли, от серого камня.

— Да-а,— повторила девочка, точно слабое эхо,—это от серого камня.

— От какого серого камня? — переспросил я не понимая.

— Серый камень высосал из нее жизнь,— пояснил Валеk, по-прежнему смотря на небо.— Так говорит Тыбурций... Тыбурций хорошо знает.

— Да-а,— опять повторила тихим эхо девочка,— Тыбурций все знает.

Я ничего не понимал в этих загадочных словах, которые Валеk повторял за Тыбурцием, однако аргумент, что Тыбурций все знает, произвел и на меня свое действие. Я приподнялся на локте и взглянул на Марусю. Она сидела в том же положении, в каком усадил ее Валеk, и все так же перебирала цветы; движения ее тонких рук были медленны; глаза выделялись глубокою синевой на бледном лице; длинные ресницы были опущены. При взгляде на эту крохотную грустную фигурку мне стало ясно, что в словах Тыбурция,— хотя я и не понимал их значения,— заключается горькая правда. Несомненно, кто-то высасывает жизнь из этой странной девочки, которая плачет тогда, когда другие на ее месте смеются. Но как же может сделать это серый камень?

Это было для меня загадкой, страшнее всех призраков старого замка. Как ни ужасны были турки, томившиеся под землею, как ни грозен старый граф, усмирявший их в бурные ночи, но все они отзывались старою сказкой. А здесь что-то неведомо-страшное было налицо. Что-то бесформенное, неумолимое, твердое и жестокое, как камень, склонялось над маленькою головкой, высасывая из нее румянец, блеск глаз и живость движений. «Должно быть, это бывает по почам»,— думал я, и чувство щемящего до боли сожаления сжимало мне сердце.

Под влиянием этого чувства я тоже умерил свою рез-

вость. Применяясь к тихой солидности нашей дамы, оба мы с Валеком, усадив ее где-нибудь на траве, собирали для нее цветы, разноцветные камешки, ловили бабочек, иногда делали из кирпичей ловушки для воробьев. Иногда же, растянувшись около нее на траве, смотрели в небо, как плывут облака высоко над лохматою крышей старой «каплицы», рассказывали Марусе сказки или беседовали друг с другом.

Эти беседы с каждым днем все больше закрепляли нашу дружбу с Валеком, которая росла, несмотря на резкую противоположность наших характеров. Моей порывистой резвости он противопоставлял грустную солидность и внушал мне почтение своею авторитетностью и независимым тоном, с каким отзывался о старших. Кроме того, он часто сообщал мне много нового, о чем я раньше и не думал. Слыша, как он отзывался о Тыбурции, точно о товарище, я спросил:

— Тыбурций тебе отец?

— Должно быть, отец,— ответил он задумчиво, как будто этот вопрос не приходил ему в голову.

— Он тебя любит?

— Да, любит,— сказал он уже гораздо увереннее.— Он постоянно обо мне заботится и, знаешь, иногда он целует меня и плачет...

— И меня любит и тоже плачет,— прибавила Маруся с выражением детской гордости.

— А меня отец не любит,— сказал я грустно.— Он никогда не целовал меня... Он нехороший.

— Неправда, неправда,— возразил Валец,— ты не понимаешь. Тыбурций лучше знает. Он говорит, что судья — самый лучший человек в городе, и что городу давно бы уже надо провалиться, если бы не твой отец, да еще поп, которого недавно посадили в монастырь, да еврейский раввин. Вот из-за них троих...

— Что из-за них?

— Город из-за них еще не провалился,— так говорит Тыбурций,— потому что они еще за бедных людей заступаются... А твой отец, знаешь... он засудил даже одного графа...

— Да, это правда... Граф очень сердился, я слышал.

— Ну, вот видишь! А ведь графа судить не шутка.

— Почему?

— Почему? — переспросил Валец, несколько озадаченный... — Потому что граф — не простой человек... Граф делает, что хочет, и ездит в карете, и потом... у

графа деньги; он дал бы другому судье денег, и тот бы его не засудил, а засудил бы бедного.

— Да, это правда. Я слышал, как граф кричал у нас в квартире: «Я вас всех могу купить и продать!»

— А судья что?

— А отец говорит ему: «Подите от меня вон!»

— Ну вот, вот! И Тыбурций говорит, что он не побоялся прогнать богатого, а когда к нему пришла старая Иваниха с костылем, он велел принести ей стул. Вот он какой! Даже и Туркевич не делал никогда под его окнами скандалов.

Это была правда: Туркевич во время своих обличительных экскурсий всегда молча проходил мимо наших окон, иногда даже снимая шапку.

Все это заставило меня глубоко задуматься. Валек указал мне моего отца с такой стороны, с какой мне никогда не приходило в голову взглянуть на него: слова Валека задели в моем сердце струну сыновней гордости; мне было приятно слушать похвалы моему отцу, да еще от имени Тыбурция, который «все знает»; но вместе с тем дрогнула в моем сердце и нота щемящей любви, смешанной с горьким сознанием: никогда этот человек не любил и не полюбит меня так, как Тыбурций любит своих детей.

VI. Среди «серых камней»

Прошло еще несколько дней. Члены «дурного общества» перестали являться в город, и я напрасно шатался, скучая, по улицам, ожидая их появления, чтобы бежать на гору. Один только «профессор» прошел раза два своею сонною походкой, но ни Туркевича, ни Тыбурция не было видно. Я совсем соскучился, так как не видеть Валека и Марусю стало уже для меня большим лишением. Но вот, когда я однажды шел с спущенною головою по пыльной улице, Валек вдруг положил мне на плечо руку.

— Отчего ты перестал к нам ходить? — спросил он.

— Я боялся... Ваших не видно в городе.

— А-а... Я и не догадался сказать тебе: наших нет, приходи... А я было думал совсем другое.

— А что?

— Я думал, тебе наскучило.

— Нет, нет... Я, брат, сейчас побегу, — заторопился я, — даже и яблоки со мной.

При упоминании о яблоках Валек быстро повернулся ко мне, как будто хотел что-то сказать, но не сказал ничего, а только посмотрел на меня странным взглядом.

— Ничего, ничего, — отмахнулся он, видя, что я смотрю на него с ожиданием. — Ступай прямо на гору, а я тут зайду кое-куда, — дело есть. Я тебя догоню на дороге.

Я пошел тихо и часто оглядывался, ожидая, что Валек меня догонит; однако я успел взойти на гору и подошел к часовне, а его все не было. Я остановился в недоумении: передо мной было только кладбище, пустынное и тихое, без малейших признаков обитаемости, только воробьи чирикали на свободе да густые кусты черемухи, жимолости и сирени, прижимаясь к южной степе часовни, о чем-то тихо шептались густо разросшиеся темной листвой.

Я оглянулся кругом. Куда же мне теперь идти? Очевидно, надо дожидаться Валека. А пока я стал ходить между могилами, присматриваясь к ним от нечего делать и стараясь разобрать стертые надписи на обросших мхом надгробных камнях. Шатаюсь таким образом от могилы к могиле, я наткнулся на полуразрушенный просторный склеп. Крыша его была сброшена или сорвана непогодой и валялась тут же. Дверь была заколочена. Из любопытства я приставил к стене старый крест и, взбравшись по нему, заглянул внутрь. Гробница была пуста, только в середине пола была вделана оконная рама со стеклами, и сквозь эти стекла зияла темная пустота подземелья.

Пока я рассматривал гробницу, удивляясь странному назначению окна, на гору вбежал запыхавшийся и усталый Валек. В руках у него была большая еврейская булка, за пазухой что-то оттопырилось, по лицу стекали капли пота.

— Ага! — крикнул он, заметив меня. — Ты вот где. Если бы Тыбурций тебя здесь увидел, то-то бы рассердился! Ну, да теперь уж делать печего... Я знаю, ты хлопец хороший и никому не расскажешь, как мы живем. Пойдем к нам!

— Где же это, далеко? — спросил я.

— А вот увидишь. Ступай за мной.

Он раздвинул кусты жимолости и сирени и скрылся в зелени под стеной часовни; я последовал туда за ним и очутился на небольшой плотно утоптанной площадке, которая совершенно скрывалась в зелени. Между ство-

ламп черемухи я увидел в земле довольно большое отверстие с земляными ступенями, ведущими вниз. Валеку спустился туда, приглашая меня за собой, и через несколько секунд мы оба очутились в темноте, под зеленою. Взяв мою руку, Валеку повел меня по какому-то узкому сырому коридору, и, круто повернув вправо, мы вдруг вошли в просторное подземелье.

Я остановился у входа, пораженный невиданным зрелищем. Две струи света резко лились сверху, выделяясь полосами на темном фоне подземелья; свет этот проходил в два окна, одно из которых я видел в полу склепа, другое, подальше, очевидно, было пристроено таким же образом; лучи солнца проникали сюда не прямо, а прежде отражались от степ старых гробниц; они разливались в сыром воздухе подземелья, падали на каменные плиты пола, отражались и наполняли все подземелье тусклыми отблесками; стены тоже были сложены из камня; большие широкие колонны массивно вздымались снизу и, раскинув во все стороны свои каменные дуги, крепко смыкались кверху сводчатым потолком. На полу, в освещенных пространствах, сидели две фигуры. Старый «профессор», склонив голову и что-то бормоча про себя, ковырял иголкой в своих лохмотьях. Он не поднял даже головы, когда мы вошли в подземелье, и если бы не легкие движения руки, то эту серую фигуру можно было бы принять за фантастическое каменное изваяние.

Под другим окном сидела с кучкой цветов, перебирая их, по своему обыкновению, Маруся. Струя света падала на ее белокурую головку, заливала ее всю, но, несмотря на это, она как-то слабо выделялась на фоне серого камня странным и маленьким туманным пятнышком, которое, казалось, вот-вот расплывется и исчезнет. Когда там, вверху, над землей, пробегали облака, затеняя солнечный свет, стены подземелья тонули совсем в темноте, как будто раздвигались, уходили куда-то, а потом опять выступали жесткими, холодными камнями, смыкаясь крепкими объятиями над крохотною фигуркой девочки. Я поневоле вспомнил слова Валека о «сером камне», высасывавшем из Маруси ее веселье, и чувство суеверного страха закралось в мое сердце; мне казалось, что я ощущаю на ней и на себе невидимый каменный взгляд, пристальный и жадный. Мне казалось, что это подземелье чутко сторожит свою жертву.

— Валеку! — тихо обрадовалась Маруся, увидев брата.

Когда же она заметила меня, в ее глазах блеснула живая искорка.

Я отдал ей яблоки, а Валеку, разломив булку, часть подал ей, а другую снес «профессору». Несчастный ученый равнодушно взял это приношение и начал жевать, не отрываясь от своего занятия. Я переминался и ежил-ся, чувствуя себя как будто связанным под гнетущими взглядами серого камня.

— Уйдем... уйдем отсюда,— дернул я Валека.— Уведи ее...

— Пойдем, Маруся, наверх,— позвал Валеку сестру.

И мы втроем поднялись из подзаемелья, но и здесь, наверху, меня не оставляло ощущение какой-то напряженной неловкости. Валеку был грустнее и молчаливее обыкновенного.

— Ты в городе остался затем, чтобы купить булок? — спросил я у него.

— Купить? — усмехнулся Валеку.— Откуда же у меня деньги?

— Так как же? Ты выпросил?

— Да, выпросишь!.. Кто же мне даст?.. Нет, брат, я стянул их с лотка еврейки Суры на базаре! Она не заметила.

Он сказал это обыкновенным тоном, лежа враспашку с заложенными под голову руками. Я приподнялся на локте и посмотрел на него.

— Ты, значит, украл?..

— Ну да!

Я опять откинулся на траву, и с минуту мы пролежали молча.

— Воровать нехорошо,— проговорил я затем в грустном раздумье.

— Наши все ушли... Маруся плакала, потому что она была голодна.

— Да, голодна! — с жалобным простодушием повторила девочка.

Я не знал еще, что такое голод, но при последних словах девочки у меня что-то повернулось в груди, и я посмотрел на своих друзей, точно увидал их впервые. Валеку по-прежнему лежал на траве и задумчиво следил за парившим в небе ястребом. Теперь он не казался уже мне таким авторитетным, а при взгляде на Марусю, державшую обеими руками кусок булки, у меня заныло сердце.

— Почему же,— спросил я с усилием,— почему ты не сказал об этом мне?

— Я и хотел сказать, а потом раздумал; ведь у тебя своих денег нет.

— Ну так что же? Я взял бы булок из дому.

— Как, потихоньку?..

— Д-да.

— Значит, и ты бы тоже украл.

— Я... у своего отца.

— Это еще хуже! — с уверенностью сказал Валек. — Я никогда не ворую у своего отца.

— Ну, так я попросил бы... Мне бы дали.

— Ну, может быть, и дали бы один раз,— где же за-
пасться на всех нищих?

— А вы разве... нищие? — спросил я упавшим го-
лосом.

— Нищие! — угрюмо отрезал Валек.

Я замолчал и через несколько минут стал прощаться.

— Ты уж уходишь? — спросил Валек.

— Да, ухожу.

Я уходил потому, что не мог уже в этот день играть с моими друзьями по-прежнему, безмятежно. Чистая детская привязанность моя как-то замутилась... Хотя любовь моя к Валеку и Марусе не стала слабее, но к ней примешалась острая струя сожаления, доходившая до сердечной боли. Дома я рано лег в постель, потому что не знал, куда уложить новое болезненное чувство, переполнявшее душу. Уткнувшись в подушку, я горько плакал, пока крепкий сон не прогнал своим веянием моего глубокого горя.

VII. На сцену является пан Тыбурций

— Здравствуй! А уж я думал, ты не придеешь более,— так встретил меня Валек, когда я на следующий день опять явился на гору.

Я понял, почему он сказал это.

— Нет, я... я всегда буду ходить к вам,— ответил я решительно, чтобы раз навсегда покончить с этим вопросом.

Валек заметно повеселел, и оба мы почувствовали себя свободнее.

— Ну, что? Где же ваши? — спросил я. — Все еще не вернулись?

— Нет еще. Черт их знает, где они пропадают.

И мы весело принялись за сооружение хитроумной ловушки для воробьев, для которой я принес с собой ниток. Нитку мы дали в руку Марусе, и когда неосторожный воробей, привлеченный зерном, беспечно заскакивал в западню, Маруся дергала нитку, и крышка захлопывала птичку, которую мы затем отпускали.

Между тем около полудня небо насупилось, надвинулась темная туча, и под веселые раскаты грома зашумел ливень. Сначала мне очень не хотелось спускаться в подземелье, но потом, подумав, что ведь Валеку и Маруся живут там постоянно, я победил неприятное ощущение и пошел туда вместе с ними. В подземелье было темно и тихо, но сверху слышно было, как перекачивался гулкий грохот грозы, точно кто ездил там в громадной телеге по гигантски сложенной мостовой. Через несколько минут я освоился с подземельем, и мы весело прислушивались, как земля принимала широкие потоки ливня; гул, всплески и частые раскаты настраивали наши нервы, вызывали оживление, требовавшее исхода.

— Давайте играть в жмурки,— предложил я.

Мне завязали глаза; Маруся звенела слабыми переливами своего жалкого смеха и шлепала по каменному полу непроворными ножонками, а я делал вид, что не могу поймать ее, как вдруг наткнулся на чью-то мокрую фигуру и в ту же минуту почувствовал, что кто-то схватил меня за ногу. Сильная рука приподняла меня с полу, и я повис в воздухе вниз головой. Повязка с глаз моих спала.

Тыбурций, мокрый и сердитый, страшнее еще оттого, что я глядел на него снизу, держал меня за ноги и дико вращал зрачками.

— Это что еще, а? — строго спрашивал он, глядя на Валеку. — Вы тут, я вижу, весело проводите время... Завели приятную компанию.

— Пустите меня! — сказал я, удивляясь, что и в таком необычном положении я все-таки могу говорить, но рука пана Тыбурция только еще сильнее сжала мою ногу.

— *Reponde*, ответствуй! — грозно обратился он опять к Валеку, который в этом затруднительном случае стоял, зажав в рот два пальца, как бы в доказательство того, что ему отвечать решительно нечего.

Я заметил только, что он сочувственным оком и с большим участием следил за моею несчастною фигурой, качавшеюся, подобно маятнику, в пространстве.

Пан Тыбурций приподнял меня и взглянул в лицо.
— Эге-ге! Пан судья, если меня не обманывают глаза... Зачем это изволили пожаловать?

— Пусти! — проговорил я упрямо. — Сейчас отпусти! — И при этом я сделал инстинктивное движение, как бы собираясь топнуть ногой, но от этого весь только забился в воздухе.

Тыбурций захохотал.

— Ого-го! Пан судья изволят сердиться... Ну, да ты меня еще не знаешь. Его — Тыбурций *sum*¹. Я вот повешу тебя над огоньком и зажарю, как поросенка.

Я начинал думать, что действительно такова моя неизбежная участь, тем более что отчаянная фигура Валека как бы подтверждала мысль о возможности такого печального исхода. К счастью, на выручку подоспела Маруся.

— Не бойся, Вася, не бойся! — ободрила она меня, подойдя к самым ногам Тыбурция. — Он никогда не жарит мальчиков на огне... Это неправда!

Тыбурций быстрым движением повернул меня и поставил на ноги; при этом я чуть не упал, так как у меня закружилась голова, но он поддержал меня рукой и затем, сев на деревянный обрубок, поставил меня между колен.

— И как это ты сюда попал? — продолжал он допрашивать. — Давно ли?.. Говори ты! — обратился он к Валеку, так как я ничего не ответил.

— Давно, — ответил тот.

— А как давно?

— Дней шесть.

Казалось, этот ответ доставил пану Тыбурцию некоторое удовольствие.

— Ого, шесть дней! — заговорил он, поворачивая меня лицом к себе. — Шесть дней много времени. И ты до сих пор никому еще не разболтал, куда ходишь?

— Никому.

— Правда?

— Никому, — повторил я.

— Вене, похвально!.. Можно рассчитывать, что не разболтаешь и вперед. Впрочем, я и всегда считал тебя порядочным малым, встречая на улицах. Настоящий «улицник», хоть и «судья»... А нас судить будешь, скажи-ка?

¹ Я есмь Тыбурций (лат.).

Он говорил довольно добродушно, но я все-таки чувствовал себя глубоко оскорбленным и потому ответил довольно сердито:

— Я вовсе не судья. Я — Вася.

— Одно другому не мешает, и Вася тоже может быть судьей, — не теперь, так после... Это уж, брат, так ведется исстари. Вот видишь ли: я — Тыбурций, а он — Валек. Я нищий, и он — нищий. Я, если уж говорить откровенно, краду, и он будет красть. А твой отец меня судит, — ну, и ты когда-нибудь будешь судить... вот его!

— Не буду судить Валека, — возразил я угрюмо. — Неправда!

— Он не будет, — вступилась и Маруся, с полным убеждением отстраняя от меня ужасное подозрение.

Девочка доверчиво прижалась к ногам этого уroda, а он ласково гладил жилистой рукой ее белокурые волосы.

— Ну, этого ты вперед не говори, — сказал странный человек задумчиво, обращаясь ко мне таким тоном, точно он говорил со взрослым. — Не говори, *amicel!*¹ Эта история ведется исстари, всякому свое, *uium cuique*; каждый идет своей дорожкой, и кто знает... может быть, это и хорошо, что твоя дорога пролегла через нашу. Для тебя хорошо, *amicel*, потому что иметь в груди кусочек человеческого сердца, вместо холодного камня, — понимаешь?..

Я не понимал ничего, но все же впился глазами в лицо странного человека; глаза пана Тыбурция пристально смотрели в мои, и в них смутно мерцало что-то, как будто проникавшее в мою душу.

— Не понимаешь, конечно, потому что ты еще малец... Поэтому скажу тебе кратко, а ты когда-нибудь и вспомнишь слова философа Тыбурция: если когда-нибудь придется тебе судить вот его, то вспомни, что еще в то время, когда вы оба были дураками и играли вместе, — что уже тогда ты шел по дороге, по которой ходят в штанах и с хорошим запасом провизии, а он бежал по своей оборванцем-бесштанником и с пустым брюхом... Впрочем, пока еще это случится, — заговорил он, резко изменив тон, — запомни еще хорошенько вот что: если ты проболтаешься своему судье или хоть птице, которая пролетит мимо тебя в поле, о том, что ты здесь видел, то не будь я Тыбурций Драб, если я тебя не по-

¹ Друг (лат.).

— вешу вот в этом камине за ноги и не сделаю из тебя копченого окорока. Это ты, надеюсь, понял?

— Я не скажу никому... я... Можно мне опять прийти?

— Приходи, разрешаю... *sub conditionem*...¹ Впрочем, ты еще глуп и латыни не понимаешь. Я уже сказал тебе насчет окорока. Помни!..

Он отпустил меня и сам растянулся с усталым видом на длинной лавке, стоявшей около стенки.

— Возьми вон там, — указал он Валеку на большую корзину, которую, войдя, оставил у порога, — да разведи огонь. Мы будем сегодня варить обед.

Теперь это уже был не тот человек, что за минуту пугал меня, вращая зрачками, и не гаер, потешавший публику из-за подачек. Он распоряжался, как хозяин и глава семейства, вернувшийся с работы и отдающий приказания домочадцам.

Он казался сильно уставшим. Платье его было мокро от дождя, лицо тоже; волосы слиплись на лбу, во всей фигуре виднелось тяжелое утомление. Я в первый раз видел это выражение на лице веселого оратора городских кабаков, и опять этот взгляд за кулисы, на актера, изнеможенно отдыхавшего после тяжелой роли, которую он разыгрывал на житейской сцене, как будто влил что-то жуткое в мое сердце. Это было еще одно из тех откровений, какими так щедро наделяла меня старая унитарская «каплица».

Мы с Валеком живо принялись за работу. Валеk зажег лучину, и мы отправились с ним в темный коридор, примыкавший к подземелью. Там в углу были свалены куски полунистлевшего дерева, обломки крестов, старые доски; из этого запаса мы взяли несколько кусков и, поставив их в камин, развели огонек. Затем мне пришлось отступить, и Валеk один умелыми руками принялся за стряпню. Через полчаса на камине закипало уже в горшке какое-то варево, а в ожидании, пока оно поспеет, Валеk поставил на трехногий, кое-как сколоченный столик сковороду, на которой дымились куски жареного мяса.

Тыбурций поднялся.

— Готово? — сказал он. — Ну и отлично. Садись, малый, с нами, — ты заработал свой обед... *Domine preser-*

¹ Под условием (лат.).

tor!¹ — крикнул он затем, обращаясь к «профессору». — Брось иголку, садись к столу.

— Сейчас, — сказал тихим голосом «профессор», удивив меня этим сознательным ответом.

Впрочем, искра сознания, вызванная голосом Тыбурция, не проявлялась ничем больше. Старик воткнул иголку в лохмотья и равнодушно, с тусклым взглядом, уселся на один из деревянных обрубков, замепявших в подземеелье стулья.

Марусю Тыбурций держал на руках. Она и Валек ели с жадностью, которая ясно показывала, что мясное блюдо было для них невиданною роскошью; Маруся облизывала даже свои засаленные пальцы. Тыбурций ел с расстановкой и, повинуясь, по-видимому, неодолимой потребности говорить, то и дело обращался к «профессору» со своей беседой. Бедный ученый проявлял при этом удивительное внимание и, наклонив голову, выслушивал все с таким разумным видом, как будто он поппмал каждое слово. Иногда даже он выражал свое согласие кивками головы и тихим мычанием.

— Вот, domine, как немного нужно человеку, — говорил Тыбурций. — Не правда ли? Вот мы и сыты, и теперь нам остается только поблагодарить бога и клеванского капеллана...

— Ага, ага! — поддакивал «профессор».

— Ты это, domine, поддакиваешь, а сам не понимаешь, причем тут клеванский капеллан, — я ведь тебя знаю... А между тем не будь клеванского капеллана, у нас не было бы жаркого и еще кое-чего...

— Это вам дал клеванский ксендз? — спросил я, вспомнив вдруг круглое добродушное лицо клеванского «пробоща», бывавшего у отца.

— У этого малого, domine, любознательный ум, — продолжал Тыбурций, по-прежнему обращаясь к «профессору». — Действительно, его священство дал нам все это, хотя мы у него и не просили, и даже, быть может, не только его левая рука не знала, что дает правая, но и обе руки не имели об этом ни малейшего понятия... Кушай, domine, кушай!

Из этой странной и запутанной речи я понял только, что способ приобретения был не совсем обыкновенный, и не удержался, чтоб еще раз не вставить вопроса:

— Вы это взяли... сами?

¹ Господин наставник (лат.).

— Малый не лишен проницательности,— продолжал опять Тыбурций по-прежнему,— жаль только, что он не видел капеллана: у капеллана брюхо, как настоящая соровая бочка, и, стало быть, объединение ему очень вредно. Между тем мы все, здесь находящиеся, страдаем скорее излишнею худобой, а потому некоторое количество провизии не можем считать для себя лишним... Так ли я говорю, domine?

— Ага, ага! — задумчиво промычал опять «профессор».

— Ну вот! На этот раз вы выразили свое мнение очень удачно, а то я уже начинал думать, что у этого малого ум бойчее, чем у некоторых ученых... Возвращаясь, однако, к капеллану, я думаю, что добрый урок стоит платы, и в таком случае мы можем сказать, что купили у него провизию: если он после этого сделает в амбаре двери покрепче, то вот мы и квиты... Впрочем,— повернулся он вдруг ко мне,— ты все-таки еще глуп и многого не понимаешь. А вот она понимает: скажи, моя Маруся, хорошо ли я сделал, что принес тебе жаркое?

— Хорошо! — ответила девочка, слегка сверкнув бирюзовыми глазами.— Маня была голодна.

Под вечер этого дня я с отуманенною головой задумчиво возвращался к себе. Странные речи Тыбурция ни на одну минуту не поколебали во мне убеждения, что «воровать нехорошо». Напротив, болезненное ощущение, которое я испытывал раньше, еще усилилось. Нищие... воры... у них нет дома!.. От окружающих я давно уже знал, что со всем этим соединяется презрение. Я даже чувствовал, как из глубины души во мне подымается вся горечь презрения, но я инстинктивно защищал мою привязанность от этой горькой примеси, не давая им слиться. В результате смутного душевного процесса — сожаление к Валеку и Марусе усилилось и обострилось, но привязанность не исчезла. Формула «нехорошо воровать» осталась. Но, когда воображение рисовало мне оживленное личико моей приятельницы, облизывавшей свои засаленные пальцы, я радовался ее радостью и радостью Валека.

В темной аллейке сада я нечаянно наткнулся на отца. Он, по обыкновению, угрюмо ходил взад и вперед с обычным странным, как будто отуманенным взглядом. Когда я очутился подле него, он взял меня за плечо.

— Откуда это?

— Я... гулял...

Он внимательно посмотрел на меня, хотел что-то сказать, но потом взгляд его опять затуманился и, махнув рукой, он зашагал по аллее. Мне кажется, что я и тогда понимал смысл этого жеста:

— А, все равно... Ее уж нет!..

Я солгал чуть ли не первый раз в жизни.

Я всегда боялся отца, а теперь тем более. Теперь я носил в себе целый мир смутных вопросов и ощущений. Мог ли он понять меня? Мог ли я в чем-либо признаться ему, не изменяя своим друзьям? Я дрожал при мысли, что он узнает когда-либо о моем знакомстве с «дурным обществом», но изменить этому обществу, изменить Валеку и Марусе — я был не в состоянии. К тому же здесь было тоже нечто вроде «принципа»: если б я изменил им, нарушив данное слово, то не мог бы при встрече поднять на них глаз от стыда.

VIII. Осенью

Близилась осень. В поле шла жатва, листья на деревьях желтели. Вместе с тем наша Маруся начала прихварывать.

Она ни на что не жаловалась, только все худела; лицо ее все бледнело, глаза потемнели, стали больше, веки приподнимались с трудом.

Теперь я мог приходить на гору, не стесняясь тем, что члены «дурного общества» бывали дома. Я совершенно свыкся с ними и стал на горе своим человеком.

— Ты славный хлопец и когда-нибудь тоже будешь генералом, — говаривал Туркевич.

Темные молодые личности делали мне из вяза луки и самострелы; высокий штык-юнкер с красным носом вертел меня на воздухе, как щепку, приучая к гимнастике. Только «профессор» по-всегдашнему был погружен в какие-то глубокие соображения, а Лавровский в трезвом состоянии вообще избегал людского общества и жался по углам.

Все эти люди помещались отдельно от Тыбурция, который занимал «с семейством» описанное выше подземелье. Остальные члены «дурного общества» жили в таком же подземелье, побольше, которое отделялось от первого двумя узкими коридорами. Свету здесь было меньше, больше сырости и мрака. Вдоль стен кое-где стояли деревянные лавки и обрубки, заменявшие сту-

ля. Скамейки были завалены какими-то лохмотьями, заменявшими постели. В середине, в освещенном месте, стоял верстак, на котором по временам пан Тыбурций или кто-либо из темных личностей работали столярные поделки; был среди «дурного общества» и сапожник, и корзинщик, но, кроме Тыбурция, все остальные ремесленники были или дилетанты, или же какие-нибудь заморыши, или люди, у которых, как я замечал, слишком сильно тряслись руки, чтобы работа могла идти успешно. Пол этого подземелья был закидан стружками и всякими обрезками; всюду виднелись грязь и беспорядок, хотя по временам Тыбурций за это сильно ругался и заставлял кого-нибудь из жильцов подмести и хотя сколько-нибудь убрать это мрачное жилье. Я не часто заходил сюда, так как не мог привыкнуть к затхлому воздуху, и, кроме того, в трезвые минуты здесь имел пребывание мрачный Лавровский. Он обыкновенно или сидел на лавочке, спрятав лицо в ладони и раскидав свои длинные волосы, или ходил из угла в угол быстрыми шагами. От этой фигуры веяло чем-то тяжелым и мрачным, чего не выносили мои нервы. Но остальные сожител-бедняги давно уже свыклись с его странностями. Генерал Туркевич заставлял его иногда переписывать набело сочиняемые самим Туркевичем прошения и кляузы для обывателей или же шуточные пасквили, которые потом развешивал на фонарных столбах. Лавровский покорно садился за столик в комнате Тыбурция и по целым часам выводил прекрасным почерком ровные строки. Раза два мне довелось видеть, как его, бесчувственно пьяного, тащили сверху в подземелье. Голова несчастного, свесившись, болталась из стороны в сторону, ноги бессильно тащились и стучали по каменным ступенькам, на лице виднелось выражение страдания, по щекам текли слезы. Мы с Марусей, крепко прижавшись друг к другу, смотрели на эту сцену из дальнего угла; но Валек совершенно свободно шнырял между большими, поддерживая то руку, то ногу, то голову Лавровского.

Все, что на улицах меня забавляло и интересовало в этих людях, как балаганное представление,—здесь, за кулисами, являлось в своем настоящем, неприкрашенном виде и тяжело угнетало детское сердце.

Тыбурций пользовался здесь непререкаемым авторитетом. Он открыл эти подземелья, он здесь распоряжался, и все его приказания исполнялись. Вероятно,

поэтому именно я не припомню ни одного случая, когда бы кто-либо из этих людей, несомненно потерявших человеческий облик, обратился ко мне с каким-нибудь дурным предложением. Теперь, умудренный прозаическим опытом жизни, я знаю, конечно, что там был мелкий разврат, грошовые пороки и гниль. Но когда эти люди и эти картины встают в моей памяти, затянутые дымкой прошедшего, я вижу только черты тяжелого трагизма, глубокого горя и нужды.

Детство, юность — это великие источники идеализма!

Осень все больше вступала в свои права. Небо все чаще заволакивалось тучами, окрестности тонули в туманном сумраке; потоки дождя шумно лились на землю, отдаваясь однообразным и грустным гулом в подземельях.

Мне стоило много труда урываться из дому в такую погоду; впрочем, я только старался уйти незамеченным; когда же возвращался домой весь вымокший, то сам развешивал платье против камина и смиренно ложился в постель, философски отмалчиваясь под целым градом упреков, которые лились из уст няnek и слуганок.

Каждый раз, придя к своим друзьям, я замечал, что Маруся все больше хиреет. Теперь она совсем уже не выходила на воздух, и серый камень — темное, молчаливое чудовище подземелья — продолжал без перерывов свою ужасную работу, высасывая жизнь из маленького тельца. Девочка теперь большую часть времени проводила в постели, и мы с Валеком истощали все усилия, чтобы развлечь ее и позабавить, чтобы вызвать тихие переливы ее слабого смеха.

Теперь, когда я окончательно сжился с «дурным обществом», грустная улыбка Маруси стала мне почти так же дорога, как улыбка сестры; но тут никто не ставил мне вечно на вид мою испорченность, тут не было ворчливой няньки, тут я был нужен, — я чувствовал, что каждый раз мое появление вызывает румянец оживления на щеках девочки. Валеk обнимал меня, как брата, и даже Тыбурций по временам смотрел на нас троих какими-то странными глазами, в которых что-то мерцало, точно слеза.

На время небо опять прояснилось; с него сбегали последние тучи, и над просыхающей землей, в последний раз перед наступлением зимы, засияли солнечные

дни. Мы каждый день выносили Марусю наверх, и здесь она как будто оживала; девочка смотрела вокруг широко раскрытыми глазами, на щеках ее загорался румянец; казалось, что ветер, обдававший ее своими свежими взмахами, возвращал ей частицы жизни, похищенные серыми камнями подземелья. Но это продолжалось так недолго...

Между тем над моей головой тоже стали собираться тучи.

Однажды, когда я, по обыкновению, утром проходил по аллеям сада, я увидел в одной из них отца, а рядом старого Януша из замка. Старик подобострастно кланялся и что-то говорил, а отец стоял с угрюмым видом, и на лбу его резко обозначалась складка нетерпеливого гнева. Наконец он протянул руку, как бы отстраняя Януша с своей дороги, и сказал:

— Уходите! Вы просто старый сплетник!

Старик как-то заморгал и, держа шапку в руках, опять забежал вперед и загородил отцу дорогу. Глаза отца сверкнули гневом. Януш говорил тихо, и слов его мне не было слышно, зато отрывочные фразы отца доносились ясно, падая точно удары хлыста.

— Не верю ни одному слову... Что вам надо от этих людей? Где доказательства?.. Словесных доносов я не слушаю, а письменный вы обязаны доказать... Молчать! это уж мое дело... Не желаю и слушать.

Наконец он так решительно отстранил Януша, что тот не посмел более надоедать ему; отец повернул в боковую аллею, а я побежал к калитке.

Я сильно недолюбливал старого филина из замка, и теперь сердце мое дрогнуло предчувствием. Я понял, что подслушанный мною разговор относился к моим друзьям и, быть может, также ко мне.

Тыбурций, которому я рассказал об этом случае, скорчил ужасную гримасу:

— У-уф, малый, какая это неприятная новость!.. О, проклятая старая гиена.

— Отец его прогнал, — заметил я в виде утешения.

— Твой отец, малый, самый лучший из всех судей, начиная от царя Соломона... Однако знаешь ли ты, что такое *siggiculum vitae*?¹ Не знаешь, конечно. Ну, а формулярный список знаешь? Ну, вот видишь ли: *siggiculum vitae* — это есть формулярный список челове-

¹ Краткое жизнеописание (лат.).

ка, не служившего в уездном суде... И если только старый сыч кое-что пронюхал и сможет доставить твоему отцу мой список, то... ах, клянусь богородицей, не желал бы я попасть к судье в лапы!..

— Разве он... злой? — спросил я, вспомнив отзыв Валека.

— Нет, нет, малый! Храни тебя бог подумать это об отце. У твоего отца есть сердце, он знает много... Быть может, он уже знает все, что может сказать ему Януш, но он молчит; он не считает нужным травить старого беззубого зверя в его последней берлоге... Но, малый, как бы тебе объяснить это? Твой отец служит господину, которого имя — закон. У него есть глаза и сердце только до тех пор, пока закон спит себе на полках; когда же этот господин сойдет оттуда и скажет твоему отцу: «А ну-ка, судья, не взяты ли нам за Тыбурция Драба или как там его зовут?» — с этого момента судья тотчас запирает свое сердце на ключ, и тогда у судьи такие твердые лапы, что скорее мир повернется в другую сторону, чем пан Тыбурций вывернется из его рук... Понимаешь ты, малый?.. И за это я и все еще больше уважаю твоего отца, потому что он верный слуга своего господина, а такие люди редки. Будь у закопа все такие слуги, он мог бы спать себе спокойно на своих полках и никогда не просыпаться... Вся беда моя в том, что у меня с закопом вышла когда-то, давно уже, некоторая суспичия... то есть, понимаешь, неожиданная ссора... ах, малый, очень это была крупная ссора!

С этими словами Тыбурций встал, взял на руки Марусю и, отойдя с нею в дальний угол, стал целовать ее, прижимаясь своею безобразной головой к ее маленькой груди. А я остался на месте и долго стоял в одном положении под впечатлением странных речей странного человека. Несмотря на причудливые и непонятные обороты, я отлично схватил сущность того, что говорил об отце Тыбурций, и фигура отца в моем представлении еще выросла, облеклась ореолом грозной, но симпатичной силы и даже какого-то величия. Но вместе с тем усиливалось и другое, горькое чувство...

«Вот он какой, — думалось мне, — но все же он меня не любит».

Ясные дни миновали, и Марусе опять стало хуже. На все наши ухищрения, с целью занять ее, она смотрела равнодушно своими большими потемневшими и неподвижными глазами, и мы давно уже не слышали ее смеха. Я стал носить в подземелье свои игрушки, но и они развлекали девочку только на короткое время. Тогда я решился обратиться к своей сестре Соне.

У Сони была большая кукла, с ярко раскрашенным лицом и роскошными льняными волосами, подарок покойной матери. На эту куклу я возлагал большие надежды и потому, отозвав сестру в боковую аллею сада, попросил дать мне ее на время. Я так убедительно просил ее об этом, так живо описал ей бедную больную девочку, у которой никогда не было своих игрушек, что Соня, которая сначала только прижимала куклу к себе, отдала мне ее и обещала в течение двух-трех дней играть другими игрушками, ничего не упоминая о кукле.

Действие этой нарядной фаянсовой барышни на нашу больную превзошло все мои ожидания. Маруся, которая увядала, как цветок осенью, казалось, вдруг опять ожила. Она так крепко меня обнимала, так звонко смеялась, разговаривая со своею новою знакомой... Маленькая кукла сделала почти чудо: Маруся, давно уже не сходившая с постели, стала ходить, водить за собою свою белокурую дочку, по временам даже бегала, по-прежнему шлепая по полу слабыми ногами.

Зато мне эта кукла доставила очень много тревожных минут. Прежде всего, когда я нес ее за пазухой, направляясь с нею на гору, в дороге мне попался старый Януш, который долго провожал меня глазами и качал головой. Потом дня через два старушка няня заметила пропажу и стала соваться по углам, везде разыскивая куклу. Соня старалась унять ее, но своими наивными уверениями, что ей кукла не нужна, что кукла ушла гулять и скоро вернется, только вызывала недоумение служанок и возбуждала подозрение, что тут не простая пропажа. Отец ничего еще не знал, но к нему опять приходил Януш и был прогнан на этот раз с еще большим гневом; однако в тот же день отец оставил меня на пути к садовой калитке и велел остаться дома. На следующий день повторилось то же, и только

через четыре дня я встал рано утром и махнул через забор, пока отец еще спал.

На горе дела опять были плохи. Маруся опять слегла, и ей стало еще хуже; лицо ее горело странным румянцем, белокурые волосы раскидались по подушке; она никого не узнавала. Рядом с ней лежала злополучная кукла, с розовыми щеками и глупыми блестящими глазами.

Я сообщил Валеку свои опасения, и мы решили, что куклу необходимо унести обратно, тем более что Маруся этого и не заметит. Но мы ошиблись! Как только я вынул куклу из рук лежащей в забытьи девочки, она открыла глаза, посмотрела перед собой смутным взглядом, как будто не видя меня, не сознавая, что с ней происходит, и вдруг заплакала тихо-тихо, но вместе с тем так жалобно, и в исхудалом лице, под покровом бреда, мелькнуло выражение такого глубокого горя, что я тотчас же с испугом положил куклу на прежнее место. Девочка улыбнулась, прижала куклу к себе и успокоилась. Я понял, что хотел лишить моего маленького друга первой и последней радости ее недолгой жизни.

Валек робко посмотрел на меня.

— Как же теперь будет? — спросил он грустно.

Тыбурций, сидя на лавочке с печально понуренною головой, также смотрел на меня вопросительным взглядом. Поэтому я постарался придать себе вид по возможности беспечный и сказал:

— Ничего! Нянька, наверное, уж забыла.

Но старуха не забыла. Когда я на этот раз возвратился домой, у калитки мне опять попался Януш; Соню я застал с заплаканными глазами, а нянька кинула на меня сердитый, подавляющий взгляд и что-то ворчала беззубым, шамкающим ртом.

Отец спросил у меня, куда я ходил, и, выслушав внимательно обычный ответ, ограничился тем, что повторил мне приказ ни под каким видом не отлучаться из дому без его позволения. Приказ был категоричен и очень решителен; ослушаться его я не посмел, но не решился также и обратиться к отцу за позволением.

Прошло четыре томительных дня. Я грустно ходил по саду и с тоской смотрел по направлению к горе, ожидая, кроме того, грозы, которая собиралась над моей головой. Что будет, я не знал, но на сердце у меня было тяжело. Меня в жизни никто еще не наказывал; отец не только не трогал меня пальцем, но я от него не слы-

шал никогда ни одного резкого слова. Теперь меня томило тяжелое предчувствие.

Наконец меня позвали к отцу, в его кабинет. Я вошел и робко остановился у притоки. В окно заглядывало грустное осеннее солнце. Отец некоторое время сидел в своем кресле перед портретом матери и не поворачивался ко мне. Я слышал тревожный стук собственного сердца.

Наконец он повернулся. Я поднял на него глаза и тотчас же их опустил в землю. Лицо отца показалось мне страшным. Прошло около полминуты, и в течение этого времени я чувствовал на себе тяжелый, неподвижный, подавляющий взгляд.

— Ты взял у сестры куклу?

Эти слова упали вдруг на меня так отчетливо и резко, что я вадрогнул.

— Да,— ответил я тихо.

— А знаешь ты, что это подарок матери, которым ты должен бы дорожить, как святыней?.. Ты украл ее?

— Нет,— сказал я, подымая голову.

— Как нет? — вскрикнул вдруг отец, отталкивая кресло.— Ты украл ее и снес!.. Кому ты снес ее?.. Говори!

Он быстро подошел ко мне и положил мне на плечо тяжелую руку. Я с усилием поднял голову и взглянул вверх. Лицо отца было бледно. Складка боли, которая со смерти матери залегла у него между бровями, не разгладилась и теперь, но глаза горели гневом. Я весь съежился. Из этих глаз, глаз отца, глянуло на меня, как мне показалось, безумие или... ненависть.

— Ну, что ж ты?.. Говори! — И рука, державшая мое плечо, сжала его сильнее.

— Н-не скажу,— ответил я тихо.

— Нет, скажешь! — отчеканил отец, и в голосе его зазвучала угроза.

— Не скажу,— прошептал я еще тише.

— Скажешь, скажешь!..

Он повторил это слово сдавленным голосом, точно оно вырвалось у него с болью и усилием. Я чувствовал, как дрожала его рука, и, казалось, слышал даже kloкотавшее в груди его бешенство. И я все ниже опускал голову, и слезы одна за другой капали из моих глаз на пол, но я все повторял едва слышно:

— Нет, не скажу... никогда, никогда не скажу вам... Ни за что!

В эту минуту во мне сказался сын моего отца. Он не добился бы от меня иного ответа самыми страшными муками. В моей груди, навстречу его угрозам, подымалось едва сознанное оскорбленное чувство покинутого ребенка и какая-то жгучая любовь к тем, кто меня пригрел там, в старой часовне.

Отец тяжело перевел дух. Я съезжился еще более, горькие слезы жгли мои щеки. Я ждал.

Изобразить чувство, которое я испытывал в то время, очень трудно. Я знал, что он страшно вспыльчив, что в эту минуту в его груди кипит бешенство, что, может быть, через секунду мое тело забьется беспомощно в его сильных и иступленных руках. Что он со мной сделает? — швырнет... изломает; но мне теперь кажется, что я боялся не этого... Даже в эту страшную минуту я любил этого человека, но вместе с тем инстинктивно чувствовал, что вот сейчас он бешеным насилием разобьет мою любовь вдребезги, что затем, пока я буду жить, в его руках и после, навсегда, навсегда в моем сердце вспыхнет та же пламенная ненависть, которая мелькнула для меня в его мрачных глазах.

Теперь я совсем перестал бояться; в моей груди зашевелилось что-то вроде задорного, дерзкого вызова... Кажется, я ждал и желал, чтобы катастрофа наконец разразилась. Если так... пусть... тем лучше, да, тем лучше... тем лучше...

Отец опять тяжело вздохнул. Я уже не смотрел на него, только слышал этот вздох, — тяжелый, прерывистый, долгий... Справился ли он сам с овладевшим им иступлением, или это чувство не получило исхода благодаря последующему неожиданному обстоятельству, я и до сих пор не знаю. Знаю только, что в эту критическую минуту раздался вдруг за открытым окном резкий голос Тыбурция:

— Эге-ге!.. мой бедный маленький друг...

«Тыбурций пришел!» — промелькнуло у меня в голове, но этот приход не произвел на меня никакого впечатления. Я весь превратился в ожидание, и, даже чувствуя, как дрогнула рука отца, лежавшая на моем плече, я не представлял себе, чтобы появление Тыбурция или какое бы то ни было другое внешнее обстоятельство могло стать между мною и отцом, могло отклонить то, что я считал неизбежным и чего ждал с приливом задорного ответного гнева.

Между тем Тыбурций быстро отпер входную дверь и, остановившись на пороге, в одну секунду оглядел нас обоих своими острыми рысьими глазами. Я до сих пор помню малейшую черту этой сцены. На мгновение в зеленоватых глазах, в широком некрасивом лице уличного оратора мелькнула холодная и злорадная насмешка, но это было только на мгновение. Затем он покачал головой, и в его голосе зазвучала скорее грусть, чем обычная ирония.

— Эге-ге!.. Я вижу моего молодого друга в очень затруднительном положении...

Отец встретил его мрачным и удивленным взглядом, но Тыбурций выдержал этот взгляд спокойно. Теперь он был серьезен, не кривлялся, и глаза его глядели как-то особенно грустно.

— Пан судья! — заговорил он мягко. — Вы человек справедливый... отпустите ребенка. Малый был в «дурном обществе», но, видит бог, он не сделал дурного дела, и если его сердце лежит к моим оборванным беднягам, то, клянусь богородицей, лучше велите меня повесить, но я не допущу, чтобы мальчик пострадал из-за этого. Вот твоя кукла, малый!..

Он развязал узелок и вынул оттуда куклу.

Рука отца, державшая мое плечо, разжалась. В лице виднелось изумление.

— Что это значит? — спросил он наконец.

— Отпустите мальчика, — повторил Тыбурций, и его широкая ладонь любовно погладила мою опущенную голову. — Вы ничего не добьетесь от него угрозами, а между тем я охотно расскажу вам все, что вы желаете знать... Выйдем, пан судья, в другую комнату.

Отец, все время смотревший на Тыбурция удивленными глазами, повиновался. Оба они вышли, а я остался на месте, подавленный ощущениями, переполнившими мое сердце. В эту минуту я ни в чем не отдавал себе отчета, и если теперь я помню все детали этой сцены, если я помню даже, как за окном возились воробьи, а с речки доносился мерный плеск весел, — то это просто механическое действие памяти. Ничего этого тогда для меня не существовало; был только маленький мальчик, в сердце которого встряхнули два разнообразных чувства: гнев и любовь, — так сильно, что это сердце замутилось, как мутятся от толчка в стакане две отстоявшиеся разнородные жидкости. Был такой мальчик, и этот мальчик был я, и мне самому себя было как будто

жалко. Да еще были два голоса, смутным, хотя и оживленным говором звучавшие за дверью...

Я все еще стоял на том же месте, как дверь кабинета отворилась, и оба собеседника вошли. Я опять почувствовал на своей голове чью-то руку и вздрогнул. То была рука отца, нежно гладившая мои волосы.

Тыбурций взял меня на руки и посадил в присутствии отца к себе на колени.

— Приходи к нам,— сказал он,— отец тебя отпустит попрощаться с моей девочкой. Опа... она умерла.

Голос Тыбурция дрогнул, он странно заморгал глазами, но тотчас же встал, поставил меня на пол, выпрямился и быстро ушел из комнаты.

Я вопросительно поднял глаза на отца. Теперь передо мной стоял другой человек, но в этом именно человеке я нашел что-то родное, чего тщетно искал в нем прежде. Он смотрел на меня обычным своим задумчивым взглядом, но теперь в этом взгляде виднелся оттенок удивления и как будто вопрос. Казалось, буря, которая только что пронеслась над нами обоими, рассеяла тяжелый туман, нависший над душой отца, заставивший его добрый и любящий взгляд... И отец только теперь стал узнавать во мне знакомые черты своего родного сына.

Я доверчиво взял его руку и сказал:

— Я ведь не украл... Соня сама дала мне на время...

— Д-да,— ответил он задумчиво,— я знаю... Я виноват перед тобою, мальчик, и ты стараешься когда-нибудь забыть это, не правда ли?

Я с живостью схватил его руку и стал ее целовать. Я знал, что теперь никогда уже он не будет смотреть на меня теми страшными глазами, какими смотрел за несколько минут перед тем, в долго сдерживаемая любовь хлынула целым потоком в мое сердце.

Теперь я его уже не боялся.

— Ты отпустишь меня теперь на гору? — спросил я, вспомнив вдруг приглашение Тыбурция.

— Д-да... Ступай, ступай, мальчик, попрощайся... — ласково проговорил он все еще с тем же оттенком недоумения в голосе. — Да, впрочем, постой... пожалуй-ста, мальчик, погоди немного.

Он ушел в свою спальню и, через минуту выйдя оттуда, сунул мне в руку несколько бумажек.

— Передай это... Тыбурцию... Скажи, что я покорнейше прошу его,— понимаешь?.. покорнейше прошу —

взять эти деньги... от тебя... Ты понял?.. Да еще скажи,— добавил отец, как будто колеблясь,— скажи, что если он знает одного тут... Федоровича, то пусть скажет, что этому Федоровичу лучше уйти из нашего города... Теперь ступай, мальчик, ступай скорее.

Я догнал Тыбурция уже на горе и, запыхавшись, нескладно исполнил поручение отца.

— Покорнейше просит... отец...— И я стал совать ему в руку данные отцом деньги.

Я не глядел ему в лицо. Деньги он взял и мрачно выслушал дальнейшее поручение относительно Федоровича.

В подземелье, в темном углу, на лавочке лежала Маруся. Слово «смерть» не имеет еще полного значения для детского слуха, и горькие слезы только теперь, при виде этого безжизненного тела, сдавили мне горло. Моя маленькая приятельница лежала серьезная и грустная, с печально вытянутым личиком. Закрытые глаза слегка ввалились и еще резче оттенились синевой. Ротик немного раскрылся, с выражением детской печали. Маруся как будто отвечала этою гримаской на наши слезы.

«Профессор» стоял у изголовья и безучастно качал головой. Штык-юнкер стучал в углу топором, готовя, с помощью нескольких темных личностей, гробик из старых досок, сорванных с крыши часовни. Лавровский, трезвый и с выражением полного сознания, убирал Марусю собранными им самим осенними цветами. Валеk спал в углу, вздрагивая сквозь сон всем телом, и по временам первно всхлипывал.

Заключение

Вскоре после описанных событий члены «дурного общества» рассеялись в разные стороны. Остались только «профессор», по-прежнему, до самой смерти, слонявшийся по улицам города, да Туркевич, которому отец давал по временам кое-какую письменную работу. Я с своей стороны пролил немало крови в битвах с еврейскими мальчишками, терзавшими «профессора» напоминанием о режущих и колющих орудиях.

Штык-юнкер и темные личности отпразднелись куда-то искать счастья. Тыбурций и Валеk совершенно неожиданно исчезли, и никто не мог сказать, куда они

направились теперь, как никто не знал, откуда они пришли в наш город.

Старая часовня сильно пострадала от времени. Сначала у нее провалилась крыша, продавив потолок под-земелья. Потом вокруг часовни стали образовываться обвалы, и она стала еще мрачнее; еще громче завывают в ней филины, а огни на могилах темными осенними ночами вспыхивают синим зловещим светом.

Только одна могила, огороженная частоколом, каждую весну зеленела свежим дерном, пестрела цветами.

Мы с Соней, а иногда даже с отцом, посещали эту могилу; мы любили сидеть на ней в тени смутно лепечущей березы, в виду тихо сверкавшего в тумане города. Тут мы с сестрой вместе читали, думали, делились своими первыми молодыми мыслями, первыми планами крылатой и честной юности.

Когда же пришло время и нам оставить тихий родной город, здесь же в последний день мы оба, полные жизни и надежды, произносили над маленькою могилкой свои обеты.

1885

«ЛЕС ШУМИТ»

Полесская легенда

Было и былшем поросло.

I

Лес шумел...

В этом лесу всегда стоял шум — ровный, протяжный, как отголосок дальнего звона, спокойный и смутный, как тихая песня без слов, как неясное воспоминание о прошедшем. В нем всегда стоял шум, потому что это был старый, дремучий бор, которого не касались еще пила и топор лесного барышника. Высокие столетние сосны с красными могучими стволами стояли хмуро ратью, плотно сомкнувшись вверху зелеными вершинами. Внизу было тихо, пахло смолой; сквозь полог сосновых игл, которыми была усыпана почва, пробились яркие папоротники, пышно раскинувшиеся причудливою бахромой и стоявшие недвижимо, не шелочнув листом. В сырых уголках тянулись высокими стеб-

лями зеленые травы; белая кашка склонилась отяжелевшими головками, как будто в тихой истоме. А вверх, без конца и перерыва, тянул лесной шум, точно смутные вздохи старого бора.

Но теперь эти вздохи становились все глубже, сильнее. Я ехал лесною тропой, и, хотя неба мне не было видно, но по тому, как хмурился лес, я чувствовал, что над ним тихо подымается тяжелая туча. Время было не раннее. Между стволов кое-где пробивался еще косой луч заката, но в чащах расплзались уже мглистые сумерки. К вечеру собиралась гроза.

На сегодня нужно было уже отложить всякую мысль об охоте; впору было только добраться перед грозой до ночлега. Мой копь постукивал копытом в обнажившиеся корни, храпел и настораживал уши, прислушиваясь к гулко щелкающему лесному эхо. Он сам прибавлял шаг к знакомой лесной сторожке.

Залаяла собака. Между поредевшими стволами мелькают мазаные стены. Синяя струйка дыма вьется под нависшею зелепью; покосившаяся изба с лохматою крышей приютилась под стеной красных стволов; она как будто врастает в землю, между тем как стройные и гордые сосны высоко покачивают над ней своими головами. Посредине поляны, плотно примкнувшись друг к другу, стоит кучка молодых дубов.

Здесь живут обычные спутники моих охотничьих экскурсий — лесники Захар и Максим. Но теперь, по-видимому, обоих нет дома, так как никто не выходит на лай громадной овчарки. Только старый дед, с лысою головой и седыми усами, сидит на завалинке и ковыряет лапоть. Усы у деда болтаются чуть не до пояса, глаза глядят тускло, точно дед все вспоминает что-то и не может припомнить.

— Здравствуй, дед. Есть кто-нибудь дома?

— Эге! — мотает дед головой. — Нет ни Захара, ни Максима, да и Мотря побрела в лес за коровой... Корова куда-то ушла, — пожалуй, медведи... задрали... Вот оно как, нет никого!

— Ну, ничего. Я с тобой посижу, обожду.

— Обожди, обожди, — кивает дед, и пока я подвзываю лошадь к ветви дуба, он всматривается в меня слабыми и мутными глазами. Плох уж старый дед: глаза не видят и руки трясутся.

— А кто ж ты такой, хлопче? — спрашивает он, когда я подсаживаюсь на завалинке.

Этот вопрос я слышу в каждое свое посещение.

— Эге, знаю теперь, знаю,— говорит старик, принимаясь опять за лапоть.— Вот старая голова, как решето, ничего не держит. Тех, что давно умерли, помню,— ой, хорошо помню! А новых людей все забываю... Зажился на свете.

— А давно ли ты, дед, живешь в этом лесу?

— Эге, давненько! Француз приходил в царскую землю, я уже был.

— Много же ты на своем веку видел. Чай, есть чего рассказать.

Дед смотрит на меня с удивлением.

— А что же мне видеть, хлопче? Лес видел... Шумит лес, шумит и днем, и ночью, зимою шумит и летом... И я, как та деревина, век прожил в лесу и не заметил... Вот и в могилу пора, а подумаю иной раз, хлопче, то и сам смекнуть не могу: жил я на свете или нет... Эге, вот как! Может, и вовсе не жил...

Край темной тучи выдвинулся из-за густых вершин над лесною поляной; ветви замыкавших поляну сосен закачались под дуновением ветра, и лесной шум пронесся глубоким усилившимся аккордом. Дед поднял голову и прислушался.

— Буря идет,— сказал он через минуту.— Это вот я знаю. Ой-ой, заревет ночью буря, сосны будет ломать, с корнем выворачивать станет!.. Заиграет лесной хозяин...— добавил он тише.

— Почему же ты знаешь, дед?

— Эге, это я знаю! Хорошо знаю, как дерево говорит... Дерево, хлопче, тоже боится... Вот осина, проклятое дерево, все что-то лопочет,— и ветру нет, а она трясется. Сосна на бору в ясный день играет-звенит, а чуть подымется ветер, она загудит и застонет. Это еще ничего... А ты вот слушай теперь. Я хоть глазами плохо вижу, а ухом слышу: дуб зашумел, дуба уже трогает на поляне... Это к буре.

Действительно, куча невысоких коряжистых дубов, стоявших посредине поляны и защищенных высокою стеною бора, помахивала крепкими ветвями, и от них неся глухой шум, легко отличаемый от гулкого звона сосен.

— Эге! слышишь ли, хлопче? — говорит дед с детски-лукавой улыбкой.— Я уже знаю: тронуло этак вот дуба, значит *хозяин* ночью пойдет, ломать будет... Да

нет, не сломает! Дуб — дерево крепкое, не под силу даже хозяину... вот как!

— Какой же хозяин, деду? Сам же ты говоришь: буря ломает.

Дед закивал головой с лукавым видом.

— Эге, я ж это знаю!.. Нынче, говорят, такие люди пошли, что уже ничему не верят. Вот оно как! А я же его видел, вот как тебя теперь, а то еще лучше, потому что теперь у меня глаза старые, а тогда были молодые. Ой-ой, как еще видели мои глаза смолоду!..

— Как же ты его видел, деду, скажи-ка?

— А вот, все равно, как и теперь: сначала соспа застонет на бору... То звенит, а то стонать пачнет: о-ох-хо-о... о-хо-о! — и затихнет, а потом опять, потом опять, да чаще, да жалостнее. Эге, потому что много ее повадит хозяин ночью. А потом дуб заговорит. А к вечеру все больше, а ночью и пойдет крутить: бегаёт по лесу, смеется и плачет, вертится, пляшет и все на дуба налегает, все хочется вырвать... А я раз осенью и посмотрел в оконце; вот *ему* это и не по сердцу: подбежал к окну, тар-рах в него сосновою корягой; чуть мне все лицо не искалечил, чтоб ему было пусто; да я не дурак — отскочил. Эге, хлопче, вот он какой сердитый!..

— А каков же он с виду?

— А с виду он все равно, как старая верба, что стоит на болоте. Очень похож!.. И волосы — как сухая омела, что вырастает на деревьях, и борода тоже, а нос — как здоровенный сук, а морда корявая, точно поросла лишаями. Тыфу, какой пекрасивый! Не дай же бог ни одному крещеному на него походить... Ей-богу! Я таки в другой раз на болоте его видел, близко... А хочешь, приходи зимой, так и сам увидишь *его*. Взойди туда, на гору, — лесом та гора поросла, — и полезай на самое высокое дерево, на верхушку. Вот оттуда иной день и можно его увидеть: идет он белым столбом поверх лесу, так и вертится сам, с горы в долину спускается. Побежит, побежит, а потом в лесу и пропадет. Эге!.. А где пройдет, там след белым снегом устилает... Не веришь старому человеку, так когда-нибудь сам посмотри.

Разболтался старик. Казалось, оживленный и тревожный говор леса и нависшая в воздухе гроза возбуждали старую кровь. Дед кивал головой, усмехался, моргал выцветшими глазами.

Но вдруг будто какая-то тень пробежала по высоко-

му, изборожденному морщинами лбу. Он толкнул меня локтем и сказал с таинственным видом:

— А знаешь, хлопче, что я тебе скажу?.. Он, конечно, лесной хозяин — мерзеньная тварюка, это правда. Крещеному человеку обидно увидеть такую некрасивую харю... Ну, только надо о нем правду сказать: он зла не делает... Пошутить с человеком пошутит, а чтоб лихо делать, этого не бывает.

— Да как же, дед, ты сам говорил, что он тебя хотел ударить корягой?

— Эге, хотел-таки! Так то ж рассердился, зачем я в окно на него смотрю, вот оно что! А если в его дела носа не совать, так и он такому человеку никакой пакости не сделает. Вот он какой, лесовик!.. А знаешь, в лесу от людей страшнее дела бывали... Эге, ей-богу!

Дед наклонил голову и с минуту сидел в молчании. Потом, когда он посмотрел на меня, в его глазах, сквозь застлавшую их тусклую оболочку, блеснула как будто искорка проснувшейся памяти.

— Вот я тебе расскажу, хлопче, лесную нашу быватьщину. Было тут раз, на самом этом месте, давно... Помню я, ровно сон, а как зашумит лес погромче, то и все вспоминаю... Хочешь, расскажу тебе, а?

— Хочу, хочу, деду! Рассказывай.

— Так и расскажу же, эге! Слушай вот!

II

У меня, знаешь, батко с матерью давно померли, я еще малым хлопчиком был... Покинули они меня па свете одного. Вот оно как со мною было, эге! Вот громада и думает: «Что ж нам теперь с этим хлопчиком делать?» Ну, и пан тоже себе думает... И пришел на этот раз из лесу лесник Роман, да и говорит громаде: «Дайте мне этого хлопца в сторожку, я его буду кормить... Мне в лесу веселее, и ему хлеб...» Вот он как говорит, а громада ему отвечает: «Бери!» Он и взял. Так я с тех самых пор в лесу и остался.

Тут меня Роман и выкормил. Ото ж человек был какой страшный, не дай господи!.. Росту большого, глаза черные, и душа у него темная из глаз глядела, потому что всю жизнь этот человек в лесу один жил: медведь ему, люди говорили, все равно что брат, а волк — племянник. Всякого зверя он знал и не боялся, а от людей

сторонился и не глядел даже на них... Вот он какой был — ей-богу, правда! Бывало, как он на меня глянет, так у меня по спине будто кошка хвостом поведет... Ну, а человек был все-таки добрый, кормил меня, нечего сказать, хорошо: каша, бывало, гречневая всегда у него с салом, а когда утку убьет, так и утка. Что правда, то уже правда, кормил-таки.

Так мы и жили вдвоем. Роман в лес уйдет, а меня в сторожке запрет, чтобы зверюка не съела. А после дали ему жинку Оксану.

Пан ему жинку дал. Призвал его на село, да и говорит: «Вот что, говорит, Ромасю, женись!» Говорит пану Роман сначала: «А на какого же мне биса жинка? Что мне в лесу делать с бабой, когда у меня уж и без того хлопец есть? Не хочу я, говорит, жепиться!» Не привык он с девками возиться, вот что! Ну, да и пан тоже хитрый был... Как вспомню про этого пана, хлопча, то и подумаю себе, что теперь уже таких нету, — нету таких панов больше — вывелись... Вот хоть бы и тебя взять: тоже, говорят, и ты панского роду... Может, оно и правда, а таки нет в тебе этого... настоящего... Так себе, мизерный хлопчина, больше ничего.

Ну, а тот настоящий был, из прежних... Вот, скажу тебе, такое на свете водится, что сотни людей одного человека боятся, да еще как!.. Посмотри ты, хлопча, на ястреба и на цыпленка: оба из яйца вылупились, да ястреб сейчас вверх поровит, эге! Как крикнет в небе, так сейчас не то что цыплята — и старые петухи забегают... Вот же ястреб — панская птица, а курица — простая мужичка...

Вот, помню, я малым хлопчиком был: везут мужики из лесу толстые бревна, человек, может быть, тридцать. А пан один на своем конике едет да усы крутит. Конек под ним играет, а он кругом смотрит. Ой-ой! завидят мужики пана, то-то забегают, лошадей в снег сворачивают, сами инапки снимают. После сколько бьются, из снега бревна вывозят, а пан себе скачет, — вот ему, видишь ты, и одному на дороге тесно! Поведет пан бровью — уже мужики боятся, засмеется — и всем весело, а нахмурится — все запечалится. А чтобы кто пану мог перечить, того, почитай, и не бывало.

Ну, а Роман, известно, в лесу вырос, обращения не знал, и пан на него не очень сердился.

— Хочу, — говорит пан, — чтоб ты женился, а зачем, про то я сам знаю. Бери Оксану.

— Не хочу я,— отвечал Роман,— не надо мне ее, хоть бы и Оксану! Пускай на ней черт женится, а не я... Вот как!

Велел пан принести канчуки, растянули Романа, пан его спрашивает:

— Будешь, Роман, жениться?

— Нет,— говорит,— не буду.

— Сыпьте ж ему,— говорит пап,— в мотню¹, сколько влезет.

Засыпали ему таки немало; Роман на что уж здоров был, а все же ему надоело.

— Бросьте уж,— говорит,— будет-таки! Пускай же ее лучше все черти возьмут, чем мне за бабу столько муки принимать. Давайте ее сюда, буду жениться!

Жил на дворе у пана доезжачий, Опанас Швидкий. Приехал он на ту пору с поля, как Романа к женитьбе заохачивали. Услышал он про Романову беду — бух пану в ноги. Таки упал в ноги, целует...

— Чем,— говорит,— вам, милостивый пан, человека мордовать, лучше я на Оксане женюсь, слова не скажу...

Эге, сам таки захотел жениться на ней. Вот какой человек был, ей-богу!

Вот Роман было обрадовался, повеселел. Встал на ноги, завязал мотню и говорит:

— Вот,— говорит,— хорошо. Только что бы тебе, человеку, пораньше немного приехать? Да и пан тоже — всегда вот так!.. Не расспросить же было толком, может, кто охотой женится. Сейчас схватили человека и давай ему сыпать! Разве,— говорит,— это по-христиански так делать? Тьфу!..

Эге, он порой и пану спуску не давал. Вот какой был Роман! Когда уж осердится, то к нему, бывало, не подступайся, хотя бы и пан. Ну, а пап был хитрый! У него, видишь, другое на уме было. Велел опять Романа растянуть на траве.

— Я,— говорит,— тебе, дураку, счастья хочу, а ты нос воротишь. Теперь ты один, как медведь в берлоге, и заехать к тебе не весело... Сыпьте ж ему, дураку, пока не скажет: довольно!.. А ты, Опанас, ступай себе к чертовой матери. Тебя, говорит, к обеду не звали, так сам за стол не садись, а то видишь, какое Роману угощение? Тебе как бы того же не было.

¹ Хохлы носят холицовые штаны вроде мешка, раздвоенного только внизу. Этот-то мешок и называется «мотнею».

А Роман уж и не на шутку осердился, эге! Его дуют-таки хорошо, потому что прежние люди, знаешь, умели славно канчуками шкуру спускать, а он лежит себе и не говорит: довольно! Долго терпел, а все-таки после плюнул:

— Не дождет ее батько, чтоб из-за бабы христианину вот так слышали, да еще не считали. Довольно! Чтоб вам руки поотсыхали, бисова дворня! Научил же вас черт канчуками работать! Да я ж вам не сноп на току, чтоб меня вот так молотили. Коли так, так вот же, и женюсь.

А пан себе смеется.

— Вот,— говорит,— и хорошо! Теперь на свадьбе хоть сидеть тебе и нельзя, зато плясать будешь больше...

Веселый был пан, ей-богу веселый, эге? Да только после скверное с ним случилось, не дай бог ни одному крещеному. Право, никому такого не пожелаю. Пожалуй, даже и жиду не следует такого желать. Вот я что думаю...

Вот так-то Романа и женили. Привез он молодую жинку в сторожку; сначала все ругал да попрекал своими канчуками.

— И сама ты,— говорит,— того не стоишь, сколько из-за тебя человека мордовали.

Придет, бывало, из лесу и сейчас станет ее из избы гнать:

— Ступай себе! Не надо мне бабы в сторожке! Чтоб и духу твоего не было! Не люблю,— говорит,— когда у меня баба в избе спит. Дух,— говорит,— нехороший. Эге!

Ну, а после ничего, притерпелся. Оксана, бывало, избу выметет и вымажет чистенько, посуду расставит; блестит все, даже сердцу весело. Роман видит: хорошая баба,— помаленьку и привык. Да и не только привык, хлонче, а стал ее любить, ей-богу, не лгу! Вот какое дело с Романом вышло. Как пригляделся хорошо к бабе, потом и говорит:

— Вот спасибо пану, добру меня научил. Да и я ж таки неумный был человек: сколько канчуков припаял, а оно, как теперь вижу, ничего и дурного нет. Еще даже хорошо. Вот оно что!

Вот прошло сколько-то времени, я и не знаю сколько. Слегла Оксана на лавку, стала стонать. К вечеру занедужилась, а паутро проснулся я, слышу: кто-то

тонким голосом «квилит»¹. «Эге! — думаю я себе, — это ж, видно, «дитына» родилась». А оно вправду так и было.

Недолго прожила дитына на белом свете. Только и жила, что от утра до вечера. Вечером и пищать перестала... Заплакала Оксана, а Роман и говорит:

— Вот и нету дитыны, а когда ее пету, то незачем теперь и пона звать. Похороним под сосною.

Вот как говорит Роман, да не то, что говорит, а так как раз и сделал: вырыл могилку и похоронил. Вон там старый пенёк стоит, громом его спалило... Так то ж и есть та самая сосна, где Роман дитыну зарыл. Знаешь, хлопче, вот же я тебе скажу: и до сих пор, как солнце сядет и звезда-зорька над лесом станет, летает какая-то пташка, да и кричит. Ох, и жалобно квилит пташина, аж сердцу больно! Так это и есть некрещеная душа, — креста себе просит. Кто знающий человек, по книгам учился, то, говорят, может ей крест дать, и не станет она больше летать... Да мы вот тут в лесу живем, ничего не знаем. Она летает, она просит, а мы только и говорим: «Геть-геть, бедная душа, ничего мы не можем сделать!» Вот заплачет и улетит, а потом и опять прилетает. Эх, хлопче, жалко бедную душу!

Вот выздоровела Оксана, все на могилку ходила. Сядет на могилке и плачет, да так громко, что по всему лесу, бывало, голос ее ходит. Это она так свою дитыну жалела, а Роман не жалел дитыну, а Оксану жалел. Придет, бывало, из лесу, станет около Оксаны и говорит:

— Молчи уж, глухая ты баба! Вот было бы о чем плакать! Померла одна дитына, то, может, другая будет. Да еще, пожалуй, и лучшая, эге! Потому что та еще, может, и не моя была, я же таки и не знаю. Люди говорят... А это будет моя.

Вот уже Оксана и не любила, когда он так говорил. Перестанет, бывало, плакать и начнет его нехорошими словами «лаять». Ну, Роман на нее не сердился.

— Да и что же ты, — спрашивает, — лаешься? Я же ничего такого не сказал, а только сказал, что не знаю. Потому и не знаю, что прежде ты не моя была и жила не в лесу, а на свете, промежду людей. Так как же мне знать? Теперь вот ты в лесу живешь, вот и хорошо. А таки говорила мне баба Федосья, когда я за нею на

¹ Квилит — плачет, жалобно пищит.

село ходил: «Что-то у тебя, Роман, скоро дитына поспела!» А я говорю бабе: «Как же мне таки знать, скоро ли или нескоро?..» Ну, а ты все же брось голосить, а то я осержусь, то еще, пожалуй, как бы тебя и не побил.

Вот Оксана полагает, полагает его, да и перестанет.

Она его, бывало, и поругает, и по спине ударит, а как станет Роман сам сердиться, она и притихнет,— боялась. Приласкает его, обоймет, поцелует и в очи заглянет... Вот мой Роман и угомонится. Потому... видишь ли, хлопче... Ты, должно быть, не знаешь, а я, старик, хотя сам не женивался, а все-таки видал на своем веку: молодая баба дюже сладко целуется, какого хочешь сердитого мужика может она обойти. Ой-ой!.. Я же таки знаю, каковы эти бабы. А Оксана была гладкая такая молодница, что теперь я уже что-то таких больше не вижу. Теперь, хлопче, скажу тебе, и бабы не такие, как прежде.

Вот раз в лесу рожок затрубил: тра-та, тара-тара-та-та-та!.. Так и разливается по лесу, весело да звонко. Я тогда малый хлопчик был и не знал, что это такое; вижу: птицы с гнезд поднимаются, крылом машут, кричат, а где и заяц пригнул уши на спину и бежит, что есть духу. Вот я и думаю: может, это зверь какой невиданный так хорошо кричит. А то же не зверь, а пан себе на конике лесом едет да в рожок трубит; за паном доезжачие верхом и собак на сворах ведут. А всех доезжачих красивее Опанас Швидкий, за паном в синем казакине гарцует, шапка на Опанасе с золотым верхом, конь под ним играет, рушница за плечами блестит, и бандура на ремне через плечо повешена. Любил пан Опанаса, потому что Опанас хорошо на бандуре играл и песни был мастер петь. Ух, и красивый же был парубок этот Опанас, страх красивый! Куда было пану с Опанасом равняться: пан уже и лысый был, и нос у пана красный, и глаза хоть веселые, а все не такие, как у Опанаса. Опанас, бывало, как глянет на меня,— мне, малому хлопчику, и то смеяться хочется, а я же не девка. Говорили, что у Опанаса отцы и деды запорожские казаки были, в Сечи казаковали, а там народ был все гладкий да красивый, да проворный. Да ты сам, хлопче, подумай: на коне ли со «списой»¹ по полю птицей летать или топором дерево рубить, это ж не одно дело...

¹ С п и с а — конье.

Вот я выбежал из хаты, смотрю: подъехал пан, остановился, и доезжачие стали; Роман из избы вышел, подержал папу стремя: ступил пан на землю. Роман ему поклонился.

— Здорово! — говорит пан Роману.

— Эге, — отвечает Роман, — да я ж, спасибо, здоров, чего мне делается? А вы как?

Не умел, видишь ты, Роман пану как следует ответить. Дворяня вся от его слов засмеялась, и пан тоже.

— Ну, и слава богу, что ты здоров, — говорит пан. — А где ж твоя жинка?

— Да где ж жинке быть? Жинка, известно, в хате...

— Ну, мы и в хату войдем, — говорит пан, — а вы, хлопцы, пока на траве ковер постелите да приготовьте нам все, чтобы было чем молодых на первый раз поздравить.

Вот и пошли в хату: пан, и Опанас, и Роман без шапки за ним, да еще Богдан — старший доезжачий, верный панский слуга. Вот уж и слуг таких теперь тоже на свете нету: старый был человек, с дворней строгий, а перед паном как та собака. Никого у Богдана на свете не было, кроме пана. Говорят, как померли у Богдана батько с матерью, попросился он у старого пана на тягло и захотел жениться. А старый пан не позволил, приставил его к своему паничу: тут тебе, говорит, и батько, и мать, и жинка. Вот выносил Богдан панича, и выходил, и на коня выучил садиться, и из ружья стрелять. А вырос панич, сам стал паповать, старый Богдан все за ним следом ходил, как собака. Ох, скажу тебе правду: много того Богдана люди проклинали, много на него людских слез пало... все из-за пана. По одному панскому слову Богдан мог бы, пожалуй, родного отца в клочки разорвать...

А я, малый хлопчик, тоже за ними в избу побежал: известное дело, любопытно. Куда пан повернулся, туда и я за ним.

Гляжу, стоит пан посередь избы, усы гладит, смеется. Роман тут же топчется, шапку в руках мнет, а Опанас плечом об стенку уперся, стоит себе, бедняга, как тот молодой дубок в непогоду. Нахмурился, песел...

И вот они трое повернулись к Оксане. Один старый Богдан сел в углу на лавке, свесил чуприну, сидит, пока пан чего не прикажет. А Оксана в углу у печки стала, глаза опустила, сама раскраснелась вся, как тот

мак середь ячменю. Ох, видно, чуяла небога, что из-за нее лихо будет. Вот тоже скажу тебе, хлопче: уже если три человека на одну бабу смотрят, то от этого никогда добра не бывает — непременно до чуба дело дойдет, коли не хуже. Я ж это знаю, потому что сам видел.

— Ну, что, Ромасю, — смеется пан, — хорошую ли я тебе жинку высватал?

— А что ж? — Роман отвечает. — Баба как баба, ничего!

Повел тут плечом Опанас, поднял глаза на Оксану и говорит про себя.

— Да, — говорит, — баба! Хоть бы и не такому дурню досталась.

Роман услышал это слово, повернулся к Опанасу и говорит ему:

— А чем бы это я, пан Опанас, вам за дурня показался? Эге, скажите-ка!

— А тем, — говорит Опанас, — что не сумеешь жинку свою уберечь, тем и дурень...

Вот какое слово сказал ему Опанас! Пан даже погою топнул, Богдан покачал головою, а Роман подумал с минуту, потом поднял голову и посмотрел на пана.

— А что ж мне ее беречь? — говорит Опанасу, а сам все на пана смотрит. — Здесь, кроме зверя, никакого черта и нету, вот разве милостивый пан когда завернет. От кого же мне жинку беречь? Смотри ты, вражий казаче, ты меня не дразни, а то я, пожалуй, и за чуприну схвачу.

Пожалуй-таки и дошло бы у них дело до потасовки, да пан вмешался: топнул погой, — они и замолчали.

— Тише вы, — говорит, — бисовы дети! Мы же сюда не для драки приехали. Надо молодых поздравлять, а потом, к вечеру, на болото охотиться. Айда за мной!

Повернулся пан и пошел из избы; а под деревом досжачие уж и закуску сготовили. Пошел за паном Богдан, а Опанас остановил Ромапа в сених.

— Не сердись ты на меня, братику, — говорит казак. — Послушай, что тебе Опанас скажет: видел ты, как я у пана в ногах валялся, сапоги у него целовал, чтоб он Оксану за меня отдал? Ну, бог с тобой, человек... Тебя поп окрутил, такая, видно, судьба! Так не стерпит же мое сердце, чтоб лютый враг опять и над ней, и над тобой потешался. Гей-гей! Никто того не знает, что у меня на душе... Лучше же я и его, и ее из рушницы вместо постели уложу в сырую землю...

Посмотрел Роман на казака и спрашивает:

— А ты, казаче, часом «с глузду не съехал?»¹.

Не слыхал я, что Опанас на это стал Роману тихо в сенях говорить, только слышал, как Роман его по плечу хлопнул.

— Ох, Опанас, Опанас! Вот какой на свете народ злой да хитрый! А я же ничего того, живучи в лесу, и не знал. Эге, пане, пане, лихо ты на свою голову затеял!..

— Ну,— говорит ему Опанас,— ступай теперь и не показывай виду, пуще всего перед Богданом. Неумный ты человек, а эта панская собака хитра. Смотри же: панской горелки много не пей, а если отправит тебя с доезжачими на болото, а сам захочет остаться, веди доезжачих до старого дуба и покажи им объездную дорогу, а сам, скажи, напрямик пойдешь по лесу... Да поскорее сюда возвращайся.

— Добре,— говорит Роман.— Соберусь на охоту, рушницу не дробью заряжу и не «леткой» на птицу, а доброю пулей на медведя.

Вот и они вышли. А уж пан сидит на ковре, велел подать фляжку и чарку, паливает в чарку горелку и потчевает Романа. Эге, хороша была у пана и фляжка, и чарка, а горелка еще лучше. Чарочку выньешь — душа радуется, другую выньешь — сердце скачет в груди, а если человек непривычный, то с третьей чарки и под лавкой валяется, коли баба на лавку не уложит.

Эге, говорю тебе, хитрый был пан! Хотел Романа напоить своею горелкой допьяна, а еще такой и горелки не бывало, чтобы Романа свалила. Пьет он из панских рук чарку, пьет и другую, и третью выпил, а у самого только глаза, как у волка, загораются, да усом черным поводит. Пан даже осердился:

— Вот же вражий сын, как здорово горелку хлещет, а сам и не моргнет глазом! Другой бы уж давно заплакал, а он, глядите, добрые люди, еще усмехается...

Знал же вражий пан хорошо, что если уж человек с горелки заплакал, то скоро и совсем чуприну на стол свесит. Да на тот раз не на такого напал.

— А с чего ж мне,— Роман ему отвечает,— плакать? Даже, пожалуй, это нехорошо бы было. Приехал ко мне милостивый пан поздравлять, а я бы таки и на-

¹ «С глузду съехать» — сойти с ума.

чал реветь, как баба. Слава богу, не от чего мне еще плакать, пускай лучше мои вороги плачут...

— Значит,— спрашивает пан,— ты доволен?

— Эге! А чем мне быть недовольным?

— А помнишь, как мы тебя канчуками сватали?

— Как-таки не помнить! Ото ж и говорю, что неумный человек был, не знал, что горько, что сладко. Канчук горек, а я его лучше бабы любил. Вот спасибо вам, милостивый пане, что научили меня, дурня, мед есть.

— Ладно, ладно,— пан ему говорит.— Зато и ты мне послужи: вот пойдешь с доезжачими на болото, настроляй побольше птиц, да непременно глухого тетерева достань.

— А когда ж это пан нас на болото посылает? — спрашивает Роман.

— Да вот выпьем еще. Опанас нам песню споет, да и с богом.

Посмотрел Роман на него и говорит пану:

— Вот уж это и трудно: пора не ранняя, до болота далеко, а еще, вдобавок, и ветер по лесу шумит, к ночи будет буря. Как же теперь такую сторожкую птицу убить?

А уж пан захмелел, да во хмелю был крепко сердитый. Услышал, как дворня промеж себя шептаться стала, говорят, что, мол, «Романова правда, загудет скоро буря»,— и осердился. Стукнул чаркой, повел глазами,— все и стихли.

Один Опанас не испугался; вышел он, по панскому слову, с бандурой песни петь, стал бандуру настраивать, сам посмотрел сбоку на пана и говорит ему:

— Опомнись, милостивый пане! Где же это видано, чтобы к ночи, да еще в бурю, людей по темному лесу за птицей гонять?

Вот он какой был смелый! Другие, известное дело, панские «крепаки», боятся, а он — вольный человек, казацкого рода. Привел его небольшим хлопцем старый казак-бандурист с Украины. Там, хлопче, люди что-то на шумели в городе Умани. Вот старому казаку выкололи очи, обрезали уши и пустили его такого по свету. Ходил он, ходил после того по городам и селам и забрел в нашу сторону с поводырем, хлопчиком Опанасом. Старый пан взял его к себе, потому что любил хорошие песни. Вот старик умер,— Опанас при дворе и вырос. Любил его новый пан тоже и терпел от него порой та-

кое слово, за которое другому спустили бы три шкуры.

Так и теперь: осердился было сначала, думали, что он казака ударит, а после говорит Опанасу:

— Ой, Опанас, Опанас. Умный ты хлопец, а того, видно, не знаешь, что меж дверей не надо носа совать, чтобы как-нибудь не захлопнули...

Вот он какую загадал загадку! А казак таки сразу и понял. И ответил казак пану песней. Ой, кабы и пан понял казацкую песню, то, может быть, его пани над ним не разливалась слезами.

— Спасибо, пане, за науку, — сказал Опанас, — вот же я тебе за то спою, а ты слушай.

И ударил по струнам бандуры.

Потом поднял голову, посмотрел на небо, как в небе орел ширяет, как ветер темные тучи гоняет. Наставил ухо, послушал, как высокие сосны шумят.

И опять ударил по струнам бандуры.

Эй, хлопче, не довелось тебе слышать, как играл Опанас Швидкий, а теперь уж и не услышишь! Вот же и не хитрая штука бандура, а как она у знающего человека хорошо говорит. Бывало, пробежит по ней рукою, она ему все и скажет: как темный бор в непогоду шумит, и как ветер звенит в пустой степи по бурьяну, и как сухая травинка шенчет на высокой казацкой могиле.

Нет, хлопче, не услышать уже вам настоящую игру! Ездят теперь сюда всякие люди, такие, что не в одном Полесье бывали, но и в других местах, и по всей Украине: и в Чигирине, и в Полтаве, и в Киеве, и в Черкасах. Говорят, вывелись уж бандуристы, не слышно их уже на ярмарках и на базарах. У меня еще на стене в хате старая бандура висит. Выучил меня играть на ней Опанас, а у меня никто игры не перенял. Когда я умру, — а уж это скоро, — так, пожалуй, и нигде уже на широком свете не слышно будет звопа бандуры. Вот оно что!

И запел Опанас тихим голосом песню. Голос был у Опанаса негромкий, да «сумный»¹, — так, бывало, в сердце и льется. А песню, хлопче, казак, видно, сам для пана придумал. Не слышал я ее никогда больше, и когда после, бывало, к Опанасу пристану, чтобы спел, он все не соглашался.

¹ Украинское слово сумный совмещает в себе понятия, передаваемые по-русски словами: грустный и задумчивый.

— Для кого,— говорит,— та песня пелась, того уже нету на свете.

В той песне казак пану всю правду сказал, что с паном будет, и пан плачет, даже слезы у пана текут по усам, а все же ни слова, видно, из песни не понял.

Ох, не помню я эту песню, помню только немного.
Пел казак про пана, про Ивана:

Ой, пане, ой, Иване!..
Умный пан много знает..
Знает, что ястреб в небе летает, ворон побивает..
Ой, пане, ой, Иване!..
А того ж пан не знает,
Как на свете бывает,—
Что у гнезда и ворона ястреба побивает..

Вот же, хлопче, будто и теперь я эту песню слышу и тех людей вижу: стоит казак с бандурой, пан сидит на ковре, голову свесил и плачет; дворня кругом столпилась, поталкивают один другого локтями; старый Богдан головой качает... А лес, как теперь, шумит, и тихо да сумно звенит бандура, а казак поет, как пани плачет над паном, над Иваном:

Плачет пани, плачет,
А над паном, над Иваном черный ворон кричит.

Ох, не понял пан песни, вытер слезы и говорит:

— Ну, собирайся, Роман! Хлопцы, садитесь на коней! И ты, Опанас, поезжай с ними,— будет уж мне твоих песен слушать!.. Хорошая песня, да только никогда того, что в ней поется, на свете не бывает.

А у казака от песни размякло сердце, затуманились очи.

— Ох, пане, пане,— говорит Опанас,— у нас говорят старые люди: в сказке правда и в песне правда. Только в сказке правда — как железо: долго по свету из рук в руки ходило, заржавело... А в песне правда — как золото, что никогда его ржа не ест... Вот как говорят старые люди!

Махнул пан рукой.

— Ну, может, так в вашей стороне, а у нас не так... Ступай, ступай, Опанас, надоело мне тебя слушать.

Постоял казак с минуту, а потом вдруг упал перед паном на землю:

— Послушай меня, пане! Садись на коня, поезжай к своей пани: у меня сердце недоброе чует.

Вот уж тут пан осердился, толкнул казака, как собаку, ногой.

— Иди ты от меня прочь! Ты, видно, не казак, а баба! Иди ты от меня, а то как бы с тобой не было худо... А вы что стали, хамово племя? Иль я не пан вам больше? Вот я вам такое покажу, чего и ваши батьки от моих батьков не видали!..

Встал Опапас на ноги, как темная туча, с Романом переглянулся. А Роман в стороне стоит, на рушницу облокотился, как ни в чем не бывало.

Ударил казак бандурой об дерево — бандура вдребезги разлетелась, только стон пошел от бандуры по лесу.

— А пускай же, — говорит, — черти на том свете учат такого человека, который разумную раду не слушает... Тебе, пане, видно, верного слуги не надо.

Не успел пан ответить, вскочил Опапас в седло и поехал. Доезжачие тоже на коней сели. Роман вскинул рушницу на плечи и пошел себе, только, проходя мимо сторожки, крикнул Оксане:

— Уложи хлопчика, Оксапа! Пора ему спать. Да и пану сготовь постелю.

Вот скоро и ушли все в лес воп по той дороге; и пан в хату ушел, только панский конь стоит себе, под деревом привязан. А уж и темнеть начало, по лесу шум идет, и дождик накрапывает, вот-таки совсем, как теперь... Уложила меня Оксана на сеновале, перекрестила на ночь... Слышу я, моя Оксана плачет.

Ох, ничего-то 'я тогда, малый хлопчик, не понимал, что кругом меня творится! Свернулся на сене, послушал, как буря в лесу песню заводит, и стал засыпать.

Эге! Вдруг слышу, кто-то около сторожки ходит... подошел к дереву, панского коня отвязал. Захрапел конь, ударил копытом; как пустится в лес, скоро и топот затих... Потом слышу, опять кто-то по дороге скачет, уже к сторожке. Подскакал вполоть, соскочил с седла на землю и прямо к окну.

— Пане, пане! — кричит голосом старого Богдана. — Ой, пане, отвори скорей! Вражий казак лихо задумал, видно: твоего коня в лес отпустил.

Не успел старик договорить, кто-то его сзади схватил. Испугался я, слышу — что-то упало...

Отворял пан двери, с рушницей выскочил, а уж в сених Роман его захватил, да прямо за чуб, да об землю...

Вот видит пан, что ему лихо, и говорит:

— Ой, отпусти, Ромасю! Так-то ты мое добро помнишь?

А Роман ему отвечает:

— Помню я, вражий пане, твое добро и до меня, и до моей жинки. Вот же я тебе теперь за добро заплачу...

А пан говорит опять:

— Заступись, Опанас, мой верный слуга! Я ж тебя любил, как родного сына.

А Опанас ему отвечает:

— Ты своего верного слугу прогнал, как собаку. Любил меня так, как палка любит спину, а теперь так любишь, как спина палку... Я ж тебя просил и молил,— ты не послушался...

Вот стал пан тут и Оксану просить:

— Заступись ты, Оксана, у тебя сердце доброе.

Выбежала Оксана, всплеснула руками:

— Я ж тебя, пане, просила, в ногах валялась: пожалей мою девичью красу, не позорь меня, мужнюю жену. Ты же не пожалел, а теперь сам просишь... Ох, лишенько мне, что же я сделаю?

— Пустите,— кричит опять пан,— за меня вы все погибнете в Сибири...

— Не печалься за нас, пане,— говорит Опанас.— Роман будет на болоте раньше твоих доезжачих, а я, по твоей милости, один на свете, мне о своей голове думать недолго. Вскину рюшницу за плечи и пойду себе в лес... Наберу проворных хлопцев и будем гулять... Из лесу станем выходить ночью на дорогу, а когда в село забредем, то прямо в панские хоромы. Эй, подымай, Ромасю, пана, вынесем его милость на дождик.

Забился тут пан, закричал, а Роман только ворчит про себя, как медведь, а казак насмехается. Вот и вышли.

А я испугался, кинулся в хату и прямо к Оксане. Сидит моя Оксана на лавке — белая, как стена...

А по лесу уже загудела настоящая буря: кричит бор разными голосами, да ветер воет, а когда и гром полыхнет. Сидим мы с Оксаной на лежанке, и вдруг слышу я, кто-то в лесу застопал. Ох, да так жалобно, что я до сих пор, как вспомню, то на сердце тяжело станет, а ведь уже тому много лет...

— Оксано,— говорю,— голубонько, а кто ж это там в лесу стонет?

А она схватила меня на руки и качает.

— Спи,— говорит,— хлопчику, ничего! Это так... лес шумит...

А лес и вправду шумел, ох, и шумел же!

Просидели мы еще сколько-то времени, слышу я: ударило по лесу будто из рушницы.

— Оксано,— говорю,— голубонько, а кто ж это из рушницы стреляет?

А она, небóга, все меня качает и все говорит:

— Молчи, молчи, хлопчику, то гром божий ударил в лесу.

А сама все плачет и меня крепко к груди прижимает, баюкает: «Лес шумит, лес шумит, хлопчику, лес шумит...»

Вот я лежал у нее на руках и заснул...

А наутро, хлопче, прокинулся, гляжу: солнце светит, Оксана одна в хате одетая спит. Вспомнил я вчерашнее и думаю: это мне такое приснилось.

А оно не приснилось, ой, не приснилось, а было на правду. Выбежал я из хаты, побежал в лес, а в лесу птички щебечут, и роса на листьях блестит. Вот добежал до кустов, а там и пан, и доезжачий лежат себе рядом. Пан спокойный и бледный, а доезжачий седой, как голубь, и строгий, как раз будто живой. А на груди и у пана, и у доезжачего кровь.

— Ну, а что же случилось с другими? — спросил я, видя, что дед опустил голову и замолк.

— Эге! Вот же все так и сделалось, как сказал казак Опанас. И сам он долго в лесу жил, ходил с хлопцами по большим дорогам да по панским усадьбам. Такая казаку судьба на роду была написана: отцы гайдямачили, и ему то же на долю выпало. Не раз он, хлопче, приходил к нам в эту самую хату, а чаще всего, когда Романа не бывало дома. Придет, бывало, посидит и песню споет, и на бандуре сыграет. А когда и с другими товарищами заходил,— всегда его Оксана и Роман принимали. Эх, правду тебе, хлопче, сказать, таки и не без греха тут было дело. Вот придут скоро из лесу Максим и Захар, посмотри ты на них обоих: я ничего им не говорю, а только кто знал Романа и Опанаса, тому сразу видно, который на которого похож, хотя они уже тем людям не сыны, а внуки... Вот же какие дела, хлопче, бывали на моей памяти в этом лесу...

А шумит же лес крепко,— будет буря!

Последние слова рассказа старик говорил как-то устало. Очевидно, его возбуждение прошло и теперь сказывалось утомлением: язык его заплетался, голова тряслась, глаза слезились.

Вечер спустился уже на землю, в лесу потемнело, бор волновался вокруг сторожки, как расходившееся море; темные вершины колыхались, как гребни волн в грозную непогоду.

Веселый лай собак возвестил приход хозяев. Оба лесника торопливо подошли к избушке, а вслед за ними запыхавшаяся Мотря пригнала затерявшуюся было корову. Наше общество было в сборе.

Через несколько минут мы сидели в хате; в печи весело трещал огонь; Мотря собрала «вечерять».

Хотя я не раз видел прежде Захара и Максима, но теперь я взглянул на них с особенным интересом. Лицо Захара было темно, брови срослись над крутым низким лбом, глаза глядели угрюмо, хотя в лице можно было различить природное добродушие, присущее силе. Максим глядел открыто, как будто ласкающими серыми глазами; по временам он встряхивал своими курчавыми волосами, его смех звучал как-то особенно заразительно.

— А чи не рассказывал вам старик,— спросил Максим,— старую бывальщину про нашего деда?

— Да, рассказывал,— отвечал я.

— Ну, он всегда вот так! Лес зашумит покрепче, ему старое и вспоминается. Теперь всю ночь никак не заснет.

— Совсем мала дитына,— добавила Мотря, наливая старику щей.

Старик как будто не понимал, что речь идет именно о нем. Он совсем опустил, по временам бессмысленно улыбался, кивая головой; только когда снаружи налетал на избушку порыв бушевавшего по лесу ветра, он начинал тревожиться и наставлял ухо, прислушиваясь к чему-то с испуганным видом.

Вскоре в лесной избушке все смолкло. Тускло светил угасающий каганец¹, да сверчок звонил свою одно-

¹ Каганец — черепок, в который наливают сало и кладут свечильню.

образно-крикливую песню... А в лесу, казалось, шел говор тысячи могучих, хотя и глухих голосов, о чем-то грозно перекликавшихся во мраке. Казалось, какая-то грозная сила ведет там, в темноте, шумное совещание, собираясь со всех сторон ударить па жалкую, затерянную в лесу хибарку. По временам смутный рокот усиливался, рос, приливал, и тогда дверь вздрагивала, точно кто-то, сердито шипя, напирает на нее снаружи, а в трубе ночная вьюга с жалобною угрозой выводила за сердце хватающую ноту. Потом на время порывы бури смолкали, роковая тишина томила робеющее сердце, пока опять подымался гул, как будто старые сосны сговаривались сняться вдруг с своих мест и улететь в неведомое пространство вместе с размахами ночного урагана.

Я забылся на несколько минут смутною дремотой, но, кажется, ненадолго. Буря выла в лесу на разные голоса и тоны. Каганец вспыхивал по временам, освещая избушку. Старик сидел на своей лавке и шарил вокруг себя рукой, как будто надеясь найти кого-то поблизости. Выражение испуга и почти детской беспомощности виднелось на лице бедного деда.

— Оксано, голубонько, — расслышал я его жалобный ропот, — а кто же это там в лесу стонет?

Он тревожно пошарил рукой и прислушался.

— Эге! — говорил он опять, — никто не стонет. То буря в лесу шумит... Больше ничего, лес шумит, шумит...

Прошло еще несколько минут. В маленькие окна то и дело заглядывали синеватые огни молнии, высокие деревья вспыхивали за окном призрачными очертаниями и опять исчезали во тьме среди сердитого ворчания бури. Но вот резкий свет на мгновение затмил бледные вспышки каганца, и по лесу раскатился отрывистый недалекий удар.

Старик опять тревожно заметался на лавке.

— Оксано, голубонько, а кто ж это в лесу стреляет?

— Спи, старик, спи, — слышался с печки спокойный голос Мотри. — Вот всегда так: в бурю по почам все Оксану зовет. И забыл, что Оксана уж давно на том свете. Ох-хо!

Мотря зевнула, прошептала молитву, и вскоре опять в избушке настала тишина, прерываемая лишь шумом леса да тревожным бормотанием деда:

— Лес шумит, лес шумит... Оксана, голубонько...

Вскоре ударил тяжелый ливень, покрывая шумом дождевых потоков и порывание ветра, и стоны соснового бора...

1886

СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ

Этюд

От автора

К шестому изданию¹

Чувствую, что пересмотр и дополнения в повести, выдержавшей уже несколько изданий, являются неожиданными и требуют некоторого объяснения. Основной психологический мотив этюда составляет инстинктивное, органическое влечение к свету. Отсюда душевный кризис моего героя и его разрешение. И в устных, и в печатных критических замечаниях мне приходилось встречать возражение, по-видимому, очень основательное: по мнению возражающих, этот мотив отсутствует у слепорожденных, которые никогда не видели света и потому не должны чувствовать лишения в том, чего совсем не знают. Это соображение мне не кажется правильным: мы никогда не летали, как птицы, однако все знают, как долго ощущение полета сопровождает детские и юношеские сны. Должен, однако, признаться, что этот мотив вошел в мою работу, как априорный, подсказанный лишь воображением. Только уже несколько лет спустя после того, как мой этюд стал выходить в отдельных изданиях, счастливый случай доставил мне во время одной из моих экскурсий возможность прямого наблюдения. Фигуры двух звонарей (слепой и слепорожденный), которые читатель найдет в гл. VI, разница их настроений, сцена с детьми, слова Егора о снах— все это я занес в свою записную книжку прямо с натуры, на вышке колокольни Саровского монастыря Тамбовской епархии, где оба слепые звонаря, быть может, и теперь еще водят посетителей па колокольню.

¹ В этом издании были сделаны значительные дополнения.

С тех пор этот эпизод, — по моему мнению, решающий в указанном вопросе, — лежал на моей совести при каждом новом издании моего этюда, и только трудность браться снова за старую тему мешала мне ввести его раньше. Теперь он составил самую существенную часть добавлений, вошедших в это издание. Остальное явилось попутно, так как, — раз тронув прежнюю тему, — я уже не мог ограничиться механической вставкой, и работа воображения, попавшего в прежнюю колею, естественно отразилась и на прилегающих частях повести.

25 февраля 1898 г.

[Глава первая

I

Ребенок родился в богатой семье юго-западного края, в глухую полночь. Молодая мать лежала в глубоком забытии, но, когда в комнате раздался первый крик новорожденного, тихий и жалобный, она заметалась с закрытыми глазами в своей постели. Ее губы шептали что-то, и на бледном лице с мягкими, почти детскими еще чертами, появилась гримаса нетерпеливого страдания, как у балованного ребенка, испытывающего непривычное горе.

Бабка наклонилась ухом к ее что-то тихо шептавшим губам.

— Отчего... отчего это он? — спрашивала больная едва слышно.

Бабка не поняла вопроса. Ребенок опять закричал. По лицу больной пробежало отражение острого страдания, и из закрытых глаз скользнула крупная слеза.

— Отчего, отчего? — по-прежнему тихо шептали ее губы.

На этот раз бабка поняла вопрос и спокойно ответила:

— Вы спрашиваете, отчего ребенок плачет? Это всегда так бывает, успокойтесь.

Но мать не могла успокоиться. Она вздрагивала каждый раз при новом крике ребенка и все повторяла с гневным нетерпением:

— Отчего... так... так ужасно?

Бабка не слыхала в крике ребенка ничего особенного и, видя, что мать говорит точно в смутном забытьи и, вероятно, просто бредит, оставила ее и занялась ребенком.

Юная мать смолкла, и только по временам какое-то тяжелое страдание, которое не могло прорваться наружу движением или словами, выдавливалось из ее глаз крупные слезы. Они просачивались сквозь густые ресницы и тихо катились по бледным, как мрамор, щекам.

Быть может, сердце матери почувало, что вместе с поворожденным ребенком явилось на свет темное, неисходное горе, которое нависло над колыбелью, чтобы сопровождать новую жизнь до самой могилы.

Может быть, впрочем, что это был и действительный бред. Как бы то ни было, ребенок родился слепым.

II

Сначала никто этого не заметил. Мальчик глядел тем тусклым и неопределенным взглядом, каким глядят до известного возраста все новорожденные дети. Дни уходили за днями, жизнь нового человека считалась уже неделями. Его глаза прояснились, с них сошла мутная поволока, зрачок определился. Но дитя не поворачивало головы за светлым лучом, проникавшим в комнату вместе с веселым щебетаньем птиц и с шелестом зеленых буков, которые покачивались у самих окон в густом деревенском саду. Мать, успевшая оправиться, первая с беспокойством заметила странное выражение детского лица, остававшегося неподвижным и как-то не по-детски серьезным.

Молодая женщина смотрела на людей, как испуганная горлица, и спрашивала:

— Скажите же мне, отчего он такой?

— Какой? — равнодушно переспрашивали посторонние. — Он ничем не отличается от других детей такого возраста.

— Посмотрите, как странно ищет он что-то руками...

— Дитя не может еще координировать движений рук с зрительными впечатлениями, — ответил доктор.

— Отчего же он смотрит все в одном направлении?.. Он... он слеп? — вырвалась вдруг из груди матери страшная догадка, и никто не мог ее успокоить.

Доктор взял ребенка на руки, быстро повернул к свету и заглянул в глаза. Он слегка смутился и, сказав несколько незначащих фраз, уехал, обещая вернуться дня через два.

Мать плакала и билась, как подстреленная птица, прижимая ребенка к своей груди, между тем как глаза мальчика глядели все тем же неподвижным и суровым взглядом.

Доктор действительно вернулся дня через два, захватив с собой офтальмоскоп. Он зажег свечку, приближал и удалял ее от детского глаза, заглядывал в него и наконец сказал с смущенным видом:

— К сожалению, сударыня, вы не ошиблись... Мальчик действительно слеп, и притом безнадежно...

Мать выслушала это известие с спокойной грустью.

— Я знала давно,— сказала она тихо.

III

Семейство, в котором родился слепой мальчик, было немногочисленно. Кроме названных уже лиц, оно состояло еще из отца и «дяди Максима», как звали его все без исключения домочадцы и даже посторонние. Отец был похож на тысячу других деревенских помещиков юго-западного края: он был добродушен, даже, пожалуй, добр, хорошо смотрел за рабочими и очень любил строить и перестраивать мельницы. Это занятие поглощало почти все его время, и потому голос его раздавался в доме только в известные, определенные часы дня, совпадавшие с обедом, завтраком и другими событиями в том же роде. В этих случаях он всегда произносил неизменную фразу: «Здорова ли ты, моя голубка?» — после чего усаживался за стол и уже почти ничего не говорил, разве изредка сообщал что-либо о дубовых валах и шестернях. Понятно, что его мирное и незатейливое существование мало отражалось на душевном складе его сына. Зато дядя Максим был совсем в другом роде. Лет за десять до описываемых событий дядя Максим был известен за самого опасного забияку не только в окрестностях его имения, но даже в Киеве «на Контрактах»¹. Все удивлялись, как это в таком

¹ «Контракты» — местное название некогда славной киевской ярмарки.

почтенном во всех отношениях семействе, каково было семейство пани Попельской, урожденной Яценко, мог выдаться такой ужасный братец. Никто не знал, как следует с ним держаться и чем ему угодить. На любезности панов он отвечал дерзостями, а мужикам спускал своеволие и грубости, на которые самый смиренный из «пшяхтичей» непременно бы отвечал оплеухами. Наконец, к великой радости всех благомыслящих людей, дядя Максим за что-то сильно осердился на австрийцев и уехал в Италию: там он примкнул к такому же забияке и еретику — Гарибальди, который, как с ужасом передавали паны помещики, побратался с чертом и в грош не ставит самого папу. Конечно, таким образом Максим навеки погубил свою беспокойную схизматическую душу, зато «Контракты» проходили с меньшими скандалами, и многие благородные маманши перестали беспокоиться за участь своих сыновей.

Должно быть, австрийцы тоже крепко осердились на дядю Максима. По временам в *Курьерке*, исстари любимой газете панов помещиков, упоминалось в реляциях его имя в числе отчаянных гарибальдийских сподвижников, пока однажды из того же *Курьера* паны не узнали, что Максим упал вместе с лошастью на поле сражения. Разъяренные австрийцы, давно уже, очевидно, точившие зубы на заядлого волынца (которым, чуть ли не одним, по мнению его соотечественников, держался еще Гарибальди), изрубили его, как капусту.

— Плохо кончил Максим, — сказали себе паны и приписали это специальному заступничеству св. Петра за своего наместника. Максима считали умершим.

Оказалось, однако, что австрийские сабли не сумели выгнать из Максима его упрямую душу и она осталась, хотя и в сильно попорченном теле. Гарибальдийские забияки вынесли своего достойного товарища из свалки, отдали его куда-то в госпиталь, и вот, через несколько лет, Максим неожиданно явился в дом своей сестры, где и остался.

Теперь ему было уже не до дуэлей. Правую ногу ему совсем отрезали, и потому он ходил на костыле, а левая рука была повреждена и годилась только на то, чтобы кое-как опираться на палку. Да и вообще он стал серьезнее, утомился, и только по временам его острый язык действовал так же метко, как некогда сабля. Он перестал ездить на «Контракты», редко являлся в общество и большую часть времени проводил в своей

библиотеке за чтением каких-то книг, о которых никто ничего не знал, за исключением предположения, что книги совершенно безбожные. Он также писал что-то, но так как его работы никогда не являлись в *Курьерке*, то никто не придавал им серьезного значения.

В то время, когда в деревенском домике появилось и стало расти новое существо, в коротко остриженных волосах дяди Максима уже пробивалась серебристая проседь. Плечи от постоянного упора костылей поднялись, туловище приняло квадратную форму. Страпная наружность, угрюмо сдвинутые брови, стук костылей и клубы табачного дыма, которыми он постоянно окружал себя, не выпуская изо рта трубки,— все это пугало посторонних, и только близкие к инвалиду люди знали, что в изрубленном теле бьется горячее и доброе сердце, а в большой квадратной голове, покрытой щетиной густых волос, работает неутомимая мысль.

Но даже и близкие люди не знали, над каким вопросом работала эта мысль в то время. Они видели только, что дядя Максим, окруженный синим дымом, просиживает по временам целые часы неподвижно, с отуманенным взглядом и угрюмо сдвинутыми густыми бровями. Между тем изувеченный боец думал о том, что жизнь — борьба и что в ней нет места для инвалидов. Ему приходило в голову, что он навсегда выбыл уже из рядов и теперь напрасно загружает собою фурштат;¹ ему казалось, что он рыцарь, выбитый из седла жизнью и поверженный в прах. Не малодушно ли извигаться в пыли, подобно раздавленному червяку; не малодушно ли хвататься за стремя победителя, вымаливая у него жалкие остатки собственного существования?

Пока дядя Максим с холодным мужеством обсуждал эту жгучую мысль, соображая и сопоставляя доводы *за* и *против*, перед его глазами стало мелькать новое существо, которому судьба судила явиться на свет уже инвалидом. Сначала он не обращал внимания на слепого ребенка, но потом странное сходство судьбы мальчика с его собственною заинтересовало дядю Максима.

— Гм... да,— задумчиво сказал он однажды, искоса поглядывая на мальчишку,— этот малый тоже инвалид.

¹ Военный обоз (нем.).

Если сложить нас обоих вместе, пожалуй, вышел бы один лядащий человечешко.

С тех пор его взгляд стал останавливаться на ребенке все чаще и чаще.

IV

Ребенок родился слепым. Кто виноват в его несчастии? Никто! Тут не только не было и тени чьей-либо «злой воли», но даже самая причина несчастья скрыта где-то в глубине таинственных и сложных процессов жизни. А между тем при всяком взгляде на слепого мальчика сердце матери сжималось от острой боли. Конечно, она страдала в этом случае, как мать, отражением сыновнего недуга и мрачным предчувствием тяжелого будущего, которое ожидало ее ребенка; но, кроме этих чувств, в глубине сердца молодой женщины щемило также сознание, что *причина* несчастья лежала в виде грозной *возможности* в тех, кто дал ему жизнь... Этого было достаточно, чтобы маленькое существо с прекрасными, но незрячими глазами стало центром семьи, бессознательным деспотом, с малейшей прихотью которого сообразовалось все в доме.

Неизвестно, что вышло бы со временем из мальчика, предрасположенного к беспредметной озлобленности своим несчастьем и в котором все окружающее стремилось развить эгоизм, если бы странная судьба и австрийские сабли не заставили дядю Максима поселиться в деревне, в семье сестры.

Присутствие в доме слепого мальчика постепенно и нечувствительно дало деятельной мысли изувеченного бойца другое направление. Он все так же просиживал целые часы, дымя трубкой, но в глазах, вместо глубокой и тупой боли, виднелось теперь вдумчивое выражение заинтересованного наблюдателя. И чем более присматривался дядя Максим, тем чаще хмурились его густые брови, и он все усиленнее пыхтел своею трубкой. Наконец однажды он решился на вмешательство.

— Этот малый, — сказал он, пуская кольцо за кольцом, — будет еще гораздо несчастнее меня. Лучше бы ему не родиться.

Молодая женщина низко опустила голову, и слеза упала на ее работу.

— Жестоко напоминать мне об этом, Макс, — сказала она тихо, — напоминать без цели..

— Я говорю только правду,— ответил Максим.— У меня нет ноги и руки, но есть глаза. У малого нет глаз, со временем не будет ни рук, ни ног, ни воли...

— Отчего же?

— Пойми меня, Анна,— сказал Максим мягче.— Я не стал бы напрасно говорить тебе жестокие вещи. У мальчика тонкая нервная организация. У него пока есть все шансы развить остальные свои способности до такой степени, чтобы хотя отчасти вознаградить его слепоту. Но для этого нужно упражнение, а упражнение вызывается только необходимостью. Глупая заботливость, устраняющая от него необходимость усилий, убивает в нем все шансы на более полную жизнь.

Мать была умна и потому сумела победить в себе непосредственное побуждение, заставлявшее ее кидаться сломя голову при каждом жалобном крике ребенка. Спустя несколько месяцев после этого разговора, мальчик свободно и быстро ползал по комнатам, настораживая слух навстречу всякому звуку и, с какою-то необычною в других детях живостью, ощупывал всякий предмет, попадавший в руки.

V

Мать он скоро научился узнавать по походке, по шелесту платья, по каким-то еще, ему одному доступным, неуловимым для других признакам: сколько бы ни было в комнате людей, как бы они ни передвигались, он всегда направлялся безошибочно в ту сторону, где она сидела. Когда она неожиданно брала его на руки, он все же сразу узнавал, что сидит у матери. Когда же его брали другие, он быстро начинал ощупывать своими ручонками лицо взявшего его человека и тоже скоро узнавал няньку, дядю Максима, отца. Но если он попадал к человеку незнакомому, тогда движения малюпких рук становились медленнее: мальчик осторожно и внимательно проводил ими по незнакомому лицу, и его черты выражали напряженное внимание; он как будто «вглядывался» кончиками своих пальцев.

По натуре он был очень живым и подвижным ребенком, но месяцы шли за месяцами, и слепота все более налагала свой отпечаток на темперамент мальчика, на-

чинавший определяться. Живость движений понемногу терялась; он стал забиваться в укромные уголки и сидел там по целым часам смирно, с застывшими чертами лица, как будто к чему-то прислушиваясь. Когда в компании бывало тихо и смена разнообразных звуков не развлекала его внимания, ребенок, казалось, думал о чем-то с недоумелым и удивленным выражением на красивом и не по-детски серьезном лице.

Дядя Максим угадал: тонкая и богатая нервная организация мальчика брала свое и восприимчивостью к ощущениям осязания и слуха как бы стремилась восстановить до известной степени полноту своих восприятий. Всех удивляла поразительная тонкость его осязания. По временам казалось даже, что он не чужд ощущения цветов; когда ему в руки попадали ярко окрашенные лоскутья, он дольше останавливал на них свои тонкие пальцы, и по лицу его проходило выражение удивительного внимания. Однако со временем стало выясняться все более и более, что развитие восприимчивости идет главным образом в сторону слуха.

Вскоре он изучил в совершенстве комнату по их звукам: различал походку домашних, скрип стула под инвалидом-дядей, сухое, размеренное шорканье нитки в руках матери, ровное тикание стенных часов. Иногда, ползая вдоль стены, он чутко прислушивался к легкому, неслышному для других пороху и, подняв руку, тянулся ею за бегавшею по обоям мухой. Когда испуганное насекомое спиналось с места и улетало, на лице слепого являлось выражение болезненного недоумения. Он не мог отдать себе отчета в таинственном исчезновении мухи. Но впоследствии и в таких случаях лицо его сохраняло выражение осмысленного внимания; он поворачивал голову в ту сторону, куда улетала муха, — изощренный слух улавливал в воздухе тонкий звон ее крыльев.

Мир, сверкавший, двигавшийся и звучащий вокруг, в маленькую головку слепого проникал главным образом в форме звуков, и в эти формы отливались его представления. На лице застывало особенное внимание к звукам: нижняя челюсть слегка оттягивалась вперед на тонкой и удлинившейся шее. Брови приобретали особенную подвижность, а красивые, но неподвижные глаза придавали лицу слепого какой-то суровый и вместе трогательный отпечаток.

Третья зима его жизни приходила к концу. На дворе уже таял снег, звенели весенние потоки, и вместе с тем здоровье мальчика, который зимой все прихварывал и потому всю ее провел в комнатах, не выходя на воздух, стало поправляться.

Вынули вторые рамы, и весна ворвалась в комнату с удвоенной силой. В залитые светом окна глядело смеющееся весеннее солнце, качались голые еще ветки буков, вдали чернели нивы, по которым местами лежали белые пятна тающих снегов, местами же пробивалась чуть заметною зеленою молодая трава. Всем дышалось вольнее и лучше, на всех весна отражалась приливом обновленной и бодрой жизненной силы.

Для слепого мальчика она врывалась в комнату только своим торопливым шумом. Он слышал, как бегут потоки весенней воды, точно вдогонку друг за другом, прыгая по камням, прорезаясь в глубину размякшей земли; ветки буков шептались за окнами, сталкиваясь и звеня легкими ударами по стеклам. А торопливая весенняя капля от нависших на крыше сосулек, прихваченных утренним морозом и теперь разогретых солнцем, стучала тысячью звонких ударов. Эти звуки падали в комнату, подобно ярким и звонким камешкам, быстро отбивавшим переливчатую дробь. По временам сквозь этот звон и шум окрики журавлей плавно проносились с далекой высоты и постепенно смолкали, точно тихо тая в воздухе.

На лице мальчика это оживление природы сказывалось болезненным недоумением. Он с усилием сдвигал свои брови, вытягивал шею, прислушивался и затем, как будто встревоженный непонятною суетой звуков, вдруг протягивал руки, разыскивая мать, и кидался к ней, крепко прижимаясь к ее груди.

— Что это с ним? — спрашивала мать себя и других.

Дядя Максим внимательно вглядывался в лицо мальчика и не мог объяснить его непонятной тревоги.

— Он... не может понять, — догадывалась мать, улавливая на лице сына выражение болезненного недоумения и вопроса.

Действительно, ребенок был встревожен и беспокоен: он то улавливал новые звуки, то удивлялся тому, что прежние, к которым он уже начал привыкать, вдруг смолкали и куда-то терялись.

Хаос весенней неурядицы смолк. Под жаркими лучами солнца работа природы входила все больше и больше в свою колею, жизнь как будто напрягалась, ее поступательный ход становился стремительнее, точно бег разошедшегося поезда. В лугах зазеленела молодая травка, в воздухе носился запах березовых почек.

Мальчика решили вывести в поле, на берег ближайшей реки.

Мать вела его за руку. Рядом на своих костылях шел дядя Максим, и все они направлялись к береговому холмику, который достаточно уже высушили солнце и ветер. Он зазеленел густой муравой, и с него открывался вид на далекое пространство.

Яркий день ударил по глазам матери и Максима. Солнечные лучи согревали их лица, весенний ветер, как будто взмахивая невидимыми крыльями, сгонял эту теплоту, заменяя ее свежей прохладой. В воздухе носилось что-то опьяняющее до пегги, до истомы.

Мать почувствовала, что в ее руке крепко сжалась маленькая ручка ребенка, но опьяняющее веяние весны сделало ее менее чувствительной к этому проявлению детской тревоги. Она вздыхала полной грудью и шла вперед, не оборачиваясь; если бы она сделала это, то увидела бы странное выражение на лице мальчика. Он поворачивал открытые глаза к солнцу с немим удивлением. Губы его раскрылись; он вдыхал в себя воздух быстрыми глотками, точно рыба, которую вынули из воды; выражение болезненного восторга пробивалось по временам на беспомощно-растерянном личике, пробегало по нем какими-то нервными ударами, освещая его на мгновение, и тотчас же сменялось опять выражением удивления, доходящего до испуга и недоумелого вопроса. Только одни глаза глядели все тем же ровным и неподвижным, незрячим взглядом.

Дойдя до холмика, они уселись на нем все трое. Когда мать приподняла мальчика с земли, чтобы посадить его поудобнее, он опять судорожно схватился за ее платье; казалось, он боялся, что упадет куда-то, как будто не чувствуя под собой земли. Но мать и на этот раз не заметила тревожного движения, потому что ее глаза и внимание были прикованы к чудной весенней картине.

Был полдень. Солнце тихо катилось по синему небу.

С холма, на котором они сидели, виднелась широко разлившаяся река. Она пронесла уже свои льдины, и только по временам на ее поверхности плыли и таяли кое-где последние из них, выделяясь белыми пятнышками. На ноемных лугах стояла вода широкими лпманами; белые облачка, отражаясь в них вместе с опрокинутым лазурным сводом, тихо плыли в глубине и исчезали, как будто и они таяли, подобно льдинам. Временами пробежала от ветра легкая рябь, сверкая на солище. Дальше за рекой чернели разопревшие нивы и парили, застывая реююще, колеблющеюся дымкой дальние лачуги, крытые соломой, и смутно зарисовавшуюся синюю полосу леса. Земля как будто вздыхала, и что-то подымалось от нее к небу, как клубы жертвенного фимиама.

Природа раскинулась кругом, точно великий храм, приготовленный к празднику. Но для слепого это была только необъятная тьма, которая необычно волновалась вокруг, шевелилась, рокотала и звенела, протягиваясь к нему, прикасаясь к его душе со всех сторон неизведанными еще, необычными впечатлениями, от наплыва которых болезненно билось детское сердце.

С первых же шагов, когда лучи теплого дня ударили ему в лицо, согрели нежную кожу, он инстинктивно поворачивал к солнцу свои незрячие глаза, как будто чувствуя, к какому центру тяготеет все окружающее. Для него не было ни этой прозрачной дали, ни лазурного свода, ни широко раздвинутого горизонта. Он чувствовал только, как что-то материальное, ласкающее и теплое касается его лица нежным, согревающим прикосновением. Потом кто-то прохладный и легкий, хотя и менее легкий, чем тепло солнечных лучей, снимает с его лица эту негу и пробегает по нем ощущением свежей прохлады. В комнатах мальчик привык двигаться свободно, чувствуя вокруг себя пустоту. Здесь же его охватили какие-то странно сменявшиеся волны, то нежно ласкающие, то щекочущие и опьяняющие. Теплые прикосновения солнца быстро обмахивались кем-то, и струя ветра, звепя в уши, охватывая лицо, виски, голову до самого затылка, тянулась вокруг, как будто стараясь подхватить мальчика, увлечь его куда-то в пространство, которого он не мог видеть, унося сознание, навевая забывчивую истому. Тогда-то рука мальчика крепче сжимала руку матери, а его сердце замирало и, казалось, вот-вот совсем перестанет биться.

Когда его усадили, он как будто несколько успокоился. Теперь, несмотря на странное ощущение, переполнившее все его существо, он все же стал было различать отдельные звуки. Темные ласковые волны пелись по-прежнему неудержимо, и ему казалось, что они проникают внутрь его тела, так как удары его всколыхавшейся крови подымались и опускались вместе с ударами этих волн. Но теперь они приносили с собой то яркую трель жаворонка, то тихий шелест распутившейся березки, то чуть слышные всплески реки. Ласточка свистела легким крылом, описывая невдалеке причудливые круги, звенели мошки, и над всем этим проносился порой протяжный и печальный окрик пахаря на равнине, понукавшего волов над распахиваемой полоской.

Но мальчик не мог схватить этих звуков в их целом, не мог соединить их, расположить в перспективу. Они как будто падали, проникая в темную головку, один за другим, то тихие, пелые, то громкие, яркие, оглушающие. По временам они толпились одновременно, неприятно смешиваясь в непонятную дисгармонию. А ветер с поля все свистел в уши, и мальчику казалось, что волны бегут быстрее и их рокот застилает все остальные звуки, которые несутся теперь откуда-то с другого мира, точно воспоминание о вчерашнем дне. И по мере того как звуки тускнели, в грудь мальчика вливалось ощущение какой-то щекочущей истомы. Лицо подергивалось ритмически пробегавшими по нем переливами; глаза то закрывались, то открывались опять, брови тревожно двигались, и во всех чертах пробивался вопрос, тяжелое усилие мысли и воображения. Не окрепшее еще и переполненное новыми ощущениями сознание начинало изнемогать: оно еще боролось с пахлялувшими со всех сторон впечатлениями, стремясь устоять среди них, слить их в одно целое и таким образом овладеть ими, победить их. Но задача была не по силам темному мозгу ребенка, которому не доставало для этой работы зрительных представлений.

И звуки летели и падали один за другим, все еще слишком пестрые, слишком звонкие... Охватившие мальчика волны вздымались все напряженнее, палятая из окружающего звеневшего и рокотавшего мрака и уходя в тот же мрак, сменяясь новыми волнами, новыми звуками... быстрее, выше, мучительнее подымали они его, качивали, баюкали... Еще раз пролетела над этим туск-

неющим хаосом длинная и печальная нота человеческого крика, и затем все сразу смолкло.

Мальчик тихо застонал и откинулся назад на траву. Мать быстро повернулась к нему и тоже вскрикнула: он лежал на траве, бледный, в глубоком обмороке.

VIII

Дядя Максим был очень встревожен этим случаем. С некоторых пор он стал выписывать книги по физиологии, психологии и педагогике и с обычной своей энергией занялся изучением всего, что дает паука по отношению к таинственному росту и развитию детской души.

Эта работа завлекала его все больше и больше, и поэтому мрачные мысли о непригодности к житейской борьбе, о «червяке, пресмыкающемся в пыли», и о «фурштате» давно уже незаметно улетучились из квадратной головы ветерана. На их месте воцарилось в этой голове вдумчивое внимание, по временам даже розовые мечты согревали стареющее сердце. Дядя Максим убеждался все более и более, что природа, отказавшая мальчику в зрении, не обидела его в других отношениях; это было существо, которое отзывалось на доступные ему внешние впечатления с замечательной полнотой и силой. И дяде Максиму казалось, что он призван к тому, чтобы развить присущие мальчику задатки, чтобы усилием своей мысли и своего влияния уравновесить несправедливость слепой судьбы, чтобы вместо себя поставить в ряды бойцов за дело жизни нового рекрута, на которого без его влияния никто не мог бы рассчитывать.

«Кто знает,— думал старый гарибальдиец,— ведь бороться можно не только копьем и саблей. Быть может, несправедливо обиженный судьбою подымет со временем доступное ему оружие в защиту других, обездоленных жизнью, и тогда я педаром проживу на свете, изувеченный старый солдат...»

Даже свободным мыслителям сороковых и пятидесятых годов не было чуждо суеверное представление о «таинственных предназначениях» природы. Немудрено поэтому, что, по мере развития ребенка, выдававшего недюжинные способности, дядя Максим утвердился окончательно в убеждении, что самая слепота есть лишь

одно из проявлений этих «таинственных предначертаний». «Обездоленный за обиженных» — вот девиз, который он выставил заранее на боевом знамени своего питомца.

IX

После первой весенней прогулки мальчик пролежал несколько дней в бреду. Он то лежал неподвижно и безмолвно в своей постели, то бормотал что-то и к чему-то прислушивался. И во все это время с его лица не сходило характерное выражение педоумения.

— Право, он глядит так, как будто старается понять что-то и не может,— говорила молодая мать.

Максим задумывался и кивал головой. Он понял, что странная тревога мальчика и внезапный обморок объяснялись обилием впечатлений, с которыми не могло справиться сознание, и решился допускать к выздоравливавшему мальчику эти впечатления постепенно, так сказать, расчлененными на составные части. В комнате, где лежал больной, окна были плотно закрыты. Потом, по мере выздоровления, их открывали на время, затем его водили по комнатам, выводили на крыльцо, на двор, в сад. И каждый раз, как на лице слепого являлось тревожное выражение, мать объясняла ему поражавшие его звуки.

— Рожок пастуха слышен за лесом,— говорила она.— А это из-за щебетания воробьиной стаи слышен голос малиновки. Аист клеочет на своем колесе¹. Он прилетел на днях из далеких краев и строит гнездо на старом месте.

И мальчик поворачивал к ней свое лицо, светившееся благодарностью, брал ее руку и кивал головой, продолжая прислушиваться с вдумчивым и осмысленным вниманием.

X

Он начинал расспрашивать обо всем, что привлекало его внимание, и мать или, еще чаще, дядя Максим рассказывали ему о разных предметах и существах, из-

¹ В Малороссии и Польше для аистов ставят высокие столбы и надевают на них старые колеса, на которых птица завивает гнездо.

дававших те или другие звуки. Рассказы матери, более живые и яркие, производили на мальчика большее впечатление, но по временам впечатление это бывало слишком болезненно. Молодая женщина, страдающая сама, с растроганным лицом, с глазами, глядевшими с беспомощною жалобой и болью, старалась дать своему ребенку понятие о формах и цветах. Мальчик напрягал внимание, сдвигал брови, на лбу его являлись даже легкие морщинки. Видимо, детская головка работала над непосильною задачей, темное воображение билось, стремясь создать из косвенных данных новое представление, но из этого ничего не выходило. Дядя Максим всегда недовольно хмурился в таких случаях, и, когда на глазах матери являлись слезы, а лицо ребенка бледнело от сосредоточенных усилий, тогда Максим вмешивался в разговор, отстраивал сестру и начинал свои рассказы, в которых, по возможности, прибегал только к пространственным и звуковым представлениям. Лицо слепого становилось спокойнее.

— Ну, а какой он? большой? — спрашивал он про аиста, отбивавшего на своем столбе ленивую барабанную дробь.

И при этом мальчик раздвигал руки. Он делал это обыкновенно при подобных вопросах, а дядя Максим указывал ему, когда следовало остановиться. Теперь он совсем раздвинул свои маленькие ручонки, но дядя Максим сказал:

— Нет, он еще гораздо больше. Если бы привести его в комнату и поставить на полу, то голова его была бы выше спинки стула.

— Большой... — задумчиво произнес мальчик. — А малиновка — вот! — И он чуть-чуть развел сложенные вместе ладони.

— Да, малиновка такая... Зато большие птицы никогда не поют так хорошо, как маленькие. Малиновка старается, чтобы всем было приятно ее слушать. А аист — серьезная птица, стоит себе на одной ноге в гнезде, озирается кругом, точно сердитый хозяин на работников, и громко ворчит, не заботясь о том, что голос у него хриплый и его могут слышать посторонние.

Мальчик смеялся, слушая эти описания, и забывал на время о своих тяжелых попытках понять рассказы матери. Но все же эти рассказы привлекали его сильнее, и он предпочитал обращаться с расспросами к ней, а не к дяде Максиму.

Темная голова ребенка обогащалась новыми представлениями; посредством сильно изощенного слуха он провикал все дальше в окружавшую его природу. Над ним и вокруг него по-прежнему стоял глубокий, непропигаемый мрак; мрак этот навис над его мозгом тяжелой тучей и, хотя он залег над ним со дня рождения, хотя, по-видимому, мальчик должен был свыкнуться с своим несчастьем, однако детская природа по какому-то инстинкту беспрестанно силилась освободиться от темной завесы. Эти, не оставлявшие ребенка ни на минуту, бессознательные порывы к незнакомому ему свету отпечатлевались на его лице все глубже и глубже выражением смутного страдающего усилия.

Тем не менее бывали и для него минуты ясного довольства, ярких детских восторгов, и это случалось тогда, когда доступные для него внешние впечатления доставляли ему новое сильное ощущение, знакомили с новыми явлениями невидимого мира. Великая могучая природа не оставалась для слепого совершенно закрытою. Так, однажды, когда его свели на высокий утес над рекой, он с особенным выражением прислушивался к тихим всплескам реки далеко под ногами и с замиранием сердца хватался за платье матери, слушая, как катились вниз обрывавшиеся из-под ног его камни. С тех пор он представлял себе глубину в виде тихого ропота воды у подножья утеса или в виде испуганного шороха падавших вниз камешков.

Даль звучала в его ушах смутно замправшею песней; когда же по небу гулко перекатывался весенний гром, заполняя собою пространство и с сердитым рокотом теряясь за тучами, слепой мальчик прислушивался к этому рокоту с благоговейным испугом, и сердце его расширялось, а в голове возникало величавое представление о просторе поднебесных высот.

Таким образом, звуки были для него главным непосредственным выражением внешнего мира; остальные впечатления служили только дополнением к впечатлениям слуха, в которые отливались его представления, как в формы.

По временам, в жаркий полдень, когда вокруг все смолкало, когда затихало людское движение и в приро-

де устанавливалась та особенная тишина, под которой чувствуется только непрерывный, бесшумный бег жизненной силы, на лице слепого мальчика являлось характерное выражение. Казалось, под влиянием внешней тишины из глубины его души подымались какие-то ему одному доступные звуки, к которым он будто прислушивался с напряженным вниманием. Можно было подумать, глядя на него в такие минуты, что зарождающаяся неясная мысль начинает звучать в его сердце, как смутная мелодия песни.

II

Ему шел уже пятый год. Он был топок и слаб, но ходил и даже бегал свободно по всему дому. Кто смотрел на него, как он уверенно выступал в компатах, поворачивая именно там, где надо, и свободно разыскивая нужные ему предметы, тот мог бы подумать, если это был незнакомый человек, что перед ним не слепой, а только странно сосредоточенный ребенок с задумчивыми и глядевшими в неопределенную даль глазами. Но уже по двору он ходил с большим трудом, постукивая перед собой палкой. Если же в руках у него не было палки, то он предпочитал ползать по земле, быстро исследуя руками попадавшиеся на пути предметы.

III

Был тихий летний вечер. Дядя Максим сидел в саду. Отец, по обыкновению, захопотался где-то в дальнем поле. На дворе и кругом было тихо; селение засыпало, в людской тоже смолк говор работников и прислуги. Мальчика уже с полчаса уложили в постель.

Он лежал в полудремоте. С некоторых пор у него с этим тихим часом стало связываться странное воспоминание. Он, конечно, не видел, как темпело синее небо, как черные верхушки деревьев качались, рисуясь на звездной лагури, как хмурились лохматые «стрехи» стоявших кругом двора строений, как синяя мгла разливалась по земле вместе с тонким золотом лунного и звездного света. Но вот уже несколько дней он засыпал под каким-то особенным, чарующим впечатлением, в котором на другой день не мог дать себе отчета.

Когда дремота все гуще застилала его сознание, когда смутный шелест буков совсем стихал и он переставал уже различать и дальний лай деревенских собак, и щелканье соловья за рекой, и меланхолическое позвякивание бубенчиков, подвязанных к напшемуся на лугу жеребенку, — когда все отдельные звуки ступшеывались и терялись, ему начинало казаться, что все они, слившись в одну стройную гармонию, тихо влетают в окно и долго кружатся над его постелью, навевая неопределенные, но удивительно приятные грезы. На утро он проснулся разнеженный и обращался к матери с живым вопросом:

— Что это было... вчера? Что это такое?..

Мать не знала, в чем дело, и думала, что ребенка волнуют сны. Она сама укладывала его в постель, заботливо крестила и уходила, когда он начинал дремать, не замечая при этом ничего особенного. Но на другой день мальчик опять говорил ей о чем-то, приятно тревожившем его с вечера.

— Так хорошо, мама, так хорошо! Что же это такое?

В этот вечер она решила остаться у постели ребенка подольше, чтобы разъяснить себе странную загадку. Она сидела на стуле, рядом с его кроваткой, машинально перебирая петли вязанья и прислушиваясь к ровному дыханию своего Петруся. Казалось, он совсем уже заснул, как вдруг в темноте послышался его тихий голос:

— Мама, ты здесь?

— Да, да, мой мальчик...

— Уйди, пожалуйста, *оно* боится тебя и до сих пор его нет. Я уже совсем было заснул, а этого все нет...

Удивленная мать с каким-то странным чувством слушала этот полусонный, жалобный шепот... Ребенок говорил о своих сонных грезах с такою уверенностью, как будто это что-то реальное. Тем не менее, мать встала, наклонилась к мальчику, чтобы поцеловать его, и тихо вышла, решившись незаметно подойти к открытому окну со стороны сада.

Не успела она сделать своего обхода, как загадка разъяснилась. Она услышала вдруг тихие, переливчатые тоны свирели, которые неслись из конюшни, смешиваясь с шорохом южного вечера. Она сразу поняла, что именно эти нехитрые переливы простой мелодии, совпадавшие с фантастическим часом дремоты, так приятно настраивали воспоминания мальчика.

Она сама остановилась, постояла с минуту, прислушиваясь к задумчивым напевам малорусской песни, и, совершенно успокоенная, ушла в темную аллею сада к дяде Максиму.

«Хорошо играет Иохим,— подумала она.— Странно, сколько тонкого чувства в этом грубоватом на вид «хлопе».

IV

А Иохим действительно играл хорошо. Ему нином была даже и хитрая скрипка, и было время, когда в корчме, по воскресеньям, никто лучше не мог сыграть «казака» или веселого польского «краковяка». Когда, бывало, он, усевшись на лавке в углу, крепко притиснув скрипку бритым подбородком и ухарски заломив высокую смушковую шапку на затылок, ударял кривым смычком по упругим струнам, тогда редко кто в корчме мог усидеть на месте. Даже старый одноглазый еврей, аккомпанировавший Иохиму на контрабасе, одушевлялся до последней степени. Его неуклюжий «струмент», казалось, падрыгается от усилий, чтобы поспеть своими тяжелыми басовыми нотами за легкими, певучими и прыгающими тонами Иохимовой скрипки, а сам старый Янкель, высоко подергивая плечами, вертел лысой головой в ермолке и весь подпрыгивал в такт шаловливой и бойкой мелодии. Что же говорить о крещеном пароде, у которого ноги устроены исстари таким образом, что при первых звуках веселого плясового папева сами начинают подгибаться и притопывать.

Но с тех пор, как Иохиму полюбилась Марья, дворовая девка соседнего папа, он что-то не залюбил веселую скрипку. Правда, что скрипка не помогла ему победить сердце вострой девки, и Марья предпочла безусую немецкую физиономию барского камердинера усатой «пыке»¹ хохла-музыканта. С тех пор его скрипки не слышали более в корчме и па вечерницах. Он повесил ее на колышке в конюшне и не обращал внимания на то, что от сырости и его нерадения па любимом прежде инструменте то и дело одна за другой лопались струны. А они лопались с таким громким и жалобным предсмертным звоном, что даже лошади сочувственно ржа-

¹ Пыка — по-малорусски, ироническое название лица, физиономии.

ли и удивленно поворачивали головы к ожесточившемуся хозяину.

На место скрипки Иохим купил у прохожего карпатского горца деревянную дудку. Он, по-видимому, находил, что ее тихие, задушевные переливы больше соответствуют его горькой судьбе, лучше выразят печаль его отвергнутого сердца. Однако горская дудка обманула его ожидания. Он перебрал их до десятка, пробовал на все лады, обрезал, мочил в воде и сушил на солнце, подвешивал на тонкой бечевочке под крышей, чтобы ее обдувало ветром, но ничто не помогало: горская дудка не слушалась хохлацкого сердца. Она свистела там, где нужно было петь, взвизгивала тогда, когда он ждал от нее томного дрожания, и вообще никак не поддавалась его настроению. Наконец он осердился на всех бродячих горцев, убедившись окончательно, что ни один из них не в состоянии сделать хорошую дудку, и затем решился сделать ее своими руками. В течение нескольких дней он бродил с пасуленными бровями по полям и болотам, подходил к каждому кусту ивы, перебирал ее ветки, срезал некоторые из них, но, по-видимому, все не находил того, что ему было нужно. Его брови были по-прежнему угрюмо сдвинуты, и он шел дальше, продолжая розыски. Наконец он попал на одно место, над лениво струившеюся речкой. Вода чуть-чуть шевелила в этой заводи белые головки кувшинок, ветер не долетал сюда из-за густо разросшихся ив, которые тихо и задумчиво склонились к темной, спокойной глубине. Иохим, раздвинув кусты, подошел к речке, постоял с минуту и как-то вдруг убедился, что именно здесь он найдет то, что ему нужно. Морщины на его лбу разгладились. Он вынул из-за голенища привязанный на ремешке складной ножик и, окинув внимательным взглядом задумчиво шептавшиеся кусты ивы, решительно подошел к тонкому, прямому стволу, качавшемуся над размытою кручей. Он зачем-то щелкнул по нему пальцем, посмотрел с удовольствием, как он упруго закачался в воздухе, прислушался к шепоту его листьев и мотнул головой.

— Ото ж воно самёсенькое, — пробормотал Иохим с удовольствием и выбросил в речку все срезанные ранее прутья.

Дудка вышла на славу. Высушив иву, он выжиг ей сердце раскаленной проволокой, прожиг шесть круглых отверстий, прорезал наискось седьмое и плотно заткнул

один конец деревянную затычкой, оставив в ней косую узенькую щелку. Затем она целую неделю впсела на бечевке, причем ее грело солнцем и обдавало звонким ветром. После этого он старательно выстругал ее ножом, почистил стеклом и крепко обтер куском грубого сукна. Верхушка у нее была круглая, от середины шли ровные, точно отполированные грапи, по которым он выжиг с помощью изогнутых кусочков железа разные хитрые узоры. Попробовав ее песколькими быстрыми переливами гаммы, он взволнованно мотнул головой, крикнул и торопливо спрятал в укромное местечко около своей постели. Он не хотел делать первого музыкального опыта среди дневной суеты. Зато в тот же вечер из конюшни полились нежные, задумчивые, переливчатые и дрожащие трели. Иохим был совершенно доволен своей дудкой. Казалось, она была частью его самого; звуки, которые она издавала, лились будто из собственной его согретой и разнеженной груди, и каждый изгиб его чувства, каждый оттенок его скорби тотчас же дрожал в чудесной дудке, тихо срывался с нее и звучно несясь вслед за другими, среди чутко слушавшего вечера.

V

Теперь Иохим был влюблен в свою дудку и праздновал с ней свой медовый месяц. Днем он аккуратно справлял обязанности конюха, водил лошадей на водопой, запрягал их, выезжал с «паней» или с Максимом. По временам, когда он заглядывал в сторону соседнего села, где жила жестокая Марья, тоска начинала сосать его сердце. Но с наступлением вечера он забывал обо всем мире, и даже образ чернобровой девушки застилался будто туманом. Этот образ терял свою жгучую определенность, рисовался перед ним в каком-то смутном фоне и лишь настолько, чтобы придавать задумчиво-грустный характер напевам чудесной дудки.

В таком музыкальном экстазе, весь изливаясь в дрожащих мелодиях, лежал Иохим в конюшне и в тот вечер. Музыкант успел совершенно забыть не только жестокую красавицу, но даже потерял из вида собственное свое существование, как вдруг он вздрогнул и приподнялся на своей постели. В самом патетическом месте он почувствовал, как чья-то маленькая рука быстро пробежала легкими пальцами по его лицу, скользнула по

рукам и затем стала как-то торопливо ощупывать дудку. Вместе с тем он услышал возле себя чье-то быстрое, взволнованное, короткое дыхание.

— Цур тобі, пек тобі! — произнес он обычное заклинание и тут же прибавил вопрос: — Чертове, чи боже? — желая знать, не имеет ли он дела с печистой силой.

Но тотчас же скользнувший в открытые ворота конюшни луч месяца показал ему, что он ошибся. У его койки стоял слепой панич и жадно тянулся к нему своими ручонками.

Через час мать, пожелавшая взглянуть на спящего Петрусь, не нашла его в постели. Она испугалась сначала, но вскоре материнская сметка подсказала ей, где нужно искать пронавшего мальчика. Иохим очень сконфузился, когда, остановившись, чтобы сделать передышку, он неожиданно увидел в дверях конюшни «милостивую пани». Она, по-видимому, уже несколько минут стояла на этом месте, слушая его игру и глядя на своего мальчика, который сидел на койке, укутанный в полушубок Иохима, и все еще жадно прислушивался к оборванной песне.

VI

С тех пор каждый вечер мальчик являлся к Иохиму в конюшню. Ему не приходило и в голову просить Иохима сыграть что-нибудь днем. Казалось, дневная суета и движение исключали в его представлении возможность этих тихих мелодий. Но как только на землю опускался вечер, Петрусь испытывал лихорадочное терпение. Вечерний чай и ужин служили для него лишь указанием, что желанная минута близка, и мать, которой как-то инстинктивно не нравились эти музыкальные сеансы, все же не могла запретить своему любимцу бежать к дударю и просиживать у него в конюшне часа два перед сном. Эти часы стали теперь для мальчика самым счастливым временем, и мать с жгучею ревностью видела, что вечерние впечатления владеют ребенком даже в течение следующего дня, что даже на ее ласки он не отвечает с прежнею безраздельностью, что, сидя у нее на руках и обнимая ее, он с задумчивым видом вспоминает вчерашнюю песню Иохима.

Тогда она вспомнила, что несколько лет назад, обучаясь в киевском пансионе пани Радецкой, она, между прочими «приятными искусствами», изучала также и

музыку. Правда, само по себе, это воспоминание было не из особенно сладких, потому что связывалось с представлением об учительнице, старой немецкой девице Кланс, очень тощей, очень прозаичной и, главное, очень сердитой. Эта чрезвычайно желчная дева, очень искусно «выламывавшая» пальцы своих учениц, чтобы придать им необходимую гибкость, вместе с тем с замечательным успехом убивала в своих питомцах всякие признаки чувства музыкальной поэзии. Это пугливое чувство не могло выносить уже одного присутствия девицы Кланс, не говоря об ее педагогических приемах. Поэтому, выйдя из пансиона и даже замужем, Анна Михайловна и не подумала о возобновлении своих музыкальных упражнений. Но теперь, слушая хохла-дударя, она чувствовала, что вместе с ревностью к нему в ее душе постепенно пробуждается ощущение живой мелодии, и образ немецкой девицы тускнеет. В результате этого процесса явилась просьба пани Попельской к мужу выписать из города пианино.

— Как хочешь, моя голубка,— ответил образцовый супруг.— Ты, кажется, не особенно любила музыку.

В тот же день послано было письмо в город, но пока инструмент был куплен и привезен из города в деревню, должно было пройти не менее двух-трех недель.

А между тем из конюшни каждый вечер звучали мелодические призывы, и мальчик кидался туда, даже не спрашивая уже позволения матери.

Специфический запах конюшни смешивался с ароматом сухой травы и острым запахом сыромятных ремней. Лошади тихо жевали, шурша добываемыми из-за решетки ключьями сена; когда дударь останавливался для передышки, в конюшню явственно доносился шепот зеленых буков из сада. Петрик сидел, как очарованный, и слушал.

Он никогда не прерывал музыканта, и только когда тот сам останавливался и проходило две-три минуты в молчании, немое очарование сменялось в мальчике какою-то странною жадностью. Он тянулся за дудкой, брал ее дрожащими руками и прикладывал к губам. Так как при этом в груди мальчика захватывало дыхание, то первые звуки выходили у него какие-то дрожащие и тихие. Но потом он понемногу стал овладевать немудреным инструментом. Иохим располагал его пальцы по отверстиям, и хотя маленькая ручонка едва могла захватить эти отверстия, но все же он скоро свыкся с звука-

ми гаммы. При этом каждая нота имела для него как бы свою особенную физиономию, свой индивидуальный характер: он знал уже, в каком отверстии живет каждый из этих тонов, откуда его нужно выпустить, и порой, когда Иохим тихо перебирал пальцами какой-нибудь несложный напев, пальцы мальчика тоже начинали шевелиться. Он с полной ясностью представлял себе последовательные тоны расположенными по их обычным местам.

VII

Накопец, ровно через три недели, из города привезли пианино. Петя стоял на дворе и внимательно слушал, как суетившиеся работники готовились нести в комнату привозную «музыку». Она была, очевидно, очень тяжелая, так как, когда ее стали подымать, телега трещала, а люди кряхтели и глубоко дышали. Вот они двинулись размеренными, тяжелыми шагами, и при каждом таком шаге над их головами что-то странно гудело, ворчало и позванивало. Когда странную музыку ставили на пол в гостиной, она опять отозвалась глухим гулом, точно угрожая кому-то в сильном гневе.

Все это наводило на мальчика чувство, близкое к испугу, и не располагало в пользу нового неодушевленного, но вместе сердитого гостя. Он ушел в сад и не слышал, как установили инструмент на ножках, как приезжий из города настройщик заводил его ключом, пробовал клавиши и настраивал проволоочные струны. Только когда все было кончено, мать велела позвать в комнату Петю.

Теперь, вооружившись венским инструментом лучшего мастера, Анна Михайловна заранее торжествовала победу над нехитрою деревенскою дудкой. Она была уверена, что ее Петя забудет теперь конюшню и дударя и что все свои радости будет получать от нее. Она взглянула смеющимися глазами на робко вошедшего вместе с Максимом мальчика и на Иохима, который просил позволения послушать заморскую музыку и теперь стоял у двери, застенчиво потупив глаза и свесив чуприну. Когда дядя Максим и Петя уселись на кушетку, она вдруг ударила по клавишам пианино.

Она играла пьесу, которую в пансионе леди Радецкой и под руководством девицы Кланс изучила в совершенстве. Это было что-то особенно шумное, по доволь-

но хитрое, требовавшее значительной гибкости пальцев; на публичном экзамене Анна Михайловна стяжала этой пьесой обильные похвалы и себе, и особенно своей учительнице. Никто не мог сказать этого наверное, но многие догадывались, что молчаливый пан Попельский пленился панной Яценко именно в ту короткую четверть часа, когда она исполняла трудную пьесу. Теперь молодая жепщина играла ее с сознательным расчетом на другую победу: она желала сильнее привлечь к себе маленькое сердце своего сына, увлеченного хохлацкою дудкой.

Однако на этот раз ее ожидания были обмануты: венскому инструменту оказалось не по силам бороться с куском украинской вербы. Правда, у венского пианино были могучие средства: дорогое дерево, превосходные струны, отличная работа венского мастера, богатство обширного регистра. Зато и у украинской дудки нашлись союзники, так как она была у себя дома, среди родственной украинской природы.

Прежде чем Иохим срезал ее своим ножом и выжег ей сердце раскаленным железом, она качалась здесь, над знакомою мальчику родною речкой, ее ласкало украинское солнце, которое согревало и его, и тот же обдавал ее украинский ветер, пока зоркий глаз украинца-дударя подметил ее над размытою кручей. И теперь трудно было иностранному пришельцу бороться с простою местною дудкой, потому что она явилась слепому мальчику в тихий час дремоты, среди таинственного вечернего шороха, под шелест засыпавших буков, в сопровождении всей родственной украинской природы.

Да и пани Попельской далеко было до Иохима. Правда, ее тонкие пальцы были и быстрее, и гибче; мелодия, которую она играла, сложнее и богаче, и много трудов положила девица Клапс, чтобы выучить свою ученицу владеть трудным инструментом. Зато у Иохима было непосредственное музыкальное чувство, он любил и грустил и с любовью своей, и с тоской обращался к родной природе. Его учила несложным напевам эта природа, шум ее леса, тихий шепот степной травы, задумчивая родная, старинная песня, которую он слышал еще над своею детскою колыбелью.

Да, трудно оказалось венскому инструменту победить хохлацкую дудку. Не прошло и одной минуты, как дядя Максим вдруг резко застучал об пол своим костылем. Когда Анна Михайловна повернулась в ту сторону,

она увидела на побледневшем лице Петрика то самое выражение, с каким в памятный для нее день первой весенней прогулки мальчик лежал на траве.

Иохим участливо посмотрел на мальчика, потом кинул пренебрежительный взгляд на немецкую музыку и удалился, стучая по полу гостиной своими неуклюжими «чоботьями».

VIII

Много слез стоила бедной матери эта неудача, — слез и стыда. Ей, «милостивой нани» Понельской, слышавшей гром рукоплесканий «избранной публики», сознавать себя так жестоко пораженной, и кем же? — простым конюхом Иохимом с его глуною свистелкой! Когда она вспоминала исполненный пренебрежения взгляд хохла после ее неудачного концерта, краска гнева заливала ее лицо, и она искренно ненавидела «противного хлона».

И, однако, каждый вечер, когда ее мальчик убегал в конюшню, она открывала окно, облакачивалась на него и жадно прислушивалась. Сначала слушала она с чувством гневного пренебрежения, стараясь лишь уловить смешные стороны в этом «глуном чириканьи», но мало-помалу — она и сама не отдавала себе отчета, как это могло случиться, — глуное чириканье стало овладевать ее вниманием, и она уже с жадностью ловила задумчиво-грустные напевы. Снохватившись, она задала себе вопрос, в чем же их привлекательность, их чарующая тайна, и понемногу эти синие вечера, неопределенные вечерние тени и удивительная гармония песни с природой разрешили ей этот вопрос.

«Да, — думала она про себя, побежденная и завоеванная в свою очередь, — тут есть какое-то совсем особенное, истинное чувство... чарующая поэзия, которую не выучишь по нотам».

И это было правда. Тайна этой поэзии состояла в удивительной связи между давно умершим прошлым и вечно живущей, и вечно говорящей человеческому сердцу природой, свидетельницей этого прошлого. А он, грубый мужик в смазных сапогах и с мозолистыми руками, носил в себе эту гармонию, это живое чувство природы.

И она сознавала, что гордая «нани» смиряется с ней перед конюхом-хлопом. Она забывала его грубую одежду и запах дегтя, и сквозь тихие переливы песни вспо-

мипалось ей добродушное лицо, с мягким выражением серых глаз и застенчиво-юмористической улыбкой из-под длинных усов. По временам краска гнева опять прилиwała к лицу и вискам молодой женщины: она чувствовала, что в борьбе из-за внимания ее ребенка она стала с этим мужиком на одну арену, на равной ноге, и он, «хлоп», победил.

А деревья в саду шептались у нее над головой, ночь разгоралась огнями в синем небе и разливалась по земле синюю тьмой, и вместе с тем в душу молодой женщины лилась горячая грусть от Иохимовых песен. Она все больше смирялась и все больше училась постигать нехитрую тайну непосредственной и чистой безыскусственной поэзии.

IX

Да, у мужика Иохима истинное, живое чувство! А у нее? Неужели у нее нет ни капли этого чувства? Отчего же так жарко в груди и так тревожно бьется в пей сердце и слезы поневоле подступают к глазам?

Разве это не чувство, не жгучее чувство любви к ее обездоленному, слепому ребенку, который убегает от нее к Иохиму и которому она не умеет доставить такого же живого наслаждения?

Ей вспомнилось выражение боли, вызванное ее игрой на лице мальчика, и жгучие слезы лились у нее из глаз, и по временам она с трудом сдерживала подступавшие к горлу и готовые вырваться рыдания.

Бедная мать! Слепота ее ребенка стала и ее вечным, неизлечимым недугом. Он сказался и в болезненно-преувеличенной нежности, и в этом всю ее поглотившем чувстве, связавшем тысячью невидимых струн ее изболевшее сердце с каждым проявлением детского страдания. По этой причине то, что в другой вызвало бы только досаду,— это странное соперничество с хохлом-дударем,— стало для нее источником сильнейших, преувеличенно-жгучих страданий.

Так шло время, не принося ей облегчения, но зато и не без пользы: она начала сознавать в себе приливы того же живого ощущения мелодии и поэзии, которое так очаровало ее в игре хохла. Тогда в пей ожила и надежда. Под влиянием внезапных приливов самоуверенности она несколько раз подходила к своему инструмен-

ту и открывала крышку с намерением заглушить певучими ударами клавишей тихую дудку. Но каждый раз чувство нерешимости и стыдливого страха удерживало ее от этих попыток. Ей вспоминалось лицо ее страдающего мальчика и пренебрежительный взгляд хохла, и щеки пылали в темноте от стыда, а рука только пробегала в воздухе над клавиатурой с боязливою жадностью...

Тем не менее изо дня в день какое-то внутреннее сознание своей силы в ней все возрастало, и, выбирая время, когда мальчик играл перед вечером в дальней аллее или уходил гулять, она садилась за пианино. Первыми опытами она осталась не особенно довольна; руки не повиновались ее внутреннему пониманию, звуки инструмента казались сначала чуждыми овладевшему ею настроению. Но постепенно это настроение переливалось в них с большею полнотой и легкостью; уроки хохла не прошли даром, а горячая любовь матери и чуткое понимание того, что именно захватывало так сильно сердце ребенка, дали ей возможность так быстро усвоить эти уроки. Теперь из-под рук выходили уже не трескучие мудреные «пье́сы», а тихая песня, грустная украинская думка звенела и плакала в темных комнатах, размягчая материнское сердце.

Наконец она приобрела достаточно смелости, чтобы выступить в открытую борьбу, и вот, по вечерам, между барским домом и Иохимовой конюшней началось странное состязание. Из затепленного сарая с нависшею соломенною стрехой тихо вылетали переливчатые трели дудки, а навстречу им из открытых окон усадьбы, сверкавшей сквозь листву буков отражением лунного света, неслись певучие, полные аккорды фортепиано.

Сначала ни мальчик, ни Иохим не хотели обращать внимания на «хитрую» музыку усадьбы, к которой они питали предубеждение. Мальчик даже хмурил брови и нетерпеливо попукал Иохима, когда тот останавливался.

— Э! играй же, играй!

Но не прошло и трех дней, как эти остановки стали все чаще и чаще. Иохим то и дело откладывал дудку и начинал прислушиваться с возрастающим интересом, а во время этих пауз и мальчик тоже заслушивался и забывал попукать приятеля. Наконец Иохим произнес с задумчивым видом:

— Ото ж як гарно... Бач, яка воно штука...

И затем с тем же задумчиво-рассеянным видом при-

слушивающегося человека, он взял мальчика на руки и пошел с ним через сад к открытому окну гостиной.

Он думал, что «милостивая пани» играет для собственного удовольствия и не обращает на них внимания. Но Анна Михайловна слышала в промежутках, как смолкла ее соперница-дудка, видела свою победу, и ее сердце билось от радости.

Вместе с тем ее гневное чувство к Иохиму улеглось окончательно. Она была счастлива и сознавала, что обязана этим счастьем ему: он научил ее, как опять привлечь к себе ребенка, и если теперь ее мальчик получит от нее целые сокровища новых впечатлений, то за это оба они должны быть благодарны ему, мужику-дударю, их общему учителю.

Х

Лед был сломан. Мальчик на следующий день с робким любопытством вошел в гостиную, в которой не бывал с тех пор, как в ней поселился странный городской гость, показавшийся ему таким сердито-крикливым. Теперь вчерашние песни этого гостя подкупили слух мальчика и изменили его отношение к инструменту. С последними следами прежней робости он подошел к тому месту, где стояло пианино, остановился на некотором расстоянии и прислушался. В гостиной никого не было. Мать сидела с работой в другой комнате на диване и, притаив дыхание, смотрела на него, любуясь каждым его движением, каждою сменой выражения на первом лице ребенка.

Протянув издали руки, он коснулся полированной поверхности инструмента и тотчас же робко отодвинулся. Повторив раза два этот опыт, он подошел поближе и стал внимательно исследовать инструмент, наклоняясь до земли, чтобы ощупать ножки, обходя кругом по свободным сторонам. Наконец его рука попала на гладкие клавиши.

Тихий звук струны неуверенно дрогнул в воздухе. Мальчик долго прислушивался к исчезнувшим уже для слуха матери вибрациям и затем, с выражением полного внимания, тронул другую клавишу. Проведя после этого рукой по всей клавиатуре, он попал на ноту верхнего регистра. Каждому тону он давал достаточно времени, и они, один за другим, колыхаясь, дрожали и за-

мирали в воздухе. Лицо слепого, вместе с напряженным вниманием, выражало удовольствие; он, видимо, любовался каждым отдельным топом, и уже в этой чуткой внимательности к элементарным звукам, составным частям будущей мелодии, сказывались задатки артиста.

Но при этом казалось, что слепой придавал еще какие-то особенные свойства каждому звуку: когда из-под его руки вылетала веселая и яркая нота высокого регистра, он подымал оживленное лицо, будто провожая кверху эту звонкую летучую ноту. Наоборот, при густом, чуть слышном и глухом дрожании баса он наклонял ухо; ему казалось, что этот тяжелый тон должен непременно низко раскатиться над землею, рассыпаясь по полу и теряясь в дальних углах.

XI

Дядя Максим относился ко всем этим музыкальным экспериментам только терпимо. Как это ни странно, но так явно обнаружившиеся склонности мальчика порождали в инвалиде двойственное чувство. С одной стороны, страстное влечение к музыке указывало на несомненно присущие мальчику музыкальные способности и, таким образом, определяло отчасти возможное для него будущее. С другой — к этому сознанию примешивалось в сердце старого солдата неопределенное чувство разочарования.

«Конечно, — рассуждал Максим, — музыка тоже великая сила, дающая возможность владеть сердцем толпы. Он, слепой, будет собирать сотни разряженных франтов и барынь, будет им разыгрывать разные там... вальсы и ноктюрны (правду сказать, дальше этих «вальсов» и «ноктюрнов» не шли музыкальные познания Максима), а они будут утирать слезы платочками. Эх, черт возьми, не того бы мне хотелось, да что же делать! Малый слеп, так пусть же стапет в жизни тем, чем может. Только все же лучше бы уж песня, что ли? Песня говорит не одному неопределенно разнеживающемуся слуху. Она дает образы, будит мысль в голове и мужество в сердце».

— Эй, Иохим, — сказал он одним вечером, входя вслед за мальчиком к Иохиму. — Брось ты хоть один раз свою свистелку! Это хорошо мальчишкам на улице или подпаску в поле, а ты все же таки взрослый мужик, хоть эта глупая Марья и сделала из тебя настоящего телен-

ка. Тыфу, даже стыдно за тебя, право! Девка отвернулась, а ты и раскис. Свистишь, точно перепел в клетке!

Иохим, слушая эту длинную рацею раздосадованного пана, ухмылялся в темноте над его беспричинным гневом. Только упоминание о мальчишках и подпаске несколько расшевелило в нем чувство легкой обиды.

— Не скажите, пане,— заговорил он.— Таковую дуду не пайти вам ни у одного пастуха в Украине, не то что у подпаска... То все свистелки, а это... вы вот послушайте.

Он закрыл пальцами все отверстия и взял на дудке два тона в октаву, любуясь полным звуком. Максим плюнул.

— Тыфу, прости боже! совсем поглупел парубок! Что мне твоя дуда? Все они одипаковы — и дудки, и бабы, с твоей Марьей в придачу. Вот лучше спел бы ты нам песню, коли умеешь,— хорошую старую песню.

Максим Яценко, сам малоросс, был человек простой с мужиками и дворяней. Он часто кричал и ругался, но как-то необходимо, и потому к нему относились люди почтительно, но свободно.

— А что ж? — ответил Иохим на предложение пана.— Пел когда-то и я не хуже людей. Только, может, и наша мужицкая песня тоже вам не по вкусу придется, пане? — уязвил он слегка собеседника.

— Ну не брешь по-пустому,— сказал Максим.— Песня хорошая — не дудке чета, если только человек умеет петь как следует. Вот послушаем, Петрусь, Иохимову песню. Поймешь ли ты только, малый?

— А это будет «хлопская» песня? — спросил мальчик.— Я понимаю «по-хлопски».

Максим вздохнул. Он был романтик и когда-то мечтал о повой сечи.

— Эх, малый! Это не хлопские песни... Это песни сильного, вольного народа. Твои деды по матери пели их на степях по Днепру, и по Дунаю, и на Черном море... Ну, да ты поймешь это когда-нибудь, а теперь,— прибавил он задумчиво,— боюсь я другого...

Действительно, Максим боялся другого непонимания. Он думал, что яркие образы песенного эпоса требуют непременно зрительных представлений, чтобы говорить сердцу. Он боялся, что темная голова ребенка не в состоянии будет усвоить картинного языка народной поэзии. Он забыл, что древние баяны, что украинские

кобзари и бандуристы были по большей части слепые. Правда, тяжкая доля, увечье заставляли нередко брать в руки лиру или бандуру, чтобы просить с нею подавания. Но не все же это были только нищие и ремесленники с гнусавыми голосами, и не все они лишились зрения только под старость. Слепота застилает видимый мир темною завесой, которая, конечно, ложится на мозг, затрудняя и угнетая его работу, но все же из наследственных представлений и из впечатлений, получаемых другими путями, мозг творит в темноте свой собственный мир, грустный, печальный и сумрачный, но не лишенный своеобразной, смутной поэзии.

XII

Максим с мальчиком уселись на сене, а Иохим прилег на свою лавку (эта поза наиболее соответствовала его артистическому настроению) и, подумав с минуту, зашел. Случайно или по чуткому инстинкту выбор его оказался очень удачным. Он остановился на исторической картине:

Ой, там на горі, тай женці жиуть.

Всякому, кто слышал эту прекрасную пародную песню в надлежащем исполнении, наверное врезался в память ее старинный мотив, высокий, протяжный, будто подернутый грустью исторического воспоминания. В ней нет событий, кровавых сеч и подвигов. Это и не прощание казака с милой, не удалой набег, не экспедиция в чайках по сипему морю и Дупаю. Это только одна мимолетная картина, всплывшая мгновенно в воспоминании украинца как смутная греза, как отрывок из сна об историческом прошлом. Среди будничного и серого пастоящего дня в его воображении встала вдруг эта картина, смутная, туманная, подернутая тою особенною грустью, которая веет от исчезнувшей уже родной старины. Исчезнувшей, но еще не бесследно! О ней говорят еще высокие могилы-курганы, где лежат казацкие кости, где в полночь загораются огни, откуда слышатся по ночам тяжелые стоны. О ней говорит и пародное предание, и смолкающая все более и более пародная песня:

Ой, там на горі, тай женці жпуть,
А по-під горою, по-під зеленою
Козаки ідуть!..
Козаки ідуть!..

На зеленой горе жнецы жнут хлеб. А под горой, внизу, идет казачье войско.

Максим Яценко заслушался грустного папева. В его воображении, вызванная чудесным мотивом, удивительно сливающимся с содержанием песни, всплыла эта картина, будто освещенная мелапхолическим отблеском заката. В мирных полях, на горе, беззвучно поклоняясь пад нивами, виднеются фигуры жнецов. А внизу бесшумно проходят отряды один за другим, сливаясь с вечерними тенями долины.

По переду Дорошенко
Веде свое військо, військо запорожське,
Хорошенько.

И протяжная нота песни о прошлом колышется, звенит и смолкает в воздухе, чтобы зазвенеть опять и вызывать из сумрака все новые и новые фигуры.

XIII

Мальчик слушал с омраченным и грустным лицом. Когда певец пел о горе, на которой жнут жнецы, воображение тотчас же перепосило Петруся на высоту знакомого ему утеса. Он узнал его потому, что внизу плещется речка чуть слышными ударами волпы о камень. Он уже знает также, что такое жнецы, он слышит позвякивание серпов и шорох падающих колосьев.

Когда же песня переходила к тому, что делается под горой, воображение слепого слушателя тотчас же удаляло его от вершин в долину...

Звон серпов смолк, но мальчик знает, что жнецы там, на горе, что они остались, но они не слышны, потому что они высоко, так же высоко, как сосны, шум которых он слышал, стоя под утесом. А внизу, пад рекой, раздается частый ровный топот копских копыт... Их много, от них стоит неясный гул там, в темноте, под горой. Это «идут казаки».

Он знает также, что значит казак. Старика «Хведька», который заходит по временам в усадьбу, все зовут «старым казаком». Он по раз брал Петруся к себе на колени, гладил его волосы своею дрожащею рукой. Когда же мальчик по своему обыкновению оцупывал его лицо, то осязал своими чуткими пальцами глубоко морщины, большие обвисшие вниз усы, впалые щеки и на щеках старческие слезы. Таких же казаков представлял

себе мальчик под протяжные звуки песни там, внизу, под горой. Они сидят на лошадях такие же, как «Хведько», усатые, такие же сгорбленные, такие же старые. Они тихо подвигаются бесформенными тенями в темноте и так же, как «Хведько», о чем-то плачут, быть может, оттого, что и над горой и над долиной стоят эти печальные, протяжные стоны Иохимовой песни,— песни о «необачном¹ козачине», что променял молодую женку на походную трубку и на боевые невзгоды.

Максиму достаточно было одного взгляда, чтобы понять, что чуткая натура мальчика способна откликнуться, несмотря на слепоту, на поэтические образы песни.

Глава третья

I

Благодаря режиму, который был заведен по плану Максима, слепой во всем, где это было возможно, был предоставлен собственным усилиям, и это принесло самые лучшие результаты. В доме он не казался вовсе беспомощным, ходил всюду очень уверенно, сам убирал свою комнату, держал в известном порядке свои игрушки и вещи. Кроме того, насколько это было ему доступно, Максим обращал внимание на физические упражнения: у мальчика была своя гимнастика, а на шестом году Максим подарил племяннику небольшую и смирную лошадку. Мать сначала не могла себе представить, чтоб ее слепой ребенок мог ездить верхом, и она называла затею брата чистым безумием. Но инвалид пустил в дело все свое влияние, и через два-три месяца мальчик весело скакал в седле рядом с Иохимом, который командовал только на поворотах.

Таким образом слепота не помешала правильному физическому развитию, и влияние ее на нравственный склад ребенка было по возможности ослаблено. Для своего возраста он был высок и строен; лицо его было несколько бледно, черты тонки и выразительны. Черные волосы оттеняли еще более белизну лица, а большие темные, мало подвижные глаза придавали ему своеобразное выражение, как-то сразу приковывавшее внимание. Легкая складка над бровями, привычка несколько пода-

¹ Неосмотрительном (укр.).

ваться головой вперед и выражение грусти, по временам пробегавшее какими-то облаками по красивому лицу, — это все, чем сказалась слепота в его паружности. Его движения в знакомом месте были уверенны, но все же было заметно, что природная живость подавлена и проявляется по временам довольно резкими первыми порывами.

II

Теперь впечатления слуха окончательно получили в жизни слепого преобладающее значение, звуковые формы стали главными формами его мысли, центром умственной работы. Он запомнил песни, вслушиваясь в их чарующие мотивы, знакомился с их содержанием, окрашивая его грустью, весельем или раздумчивостью мелодии. Он еще внимательнее ловил голоса окружающей природы и, сливая смутные ощущения с привычными родными мотивами, по временам умел обобщить их свободной импровизацией, в которой трудно было отличить, где кончается народный, привычный уху мотив и где начинается личное творчество. Он и сам не мог отделить в своих песнях этих двух элементов: так цельно слились в нем они оба. Он быстро заучивал все, что передавала ему мать, учившая его игре на фортепиано, но любил также и Иохимову дудку. Фортепиано было богаче, звучнее и полнее, но оно стояло в комнате, тогда как дудку можно было брать с собой в поле, и ее переливы так нераздельно сливались с тихими вздохами степи, что порой Петрусь сам не мог отдать себе отчета, ветер ли навевает издалека смутные думы или это он сам извлекает их из своей свирели.

Это увлечение музыкой стало центром его умственного роста; оно заполняло и разнообразило его существование. Максим пользовался им, чтобы знакомить мальчика с историей его страны, и вся она прошла перед воображением слепого, сплетенная из звуков. Заинтересованный песней, он знакомился с ее героями, с их судьбой, с судьбой своей родины. Отсюда начался интерес к литературе, и на девятом году Максим приступил к первым урокам. Умелые уроки Максима (которому пришлось изучить для этого специальные приемы обучения слепых) очень нравились мальчику. Они вносили в его построения новый элемент — определенность и ясность, уравновешивавшие смутные ощущения музыки.

Таким образом день мальчика был заполнен, нельзя было пожаловаться на скудость получаемых им впечатлений. Казалось, он жил полною жизнью, пасколько это возможно для ребенка. Казалось также, что он не сознает и своей слепоты.

А между тем какая-то странная, недетская грусть все-таки сквозила в его характере. Максим приписывал это недостатку детского общества и старался пополнить этот недостаток.

Деревенские мальчики, которых приглашали в усадьбу, дичились и не могли свободно развернуться. Кроме непривычной обстановки, их немало смущала также и слепота «папича». Они пугливо поглядывали на него и, сбившись в кучу, молчали или робко перешептывались друг с другом. Когда же детей оставляли одних в саду или в поле, они становились развязнее и затевали игры, но при этом оказывалось, что слепой как-то оставался в стороне и грустно прислушивался к веселой возне товарищей.

По временам Иохим собирал ребят вокруг себя в кучу и начинал рассказывать им веселые присказки и сказки. Деревенские ребята, отлично знакомые и с глуповатым хохлацким чертом, и с плутовками ведьмами, пополняли эти рассказы из собственного запаса, и вообще эти беседы шли очень оживленно. Слепой слушал их с большим вниманием и интересом, но сам смеялся редко. По-видимому, юмор живой речи в значительной степени оставался для него недоступным, и немудрено: он не мог видеть ни лукавых огоньков в глазах рассказчика, ни смеющихся морщин, ни подергивания длинными усами.

III

Незадолго до описываемого времени в небольшом соседнем имении переменился «поссессор»¹. На место прежнего, беспокойного соседа, у которого даже с молчаливым паном Попельским вышла тяжба из-за какой-то потравы, теперь в ближней усадьбе поселился старик Яскульский с женою. Несмотря на то что обоим супру-

¹ В юго-западном крае довольно развита система арендований имений: арендатор (по-местному «поссессор») является как бы управителем имения. Он выплачивает владельцу известную сумму, а затем от его предприимчивости зависит извлечение большего или меньшего дохода.

гам в общей сложности было не менее ста лет, они поженились сравнительно недавно, так как пан Якуб долго не мог сколотить нужной для аренды суммы и поэтому мыкался в качестве «эконома» по чужим людям, а пани Агнешка, в ожидании счастливой минуты, жила в качестве почетной «покоювки»¹ у графини Потоцкой. Когда наконец счастливая минута настала и жених с невестой стали рука об руку в костеле, то в усах и в чубе молодцеватого жениха половина волос были совершенно седые, а покрытое стыдливым румянцем лицо невесты было также обрамлено серебристыми локонами.

Это обстоятельство не помешало, однако, супружескому счастью, и плодом этой поздней любви явилась единственная дочь, которая была почти ровесницей слепому мальчику. Устроив под старость свой угол, в котором они, хотя и условно, могли считать себя полными хозяевами, старики зажили в нем тихо и скромно, как бы вознаграждая себя этою тишиной и уединением за суетливые годы тяжелой жизни «в чужих людях». Первая их аренда оказалась не совсем удачной, и теперь они несколько сузили дело. Но и на новом месте они тотчас же устроились по-своему. В углу, запятом иконами, перевитыми плющом, у Яскульской, вместе с вербой и «громницей»², хранились какие-то мешочки с травами и корпиями, которыми она лечила мужа и приходивших к ней деревенских баб и мужиков. Эти травы наполняли всю избу особенным специфическим благоуханием, которое неразрывно связывалось в памяти всякого посетителя с воспоминанием об этом чистом малепьком домике, об его тишине и норадке и о двух стариках, живших в нем какою-то необычною в наши дни тихую жизнь.

В обществе этих стариков росла их единственная дочь, небольшая девочка, с длинною русой косой и голубыми глазами, поражавшая всех при первом же знакомстве какою-то странною солидностью, разлитой во всей ее фигуре. Казалось, спокойствие поздней любви родителей отразилось в характере дочери этою недетскою рассудительностью, плавным спокойствием движений, задумчивостью и глубиной голубых глаз. Она никогда не дичилась посторонних, не уклонялась от зна-

¹ Горничной (польск.).

² Громницей называется восковая свеча, которую зажигают в сильные бури, а также дают в руки умирающему.

комства с детьми и принимала участие в их играх. Но все это делалось с такою искреннею снисходительностью, как будто для нее лично это было вовсе не нужно. Действительно, она отлично довольствовалась своим собственным обществом, гуляя, собирая цветы, беседуя со своею куклой, и все это с видом такой солидности, что по временам казалось, будто перед вами не ребенок, а крохотная взрослая женщина.

IV

Однажды Петрик был один на холмике над рекой. Солнце садилось, в воздухе стояла тишина, только мычание возвращавшегося из деревни стада долетало сюда, смягченное расстоянием. Мальчик только что перестал играть и откинулся на траву, отдаваясь полудремотной истоме летнего вечера. Он забылся на минуту, как вдруг чьи-то легкие шаги вывели его из дремоты. Он с неудовольствием приподнялся на локоть и прислушался. Шаги остановились у подножия холмика. Походка была ему незнакома.

— Мальчик! — услышал он вдруг возглас детского голоса. — Не знаешь ли, кто это тут сейчас играл?

Слепой не любил, когда парушали его одиночество. Поэтому он ответил на вопрос не особенно любезным тоном:

— Это я...

Легкий удивленный возглас был ответом на это заявление, и тотчас же голос девочки прибавил тоном простодушного одобрения:

— Как хорошо!

Слепой промолчал.

— Что же вы не уходите? — спросил он затем, слыша, что непрощенная собеседница продолжает стоять на месте.

— Зачем же ты меня гонишь? — спросила девочка своим чистым и простодушно-удивленным голосом.

Звуки этого спокойного детского голоса приятно действовали на слух слепого; тем не менее он ответил в прежнем тоне:

— Я не люблю, когда ко мне приходят...

Девочка засмеялась.

— Вот еще!.. Смотрите-ка! Разве вся земля твоя и ты можешь кому-нибудь запретить ходить по земле?

— Мама приказала всем, чтобы сюда ко мне не ходили.

— Мама? — переспросила задумчиво девочка. — А моя мама позволила мне ходить над рекой...

Мальчик, несколько избалованный всеобщей уступчивостью, не привык к таким настойчивым возражениям. Вспышка гнева прошла по его лицу нервной волной; он приподнялся и заговорил быстро и возбужденно:

— Уйдите, уйдите, уйдите!..

Неизвестно, чем кончилась бы эта сцена, но в это время от усадьбы послышался голос Иохима, звавшего мальчика к чаю. Он быстро сбежал с холмика.

— Ах, какой гадкий мальчик! — услышал он за собою искренно пегодующее замечание.

V

На следующий день, сидя на том же месте, мальчик вспомнил о вчерашнем столкновении. В этом воспоминании теперь не было досады. Напротив, ему даже захотелось, чтоб опять пришла эта девочка с таким приятным, спокойным голосом, какого он никогда еще не слышал. Знакомые ему дети громко кричали, смеялись, дрались и плакали, но ни один из них не говорил так приятно. Ему стало жаль, что он обидел незнакомку, которая, вероятно, никогда более не вернется.

Действительно, дня три девочка совсем не приходила. Но на четвертый Петрусь услышал ее шаги внизу, на берегу реки. Она шла тихо; береговая галька легко шуршала под ее ногами; и она напевала вполголоса польскую песенку.

— Послушайте! — окликнул он, когда она с ним поровнялась. — Это опять вы?

Девочка не ответила. Камешки по-прежнему шуршали под ее ногами. В деланной беззаботности ее голоса, напевавшего песню, мальчику слышалась еще не забытая обида.

Однако, пройдя несколько шагов, незнакомка остановилась. Две-три секунды прошло в молчании. Она перебирала в это время букет полевых цветов, который держала в руках, а он ждал ответа. В этой остановке и последовавшем за нею молчании он уловил оттенок умышленного пренебрежения.

— Разве вы не видите, что это я? — спросила она наконец с большим достоинством, покончив с цветами.

Этот простой вопрос больно отозвался в сердце слепого. Он ничего не ответил, и только его руки, которыми он упирался в землю, как-то судорожно схватились за траву. Но разговор уже начался, и девочка, все стоя на том же месте и занимаясь своим букетом, опять спросила:

— Кто тебя выучил так хорошо играть на дудке?

— Иохим выучил, — ответил Петрусь.

— Очень хорошо! А отчего ты такой сердитый?

— Я... не сержусь на вас, — сказал мальчик тихо.

— Ну, так и я не сержусь... Давай играть вместе.

— Я не умею играть с вами, — ответил он потупившись.

— Не умеешь играть?.. Почему?

— Так.

— Нет, почему же?

— Так, — ответил он чуть слышно и еще более потупился.

Ему не приходилось еще никогда говорить с кем-нибудь о своей слепоте, и простодушный тон девочки, предлагавшей с наивною настойчивостью этот вопрос, отозвался в нем опять тупою болью.

Незнакомка поднялась на холмик.

— Какой ты смешной, — заговорила она с снисходительным сожалением, усаживаясь рядом с ним на траве. — Это ты, верно, оттого, что еще со мной не знаком. Вот узнаешь меня, тогда перестанешь бояться. А я не боюсь никого.

Она говорила это с беспечной ясностью, и мальчик услышал, как она бросила к себе в передник груды цветов.

— Где взяли цветы? — спросил он.

— Там, — мотнула она головой, указывая назад.

— На лугу?

— Нет, там.

— Значит, в роще. А какие это цветы?

— Разве ты не знаешь цветов?.. Ах, какой ты странный... право, ты очень странный...

Мальчик взял в руку цветок. Его пальцы быстро и легко тронули листья и венчик.

— Это лютик, — сказал он, — а вот это фиалка.

Потом он захотел тем же способом ознакомиться и со своею собеседницей: взяв левою рукой девочку за

плечо, он правой стал ощупывать ее волосы, потом веки и быстро пробежал пальцами по лицу, кое-где останавливаясь и внимательно изучая незнакомые черты.

Все это было сделано так неожиданно и быстро, что девочка, пораженная удивлением, не могла сказать ни слова; она только глядела на него широко открытыми глазами, в которых отражалось чувство, близкое к ужасу. Только теперь она заметила, что в лице ее нового знакомого есть что-то необычайное. Бледные и тонкие черты застыли на выражении напряженного внимания, как-то не гармонизировавшего с его неподвижным взглядом. Глаза мальчика глядели куда-то, без всякого отношения к тому, что он делал, и в них странно переливался отблеск закатывавшегося солнца. Все это показалось девочке на одну минуту просто тяжелым кошмаром.

Высвободив свое плечо из руки мальчика, она вдруг вскочила на ноги и заплакала.

— Зачем ты пугаешь меня, гадкий мальчишка? — заговорила она гневно, сквозь слезы. — Что я тебе сделала?.. Зачем?..

Он сидел на том же месте, озадаченный, с низко опущенною головой, и странное чувство, — смесь досады и унижения, — наполнило болью его сердце. В первый раз еще пришлось ему испытать унижение калеки; в первый раз узнал он, что его физический недостаток может внушать не одно сожаление, но и испуг. Конечно, он не мог отдать себе ясного отчета в угнетавшем его тяжелом чувстве, но оттого, что сознание это было неясно и смутно, оно доставляло не меньше страдания.

Чувство жгучей боли и обиды подступило к его горлу; он упал на траву и заплакал. Плач этот становился все сильнее, судорожные рыдания потрясали все его маленькое тело, тем более что какая-то врожденная гордость заставляла его подавлять эту вспышку.

Девочка, которая сбегала уже с холмика, услышала эти глухие рыдания и с удивлением повернулась. Видя, что ее новый знакомый лежит лицом к земле и горько плачет, она почувствовала участие, тихо взошла на холмик и остановилась над плачущим.

— Послушай, — заговорила она тихо, — о чем ты плачешь? Ты, верно, думаешь, что я нажалуюсь? Ну, не плачь, я никому не скажу.

Слово участия и ласковый тон вызвали в мальчике еще большую нервную вспышку плача. Тогда девочка

присела около него на корточки; просидев так с полминуты, она тихо тронула его волосы, погладила его голову и затем, с мягкой настойчивостью матери, которая успокаивает наказанного ребенка, приподняла его голову и стала вытирать платком заплаканные глаза.

— Ну, ну, перестань же! — заговорила она тоном взрослой женщины. — Я давно не сержусь. Я вижу, ты жалеешь, что напугал меня...

— Я не хотел напугать тебя, — ответил он, глубоко вздыхая, чтобы подавить первые приступы.

— Хорошо, хорошо! Я не сержусь!.. Ты ведь больше не будешь. — Она приподняла его с земли и старалась усадить рядом с собою.

Он повиновался. Теперь он сидел, как прежде, лицом к стороне заката, и когда девочка опять взглянула на это лицо, освещенное красноватыми лучами, оно опять показалось ей странным. В глазах мальчика еще стояли слезы, но глаза эти были по-прежнему неподвижны; черты лица то и дело передергивались от нервных спазмов, но вместе с тем в них виднелось недетское, глубокое и тяжелое горе.

— А все-таки ты очень странный, — сказала она с задумчивым участием.

— Я не странный, — ответил мальчик с жалобною гримасой. — Нет, я не странный... Я... я — слепой!

— Слепо-ой? — протянула она нараспев, и голос ее дрогнул, как будто это грустное слово, тихо произнесенное мальчиком, нанесло неизгладимый удар в ее маленькое женственное сердце. — Слепо-ой? — повторила она еще более дрогнувшим голосом, и, как будто ища защиты от охватившего всю ее неодолимого чувства жалости, она вдруг обвила шею мальчика руками и прильнула к нему лицом.

Пораженная внезапною нечаянного открытия, маленькая женщина не удержалась на высоте своей солидности, и, превратившись вдруг в огорченного и беспомощного в своем огорчении ребенка, она, в свою очередь, горько и неутешно заплакала.

VI

Несколько минут прошло в молчании.

Девочка перестала плакать и только по временам еще всхлипывала, перемогаясь. Полными слез глазами она смотрела, как солнце, будто вращаясь в раскаленной ат-

мосфере заката, погружалось за темную черту горизонта. Мелькнул еще раз золотой обрез огненного шара, потом брызнули две-три горячие искры, и темные очертания дальнего леса всплыли вдруг непрерывной синеватою чертой.

С реки потянуло прохладой, и тихий мир наступающего вечера отразился на лице слепого; он сидел с опущенною головой, видимо удивленный этим выражением горячего сочувствия.

— Мне жалко... — все еще всхлипывая, вымолвила, наконец, девочка в объяснение своей слабости.

Потом, несколько овладев собой, она сделала попытку перевести разговор на посторонний предмет, к которому они оба могли отнестись равнодушно.

— Солнышко село, — произнесла она задумчиво.

— Я не знаю, какое оно, — был печальный ответ. — Я его только... чувствую...

— Не знаешь солнышка?

— Да.

— А... а свою маму... тоже не знаешь?

— Мать знаю. Я всегда издалека узнаю ее походку.

— Да, да, это правда. И я с закрытыми глазами узнаю свою мать.

Разговор принял более спокойный характер.

— Знаешь, — заговорил слепой с некоторым оживлением, — я ведь чувствую солнце и знаю, когда оно закатилось.

— Почему ты знаешь?

— Потому что... видишь ли... Я сам не знаю почему...

— А-а! — протянула девочка, по-видимому совершенно удовлетворенная этим ответом, и они оба помолчали.

— Я могу читать, — первый заговорил опять Петрусь, — и скоро выучусь писать пером.

— А как же ты?.. — начала было она и вдруг застенчиво смолкла, не желая продолжать щекотливого вопроса. Но он ее понял.

— Я читаю в своей книжке, — пояснил он, — пальцами.

— Пальцами? Я бы никогда не выучилась читать пальцами... Я и глазами плохо читаю. Отец говорит, что женщины плохо понимают науку.

— А я могу читать даже по-французски.

— По-французски!.. И пальцами... какой ты ум-

ный! — искренно восхитилась она. — Однако я боюсь, как бы ты не простудился. Вон над рекой какой туман.

— А ты сама?

— Я не боюсь; что мне сделается.

— Ну, и я не боюсь. Разве может быть, чтобы мужчина простудился скорее женщины? Дядя Максим говорит, что мужчина не должен ничего бояться: ни холода, ни грома, ни тучи.

— Максим?.. Это который на костылях?.. Я его видела. Он страшный!

— Нет, он нисколько не страшный. Он добрый.

— Нет, страшный! — убежденно повторила она. — Ты не знаешь, потому что не видал его.

— Как же я его не знаю, когда он меня всему учит.

— Бьет?

— Никогда не бьет и не кричит на меня... Никогда...

— Это хорошо. Разве можно бить слепого мальчика? Это было бы грешно.

— Да ведь он и никого не бьет, — сказал Петрусь несколько рассеянно, так как его чуткое ухо слышало шаги Иохима.

Действительно, рослая фигура хохла зарисовалась через минуту на холмистом гребне, отделявшем усадьбу от берега, и его голос далеко раскатился в тишине вечера:

— Па-ны-чу-у-у!

— Тебя зовут, — сказала девочка, поднимаясь.

— Да. Но мне не хотелось бы идти.

— Иди, иди! Я к тебе завтра приду. Теперь тебя ждут и меня тоже.

VII

Девочка точно исполнила свое обещание и даже раньше, чем Петрусь мог на это рассчитывать. На следующий же день, сидя в своей комнате за обычным уроком с Максимом, он вдруг поднял голову, прислушался и сказал с оживлением:

— Отпусти меня на минуту. Там пришла девочка.

— Какая еще девочка? — удивился Максим и пошел вслед за мальчиком к выходной двери.

Действительно, вчерашняя знакомка Петруся в эту самую минуту вошла в ворота усадьбы и, увидя прохо-

дившую по двору Анну Михайловну, свободно направилась прямо к ней.

— Что тебе, милая девочка, нужно? — спросила та, думая, что ее прислали по делу.

Маленькая женщина солидно протянула ей руку и спросила:

— Это у вас есть слепой мальчик?.. Да?

— У меня, милая, да, у меня, — ответила пани Попельская, любуясь ее ясными глазами и свободой ее обращения.

— Вот, видите ли... Моя мама отпустила меня к нему. Могу я его видеть?

Но в эту минуту Петрусь сам подбежал к ней, а на крыльце показалась фигура Максима.

— Это вчерашняя девочка, мама! Я тебе говорил, — сказал мальчик, здороваясь. — Только у меня теперь урок.

— Ну, на этот раз дядя Максим отпустит тебя, — сказала Анна Михайловна, — я у него попрошу.

Между тем крохотная женщина, чувствовавшая себя, по-видимому, совсем как дома, отправилась навстречу подходившему к ним на своих костылях Максиму и, протянув ему руку, сказала тоном снисходительного одобрения:

— Это хорошо, что вы не бьете слепого мальчика. Он мне говорил.

— Неужели, сударыня? — спросил Максим с комической важностью, принимая в свою широкую руку маленькую ручку девочки. — Как я благодарен моему питомцу, что он сумел расположить в мою пользу такую прелестную особу.

И Максим рассмеялся, поглаживая ее руку, которую держал в своей. Между тем девочка продолжала смотреть на него своим открытым взглядом, сразу завоевавшим его женоненавистническое сердце.

— Смотри-ка, Аннуся, — обратился он к сестре с странною улыбкой, — наш Петр начинает заводить самостоятельные знакомства. И ведь согласись, Аня... несмотря на то, что он слеп, он все же сумел сделать недурной выбор, не правда ли?

— Что ты хочешь этим сказать, Макс? — спросила молодая женщина строго, и горячая краска залила все ее лицо.

— Шучу! — ответил брат лаконически, видя, что своей шуткой он тронул больную струну, вскрыл тай-

ную мысль, зашевелившуюся в предусмотрительном материнском сердце.

Анна Михайловна еще более покраснела и, быстро наклонившись, с порывом страстной нежности обняла девочку; последняя приняла неожиданно бурную ласку все с тем же ясным, хотя и несколько удивленным взглядом.

VIII

С этого дня между поссessorским домиком и усадьбой Попельских завязались ближайшие отношения. Девочка, которую звали Эвелиной, приходила ежедневно в усадьбу, а через некоторое время она тоже поступила ученицей к Максиму. Сначала этот план совместного обучения не очень понравился пану Яскульскому. Во-первых, он полагал, что если женщина умеет записать белье и вести домашнюю расходную книгу, то этого совершенно достаточно; во-вторых, он был добрый католик и считал, что Максиму не следовало воевать с австрийцами, вопреки ясно выраженной воле «отца папежа»¹. Наконец его твердое убеждение состояло в том, что на небе есть бог, а Вольтер и вольтерняицы кипят в адской смоле, каковая судьба, по мнению многих, была уготована и пану Максиму. Однако при ближайшем знакомстве он должен был сознаться, что этот еретик и забияка — человек очень приятного нрава и большого ума, и вследствие этого поссessor пошел на компромисс.

Тем не менее некоторое беспокойство шевелилось в глубине души старого шляхтича, и потому, приведя девочку для первого урока, он счел уместным обратиться к ней с торжественною и напыщенною речью, которая, впрочем, больше назначалась для слуха Максима.

— Вот что, Веля... — сказал он, взяв дочь за плечо и поглядывая на ее будущего учителя. — Помни всегда, что на небе есть бог, а в Риме святой его «папеж». Это тебе говорю я, Валентин Яскульский, и ты должна мне верить потому, что я твой отец, — это *primo*.

При этом последовал новый внушительный взгляд в сторону Максима; пан Яскульский подчеркивал свою латынь, давая понять, что и он не чужд науке и в случае чего его провести трудно.

¹ Римского папы (польск.).

— Secundo, я — шляхтич славного герба, в котором вместе с «копной и вороной» недаром обозначается крест в синем поле. Яскульские, будучи хорошими рыцарями, не раз меняли мечи на трезники и всегда смыслили кое-что в делах пеба, поэтому ты должна мне верить. Ну, а в остальном, что касается orbis terrarum, то есть всего земного, слушай, что тебе скажет пан Максим Яценко, и учись хорошо.

— Не бойтесь, пан Валептин, — улыбаясь, ответил на эту речь Максим, — мы не вербуем папенок для отряда Гарибальди.

IX

Совместное обучение оказалось очень полезным для обоих. Петрусь шел, конечно, впереди, но это не исключало некоторого соревнования. Кроме того, он помогал ей часто выучивать уроки, а она находила иногда очень удачные приемы, чтобы объяснить мальчику что-либо трудно понятное для него, слепого. Кроме того, ее общество вносило в его занятия нечто своеобразное, придавало его умственной работе особый тон приятного возбуждения.

Вообще эта дружба была постоянным даром благосклонной судьбы. Теперь мальчик не искал уже полного уединения; он нашел то общение, которого не могла ему дать любовь взрослых, и в минуту чуткого душевного затишья ему приятна была ее близость. На утес или на реку они всегда отправлялись вдвоем. Когда он играл, она слушала его с наивным восхищением. Когда же он откладывал дудку, она начинала передавать ему свои детски-живые впечатления от окружающей природы; конечно, она не умела выражать их с достаточной полнотой подходящими словами, но зато в ее несложных рассказах, в их тоне он улавливал характерный колорит каждого описываемого явления. Так, когда она говорила, например, о темноте раскинувшейся над землею сырой и черной ночи, он будто слышал эту темноту в сдержанно звучащих тонах ее робеющего голоса. Когда же, подняв кверху задумчивое лицо, она сообщала ему: «Ах, какая туча идет, какая туча темная-претемная!» — он ощущал сразу будто холодное дуновение и слышал в ее голосе пугающий шорох ползущего по небу, где-то в далекой высоте, чудовища.

I

Есть натуры, будто заранее предназначенные для тихого подвига любви, соединенной с печалью и заботой,— натуры, для которых эти заботы о чужом горе составляют как бы атмосферу, органическую потребность. Природа заранее наделила их спокойствием, без которого немислим будничным подвиг жизни, она предусмотрительно смягчила в них личные порывы, запросы личной жизни, подчинив эти порывы и эти запросы господствующей черте характера. Такие натуры кажутся нередко слишком холодными, слишком рассудительными, лишенными чувства. Они глухи на страстные призывы грешной жизни и идут по грустному пути долга так же спокойно, как и по пути самого яркого личного счастья. Они кажутся холодными, как снежные вершины, и так же, как они, величавы. Житейская пошлость стелется у их ног; даже клевета и сплетни скатываются по их белоснежной одежде, точно грязные брызги с крыльев лебедя...

Маленькая знакомка Петра представляла в себе все черты этого типа, который редко вырабатывается жизнью и воспитанием; он, как талант, как гений, дается в удел избранным натурам и проявляется рано. Мать слепого мальчика понимая, какое счастье случай послал ее сыну в этой детской дружбе. Понимал это и старый Максим, которому казалось, что теперь у его питомца есть все, чего ему недоставало, что теперь душевное развитие слепого пойдет тихим и ровным, ничем не смущаемым ходом...

Но это была горькая ошибка.

II

В первые годы жизни ребенка Максим думал, что он совершенно овладел душевным ростом мальчика, что этот рост совершается если не под прямым его влиянием, то во всяком случае ни одна новая сторона его, ни одно новое приобретение в этой области не избегнет его наблюдения и контроля. Но когда настал в жизни ребенка период, который является переходною гранью между детством и отрочеством, Максим увидел, как неосновательны эти гордые педагогические мечтания. Чуть не каждая неде-

ля приносила с собой что-нибудь новое, по временам совершенно неожиданное по отношению к слепому, и когда Максим старался найти источники иной новой идеи или нового представления, появившихся у ребенка, то ему приходилось теряться. Какая-то неведомая сила работала в глубине детской души, выдвигая из этой глубины неожиданные проявления самостоятельного душевного роста, и Максиму приходилось останавливаться с чувством благоговения перед таинственными процессами жизни, которые вмешивались таким образом в его педагогическую работу. Эти толчки природы, ее даровые откровения, казалось, доставляли ребенку такие представления, которые не могли быть приобретены личным опытом слепого, и Максим угадывал здесь неразрывную связь жизненных явлений, которая проходит, дробясь в тысяче процессов, через последовательный ряд отдельных жизней.

Сначала это наблюдение испугало Максима. Видя, что, не он один владеет умственным строем ребенка, что в этом строе сказывается что-то, от него не зависящее и выходящее из-под его влияния, он испугался за участь своего питомца, испугался возможности таких запросов, которые могли бы послужить для слепого только причиной неутолимых страданий. И он пытался разыскать источники этих, откуда-то пробивающихся, родников, чтоб... навсегда закрыть их для блага слепого ребенка.

Не ускользнули эти неожиданные проблески и от внимания матери. Однажды утром Петрик прибежал к ней в необыкновенном волнении.

— Мама, мама! — закричал он. — Я *видел* сон.

— Что же ты *видел*, мой мальчик? — спросила она с печальным сомнением в голосе.

— Я видел во сне, что... я вижу тебя и Максима, и еще... что я все вижу... Так хорошо, так хорошо, мамочка!

— Что же еще ты видел, мой мальчик?

— Я не помню.

— А меня помнишь?

— Нет, — сказал мальчик в раздумье. — Я забыл все... А все-таки я видел, право же, видел... — добавил он после минутного молчания, и его лицо сразу омрачилось. На незрячих глазах блеснула слеза...

Это повторялось еще несколько раз, и всякий раз мальчик становился грустнее и тревожнее.

Однажды, проходя по двору, Максим услышал в гостиной, где обыкновенно происходили уроки музыки, какие-то странные музыкальные упражнения. Они состояли из двух нот. Сначала от быстрых, последовательных, почти слившихся ударов по клавише дрожала самая высокая яркая нота верхнего регистра, затем она резко сменялась низким раскатом баса. Полюбопытствовав узнать, что могли означать эти страшные экзерциции, Максим заковылял по двору и через минуту вошел в гостиную. В дверях он остановился, как вкопанный, перед неожиданною картиной.

Мальчик, которому шел уже десятый год, сидел у ног матери на низеньком стуле. Рядом с ним, вытянув шею и поводя по сторонам длинным клювом, стоял молодой прирученный аист, которого Иохим подарил паничу. Мальчик каждое утро кормил его из своих рук, и птица всюду сопровождала своего нового друга-хозяина. Теперь Петрусь придерживал аиста одною рукой, а другою тихо проводил вдоль его шеи и затем по туловищу с выражением усиленного внимания на лице. В это самое время мать, с пылающим, возбужденным лицом и печальными глазами, быстро ударяла пальцем по клавише, вызывая из инструмента непрерывно звеневшую высокую ноту. Вместе с тем, слегка перегнувшись на своем стуле, она с болезненной внимательностью вглядывалась в лицо ребенка. Когда же рука мальчика, скользя по ярко-белым перьям, доходила до того места, где эти перья резко сменяются черными на концах крыльев, Анна Михайловна сразу переносила руку на другую клавишу, и низкая басовая нота глухо раскатывалась по комнате.

Оба, и мать и сын, так были поглощены своим занятием, что не заметили прихода Максима, пока он в свою очередь, очнувшись от удивления, не прервал сеанс вопросом:

— Аннуса! что это значит?

Молодая женщина, встретив испытующий взгляд брата, застыдилась, точно застигнутая строгим учителем на месте преступления.

— Вот видишь ли, — заговорила она смущенно, — он говорит, что различает некоторую разницу в окраске аиста, только не может ясно понять, в чем эта разница...

Право, он сам первый заговорил об этом, и мне кажется, что это правда...

— Ну, так что же?

— Ничего, я только хотела ему... немножко... объяснить эту разницу различием звуков... Не сердись, Макс, по, право, я думаю, что это очень похоже...

Эта неожиданная идея поразила Максима таким удивлением, что он в первую минуту не знал, что сказать сестре. Он заставил ее повторить свои опыты и, присмотревшись к напряженному выражению лица слепого, покачал головой.

— Послушай меня, Анна, — сказал он, оставшись наедине с сестрою. — Не следует будить в мальчике вопросов, на которые ты никогда, никогда не в состоянии будешь дать полного ответа.

— Но ведь это он сам заговорил первый, право... — прервала Анна Михайловна.

— Все равно. Мальчику остается только привыкнуть со своей слепотой, а нам надо стремиться к тому, чтобы он забыл о свете. Я стараюсь, чтобы никакие внешние вызовы не паводили его на бесплодные вопросы, и если б удалось устранить эти вызовы, то мальчик не сознавал бы недостатка в своих чувствах, как и мы, обладающие всеми пятью органами, не грустим о том, что у нас нет шестого.

— Мы грустим, — тихо возразила молодая женщина.

— Аня!

— Мы грустим, — ответила она упрямо... — Мы часто грустим о невозможном...

Впрочем, сестра подчинилась доводам брата, но на этот раз он ошибался: заботясь об устранении внешних вызовов, Максим забывал те могучие побуждения, которые были заложены в детскую душу самую природою.

IV

«Глаза, — сказал кто-то, — зеркало души». Быть может, вернее было бы сравнить их с окнами, которыми вливаются в душу впечатления яркого, сверкающего цветного мира. Кто может сказать, какая часть нашего душевного склада зависит от ощущений света?

Человек — одно звено в бесконечной цепи жизней, которая тянется через него из глубины прошедшего к бесконечному будущему. И вот, в одном из таких зве-

ньев, слепом мальчике, роковая случайность закрыла эти окна: жизнь должна пройти вся в темноте. Но значит ли это, что в его душе порвались навеки те струны, которыми душа откликается на световые впечатления? Нет, и через это темное существование должна была протянуться и передаться последующим поколениям внутренняя восприимчивость к свету. Его душа была цельная человеческая душа, со всеми ее способностями, а так как всякая способность посит в самой себе стремление к удовлетворению, то и в темной душе мальчика жило неутолимое стремление к свету.

Нетронутыми лежали где-то в таинственной глубине полученные по наследству и дремавшие в неясном существовании «возможностей» силы, с первым светлым лучом готовые подняться ему навстречу. Но окна остаются закрытыми: судьба мальчика решена — ему не видать никогда этого луча, его жизнь вся пройдет в темноте!..

И темнота эта была полна призраков.

Если бы жизнь ребенка проходила среди нужды и горя — это, быть может, отвлекло бы его мысль к внешним причинам страдания. Но близкие люди устранили от него все, что могло бы его огорчать. Ему доставили полное спокойствие и мир, и теперь самая тишина, царившая в его душе, способствовала тому, что внутренняя неудовлетворенность слышалась яснее. Среди тишины и мрака, его окружавших, вставало смутное неумолкающее сознание какой-то потребности, искавшей удовлетворения, являлось стремление оформить дремлющие в душевной глубине, не находившие исхода, силы.

Отсюда — какие-то смутные предчувствия и порывы, вроде того стремления к полету, которое каждый испытывал в детстве и которое сказывается в этом возрасте своими чудными снами.

Отсюда наконец вытекали инстинктивные потуги детской мысли, отражавшиеся на лице болезненным вопросом. Эти наследственные, но не тронутые в личной жизни «возможности» световых представлений вставляли, точно призраки, в детской головке, бесформенные, неясные и темные, вызывая мучительные и смутные усилия.

Природа подымалась бессознательным протестом против индивидуального «случая» за нарушенный общий закон.

Таким образом, сколько бы ни старался Максим устранять все внешние вызовы, он никогда не мог уничтожить внутреннего давления неудовлетворенной потребности. Самое большее, что он мог достигнуть своею осмотрительностью, это — не будить ее раньше времени, не усиливать страданий слепого. В остальном тяжелая судьба ребенка должна была идти своим чередом, со всеми ее суровыми последствиями.

И она надвигалась темною тучей. Природная живость мальчика с годами все более и более исчезала, подобно убывающей волне, между тем как смутно, но непрерывно звучащее в душе его грустное настроение усиливалось, сказываясь на его темпераменте. Смех, который можно было слышать во время его детства при каждом особенно ярком новом впечатлении, теперь раздавался все реже и реже. Все смеющееся, веселое, отмеченное печатью юмора, было ему мало доступно; но зато все смутное, неопределенно-грустное и туманно-меланхолическое, что слышится в южной природе и отражается в народной песне, он улавливал с замечательною полнотой. Слезы являлись у него каждый раз на глазах, когда он слушал, как «в полі могила з вітром говорила», и он сам любил ходить в поле слушать этот говор. В нем все больше и больше вырабатывалась склонность к уединению, и, когда в часы, свободные от занятий, он уходил один на свою одинокую прогулку, домашние старались не ходить в ту сторону, чтобы не нарушить его уединения. Усевшись где-нибудь на кургане в степи, или на холмике над рекой, или, наконец, на хорошо знакомом утесе, он слушал лишь шелест листьев да шепот травы или неопределенные вздохи степного ветра. Все это особешным образом гармонировало с глубиной его душевного настроения. Насколько он мог понимать природу, тут он понимал ее вполне и до конца. Тут она не тревожила его никакими определенными и неразрешимыми вопросами; тут этот ветер вливался ему прямо в душу, а трава, казалось, шептала ему тихие слова сожаления, и, когда душа юноши, настроившись в лад с окружающею тихою гармонией, размягчалась от теплой ласки природы, он чувствовал, как что-то подымается в груди, прибывая и разливаясь по всему его существу. Он припадал тогда к сыроватой, прохладной траве и тихо плакал, но в этих слезах не было горечи. Иногда

же он брал дудку и совершенно забывался, подбирая задумчивые мелодии к своему настроению и в лад с тихою гармонией степи.

Понятно, что всякий человеческий звук, неожиданно врывающийся в это настроение, действовал на него болезненным, резким диссонансом. Общение в подобные минуты возможно только с очень близкою, дружескою душой, а у мальчика был только один такой друг его возраста, именно — белокурая девочка из поссессорской усадьбы...

И эта дружба крепла все больше, отличаясь полною взаимностью. Если Эвелина вносила в их взаимные отношения свое спокойствие, свою тихую радость, сообщала слепому новые оттенки окружающей жизни, то и он, в свою очередь, давал ей... свое горе. Казалось, первое знакомство с ним нанесло чуткому сердцу маленькой женщины кровавую рану: выньте из раны кинжал, нанесший удар, и она истечет кровью. Впервые познакомившись на холмике в степи со слепым мальчиком, маленькая женщина ощутила острое страдание сочувствия, и теперь его присутствие становилось для нее все более необходимым. В разлуке с ним рана будто раскрывалась вновь, боль оживала, и она стремилась к своему маленькому другу, чтобы неустанною заботой утолить свое собственное страдание.

VI

Однажды в теплый осенний вечер оба семейства сидели на площадке перед домом, любясь звездным небом, синевшим глубокою лазурью и горевшим огнями. Слепой, по обыкновению, сидел рядом с своею подругой около матери.

Все на минуту смолкли. Около усадьбы было совсем тихо; только листья по временам, чутко встрепенувшись, бормотали что-то невнятное и тотчас же смолкали.

В эту минуту блестящий метеор, сорвавшись откуда-то из глубины темной лазури, пронесся яркою полосой по небу, оставив за собой фосфорический след, угасший медленно и незаметно. Все подняли глаза. Мать, сидевшая об руку с Петриком, почувствовала, как он встрепенулся и вадрогнул.

— Что это... было? — повернулся он к ней взволнованным лицом.

— Это звезда упала, дитя мое.

— Да, звезда,— прибавил он задумчиво.— Я так и знал.

— Откуда же ты мог знать, мой мальчик? — переспросила мать с печальным сомнением в голосе.

— Нет, это он говорит правду,— вмешалась Эвелина.— Он многое знает... «так»...

Уже эта все развивавшаяся чуткость указывала, что мальчик заметно близится к критическому возрасту между отрочеством и юношеством. Но пока его рост совершался довольно спокойно. Казалось даже, будто он свыкся с своей долей, и странно-уравновешенная грусть без просвета, но и без острых порываний, которая стала обычным фоном его жизни, теперь несколько смягчилась. Но это был лишь период временного затишья. Эти роздыхи природа дает как будто нарочно; в них молодой организм устает и крепнет для новой бури. Во время этих затиший незаметно набираются и зреют новые вопросы. Один толчок — и все душевное спокойствие всколеблется до глубины, как море под ударом внезапно падетевшего шквала.

Глава пятая

I

Так прошло еще несколько лет.

Ничто не изменилось в тихой усадьбе. По-прежнему шумели буки в саду, только их листва будто потемнела, сделалась еще гуще; по-прежнему белели приветливые стены, только они чуть-чуть покривились и осели; по-прежнему хмурились соломенные стрехи, и даже свирель Иохима слышалась в те же часы из конюшни; только теперь уже и сам Иохим, остававшийся холостым конюхом в усадьбе, предпочитал слушать игру слепого панича на дудке или на фортепиано — безразлично.

Максим поседел еще больше. У Попельских не было других детей, и потому слепой первенец по-прежнему остался центром, около которого группировалась вся жизнь усадьбы. Для него усадьба замкнулась в своем тесном кругу, довольствуясь своею собственною тихою жизнью, к которой примыкала не менее тихая жизнь по-ссессорской «хатки». Таким образом, Петр, ставший уже

юношей, вырос, как тепличный цветок, огражденный от резких сторонних влияний далекой жизни.

Он, как и прежде, стоял в центре громадного темного мира. Над ним, вокруг него, всюду протянулась тьма, без конца и пределов: чуткая тонкая организация подымалась, как упруго натянутая струна, навстречу всякому впечатлению, готовая задрожать ответными звуками. В настроении слепого заметно сказывалось это чуткое ожидание; ему казалось, что вот-вот эта тьма протянется к нему своими невидимыми руками и тропет в нем что-то такое, что так томительно дремлет в душе и ждет пробуждения.

Но знакомая добрая и скучная тьма усадьбы шумела только ласковым шепотом старого сада, навевая смутную, баюкающую, успокоительную думу. О далекоем мире слепой знал только из песен, из истории, из книг. Под задумчивый шепот сада, среди тихих будней усадьбы, он узнавал лишь по рассказам о бурях и волнениях далекой жизни. И все это рисовалось ему сквозь какую-то волшебную дымку, как песня, как былина, как сказка.

Казалось, так было хорошо. Мать видела, что огражденная будто стеной душа ее сына дремлет в каком-то заколдованном полусне, искусственном, но спокойном. И она не хотела нарушать этого равновесия, боялась его нарушить.

Эвелина, выросшая и сложившаяся как-то совершенно незаметно, глядела на эту заколдованную тишь своими ясными глазами, в которых можно было по временам подметить что-то вроде недоумения, вопроса о будущем, но никогда не было и тени нетерпения. Попельский-отец привел имение в образцовый порядок, но до вопросов о будущем его сына доброму человеку, конечно, не было ни малейшего дела. Он привык, что все делается само собой. Один только Максим по своей натуре с трудом выносил эту тишь, и то как нечто временное, входившее поневоле в его планы. Он считал необходимым дать душе юноши устояться, окрепнуть, чтобы быть в состоянии встретить резкое прикосновение жизни.

Между тем там, за чертой этого заколдованного круга, жизнь кипела, волновалась, бурлила. И вот наконец наступило время, когда старый наставник решился разорвать этот круг, отворить дверь теплицы, чтобы в нее могла ворваться свежая струя наружного воздуха.

Для первого случая он пригласил к себе старого товарища, который жил верстах в семидесяти от усадьбы Попельских. Максим иногда бывал у него и прежде, но теперь он знал, что у Ставрученки гостит приезжая молодежь, и написал ему письмо, приглашая всю компанию. Приглашение это было охотно принято. Старики были связаны давнею дружбой, а молодежь помнила довольно громкое некогда имя Максима Яценка, с которым связывались известные традиции. Один из сыновей Ставрученка был студент Киевского университета по модному тогда филологическому факультету. Другой изучал музыку в Петербургской консерватории. С ними приехал еще юный кадет, сын одного из ближайших помещиков.

Ставрученко был крепкий старик, седой, с длинными казацкими усами и в широких казацких шароварах. Он носил кисет с табаком и трубку привязанными у пояса, говорил не иначе, как по-малорусски, и рядом с двумя сыновьями, одетыми в белые свитки и расшитые малороссийские сорочки, очень напоминал гоголевского Бульбу с сыновьями. Однако в нем не было и следов романтизма, отличавшего гоголевского героя. Наоборот, он был отличный практик-помещик, всю жизнь превосходно ладивший с крепостными отношениями, а теперь, когда эта «неволя» была уничтожена, сумевший хорошо приноровиться и к новым условиям. Он знал народ, как знали его помещики, то есть он знал каждого мужика своей деревни и у каждого мужика знал каждую корову и чуть не каждый лишний карбованец в мужицкой мошне.

Зато, если он и не дрался с своими сыновьями на кулачки, как Бульба, то все же между ними происходили постоянные и очень свирепые стычки, которые не ограничивались ни временем, ни местом. Всюду, дома и в гостях, по самому ничтожному поводу между стариком и молодежью вспыхивали нескончаемые споры. Началось обыкновенно с того, что старик, посмеиваясь, дразнил «идеальных паничей»; те горячились, старик тоже разгорячался, и тогда подымался самый невообразимый галдеж, в котором обеим сторонам доставалось не на шутку.

Это было отражение известной розни «отцов и детей»; только здесь это явление сказывалось в значи-

тельно смягченной форме. Молодежь, с детства отдавая в школы, деревню видела только в короткое каникулярное время, и потому у ней не было того конкретного знания народа, каким отличались отцы-помещики. Когда поднялась в обществе волна «народолюбия», заставшая юношей в высших классах гимназии, они обратились к изучению родного народа, но начали это изучение с книжек. Второй шаг привел их к непосредственному изучению проявлений «народного духа» в его творчестве. Хождение в народ паничей в белых свитках и расшитых сорочках было тогда сильно распространено в юго-западном крае. На изучение экономических условий не обращалось особенного внимания. Молодые люди записывали слова и музыку народных думок и песен, изучали предания, сверяли исторические факты с их отражением в народной памяти, вообще смотрели на мужика сквозь поэтическую призму национального романтизма. От этого, пожалуй, непрочь были и старики, но все же они никогда не могли договориться с молодежью до какого-либо соглашения.

— Вот, послушай ты его, — говорил Ставрченко Максиму, лукаво подталкивая его локтем, когда студент ораторствовал с раскрасневшимся лицом и сверкающими глазами. — Вот, собачий сын, говорит, как пишет!.. Подумаешь, и в самом деле голова! А расскажи ты нам, ученый человек, как тебя мой Нечипор надул, а?

Старик поводил усами и хохотал, рассказывая с чисто хохлацким юмором соответствующий случай. Юноши краснели, но в свою очередь не оставались в долгу. «Если они не знают Нечипора и Хведька из такой-то деревни, зато они изучают весь народ в его общих проявлениях; они смотрят с высшей точки зрения, при которой только и возможны выводы и широкие обобщения. Они обнимают одним взглядом далекие перспективы, тогда как старые и заматерелые в рутине практики из-за деревьев не видят всего леса».

Старику не было неприятно слушать мудреные речи сыновей.

— Так и видно, что недаром в школе учились, — говорил он, самодовольно поглядывая на слушателей. — А все же, я вам скажу, мой Хведько вас обоих и введет, и выведет, как телят на веревочке, вот что!.. Ну, а я и сам его, шельму, в свой кисет уложу и в карман спрячу. Вот и значит, что вы передо мною все равно, что щепята перед старым псом.

В данную минуту один из подобных споров только что затих. Старшее поколение удалилось в дом, и сквозь открытые окна слышно было по временам, как Ставрученко с торжеством рассказывал разные комические эпизоды, и слушатели весело хохотали.

Молодые люди оставались в саду. Студент, подостлав под себя свитку и заломив смушковую шапку, разлегся на траве с несколько тенденциозною непринужденностью. Его старший брат сидел на завалинке рядом с Эвелиной. Кадет в аккуратно застегнутом мундире помещался с ним рядом, а несколько в стороне, опершись на подоконник, сидел, опустив голову, слепой; он обдумывал только что смолкшие и глубоко взволновавшие его споры.

— Что вы думаете обо всем, что здесь говорилось, панна Эвелина? — обратился к своей соседке молодой Ставрученко. — Вы, кажется, не проронили ни одного слова.

— Все это очень хорошо, то есть то, что вы говорили отцу. Но...

— Но... что же?

Девушка ответила не сразу. Она положила к себе на колени свою работу, разгладила ее руками и, слегка наклонив голову, стала рассматривать ее с задумчивым видом. Трудно было разобрать, думала ли она о том, что ей следовало взять для вышивки канву покрупнее, или же обдумывала свой ответ.

Между тем молодые люди с нетерпением ждали этого ответа. Студент приподнялся на локте и повернул к девушке лицо, оживленное любопытством. Ее сосед устался на нее спокойным, пытливым взглядом. Слепой переменил свою непринужденную позу, выпрямился и потом вытянул голову, отвернувшись лицом от остальных собеседников.

— Но,— проговорила она тихо, все продолжая разглаживать рукой свою вышивку,— у всякого человека, господа, своя дорога в жизни.

— Господи! — резко воскликнул студент,— какое благоразумие! Да вам, моя панночка, сколько лет, в самом деле?

— Семнадцать,— ответила Эвелина просто, но тотчас же прибавила с наивно-торжествующим любопыт-

ством: — А ведь вы думали, гораздо больше, не правда ли?

Молодые люди засмеялись.

— Если бы меня спросили мнение насчет вашего возраста, — сказал ее сосед, — я сильно колебался бы между тринадцатью и двадцатью тремя. Правда иногда вы кажетесь совсем-таки ребенком, а рассуждаете порой, как опытная старушка.

— В серьезных делах, Гаврило Петрович, нужно и рассуждать серьезно, — произнесла маленькая женщина докторальным тоном, опять принимаясь за работу.

Все на минуту смолкли. Иголка Эвелины опять мерно заходила по вышивке, а молодые люди оглядывали с любопытством миниатюрную фигуру благоразумной особы.

IV

Эвелина, конечно, значительно выросла и развилась со времени первой встречи с Петром, но замечание студента насчет ее вида было совершенно справедливо. При первом взгляде на это небольшое, худощавое создание казалось, что это еще девочка, но в ее неторопливых, размеренных движениях сказывалась передко солидность женщины. То же впечатление производило и ее лицо. Такие лица бывают, кажется, только у славянок. Правильные красивые черты зарисованы плавными, холодными линиями; голубые глаза глядят ровно, спокойно; румянец редко является на этих бледных щеках, но это не та обычная бледность, которая ежеминутно готова вспыхнуть пламенем жгучей страсти; это скорее холодная белизна снега. Прямые светлые волосы Эвелины чуть-чуть оттенялись на мраморных висках и спадали тяжелой косой, как будто оттягивавшей назад ее голову при походке.

Слепой тоже вырос и возмужал. Всякому, кто посмотрел бы на него в ту минуту, когда он сидел поодаль от описанной группы, бледный, взволнованный и красивый, сразу бросилось бы в глаза это своеобразное лицо, на котором так резко отражалось всякое душевное движение. Черные волосы красивою волной склонялись над выпуклым лбом, по которому проšli ранние морщинки. На щеках быстро вспыхивал густой румянец, и так же быстро разливалась матовая бледность. Нижняя губа, чуть-чуть оттянутая углами вниз, по временам как-то

напряженно вздрагивала, брови чутко пастораживались и шевелились, а большие красивые глаза, глядевшие ровным и неподвижным взглядом, придавали лицу молодого человека какой-то не совсем обычный мрачный оттенок.

— Итак,— насмешливо заговорил студент после некоторого молчания,— панна Эвелина полагает, что все, о чем мы говорили, недоступно женскому уму, что удел женщины — узкая сфера детской и кухни.

В голосе молодого человека слышалось самодовольство (тогда эти словечки были совсем повенькие) и вызывающая ирония; на несколько секунд все смолкли, и на лице девушки проступил нервный румянец.

— Вы слишком торопитесь со своими заключениями,— сказала она.— Я понимаю все, о чем здесь говорилось,— значит, женскому уму это доступно. Я говорила только о себе лично.

Она смолкла и наклонилась над шитьем с таким вниманием к работе, что у молодого человека не хватило решимости продолжать дальнейший вопрос.

— Странно,— пробормотал он.— Можно подумать, что вы распланировали уже свою жизнь до самой могилы.

— Что же тут странного, Гаврило Петрович? — тихо возразила девушка.— Я думаю, даже Илья Иванович (имя кадета) наметил уже свою дорогу, а ведь он моложе меня.

— Это правда,— сказал кадет, довольный этим вызовом.— Я недавно читал биографию N. N. Он тоже поступал по ясному плану: в двадцать лет женился, а в тридцать пять командовал частью.

Студент ехидно засмеялся, девушка слегка покраснела.

— Ну, вот видите,— сказала она через минуту с какою-то холодною резкостью в голосе,— у всякого своя дорога.

Никто не возражал больше. Среди молодой компании водворилась серьезная тишина, под которою чувствуется так ясно недоумелый испуг: все смутно поняли, что разговор перешел на деликатную личную почву, что под простыми словами зазвучала где-то чутко натянутая струна...

И среди этого молчания слышался только шорох темнеющего и будто чем-то недовольного старого сада.

Все эти беседы, эти споры, эта волпа кипучих молодых запросов, надежд, ожиданий и мнений — все это нахлынуло на слепого неожиданно и бурно. Сначала он прислушивался к ним с выражением восторженного изумления, но вскоре он не мог не заметить, что эта живая волна катится мимо него, что ей до него нет дела. К нему не обращались с вопросами, у него не спрашивали мнений, и скоро оказалось, что он стоит особняком, в каком-то грустном уединении, тем более грустном, чем шумнее была теперь жизнь усадьбы.

Тем не менее он продолжал прислушиваться ко всему, что для него было так ново, и его крепко сдвинутые брови, побледневшее лицо выказывали усиленное внимание. Но это внимание было мрачно, под ним таилась тяжелая и горькая работа мысли.

Мать смотрела на сына с печалью в глазах. Глаза Эвелины выражали сочувствие и беспокойство. Одип Максим будто не замечал, какое действие производит шумное общество на слепого, и радушно приглашал гостей наведываться почаще в усадьбу, обещая молодым людям обильный этнографический материал к следующему приезду.

Гости обещали вернуться и уехали. Прощаясь, молодые люди радушно пожимали руки Петра. Он порывисто отвечал на эти пожатия и долго прислушивался, как стучали по дороге колеса их брички. Затем он быстро повернулся и ушел в сад.

С отъездом гостей в усадьбе все стихло, но эта тишина показалась слепому какою-то особенной, необычной и странной. В ней слышалось как будто признание, что здесь произошло что-то особенно важное. В смолкших аллеях, отзывавшихся только шепотом буков и сирени, слепому чужались отголоски недавних разговоров. Он слышал также в открытое окно, как мать и Эвелина о чем-то спорили с Максимом в гостиной. В голосе матери он заметил мольбу и страдание, голос Эвелины звучал негодованием, а Максим, казалось, страстно, но твердо отражал нападение женщин. С приближением Петра эти разговоры мгновенно смолкали.

Максим сознательно беспощадною рукой пробил первую брешь в стене, окружавшей до сих пор мир слепого. Гулкая беспокойная первая волна уже хлынула в про-

лом, и душевное равновесие юноши дрогнуло под этим первым ударом.

Теперь ему казалось уже тесно в его заколдованном круге. Его тяготила спокойная тишь усадьбы, ленивый шепот и шорох старого сада, однообразие юного душевного сна. Тьма заговорила с ним своими новыми обольстительными голосами, заколыхалась новыми смутными образами, теснясь с тоскливою суетой заманчивого оживления.

Она звала его, манила, будила дремавшие в душе запросы, и уже эти первые призывы сказались в его лице бледностью, а в душе — тупым, хотя еще смутным страданием.

От женщин не ускользнули эти тревожные признаки. Мы, зрячие, видим отражение душевных движений на чужих лицах и потому приучаемся скрывать свои собственные. Слепые в этом отношении совершенно беззащитны, и потому на ~~побледневшем~~ лице Петра можно было читать, как в интимном дневнике, оставленном открытым в гостиной... На нем была написана мучительная тревога. Женщины видели, что Максим тоже замечает все это, но это входит в какие-то планы старика. Обе они считали это жестокостью, и мать хотела бы своими руками оградить сына. «Теплица? — что ж такое, если ее ребенку до сих пор было хорошо в теплице? Пусть будет так и дальше, навсегда... Спокойно, тихо, невозмутимо...» Эвелина не высказывала, по-видимому, всего, что было у нее на душе, но с некоторых пор она переменялась к Максиму и стала возражать против некоторых, иногда совсем незначительных, его предложений с небывалою резкостью.

Старик смотрел на нее из-под бровей пытливыми глазами, которые встречались порой с гневным, сверкающим взглядом молодой девушки. Максим покачивал головой, бормотал что-то и окружал себя особенно густыми клубами дыма, что было признаком усиленной работы мысли; но он твердо стоял на своем и порой, ни к кому не обращаясь, отпускал презрительные сентенции насчет неразумной женской любви и короткого бабьего ума, который, как известно, гораздо короче волоса; поэтому женщина не может видеть дальше минутного страдания и минутной радости. Он мечтал для Петра не о спокойствии, а о возможной полноте жизни. Говорят, всякий воспитатель стремится сделать из питомца свое подобие. Максим мечтал о том, что пережил сам и чего

так рано лишился: о кипучих кризисах и о борьбе. В какой форме. — он не знал и сам, но упорно стремился расширить для Петра круг живых внешних впечатлений, доступных слепому, рискуя даже потрясениями и душевными переворотами. Он чувствовал, что обе женщины хотят совсем другого...

— Наседка! — говорил он иногда сестре, сердито стуча по компате своими костылями... Но он сердился редко; большею же частью на доводы сестры он возражал мягко и с снисходительным сожалением, тем более что она каждый раз уступала в споре, когда оставалась наедине с братом; это, впрочем, не мешало ей вскоре опять возобновлять разговор. Но когда при этом присутствовала Эвелина, дело становилось серьезнее; в этих случаях старик предпочитал отмалчиваться. Казалось, между ним и молодою девушкой завязывалась какая-то борьба, и оба они еще только изучали противника, тщательно скрывая свои карты.

VI

Когда через две недели молодые люди опять вернулись вместе с отцом, Эвелина встретила их с холодной сдержанностью. Однако ей было трудно устоять против обаятельного молодого оживления. Целые дни молодежь шаталась по деревне, охотилась, записывала в полях песни жниц и жнецов, а вечером вся компания собиралась на заваulinке усадьбы, в саду.

В один из таких вечеров Эвелина не успела спохватиться, как разговор опять перешел на щекотливые темы. Как это случилось, кто начал первый, — ни она, да и никто не мог бы сказать. Это вышло так же незаметно, как незаметно потухла заря и по саду расползлись вечерние тепы, как незаметно завел соловей в кустах свою вечернюю песню.

Студент говорил пылко, с тою особенною юношескою страстью, которая кидается навстречу неизвестному будущему безрасчетно и безрассудно. Была в этой вере в будущее с его чудесами какая-то особенная чарующая сила, почти неодолимая сила привычки...

Молодая девушка вспыхнула, поняв, что этот вызов, быть может без сознательного расчета, был обращен теперь прямо к ней.

Она слушала, низко наклонясь над работой. Ее глаза заискрились, щеки загорелись румянцем, сердце стучало... Потом блеск глаз потух, губы сжались, а сердце застучало еще сильнее, и на побледневшем лице появилось выражение испуга.

Она испугалась оттого, что перед ее глазами будто раздвинулась темная стена, и в этот просвет блеснули далекие перспективы обширного, кипучего и деятельного мира.

Да, он манит ее уже давно. Она не признавала этого ранее, но в тени старого сада, на уединенной скамейке, она нередко просиживала целые часы, отдаваясь небывалым мечтам. Воображение рисовало ей яркие далекие картины, и в них не было места слепому...

Теперь этот мир приблизился к ней; он не только манит ее, он предъявляет на нее какое-то право.

Она кинула быстрый взгляд в сторону Петра, и что-то кольнуло ей сердце. Он сидел неподвижный, задумчивый; вся его фигура казалась отяжелевшей и осталась в ее памяти мрачным пятном. «Он понимает... все», — мелькнула у нее мысль, быстрая, как молния, и девушка почувствовала какой-то холод. Кровь отлила к сердцу, а на лице она сама ощутила внезапную бледность. Ей представилось на мгновение, что она уже там, в этом далеком мире, а он сидит вот здесь один, с опущенною головой, или нет... Он там, на холмике, над речкой, этот слепой мальчик, над которым она плакала в тот вечер...

И ей стало страшно. Ей показалось, что кто-то готовится вынуть нож из ее давнишней раны.

Она вспомнила долгие взгляды Максима. Так вот что значили эти молчаливые взгляды! Он лучше ее самой знал ее настроение, он угадал, что в ее сердце возможна еще борьба и выбор, что она в себе не уверена... Но нет, он ошибается! Она знает свой первый шаг, а там она посмотрит, что можно будет взять у жизни еще...

Она вздохнула трудно и тяжело, как бы переводя дыхание после тяжелой работы, и оглянулась кругом. Она не могла бы сказать, долго ли длилось молчание, давно ли смолк студент, говорил ли он еще что-нибудь... Она посмотрела туда, где за минуту сидел Петр...

Его не было на прежнем месте.

Тогда, спокойно сложив работу, она тоже поднялась.

— Извините, господа,— сказала она, обращаясь к гостям.— Я вас на время оставляю одних.

И она пошла вдоль темной аллеи.

Этот вечер был исполнен тревоги не для одной Эвелины. На повороте аллеи, где стояла скамейка, девушка услышала взволнованные голоса. Максим разговаривал с сестрой.

— Да, о ней я думал в этом случае не менее, чем о нем,— говорил старик сурово.— Подумай, ведь она еще ребенок, не знающий жизни! Я не хочу верить, что ты желала бы воспользоваться неведением ребенка.

В голосе Анны Михайловны, когда она ответила, слышались слезы.

— А что же, Макс, если... если она... Что же будет тогда с моим мальчиком?

— Будь что будет! — твердо и угрюмо ответил старый солдат.— Тогда посмотрим; во всяком случае на нем не должно тяготеть сознание чужой испорченной жизни... Да и на нашей совести тоже... Подумай об этом, Аня,— добавил он мягче.

Старик взял руку сестры и нежно поцеловал ее. Анна Михайловна склонила голову.

— Мой бедный мальчик, бедный... Лучше бы ему никогда не встречаться с нею...

Девушка скорее угадала эти слова, чем расслышала: так тихо вырвался этот стон из уст матери.

Краска залила лицо Эвелины. Она невольно остановилась на повороте аллеи... Теперь, когда она выйдет, оба они увидят, что она подслушала их тайные мысли...

Но через несколько мгновений она гордо подняла голову. Она не хотела подслушивать, и, во всяком случае, не ложный стыд может остановить ее на ее дороге. К тому же этот старик берет на себя слишком много. Она сама сумеет распорядиться своею жизнью.

Она вышла из-за поворота дорожки и прошла мимо обоих говоривших спокойно и с высоко поднятою головой. Максим с невольной торопливостью подобрал свой костыль, чтобы дать ей дорогу, а Анна Михайловна посмотрела на нее с каким-то подавленным выражением любви, почти обожания и страха.

Мать будто чувствовала, что эта гордая и белокурая девушка, которая только что прошла с таким гневно вызывающим видом, пронесла с собою счастье или несчастье всей жизни ее ребенка.

VIII

В дальнем конце сада стояла старая заброшенная мельница. Колеса давно уже не вертелись, валы обросли мхом, и сквозь старые щелюзы просачивалась вода несколькими тонкими, неумолчно звеневшими струйками. Это было любимое место слепого. Здесь он просиживал целые часы на парапете плотины, прислушиваясь к говору сочившейся воды, и умел прекрасно передавать на фортепиано этот говор. Но теперь ему было не до того... Теперь он быстро ходил по дорожке с переполненным горечью сердцем, с искаженным от внутренней боли лицом.

Заслышав легкие шаги девушки, он остановился; Эвелина положила ему на плечо руку и спросила серьезно:

— Скажи мне, Петр, что это с тобой? Отчего ты такой грустный?

Быстро повернувшись, он опять зашагал по дорожке. Девушка пошла с ним рядом.

Она поняла его резкое движение и его молчание и на минуту опустила голову. От усадьбы слышалась песня:

З за крутої горы
Вылітали орлы,
Вылітали, гуркотали,
Роскоши шукалы...

Смягченный расстоянием, молодой, сильный голос пел о любви, о счастье, о просторе, и эти звуки неслись в тишине ночи, покрывая ленивый шопот сада...

Там были счастливые люди, которые говорили об яркой и полной жизни; она еще несколько минут назад была с ними, опьяненная мечтами об этой жизни, в которой ему не было места. Она даже не заметила его ухода, а кто знает, какими долгими показались ему эти минуты одинокого горя...

Эти мысли прошли в голове молодой девушки, пока она ходила рядом с Петром по аллее. Никогда еще не было так трудно заговорить с ним, овладеть его настроением. Однако она чувствовала, что ее присутствие понемногу смягчает его мрачное раздумье.

Действительно, его походка стала тише, лицо спокойнее. Он слышал рядом ее шаги, и понемногу острая душевная боль стихала, уступая место другому чувству. Он не отдавал себе отчета в этом чувстве, но оно было ему знакомо, и он легко подчинялся его благотворному влиянию.

— Что с тобой? — повторила она свой вопрос.

— Ничего особенного, — ответил он с горечью. — Мне только кажется, что я совсем лишний на свете.

Песня около дома на время смолкла, и через минуту послышалась другая. Она доносилась чуть слышно; теперь студент пел старую «думу», подражая тихому напеву бандуристов. Иногда голос, казалось, совсем смолкал, воображением овладевала смутная мечта, и затем тихая мелодия опять пробивалась сквозь шорох листьев...

Петр невольно остановился, прислушиваясь.

— Знаешь, — заговорил он грустно, — мне кажется иногда, что старики правы, когда говорят, что на свете становится с годами все хуже. В старые годы было лучше даже слепым. Вместо фортепиано тогда бы я учился играть на бандуре и ходил бы по городам и селам... Ко мне собирались бы толпы людей, и я пел бы им о делах их отцов, о подвигах и славе. Тогда и я был бы чем-нибудь в жизни. А теперь? Даже этот кадетик с таким резким голосом, и тот, — ты слышала? — говорит: жениться и командовать частью. Над ним смеялись, а я... а мне даже и это недоступно.

Голубые глаза девушки широко открылись от испуга, и в них сверкнула слеза.

— Это ты наслушался речей молодого Ставрученка, — сказала она в смущении, стараясь придать голосу тон беззаботной шутки.

— Да, — задумчиво ответил Петр и прибавил: — У него очень приятный голос. Красив он?

— Да, он хороший, — задумчиво подтвердила Эвелина, но вдруг, как-то гневно спохватившись, прибавила резко: — Нет, он мне вовсе не нравится! Он слишком самоуверен, и голос у него неприятный и резкий.

Петр выслушал с удивлением эту гневную вспышку. Девушка топнула ногой и продолжала:

— И все это глупости! Это все, я знаю, подстраивает Максим. О, как я ненавижу теперь этого Максима.

— Что ты это, Веля? — спросил удивленно слепой. — Что подстраивает?

— Ненавижу, ненавижу Максима! — упрямо повторяла девушка. — Он со своими расчетами истребил в себе всякие признаки сердца... Не говори, не говори мне о них... И откуда они присвоили себе право распоряжаться чужою судьбой?

Она вдруг порывисто остановилась, сжала свои тонкие руки, так что на них хрустнули пальцы, и как-то поддельски заплакала.

Слепой взял ее за руки с удивлением и участием. Эта вспышка со стороны его спокойной и всегда выдержанной подруги была так неожиданна и необъяснима! Он прислушивался одновременно к ее плачу и к тому странному отголоску, каким отзывался этот плач в его собственном сердце. Ему вспомнились давние годы. Он сидел на холме с такою же грустью, а она плакала над ним так же, как и теперь...

Но вдруг она высвободила руку, и слепой опять удивился: девушка смеялась.

— Какая я, однако, глупая! И о чем это я плачу?

Она вытерла глаза и потом заговорила растроганным и добрым голосом:

— Нет, будем справедливы: оба они хорошие!.. И то, что он говорил сейчас, — хорошо. Но ведь это же не для всех.

— Для всех, кто может, — сказал слепой.

— Какие пустяки! — ответила она ясно, хотя в ее голосе вместе с улыбкой слышались еще недавние слезы. — Ведь вот и Максим воевал, пока мог, а теперь живет как может. Ну, и мы...

— Не говори: *мы*! Ты — совсем другое дело...

— Нет, не другое.

— Почему?

— Потому что... Ну да потому, что ведь ты на мне женишься, и, значит, наша жизнь будет одинакова.

Петр остановился в изумлении.

— Я?.. На тебе?.. Значит, ты за меня... замуж?

— Ну да, ну да, конечно! — ответила она с торопливым волнением. — Какой ты глупый! Неужели тебе никогда не приходило это в голову? Ведь это же так просто! На ком же тебе и жениться, как не на мне?

— Конечно, — согласился он с каким-то странным эгоизмом, но тотчас спохватился. — Послушай, Веля, — заговорил он, взяв ее за руку. — Там сейчас говорили: в больших городах девушки учатся всему, перед тобой тоже могла бы открыться широкая дорога... А я...

— Что же ты?

— А я... слепой! — закончил он совершенно нелогично.

И опять ему вспомнилось детство, тихий плеск реки, первое знакомство с Эвелиной и ее горькие слезы при слове «слепой»... Инстинктивно почувствовал он, что теперь опять причиняет ей такую же рану, и остановился. Несколько секунд стояла тишина, только вода тихо и ласково звенела в цлюзах. Эвелины совсем не было слышно, как будто она исчезла. По ее лицу действительно пробежала судорога, но девушка овладела собой, и, когда она заговорила, голос ее звучал беспечно и шутливо:

— Так что же, что слепой? — сказала она, — но ведь если девушка полюбит слепого, так и выходить надо за слепого... Это уж всегда так бывает, что же нам делать?

— Полюбит... — сосредоточенно повторил он, и брови его сдвинулись, — он вслушивался в новые для него звуки знакомого слова... — Полюбит? — переспросил он с возрастающим волнением...

— Ну да! Ты и я, мы оба любим друг друга... Какой ты глупый! Ну, подумай сам: мог ли бы ты остаться здесь один, без меня?..

Лицо его сразу побледнело, и незрячие глаза остановились, большие и неподвижные.

Было тихо; только вода все говорила о чем-то, журча и звеня. Временами казалось, что этот говор ослабевает и вот-вот стихнет; но тотчас же он опять повышался и опять звенел без конца и перерыва. Густая черемуха шептала темною листвой; песня около дома смолкла, но зато над прудом соловей заводил свою...

— Я бы умер, — сказал он глухо.

Ее губы задрожали, как в тот день их первого знакомства, и она сказала с трудом слабым, детским голосом:

— И я тоже... Без тебя, одна... в далеком свете...

Он сжал ее маленькую руку в своей. Ему казалось страшным, что ее тихое ответное пожатие так непохоже на прежние: слабое движение ее маленьких пальцев отражалось теперь в глубине его сердца. Вообще, кроме прежней Эвелины, друга его детства, теперь он чувствовал в ней еще какую-то другую, новую девушку. Сам он показался себе могучим и сильным, а она представилась плачущей и слабой. Тогда, под влиянием глубокой неж-

ности, он привлек ее одною рукой, а другою стал гладить ее шелковистые волосы.

И ему казалось, что все горе смолкло в глубине сердца и что у него нет никаких порывов и желаний, а есть только настоящая минута.

Соловей, некоторое время пробовавший свой голос, защелкал и рассыпался по молчаливому саду нейстовой трелью. Девушка встрепенулась и застенчиво отвела руку Петра.

Он не противился и, отпустив ее, вздохнул полною грудью. Он слышал, как она оправляет свои волосы. Его сердце билось сильно, но ровно и приятно; он чувствовал, как горячая кровь разносит по всему телу какую-то новую сосредоточенную силу. Когда через минуту она сказала ему обычным тоном: «Ну, теперь вернемся к гостям», — он с удивлением вслушивался в этот милый голос, в котором звучали совершенно новые ноты.

IX

Гости и хозяева собрались в маленькой гостиной; недоставало только Петра и Эвелины. Максим разговаривал со своим старым товарищем, молодые люди сидели молча у открытых окон; в небольшом обществе господствовало то особенное тихое настроение, в глубине которого ощущается какая-то не для всех ясная, но всеми сознаваемая драма. Отсутствие Эвелины и Петра было как-то особенно заметно. Максим среди разговора кидал короткие выжидающие взгляды по направлению к дверям. Анна Михайловна с грустным и как будто виноватым лицом явно старалась быть внимательною и любезною хозяйкой, и только один пан Понельский, значительно округлевший и как всегда благодущный, дремал на своем стуле в ожидании ужина.

Когда на террасе, которая вела из сада в гостиную, раздались шаги, все глаза повернулись туда. В темном четырехугольнике широких дверей показалась фигура Эвелины, а за нею тихо подымался по ступенькам слепой.

Молодая девушка почувствовала на себе эти сосредоточенные, внимательные взгляды, однако это ее не смутило. Она прошла через комнату своею обычною ровною поступью, и только на одно мгновение, встретив короткий, из-под бровей взгляд Максима, она чуть-чуть

улыбнулась, и ее глаза сверкнули вызовом и усмешкой. Пани Попельская вглядывалась в своего сына.

Молодой человек, казалось, шел вслед за девушкой, не сознавая хорошо, куда она ведет его. Когда в дверях показалось его бледное лицо и тонкая фигура, он вдруг приостановился на пороге этой освещенной комнаты. Но затем он перешагнул через порог и быстро, хотя с тем же полурассеянным, полусосредоточенным видом подошел к фортепiano.

Хотя музыка была обычным элементом в жизни тихой усадьбы, но вместе с тем это был элемент интимный, так сказать, чисто домашний. В те дни, когда усадьба наполнялась говором и пением приезжей молодежи, Петр ни разу не подходил к фортепиано, на котором играл лишь старший из сыновей Ставрученка, музыкант по профессии. Это воздержание делало слепого еще более незаметным в оживленном обществе, и мать с сердечной болью следила за темной фигурой сына, терявшегося среди общего блеска и оживления. Теперь, в первый еще раз, Петр смело и как будто даже не вполне сознательно подходил к своему обычному месту... Казалось, он забыл о присутствии чужих. Впрочем, при входе молодых людей в гостиную стояла такая тишина, что слепой мог считать комнату пустою...

Открыв крышку, он слегка тронул клавиши и пробежал по ним несколькими быстрыми легкими аккордами. Казалось, он о чем-то спрашивал не то у инструмента, не то у собственного настроения.

Потом, вытянув на клавишах руки, он глубоко задумался, и тишина в маленькой гостиной стала еще глубже.

Ночь глядела в черные отверстия окон; кое-где из сада заглядывали с любопытством зеленые группы листьев, освещенных светом лампы. Гости, подготовленные только что смолкшим смутным рокотом пианино, отчасти охваченные веянием странного вдохновения, вставшего над бледным лицом слепого, сидели в молчаливом ожидании.

А Петр все молчал, приподняв кверху слепые глаза, и все будто прислушивался к чему-то. В его душе подымались, как расколыхавшиеся волны, самые разнообразные ощущения. Прилив неведомой жизни подхватывал его, как подхватывает волна на морском берегу долго и мирно стоявшую на песке лодку... На лице виднелось удивление, вопрос, и еще какое-то особенное возбужде-

ние проходило по нем быстрыми телями. Слепые глаза казались глубокими и темными.

Одну минуту можно было подумать, что он не находит в своей душе того, к чему прислушивается с таким жадным вниманием. Но потом, хотя все с тем же удивленным видом и все как будто не дождавшись чего-то, он дрогнул, тронул клавиши и, подхваченный новой волной нахлынувшего чувства, отдался весь плавным, звонким и певучим аккордам...

Х

Пользоваться нотами слепому вообще трудно. Они отдавливаются, как и буквы, рельефом, причем тоны обозначаются отдельными знаками и ставятся в один ряд, как строчки книги. Чтобы обозначить тоны, соединенные в аккорд, между ними ставятся восклицательные знаки. Понятно, что слепому приходится заучивать их наизусть, притом отдельно для каждой руки. Таким образом, это — очень сложная и трудная работа; однако Петру и в этом случае помогала любовь к отдельным составным частям этой работы. Заучив на память по несколько аккордов для каждой руки, он садился за фортепиано, и когда из соединения этих выпуклых иероглифов вдруг неожиданно для него самого складывались стройные созвучия, это доставляло ему такое наслаждение и представляло столько живого интереса, что этим сухая работа скрашивалась и даже увлекала.

Тем не менее между изображенною на бумаге пьесой и ее исполнением дожило в этом случае слишком много промежуточных процессов. Пока знак воплощался в мелодию, он должен был пройти через руки, закрепить в памяти и затем совершить обратный путь к концам играющих пальцев. Притом сильно развитое музыкальное воображение слепого вмешивалось в сложную работу заучивания и налагало на чужую пьесу заметный личный отпечаток. Формы, в какие успело отлиться музыкальное чувство Петра, были именно те, в каких ему впервые явилась мелодия, в какие отливалась затем игра его матери. Это были формы народной музыки, которые звучали постоянно в его душе, которыми говорила этой душе родная природа.

И теперь, когда он играл какую-то итальянскую пьесу с трепещущим сердцем и переполненной душой, в его игре с первых же аккордов сказалось что-то до такой

степени своеобразно, что на лицах посторонних слушателей появилось удивление. Однако через несколько минут очарование овладело всеми безраздельно, и только старший из сыновей Ставрученка, музыкант по профессии, долго еще вслушивался в игру, стараясь уловить знакомую пьесу и анализируя своеобразную манеру пианиста.

Струны звенели и рокотали, наполняя гостиную и разносясь по смолкшему саду... Глаза молодежи сверкали оживлением и любопытством. Ставрученко-отец сидел, свесив голову, и молчаливо слушал, но потом стал воодушевляться все больше и больше, поталкивал Максима локтем и шептал:

— Вот этот играет, так уж играет. Что? Не правду я говорю?

По мере того как звуки росли, старый спорщик стал вспоминать что-то, должно быть свою молодость, потому что глаза его заискрились, лицо покраснело, весь он выпрямился и, приподняв руку, хотел даже ударить кулаком по столу, но удержался и опустил кулак без всякого звука. Оглядев своих молодцов быстрым взглядом, он погладил усы и, наклонившись к Максиму, прошептал:

— Хотят стариков в архив... Брешут!.. В свое время и мы с тобой, братику, тоже... Да и теперь еще... Правду я говорю или нет?

Максим, довольно равнодушный к музыке, на этот раз чувствовал что-то новое в игре своего питомца и, окружив себя клубами дыма, слушал, качал головой и переводил глаза с Петра на Эвелину. Еще раз какой-то порыв непосредственной жизненной силы врывался в его систему совсем не так, как он думал... Анна Михайловна тоже кидала на девушку вопросительные взгляды, спрашивая себя: что это, — счастье или горе звучит в игре ее сына... Эвелина сидела в тени от абажура, и только ее глаза, большие и потемневшие, выделялись в полумраке. Она одна понимала эти звуки по-своему: ей слышался в них звон воды в старых шлюзах и шепот черемухи в потемневшей аллее.

XI

Мотив давно уже изменился. Оставив итальянскую пьесу, Петр отдался своему воображению. Тут было все, что теснилось в его воспоминании, когда он, за минуту перед тем, молча и опустив голову, прислушивался к

впечатлениям из пережитого прошлого. Тут были голоса природы, шум ветра, шепот леса, плеск реки и смутный говор, смолкающий в безвестной дали. Все это сплеталось и звенело на фоне того особенного глубокого и расширяющего сердце ощущения, которое вызывается в душе таинственным говором природы и которому так трудно подыскать настоящее определение... Тоска?.. Но отчего же она так приятна?.. Радость?.. Но зачем же она так глубоко, так бесконечно грустна?

По временам звуки усиливались, вырастали, крепили. Лицо музыканта делалось странно суровым. Он как будто сам удивлялся новой и для него силе этих неожиданных мелодий и ждал еще чего-то... Казалось, вот-вот несколькими ударами все это сольется в стройный поток могучей и прекрасной гармонии, и в такие минуты слушатели замирали от ожидания. Но, не успев подняться, мелодия вдруг падала с каким-то жалобным ропотом, точно волна, рассыпавшаяся в пену и брызги, и еще долго звучали, замирая, ноты горького недоумения и вопроса.

Слепой смолкал на минуту, и опять в гостиной стояла тишина, нарушаемая только шепотом листьев в саду. Обаяние, овладевавшее слушателями и упоившее их далеко за эти скромные стены, разрушалось, и маленькая комната сдвигалась вокруг них, и ночь глядела к ним в темные окна, пока, собравшись с силами, музыкант не ударял вновь по клавишам.

И опять звуки крепили и искали чего-то, подымаясь в своей полноте выше, сильнее. В неопределенный перезвон и говор аккордов влетали мелодии народной песни, звучавшей то любовью и грустью, то воспоминанием о минувших страданиях и славе, то молодою удалью разгула и надежды. Это слепой пробовал вылить свое чувство в готовые и хорошо знакомые формы.

Но и песня смолкала, дрожа в тишине маленькой гостиной тою же жалобною нотой неразрешенного вопроса.

ХII

Когда последние ноты дрогнули смутным недовольством и жалобой, Анна Михайловна, взглянув в лицо сына, увидела на нем выражение, которое показалось ей знакомым: в ее памяти встал солнечный день давней весны, когда ее ребенок лежал на берегу реки, подавлен-

ный слишком яркими впечатлениями от возбуждающей весенней природы.

Но это выражение заметила только она. В гостиной поднялся шумный говор. Ставрченко-отец что-то громко кричал Максиму, молодые люди, еще взволнованные и возбужденные, пожимали руки музыканта, предсказывали ему широкую известность артиста.

— Да, это верно! — подтвердил старший брат. — Вам удалось удивительно усвоить самый характер народной мелодии. Вы сжились с нею и овладели ею в совершенстве. Но скажите, пожалуйста, какую это пьесу играли вы вначале?

Петр назвал итальянскую пьесу.

— Я так и думал, — ответил молодой человек. — Мне она несколько знакома... У вас удивительно своеобразная манера... Многие играют лучше вашего, но так, как вы, ее не исполнял еще никто. Это... как будто перевод с итальянского музыкального языка на малорусский. Вам нужна серьезная школа, и тогда...

Слепой слушал внимательно. Впервые еще он стал центром оживленных разговоров, и в его душе зарождалось гордое сознание своей силы. Неужели эти звуки, доставившие ему на этот раз столько неудовлетворенности и страдания, как еще никогда в жизни, могут производить на других такое действие? Итак, он может тоже что-нибудь сделать в жизни. Он сидел на своем стуле, с рукой, еще вытянутой на клавиатуре, и под шум разговоров внезапно почувствовал на этой руке чье-то горячее прикосновение. Это Эвелина подошла к нему и, незаметно сжимая его пальцы, прошептала с радостным возбуждением:

— Ты слышал? У тебя тоже будет своя работа. Если бы ты видел, если бы знал, что ты можешь сделать со всеми нами...

Слепой вздрогнул и выпрямился.

Никто не заметил этой короткой сцены кроме матери. Ее лицо вспыхнуло, как будто это ей был дан первый поцелуй молодой любви.

Слепой все сидел на том же месте. Он боролся с нахлынувшими на него впечатлениями нового счастья, а может быть, ощущал также приближение грозы, которая вставала уже бесформенною и тяжелою тучей откуда-то из глубины мозга.

На другой день Петр проснулся рано. В комнате было тихо, в доме тоже не начиналось еще движение дня. В окно, которое оставалось открытым на ночь, лилась из сада свежесть раннего утра. Несмотря на свою слепоту, Петр отлично чувствовал природу. Он знал, что еще рано, что его окно открыто — шорох ветвей раздавался отчетливо и близко, ничем не отдаленный и не прикрытый. Сегодня Петр чувствовал все это особенно ясно: он знал даже, что в комнату смотрит солнце и что если он протянет руку в окно, то с кустов посыплется роса. Кроме того, он чувствовал еще, что все его существо переполнено каким-то новым, неизведанным ощущением.

Несколько минут он лежал в постели, прислушиваясь к тихому щебетанию какой-то птички в саду и к странному чувству, нараставшему в его сердце.

«Что это было со мной?» — подумал он, и в то же мгновение в его памяти прозвучали слова, которые она сказала вчера, в сумерки, у старой мельницы: «Неужели ты никогда не думал об этом?.. Какой ты глупый!..»

Да, он никогда об этом не думал. Ее близость доставляла ему наслаждение, но до вчерашнего дня он не сознавал этого, как мы не ощущаем воздуха, которым дышим. Эти простые слова упали вчера в его душу, как падает с высоты камень на зеркальную поверхность воды: еще за минуту она была ровна и спокойно отражала свет солнца и синее небо... один удар — и она всколебалась до самого дна.

Теперь он проснулся с обновленной душой, и она, его давняя подруга, являлась ему в новом свете. Вспоминая все, что произошло вчера, до малейших подробностей, он прислушивался с удивлением к тону ее «нового» голоса, который восстановило в его памяти воображение. «Полюбила»... «Какой ты глупый!..»

Он быстро вскочил, оделся и по росистым дорожкам сада побежал к старой мельнице. Вода журчала, как вчера, и так же шептались кусты черемухи, только вчера было темно, а теперь стояло яркое солнечное утро.

И никогда еще он не «чувствовал» света так ясно. Казалось, вместе с душистой сыростью, с ощущением утренней свежести в него проникли эти смеющиеся лучи веселого дня, щекотавшие его нервы.

II

Во всей усадьбе стало как-то светлее и радостнее. Анна Михайловна как будто помолодела сама, Максим чаще шутил, хотя все же по временам из облаков дыма, точно раскаты проходящей стороной грозы, раздавалось его ворчание. Он говорил о том, что многие, по-видимому, считают жизнь чем-то вроде плохого романа, кончающегося свадьбой, и что есть на свете много такого, о чем иным людям не мешало бы подумать. Пан Попельский, ставший очень интересным круглым человеком, с ровно и красиво седеющими волосами и румяным лицом, всегда в этих случаях соглашался с Максимом, вероятно принимая эти слова на свой счет, и тотчас же отправлялся по хозяйству, которое у него, впрочем, шло отлично. Молодые люди усмехались и строили какие-то планы. Петру предстояло доканчивать серьезно свое музыкальное образование.

Однажды осенью, когда жнива были уже закончены и над полями, сверкая золотыми нитками на солнце, лепиво и томно носилось «бабье лето», Попельские всей семьей отправились к Ставрученкам. Имение Ставруково лежало верстах в семидесяти от Попельских, но местность на этом расстоянии сильно менялась: последние отроги Карпат, еще видные на Волини и в Прибужьи, исчезли, и местность переходила в степную Украину. На этих равнинах, перерезанных кое-где оврагами, лежали, утопая в садах и левадах, села, и кое-где по горизонту, давно запаханные и охваченные желтыми жнивами, рисовались высокие могилы.

Такие далекие путешествия были вообще не в обычае семьи. За пределами знакомого села и ближайших полей, которые он изучил в совершенстве, Петр терялся, больше чувствовал свою слепоту и становился раздражителен и беспокоен. Теперь, впрочем, он охотно принял приглашение. После памятного вечера, когда он сознал сразу свое чувство и просыпающуюся силу таланта, он как-то смелее относился к темной и неопределенной дали, которую охватывал его внешний мир. Она

начинала тянуть его, все расширяясь в его воображении.

Несколько дней промелькнули очень живо. Петр чувствовал себя теперь гораздо свободнее в молодом обществе. Он с жадным вниманием слушал умелую игру старшего Ставрученка и рассказы о консерватории, о столичных концертах. Его лицо вспыхивало каждый раз, когда молодой хозяин переходил к восторженным похвалам его собственному, необработанному, но сильному музыкальному чувству. Теперь он уже не стеснялся в дальних углах, а, как равный, хотя и несколько сдержанно, вмешивался в общие разговоры. Недавняя еще холодная сдержанность и как бы настороженность Эвелины тоже исчезла. Она держала себя весело и непринужденно, восхищая всех небывалыми прежде вспышками неожиданного и яркого веселья.

Верстах в десяти от имения находился старый Н-ский монастырь, очень известный в том крае. Когда-то он играл значительную роль в местной истории; не раз его осаждали, как саранча, загоны татар, посылавших через стены тучи своих стрел, порой пестрые отряды поляков отчаянно лезли на стены, или, наоборот, казаки бурно кидались на приступ, чтобы отбить твердыню у завладевших ею королевских жолнеров... Теперь старые башни осыпались, стены кое-где заменились простым частоколом, защищавшим лишь монастырские огороды от нашествия предприимчивой мужицкой скотины, а в глубине широких рвов росло просо.

Однажды, в ясный день ласковой и поздней осени, хозяева и гости отправились в этот монастырь. Максим и женщины ехали в широкой старинной коляске, качавшейся, точно большая ладья, на своих высоких рессорах. Молодые люди и Петр в том числе отправились верхами.

Слепой ездил ловко и свободно, привыкнув прислушиваться к топоту других коней и к шуршанию колес едущего впереди экипажа. Глядя на его свободную, смелую посадку, трудно было бы угадать, что этот всадник не видит дороги и лишь привык так смело отдаваться инстинкту лошади. Анна Михайловна сначала робко оглядывалась, боясь чужой лошади и незнакомых дорог, Максим посматривал искоса с гордостью ментора и с насмешкой мужчины над бабьими страхами.

— Знаете ли... — сказал, подъезжая к коляске, студент. — Мне вот сейчас вспомнилась очень интересная

могила, историю которой мы узнали, роясь в монастырском архиве. Если хотите, мы свернем туда. Это недалеко, на краю села.

— Отчего же это вам приходят в нашем обществе такие грустные воспоминания? — весело засмеялась Эвелина.

— На этот вопрос ответу после! Сворачивай к Колодние, к леваде Остапа; тут у перелаза остановишься! — крикнул он кучеру и, повернув лошадь, поскакал к своим оставшим товарищам.

Через минуту, когда рыдван, шурша колесами в мягкой пыли и колыхаясь, ехал узким проселком, молодые люди пронеслись мимо него и спешили впереди, привязав лошадей у плетня. Двое из них пошли навстречу, чтобы помочь дамам, а Петр стоял, опершись на луку седла, и, по обыкновению склонив голову, прислушивался, стараясь по возможности определить свое положение в незнакомом месте.

Для него этот светлый осенний день был темною ночью, только оживленную яркими звуками дня. Он слышал на дороге шуршание приближающейся кареты и веселые шутки встречавшей ее молодежи. Около него лошади, звеня стальными наборами уздечек, тянули головы за плетень, к высокому бурьяну огорода... Где-то недалеко, вероятно над грядками, слышалась тихая песня, лениво и задумчиво веявшая по легкому ветру. Шелестели листья сада, где-то скрипел аист, слышалось хлопанье крыльев и крик как будто внезапно о чем-то вспомнившего петуха, легкий визг «журавля» над колодцем, — во всем этом сказывалась близость деревенского рабочего дня.

И действительно, они остановились у плетня крайнего сада... Из более отдаленных звуков господствующим был размеренный звон монастырского колокола, высокий и тонкий. По звуку ли этого колокола, по тому ли, как тянул ветер, или еще по каким-то, может быть, и ему самому неизвестным, признакам, Петр чувствовал, что где-то в той стороне, за монастырем, местность внезапно обрывается, быть может над берегом реки, за которой далеко раскинулась равнина с неопределепными, трудно уловимыми звуками тихой жизни. Звуки эти долетали до него отрывочно и слабо, давая ему слуховое ощущение дали, в которой мелькает что-то затянутое, неясное, как для нас мелькают очертания далей в вечернем тумане...

Ветер шевелил прядь волос, свесившуюся из-под его шляпы, и тянулся мимо его уха, как протяжный звон золотой арфы. Какие-то смутные воспоминания бродили в его памяти; минуты из далекого детства, которые воображение выхватывало из забвения прошлого, оживали в виде веяний, прикосновений и звуков... Ему казалось, что этот ветер, смешанный с дальним звоном и обрывками песни, говорит ему какую-то грустную старую сказку о прошлом этой земли, или о его собственном прошлом, или о его будущем, неопределенном и темном.

Через минуту подъехала коляска, все вышли и, переступив через перелаз в плетне, пошли в леваду. Здесь, в углу, заросшая травой и бурьяном, лежала широкая, почти вросшая в землю, каменная плита. Зеленые листья репейника с пламенно-розовыми головками цветов, широкий лопух, высокий куколь на тонких стеблях выделялись из травы и тихо качались от ветра, и Петру был слышен их смутный шепот над заросшею могилой.

— Мы только недавно узнали о существовании этого памятника, — сказал молодой Ставрченко, — а между тем знаете ли, кто лежит под ним? Славный когда-то «лыцарь», старый ватажок Игнат Карый...

— Так вот ты где успокоился, старый разбойник? — сказал Максим задумчиво. — Как он попал сюда, в Колодню?

— В 17... году казаки с татарами осаждали этот монастырь, занятый польскими войсками... Вы знаете, татары были всегда опасными союзниками... Вероятно, осажденным удалось как-нибудь подкупить мирзу, и ночью татары кинулись на казаков одновременно с поляками. Здесь, около Колодни, произошла в темноте жестокая сеча. Кажется, что татары были разбиты и монастырь все-таки взят, но казаки потеряли в ночном бою своего атамана.

— В этой истории, — продолжал молодой человек задумчиво, — есть еще другое лицо, хоть мы напрасно искали здесь другой плиты. Судя по старой записи, которую мы нашли в монастыре, рядом с Карым похоронен молодой бандурист... слепой, сопровождавший атамана в походах...

— Слепой? в походах? — испуганно произнесла Анна Михайловна, которой сейчас же представился ее мальчик в страшной ночной сече.

— Да, слепой. По-видимому, это был славный на Запорожье певец... так, по крайней мере, говорит о нем запись, излагающая на своеобразном польско-малорусско-церковном языке всю эту историю. Позвольте, я кажется, помню ее на память: «А с ним славный поэт казакский Юрко, нигды не оставлявший Караго и от щирого сердца оным любимый. Которого убивши сила поганьская и того Юрка посекала нечестно, обычаем своей поганьской веры не маючи зваги на калечтво и великий талант до складу песенного и до gry струнной, од якои даже и волцы на степену размягчиться могли б, но поганьцы не пошановали в почном нападe. И ту положены рядом певец и рыцарь, коим по честным конце незаводная и вечная слава во веки аминь...»

— Плита довольно широкая,— сказал кто-то.— Может быть, они лежат здесь оба...

— Да, в самом деле, но надписи съедены мхами... Посмотрите, вот вверху булава и бунчук. А дальше все зелено от лишаяев.

— Постойте,— сказал Петр, слушавший весь рассказ с захватывающим волнением.

Он подошел к плите, нагнулся над нею, и его тонкие пальцы впились в зеленый слой лишайников на поверхности плиты. Сквозь него он прощупывал твердые выступы камня.

Так он сидел с минуту, с поднятым лицом и сдвинутыми бровями. Потом он начал читать:

— «...Игнатий прозванием Карий... року божого... пострелен из сайдака стрелою татарскою...»

— Это и мы могли еще разобрать,— сказал студент.

Пальцы слепого, нервно напряженные и изогнутые в суставах, спускались все ниже.

— «Которого убивши...»

— «Сила поганьская...» — живо подхватил студент,— эти слова стояли в описании смерти Юрка... значит, правда: и он тут же под одной плитой.

— Да,— «сила поганьская»,— прочитал Петр,— дальше все исчезло... Постойте, вот еще: «порубан шаблями татарскими»... кажется, еще какое-то слово... но нет, больше ничего не сохранилось.

Действительно, дальше всякая память о бандуристе терялась в широкой язве полуторастолетней плиты...

Несколько секунд стояло глубокое молчание, нару-

шаемое только порохом листьев. Оно было прервано протяжным благоговейным вздохом. Это Остап, хозяин левады и собственник по праву давности последнего жилища старого атамана, подошел к господам и с великим удивлением смотрел, как молодой человек с неподвижными глазами, устремленными кверху, разбирал ощупью слова, скрытые от зрячих сотнями годов, дождями и непогодами.

— Сыла господняя, — сказал он, глядя на Петра с благоговением. — Сыла божая открывае слипенькому, чего зрячи не бачуть очима.

— Понимаете ли теперь, панночка, почему мне вспомнился этот Юрко-бандурист? — спросил студент, когда старая коляска опять тихо двигалась по пыльной дороге, направляясь к монастырю. — Мы с братом удивлялись, как мог слепой сопровождать Карого с его летучими отрядами. Допустим, что в то время он был уже не кошевой, а простой ватажко. Известно, однако, что он всегда начальствовал отрядом конных казаков-охотников, а не простыми гайдамаками. Обыкновенно бандуристы были старцы нищие, ходившие от села к селу с сумой и песней... Только сегодня, при взгляде на вашего Петра, в моем воображении как-то сразу встала фигура слепого Юрка, с бандурой, вместо рушницы, за спиной и верхом на лошади...

— И, может быть, он участвовал в битвах... В походах во всяком случае и в опасностях также... — продолжал молодой человек задумчиво. — Какие бывали времена на нашей Украине!

— Как это ужасно, — вздохнула Анна Михайловна.

— Как это было хорошо, — возразил молодой человек...

— Теперь ничего подобного не бывает, — резко сказал Петр, подъехавший тоже к экипажу. Подняв брови и насторожившись к топоту соседних лошадей, он заставил свою лошадь идти рядом с коляской... Его лицо было бледнее обыкновенного, выдавая глубокое внутреннее волнение... — Теперь все это уже исчезло, — повторил он.

— Что должно было исчезнуть — исчезло, — сказал Максим как-то холодно. — Они жили по-своему, вы ищите своего...

— Вам хорошо говорить, — ответил студент, — вы взяли свое у жизни...

— Ну, и жизнь взяла у меня мое,— усмехнулся старый гарибальдиец, глядя на свои костыли.

Потом, помолчав, он прибавил:

— Вдыхал и я когда-то о сечи, об ее бурной поэзии и воле... Был даже у Садыка в Турции¹.

— И что же? — спросили молодые люди живо.

— Вылечился, когда увидел ваше «вольное казачество» на службе у турецкого деспотизма... Исторический маскарад и шарлатанство!.. Я понял, что история выкинула уже всю эту ветопь на задворки и что главное не в этих красивых формах, а в целях... Тогда-то я и отправился в Италию. Даже не зная языка этих людей, я был готов умереть за их стремления.

Максим говорил серьезно и с какою-то искренней важностью. В бурных спорах, которые происходили у отца Ставрученка с сыновьями, он обыкновенно не принимал участия и только посмеивался, благодушно улыбаясь на апелляции к нему молодежи, считавшей его своим союзником. Теперь, сам затронутый отголосками этой трогательной драмы, так внезапно ожившей для всех над старым мшистым камнем, он чувствовал, кроме того, что этот эпизод из прошлого странным образом коснулся в лице Петра близкого им всем настоящего.

На этот раз молодые люди не возражали,— может быть, под влиянием живого ощущения, пережитого за несколько минут в леваде Остапа,— могильная плита так ясно говорила о смерти прошлого,— а быть может, под влиянием импонирующей искренности старого ветерана...

— Что же остается нам? — спросил студент после минутного молчания.

— Та же вечная борьба.

— Где? В каких формах?

— Ищите,— ответил Максим кратко.

Раз оставив свой обычный слегка насмешливый тон, Максим, очевидно, был расположен говорить серьезно. А для серьезного разговора на эту тему теперь уже не оставалось времени... Коляска подъехала к воротам монастыря, и студент, наклонясь, придержал за повод лошадь Петра, на лице которого, как в открытой книге, виднелось глубокое волнение.

¹ Чайковский, украинец-романтик, известный под именем Садыка-паши, мечтал организовать казачество как самостоятельную политическую силу в Турции...

В монастыре обыкновенно смотрели старинную церковь и взбирались на колокольню, откуда открывался далекий вид. В ясную погоду старались увидеть белые пятнышки губернского города и излучины Днепра на горизонте.

Солнце уже склонялось, когда маленькое общество подошло к запертой двери колокольни, оставив Максима на крыльце одной из монашеских келий. Молодой тонкий послушник, в рясе и остроконечной шапке, стоял под сводом, держась одной рукой за замок запертой двери... Невдалеке, точно распуганная стая птиц, стояла кучка детей; было видно, что между молодым послушником и этой стайкой резвых ребят происходило недавно какое-то столкновение. По его несколько воинственной позе и по тому, как он держался за замок, можно было заключить, что дети хотели проникнуть на колокольню вслед за господами, а послушник отгонял их. Его лицо было сердито и бледно, только на щеках пятнами выделялся румянец.

Глаза молодого послушника были как-то странно неподвижны... Анна Михайловна первая заметила выражение этого лица и глаз и нервно схватила за руку Эвелину.

— Слепой,— прошептала девушка с легким испугом.

— Тише,— ответила мать,— и еще... Ты замечаешь?

— Да...

Трудно было не заметить в лице послушника странного сходства с Петром. Та же нервная бледность, те же чистые, но неподвижные зрачки, то же беспокойное движение бровей, настораживавшихся при каждом новом звуке и бегавших над глазами, точно щупальцы у испуганного насекомого... Его черты были грубее, вся фигура угловатее,— но тем резче выступало сходство. Когда он глухо закашлялся, схватившись руками за впалую грудь,— Анна Михайловна смотрела на него широко раскрытыми глазами, точно перед ней вдруг появился призрак...

Перестав кашлять, он отпер дверь и, остановясь на пороге, спросил несколько надтреснутым голосом:

— Ребят нет? Кыш, проклятые! — мотнулся он в их сторону всем телом и потом, пропуская вперед молодых людей, сказал голосом, в котором слышалась какая-то

вкрадчивость и жадность: — Звонарю пожертвуете сколько-нибудь?.. Идите осторожно, — темно...

Все общество стало подыматься по ступеням. Анна Михайловна, которая прежде колебалась перед неудобным и крутым подъемом, теперь с какою-то покорностью пошла за другими.

Слепой звонарь запер дверь... Свет исчез, и лишь через некоторое время Анна Михайловна, робко стоявшая внизу, пока молодежь, толкаясь, подымалась по извилинам лестницы, — могла разглядеть тусклую струйку сумеречного света, лившуюся из какого-то косого пролета в толстой каменной кладке. Против этого луча слабо светилось несколько пыльных, неправильной формы камней.

— Дядько, дядюшка, пустить, — раздались из-за двери тонкие голоса детей. — Пустить, дядюшка, хороший!

Звонарь сердито кинулся к двери и неистово застучал кулаками по железной обшивке.

— Пошли, пошли, проклятые... Чтоб вас громом убило! — кричал он, хрипя и как-то захлебываясь от злости...

— Слепой черт, — ответили вдруг несколько звонких голосов, и за дверью раздался быстрый топот десятка босых ног...

Звонарь прислушался и перевел дух.

— Погибели на вас нет... на проклятых... чтоб вас всех передушила хвороба... Ох, господи! Господи ты, боже мой! Вскую мя оставил еси... — сказал он вдруг совершенно другим голосом, в котором слышалось отчаяние страдавшего и глубоко измученного человека.

— Кто здесь?.. Зачем остался? — резко спросил он, наткнувшись на Анну Михайловну, застывшую у первых ступенек.

— Идите, идите. Ничего, — прибавил он мягче. — Постойте, держитесь за меня... Пожертвование с вашей стороны звонарю будет? — опять спросил он прежним неприятно вкрадчивым тоном.

Анна Михайловна вынула из кошелька и в темноте подала ему бумажку. Слепой быстро выхватил ее из протянутой к нему руки и, под тусклым лучом, к которому они уже успели подняться, она видела, как он приложил бумажку к щеке и стал водить по ней пальцем. Странно освещенное и бледное лицо, так похожее на лицо ее сына, исказилось вдруг выражением наивной и жадной радости.

— Вот за это спасибо, вот спасибо. Столбовка настоящая... Я думал — вы насмех... посмеяться над слепеньким... Другие, бывают, смеются...

Все лицо бедной женщины было залито слезами. Она быстро отерла их и пошла кверху, где, точно падение воды за стеной, слышались гулкие шаги и смешанные голоса опередившей ее компании.

На одном из поворотов молодые люди остановились. Они поднялись уже довольно высоко, и в узкое окно, вместе с более свежим воздухом, проникла более чистая, хотя и рассеянная струйка света. Под ней на стене, довольно гладкой в этом месте, роились какие-то надписи. Это были по большей части имена посетителей.

Обмениваясь веселыми замечаниями, молодые люди находили фамилии своих знакомых.

— А вот и сентенция, — заметил студент и прочитал с некоторым трудом: «Мнози суть начинающи, кончающи же в мале...» — Очевидно, дело идет об этом восхождении, — прибавил он шутливо.

— Понимай, как хочешь, — грубо ответил звонарь, поворачиваясь к нему ухом, и его брови заходили быстро и тревожно. — Тут еще стих есть, пониже. Вот бы тебе прочитать...

— Где стих? Нет никакого стиха.

— Ты вот знаешь, что нет, а я тебе говорю, что есть. От вас, зрячих, тоже сокрыто многое...

Он спустился на две ступеньки вниз и, пошарив рукой в темноте, где уже терялись последние слабые отблески дневного луча, сказал:

— Вот тут. Хороший стих, да без фонаря не прочтаете...

Петр поднялся к нему и, проведя рукой по стене, легко разыскал суровый афоризм, врезанный в стену каким-то, может быть более столетия уже умершим, человеком:

Помни смертный час,
Помни трубный глас,
Помни с жизнью разлуку,
Помни вечную муку...

— Тоже сентенция, — попробовал пошутить студент Ставрученко, но шутка как-то не вышла.

— Не правится, — ехидно сказал звонарь. — Конечно, ты еще человек молодой, а тоже... кто знает. Смертный час приходит, яко тать в нощи... Хороший стих, — прибавил он опять как-то по-другому... — «Помни смерт-

ный час, помни трубный глас...» Да, что-то вот там будет,— закончил он опять довольно злобно.

Еще несколько ступеней, и они все вышли на первую площадку колокольни. Здесь было уже довольно высоко, но отверстие в стене вело еще более неудобным проходом выше. С последней площадки вид открылся широкий и восхитительный. Солнце склонилось на запад к горизонту, по низине легла длинная тень, на востоке лежала тяжелая туча, даль терялась в вечерней дымке, и только кое-где косые лучи выхватывали у синих теней то белую стену мазапой хатки, то загоревшееся рубином оконце, то живую искорку на кресте дальней колокольни.

Все притихли. Высокий ветер, чистый и свободный от испарений земли, тянулся в пролеты, шевеля веревки, и, заходя в самые колокола, вызывал по временам протяжные отголоски. Они тихо шумели глубоким металлическим шумом, за которым ухо ловило что-то еще, точно отдаленную невнятную музыку или глубокие вздохи меди. От всей расстилавшейся внизу картины веяло тихим спокойствием и глубоким миром.

Но тишина, водворившаяся среди небольшого общества, имела еще другую причину. По какому-то общему побуждению, вероятно вытекавшему из ощущения высоты и своей беспомощности, оба слепые подошли к углам пролетов и стали, опершись на них обеими руками, повернув лица навстречу тихому вечернему ветру.

Теперь ни от кого уже не ускользнуло странное сходство. Звонарь был несколько старше; широкая ряса висела складками на тощем теле, черты лица были грубее и резче. При внимательном взгляде в них проступали и различия: звонарь был блондин, нос у него был несколько горбатый, губы тоньше, чем у Петра. Над губами пробивались усы, и кудрявая бородка окаймляла подбородок. Но в жестах, в первых складках губ, в постоянном движении бровей было то удивительное, как бы родственное сходство, вследствие которого многие горбуны тоже напоминают друг друга лицом, как братья.

Лицо Петра было несколько спокойнее. В нем виднелась привычная грусть, которая у звонаря усиливалась острою желчностью и порой озлоблением. Впрочем, теперь и он, видимо, успокаивался. Ровное веяние ветра как бы разглаживало на его лице все морщины, разливая по нем тихий мир, лежавший на всей скрытой от

незрячих взоров картине... Брови шевелились все тише и тише.

Но вот они опять дрогнули одновременно у обоих, как будто оба слышали внизу какой-то звук из долины, не слышимый никому другому.

— Звонят,— сказал Петр.

— Это у Егорья за пятнадцать верст,— пояснил звонарь.— У них всегда на полчаса раньше нашего вечера... А ты слышишь? Я тоже слышу,— другие не слышат...

— Хорошо тут,— продолжал он мечтательно.— Особливо в праздник. Слышали вы, как я звоню?

В вопросе звучало наивное тщеславие.

— Приезжайте послушать. Отец Памфилий... Вы не знаете отца Памфилия? Он для меня нарочито эти два подголоска выписал.

Он отделился от стены и любовно погладил рукой два небольших колокола, еще не успевших потемнеть, как другие.

— Славные подголоски... Так тебе и поют, так и поют... Особливо под Пасху.

Он взял в руки веревки и быстрыми движениями пальцев заставил задрожать оба колокола мелкою мелодическою дробью; прикосновения языков были так слабы и вместе так отчетливы, что перезвон был слышен всем, но звук наверное не распространялся дальше площадки колокольни.

— А тут тебе вот этот — бу-ух, бу-ух, бу-ух...

Теперь его лицо осветилось детской радостью, в которой, однако, было что-то жалкое и больное.

— Колокола-то вот выписал,— сказал он со вздохом,— а шубу новую не сошьет. Скупой! Простыл я на колокольне... Осенью всего хуже... Холодно...

Он остановился и, прислушавшись, сказал:

— Хромой вас кличет снизу. Ступайте, пора вам.

— Пойдем,— первая поднялась Эвелина, до тех пор неподвижно глядевшая на звонаря, точно замороженная.

Молодые люди двинулись к выходу, звонарь остался наверху. Петр, шагнувший было вслед за матерью, круто остановился.

— Идите,— сказал он ей повелительно.— Я сейчас.

Шаги стихли, только Эвелина, пропустившая вперед Анну Михайловну, осталась, прижавшись к стене и затаив дыхание.

Слепые считали себя одинокими на вышке. Несколь-

ко секунд они стояли, пеловкие и неподвижные, к чему-то прислушиваясь.

— Кто здесь? — спросил затем звонарь.

— Я...

— Ты тоже слепой?

— Слепой. А ты давно ослеп? — спросил Петр.

— Родился таким, — ответил звонарь. — Вот другой есть у нас, Роман — тот семи лет ослеп... А ты ночь ото дня отличить можешь ли?

— Могу.

— И я могу. Чувствую, брезжит. Роман не может, а ему все-таки легче.

— Почему легче? — живо спросил Петр.

— Почему? Не знаешь почему? Он свет видал, свою матку помнит. Понял ты: заснет ночью, она к нему во сне и приходит... Только она старая теперь, а снится ему все молодая... А тебе снится ли?

— Нет, — глухо ответил Петр.

— То-то нет. Это дело бывает, когда кто ослеп. А кто уж так родился!..

Петр стоял сумрачный и потемневший, точно на лицо его надвинулась туча. Брови звонаря тоже вдруг поднялись высоко над глазами, в которых виднелось так знакомое Эвелине выражение слепого страдания...

— И то согрешаешь не однажды... Господи, создатель, божья мать, пречистая!.. Дайте вы мне хоть во сне один раз свет-радость увидеть...

Лицо его передернулось судорогой, и он сказал с прежним желчным выражением:

— Так нет, не дают... Приснится что-то, забрезжит, а встанешь, не помнишь...

Он вдруг остановился и прислушался. Лицо его побледнело, и какое-то судорожное выражение исказило все черты.

— Чертенят впустили, — сказал он со злостью в голосе.

Действительно, снизу из узкого прохода, точно шум наводнения, неслись шаги и крики детей. На одно мгновение все стихло, вероятно, толпа выбежала на среднюю площадку, и шум выливался паружу. Но затем темный проход загудел, как труба, и мимо Эвелины, перегоняя друг друга, пронеслась веселая гурьба детей. У верхней ступеньки они остановились на мгновение, но затем один за другим стали шмыгать мимо слепого звонаря, который с искаженным от злобы лицом совал паудачу

сжатыми кулаками, стараясь попасть в кого-нибудь из бежавших.

В проходе вынырнуло вдруг из темноты новое лицо. Это был, очевидно, Роман. Лицо его было широко, изрыто оспой и чрезвычайно добродушно. Закрытые веки скрывали впадины глаз, на губах играла добродушная улыбка. Пройдя мимо прижавшейся к стене девушки, он поднялся на площадку. Размахнувшаяся рука его товарища попала ему сбоку в шею.

— Брат! — окликнул он приятным, грудным голосом. — Егорий, — опять воюешь?

Они столкнулись и ощупали друг друга.

— Зачем бисенят впустив? — спросил Егорий по-ма-лорусски, все еще со злостью в голосе.

— Нехай собі, — благодушно ответил Роман. — Пташки божии. Ось як ты их налякав. Де вы тут, бисенята?..

Дети сидели по углам у решеток, притаившись, и их глаза сверкали лукавством, а отчасти страхом.

Эвелина, неслышно ступая в темноте, сошла уже до половины первого прохода, когда за ней раздалась уверенные шаги обоих слепых, а сверху донесся радостный визг и крики ребят, кинувшихся целою стаей на оставшегося с ними Романа.

Компания тихо выезжала из монастырских ворот, когда с колокольни раздался первый удар. Это Роман зазвонил к вечерне.

Солнце село, коляска катилась по потемневшим полям, провожаемая ровными меланхолическими ударами, замيراющими в синих сумерках вечера.

Все молчали всю дорогу до самого дома. Вечером долго не было видно Петра. Он сидел где-то в темном углу сада, не откликаясь на призывы даже Эвелины, и прошел ощупью в комнату, когда все легли...

IV

Попельские прожили еще несколько дней у Ставрученков. К Петру по временам возвращалось его недавнее настроение, он бывал оживлен и по-своему весел, пробовал играть на новых для него инструментах, коллекция которых у старшего из сыновей Ставрученка была довольно обширна и которые очень занимали Петра — каждый со своим особенным голосом, способным выражать особенные оттенки чувства. Но все же в нем

была заметна какая-то омраченность, и минуты обычного состояния духа казались вспышками на общем все более темнеющем фоне.

Точно по безмолвному уговору, никто не возвращался к эпизоду в монастыре, и вся эта поездка как будто выпала у всех из памяти и забылась. Однако было заметно, что она запала глубоко в сердце слепого. Всякий раз, оставшись наедине или в минуты общего молчания, когда его не развлекали разговоры окружающих, Петр глубоко задумывался, и на лице его ложилось выражение какой-то горечи. Это было знакомое всем выражение, но теперь оно казалось более резким и... сильно напоминало слепого звонаря.

За фортепиано, в минуты наибольшей непосредственности, в его игру часто вплетался теперь мелкий перезвон колоколов и протяжные вздохи меди на высокой колокольне... И то, о чем никто не решался заговорить, ясно вставало у всех в воображении: мрачные переходы, тонкая фигура звонаря с чахоточным румянцем, его злые окрики и желчный ропот на судьбу... А затем оба слепца в одинаковых позах на вышке, с одинаковым выражением лиц, с одинаковыми движениями чутких бровей... То, что близкие до сих пор считали личной особенностью Петра, теперь являлось общей печатью темной стихии, простиравшей свою таинственную власть одинаково на всех своих жертв.

— Послушай, Аня,— спросил Максим у сестры по возвращении домой.— Не знаешь ли ты, что случилось во время нашей поездки? Я вижу, что мальчик изменился именно с этого дня.

— Ах, это все из-за встречи со слепым,— ответила Анна Михайловна со вздохом.

Она недавно еще отослала в монастырь две теплых бараньи шубы и деньги с письмом к отцу Памфилию, прося его облегчить по возможности участь обоих слепцов. У нее вообще было доброе сердце, но сначала она забыла о Романе, и только Эвелина напомнила ей, что следовало позаботиться об обоих. «Ах, да, да, конечно»,— ответила Анна Михайловна, но было видно, что ее мысли заняты одним. К ее жгучей жалости примешивалось отчасти суеверное чувство: ей казалось, что этой жертвой она умиловит какую-то темную силу, уже надвигающуюся мрачною тенью над головой ее ребенка.

— С каким слепым? — переспросил Максим с удивлением.

— Да с этим... на колокольне...

Максим сердито стукнул костылем.

— Какое проклятье — быть безногим чурбаном! Ты забываешь, что я не лазаю по колокольням, а от баб, видно не добьешься толку. Эвелина, попробуй хоть ты сказать разумно, что же такое было на колокольне?

— Там, — тихо ответила тоже побледневшая за эти дни девушка, — есть слепой звонарь... И он...

Она остановилась. Анна Михайловна закрыла ладонями пылающее лицо, по которому текли слезы.

— И он очень похож на Петра.

— И вы мне ничего не сказали! Ну, что же дальше? Это еще недостаточная причина для трагедий, Аня, — прибавил он с мягким укором.

— Ах, это так ужасно, — ответила Анна Михайловна тихо.

— Что же ужасно? Что он похож на твоего сына?

Эвелина многозначительно посмотрела на старика, и он смолк. Через несколько минут Анна Михайловна вышла, а Эвелина осталась со своей всегдашней работой в руках.

— Ты сказала не все? — спросил Максим после минутного молчания.

— Да. Когда все сошли вниз, Петр остался. Он велел тете Ане (она так называла Попельскую с детства) уйти за всеми, а сам остался со слепым... И я... тоже осталась.

— Подслушивать? — сказал старый педагог почти машинально.

— Я не могла... уйти... — ответила Эвелина тихо. — Они разговаривали друг с другом, как...

— Как товарищи по несчастью?

— Да, как слепые... Потом Егор спросил у Петра, видит ли он во сне мать? Петр говорит: «Не вижу». И тот тоже не видит. А другой слепец, Роман, видит во сне свою мать молодой, хотя она уже старая...

— Так! Что же дальше?

Эвелина задумалась и потом, поднимая на старика свои синие глаза, в которых теперь виднелась борьба и страдание, сказала:

— Тот, Роман, добрый и спокойный. Лицо у него грустное, но не злое... Он родился зрячим... А другой... Он очень страдает, — вдруг свернула она.

— Говори, пожалуйста, прямо, — нетерпеливо перебил Максим, — другой озлоблен?

— Да. Он хотел прибить детей и проклинал их. А Романа дети любят...

— Зол и похож на Петра... понимаю,— задумчиво сказал Максим.

Эвелина еще помолчала и затем, как будто эти слова стоили ей тяжелой внутренней борьбы, проговорила совсем тихо:

— Лицом оба не похожи... черты другие. Но в выражении... Мне казалось, что прежде у Петра бывало выражение немножко, как у Романа, а теперь все чаще виден тот, другой... и еще... Я боюсь, я думаю...

— Чего ты боишься? Поди сюда, моя умная крошка,— сказал Максим, с необычной нежностью. И, когда она, ослабевая от этой ласки, подошла к нему со слезами на глазах, он погладил ее шелковистые волосы своей большой рукой и сказал: — Что же ты думаешь? Скажи. Ты, я вижу, умеешь думать.

— Я думаю, что... он считает теперь, что... все слепорожденные злые... И он уверил себя, что он тоже... непременно.

— Да, вот что...— проговорил Максим, вдруг отнимая руку...— Дай мне мою трубку, голубушка... Вон она там, на окне.

Через несколько минут над его головой взвилось сильнее облако дыма.

— Гм... да... плохо,— ворчал он про себя.— Я ошибся... Аня была права: можно грустить и страдать о том, чего не испытал ни разу. А теперь к инстинкту присоединилось сознание, и оба пойдут в одном направлении. Проклятый случай... А впрочем, шила, как говорится, в мешке не спрячешь... Все где-нибудь выставится...

Он совсем потонул в сизых облаках... В квадратной голове старика кичели какие-то мысли и новые решения.

V

Пришла зима. Выпал глубокий снег и покрыл дороги, поля, деревни. Усадьба стояла вся белая, на деревьях лежали пушистые хлопья, точно сад опять распустился белыми листьями... В большом камине потрескивал огонь, каждый входящий со двора вносил с собою свежесть и запах мягкого снега...

Поэзия первого зимнего дня была по-своему доступ-

на слепому. Просыпаясь утром, он ощущал всегда особенную бодрость и узнавал приход зимы по топанию людей, входящих в кухню, по скрипу дверей, по острым едва уловимым струйкам, разбегавшимся по всему дому, по скрипу шагов на дворе, по особенной «холодности» всех наружных звуков. И когда он выезжал с Иохимом по первопутку в поле, то слушал с наслаждением звонкий скрип саней и какие-то гулкие щелканья, которыми лес из-за речки обменивался с дорогой и полем.

На этот раз первый белый день повеял на него только большею грустью. Надев с утра высокие сапоги, он пошел, прокладывая рыхлый след по девственным еще дорожкам, к мельнице.

В саду было совершенно тихо. Смерзшаяся земля, покрытая пушистым мягким слоем, совершенно смолкла, не отдавая звуков: зато воздух стал как-то особенно чутко, отчетливо и полно переносил на далекие расстояния и крик вороны, и удар топора, и легкий треск обломившейся ветки... По временам слышался странный звон, точно от стекла, переходивший на самые высокие ноты и замиравший как будто в огромном удалении. Это мальчишки кидали камни на деревенском пруду, покрывшемся к утру тонкой пленкой первого льда.

В усадьбе пруд тоже замерз, но речка у мельницы, отяжелевшая и темная, все еще сочилась в своих пушистых берегах и шумела на шлюзах.

Петр подошел к плотине и остановился, прислушиваясь. Звон воды был другой — тяжелее и без мелодии. В нем как будто чувствовался холод помертвевших окрестностей...

В душе Петра тоже было холодно и сумрачно. Темное чувство, которое еще в тот счастливый вечер поднималось из глубины души каким-то опасением, неудовлетворенностью и вопросом, теперь разрослось и заняло в душе место, принадлежавшее ощущениям радости и счастья.

Эвелины в усадьбе не было. Яскульские собрались с осени к «благодетельнице», старой графине Потоцкой, которая непременно требовала, чтобы старики привезли также дочь. Эвелина сначала противилась, но потом уступила настояниям отца, к которым очень энергично присоединился и Максим.

Теперь Петр, стоя у мельницы, вспоминал свои прежние ощущения, старался восстановить их прежнюю

полноту и цельность и спрашивал себя, чувствует ли он ее отсутствие. Он его чувствовал, но сознавал также, что и присутствие ее не дает ему счастья, а приносит особенное страдание, которое без нее несколько притупилось.

Еще так недавно в его ушах звучали ее слова, вставали все подробности первого объяснения, он чувствовал под руками ее шелковистые волосы, слышал у своей груди удары ее сердца. И из всего этого складывался какой-то образ, наполнявший его радостью. Теперь что-то бесформенное, как те призраки, которые населяли его темное воображение, ударило в этот образ мертвящим дуновением, и он разлетелся. Он уже не мог соединить свои воспоминания в ту гармоничную цельность чувства, которая переполняла его в первое время. Уже с самого начала на дне этого чувства лежало зернышко чего-то другого, и теперь это «другое» расстилалось над ним, как стелется грозовая туча по горизонту.

Звуки ее голоса угасли, и на месте ярких впечатлений счастливого вечера зияла пустота. А навстречу этой пустоте из самой глубины души слепого подымалось что-то с тяжелым усилием, чтобы ее заполнить.

Он хотел ее видеть!

Прежде он только чувствовал тупое душевное страдание, но оно откладывалось в душе неясно, тревожило смутно, как ноющая зубная боль, на которую мы еще не обращаем внимания.

Встреча с слепым звонарем придала этой боли остроту сознанного страдания...

Он ее полюбил и хотел ее видеть!

Так шли дни за днями в притихшей и занесенной снегом усадьбе.

По временам, когда мгновения счастья вставляли перед ним, живые и яркие, Петр несколько оживлялся, и лицо его прояснялось. Но это бывало ненадолго, а со временем даже эти светлые минуты приняли какой-то беспокойный характер: казалось, слепой боялся, что они улетят и никогда уже не вернуться. Это делало его обращение неровным: минуты порывистой нежности и сильного нервного возбуждения сменялись днями подавленной беспросветной печали. В темной гостиной по вечерам рояль плакала и надрывалась глубокою и болезненною грустью, и каждый ее звук отзывался болью

в сердце Анны Михайловны. Накопец худшие ее опасения сбылись: к юноше вернулись тревожные сны его детства.

Одним утром Анна Михайловна вошла в комнату сына. Он еще спал, но его сон был как-то странно тревожен: глаза полуоткрылись и тускло глядели из-под приподнятых век, лицо было бледно, и на нем виднелось выражение беспокойства.

Мать остановилась, окидывая сына внимательным взглядом, стараясь открыть причину странной тревоги. Но она видела только, что эта тревога все вырастает, и на лице спящего обозначается все яснее выражение напряженного усилия.

Вдруг ей почудилось над постелью какое-то едва уловимое движение. Яркий луч ослепительного зимнего солнца, ударивший в стену над самым изголовьем, будто дрогнул и слегка скользнул вниз. Еще и еще... светлая полоска тихо прокрадывалась к полуоткрытым глазам, и по мере ее приближения беспокойство спящего все возрастало.

Анна Михайловна стояла неподвижно, в состоянии, близком к кошмару, и не могла оторвать испуганного взгляда от огненной полосы, которая, казалось ей, легкими, но все же заметными толчками все ближе надвигается к лицу ее сына. И это лицо все больше бледнело, вытягивалось, застывало в выражении тяжелого усилия. Вот желтоватый отблеск заиграл в волосах, затеплился на лбу юноши. Мать вся подалась вперед, в инстинктивном стремлении защитить его, но ноги ее не двигались, точно в настоящем кошмаре. Между тем веки спящего совсем приподнялись, в неподвижных зрачках заискрились лучи, и голова заметно отделилась от подушки навстречу свету. Что-то вроде улыбки или плача пробежало судорожною вспышкой по губам, и все лицо опять застыло в неподвижном порыве.

Накопец мать победила оковавшую ее члены неподвижность и, подойдя к постели, положила руку на голову сына. Он вздрогнул и проснулся.

— Ты, мама? — спросил он.

— Да, это я.

Он приподнялся. Казалось, тяжелый туман застилал его сознание. Но через минуту он сказал:

— Я опять видел сон... Я теперь часто вижу сны, но... ничего не помню...

Беспросветная грусть сменялась в настроении юноши раздражительною нервностью и вместе с тем возрастала замечательная тонкость его ощущений. Слух его чрезвычайно обострился; свет он ощущал всем своим организмом, и это было заметно даже ночью: он мог отличать лунные ночи от темных и нередко долго ходил по двору, когда все в доме спали, молчаливый и грустный, отдаваясь странному действию мечтательного и фантастического лунного света. При этом его бледное лицо всегда поворачивалось за плывшим по синему небу огненным шаром, и глаза отражали искристый отблеск холодных лучей.

Когда же этот шар, все выраставший по мере приближения к земле, подергивался тяжелым красным туманом и тихо скрывался за снежным горизонтом, лицо слепого становилось спокойнее и мягче, и он уходил в свою комнату.

О чем он думал в эти долгие ночи, трудно сказать. В известном возрасте каждый, кто только изведал радости и муки вполне сознательного существования, переживает в большей или меньшей степени состояние душевного кризиса. Останавливаясь на рубеже действительной жизни, человек старается определить свое место в природе, свое значение, свои отношения к окружающему миру. Это своего рода «мертвая точка», и благо тому, кого размах жизненной силы проведет через нее без крупной ломки. У Петра этот душевный кризис еще осложнялся; к вопросу: «зачем жить на свете?» — он прибавлял: «зачем жить именно слепому?» Наконец, в самую эту работу нерадостной мысли вдвигалось еще что-то постороннее, какое-то почти физическое давление неутоленной потребности, и это отражалось на складе его характера.

Перед рождеством Яскульские вернулись, и Эвелина, живая и радостная, со снегом в волосах и вся обвеянная свежестью и холодом, прибежала из поссessorского хутора в усадьбу и кинулась обнимать Анну Михайловну, Петра и Максима. В первые минуты лицо Петра осветилось неожиданною радостью, но затем на нем появилось опять выражение какой-то упрямой грусти.

— Ты думаешь, я люблю тебя? — резко спросил он в тот же день, оставшись наедине с Эвелиной.

— Я в этом уверена, — ответила девушка.

— Ну, а я не знаю, — угрюмо возразил слепой. — Да, я не знаю. Прежде и я был уверен, что люблю тебя больше всего на свете, но теперь не знаю. Оставь меня, послушайся тех, кто зовет тебя к жизни, пока не поздно.

— Зачем ты мучишь меня? — вырвалась у нее тихая жалоба.

— Мучу? — переспросил юноша, и опять на его лице появилось выражение упрямого эгоизма. — Ну да, мучу. И буду мучить таким образом всю жизнь, и не могу не мучить. Я сам не знал этого, а теперь знаю. И я не виноват. Та самая рука, которая лишила меня зрения, когда я еще не родился, вложила в меня эту злобу... Мы все такие, рожденные слепыми. Оставь меня... бросьте меня все, потому что я могу дать одно страдание взамен любви... Я хочу видеть — понимаешь? хочу видеть и не могу освободиться от этого желания. Если б я мог увидеть таким образом мать, отца, тебя и Максима, я был бы доволен... Я запомнил бы, унес бы это воспоминание в темноту всей остальной жизни...

И он с замечательным упорством возвращался к этой идее. Оставаясь наедине, он брал в руки различные предметы, ощупывал их с небывалою внимательностью и потом, отложив их в сторону, старался вдумываться в изученные формы. Точно так же вдумывался он в те различия ярких цветных поверхностей, которые, при напряженной чуткости нервной системы, он смутно улавливал посредством осязания. Но все это пропикало в его сознание именно только как различия, в своих взаимных отношениях, но без определенного чувственного содержания. Теперь даже солнечный день он отличал от ночной темноты лишь потому, что действие яркого света, проникавшего к мозгу недоступными сознанию путями, только сильнее раздражало его мучительные порывы.

VII

Однажды, войдя в гостиную, Максим застал там Эвелину и Петра. Девушка казалась смущенной. Лицо юноши было мрачно. Казалось, разыскивать новые причины страдания и мучить ими себя и других стало для него чем-то вроде потребности.

— Вот он спрашивает,— сказала Эвелипа Максиму,— что может означать выражение «красный звон»? Я не могу ему объяснить.

— В чем дело? — спросил Максим коротко, обращаясь к Петру.

Тот пожал плечами.

— Ничего особенного. Но если у звуков есть цвета, и я их не вижу, то, значит, даже звуки недоступны мне во всей полноте.

— Пустяки и ребячество,— ответил Максим резко.— И ты сам хорошо знаешь, что это неправда. Звуки доступны тебе в большей полноте, чем нам.

— Но что же значит это выражение?.. Ведь должно же оно обозначать что-нибудь?

Максим задумался.

— Это простое сравнение,— сказал он.— Так как и звук, и свет, в сущности, сводятся к движению, то у них должно быть много общих свойств.

— Какие же тут разумеются свойства? — продолжал упрямо допрашивать слепой.— «Красный» звон... какой он именно?

Максим задумался.

Ему пришло в голову объяснение, сводящееся к относительным цифрам колебаний, но он знал, что юноше нужно не это. Притом же тот, кто первый употребил световой эпитет в применении к звуку, наверное не знал физики, а между тем уловил какое-то сходство. В чем же оно заключается?

В уме старика зародилось некоторое представление.

— Погоди,— сказал он.— Не знаю, впрочем, удастся ли мне объяснить тебе, как следует... Что такое красный звон, ты можешь узнать не хуже меня: ты слышал его не раз в городах, в большие праздники, только в нашем краю не принято это выражение...

— Да, да, погоди,— сказал Петр, быстро открывая пианино.

Он ударил своею умелой рукой по клавишам, подражая праздничному колокольному трезвону. Иллюзия была полная. Аккорд из нескольких невысоких топов составлял как бы фоп поглубже, а на нем выделялись, прыгая и колеблясь, высшие ноты, более подвижные и яркие. В общем это был именно тот высокий и возбужденно-радостный гул, который заполняет собою праздничный воздух.

— Да,— сказал Максим,— это очень похоже, и мы, с открытыми глазами, не сумели бы усвоить это лучше тебя. Вот, видишь ли... когда я смотрю на большую красную поверхность, она производит на мой глаз такое же беспокойное впечатление чего-то упруго-волнующегося. Кажется, будто эта краснота меняется: оставляя под собой более глубокий, темный фон, она кое-где выделяется более светлыми, быстро всплывающими и так же быстро упдающими взмахами, волнами, которые очень сильно действуют на глаз,— по крайней мере, на мой глаз.

— Это верно, верно! — живо сказала Эвелина.— Я чувствую то же самое и не могу долго смотреть на красную суконную скатерть...

— Так же, как пные не выносят праздничного трезвопа. Пожалуй, что мое сравнение и верно, и мне даже приходит в голову дальнейшее сопоставление: существует также «малиновый» звон, как и малиновый цвет. Оба они очень близки к красному, но только глубже, ровнее и мягче. Когда колокольчик долго был в употреблении, то он, как говорят любители, вызванивается. В его звуке исчезают неровности, режущие ухо, и тогда-то звон этот зовут малиновым. Того же эффекта достигают умелым подбором нескольких подголосков.

Под руками Петра нианно зазвенело взмахами почтовых колокольчиков.

— Нет,— сказал Максим.— Я бы сказал, что это слишком красно...

— А, помню!

И инструмент зазвенел ровнее. Начавшись высоко, оживленно и ярко, звуки становились все глубже и мягче. Так звонит набор колоколовцев под дугой русской тройки, удаляющейся по пыльной дороге в вечернюю неизвестную даль, тихо, ровно, без громких взмахов, все тише и тише, пока последние ноты не замрут в молчании спокойных полей.

— Вот-вот! — сказал Максим.— Ты понял разницу. Когда-то,— ты был еще ребенком,— мать пыталась объяснить тебе звуками краски.

— Да, я помню... Зачем ты запретил нам тогда продолжать? Может быть, мне удалось бы понять.

— Нет,— задумчиво ответил старик,— ничего бы не вышло. Впрочем, я думаю, что вообще на известной душевной глубине впечатления от цветов и от звуков откладываются уже, как однородные. Мы говорим: он ви-

дит все в розовом свете. Это значит, что человек настроен радостно. То же настроение может быть вызвано известным сочетанием звуков. Вообще звуки и цвета являются символами одинаковых душевных движений.

Старик закурил свою трубку и внимательно посмотрел на Петра. Слепой сидел неподвижно и, очевидно, жадно ловил слова Максима. «Продолжать ли?» — подумал старик, но через минуту начал как-то задумчиво, будто невольно отдаваясь странному направлению своих мыслей:

— Да, да! Станные мысли приходят мне в голову... Случайность это или нет, что кровь у нас красная. Видишь ли... когда в голове твоей рождается мысль, когда ты видишь свои сны, от которых, проснувшись, дрожишь и плачешь, когда человек весь вспыхивает от страсти, — это значит, что кровь бьет из сердца сильнее и приливает алыми ручьями к мозгу. Ну, и она у нас красная...

— Красная... горячая... — сказал юноша вдумчиво...

— Именно — красная и горячая. И вот, красный цвет, как и «красные» звуки, оставляют в нашей душе свет, возбуждение и представления о страсти, которую так и называют «горячею», кипучею, жаркою. Замечательно, что и художники считают красноватые тоны «горячими».

Затянувшись и окружив себя клубами дыма, Максим продолжал:

— Если ты взмахнешь рукой над своею головою, ты очертишь над ней полукруг. Теперь представь себе, что рука у тебя бесконечно длинна. Если бы ты мог тогда взмахнуть ею, то очертил бы полукруг в бесконечном отдалении... Так же далеко видим мы над собой полусферой свод неба; оно ровно, бесконечно и синее... Когда мы видим его таким, в душе является ощущение спокойствия и ясности. Когда же небо закроют тучи взволнованными и мутными очертаниями, тогда и наша душевная ясность возмущается неопределенным волнением. Ты ведь чувствуешь, когда приближается грозная туча...

— Да, я чувствую, как будто что-то смущает душу...

— Это верно. Мы ждем, когда из-за туч проглянет опять эта глубокая синева. Гроза пройдет, а небо над пео останется все то же; мы это знаем и потому спокойно переживаем грозу. Так вот, небо синее... Море то-

же сине, когда спокойно. У твоей матери сияние глаза. У Эвелины тоже.

— Как небо... — сказал слепой с внезапно проспущенной нежностью.

— Да. Голубые глаза считаются признаком ясной души. Теперь я скажу тебе о зеленом цвете. Земля сама по себе черна, черны или серы стволы деревьев весной; но как только теплые и светлые лучи разогреют темные поверхности, из них ползут кверху зеленая трава, зеленые листья. Для зелени нужны свет и тепло, но только не слишком много тепла и света. Оттого зелень так приятна для глаза. Зелень — это как будто тепло в смешении с сырою прохладой: она возбуждает представление о спокойном довольстве, здоровье, но не о страсти и не о том, что люди называют счастьем... Понял ли ты?

— Нет... не ясно... но все же, пожалуйста, говори дальше.

— Ну, что же делать!.. Слушай дальше. Когда лето разгорается все жарче, зелень как будто изнемогает от избытка жизненной силы, листья в истоме опускаются книзу и, если солнечный зной не умеряется сырою прохладой дождя, зелень может совсем поблекнуть. Зато к осени, среди усталой листвы наливается и алеет плод. Плод краснее на той стороне, где больше света; в нем как будто сосредоточена вся сила жизни, вся страсть растительной природы. Ты видишь, что красный цвет и здесь — цвет страсти, и он служит ее символом. Это цвет упоения, греха, ярости, гнева и мести. Народные массы во времена мятежей ищут выражения общего чувства в красном знамени, которое развеивается над ними, как пламя... Но ведь ты опять не понимаешь?..

— Все равно, продолжай!

— Наступает поздняя осень. Плод отяжелел; он срывается и падает на землю... Он умирает, но в нем живет семя, а в этом семени живет в «возможности» и все будущее растение, с его будущей роскошной листвой и с его новым плодом. Семя падает на землю; а над землей низко подымается уже холодное солнце, бежит холодный ветер, несутся холодные тучи... Не только страсть, но и самая жизнь замирают тихо, незаметно... Земля все больше проступает из-под зелени своей чернотой, в небе господствуют холодные тоны... И вот наступает день, когда на эту смирившуюся и притихшую, будто овдовевшую землю падают миллионы снежинок, и вся она становится ровна, одноцветна и бела... Белый

цвет — цвет холодного снега, цвет высочайших облаков, которые плывут в недостижимом холоде поднебесных высот, — цвет величавых и бесплодных горных вершин... Это — эмблема бесстрастия и холодной, высокой святости, эмблема будущей бесплотной жизни. Что же касается черного цвета...

— Знаю, — перебил слепой. — Это — нет звуков, нет движений... ночь...

— Да, и потому это — эмблема печали и смерти...

Петр вздрогнул и сказал глухо:

— Ты сам сказал: смерти. А ведь для меня все черно... всегда и всюду черно!

— Неправда, — резко ответил Максим, — для тебя существуют звуки, тепло, движение... ты окружен любовью... Многие отдали бы свет очей за то, чем ты пренебрегаешь, как безумец... Но ты слишком эгоистично носишься со своим горем...

— Да! — воскликнул Петр страстно, — я пошусь с ним поневоле: куда же мне уйти от него, когда оно всюду со мной?

— Если бы ты мог понять, что на свете есть горе во сто раз больше твоего, такое горе, в сравнении с которым твоя жизнь, обеспеченная и окруженная участием, может быть названа блаженством, — тогда...

— Неправда, неправда! — гневно перебил слепой тем же тоном страстного возбуждения. — Я поменялся бы с последним нищим, потому что он счастливее меня. Да и слепых вовсе не нужно окружать заботой: это большая ошибка... Слепых нужно выводить на дорогу и оставлять там, — пусть просят милостыню. Если б я был просто нищим, я был бы менее несчастен. С утра я думал бы о том, чтобы достать обед, считал бы подаваемые копейки и боялся бы, что их мало. Потом радовался бы удачному сбору, потом старался бы собрать на ночлег. А если бы это не удалось, я страдал бы от голода и холода... и все это не оставляло бы мне ни минуты и... и... от лишений я страдал бы менее, чем страдаю теперь...

— Ты думаешь? — спросил Максим холодно и посмотрел в сторону Эвелины. Во взгляде старика мелькнуло сожаление и участие. Девушка сидела серьезная и бледная.

— Уверен, — ответил Петр упрямо и жестко. — Я теперь часто завидую Егору, тому, что на колокольне. Ча-

сто, просынаясь под утро, особенно, когда на дворе метель и вьюга, я вспоминаю Егора: вот он подымается на свою вышку...

— Ему холодно, — подсказал Максим.

— Да, ему холодно, он дрожит и кашляет. И он проклинает Памфилия, который не заведет ему шубы. Потом он берет иззябшими руками веревки и звонит к заутрене. И забывает, что он слепой... Потому что тут было бы холодно и не слепому... А я не забываю, и мне...

— И тебе не за что проклинать!..

— Да! мне не за что проклинать! Моя жизнь наполнена одной слепотой. Никто не виноват, но я несчастнее всякого нищего...

— Не стану спорить, — холодно сказал старик. — Может быть, это и правда. Во всяком случае, если тебе и было бы хуже, то, может быть, сам ты был бы лучше.

Он еще раз бросил взгляд сожаления в сторону девушки и вышел из комнаты, стуча костылями.

Душевное состояние Петра после этого разговора еще обострилось, и он еще более погрузился в свою мучительную работу.

Иногда ему удавалось: он падал на мгновение те ощущения, о которых говорил Максим, и они присоединялись к его пространственным представлениям. Темная и грустная земля уходила куда-то вдаль: он мерил ее и не находил ей конца. А над нею было что-то другое... В воспоминании прокатывался гулкий гром, вставало представление о шире и небесном просторе. Потом гром смолкал, но что-то там, вверху, оставалось — что-то, рождавшее в душе ощущение величия и ясности. Порой это ощущение определялось: к нему присоединялся голос Эвелины и матери, «у которых глаза, как небо»; тогда возникающий образ, выливающийся из далекой глубины воображения и слишком определенно вдруг исчезал, переходя в другую область.

Все эти темные представления мучили и не удовлетворяли. Они стоили больших усилий и были так неясны, что в общем он чувствовал лишь неудовлетворенность и тупую душевную боль, которая сопровождала все потуги больной души, тщетно стремившейся восстановить полноту своих ощущений.

Подошла весна.

Верстах в шестидесяти от усадьбы Попельских в сторону, противоположную от Ставрученков, в небольшом городишке, была чудотворная католическая икона. Знатоки дела определили с полной точностью ее чудодейственную силу: всякий, кто приходил к иконе в день ее праздника пешком, пользовался «двадцатью днями отпущения», то есть все его беззакония, совершенные в течение двадцати дней, должны были идти на том свете насмарку. Поэтому каждый год, ранней весной, в известный день небольшой городок оживлялся и становился неузнаваем. Старая церковка принаряжалась к своему празднику первою зеленью и первыми весенними цветами, над городом стоял радостный звон колокола, грохотали «брички» панов, и богомольцы располагались густыми толпами по улицам, на площадях и даже далеко в поле. Тут были не одни католики. Слава N-ской иконы гремела далеко, и к ней приходили также недугующие и огорченные православные, преимущественно из городского класса.

В самый день праздника по обе стороны «каплицы» народ вытянулся по дороге несметною пестрою вереницей. Тому, кто посмотрел бы на это зрелище с вершины одного из холмов, окружавших местечко, могло бы показаться, что это гигантский зверь растянулся по дороге около часовни и лежит тут неподвижно, по временам только пошевеливая матовою чешуей разных цветов. По обеим сторонам занятой народом дороги в два ряда вытянулось целое полчище нищих, протягивавших руки за подаением.

Максим на своих костылях и рядом с ним Петр об руку с Иохимом тихо двигались вдоль улицы, которая вела к выходу в поле.

Говор многоголосной толпы, выкрикивание евреев-факторов, стук зкипажей,— весь этот грохот, катившийся какою-то гигантскою волной, остался сзади, сливаясь в одно непрерывное, колыхавшееся, подобно волне, рокотание. Но и здесь, хотя толпа была реже, все же то и дело слышался топот пешеходов, шуршание колес, людской говор. Целый обоз чумаков выезжал со стороны поля и, поскрипывая, грузно сворачивал в ближайший переулок.

Петр рассеянно прислушивался к этому живому

шуму, послушно следуя за Максимом; он то и дело запахивал пальто, так как было холодно, и продолжал на ходу ворочать в голове свои тяжелые мысли.

Но вдруг, среди этой эгоистической сосредоточенности, что-то поразило его внимание так сильно, что он вздрогнул и внезапно остановился.

Последние ряды городских зданий кончились здесь, и широкая трактовая дорога входила в город среди заборов и пустырей. У самого выхода в поле благочестивые руки воздвигли когда-то каменный столб с иконой и фонарем, который, впрочем, скрипел только вверху от ветра, но никогда не зажигался. У самого подножия этого столба расположились кучкой слепые нищие, оттертые своими зрячими конкурентами с более выгодных мест. Они сидели с деревянными чашками в руках и по временам кто-нибудь затягивал жалобную песню:

— Под-дайте слипеньким... ра-а-ди Христа...

День был холодный, нищие сидели здесь с утра, открытые свежему ветру, налетавшему с поля. Они не могли двигаться среди этой толпы, чтобы согреться, и в их голосах, тянувших по очереди унылую песню, слышалась безотчетная жалоба физического страдания и полной беспомощности. Первые ноты слышались еще довольно отчетливо, но затем из сдавленных грудей вырывался только жалобный ропот, замиравший тихой дрожью озноба. Тем не менее даже последние, самые тихие звуки песни, почти терявшиеся среди уличного шума, достигая человеческого слуха, поражали всякого громадностью заключенного в них непосредственного страдания.

Петр остановился, и его лицо исказилось, точно какой-то слуховой призрак явился перед ним в виде этого страдальческого вопля.

— Что же ты испугался? — спросил Максим. — Это те самые счастливицы, которым ты недавно завидовал, — слепые нищие, которые просят здесь милостыню... Им немного холодно, конечно. Но ведь от этого, по-твоему, им только лучше.

— Уйдем! — сказал Петр, хватая его за руку.

— А, ты хочешь уйти! У тебя в душе не найдется другого побуждения при виде чужих страданий! Постой, я хочу поговорить с тобой серьезно и рад, что это будет именно здесь. Ты вот сердишься, что времена изменились, что теперь слепых не рубят в ночных сечах, как Юрка-бандуриста; ты досадуешь, что тебе некого

проклинать, как Егору, а сам проклинаешь в душе своих близких за то, что они отняли у тебя счастливую долю этих слепых. Клянусь честью, ты, может быть, прав! Да, клянусь честью старого солдата, всякий человек имеет право располагать своей судьбой, а ты уже человек. Слушай же теперь, что я скажу тебе: если ты захочешь исправить нашу ошибку, если ты швырнешь судьбе в глаза все преимущества, которыми жизнь окружила тебя с колыбели, и захочешь испытать участь вот этих несчастных... я, Максим Яценко, обещаю тебе свое уважение, помощь и содействие... Слышишь ты меня, Петр Яценко? Я был немногим старше тебя, когда понес свою голову в огонь и сечу... Обо мне тоже плакала мать, как будет плакать о тебе. Но, черт возьми! я полагаю, что был в своем праве, как и ты теперь в своем!.. Раз в жизни к каждому человеку приходит судьба и говорит: выбирай! Итак, тебе стоит захотеть... Хведор Кандыба, ты здесь? — крикнул он по направлению к слепым.

Один голос отделился от скрипучего хора и ответил:

— Тут я... Это вы кличете, Максим Михайлович?

— Я! Приходи через неделю, куда я сказал.

— Приду, паночку.— И голос слепца опять примкнул к хору.

— Вот, ты увидишь человека,— сказал, сверкая глазами, Максим,— который вправе роптать на судьбу и на людей. Поучись у него переносить свою долю... А ты...

— Пойдем, паничу,— сказал Иохим, кидая на старика сердитый взгляд.

— Нет, постой! — гневно крикнул Максим.— Никто еще не прошел мимо слепых, не кинув им хоть пятака. Неужели ты убежишь, не сделав даже этого? Ты умеешь только кощунствовать со своею сытою завистью к чужому голоду!..

Петр поднял голову, точно от удара кнутом. Вынув из кармана свой кошелек, он пошел по направлению к слепым. Нащупав палкою переднего, он разыскал рукой деревянную чашку с медью и бережно положил туда свои деньги. Несколько прохожих остановились и смотрели с удивлением на богато одетого и красивого панича, который ощупью подавал милостыню слепому, принимавшему ее также ощупью.

Между тем Максим круто повернулся и заковылял по улице. Его лицо было красно, глаза горели... С ним

была, очевидно, одна из тех вспышек, которые были хорошо известны всем, знавшим его в молодости. И теперь это был уже не педагог, взвешивающий каждое слово, а страстный человек, давший волю гневному чувству. Только кинув искоса взгляд на Петра, старик как будто смягчился. Петр был бледен, как бумага, но брови его были сжаты, а лицо глубоко взволновано.

Холодный ветер взметал за ними пыль на улицах местечка. Сзади, среди слепых поднялся говор и ссоры из-за данных Петром денег...

IX

Было ли это следствием простуды, или разрешением долгого душевного кризиса, или, наконец, то и другое соединилось вместе, но только на другой день Петр лежал в своей комнате в нервной горячке. Он метался в постели с искаженным лицом, по временам к чему-то прислушиваясь и куда-то порывался бежать. Старый доктор из местечка щупал пульс и говорил о холодном весеннем ветре; Максим хмурил брови и не глядел на сестру.

Болезнь была упорна. Когда наступил кризис, больной лежал несколько дней почти без движения. Наконец молодой организм победил.

Раз, светлым весенним утром, яркий луч прорвался в окно и упал к изголовью больного. Заметив это, Анна Михайловна обратилась к Эвелине:

— Задерни занавеску... Я так боюсь этого света...

Девушка поднялась, чтобы исполнить приказание, но неожиданно раздавшийся, в первый раз, голос больного остановил ее:

— Нет, ничего. Пожалуйста... оставьте так...

Обе женщины радостно склонились над ним.

— Ты слышишь?.. Я здесь!.. — сказала мать.

— Да! — ответил он и потом смолк, будто стараясь что-то припомнить. — Ах, да!.. — заговорил он тихо и вдруг попытался подняться. — Тот... Федор приходил уже? — спросил он.

Эвелина переглянулась с Анной Михайловной, и та закрыла ему рот рукой.

— Тише, тише! Не говори; тебе вредно.

Он прижал руку матери к губам и покрыв ее поцелуями. На его глазах стояли слезы. Он долго плакал, и это его облегчило.

Несколько дней он был как-то кротко задумчив, и на лице его появлялось выражение тревоги всякий раз, когда мимо комнаты проходил Максим. Женщины заметили это и просили Максима держаться подальше. Но однажды Петр сам попросил позвать его и оставить их вдвоем.

Войдя в комнату, Максим взял его за руку и ласково погладил ее.

— Ну-ну, мой мальчик,— сказал он.— Я, кажется, должен просить у тебя прощения...

— Я понимаю,— тихо сказал Петр, отвечая на пожатие.— Ты дал мне урок, и я тебе за него благодарен.

— К черту уроки! — ответил Максим с гримасой нетерпения.— Слишком долго оставаться педагогом — это ужасно оглушает. Нет, этот раз я не думал ни о каких уроках, а просто очень рассердился на тебя и на себя...

— Значит, ты действительно хотел, чтобы?..

— Хотел, хотел!.. Кто знает, чего хочет человек, когда взбесится... Я хотел, чтобы ты почувствовал чужое горе и перестал так носиться со своим...

Оба замолчали...

— Эта песня,— через минуту сказал Петр,— я помнил ее даже во время бреда... А кто этот Федор, которого ты звал?

— Федор Кандыба, мой старый знакомый.

— Он тоже... родился слепым?

— Хуже: ему выжгло глаза на войне.

— И он ходит по свету и поет эту песню?

— Да, и кормит ею целый выводок сирот племянников. И еще находит для каждого веселое слово и шутку...

— Да? — задумчиво переспросил Петр.— Как хочешь, в этом есть какая-то тайна. И я хотел бы...

— Что ты хотел бы, мой мальчик?..

Через несколько минут послышались шаги, и Анна Михайловна вошла в комнату, тревожно вглядываясь в их лица, видимо, взволнованные разговором, который оборвался с ее приходом.

Молодой организм, раз победив болезнь, быстро справлялся с ее остатками. Недели через две Петр был уже на ногах.

Он сильно изменился, изменились даже черты лица,— в них не было заметно прежних припадков остро-

го внутреннего страдания. Резкое нравственное потрясение перешло теперь в тихую задумчивость и спокойную грусть.

Максим боялся, что это только временная перемена, вызванная тем, что нервная напряженность ослаблена болезнью. Однажды в сумерки, подойдя в первый раз после болезни к фортепиано, Петр стал, по обыкновению, фантазировать. Мелодии звучали грустные и ровные, как его настроение. Но вот, внезапно, среди звуков, полных тихой печали, прорвались первые ноты песни слепых. Мелодия сразу распалась... Петр быстро поднялся, его лицо было искажено, и на глазах стояли слезы. Видимо, он не мог еще справиться с сильным впечатлением жизненного диссонанса, явившегося ему в форме этой скрипучей и тяжелой жалобы.

В этот вечер Максим опять долго говорил с Петром наедине. После этого проходили недели, и настроение слепого оставалось все тем же. Казалось, слишком острое и эгоистическое сознание личного горя, вносившее в душу пассивность и угнетающее врожденную энергию, теперь дрогнуло и уступило место чему-то другому. Он опять ставил себе цели, строил планы; жизнь зарождалась в нем, надломленная душа давала победы, как захиревшее деревцо, на которое весна пахнула живительным дыханием... Было, между прочим, решено, что еще этим летом Петр поедет в Киев, чтобы с осени начать уроки у известного пианиста. При этом оба они с Максимом настояли, что они поедут только вдвоем.

Х

Теплою июльскою ночью бричка, запряженная парой лошадей, остановилась на ночлег в поле, у опушки леса. Утром, на самой заре, двое слепых прошли шляхом. Один вертел рукоятку примитивного инструмента: деревянный валик кружился в отверстии пустого ящика и терся о туго натянутые струны, издававшие однотонное и печальное жужжание. Несколько гнусавый, но приятный старческий голос пел утреннюю молитву.

Проезжавшие дорогой хохлы с таранью видели, как слепцов подозвали к бричке, около которой, на разостланном ковре, сидели ночевавшие в стени господ. Ког-

да через некоторое время обозчики остановились на водопой у криницы, то мимо них опять прошли слепцы, но на этот раз их уже было трое. Впереди, постукивая перед собою длинной палкой, шел старик с развевающимися седыми волосами и длинными белыми усами. Лоб его был покрыт старыми язвами, как будто от обжога; вместо глаз были только впадины. Через плечо у него была надета широкая тесьма, привязанная к поясу следующего. Второй был рослый детина, с желчным лицом, сильно изрытым оспой. Оба они шли привычным шагом, поднимая незрячие лица кверху, как будто разыскивая там свою дорогу. Третий был совсем юноша, в новой крестьянской одежде, с бледным и как будто слегка испуганным лицом; его шаги были неуверенны, и по временам он останавливался, как будто прислушиваясь к чему-то назади и мешая движению товарищей.

Часам к десяти они ушли далеко. Лес остался синей полосой на горизонте. Кругом была стена, и впереди слышался звон разогреваемой солнцем проволоки на шоссе, пересекавшем пыльный плях. Слепцы вышли на него и повернули вправо, когда сзади послышался топот лошадей и сухой стук кованых колес по щебню. Слепцы выстроились у края дороги. Опять зажужжало деревянное колесо по струнам, и старческий голос затянул:

— Под-дайте сли-пеньким...— К жужжанию колеса присоединился тихий перебор струн под пальцами юноши.

Монета зазвенела у самых ног старого Кандыбы. Стук колес смолк, видимо, проезжающие остановились, чтобы посмотреть, найдут ли слепые монету. Кандыба сразу нашел ее, и на лице появилось довольное выражение.

— Бог спасет,— сказал он по направлению к бричке, в сиденье которой виднелась квадратная фигура седого господина, и два костыля торчали сбоку.

Старик внимательно смотрел на юношу-слепца... Тот стоял бледный, но уже успокоившийся. При первых же звуках песни его руки нервно забегали по струнам, как будто покрывая их звоном ее резкие ноты... Бричка опять тронулась, но старик долго оглядывался назад.

Вскоре стук колес замолк в отдалении. Слепцы опять вытянулись в линию и пошли по шоссе...

— У тебя, Юрий, легкая рука,— сказал старик.— И играешь славно...

Через несколько минут средний слепец спросил:

— По обещанию идешь в Почаев?.. Для бога?

— Да,— тихо ответил юноша.

— Думаешь, прозришь?..— спросил тот опять с горькой улыбкой...

— Бывает,— мягко сказал старик.

— Давно хожу, а не встречал,— угрюмо возразил рябой, и они опять пошли молча. Солнце подымалось все выше, виднелась только белая линия шоссе, прямого как стрела, темные фигуры слепых и впереди черная точка проехавшего экипажа. Затем дорога разделилась. Бричка направилась к Киеву, слепцы опять свернули проселками на Почаев.

Вскоре из Киева пришло в усадьбу письмо от Максима. Он писал, что оба они здоровы и что все устроивается хорошо.

А в это время трое слепых двигались все дальше. Теперь все шли уже согласно. Впереди, все так же постукивая палкой, шел Кандыба, отлично знавший дороги и поспевавший в большие села к праздникам и базарам. Народ собирался на стройные звуки маленького оркестра, и в шапке Кандыбы то и дело звякали монеты.

Волнение и испуг на лице юноши давно исчезли, уступая место другому выражению. С каждым новым шагом навстречу ему лились новые звуки неведомого, широкого, необъятного мира, сменившего теперь ленивый и убаюкивающий шорох тихой усадьбы... Незрячие глаза расширялись, ширилась грудь, слух еще обострялся; он узнавал своих спутников, добродушного Кандыбу и желчного Кузьму, долго брел за скрипучими возами чумаков, ночевал в степи у огней, слушал гомон ярмарок и базаров, узнавал горе, слепое и зрячее, от которого не раз больно сжималось его сердце... И странное дело — теперь он находил в своей душе место для всех этих ощущений. Он совершенно одолел песню слепых, и день за днем под гул этого великого моря все более стихали на дне души личные порывания к невозможному... Чуткая память ловила всякую новую песню и мелодию, а когда дорогой он начинал перебирать свои струны, то даже на лице желчного Кузьмы появлялось спокойное умиление. По мере приближения к Почаеву банда слепых все росла.

Позднею осенью, по дороге, занесенной снегами, к великому удивлению всех в усадьбе, панич неожиданно вернулся с двумя слепцами в нищенской одежде. Кругом говорили, что он ходил в Почаев по обету, чтобы вымолить у почаевской богородицы исцеление.

Впрочем, глаза его оставались по-прежнему чистыми и по-прежнему незрячими. Но душа, несомненно, исцелилась. Как будто страшный кошмар навсегда исчез из усадьбы... Когда Максим, продолжавший писать из Киева, наконец вернулся тоже, Анна Михайловна встретила его фразой: «Я никогда, никогда не прощу тебе этого». Но лицо ее противоречило суровым словам...

Долгими вечерами Петр рассказывал о своих странствиях, и в сумерки фортепиано звучало новыми мелодиями, каких никто не слышал у него раньше... Поездка в Киев была отложена на год, вся семья жила надеждами и планами Петра...

Глава седьмая

I

В ту же осень Эвелина объявила старикам Яскульским свое неизменное решение выйти за слепого «из усадьбы». Старушка мать заплакала, а отец, помолившись перед иконами, объявил, что, по его мнению, именно такова воля божия относительно данного случая.

Сыграли свадьбу. Для Петра началось молодое тихое счастье, но сквозь это счастье все же пробивалась какая-то тревога: в самые светлые минуты он улыбался так, что сквозь эту улыбку виднелось грустное сомнение, как будто он не считал этого счастья законным и прочным. Когда же ему сообщили, что, быть может, он станет отцом, он встретил это сообщение с выражением испуга.

Тем не менее настоящая его жизнь, проходившая в серьезной работе над собой, в тревожных думах о жене и будущем ребенке, не позволяла ему сосредоточиваться на прежних бесплодных потугах. По временам также, среди этих забот, в его душе поднимались воспоминания о жалобном воле слепых. Тогда он отправлялся

в село, где на краю стояла теперь новая изба Федора Кацдыбы и его рябого племянника. Федор брал свою кобзу, или они долго разговаривали, и мысли Петра принимали спокойное направление, а его планы опять крепили.

Теперь он стал менее чувствителен к внешним световым побуждениям, а прежняя внутренняя работа улеглась. Тревожные органические силы уснули: он не будил их сознательным стремлением воли — слить в одно целое разнородные ощущения. На месте этих бесплодных потуг стояли живые воспоминания и надежды. Но, кто знает, — быть может, душевное затишье только способствовало бессознательной органической работе, и эти смутные, разрозненные ощущения тем успешнее прокладывали в его мозгу пути по направлению друг к другу. Так, во сне мозг часто свободно творит идеи и образы, которых ему никогда бы не создать при участии воли.

II

В той самой комнате, где некогда родился Петр, стояла тишина, среди которой раздавался только всхлипывающий плач ребенка. Со времени его рождения прошло уже несколько дней, и Эвелина быстро поправлялась. Но зато Петр все эти дни казался подавленным сознанием какого-то близкого несчастья.

Приехал доктор. Взяв ребенка на руки, он перенес и уложил его поближе к окну. Быстро отдернув занавеску, он пропустил в комнату луч яркого света и наклонился над мальчиком с своими инструментами. Петр сидел тут же с опущенной головой, все такой же подавленный и безучастный. Казалось, он не придавал действиям доктора ни малейшего значения, предвидя вперед результаты.

— Он, наверное, слеп, — твердил он. — Ему не следовало бы родиться.

Молодой доктор не отвечал и молча продолжал свои наблюдения. Наконец он положил офтальмоскоп, и в комнате раздался его уверенный, спокойный голос:

— Зрачок сокращается. Ребенок видит несомненно.

Петр вздрогнул и быстро стал на ноги. Это движение показывало, что он слышал слова доктора, но, судя по выражению его лица, он как будто не понял их значения. Опершись дрожащею рукой на подоконник, он

застыл на месте с бледным, приподнятым кверху лицом и неподвижными чертами.

До этой минуты он находился в состоянии странного возбуждения. Он будто не чувствовал себя, но вместе с тем все фибры в нем жили и трепетали от ожидания.

Он сознавал темноту, которая его окружала. Он ее выделил, чувствовал ее вне себя, во всей ее необъятности. Она надвигалась на него, он охватывал ее воображением, как будто меряясь с нею. Он вставал ей навстречу, желая защитить своего ребенка, от этого необъятного, колеблющегося океана непроницаемой тьмы.

И пока доктор в молчании делал свои приготовления, он все находился в этом состоянии. Он боялся и прежде, но прежде в его душе жили еще признаки надежды. Теперь страх, томительный и ужасный, достиг крайнего напряжения, овладев возбужденными до последней степени нервами, а надежда замерла, скрывшись где-то в глубоких тайниках его сердца. И вдруг эти два слова: «ребенок видит!» — перевернули его настроение. Страх мгновенно схлынул, надежда также мгновенно превратилась в уверенность, осветив чутко приподнятый душевный строй слепого. Это был внезапный переворот, настоящий удар, ворвавшийся в темную душу поражающим, ярким, как молния, лучом. Два слова доктора будто прожгли в его мозгу огненную дорогу... Будто искра вспыхнула где-то внутри и осветила последние тайники его организма... Все в нем дрогнуло, и сам он задрожал, как дрожит туго натянутая струна под внезапным ударом.

И вслед за этой молнией перед его потухшими еще до рождения глазами вдруг зажглись странные призраки. Были ли это лучи или звуки, он не отдавал себе отчета. Это были звуки, которые оживали, принимали формы и двигались лучами. Они сияли, как купол небесного свода, они катились, как яркое солнце по небу, они волновались, как волнуется шепот и шелест зеленой степи, они качались, как ветви задумчивых буков.

Это было только первое мгновение, и только смешанные ощущения этого мгновения остались у него в памяти. Все остальное он впоследствии забыл. Он только упорно утверждал, что в эти несколько мгновений он видел.

Что именно он видел, и как видел, и видел ли действительно, — оставалось совершенно неизвестным. Многие говорили ему, что это невозможно, но он стоял

на своем, уверяя, что видел небо и землю, мать, жену и Максима.

В течение нескольких секунд он стоял с приподнятым кверху и просветлевшим лицом. Он был так страшен, что все невольно обратились к нему, и кругом все смолкло. Всем казалось, что человек, стоявший среди комнаты, был не тот, которого они так хорошо знали, а какой-то другой, незнакомый. А тот прежний исчез, окруженный внезапно опустившеюся на него тайной.

И он был с этою тайной наедине несколько кратких мгновений... Впоследствии от них осталось только чувство какого-то удовлетворения и странная уверенность, что тогда он видел.

Могло ли это быть на самом деле?

Могло ли быть, чтобы смутные и неясные световые ощущения, пробивавшиеся к темному мозгу неизвестными путями в те минуты, когда слепой весь трепетал и напрягался навстречу солнечному дню, — теперь, в минуту внезапного экстаза, всплыли в мозгу, как проявляющийся туманный негатив?..

И перед незрячими глазами встало синее небо, и яркое солнце, и прозрачная река с холмиком, на котором он пережил так много и так часто плакал еще ребенком... И потом и мельница, и звездные ночи, в которые он так мучился, и молчаливая, грустная луна... И пыльный шлях, и линия шоссе, и обозы с сверкающими шинами колес, и пестрая толпа, среди которой он сам пел песню слепых...

Или в его мозгу заронились фантастическими призраками неведомые горы, и легли вдаль неведомые равнины, и чудные призрачные деревья качались над гладью неведомых рек, и прозрачное солнце заливало эту картину ярким светом, — солнце, на которое смотрели бесчисленные поколения его предков?

Или все это ронлось бесформенными ощущениями в той глубине темного мозга, о которой говорил Максим, и где лучи и звуки откладываются одинаково весельем или грустью, радостью или тоской?..

И он только вспоминал впоследствии стройный аккорд, прозвучавший на мгновение в его душе, — аккорд, в котором сплелись в одно целое все впечатления его жизни, ощущения природы и живая любовь.

Кто знает?

Он помнил только, как на него спустилась эта тайна и как она его оставила. В это последнее мгновение

образы-звуки сплелись и смешались, звеня и колеблясь, дрожа и смойкая, как дрожит и смолкает упругая струна: сначала выше и громче, потом все тише, чуть слышно... казалось, что-то скатывается по гигантскому радиусу в беспросветную тьму...

Вот оно скатилось и смолкло.

Тьма и молчание... Какие-то смутные призраки пытаются еще возродиться из глубокого мрака, но они не имеют уже ни формы, ни тона, ни цвета... Только где-то далеко внизу зазвенели переливы гаммы, пестрыми рядами прорезали тьму и тоже скатились в пространство.

Тогда вдруг внешние звуки достигли его слуха в своей обычной форме. Он будто проснулся, но все еще стоял, озаренный и радостный, сжимая руки матери и Максима.

— Что это с тобой? — спросила мать встревоженным голосом.

— Ничего... мне кажется, что я... видел вас всех. Я ведь... не сплю?

— А теперь? — взволнованно спросила она. — Помнишь ли ты, будешь ли помнить?

Слепой глубоко вздохнул.

— Нет, — ответил он с усилием. — Но это ничего, потому что... Я отдал все это... ему... ребенку и... и всем...

Он пошатнулся и потерял сознание. Его лицо побледнело, но на нем все еще блуждал отблеск радостного удовлетворения.

Эпилог

Прошло три года.

Многочисленная публика собралась в Киеве, во время «Контрактов»¹, слушать оригинального музыканта. Он был слеп, но молва передавала чудеса об его музыкальном таланте и о его личной судьбе. Говорили, будто в детстве он был похищен из зажиточной семьи бандой слепцов, с которыми бродил, пока известный профессор не обратил внимания на его замечательный музыкальный талант. Другие передавали, что он сам ушел из семьи к нищим из каких-то романтических побуждений. Как бы то ни было, контрактная зала была набита

¹ Напомним, что «Контрактами» называют киевскую ярмарку.

битком, и сбор (имевший неизвестное публике благотворительное назначение) был полный.

В зале настала глубокая тишина, когда на эстраде появился молодой человек с красивыми большими глазами и бледным лицом. Никто не признал бы его слепым, если б эти глаза не были так неподвижны и если б его не вела молодая белокурая дама, как говорили, жена музыканта.

— Немудрено, что он производит такое потрясающее впечатление, — говорил в толпе какой-то зоиц своему соседу. — У него замечательно драматическая наружность.

Действительно, и это бледное лицо с выражением вдумчивого внимания, и неподвижные глаза, и вся его фигура предрасполагали к чему-то особенному, непривичному.

Южно-русская публика вообще любит и ценит свои родные мелодии, но здесь даже разношерстная «контрактовая» толпа была сразу захвачена глубокой искренностью выражения. Живое чувство родной природы, чуткая оригинальная связь с непосредственными источниками народной мелодии сказывались в импровизации, которая лилась из-под рук слепого музыканта. Богатая красками, гибкая и певучая, она бежала звонкою струей, то поднимаясь торжественным гимном, то разливаясь задушевым грустным напевом. Казалось по временам: то буря гулко гремит в небесах, раскатываясь в бесконечном просторе, то лишь степной ветер звенит в траве, на кургане, навевая смутные грезы о минувшем.

Когда он смолк, гром рукоплесканий охваченной восторгом толпы наполнил громадную залу. Слепой сидел с опущенною головой, удивленно прислушиваясь к этому грохоту. Но вот он опять поднял руки и ударил по клавишам. Многолюдная зала мгновенно притихла.

В эту минуту вошел Максим. Он внимательно оглядел эту толпу, охваченную одним чувством, направившую на слепого жадные, горящие взгляды.

Старик слушал и ждал. Он больше, чем кто-нибудь другой в этой толпе, понимал живую драму этих звуков. Ему казалось, что эта могучая импровизация, так свободно льющаяся из души музыканта, вдруг оборвется, как прежде, тревожным, болезненным вопросом, который откроет новую рану в душе его слепого питомца. Но звуки росли, крепли, полнели, становились все

более и более властными, захватывали сердце объединенной и замиравшей толпы.

И чем больше прислушивался Максим, тем яснее звучал для него в игре слепого знакомый мотив.

Да, это она, шумная улица. Светлая, гремучая, полная жизни волна катится, дробясь, сверкая и рассыпаясь тысячью звуков. Она то поднимается, возрастает, то падает опять к отдаленному, но неумолчному рокоту, оставаясь все время спокойной, красиво-бесстрастной, холодной и безучастной.

И вдруг сердце Максима упало. Из-под рук музыканта опять, как и некогда, вырвался стон.

Вырвался, прозвенел и замер. И опять живой рокот, все ярче и сильнее, сверкающий и подвижный, счастливый и светлый.

Это уже не одни стоны личного горя, не одно слепое страдание. На глазах старика появились слезы. Слезы были и на глазах его соседей.

«Он прозрел, да, это правда — он прозрел», — думал Максим.

Среди яркой и оживленной мелодии, счастливой и свободной, как степной ветер, и, как он, беззаботной, среди пестрого и широкого гула жизни, среди то грустного, то величавого напева народной песни все чаще, все настойчивее и сильнее прорывалась какая-то за душу хватающая нота.

«Так, так, мой мальчик, — мысленно ободрял Максим, — настигай их среди веселья и счастья...»

Через минуту над заколдованной толпой в огромной зале, властная и захватывающая, стояла уже одна только песня слепых...

— Подайте слипеньким... р-ради Христа.

Но это уже была не просьба о милостыне и не жалкий вопль, заглушаемый шумом улицы. В ней было все то, что было и прежде, когда, под его влиянием, лицо Петра искажалось и он бежал от фортепиано, не в силах бороться с ее разъедающей болью. Теперь он одолел ее в своей душе и побеждал души этой толпы глубиной и ужасом жизненной правды... Это была тьма на фоне яркого света, напоминание о горе среди полноты счастливой жизни...

Казалось, будто удар разразился над толпой, и каждое сердце дрожало, как будто он касался его своими быстро бегающими руками. Он давно уже смолк, но толпа хранила гробовое молчание.

Максим опустил голову и думал:

«Да, он прозрел... На место слепого и неутолимого эгоистического страдания он носит в душе ощущение жизни, он чувствует и людское горе, и людскую радость, он прозрел и сумеет напомнить счастливым о несчастных...»

И старый солдат все ниже опускал голову. Вот и он сделал свое дело, и он не даром прожил на свете, ему говорили об этом полные силы властные звуки, стоявшие в зале, царившие над толпой...

Так дебютировал слепой музыкант.

1886—1898

РЕКА ИГРАЕТ

Эскизы из дорожного альбома

I

Проснувшись, я долго не мог сообразить, где я.

Надо мной расстилалось голубое небо, по которому тихо плыло и таяло сверкающее облако. Закинув несколько голову, я мог видеть в вышине темную деревянную церковку, наивно глядевшую на меня из-за зеленых деревьев, с высокой кручи. Вправо, в нескольких саженьях от меня, стоял какой-то знакомый шалаш, влево — серый неуклюжий столб с широкою дощатою крышей, с кружкой и с доской, на которой было написано:

Пожертвуйте проходящим
на колоколо господне.

А у самых моих ног плескалась река.

Этот-то плеск и разбудил меня от сладкого сна. Давно уже он прорывался к моему сознанию беспокоящим шепотом, точно ласкающий, но вместе беспощадный голос, который подымает на заре для неизбежного трудового дня. А вставать так не хочется...

Я опять закрыл глаза, чтоб отдать себе, не двигаясь, отчет в том, как это я очутился здесь, под открытым небом на берегу плещущей речки, в соседстве этого ша-

лаша и этого столба с простодушным обращением к проходящим.

Понемногу в уме моем восстановились предшествующие обстоятельства. Предыдущие сутки я провел на Святом озере, у невидимого града Китежа, толкаясь между народом, слушая гнусавое пение нищих слепцов, останавливаясь у импровизованных алтарей под развесистыми деревьями, где беспоповцы, скитники и скитницы разных толков пели свои службы, между тем как в других местах, в густых кучках народа, кипели страстные религиозные споры. Ночь я простоял всю на ногах, сжатый в густой толпе у старой часовни. Мне вспомнились утомленные лица миссионера и двух священников, кучи книг на аналое, огни восковых свечей, при помощи которых спорившие разыскивали нужные тексты в толстых фолиантах, возбужденные лица «раскольников» и «церковных», встречавших многоголосым говором каждое удачное возражение. Вспомнилась старая часовня с раскрытыми дверями, в которые виднелись желтые огоньки у икон, между тем как по синему небу ясная луна тихо плыла и над часовней, и над темными, спокойно шептавшимися деревьями. На заре я с трудом протолкался из толпы на простор и, усталый, с головой, отяжелевшей от бесплодной схоластики этих споров, с сердцем, сжимавшимся от безотчетной тоски и разочарования, — пошелся полевыми дорогами по направлению к синей полосе приветлужских лесов, вслед за вереницами расходившихся богомольцев. Тяжелые, нерадостные впечатления уносил я от берегов Святого озера, от невидимого, но страстно взыскуемого народом града... Точно в душном склепе, при тусклом свете угасающей лампы, провел я всю эту бессонную ночь, прислушиваясь, как где-то за стеной кто-то читает мерным голосом заупокойные молитвы над заснувшей навеки народною мыслью.

Солнце встало уже над лесами и водами Ветлуги, когда я, пройдя около пятнадцати верст лесными тропами, вышел к реке и тотчас же свалился на песок, точно мертвый, от усталости и вынесенных с озера суровых впечатлений.

Вспомнив, что я уже далеко от них, я бодро отряхнул от остатков дремоты и привстал на своем песчаном ложе.

Дружеский шепот реки оказал мне настоящую услугу. Когда, часа три назад, я укладывался на берегу, в ожидании ветлужского парохода, вода была далеко, за старою лодкой, которая лежала на берегу кверху днищем; теперь ее уже взмывало и покачивало приливом. Вся река торопилась куда-то, пенилась по всей своей ширине и приплескивала почти к самым моим ногам. Еще полчаса,— будь мой сон еще несколько крепче,— и я очутился бы в воде, как и эта опрокинутая лодка.

Ветлуга, очевидно, взыграла. Несколько дней назад шли сильные дожди: теперь из лесных дебрей выкатился паводок, и вот река вздулась, заливая свои веселые зеленые берега. Резвые струи бежали, толкались, кружились, свертывались воронками, развивались опять и опять бежали дальше, отчего по всей реке вперегонку неслись клочья желтовато-белой пены. По берегам зеленый лопух, схваченный водою, тянулся из нее, тревожно размахивая не потонувшими еще верхушками, между тем как в нескольких шагах, на большой глубине, и лопух, и мать-мачеха, и вся зеленая братия стояли уже безропотно и тихо... Молодой ивняк, с зелеными нависшими ветвями, вздрагивал от ударов зыби.

На том берегу весело кудрявились ракиты, молодой дубнячок и ветлы. За ними темные ели рисовались зубчатою чертой: далее высились красивые осоко́ри и величавые сосны. В одном месте, на вырубке, белели клади досок, свежие бревна и срубы, а в нескольких саженьях от них торчала из воды верхушка затонувших перевозных мостков... И весь этот мирный пейзаж на моих глазах как будто оживал, переполняясь шорохом, плеском и звоном буйной реки. Плескались шаловливые струи на стрежне, звенела зыбь, ударяя в борта старой лодки, а шорох стоял по всей реке от лопавшихся то и дело пушистых клочьев пены, или, как ее называют на Ветлуге, речного «цвету».

И казалось мне, что все это когда-то я уже видел, что все это такое родное, близкое, знакомое: река с кудрявыми берегами и простая сельская церковка над кручей, и шалаш, даже приглашение к пожертвованию на «колоколо господне», такими наивными каракулями глядевшее со столба...

Все это уж было когда-то,
Но только не помню когда...—

невольнo вспомнились мне слова поэта.

III

— Гляжу я, братец, вовсе тебя заплескивает река-те. Это домой ходил. Иду назад, а сам думаю: чай, проходящего-те у меня поняла уж Ветлуга. Крепко же спал ты, добрый человек!

Говорит сидящий у шалаша на скамеечке мужик средних лет, и звуки его голоса тоже мне как-то приятно знакомы. Голос басистый, грудной, немного осипший, будто с сильного похмелья, но в нем слышатся ноты такие же непосредственные и наивные, как и эта церковь, и этот столб, и на столбе надпись.

— И чего только делает, гляди-кося, чего только делает Ветлуга-то наша... Ах ты! Беды ведь это, право беды...

Это перевозчик Тюлин. Он сидит у своего шалаша, понутив голову и как-то весь опустившись. Одет он в ситцевой грязной рубаше и синих пестрядинных портах. На босу ногу надеты старые отопки. Лицо моложавое, почти без бороды и усов, с выразительными чертами, на которых очень ясно выделяется особая ветлужская складка, а теперь, кроме того, видна сосредоточенная угрюмость добродушного, но душевно угнетенного человека...

— Унесет у меня лодку-те...— говорит он, не двигаясь и взглядом знатока изучая положение дела.— Беспрерывно утащит.

— А тебе бы,— говорю я, разминаясь,— вытащить надо.

— Коли не надо. Не миновать, что не вытащить. Вишь, чего делает, вишь, вишь... Н-ну!

Лодка вздрагивает, приподнимается, делает какое-то судорожное движение и опять беспомощно ложится по-прежнему.

— Тю-ю-ю-ли-ин! — доносится с другого берега привывной клич какого-то путника. На вырубке, у съезда к реке, виднеется маленькая-маленькая лошадаенка, и маленький мужик, спустившись к самой воде, отчаянно машет руками и вопит тончайшею фистулой: — Тю-ю-ю-ли-ин!..

Тюлин все с тем же мрачным видом смотрит на вздрагивающую лодку и качает головой.

— Вишь, вишь ты — опять!.. А вечер еще, гли-кося, дальше мостков была вода-те... Погляди, за ночь чего

еще наделат. Беды, озорная речушка! Это учнет играть и учнет играть, братец ты мой...

— Тю-ю-ю-ли-ин, леш-ша-а-ай! — звенит и обрывается на том берегу голос путника, но на Тюлина этот призыв не производит ни малейшего впечатления. Точно этот отчаянный вопль — такая же обычная принадлежность реки, как игривые всплески зыби, шелест деревьев и шорох речного «цвету».

— Тебя ведь это зовут! — говорю я Тюлину.

— Зовут, — отвечает он невозмутимо, тем же философски-объективным тоном, каким говорило лодке и проказах реки. — Иванко, а Иванко! Иванко-о-о!

Иванко, светловолосый парнишка лет десяти, копает червей под крутояром и так же мало обращает внимания на зов отца, как тот — на вопли мужика с того берега.

В это время по крутой тропинке от церкви спускается баба с ребенком на руках. Ребенок кричит, завернутый с головой в тряпки. Другой — девочка лет пяти — бежит рядом, хватаясь за платье. Лицо у бабы озабоченное и сердитое. Тюлин становится сразу как-то еще угрюмее и серьезнее.

— Баба идет, — говорит он мне, глядя в другую сторону.

— Ну? — говорит баба злобно, подходя вплоть к Тюлину и глядя на него презрительным и сердитым взглядом. Отношения, очевидно, определились уже давно: для меня ясно, что беспечный Тюлин и озабоченная, усталая баба с двумя детьми — две воюющие стороны.

— Чё еще нукаешь? Что тебе, бабе, нужно? — спрашивает Тюлин.

— Чё-инб, спрашивают еще... Лодку давай! Чай, через реку ходу-то нету мне, а то бы не стала с тобой, с путаником, и бить...

— Ну-ну! — с негодованием возражает перевозчик. — Что ты какá сильна пришла. Разговаривашь...

— А что мне не разговаривать! Залил шары-те... Чего только мир смотрит, пьяницы-те наши, давно бы тебя, негодя пьяного, с перевозу шугнуть надо. Давай, слышь, лодку-те!

— Лодку? Эвоп парень тебя перемахнет... Иванко, а Иванко, слышь? Иванко-о!.. А вот я сейчас вицэй его, подлеца, вытяну. Слышь, проходящий!..

Тюлин поворачивается ко мне.

— Ну-ко ты мне, проходящий, вицю дай, хар-рошую!

И он, с тяжелым усилием, делает вид, что хочет приподняться. Иванко мгновенно кидается в лодку и хватается весла.

— Две копейки с нее. Девку так! — командует Тюлин лениво и опять обращается ко мне: — Беда моя: голову всеё разломило.

— Тю-ю-ли-ин! — стонет опять противоположный берег. — Перево-о-о́з!..

— Тятка, а тятка! Паром кричат вить, — говорит Иванко, у которого, очевидно, явилась надежда на освобождение от обязанности везти бабу.

— Слышу. Давно уж зеват, — спокойно подтверждает Тюлин. — Сговорись там. Может, еще и не надо ему... Может, еще и не поедет... Отчего бы такое голову ломит? — обращается он опять ко мне тоном самого трогательного доверия.

Угадать причину не трудно: от бедняги Тюлина водкой несет, точно из полуштофа, и даже до меня, на расстоянии двух сажень, то и дело доносятся острые струйки перегару, смешиваясь с запахом реки и береговой зелени.

— Кабы выпил я, — говорит Тюлин в раздумье, — а то не пил.

Голова его опускается еще ниже.

— Давно не пью я... Положим, вчера выпил...

И опять Тюлин погружается в глубокое раздумье.

— Кабы много... Положим, довольно я выпил вчера... Так ведь сегодня не пил!

— Так это у тебя, видно, с похмелья, — пробую я вывести его на настоящую дорогу.

Тюлин смотрит на меня долго, серьезно и чрезвычайно вдумчиво. Догадка, очевидно, показалась ему не лишнюю основания.

— Разве-либо от этого. Нонче немного же выпил я.

Пока таким образом Тюлин медленным, мучительным, но зато верным путем подходил к истинной причине своих страданий, мужик на той стороне окончательно лишился голоса.

— Тю-ю-ю... — чуть слышно летело оттуда, из-за порога речных струек.

— Разве-либо от этого. Это ты, братец, должно быть, верно сказал. Пью я винище это, лакаю, братец, лакаю...

Между тем тщетно вопивший мужик смолкает и, оставив лошадь с телегой на том берегу, переправляется к нам вместе с Иванком, для личных переговоров. К удивлению моему, он самым благодушным образом здоровается с Тюлиным и садится рядом на скамейку. Он значительно старше Тюлина, у него седая борода, голубые, выцветшие, как и у Тюлина, глаза, на голове грешневик, а на лице, где-то около губ, ютится та же ветлужская складка.

— Страдаешь? — спрашивает он у перевозчика с улыбкой почти сатирической.

— Голову, братец, всё разломило. И от чего бы?

— Виница поменьше пей.

— Разве-либо от этого. Вот и проходящий то же баит.

— А лодку у тебя, гляди, унесет.

— Как не унести. Просто-таки и унесет.

Оба смотрят несколько времени, как вдрагивает, точно в агонии, опрокинутая лодка.

— Давай паром, што ли, — ехать надо.

— Да тебе надо ли еще ехать-то? Чай, в Красиху пьянствовать?..

— А ты уж нарядился...

— Выпито. Голову всё разломило, бедь! А ты, может, лучше не ездь.

— Чудак! Чай, у меня дочка там выдана. Звали к празднику. И баба со мной.

— Ну, баба, так, стало быть, не миновать ехать, видно. Э-эх, шестов нет.

— Как нет? Чё хлопаешь зря? Эвона шесты-те!

— Коротки. Двадцати четвертей надо. Чать, видишь: приплескиват Ветлуга-те.

— А ты что же, чудак, шестов не запас, коли видишь, что приплескиват?.. Иванко, сгоняй за шестами-те, парень!

— Сходил бы сам, — говорит Тюлин, — тяжелы вить.

— Ты сходи, — твое дело!

— Не мне ехать, — тебе!

И оба мужика, да и Иванко третий, спокойно остаются на местах.

— Ну-ко я его, подлеца, вицею вытяну... — опять

произносит Тюлин, делая новый опыт примерного вставанья.— Проходящий! да-ко мне вицю...

Иванко с громким гнусавым ревом снимается с места и бежит трусцой на гору, к селу.

— Не донесет,— говорит мужик.

— Тяжелы вить! — подтверждает Тюлин.

— А ты бы добежал хоть встречу-те,— советует мужик, глядя на усилия муравья Иванка, появляющегося на верху угора с длинными шестами.

— И то хотел сказать тебе: добеги-кось.

Оба сидят и глядят.

— Евстигне-е-й! Лешай!..— слышится с той стороны пронзительный и желчный бабий голос.

— Баба кричит,— говорит мужик с некоторым беспокойством.

Тюлин сохраняет равнодушие: баба далеко.

— А как у меня мерин сорвется да мальчонку с бабой ушибет...— говорит Евстигней.

— А резва лошадь-то?

— Бедь.

— Ну, так очень просто может ушибить. Да ты бы, послушай, тово... назад бы. Что тебе ехать, какá надобность?

— Ах, чудак! Да нешто не видишь: с бабой собрался. Как можно, что не ехать!

Иванко, выбиваясь из сил, приволакивает наконец шесты и с ревом кидает их на берег. Все готово, Тюлину приходится приниматься за работу.

— Эй, проходящий! — обращается он ко мне как-то одобрительно.— Ну-ко, послушай, и ты с нами на паром! А то, видишь вот, больно уж река-те наша резва.

Мы все взошли на скрипучий дощатый паром; Тюлин — последний. По-видимому, он размышлял несколько секунд, поддаваясь соблазну: уж не достаточно ли народу и без него. Однако все-таки взошел, шлепая по воде, потом с глубокою грустью посмотрел на колья, за которые были зачалены чалки, и сказал с кроткой укоризной, обращенной ко всем вообще:

— Э-эх! Чалки-те, чалки никто и не отвязал. Н-ну!

— Да ведь ты, Тюлин, последний взошел на паром. Тебе бы и надо отвязать,— протестую я.

Он не отвечает, косвенно признавая, быть может, всю справедливость этого замечания, и так же лениво, с тою же беспросветною скорбью спускается в воду, чтоб отвязать чалки.

Паром заскрипел, закачался и поплыл от берега. Перевозный шалаш, опрокинутая лодка, холмик с церковью мгновенно, будто подхваченные неведомою силой, уносятся от нас, а мысок с зеленою подмытою ивой летит нам навстречу. Тюлин поглядел на мелькающий берег, почесал густую шапку своих волос и перестал пихаться шестом.

— Несет вить.

— Несет,— ответил мужик, с натугой налегая на чегень правым плечом.

— Пылко несет.

— Да ты что стал? Что не пхаешься?

— Поди пхнись. С левого-то борту не маячит.

— Ну?

— То-то и ну!

Мужик ожесточенно сунул свой шест и чуть не бултыхнулся в воду,— его чегень тоже не достал до дна. Евстигней остановился и сказал выразительно:

— Подлец ты, Тюлин!

— Сам такой! Пошто лаешься?

— За што тебе деньги плочены, подлая фигура?

— Поговори!

— Пошто длинных шестов не завел?

— Заведёны.

— Да што нету их?

— Дома. Нешто мальчонка приволокет... двадцатито четвертей?

— Говорю: подлой ты человек.

— Ну-ну! Не скажешь ли еще чего? Поговори со мной!

Спокойствие Тюлина, видимо, смиряет возмущенного Евстигнея. Он снимает грешневик и скребет голову.

— Куда ж мы теперича? К Козьме Демьяну (в Козьмо-Демьянск) сплывем аль уж как?..

V

Действительно, резвое течение, будто шутя и насмехаясь над нашим паромом, уносит неуклюжее сооружение все дальше и дальше. Кругом, обгоняя нас, бегут, лопаются и пузырятся хлопья «цвету». Перед глазами мелькает мысок с подмытою ивой и остается назади. Назади, далеко, осталась вырубка с новенькою избуш-

кой из свежего лесу, с маленькою телегой, которая теперь стала еще меньше, и с бабой, которая стоит на самом берегу, кричит что-то и машет руками.

— Куда ж мы теперича? Эх беды, право, беды,— безнадежно, глядя на бабу, говорит Евстигней.

Положение действительно довольно критическое. Шест уходит вглубь, не маяча, то есть не доставая дна.

Тюлин, не обращая внимания на причитания Евстигней, серьезно смотрит на реку. Для него опасность всех больше, потому что придется непременно подымать паром против течения. Он, видимо, подтянулся, его взгляд становится разумнее, тверже.

— Иванко, держи по плёсу! — командует он сыну. Мальчишка на этот раз быстро исполняет приказ.

— Садись в грёби, Евстигней.

— Да у тебя еще есть ли грёби-то? — сомневается тот.

— Поговори со мной!

На этот раз слова Тюлина звучат так твердо, что Евстигней покорно лезет с помоста и прилаживается к веслам, которые оказываются лежащими на дне.

— Проходящий, лезь и ты... в тую ж фигуру.

Я сажусь «в тую ж фигуру», то есть прилаживаюсь к правому веслу так же, как Евстигней у левого. Команда нашего судна, таким образом, готова. Иванко, на лице которого совершенно исчезло выражение несколько гнусавой беспечности, смотрит на отца заискрившимися, внимательными глазами. Тюлин сует шест в воду и ободряет сына: «Держи, Иванко, не зевай, мотри». На мое предложение — заменить мальчика у руля — он совершенно не обращает внимания. Очевидно, они полагаются друг на друга.

Паром начинает как-то вздрагивать... Вдруг шест Тюлина касается дна. Небольшой «огрудок» дает возможность «пихаться» на расстоянии десятка сажен.

— Вались на перевал, Иванко, вали-ись на перевал! — быстро, сдавленным голосом командует Тюлин, ложась плечом на круглую головку шеста.

Иванко, упираясь ногами, тянет руль на себя. Паром делает оборот, но вдруг рулевое весло взмахивает в воздухе, и Иванко падает на дно. Судно «рыскнуло», но через секунду Иванко, со страхом глядя на отца, сидит на месте.

— Крепá! — командует Тюлин.

Иванко завязывает руль бечевкой, паром оконча-

тельно «ложится на перевал», мы налегаем на весла. Тюлин могучим толчком подает паром наперерез течению, и через несколько мгновений мы ясно чувствуем ослабевший напор воды. Паром «ходом» подается кверху.

Глаза Иванка сверкают от восторга. Евстигней смотрит на Тюлина с видимым уважением.

— Эх, парень,— говорит он, мотая головой,— кабы на тебя да не винище,— цены бы не было. Винище тебя обманывают...

Но глаза Тюлина опять потухли, и весь он размяк.

— Гребь, гребь... Загребывай, проходящий, поглубже, не спи! — говорит он лениво, а сам вяло тычет шестом, с расстановкой и с прежним уныло-апатичным видом. По ходу парома мы чувствуем, что теперь его шест мало помогает нашим веслам. Критическая минута, когда Тюлин был на высоте своего признанного перевознического таланта, миновала, и искра в глазах Тюлина угасла вместе с опасностью.

Около двух часов поднимались мы все-таки кверху, а если бы Тюлин не воспользовался последним «огрудком», паром унесло бы на узкий прямой плёс, и его не достать бы оттуда в двое суток. Так как пристать в обычном месте было невозможно,— мостки давно затопило,— то Тюлин пристаёт к глинистому крутояру, зачаливая за ветлы. Начинается спуск телеги. Мы с Евстигнеем хлопочем около этого дела. Тюлин равнодушно смотрит на наши хлопоты, а баба, давно истратившая на ветер все негодующие слова, сидит, не двигаясь, на возу, точно окаменелая, и старается не смотреть на нас, как будто все мы опостытели ей до самой последней крайности. Она точно застыла в своем злобном презрении к «негодям-мужикам» и даже не дает себе труда сойти с ребенком с телеги.

Лошадь пугается, закидывает уши и пятится назад.

— Ну-ко, пу-ко, хлесли ее, резвую, по заду,— советует Тюлин, несколько оживляясь.

Горячая лошадь подбирает зад и прыгает с берега. Минута треска, стукотни и грохота, как будто все проваливается сквозь землю. Что-то стукнуло, что-то застопало, что-то треснуло, лошадь чуть не сорвалась в реку, изломав тонкую загородку, но наконец воз установлен на качающемся и дрожащем пароме.

— Что, цела? — спрашивает Тюлин у Евстигнея, озабоченно рассматривающего телегу.

— Цела! — с радостным изумлением отвечает тот. Баба сидит, как изваяние.

— Ну? — недоумевает и Тюлин. — А думал я: непременно бы ей надо сломаться.

— И то... вишь, какá крутоярина.

— Чё-ино! Самая такá круча, что ей бы сломаться падо... Э-эх, а чалки-те опять никто не отвязал! — кончает Тюлин с тою же унылой укоризной и лениво ступает на берег, чтоб отвязать чалки. — Ну, загребывай, проходящий, загребывай, не спи!

Через полчаса тяжелой работы веслами, криков: «на-вались», «ложись в перевал» и «крепи», — мы наконец подходим к шалашу. С меня пот льет, от непривычки, градом...

— Проси с Тюлина косушку, — говорит полушута Евстигней.

Но Тюлин, видимо, не расположен к шуткам. Долговременное пребывание на берегу безлюдной реки, продолжительные унылые размышления о причинах никогда не прекращающейся тяжелой похмельной хворости — все это, очевидно, располагает к серьезному взгляду на вещи. Поэтому он уставился в меня своими тусклыми глазами, в которых начинает медленно проблескивать что-то вроде глубокого размышления, и сказал радушно:

— Причалим — поднесу... И не одну, слышь, поднесу, — добавляет он конфиденциально, понижая голос, причем в лице его явственно проступает если не удовольствие, то, во всяком случае, мгновенное забвение тяжелых похмельных страданий.

А с горы, по неудобной дороге, уже сползают два воза.

— Едут... — скорбно говорит перевозчик.

— Да еще, может быть, не поедут, — утешаю я, — может быть, у них не важное дело.

Я иронизирую, но Тюлин не понимает иронии, быть может, потому, что сам он весь проникнут каким-то особенным бессознательным юмором. Он как будто разделяет его с этими простодушными кудрявыми березами, с этими корявыми ветлами, со взыгравшею рекой, с деревянною церковкой на пригорке, с надписью на столбе, со всею этой наивною ветлужскою природой, которая все улыбается мне своею милою, простодушною и как будто давно знакомою улыбкой...

Как бы то ни было, но на мое насмешливое замечание Тюнин отвечает совершенно серьезно:

— Ежели без товару, само собой, рбождут. Неужто повезу? Голову всеё разломидо...

VI

Парохода все нет. Говорят, за час до прихода он будет еще «кричать» где-то, на одной из вышележащих пристаней, но когда, часа через три, пошатавшись по селу и напившись чаю, я подхожу опять к берегу, о пароходе ничего не известно. Река продолжает играть и даже разыгралась совсем не на шутку. Тюнин тащится к своему шалашу по колени в воде, лениво шлепая босыми ногами по зеленой потопшей траве; он весь мокрый, широкие штаны липнут к его ногам, мешая идти; сзади, на чалке, тащится за Тюниным давешняя старая лодка, которую, согласно предсказанию знатока-перевозчика, унесло-таки течением.

— Что, Тюнин, здоров ли?

— Слава богу. Не крепко чтой-то. Давай на ту сторону поедем.

— Зачем?

— Вишь, склёка вышла. Плоты ивахински река разметывать хочет.

— Тебе-то что же?.. Разве забота?

— А гляди-ко, Ивахин четвертуху волокет. Да что четвертуха! Тут, брат, и полуведром поступишься...

К берегу торопливою походкой приближался со стороны села мужчина лет сорока пяти, в костюме деревенского торговца, с острыми, беспокойными глазами. Ветер развеивал полу его чуйки, в руке сверкала посуда — на с водкой. Подойдя к нам, он прямо обратился к Тюлину:

— Что, приплескиват?

— Бедь! — ответил Тюнин. — Чай, сам видишь.

— А плотишки у меня поняла уж?

— Подхватыват, да еще не под силу. А гляди, подымет. Лодку у меня даве слизнула, — в силу, в силу бегом догнал за перелеском...

— Ну?

— То-то. Вишь, вымок весь до нитки.

— Ах ты! — отчаянно сказал купец, ударив себя по бедру свободною рукой. — Не оглянешься, — плоты у

меня разметет. Что убытку-то, что убытку! Ну, и подлец народ у нас живет! — обратился он ко мне.

— Чего бы я напрасно лаял православных, — заступился за своих Тюлин. — Чай, у вас ряда была...

— Была.

— На песок возить?

— То-то на песок.

— Ну-к на песке и есть, не в другом месте.

— Да ведь, подлецы вы этакие, река песок-то уж покрывает!

— Как не покрыть, — покроет. К утру, что есть, следу не оставит.

— Вот видишь! А им бы, подлецам, только песни горланить. Ишь орут! Им горюшка мало, что хозяину убыток...

Оба смолкли. С того берега, с вырубки, от нового домика неслись нестройные песни. Это артель васюхинцев куражилась над мелким лесоторговцем-хозяином. Вчера у них был расчет, причем Ивахин обсчитал их рублей на двадцать. Сегодня Ветлуга заступилась за своих деток и выиграла на руку артели. Теперь хозяин униженно кланялся, а артель не ломала шапок и куражилась.

— Ни за сто рублей! Узнаешь, как жить с артелью! Мы тя научим...

Река прибывала. Ивахин струсил. Кинувшись в село, он наскоро добыл четверть и поклонился артели. Он не ставил при этом никаких условий, не упоминал о плотах, а только кланялся и умолял, чтобы артель не попомнила на нем своей обиды и согласилась исшить «даровую».

— Да ты, такой-сякой, не финти, — говорили артельщики. — Не заманишь!

— Ни за сто рублей не полезем в реку.

— Пущай она, матушка, порезвится да поиграет на своей волюшке.

— Пущай покидат бревнушки, пущай поразметет. Поди собирай!

Но четверть все-таки выжили и завели песни. Голоса неслись из-за реки нестройные, дикие, разудалые, и к ним примешивался плеск и говор буйной реки.

— Важно поют! — сказал Тюлин с восторгом и завистью.

Ивахину, кажется, песня нравилась меньше. Он слушал беспокойно, и глаза его смотрели растерянно и то-

скиливо. Песня шумела бурей и, казалось, не обещала ничего хорошего.

— Много ли педодал вчера? — спросил Тюлин просто.

Ивахин почесался и, не отрывая беспокойного взгляда с того места, откуда неслись нестройные звуки, ответил так же просто:

— Об двух красных спорились.

— Много же, мотри! Как бы, слушай, бока не намяли.

По лицу Ивахина было видно, что предположение не кажется ему невероятным.

— Хопь бы плоты-те повыволокли,— сказал он с глубокою тоской.

— Чать, выволокут,— успокоил Тюлин.

— Поговори им,— заискивающе сказал торговец.— Мол, боле не приплескиват, назад, мол, к ночи пойдет.

Тюлин ответил не сразу; взгляд его приковался к посудине, и, помолчав, он сказал сластолюбиво:

— Другую четверть волокешь?

— Другую.

— Спойшь и третью. Перевезти, что ль?

— Вези!

Лодка была на середине, когда ее заметили с того берега. Песня сразу грянула еще сильнее, еще нестройнее, отражаясь от зеленой стены крупного леса, к которому вплоть подошла вырубка. Через несколько минут, однако, песня прекратилась, и с вырубки слышался только громкий и такой же нестройный говор. Вскоре Ивахин опять стрелой летел к нашему берегу и опять устремился с новою посудиною на ту сторону. Лицо у него было злое, но все-таки в глазах проглядывала радость.

К закату солнца вся артель «убилась» за ивахинскими плотами. Под звуки унылой «Дубинушки» бревна выкатывали на берег и руками втаскивали на подьемы. Скоро весь ивахинский лес высылся в клады на крутояре, недоступный для шаловливой реки.

Потом опять загремела песня. Мокрые, усталые, артельщики допивали последнюю четверть. Ивахин, потный, злой, но все-таки еще более довольный, переправился в последний раз на нашу сторону и умчался к селу; ветер размахивал полами его сибирки, а в обеих руках были посудины, на этот раз пустые.

Тюлин, еще более унылый, провожал его долгим взглядом.

— Ну что, побили? — спросил я у него.

Он перевел взгляд на меня и спросил:

— Кого?

— Да Ивахина.

— Не, что его бить...

Я с удивлением посмотрел на Тюлина, и в моем уме блеснула внезапная и неожиданная догадка: физиономия Тюлина припухла, а под глазом стоял фонарь, очевидно новейшего происхождения.

— Тюлин, голубчик!

— Ну, что?

— Отчего у тебя синяк?

— Синяк... Да отчего ему быть, синяку?

— Да ведь тебя, Тюлин, должно быть, били.

— Кто меня бил?

— Артельщики.

Тюлин задумчиво посмотрел мне прямо в глаза и сказал:

— Разве-либо от этого... Да, слышь, и били-то не очень шибко.

Пауза, взгляд на меня, и во взгляде мелькающая догадка:

— Разве-либо не Парфен ли это меня саданул?..

— Пожалуй, что и Парфен, — опять помогаю я медленному процессу нового приближения к истине.

— Беспреренно Парфен. Такой, скажу тебе, вредный мужичишко, — завсегда норовит как бы нибудь человека испортить...

Вопрос оказался достаточно разъясненным. Мне, правда, очень хотелось еще разузнать, каким образом гнев артели так неожиданно изменил свое направление и артельная гроза, вместо Ивахина, обрушилась на совершенно нейтральную тюлинскую физиономию, но в это время с другого берега опять послышался призыв:

— Тю-ю-юли-ин!..

Тюлин не довернул даже головы и лениво направился к шалашу, сказав мне на ходу:

— Кличут. Смахать бы тебе, а? Живым бы духом.

Но вдруг он насторожился, повернулся и ожил. На берегу, несмотря на сумерки, можно было разглядеть красные рубахи. Это артельщики звали Тюлина и, кажется, самым заманчивым образом махали руками.

— Зовут ведь? — радостно сказал он, вопросительно глядя на меня.

— Разумеется, зовут. Опять побьют, пожалуй...

— Не, што ты, бог с тобой. Не может быть! Угостить меня артели желательно, вот што! На мировую, значит...

И Тюлин с удивительною живостью кинулся к берегу. Связав зачем-то две лодки — нос к корме, — он сел в переднюю и быстро отпихнулся от берега, не оставив на этой стороне ни одной.

VII

Я понял эту невинную хитрость, когда услышал в сумерках скрип воза, съезжавшего с горы. Воз неторопливо подъехал к реке. Лошадь фыркнула несколько раз и, откинув уши, уставилась с удивленным видом на изменившуюся до неузнаваемости смиренницу Ветлугу.

От воза отделился мужик, подошел к самой воде, посмотрел, почесался и обратился ко мне:

— Перевозчик где?

— Вон... — указал я на светлую полосу, взрезавшую темную поверхность реки уже на середине.

Он взгляделся туда, опять помотал головой, прислушался к песням васюхинцев и стал поворачивать воз.

— И подлый же мужичок здешний перевозчик живет, — сказал он, впрочем, довольно спокойно. — Гляди, ведь и лодки все уволок... Всю ночь его теперь отсюда не достанешь.

Отведя лошадь, он подошел ко мне и поклонился.

— Проходящие будете?

— Проходящий.

— Не с озера ли?

— С озера.

— Так. Много теперича народу идет. Завтра, что есть, и то еще пойдут... Эх, как река-то пылит, беды! Ежели теперь нам с вами на паром... Да нет, не управиться... Ночевать, видно. А вы не к пароходу ли?

— К пароходу.

— Ну, на заре, раньше не будет. Ночевать, видно, и вам.

Он поставил за шалашом телегу и пустил на береговой откос стреноженную лошадь. Через несколько минут за шалашом закурился дым.

Тюлин, очевидно, приучил свою публику к терпению.

Солнце давно спряталось за горами и лесами, над Ветлугой опустились сумерки, синие, теплые, тихие. Наш огонек разгорался, дым подымался прямо кверху. Было как-то даже странно это спокойствие воздуха, наряду с торопливым и буйным движением на реке, которая все продолжала приплескивать. С того берега все песлись песни, и мне казалось, что я различаю фистулу Тюлина в общей разноголосице. На одном из недалеких холмов один за другим вспыхивали огни соседней деревеньки. Днем я не замечал ее, — так ее серые избы и темные крыши сливались с общими тонами пейзажа... Теперь она выступила красивой стайкой огоньков на темной верхушке холма, а кое-где четырехугольники крыши вырезывались в синеве неба.

Это — деревня Соловьяха. Мой новый знакомый, от нечего делать, рассказал мне некоторые небезынтересные черты из жизни ее обитателей. Народ в Соловьяхе живет предприимчивый и гордый; в окрестностях соловьяхинцы слынут «воришканами». Случилось моему новому знакомому остановиться в селе Благовещении, у дьячка. Дело было зимой, к вечеру. Сидят за столом. Вдруг кто-то стук-стук в оконце. Выглянул дьячок: стоит за окном Иван Семенов, сосед-старичок, и на ночлег просится. «Да что ты, чай, тебе до дому всего с версту?» — «С версту, мол, с версту, да мимо Соловьяхи идти. Как бы опять к пролуби не свели».

Оказалось, что между этим старичком и соловьяхинцами установились совершенно своеобразные отношения. Как только старик разживется деньгами, так непременно напьется на селе, а как напьется, так и начнет хвастать: имею у себя «катеньку» в кармане. Пойдет после этого домой, его соловьяхинцы и переймут на реке, да прямо к проруби.

— Хошь в пролубь?

Ну, разумеется, не хочет. Они и не неволят, — отдай только им «катеньку». Он отдает, делать нечего. Они опять:

— Хошь в пролубь?

— Не желаю, братцы.

— Так никому, гляди, не бай. Не скажешь, что ли?

— Не скажу!

— Заклянись!

— Чтоб мне,— говорит,— на сим месте провалиться, коли скажу единой душе.

И не говорит. Сколько раз этак его ловили,— надое-ло ему, перестал вечером мимо Соловьи ходять, особенно когда выпивши, а не сказал никому. «Водили, говорит, к пролуби соловьиныхцы», а кто именно — ни за что не скажет.

После этого рассказа я с особым любопытством взглянул на деревеньку «воришканов». Ну, где, думалось мне, кроме Ветлуги, встретите вы такую непосредственность и простоту приемов, и такое благородное доверие к чужому слову, и такую простодушную уверенность в возможности «провалиться на сим месте», в случае нарушения клятвы?.. Мой новый знакомый, сам «ветлугай», уверял, что другой этаким деревни нет нигде больше по всей реке. В Марьино промышляли года три назад «красноярками»¹,— ну, это дело другое. А положите в незапертой избе деньги, уходите на сутки,— никто не тропет.

— Как же все-таки соловьиныхцы?

— Такой у них, позвольте сказать, обычай...

Ну, где еще, думалось мне опять, найдется такая терпимость к чужим обычаям?.. И огоньки Соловьи мигали приветливо и простодушно: «нигде, нигде»...

— Вот и у Тюлина,— сказал я, улыбаясь,— тоже обычай.

— Верно! Подлец мужичок, будь он проклят! А и то надо сказать: дело свое знает. Вот пойдет осень или опять весна: тут он себя покажет... Другому бы ни за что в водоноль с перевозом не управиться. Для этого случая больше и держим...

— Мир беседе!

— Милости просим!

К нашему огоньку с берестяными кошелками за спиной, с посошками в руках подошли два странника. Один из них, скинув котомку, внимательно поглядел на меня и сказал:

¹ Красноярками называют фальшивые «бумажки». (Примеч. В. Г. Короленко.)

— Этого мы человека видели.

— Не мудрено,— ответил я.

— На Люнде были?

— Был.

— Там и видели. По усердию или обет был даден влады-ице?

— По усердию. А вы?

— Мы к празднику ходили, стало быть, к сродникам.

— Что ж, садитесь к огоньку.

— Да нам бы на перевоз,— дó дому недалече. К утру и дошел бы я.

— Да, на перевоз!..— вмешался мой знакомый.— Тюлиин последнюю ладью уволок. На пароме разве?

— Где!.. Больно река взыграла.

— Да и шестов длинных нет.

Другой из новоприбывших подошел усталым шагом к берегу, и тотчас же над рекой раздалось громко, протяжно:

— Тю-ю-ли-ин! Лодку дава-а-ай!

Отклик покатился по реке, будто подхваченный быстрым течением. Игривая река, казалось, несет его с собой, перекидывая с одной стороны на другую меж заснувшими во мгле берегами. Отголоски убегали куда-то в вечернюю даль и замирали тихо, задумчиво, даже грустно,— так грустно, что, прислушавшись, странник не решился в другой раз потревожить это отдаленное вечернее эхо.

— Шабаш! — сказал он и, махнув рукой, вернулся к нашему огоньку.

— А парню-то и до дому рукой подать,— сказал первый из моих знакомых,— и всего-то версты четыре, из Песочной! Слыхали про песочинцев? — спросил он с лукавой усмешкой.

— Нет, я в здешних местах не бывал.

— У них, у песочинцев, тоже опять свой нрав. Что ни город, то, говорят люди, норов, что ни деревня, то обычай. Соловьихинцы,— я вот рассказывал,— любят так, чтоб чужое взять, а уж песочинцы — те свое беречь мастера. Этто годов, может, пять назад пошли семеро песочинцев в село Благовещение железо чинить: лемеха там, сошники, серпы и прочее деревенское орудие. Ну, починили, идут назад к реке и суммы с железом в руках несут. А река, как вот и теперь же, приплескивает сильно, играет, да еще ветер по реке ходит, волну рас-

качал. А лодка-то, известно, верткая. «А что, братцы вы мои,— говорит один,— как лодку у нас ковырплет, ведь железо-то, пожалуй, утопнет. Давай, ребята, кошелю к себе привяжем, кабы железо не потопить».— «И то, мол, дело!» Так и сделали. К реке шли — железо в руках несли; в лодку садиться — давай на себя павязывать. Выехали на середину, река лодку-те и начини заливать, лодка и опрокинься. Ну, железо-то крепко к спинам привязано,— не потерялось. Так вместе с железом хозяева ко дну и пошли, все семеро!.. Что, парень, аль не правду я баю?

Песочинец не возражал, и, при свете огонька, на всех трех лицах моих собеседников лежала одна и та же добродушно-насмешливая улыбка, с особенною ветлужскою складкой, живо напоминавшею мне Тюлина.

— Ну, а вы-то откуда? — спросил я у старика, который видел меня на Люнде.

— А я, господин, сам по себе. Без роду-племени, бездомный человек, солдатская кость.

— А все-таки родом с Ветлуги?

— С нее, матушки. Не одну путину сгонял по ней смолоду. Да и после царской службы вот уж пятнадцатый год околачиваюсь.

Солдатского в этом старике было очень мало: только разве некоторая спокойная уверенность речи, да еще старый засаленный картуз с какими-то едва заметными кантами и большим надорванным козырем. Из-под козыря глядели и искрились порой серые глаза, а около усов ютилась чуть заметная улыбка. Голос у старого солдата был очень приятный, грудной, с «перекатцем», выдававшим прежнего лихого песельника, но теперь уже значительно осипшим от старости, от речной сырости, а может, и от «винища». Как бы то ни было, слушать этот голос с юмористическою ноткой и глядеть на ветлужскую усмешку старого солдата было очень приятно, и я вспомнил теперь, что действительно мы встречались с ним на озере. В разгар самого горячего спора на тему: «с татем, с разбойником, кольми паче с еретиком не общайся»,— когда обе стороны засыпали друг друга текстами и разными тонкостями начетчицкой диалектики,— этот старичок, с надорванным козырем и искрящимися глазами, вынырнув внезапно в самой середине, испортил всю беседу, рассказав очень просто и без всяких текстов простой житейский случай. Рас-

сказ произвел на большинство сильное отрезвляющее впечатление; начетчики отнеслись к нему с явным пренебрежением. Как бы то ни было, беседа была решительно испорчена, и толпа разошлась, унося, быть может, не одно проснувшееся сомнение...

— Помилуйте, бабий разговор, просторечие,— сказал мне с неудовольствием один из начетчиков.— Нешто это от Писания?

— Да это кто такой, не Ефим ли?— спросил другой, подошедший к концу разговора.

— Он.

— Пустой мужичонку, ветлугай. В работниках у нас жывал. Писания не знает. Евангелие одно читал...— и говоривший махнул рукой.

Ефим-ветлугай только улыбался своею особенною улыбкой, неизвестно к чему относящеюся: к предмету ли разговора, к слушателям или, быть может, к самому ему, пустому мужичонку, бездомнику, солдатской косточке... Как бы то ни было, мне казалось, что в рассказе ветлугая я слышал первое еще на Светлояре живое слово.

Теперь мы опять завели разговор на ту же тему: о Люнде, о Светлояре и Китеже, об уренивцах. Среди многочисленных и разнотерных групп, собирающихся на Светлояре, приносящих туда каждая свои книги, свои напевы и свою веру, в особенности выделяются уренивские начетчики, устраивающие каждый год свой импровизированный алтарь под одним и тем же старым дубом, на склоне холма. В то время как около австрийского священника, в полуманатейке и с длинными косами впереди ушей, едва-едва пабирается десяток молящихся,— около уренивского дуба стоит тесная большая толпа. Меня поразили суровые, надменные лица этих начетчиков. Тут были женщины в темных скитских платьях, какой-то очень длинный субъект с резкими чертами, молодой мальчишка с сумой нищего, с лицом, покрытым оспой, и лохматый юродивый... Они читали и пели по очереди, однообразными, гнусавыми голосами, совершенно притом не обращая внимания на все окружающее. Между тем как представители других толков охотно вступали в споры,— уренивцы держались свысока, пренебрежительно и на вопросы совсем не отвечали. Казалось, для них во всем мире не существовало уже ничего заслуживающего хотя бы малейшего снисхождения и вся святость сосредоточивалась на этом

небольшом островке, занятом их тесно сомкнутыми «стриженными гуменцами» и оглашаемом их унылыми напевами.

— Очень уж высоко сами себя держат,— говорил Ефим.— Народ, нечего сказать, просужий, трезвый народ, а только нашему брату у них неловко.

— Почему это?

— Тоскливо. Наша вера, прямо сказать, много веселее,— ответил за Ефима хозяин воза.

Молчавший до сих пор песочинец при этих словах улыбнулся как-то радостно и сказал:

— Бывал ведь я у них. Больно, братцы, чудно!

— А что?

— Да так. Это нанялся я у них зимусь к одному: брусу из лесу выволочки. Приехали мы с молодым хозяином на моей лошаде ночью. Наутро проснулся я, а темно еще — дело зимнее. Гляжу: старуха светец за-свечает, потому молиться хочет образам. Образа-те хорошие, крашóные. Ну, думаю, и мне пора: помолюсь, дай-ка, и я да лошадь пойду снаряжать. Лезу тихонько с полатей, стал за ей, давай себе креститьца. Как тут она обернись. Увидела меня и руками замахала: «Ты, говорит, что это делаешь?» — «А что, мол,— молитьца было похотел». — «Погоди», — говорит. «Чего годить? — самая пора». — «Погоди, мол, после». Ну, после, дак и после, опять я полез на полати. Отмолилась она, свечки погасила, убрала; гляжу опять: малое время погода, старче с печки лезет, свою икону тащит на божницу, свою и свечку зажигат. Я опять с полатей. Думаю, теперь и мне можно. Только нацелился лоб перекрестить, старичишка меня за руку лап! «Ты што это?» — «На вот!.. да я, мол, было молитьца целился». — «Погоди, говорит, не годится тебе». Вот оказия! Опять, видно, на полати лезть. Ну, чего будет!.. Тут опять молодница слезат, с молодым хозяином в боковушке свечку затеплили. У тех икон нету,— одно распятьё. Я живым духом к ним, опять себе нацеливаюсь. Давай, думаю, хоть на распятьё помолюсь.

— Ну дóпустили, что ль? — спросил один из заинтересованных слушателей, видя, что рассказчик остановился.

— Не! Што вы думаете? — и тут не дóпустили! Отмолились сами, потом зовут: теперь, говорят, иди, молись себе. Взошел я в боковушку, а там голые стены. Они и распятьё-то уволокли... Ах ты, шут вас задави!

Что мне тут с вами грешить, думаю себе. Не надо! Я лучше, коли так, дорогой поеду, на солнышко господне помолюсь.

— Три веры в одном дому! — заметил солдат.

— Три и есть. Обедать время пришло. Ну, посадили меня, доброго молодца, честь честью. Опять старики с дочкой вместе, нам с молодым хозяином на особицу, да еще, слышь, обоим чашки-те разные. Тут уж мне за беду стало. «Ах вы, говорю, такие не здские. Вы не то што меня бракуете, вы и своего-то мужика бракуете». — «А потому, — старуха баит, — и бракуем, што он по Русе ходит, с вашим братом, со всяким поганым пародом нахлебается...» Вот и поди ты, как они об нас понимают!

— Д-да, — подтвердил хозяин воза, лежавший уже с руками, заложенными за голову. — Видишь ты, какé грозны живут... А сами-те, бесстыдники! Тепериче у нас, поблизу, в деревне два брата; один, стало быть, в солдаты ушел, другой его бабу к себе взял. Это невестку-то, стало быть, да еще чижолую. Другой со службы вернулся тоже долго не думал: родну-те сестру прежней жены к себе. Да слышь: два брата на двух сестрах женаты, да мальчонке-то солдат и дядей родным, да чуть ли и тяткой не приходится. Так вот этим не брезгуют. Охо-хо-хо-о... Не спать ли нора?

Водворилось ненадолго молчание.

— Смешница по Русе пошла, — раздался через минуту простодушный голос песочинца.

— Давно уж это, — сказал, укладываясь, солдат, — не со вчерашнего дни.

— Чё не давно? Вот теперича молокана онять...

— Ну, эти иная статья, другого роду. Сии-ложись, пустого не бай!

Но песочинец, объятый размышлением о «смешнице», которая пошла «по святой Русе», долго еще не мог улечься. Он сидел, ковырял веткой в огне и, увидя, что я тоже не сплю, кивнул лукаво в сторону Ефима и произнес:

— Особа статья, говорит... Чего не особа статья! Сам с ними водитця, богам нашим молитця не стал, молоко по пятницам жрет. Сам видывал, а то бы и баить не надо...

И он тоже стал прилаживаться на песочке.

Я поднялся и посмотрел кругом.

Река скрылась в темной синеве вечера. Луна еще не подымалась, звезды тихо, задумчиво мигали над Ветлугой. Берега стояли во мгле, неясные, таинственные, как будто прислушиваясь к немолчному шороху все прибывающей реки. Поверхность ее была темна, не видно было даже «цвету», только кой-где мерцали растягивались и тотчас исчезали на бегущих струях дрожащие отражения звезд, да порой игривая волна вскакивала на берег и бежала к нам, сверкая в темноте пеной, точно животное, которое резвится, пробегая мимо человека...

Артель все еще бушевала на другом берегу, но песня, видимо, угасала, как наш костер, в который никто не подбрасывал больше хворосту. Голосов становилось все меньше и меньше: очевидно, не одна уж удалая головушка полегла на вырубке и в кустарнике. Порой какой-нибудь дикий голосина выносился удалее и громче, но ему не удавалось уже воспламенить остальных, и песня гасла.

Я тоже улегся рядом со спящими ветлугаями, любясь звездным небом, начинавшим загораться золотыми отблесками подымавшейся за холмами луны. А с горы, тихо поскрипывая, спускался опять запоздалый воз, подходили пешеходы и, постояв на берегу или безнадежно выкрикнув раза два лодку, безропотно присоединялись к нашему табору, задержанному военной хитростью перевозчика Тюлина.

Огни в деревушке на холме давно погасли один за другим. Столб с надписью то выделялся, окрашенный огнем костра, то утопал в темноте.

На той стороне, за рекой, запевал соловей.

.
 — Перево-бз!
 — Перевоз, перевоз, перрево-б-оз!
 — Эй, перевоз-чик, живей — э-эй!
 — Го-го-го-го-о-о!..

Громкие крики, раздавшиеся шумно, внезапно, резко и звонко, точно труба на заре, разбудили меня и весь наш табор, приютившийся у огонька. Крики наполняли, казалось, землю и небо, отдаваясь в мирно спавших лощинах и заводях Ветлуги. Ночные странники просыпались и протирали глаза; песочницец, которого вчера так

skonфyзил его собственный скромный оклик заснувшей реки, теперь глядел с каким-то испугом и спрашивал:

— Что такое? С нами крестная сила, что такое?

Начинало светать, река туманилась, наш костер потух. В сумерках по берегу виднелись странные группы каких-то людей. Одни стояли вокруг нас, другие у самой воды кричали перевозчика. Невдалеке стояла телега, запряженная круглою сытою лошадью, спокойно ждавшею перевоза.

Я тотчас же узнал уреневцев... Тут были и третьеводнишние скитницы в темных одеждах, и длинный субъект с мрачным лицом, и рябой нищий, и лохматый «юрод», и еще какие-то личности в том же роде.

Теперь они стояли вокруг нашего, лежавшего вповалку, табора, глядя на нас с бесцеремонным любопытством и явным пренебрежением. Мои спутники как-то сконфуженно пожимались и, в свою очередь, глядели на новоприбывших не без робости. Мне почему-то вдруг вспомнились английские пуритане и индепенденты времен Кромвеля. Вероятно, эти святые так же надменно смотрели на простодушных грешников своей страны, а те отвечали им такими же сконфуженными и безответными взглядами.

— Эй, вы, ветлугай-водохлёбы! Где перевозчик?

— Перевоз, перевоз, перре-во-бз!..

Можно было подумать, что целая армия вторглась в мирные владения беспечного перевозчика. Голоса уреневцев гремели и раскатывались над рекой, которая теперь, казалось, быстро и сконфуженно убегала от погрома, вся опять желтовато-белая от «цвету». Эхо долго и далеко перекатывало эти крики.

«Ну-ка,— думалось мне,— устоит ли и теперь тюлиньский стоицизм?»

К моему удивлению, взглянув на реку, я увидел в утренней мгле лодочку Тюлина уже на середине. Очевидно, философ-перевозчик тоже находился под обаянием грозных уреневских богатырей и теперь греб изо всех сил. Когда он пристал к берегу, то на лице его виднелась сугубая угнетенность и похмельная скорбь; это не помешало ему, однако, быстро побежать на гору за длинными шестами.

Наш табор тоже зашевелился. Хозяева почевавших возов вели за чёлки лошадей и торопливо запрягали,

боясь, очевидно, что уреневцы не станут дожидаться и они опять останутся на жертву тюлинского самовластия.

Через полчаса нагруженный паром отвалил от берега.

У потухшего костра мы остались вдвоем с Ефимом, который разгребал пальцами золу, чтобы закурить угольком носогрейку.

— А вы что же не переправились заодно?

— Ну их, не люблю, — ответил он, раскуривая. — Мне не к спеху, — пойду себе по росе... А вот вам так, пожалуй, пора собираться: слышите, пароход сверху бежит.

Через минуту и я мог уже различить гулкие удары паровых колес, а через четверть часа над мысом появился белый флаг, и «Николай» плавно выбежал на плёсо, мигая бледнеющими на рассвете огнями и ведя зачаленную сбоку большую баржу.

Солдат услужливо подал меня в тюлинской лодочке на борт парохода и тотчас же сам вынырнул в ней из-за кормы, направляясь к тому берегу, где грузный паром высаживал уреневцев.

Солнце давно золотило верхушки приветлужских лесов, а я, бессонный, сидел на верхней палубе и любовался все новыми и новыми уголками, которые с каждым поворотом щедро открывала красавица река, еще окутанная кое-где синеваою мглой.

И я думал: отчего же это так тяжело было мне там, на озере, среди книжных народных разговоров, среди «умственных» мужиков и начетчиков, и так легко, так свободно на этой тихой реке, с этим стихийным, безалаберным, распущенным и вечно страждущим от похмельного недуга перевозчиком Тюлиным? Откуда это чувство тяготы и разочарования, с одной стороны, и облегчения — с другой? Отчего на меня, тоже книжного человека, от *тех* веет таким холодом и отчужденностью, а этот кажется таким близким и так хорошо знакомым, как будто в самом деле

Все это уж было когда-то,
Но только не помню когда...

Милый Тюлин, милая, веселая, шаловливая, взыгравшая Ветлуга! Где же это и когда я видел вас раньше?

I

— Н-ну! уж и дор-рога! — сказал мой спутник, Михайло Иванович Копыленков. — Самая эта проклятая путина, хуже которой уж и быть невозможно... Правду ли я говорю ай нет?

К сожалению, Михайло Иванович говорил совершенную правду. Мы ехали вниз по Лене. По всей ширине ее торчали в разных направлениях огромные льдины, по-местному «торосья», которые сердитая быстрая река швыряла осенью друг на друга, в борьбе со страшным сибирским морозом. Но мороз наконец победил. Река застыла, и только гигантские торосья, целый хаос огромных льдин, нагроможденных в беспорядке друг на друга, задавленных внизу или кинутых непонятным образом кверху, остался безмолвным свидетелем титанической борьбы, да кое-где еще зияли длинные, никогда не замерзающие полыньи, в которых прорывались и кипели быстрые речные струи. Над ними тяжело колыхались холодные клубы пара, точно в полыньях действительно был кипяток.

А с обеих сторон над этим причудливым ледяным хаосом стояли молчаливые огромные Ленские горы. Жидкая листвень цеплялась по склонам, широко раскидывая корни, но камень не дает ей расти, и склоны усеяны сплошь густою древесною падалью. Ближе вы видите трупы деревьев, запорошенных снегом, с вырванными из почвы, судорожно скрюченными корнями. Дальше эти подробности исчезают, а к вершине горы склон покрыт валежником, точно густою сеткой. Упавшие деревья кажутся бесчисленными иглами, точно хвой в сосновом лесу, а между ними, еще живые, тянутся такие же прямые, такие же тонкие и жалкие лиственницы, пытающие счастье над трупами предков. И только на ровной, будто обрезанной, вершине лес сра-

¹ А т - Д а в а н — станция на Лене, около трехсот верст выше Якутска. (Примеч. В. Г. Короленко.)

зу становится гуще и тянется длинною, темною, траурною каймой над белым скатом берега.

И так на десятки, на сотни верст!.. Целую неделю уже наш возок ныряет жалкою точкою между торбсьями, колыхаясь, точно лодочка на бурном море... Целую неделю я гляжу на полосу бледного неба меж высокими берегами, на белые склоны с траурной каймой, на «пади» (ущелья), таинственно выползающие откуда-то из тунгусских пустынь на простор великой реки, на холодные туманы, которые тянутся без конца, свиваются, развертываются, теснятся на сжатых скалами поворотах и бесшумно втягиваются в пасти ущелий, будто какая-то призрачная армия, расходящаяся на зимние квартиры. Тишина томит душу. И только по временам по реке ухнет вдруг тяжелым стоном треснувший лед, запищит, как пролетающее ядро, отдастся эхом, как пушечный выстрел, пропесется куда-то далеко назад, в оставленные нами пустынные извилины Лены, и долго еще звенит отголосками и умирает, нугая воображение причудливыми, внезапно воскресающими дальними стонами.

Мне было грустно. Мой спутник томился и нервничал. Возок наш то и дело кидало с боку на бок, и уже не раз он опрокидывался совсем. При этом, к великой досаде Михайла Ивановича, случалось все как-то так, что валились мы неизменно в его сторону. Это было естественно, но все же причиняло ему большое неудовольствие. Однако случись иначе, мне грозила бы серьезная опасность, тем более что в таких случаях он, с своей стороны, не делал ни малейших усилий. Только крик-пет, бывало, и деловито обращается к ямщику:

— Подымай!

Ямщик, как ни трудно, подымает, и мы едем далее.

Мне казалось, что уж месяц отделяет меня от Якутска, из которого мы выехали всего дней шесть назад, и чуть не целая жизнь от ближайшей цели путешествия, Иркутска, до которого осталось более двух тысяч верст.

Едем мы тихо: сначала нас держали псисстовые морозные метели, теперь держит Михайло Иванович. Дни коротки, но ночи светлы, полная луна то и дело глядит сквозь морозную мглу, да и лошади не могут сбиться с проторенной «по торосу» узкой дороги. И однако, сделав станка два или три, мой спутник, купчина сырой и рыхлый, начинает основательно разоблачаться перед камельком или железной печкой, без церемонии спывая с себя лишнюю и даже вовсе не лишнюю одежду.

— Что вы, Михайло Иванович! — пытаюсь я протестовать в таких случаях. — Станок бы еще можно сегодня...

— Куда к шуту торопиться-то? — отвечает Михайло Иванович. — Чайком ополоснуть утробу-те, да на боковую.

Есть, «полоскаться» чаем и спать — все это Михайло Иванович мог производить в размерах поистине изумительных и все это совершал тщательно, с любовью, почти с благоговением.

Однако, кроме этого, у него были еще и другие соображения.

— Народ здесь, — говорил он таинственно, — на копейку до чрезвычайности, братец ты мой, жаден. Бедовый самый народ, потому что золотом набаван.

— Ну, золото-то далеко, да и не слышно ничего такого о здешних местах.

— А вот как нас с тобой ограбят, так и услышишь, да поздно... Чудак! — прибавлял он, быстро впадая в «сердце», — какая это есть сторона, не знаешь, что ли? Это тебе не Расей! Гора, да падь, да полынья, да пустыня... Самое гиблое место.

Вообще Михайлу Ивановичу «здесьняя сторона» не внушала ничего, кроме искреннего омерзения и брезгливости. Все здесь, начиная с угрюмой природы и людей и кончая бессловесною тварью, не избегало с его стороны самой придирчивой критики. Он знал только одно: здесь, если «пофартит», можно скоро и крупно разжиться («в день человеком сделаешься»), и поэтому жил здесь уже несколько лет, зорко выглядывая случай и стремясь неуклонно к известному «пределу», после которого намеревался вернуться «во свою сторону», куда-то к Томску. В этом отношении он напоминал человека, которому за известное вознаграждение предложили пробежать голым по сильному морозу. Михайло Иванович согласился, и вот теперь он бежит, ухая и пожимаясь, к своему пределу. Только бы добежать, только бы схватить, а там... пропадай хоть пропадом вся эта гиблая сторона, — Михайло Иванович не пожалеет.

В данное время, кажется, он уже значительно приблизился к пределу и, быть может, именно поэтому ужасно нервничал: а что, дескать, ежели именно теперь кто-нибудь у него схваченное-то и вырвет?.. Михайло Иванович, о котором я слышал много рассказов, реко-

мендовавших в самом ярком свете его предприимчивость, доходившую до дерзости в пачале здешней карьеры,— теперь трусил, как баба, и мне поневоле приходилось из-за этого проводить с ним скучнейшие вечера и долгие ночи на пустынных станках угрюмой и безлюдной Лены.

II

В один из таких морозных вечеров я был разбужен испуганным восклицанием Михайла Ивановича. Оказалось, что мы оба заснули в возке, и когда проснулись, то увидели себя на льду, под каменистым берегом, в совершенно безлюдной местности. Колокольчика не было слышно, возок стоял неподвижно, лошади были распряжены, ямщик исчез, и Михайло Иванович протирал глаза с испугом и удивлением.

Вскоре, однако, недоумение наше рассеялось. Я взгляделся в ровный каменный берег, уходящий степной вдаль и искрившийся под лучами полного месяца. Невдалеке тропинка исчезала в расселинах скал, а прямо над головой свесился высокий крест якутской могилы. Хотя могила на берегу, даже и совсем пустынном, не редкость в том краю, так как якут старается лечь на вечный покой непременно на возвышенности, у воды, в таких местах, где много дали и простора,— но все же я узнал Ат-Даванскую станцию, которую заметил уже в первую свою поездку. Красный сланец с причудливыми слоями, наминавшими какие-то неведомые письмена, ровный, будто искусственно сложенный обрыв, жидкие лиственницы, якутская могила с крестом и срубом и, наконец, длинная пелена белого дыма, тихо нависшая с берега над рекой,— все это вспомнилось мне сразу. Здесь нет въезда, берег представляет отвесную стену, и потому зимой сани оставляют на реке, а лошадей приводят узкой тропой прямо на лед. Михайло Иванович тоже сразу успокоился, тем более что на тропинке уже мелькали фонари.

Через минуту мы были наверху, на станции.

Маленькая стапционная комната была натоплена; от раскаленной железной печи так и пыhalo сухим жаром. Две сальные свечки, оплывшие от теплоты, освещали притязательную обстановку полуякутской постройки, обращенной в станцию. Генералы и красавицы

чередовались на стенах с объявлениями почтового ведомства и патентами в черных рамках, сильно засиженных мухами. Вся обстановка обнаруживала ясно, что станция кого-то ждала, и мы не имели оснований приписать все эти приготовления себе.

— Вот, братец ты мой, и чудесно! — радостно говорил Михайло Иванович, принимаясь за переметы со всякою дорожною снедью. — Эка теплота-то благодатная! Тут уж шабаш, ночуем беспрерывно! Эй, кто там!.. писарь, что ли? Самоварчик бы нам да кипяточку для чашечек...

— Ну, нет, Михайло Иванович, — попытался я возразить, — еще рано. До N доедем, а там и ночлежничать можно.

— Лошадей, милостивый государь, нет, — слышался сзади меня дребезжащий, слащавый и как будто робеющий голос.

Я оглянулся. В комнату входил небольшой круглый человечек неопределенного возраста, одетый довольно оригинально. Кургузый сюртучок, клетчатые панталоны, пикейный жилет, сорочка с манжетами и даже старинную пловую, цветной галстук с золотыми мухами по зеленому полю — все это слегка уже полинявшее, слежалое, как будто надетое по случаю, напоминало о каких-то давно прошедших временах. На ногах у вошедшего были тяжелые валенки, наряду с которыми кургузый немецкий костюм выглядел очень комично. Впрочем, маленький человечек не сознавал, по-видимому, этого контраста и выступал щеголевато, мелкими, «щепотками» шагами.

Физиономия незнакомца, как и вся фигура, была какая-то серенькая, тоже как будто слегка подержанная или лежалая, а теперь приглаженная и почищенная для случая. В улыбке, в серых глазах, в тоне голоса заметна была претензия на некоторую культурность. Маленький человечек как будто хотел показать, что он видал лучшие дни, знает «обращение» и при других обстоятельствах стоял бы с нами на равной ноге. Но вместе с тем он как-то сжимался и робел, как будто его слишком часто осаживали, и он боялся того же от нас.

— Как же нет лошадей? — возразил я, посмотрев в книгу, выложенную, по-видимому, недавно на видном месте. — Две тройки должны быть на станции.

— Так точно, — покорно ответил он, — должны нахо-

даться. Только, собственно... как бы вам, милостивый государь, объяснить...

Он замялся.

— Пожалейте меня, господа проезжающие, не требуйте, — произнес он вдруг чрезвычайно жалобным и приниженно-просящим голосом.

— Но почему же это? — удивился я.

— Экие вы, право! — с неудовольствием вмешался Михайло Иванович, успевший уже стащить с себя даже брюки. — Почему да почему? Ну, куда вы торопитесь? Дети у вас, что ли, плачут?.. Видишь, ведь, братец ты мой, человек слезно просит — значит, причина!

— Так точно-с, — обрадовался незнакомец и обратился к Копыленкову с сочувственной улыбкой, обдергивая полы своего пиджака, — так точно-с, как вы изволили заметить: неужели без причины стану чинить господам проезжающим задержку? Никогда-с!

Последнее слово он произнес как-то даже гордо, выпрямился при этом и обдернул пиджак.

— Ну, хорошо, — сказал я, сдаваясь тем охотнее, что понимал невозможность вытянуть моего быстро разоблачившегося спутника из этой теплой комнаты на трескучий вечерний мороз. — Но все же объясните вашу причину, если это не тайна...

Сочувственная улыбка озарила все лицо маленького человечка. Он увидел, что дело сладилось, и намеревался ответить мне с видимою благосклонностью, но вдруг насторожился. Снаружи, с реки, сквозь треск железной печурки, слышался звон.

Дверь отворилась, староста, полуякут по наружности, осторожно вошел в комнату, тщательно запер дверь и сказал:

— Почта келлэ, Василь Спиридоныч...

— А, почта! — успокоился старичок. — Ну, бар-антах (ступай), чтоб живо!.. Сейчас иду, извините меня, почтенные господа...

Он вышел. Станция переполнилась движением. Хлопали двери, скрипели ступени, ямщики таскали баулы и сумки, суетливый звон уводимых и перепрягаемых на льду троек теснился каждый раз в отворяемую дверь, ямщики кричали друг на друга по-якутски и ругались на чистом русском диалекте, доказывая этим свое российское происхождение...

Через несколько минут в комнату не вошел, а вбежал какой-то человек небольшого роста в сильно потертой казенной шинели, в якутском малахее и обвязанный шарфом. Он вбежал так торопливо, как будто за ним кто гонится, и тотчас же направился к железной печке.

Скинув шинель, он остался в какой-то жиденькой шубке на кроличьем меху, сильно похожей на женскую кацавейку; когда же снял и шубку, то под ней оказался старый, изорванный под мышками мундир почтового ведомства.

Действительно, это был почтальон, так торопливо убежавший от мороза, который на протяжении длинного перегона, видимо, одержал над ним значительные победы. Бедный молодой человек рвал с себя настывшие одеяния, как будто в них засел целый рой пчел, и, не снимая еще малахая и шарфа, быстро скинул с ног валенки, которые и уложил подошвами к печке. Снятие шарфа и малахая заняло более времени. Якуты и карымы не носят бороды и усов. Это вошло уже в эстетические привычки, но объясняется чисто климатическими условиями: бедняга почтальон, по-видимому, дорожил этими атрибутами, и теперь жидкая борода и такие же усики, которыми он, быть может, пленял где-нибудь в Киренске какую-нибудь заезжую невесту из семьи состоятельного поселенца, — превратились в одну сосульку, плотно соединившую его голову с малахеем и шарфом. Нужно было немало времени, пока наконец представитель почтового ведомства, совавший голову чуть не в самое пламя и разминавший льдины полузастывшими пальцами, предстал перед нами в своем настоящем виде: молодое, но значительно отекавшее лицо, беспокойные, но тусклые глаза, испуганная подвижность во всей фигуре, короткий и узкий мундир, лопнувший по швам, и заячьи чулки на ногах.

— Че! — отряхнулся он. — Тымны берть, мороз улахан (очень холодно, большой мороз)... Дозвольте рюмочку, господа!

— Угощайся, — ответил Копыленков благодушно. — Несчастный ты самый человек.

Глаза молодого человека как-то опять испуганно заморгали. Холодное сожаление купца только ярче напомнило ему холод дороги, и проглоченная рюмка про-

летела, будто льдинка. Вследствие этого он налил другую и отправил вслед за первой. Только тогда испуганное выражение начало исчезать с лица бедного малого.

— Верно,— сказал он.— Собачья жизнь... Да и морозы же стоят, удивительное дело...

— Одежка у тебя — ой-ой плоха. Не по здешнему месту.

— Одежа пичего. А впрочем... на восемь рублей не очень нащеголяешь...

Почта пробегает по этому огромному тракту один раз в неделю. Зимой трехтысячный путь она делает в девятнадцать дней, летом, конечно, дольше. Осенью и весной, когда Лена еще не стала или уже тронулась и ледоход мешает движению лодок, почту везут в переметных сумах верхами. Целый караван вьючных лошадей жмется тогда между рекой и каменными горами, то огибая, по брюхо лошади в воде, какую-нибудь выдавшуюся скалу, то карабкаясь по каменистым тропинкам, то мелькая на вершинах чуть не под облаками. Трудно себе представить занятие, требующее большей выносливости, присутствия духа, терпения и здоровья... Три тысячи верст!.. Ямщикам тоже трудно, но ямщики давно вернулись по домам и отдыхают, в ожидании редкого проезжающего, порой даже до следующей почты, а почтальон опять трясется в седле, или качается на бурной волне огромной реки, или коченеет, забившись меж кожаными баулами в сани. И это при обычных почтовых окладах...

Правда, почтальон изобретает еще посторонние средства. В Иркутске он запасается бочонком дешевой водки, которую продает на станках писарям и ямщикам, кушит только что вышедшие календари, возьмет на комиссию пачку лубочных картин. Все художественные произведения, обильно украшающие стены станков, ему обязаны доставкой своей в эти далекие страны. Он совершенствует эстетические взгляды полуякутов-становников, водворяя на стенах гравированные портреты получивших где-то премию красавиц, он содействует популярности генералов, он же развенчивает их, заменяя старых героев новейшими... Однако эта полезная деятельность мало скрашивает судьбу горемыки почтальона, и если он остается жив в своей плохой одежке среди необычайных морозов, то приписывает это главным и даже исключительным образом водке, которой вышивает на каждой станции огромное количество без

всяких видимых последствий, благо она достается ему дешево и доставляет даже некоторый,— право же, невинный при этих условиях,— доход...

От него же главным образом этот трехтысячный тракт, с его почти единственными обитателями-станочниками, узнает новости, совершающиеся в далеком мире.

Такой-то подвижник почтового ведомства стоял теперь у железной печки, с подогнутыми от холода ногами, протянув руки к пламени и кидая жадные взгляды на наши бутылки.

— А это у вас коньяк?.. Коньячку я еще хвачу,— произносил он вдруг с робкою фамильярностью, подбегал к столу, наливал, опрокидывал и опять убегал к огню все с тем же видом человека, испуганного внутренним ознобом.

— Слышь, почта, давай чайком побалуемся,— предложил Копыленков.

— Невозможно, господа почтенные,— тороплюсь. Слушай, парень,— дружески обратился он к вошедшему в эту минуту писарю,— поберегайся! Едет ведь...

Старичок вздохнул.

— Что бог даст! Ждем давно, хоть бы уж как-нибудь скорее...

— Теперь живо. Мне бы вот как-нибудь улететь, не напороться бы. Да где, не уйти — догонит! Хорошо, если на дороге где-нибудь...

— Тебе-то что?

— Да все от греха подальше. А слышь, парень, про жалобы-то узнал ведь...

— Ну?

— То-то... Сказывают, осатанел, беда!

— Авось бог милостив. Мы не жаловались...

— Да вы это про кого? — спросил Копыленков.

— Арабин, курьер... Теперь из Верхоянска обращается.

— Так-так-так! Вот почему у тебя и лошадей-то не оказалось. Понял! А вдруг бы мы у тебя лошадей-то последних и взяли...

— Совершенно верно-с... Судите сами: приедут они сюда, и вдруг я им объявлю: нет лошадей! Что же это-с... Ведь тогда им здесь почевать-с...

Копыленков захохотал.

— Ну, он тебя, братец, за ночь-то съест и с пиджаком с твоим.

Почтальон тоже засмеялся, как-то порывисто, закинув голову назад. Старичок постарался улыбнуться, но больше из вежливости. Глаза его были задумчивы и озабочены.

— Бог знает, бог знает... Прошлый раз уберегла царица небесная... Скотиной все-таки назвал.

— Удостоил?

— Да-с. Это что ж... Конечно, по прежнему времени, состоявши в чине коллежского секретаря, мог обижаться... Ну, между прочим, в настоящем ничтожном положении обязан терпеть... Вы самоварчик изволили приказывать? — спохватился он вдруг. — Ах, боже мой, что же я-с... Сейчас будет готово, — два самовара у нас. Ежели в случае приедет, и ему подадим... Сейчас...

IV

Через несколько минут нестарая еще и довольно красивая женщина, при входе которой почтальон опять закинул голову и засмеялся своим прерывистым смехом, а писарь стал как-то особенно серьезен, внесла небольшой самоварчик и принялась уставлять чайную посуду. Мы пригласили к чаю старичка и почтальона. Последний отказался и так же быстро, как прежде скидал с себя, стал натягивать свои не совсем высохшие одеяния. Писарь тоже пытался отказаться из приличия, но затем, на вторичное приглашение, согласился, видимо польщенный.

— С превеликим удовольствием разделю компанию, — сказал он и затем, застегнув пиджак на все пуговицы и взявшись рукой за спинку стула, поклонился и произнес:

— В таком случае считаю за честь рекомендоваться: Кругликов, Василий Спиридопов, бывший коллежский секретарь... Приятно приобрести знакомство.

— Значит, служил? — спросил Копыленков.

— Так точно-с, по комиссариатской части, во флоте-с.

Почтальон облачился, сунул нам всем на прощание руку, еще раз сказал: «А это спирт у вас? Хвачу-ка еще спирту!» — хватил и торопливо выбежал на мороз. Я оделся и вышел за ним.

Нужно было подойти к обрыву у могилы с наклонившимся крестом, чтоб увидеть почту внизу.

Река, загроможденная белым торосом, слегка искрилась под серебристым и грустным светом луны, стоявшей над горами. С того берега, удаленного версты на четыре, ложилась густая неопределенная тень, вдали неясно виднелись береговые сопки, покрытые лесом, уходившие все дальше и дальше, сопровождая плавные повороты Лены... Становилось и жутко, и грустно при виде этой огромной ледяной пустыни.

Почта — три тройки — двинулись, колокольчики сразу, как-то сбивчиво и шумно, заговорили под моими ногами, как будто ободряя друг друга. Три черные пятна, точно фантастические многосоставные животные, шевельнулись по снегу и замелькали между торосьями, становясь все меньше и меньше. Их давно уж не было видно, а звон все стоял такой же ясный в морозном, точно стеклянном, воздухе... Каждый колокольчик говорил по-своему: расстояние уменьшало только силу, но не ясность звука. Потом все исчезло внезапно, только торосья искрились фантастическим хаосом, да сопки тихо спали в тени, и какие-то неясные грезы передвигались под дальними берегами.

Чуть не все население станка провожало почту... На бедном Ат-Даване, приютившемся под каменными горами, этот пролет редкой почты — целое событие.

Но станок ждал и томился ожиданием еще другого события.

Когда почта исчезла и звон затих, гурьба ямщиков, тихо подымавшихся с реки, прошла мимо меня, разговаривая по-якутски. Мне трудно было разобрать эти тихие речи, однако я понял, что говорят они не о том, кто уехал, а о ком-то, кто должен приехать сверху. При этом имя «Арабын-тойона» раза два коснулось моего слуха.

Я остался еще на берегу, привлекаемый грустным очарованием. Воздух был неподвижен и полон какой-то чуткой, кристаллической ясности, не нарушаемый теперь ни одним звуком, по как будто застывший в пустлом ожидании. Стоит опять треснуть льдине, и морозная ночь вся содрогнется, и загудит, и застонет. Камень оборвется из-под моей ноги — и опять надолго наполнит чуткое молчание сухими и резкими отголосками...

Мороз все крепчал. Здание станции, которое наполовину состояло из юрты и только наполовину из русского сруба, сияло огнями. Из трубы над юртой целый веник искр торопливо мотался в воздухе, а белый гу-

стой дым поднимался сначала вверх, потом отгибался к реке и тянулся далеко, до самой ее середины... Льдины, вставленные в окна, казалось, горели сами, переливаясь радужными оттенками пламени...

Я еще раз окинул взглядом окружающую картину, полную захватывающей грусти, и пошел в избу.

V

В ямщицкой огромный камелек, плотно сбитый из глины, зиял, точно раскрытая огненная пасть сказочно-го чудовища. Огонь с невероятной силой рвался в трубу, как будто целая река пламени струилась вверх. Наклонные стены юрты то тесно сдвигались, охваченные багряным отблеском, то утопали чуть заметно во тьме; тогда юрта казалась огромною пещерой с темными сводами. Группа огненных же фигур, будто только что отлитых из не остывшего еще металла, сомкнулась полукругом около камина. В середине, уставившись на огонь задумчивыми глазами и опершись подбородком на руки, сидел молодой станочник с резко инородческими чертами, представитель этого странного, наполовину обьякутевшего населения средней Лены. Из горла его лились, примешиваясь к шипению и треску пламени, странные — то протяжные, то истерически прерывистые — звуки. Это была якутская песня-импровизация, — песня, в которой только привычное ухо может уловить признаки своеобразной гармонии. «Господи боже, — подумал я невольно, — как только не выражается человеческое чувство!..» Но так как красота все-таки в самом чувстве, то есть своя доля красоты и в этом диком гортанном, прерывистом завывании, похожем то на плач, то на шум ветра в диком ущелье... Достаточно было взглянуть на бронзовые лица станочников Ат-Давана, чтобы убедиться в присутствии захватывающего и поглощающего душевного движения, царившего в грязной, неприветливой юрте.

Молодой станочник пел, остальные слушали, изредка поощряя певца резкими, произвольными короткими восклицаниями. Мы имеем свои песни, записанные, положенные на ноты, в которых более сложное чувство кристаллизовалось в постоянную форму. Дикая тайга, каменистые тропинки над Леной, угрюмый и сиротливый Ат-Даван — имеют свои песни. Они не запи-

саны, не выработаны, не гармоничны и довольно грубы, но зато каждая из них рождается по первому призыву, отзывается, как золова арфа, своею пезаконченною и незакругленною гармонией на каждое дуновение горного ветра, на каждое движение суровой природы, на каждое трепетание бедной впечатлениями жизни... Певец-станочник пел об усилившемся морозе, о том, что Лена стреляет, что лошади забились под утесы, что в камине горит яркий огонь, что они, очередные ямщики, собрались в числе десяти человек, что шестерка коней стоит у коновязей, что Ат-Даван ждет Арабын-тойона, что с севера, от великого города, надвигается гроза и Ат-Даван содрогается и трепещет...

Песенный якутский язык отличается от обиходного приблизительно так же, как наш славянский от нынепного разговорного. Песенный язык родился где-то далеко, в неведомых глубинах Средней Азии, откуда великое смешение народов бросило жалкий осколок какого-то племени на дальний северо-восток. Он сохранил на севере пышные образы и краски далекого юга. От севера же, от пугливого морозного воздуха, в котором треск льдины вырастает в пушечный выстрел, а падение ничтожного камня гремит, как обвал, песня приобрела пугливую наклонность к чудовищным гиперболам, к гигантским устрашающим преувеличениям. Вот почему, надо думать, якутский Иванушка, бедный сирота Эр-Соготох в своих горестных странствиях натывается то и дело на сказочных молодцов, самый меньший из которых обладает икрами в обхват старой лиственницы, а глаза его весят по пяти фунтов.

Я стал в тени, не замеченный, и слушал песню станочника об Арабын-тойоне... Арабин, Арабин!.. Я где-то слышал эту фамилию. Мне стоило значительного усилия отодвинуть от себя сказочную фигуру, и из-за нее в моей памяти выдвинулась другая. В Иркутске, в знакомом доме, я несколько раз встречал — правда, мимоходом — казацкого хорунжего с этой фамилией. Это был человек ничем не выдававшийся, молчаливый, слегка даже застенчивый тою особою застенчивостью, которою отличаются болезненно самолюбивые люди. Я едва заметил его тогда, но потом слышал, что он чем-то обратил на себя внимание тогдашнего генерал-губернатора и что его употребляют для «особых поручений». Неужели это он? Неужели это о нем я слышу теперь по всему пути — о нем, чье имя едва различалось в иркут-

ской толпе?.. Он уже третий раз пролетает по Лене в качестве курьера, и каждый раз толки о нем долго не смолкают на пустынной реке. На станциях он вел себя как человек, на единичные усилия которого возложено усмирение бунтующего края. Врывался, как ураган, бушевал, наводил панический ужас, грозил пистолетом и... забывал всюду платить курьерские прогоны. Вероятно, благодаря этим приемам он исполнял поручения в сроки, удивлявшие самых привычных людей, и начальство отличало его еще более. «Курьер» стало кличкой и чуть не постоянной профессией Арабина. Скромный и застенчивый в Иркутске, он становился совершенно другим, лишь только выезжал из города. Быть искренно убежденным, что *всякая* власть сильнее *всякого* закона, и чувствовать себя целые недели единственным представителем власти на огромных пространствах, не встречая нигде ни малейшего сопротивления, — от этого может закружиться голова и посильнее головы казачьего хорунжего.

И она действительно кружилась. В последний проезд он уже скакал через редкие города (Киренск, Верхоленск и Олекму), стоя в повозке и размахивая над головой красным флагом. В этом было что-то фантастическое: две тройки мчались, как птицы, с смертельным ужасом в глазах, ямщик походил на мертвеца, застывшего на облучке с вожжами в руках; седок стоял, сверкал глазами и размахивал флагом... Местные власти покачивали головами, обыватели разбегались. В этот проезд Арабин отметил свой путь таким количеством павших лошадей, воплей и жалоб, прорвавшихся наконец паружу, что почтовое начальство сочло необходимым вмешаться. Забегая вперед, скажу только, что из-за Арабина поссорились два ведомства, что непосредственное начальство курьера вынуждено было все-таки отказаться от его услуг, но, снабженный отличными рекомендациями, он перешел на службу еще дальше на восток и там, на Амуре, застрелил, наконец, наповал станционного смотрителя. Тогда об Арабын-тойоне заговорили даже в России, и только тогда узнали, что судить, в сущности, некого, так как знаменитый курьер был уже... вполне сумасшедшим.

Такова дальнейшая история грозного и несчастного Арабын-тойона, ожидаемого в эту почь на далеком Ат-Даване. Вот о ком скрипела и завывала унылая якутская песня в ямщицкой юрте.

В станционной комнате Михайло Иванович в одном белье сидел за столом. Кругликов помещался напротив в позе значительно более свободной, чем прежде. По наивному оживлению, сверкавшему в простодушно-хищных глазах моего спутника, я сразу увидел, что ему удалось уже завязать один из тех разговоров, до которых он был великий охотник. Это были именно разговоры чисто биографического и отчасти стяжательного характера: кто, где и каким образом сумел нажить дестьгу. Все подробности наживательских драм имели для него какую-то особенную, обаятельную прелесть. Кругликов давал эти подробности охотно и с объективным спокойствием человека, глядящего на все это со стороны, глазами наблюдателя.

— Так, говоришь, прогорел? — спрашивал Михайло Иванович, наклонясь через стол.

— До основания-с! — ответил Кругликов и подул на блюдечко с чаем. — Совсем-с, так что, с позволения вашего сказать, в рубашке одной остался, да и та чужая.

— Ах ты, братец мой, какой человек пропал!

— Пропал? Ну, это зачем же-с! Где же этакому человеку пропасть! По здешним-то местам, я говорю, да зтакой голове...

— Действительно, шельма, естественная. Говоришь, поправился?

— Да еще как поправился!..

— Ну, дела!.. Чем же он взялся-то?

Кругликов поставил блюдечко и загнул палец:

— Первым делом — жепится он вторично на вдове с капиталцем. Капитал, положим, ничтожный...

— Постой! Говоришь: женится! А первая-то померла, что ли?

— Живехонька-с! Это ничего не составляет.

— Ай-ай-ай!.. Н-н-пу-с? Что ты, братец, мямлишь, говори далее!

— Ну-с, и стал легонечко поторговывать на приисках спиртом.

— Спир-том?.. Ну, нет, поне, брат, на спирту далеко не уедешь. Ноне, брат, на спиртовом-то деле тюрьму себе заработаешь, а богат не станешь. Не прежние времена...

— Ах, нет, позвольте-с, это вы напрасно! Спиртовое дело, оно само по себе, а ежели при этом *пшеничка*...¹

— Ну, вот это так! ежели ловкому человеку...

— Этот ловок. Шире-дале, шире-дале и взошел он в копейку настоящую.

Михайло Иванович хлопнул себя рукой по колену.

— Ах ты, братец мой! Вот голова, так голова... Пей еще! — предложил он радушно, когда г-н Кругликов положил пустой стакан на блюдечко в знак того, что он доволен, но выпьет еще, если его попросят (опрокинуть стакан и положить на него огрызок сахара — значило бы отказаться окончательно). — Пей! А что касающее должности, не сомневайся. Определяю, будешь доволен. Я, братец, люблю разговорчивых людей. Только уж ты скажи мне, по правде-истине: хмелем зашибаешься?

Господин Кругликов посмотрел ему прямо в глаза ясным взглядом и ответил:

— Пью-с... Пьяницей или, сказать, пропойцей себя не полагаю-с, а пью-с... Но спросите: почему пью? — потому, что нахожусь в горести после прежней благополучной жизни. Вот и Иван Александрович — наверно, изволите знать, приiski у него богатейшие были — говорит, бывало: «Зачем, Кругликов, пьешь? Тебе бы, при твоём уме, вовсе бы касаться не надо... Почерк имеешь прекрасный, экипирован прилично, сам себя ведешь аккуратно... Тебе бы какое место можно занимать, только не касайся вина!» Так вот нет, сердце не позволяет... «Иван Александрович», — говорю ему...

Господин Кругликов заволновался. По-видимому, он забыл, кому и по какому поводу он делал эти излияния и, ударив себя в грудь, продолжал:

— Иван Александрович, благодетель, не суди! Господи! Да я бы смолу, — понимаешь ты? — с-смолу бы кипящую пил, ежели бы мог иной раз себе облегчение получить, — забвение горести! Смолу-у!.. Боже мой, создатель! за что ты судьбу мою в эту гиблую сторону закинул?.. Хлеба пуд — четыре с полтиной, говядина — восемь рублей! Ни покою, ни пищи...

— Это верно, — поддержал Михайло Иванович, — корма-то здесь дороги, нечего говорить.

— Эх, нет, не то! — с тоской заговорил вдруг маленький писарь, и эта тоска глубоко щемящею нотой

¹ Пшеничка — золотой песок. «Торговать пшеничкой» — скупать тайным образом подъемное золото у приисковых рабочих.

прорвалась в его голосе, промелькнула в лице, изменила всю несколько комичную его фигуру. — Не то-с... Сердце закивает во мне, размышление одолевает...

— Задумываешься? — перебил Михайло Иванович с каким-то пугливым участием.

— Бывает! — угрюмо сознался Кругликов.

— Ах, братец! Ты как-нибудь тово... брось... Самое это плохое дело. У меня, брат, смолоду тоже было; насилиу отец-покойник выгнал. После женитьбы и то еще, бывало, нет-нет да и засосет... На свет не глядел бы от мыслей этих... Последнее дело!

— Чего хуже! Поверите: иной раз ночью проснешься, ономнишься: «А где-то ты рожден, Василий Спиридонов, в коих местах юность свою провел?.. А ныне где жизнь влачишь?..» Морозище трещит за стеной или вьюга воеет... К окну, а в окне — слепая льдина... Отойдешь и сейчас к шкапу. Наливаю, пью...

— Легче?

— В голову ударит, — ну, и омрачит отчасти... Затуманит, потому — настойка у меня... Водка настоена крепчайшая... А настоящего облегчения не вижу.

— Вот оно дело какое! И верно, что лучше бросить... Займись делом, оно, брат, тоже по голове-то ударит не хуже настойки... А скажи ты мне вот что: за что тебя сюда-то унерли?

Этот вопрос, предложенный с такою грубою внезапностью, прошел еще раз по всей фигуре г-на Кругликова, и еще раз она преобразилась, теряя в моих глазах прежний оттенок комизма. Казалось, какая-то искра пробивается из-под давно потухшего, но еще не остывшего вполне непелица.

Он как-то подернулся, потушился, и его голос, когда он спросил позволения налить себе рюмку, стал глуше.

— Дозволите?

— Угощайся!

Он налил, осмотрел рюмку на свет, как будто ища там ответа на мучительный вопрос, вынул ее залпом и сказал:

— За любовь-с.

Михайло Иванович разинул рот от удивления. Я должен сказать, что заявление г-на Кругликова, высказанное с такою краткою решительностью, было так неожиданно, что заставило и меня взглянуть на него с удивлением. Кругликов, казалось, и сам понимал, что своими словами произвел значительную сенсацию.

— Да говори ты, братец, толком! — сказал наконец Михайло Иванович с досадой.

— Что ж, я правду говорю, — ответил Кругликов, — так как, собственно из любви к одной девице, в начальника своего, статского советника Латкина, дважды из пистолета палил.

Это было уже слишком.

Михайло Иванович окаменел и смотрел на своего собеседника какими-то бессмысленными, мутными глазами. Он походил на путника, который, пробеседовав часа два с самым любезным, хотя и случайно встреченным попутчиком, и совершенно очарованный его прекрасными качествами, вдруг узнает, что перед ним не кто другой, как *celebrissime*¹ Ринальдо Ринальдони.

— Из пистолета? — протянул он растерянно. — Как же это так? Да ты верно ли говоришь: из пистолета?

— Так точно-с. Пистолет пастоящий.

— Палил?

— Два раза.

— Да ведь это, братец ты мой, такое дело, такое... самое, сказать тебе, политическое...

— Что тут поделаете! Судите меня, как знаете... Любовь-с.

— Да вы расскажите, Василий Спиридонович, как эта вся история вышла... — обратился я к г-ну Кругликову.

— Да, — поддержал мою просьбу и Коныленков, — что ж, братец, расскажи, расскажи, — ничего! Что уж тут... Удивительно!

VII

Господин Кругликов, отхлебнув последний глоток чаю, опрокинул стакан, положил на донышко кусок сахара и отодвинул все это от себя. После этих приготовлений палил себе рюмку и опять посмотрел на свет. Я сожалел в эту минуту, что я не живописец и не могу изобразить сложных ощущений, совместившихся на оригинальном лице ат-даванского станционного писаря, освещенном оплывшими сальными свечами. Круглый облик, пепельные, аккуратно причесанные волосы с чем-то вроде кока впереди, подстриженные котлетками бакенбарды и бритый подбородок. В серых глазах, внима-

¹ Славнейший (лат.).

тельно глядевших рюмку на свет, можно было бы прочесть и предвкушаемое удовольствие, и тщеславную гордость заинтересовавшего слушателей рассказчика, и искреннюю горечь разбитой жизни и жгучих воспоминаний. Он, запрокинув голову, выцедил рюмку коньяку, поставил ее на стол, обтер губы истрепанным фуляровым платком и обратился к рассказу:

— Моя биография жизни, почтенные господа, очень печальная... Чувствительный человек может окончательно все понимать, а другие смеются-с... Впрочем, это все равно-с...

Он горько улыбнулся, все еще несколько рисуясь, и затем спросил:

— Не случилось ли кому из вас, почтенные господа, бывать в Кронштадте?

— Это где? — спросил Копыленков.

— Вблизи Петербурга, часа два паровой езды-с, портовый город.

— Я бывал, — сорвалось у меня.

— Бывали-с? В самом Кронштадте-с?

Кругликов живо повернулся ко мне, и глаза его сверкнули оживлением.

— Да, бывал и даже жил несколько месяцев.

— Великолепный город! Порт, крепость, твердыня-с, оплот, окно в Европу-с... Превосходный город, уголок Санкт-Петербурга!

— Да, город хороший.

— Ах, как можно, как можно! Этакого другого города... да где вы найдете? Помилуйте. А правда ли-с, что теперь, говорил мне как-то проезжий офицер, на Екатерининской улице чугунная мостовая положена?

— Верно.

— Красота, должно быть!.. А пристани-с, Купеческая стенка, форт Павел, форт Константин...

Он увлекался. Моя мысль тоже как-то мгновенно перенеслась с угрюмой Лены в Кронштадт, где я провел несколько радостных месяцев еще студентом... Меня, как и Кругликова, охватили воспоминания: плескала морская волна, сливающаяся с певскою, свистел пароход, длинная дамба гудела под копытами извозничьих лошадей, везущих публику с только что приставшего парохода, сновали катера, баркасы, дымились пароходы... Белые ялики с стройно взмахивающими веслами, грузные броненосцы, шпиль немецкой кирки, улицы, перерезанные каналами доков, где среди зданий, точно

киты, неведомо как попавшие в средину города, стоят огромные морские громады с толстыми мачтами, каменные дома, бульвары, казармы, блеск и роскошь уголка столицы... И опять — лес мачт в синем небе, купеческая гавань, отлогая коса и шум морского прибоя... Синяя даль, сверкающие гребни волн и грузные форты, выступившие далеко в море... Облака, чайки с белыми крыльями, легкий катер с сильно наклонившимся парусом, тяжелая чухонская лайба, со скрипом и стоном режущая волну, и дымок парохода там, далеко из-за Толбухина маяка, уходящего в синюю западную даль... в Европу!..

Иллюзию нарушил, во-первых, новый выстрел замерзшей реки. Должно быть, мороз принимался к ночи не на шутку. Звук был так силен, что ясно слышался сквозь стены станционной избушки, хотя и смягченный. Казалось, будто какая-то чудовищная птица летит со страшною быстротой над рекою и стонет... Стоп приближается, растет, проносится мимо и с слабеющими взмахами гигантских крыльев замирает вдали.

Копыленков нервно вздрогнул и затем, как это часто бывает после испуга, с досадою накинулся на Кругликова.

— Ну, так что же, — сказал он нетерпеливо, — родом ты, что ли, из этого самого городу? Начал, так уж говори толком, не мямли!

— Да-с, родом, — отрезал Кругликов с гордостью. — На Сайдашной улице и свет увидал. Сайдашную изволите знать? У отца моего в этой улице собственный дом находился, может, стоит еще и поныне. А родитель мой, надо сказать, хотя и из ластовых был, но место имел доходное и, понятное дело, сыну тоже дал порядочного ходу. Образованием не очень увлекался, ограничиваясь начатками грамоты и почерком, по, как и сам я был молодой человек аккуратный, по службе исполнитель и у начальства несколько на виду по причине родителя, то и стоял я, могу сказать, на лучшей линии... Да-с, по началу судьбы моей не того можно было ожидать, чем я ныне постигнут. Ясное утро и печальный закат-с...

— Не ронщи! — наставительно произнес Копыленков.

— Ну-с, итак... сказал я вам, милостивые мои государи, что у родителя был собственный дом на Сайдашной улице. А в этой же улице, насупротив, несколько

этак пайскосок, проживал товарищ моего отца, тоже из ластовых и, по выслуге, занимал место и еще того доходнее...

— А какое? — не вытерпел Михайло Иванович.

— В порту, где происходят ремонт и постройка морского флота судов. Оклады тогда или не очень чтобы сказать большие, но сторонний доход по тому времени выпадал обильно, — просто было! Можете судить по тому, что с должности редкий день уходили не обмывавшись...

— То есть это что же, насчет чего?.. — недоумевающе спросил Копыленков, для которого, как знатока по части самых разнообразных доходов, эта форма оказалась непонятной.

— Это, видите, в чем состоит. Судно морского флота не то, что ваши паузки. Наружность само собой, крепление там, ванты, рангоут и прочее, но еще внутренняя отделка требует материалу дорогого и тонкого. Великолешие, блеск и даже, можно сказать, комфорт... Ну-с, так вот, в материальных складах материй этих, лионского бархату, аглицких разных шелков... горы... Теперь представьте: надо ему уходить с должности домой; снимает он сюртук, берет кусок шелковой материи, обернет вокруг корпуса, опять одевается, уходит. Пришел домой, разматывает его жена, как катушку какую, — вот и приобрел!

— Важная штука!.. Только как же их там не щупают, на выходе-то?

— Как можно! Рабочих, конечно, обыскивают у ворот, а с господами и обращение другое, на доверчивом начале.

— Ничего, можно дела делать... Только надо умному быть. Ежели на жадного человека, который не знает меры, — живо пропасть можно. Все-таки ведь казна!

— Будьте добры, продолжайте, — в свою очередь, перебил я, видя, что теперь увлекается уж Копыленков.

— Да-с, конечно, дело не в этом. А что просто было — это верно. Просто, просто, а только что просвещения было в нашем кругу мало, а дикости много... Из-за этого я и крест теперь несу. Видите ли, была у этого папашина товарища дочка, на два года меня моложе, по восемнадцатому году, красавица! И умна... Отец в ней души не чаял, и даже ходил к ней студент — обучением занимался. Сама напросилась, — ну, а отец лю-

бимому детищу не перечил. Подвернулся студент, человек умный, ученый и цену взял недорогую,— учи!

— Напрасно,— сказал вскользя Копыленков.— Боловство! Женскому полу это ни к чему...

— Ну-с, а я был той девице, Рансе Павловне, нареченный жених. Родители наши приятели были, мы почти что и выросли вместе, и задумали отцы между собою так, чтобы непременно меня на ней женить. И мы, с своей стороны, имели друг к другу чувствительное расположение. Сначала-то, знаете, дружба, играем, бывало, вместе, а потом уж и серьезно. От родителей препятствия не видели и имели постоянно друг с дружкой обращение.

— Грех вышел? — забежал вперед Михайло Иванович.

— Никакого греха! — отрезал Кругликов холодно.— И в мыслях не было,— оба младенцы чистые. Рая до чтения была охотница, так вот в этом больше и время проводили. Сначала Гуаки там, рыцари разные, Францыль Венецыян,— чувствительные истории!.. Пустяки, конечно, а правилось: маркграфиня, например, бранденбургская, принцесса баварская, и при всем этом свирепый сераскир... Все такое-этакое... Возвышенные персоны-с и все насчет любви и верности упражняются и претерпевают приключения... Конечно, головы молодые! У меня все-таки служба, а она управится по домашности, как минута свободная — сейчас в комнате своей с ногами на диванчик, в платочек завернется и читает. Под вечер — я с должности вернусь — гулять идем, под ручку-с. В Кронштадте известно какое гулянье: на крепостной вал, на Купеческую стенку, бывало, сходим, на море смотрим... Она мне и рассказывает, что за день-то прочитала. Говорит, говорит, потом и задумается.

«Вот, Васенька, говорит, какие на свете бывали любовники... Вот бы и нам с тобой этак же. Можешь ли ты в испытании, например, верность сохранить?.. Вдруг бы ко мне какой-нибудь свирепый сераскир присватался?»

Ну, я, конечно, с своей стороны:

«Могу-то я могу, да только ведь нам, говорю, не к чему, если нас хоть завтра по родительскому приказу в соборе обвенчают...»

Смеюсь, конечно, потому что каждый день в канцелярию хожу, так и то обращение в свете имею, а она — дитё.

«Видишь, говорит, вон у маяка парусок бежит?»

«Вижу, бриг из-за границы идет».

«А что, говорит, может, на этом корабле пират едет: кинется вдруг, город спалит, тебе копьём грудь пронзит, меня в плен...»

Задрожит сама, испугается, жметесь ко мне. Ну, я ее опять успокою:

«Что ты, бог с тобой! Это бриг идет голландский или там аглицкой, с хлопком. Мало ли их, эгличей этих, и сейчас по улицам ходит. Конечно, буянят иной раз, так ведь и в участок недолго».

«Да,— говорит и Рая,— наша жизнь есть совсем другая... Вот и студент, Дмитрий Орестович, тоже все смеется... А мне, говорит, что-то скучно...» — И вздохнет.

Ну, подошло время уже и о свадьбе думать. Начали отцы о приданом поговаривать. Вот раз мой отец и говорит: «Женить — так женить, нечего откладывать! Я, говорит, своему даю шесть тысяч, ты сколько?»

«И я,— Рая родитель отвечает,— столько же, вместе составитс я двенадцать — куда им больше?»

«Нет,— мой опять говорит,— не так! Сам подумай: мой Вася может время от времени в чины взойти, а твоя дочь какая есть, такая и останется, только что стареть будет. Тебе бы по-настоящему и десять тысяч дать не обидно...»

Слово за слово — заспорили. Тот человек горячий, а уже моего-то родителя будто муха укусила: укрепился на своем, и только. Гвоздит одно, не спускает ни копейки. Ну, тот, разумеется, осердился...

«Когда так, говорит, когда ты своего щенка над моей Раичкой на целых четыре тысячи превознес, так не надо ничего! За генерала дочку отдам, не твоему пащенку чета!»

— Нашла, значит, коса на камень,— засмеялся Копыленков.

Кругликов взглянул на него с каким-то удивлением, как будто не расслышал, и продолжал:

— Ох-хо-хо! Так-то вот из пустяков началось. Надо же вам сказать, что начальник наш, действительно, на Раю начал умильным оком поглядывать. Он хотя, скажем, не полный генерал был, да мы-то в правлении всегда его вашим превосходительством звали. Сам приказал: «Для чужих я, говорит, может, и меньше полковника, а своим подчиненным я бог и царь!»

— А что ты думаешь?.. И верно! — опять вставил Копыленков. — До бога высоко, до царя далеко, а он тебя тут завсегда ухватит... Это он правильно!

— В летах он был преклонных, бездетный, вдовец, и заметьте, сколько ни сватал из равных себе, — никто за него не отдавал: наружности был самой скаредной... Ну, и пала ему на глаз моя Раичка. Разумеется, она и не знала, тем более что я уж считался женихом. Из себя — дело прошлое — был хорош, росту хоть небольшого, да лицом приятен, усики там, волосы всегда на помажены и щегольнуть любил... Да и отец-то ее сначала все-таки жалел единственную дочку. А тут как забрало его за живое, встал на дыбы, захрапел и сейчас мне от дому отказ, как шест, а генералу надежду подал... О-ох! И стала у нас в Сайдашпой улице генеральская карета прокатываться...

Глаза Кругликова стали влажны, искра из-под пепла пробилась яснее. К сожалению, он тотчас же залил ее новою рюмкой водки. Рука, подпосившая рюмку, сильно дрожала, водка плескалась и капала на пикейную жилетку.

— А там и чаще! Пешком уж стал захаживать и подарки носить. А уж я-то на порог сунуться не смею: вдруг я туда, а генерал там сидит... Убиваюсь... Вот однажды иду с должности мимо одного дома, где студент этот, учитель, квартировал, — жил он во флигелечке, книгу сочинял да чучелы делал. Только гляжу, сидит на крылечке, трубочку сосет. И теперь, рассказывают, в чинах уже больших по своей части, а все трубки этой из рта не выпускает... Станный, конечно, народ — ученые люди...

Кругликов улыбнулся тихою улыбкой, встал, пошарил в какой-то шкатулке в своей темной клетушке и вынес старую книгу.

— Вот, — сказал он, — посмотрите...

Я взглянул, и на меня пахнуло давно прошедшим. Книга была издания 60-х годов, полуспециального содержания по естествознанию. Она целиком принадлежала тому общественному настроению, когда молодое у нас изучение природы гордо выступало на завоевание мира. Мир остался незавоеванным, но из-под схлынувшей свежей волны взросло все-таки много побегов. Между прочим, движение это дало нам немало славных имен. Одно из этих имен — хотя, быть может, и не из первых рядов — стояло на обложке книги.

— Они-с, Дмитрий Орестович, сочинили,— сказал Кругликов, тщательно завертывая книгу в какой-то почтовый бланк. Очевидно, он хранил ее с гордостью, как одно из своих самых лестных воспоминаний о невозвратном прошлом.

— Да, так иду мимо него, слышу, окликает: «Эй, вы, господин Венециян, подите-ка сюда!»

Подошел я: вижу, что меня зовет... Шутник был.

«Что вам угодно-с?»

«Что вы это, говорит, маркграфиню-то бранденбургскую совсем, что ли, бросили? Ведь убивается».

Посмотрел на меня этак с головы до ног... «И то, говорит, как об этаким храбром рыцаре не убиваться...»

Вижу я, что это насмешка, а все-таки человек он был души добрейшей. Рая тоже сначала очень его боялась, потому что все больше смеешком да срывом, а после очень хвалила. Я не обижаюсь и говорю ему:

«Что мне делать, Дмитрий Орестович, научите!»

«А вы, говорит, не знаете?»

«То-то, не знаю».

«Ну, так и я тоже не знаю... А все-таки должны вам передать, что Раиса Павловна ждет вас сегодня в сумерки у себя. Отца не будет, свирепый сераскир тоже в Тамбов уехал. Прощайте!»

«Посоветуйте, Дмитрий Орестович, как мне быть!»

«Ну, пет, говорит, я вам в этом деле не советчик. Я вот советовал Рансе Павловне, чтоб она бросила за окно всех сераскиров, да и Венецияна одного кстати туда же... Не слушает; а вам что и советовать...»

Грустно мне тогда, признаться, сделалось. «Что, думаю, ему в самом-то деле надо мною смеяться? Чем же я хуже других-прочих женихов, только что вот несчастлив: невеста моя начальнику приглянулась. Так опять это вина не моя». Ну, потом вспомнил, что идти вечером с Раем повидаться, и повеселел.

В сумерки пробрался к ней... Кинулась мне Раиса Павловна на шею и заплакала. Посмотрел я на нее, не узнал. И та — и не та. Побледнела, осунулась, глаза большие, смотрит совсем по-иному. А красота... неопишная! Стукнуло у меня сердце-то. Не моя это Рая, другая девица какая-то. А обнимает: «Вася, говорит, милый, же... ланний, говорит, пришел, говорит, не за... был, не бр...»

Внезапно прилив слез подступил к глазам Кругликова, горло его сжалось спазмами. Он встал, отошел к

стене и простоял несколько времени лицом к какому-то почтовому объявлению.

Взглянув на Михаила Ивановича, я с великим изумлением заметил, что и без того рыхлые черты этого не особенно сентиментального человека тоже как-то размякли, распустились и глаза усиленно моргали.

— Что уж это,— произнес он растроганно,— до чего чувствительная, право, история!.. Ну-ка ты, бедняга, чебурахни стаканчик! Ничего, брат, что делать! Жизнь наша, братец, юдоль...

Кругликов стыдливо подошел, налил, выпил и обер лицо фуляром.

— Простите, господа почтенные, не могу... В последний раз я тогда Раичку свою обнимал. С этих пор уже она для меня Раиса Павловна стала, рукой не достать... воспоминание и святыня-с... Недостойн...

— Ну, ну,— защищался Копыленков от нового припадка чувствительности,— ты уж, братец, как-нибудь того, как-нибудь досказывай дальше. Что уже тут...

— Ну, просидели мы вечер этот. Раиса Павловна повеселела маленько.

«Полно, говорит, кого это мы, в самом деле, хорошим. Ничего! укрепляйся, Васенька! Видно, и наше время настало. Помнишь ли, говорит, наш разговор на валу? Вот оно по-моему и вышло; свиреный-то сераскир — ведь это, говорит, сам Латкин и есть».

И засмеялась, а за нею я... Часто это у нас бывало; она, как солнышко из-за тучи, просветлеет — ну, и я, за нее глядя...

«Смотри, говорит, Васенька, укрепись; покажем, какая может быть наша любовь; ты только не сдавайся, а уж я-то не сдамся. Погоди, какую я вещь намерен купить!»

Вынимает из комода пистолетик. Так, небольшая штучка,— ну, да ведь все-таки оружие огнестрельное, не шутка. У меня даже в пятки вступило... Вот под конец вечера я эту штучку-то у нее из стола взял да тихонечко в пальто, в карман боковой, и спрятал... Спрятал, да так и забыл, да и она-то не хватилась... Сам на следующий день иду к родителю. Сидел он у себя, чертежи делал, судно они новое строили... Увидел меня, повернулся, в глаза не смотрит... Э-эх! чуял ведь, что сына губит из-за гордости своей... Да, видно, судьба!..

«Что, говорит, надо?» Я в ноги. Куда тут! и слушать не хочет. Встал я тогда и говорю: «Ну, когда так, то я

нахожусь в совершенных моих летах. Женюсь без приданого».

А родитель у меня, надо заметить, хладнокровен был. Шею имел покойник короткую, и доктора сказали, что может ему от волнения крови произойти внезапная кончина. Поэтому кричать там или ругаться шибко не любили. Только, бывало, лицо нальется, а голос и не дрогнет.

«Вот, говорит, что: дурак ты, Васька, право, дурак! Говоришь, а не сделаешь... А я скажу, так уж будет по-моему. Помни это: при твоих совершенных летах я тебя отдеру, как сидорову козу...»

«Не может быть, говорю, я чиновник».

«Не веришь? Ладно».

Отворил окно, поманил пальцем... Жили у нас во дворе, во флигелечке, два брата — бомбардиры отставные, здоровенные, подлецы, усищи у каждого по аршину, морды красные... Сапожничали: где починить, где подметку подкинуть, где и новую пару сшить, а более насчет пьянства. Вошли в комнату, стали у косяков, только усами водят, как тараканы: не перепадет ли? Отец подносит по рюмочке.

«Вот, говорит, вам, господа бомбардиры, шнапсу па первый раз. Посмотрите вот на этого молодца хорошенько. Можете ли вы его моей родительскою рукой высечь?..»

Посмотрел тут младший бомбардир на старшего, а тот отвечает:

«Родительской рукой завсегда можно, — закон дозволяет».

«Ну, имейте в виду па будущее время. Как сигнал выкину, сейчас вы, говорит, его на буксир, клади в дрейф, грузи с кормовой части!.. Ну, ступайте все трое!»

Прихожу после того на службу, а там говорят: начальник звал. Вхожу. Сидит на кресле один в кабинете, искоса на меня смотрит, пальцами по столу этак барабанит, молчит. Потом повернулся, поманил к себе ближе, опять на меня смотрит.

«Вы, говорит, что это... Мечтаете?»

«Помилуйте, отвечаю, ваше превосходительство, кажется, со всем усердием служу и ничуть не мечтаю. Смею ли я?..»

«Нет, говорит, я не превосходительство вовсе... Не стесняйтесь, молодой человек. Нынче это, говорит, в

моде-с. Такие времена, что начальство ниномем! Вы, кажется, имеете намерение жениться?»

«Это, говорю, ваше превосходительство, в моем возрасте и притом с дозволения начальства дело законное».

«Так, так... А кого имеете в виду?»

Замаялся я. Погрозил он пальцем и говорит:

«Вот видишь, Кругликов, совесть у тебя против начальства не чиста, небось замаялся... Ну, брось, забудь об этой девице думать, отринь, говорит, всякое помысление, получишь тебя жених найдется. Ступай!»

Вышел я из кабинета, слезы у меня так и текут. В канцелярии и то удивляются. Должно быть, говорят, ведомости перепутал. А уж какие тут ведомости — свет мне не мил: тут — начальник, домой придешь — бомбардиры выбегают из флигеля, на окно к отцу смотрят, нет ли сигнала... Просто некуда стало податься, и что мне делать, не знаю, потому что выходу себе не вижу. Извожусь... Отец уж сам стал замечать и бомбардирам запретил меня тревожить. Выскочили они раз за сигналом, так я весь задрожал, рухнулся оземь, изо рта пена пошла. Ну, отец видит, что испортил меня тиранством, велел оставить, подумывать стал, сделался осторожнее. А гордость-то все-таки осталась... Царствие небесное! Пока жив был, не оставлял меня. Писал три раза в год и деньги сюда посылал. Перед смертью письмом прислал: «Простишь ли, сын мой, что я тебя несчастным сделал?...» Бог простит, конечно. Меня-то вот... меня-то никто не простил...

— Ну? — прервал опять Копыленков тяжелое, хотя и недолгое молчание, и Кругликов продолжал рассказ:

— Враг-то мой видит, что я ослаб, тут и вздумал насесть. Через неделю этак или маленько поболее зовут меня к начальнику. Встречает серьезно.

«Одевайся! Помни, говорит, Кругликов, что мне нужны подчиненные, которые бы со всею преданностью... А кто, говорит, не предан, такие терпимы быть не могут...»

— Понятное дело! — одобрил эту сентенцию Копыленков. Кругликов опять пропустил это замечание мимо ушей и продолжал:

— Ну, если мы... если-с и поехали... А куда именно поехали, так этого я, милостивые мои господа, и подумать не мог... В Сайдашнюю уллицу, к Раисе Павловне...

— Зачем? — невольно вырвалось у меня.

Кругликов посмотрел на меня с выражением, в котором смешивалась старая печаль и тщеславие.

— Сватом-с,— ответил он не без гордости.

— Бог знает, что вы это рассказываете нам, Василий Спиридонович!

— Нет, не бог знает что-с, а истинную правду... Поэтому что, видите ли-с... Раиса Павловна пожелала. «Если же, говорит, вы можете так утверждать, что он от меня отступился, то присылайте его сватом...»

— Ну, и девка же... Ах, бедовая! — не выдержал опять Копыленков.

— И вы пошли? — спросил я с невольной укоризной.

— Да ведь повез... — застенчиво ответил рассказчик и затем с внезапною резкостью повернулся к Копыленкову: — А вы, милостивый государь, не можете ничего понимать! Замечания делаете, а понятия чувств не имеете-с.

— Очень нужно еще и понимать-то тебя,— отразил неожиданную атаку озадаченный купец.

— Ну, и м-м-малчи-те-с,— отрезал Кругликов каким-то скрипучим голосом и опять повернулся ко мне.

— Да, милостивый государь... Как изволите справедливо говорить-с, я и поехал... По-е-хал-с... После тоже везли меня, для объявления приговора... называется публичная казнь, на площади-с... А было мне все-таки легче. Верьте мне, легче было... А все-таки поехал-с. Люди видели, как мы оба в Сайдашной улице выходили из кареты. Генерал были сумрачны, а уж на мне-то и лица не было... Да!.. И все-таки поехал-с, милостивый государь! Судите об этом, как ваше понятие дозволяет, а поехал-с... Что делать!.. Только входим мы в переднюю, а навстречу как раз Дмитрий Орестович, студент. Увидел нас, остановился, поглядел на меня и говорит: «Ну, так и знал. Хорош, нечего сказать, принц вепецкий... И свиреный сераскир тут же»,— это про генерала.

Кругликов вздохнул и улыбнулся.

— Резкий человек был, бесстрашной породы. Генерал так даже позеленел и говорит ему: «Я вам, молодой человек, не сераскир! Не сераскир-с, а государя моего статский советник! Прошу не забывать-с...» Дмитрий Орестович повели зтак плечом и говорят: «Ну, там какой бы ни было, а что напрасно беспокоитесь, это верно». И вышел, а генерал повернулся ко мне: «Помни, говорит, ты это: никогда я тебе этого не забуду, ни-ко-

гда-с...» Вот, милостивые господа, какова правда па свете... Студент нагрубил, а Кругликов отвечай!..

Однако, между тем, прошли мы гостиную, входим к Раисе Павловне... Сидит моя Рая, генеральская невеста, глаза наплаканные, большие, прямо так на меня и уставилась... Опустил я глаза... Неужто, думаю, это она, моя Раинька? Нет, не она, или вот на горе стоит, на какой-нибудь высочайшей... Ну, стал я у порога, а генерал к ручке подошел. «Вот, говорит, вы, королевна моя, сомневались, а он и приехал!..»

Приподнялась она, оперлась руками на столик, глядит на меня, будто узнать не может. Генерал тоже повернулся, смотрят оба, а я... стою в Раиней комнате... у порога-с.

«Васенька...» — хотела, видно, сказать что-то, потом откинулась на кушетку и засмеялась...

«А что, говорит, можете вы его в лакеи к себе определить?» Генерал и обрадовался: «Могу, говорит, если вы, моя королевна, пожелаете...»

«Что ж, говорит, возьмите, только жалованьем, говорит, не обижайте...»

У г-на Кругликова что-то вдруг сдавило горло. Он опустил голову, скрывая от нас лицо, и в комнате водворилось молчание. Даже Копыленков только глядел на писаря широко открытыми, как будто удивленными глазами, не смея нарушить тишину, наполненную тяжким сознанием глубокого человеческого унижения...

Наконец Кругликов перевел дух и посмотрел на меня каким-то свинцовым, тусклым взглядом.

— Вот тут-то, — сказал он с расстановкой, — вот в эту самую минуту, в меня, милостивый государь, и вступило. Точно я ото сна очнулся. Гляжу: комната знакомая, будто сейчас еще мы в ней с Раинькой вечером сидели. На кушетке сидит сама она, лицо закрыла, перед ней генерал семенит, а рядом столик открытый... И вспомнилось мне вдруг, как я оттуда пистолетик вынул. Да ведь он, думаю, и теперь в пальто у меня в кармане лежит... Повернулся тихонечко, вышел в переднюю. Пистолетик в боковом кармане прикорнул, будто вот дожидается. Вынул я его и, помню, даже засмеялся.

Пошел опять назад, тороплюсь, как бы, думаю, генерал-то лицом к двери не повернулся... Повернись он, кажись, ничего бы этого не было. Да нет, Раиса Павловна плачут, лицо закрыли, генерал руки от лица оты-

мает. Вошел я, Раиса Павловна отняла руку, взглянула да так и замерла. А я... ступил два шага... только бы, думаю, не повернулся... И раз-раз в него... сзади...

— Убил? — в ужасе приподнялся Копыленков.

— Нет, не убил, — с вздохом облегчения, как будто весь рассказ лежал на нем тяжелым бременем, произнес Кругликов. — По великой ко мне милости господней выстрелы-то оказались слабые, и притом в мягкие части-с... Упал он, конечно, закричал, забарахтался, завизжал... Раиса к нему кинулась, потом видит, что он живой, только ранен, и отошла. Хотела ко мне подойти... «Васенька, говорит, бедный... Что ты наделал?..» — потом от меня... кинулась в кресло и заплакала.

«Господи, говорит, сзади... подкрался... какая нязость... Уйдите, говорит, оба, оставьте меня...» И все пуще да пуще и плачет, и смеется... Истерика! А тут и люди сбежались. Ну, дальше-то известно что: арестовали.

— Ну, выпьем! — сказал Копыленков. — Все, что ли? Очень уж страшно. Ах, братец ты мой! И отчаянные же вы, право, отчаянные!.. Как это вы можете только...

— Сужден старым судом, без снисхождения. Может быть, теперь бы... муку бы мою во внимание взяли, что я был человек измученный... А тогда всякая была вина виновата. Услали. Отец в год постарел на десять лет, осунулся, здоровьем ослаб, места лишился, а я вот тут пропадаю.

— А Раиса Павловна?

Господин Кругликов встал, вошел в свою каморку, снял со стены какой-то портрет в вычурной рамке, сделанной с очевидно нарочитым старанием каким-нибудь искусным поселенцем, и принес его к нам. На портрете, значительно уже выцветшем от времени, я увидел группу: красивая молодая женщина, мужчина с резкими, характерными чертами лица, с умным взглядом серых глаз, в очках, и двое детей.

— Неужели это?..

— Они-с, — сказал Кругликов почтительно. — Раиса Павловна. А это их супруг, Дмитрий Орестович. Не забывают. К повому году жду письма-с. И портрет этот прислали по униженной моей просьбе, да и... деньгами когда... то же самое...

Он говорил почтительно, как будто это была не та Рая, с которой он некогда читал о королевнах Ренцы-

венах и Францях Венецианских. Только когда он указывал на старшую девочку, тоненькую, светловолосую, с большими мечтательными глазами, то голос его опять слегка дрогнул.

— Похожа... две капли воды Раиса Павловна девочкой-с.

Он быстро взял портрет, к которому потянулся было заинтересованный Копыленков, унес в свою комнату и долго стоял там у стены, как прежде перед почтовым объявлением.

Вся фигура в кургузом пиджачке нервно вздрагивала...

VIII

После этого никакие уже разговоры не клеились. Сторож принес в печку дров, в ямщицкой юрте огромный камелек тоже весь заставили дровами, так как огонь разводится на всю ночь. Пламя разгорелось и трещало. В приоткрытую дверь все еще виднелись у огня фигуры ямщиков, лежавших вокруг камелька на скамьях.

Ат-Даван успокоился на ночь.

Господин Кругликов отвел нам соседнюю комнату, где Копыленков тотчас же заснул. Станционная комната осталась незапятай.

— Для Арабипа? — спросил я.

— Да, — как-то особенно угрюмо ответил Кругликов.

Женщина, прислуживавшая нам, вероятно, давно спала; поэтому г-н Кругликов хлопотал сам: он накидал в самовар мелкого льду, бросил углей и поставил его, на случай, у камелька. Потом принялся убирать со стола, причем не преминул, уставляя бутылки, выпить еще рюмку какого-то напитка. Он становился все более мрачен, но, казалось, сон совсем не имел над ним власти.

Наконец на Ат-Даване все смолкло. Только по временам снаружи трещал мороз да в потемневших комнатах, по которым пробегали теперь только трепетные красноватые отблески пламени, слышались глухие шаги и шлепанье валенок, а порой тихо звенела рюмка и булькала наливаемая жидкость. Г-н Кругликов, кото-

рому расшевелившиеся воспоминания, по-видимому, не давали заснуть, как-то тоскливо совался по станции, вздыхал, молился или ворчал что-то про себя.

Я забылся...

.....
Когда я очнулся, была все еще глухая ночь, но Ат-Даван весь опять жил, сиял и двигался. Со двора неся зов, хлопали двери, бегали ямщики, фыркали и стучали копытами по скрипучему снегу быстро проводимые под стенами лошади, тревожно звенели дуги с колокольцами, и все это каким-то шумным потоком стремилось со станции к реке.

В соседней комнате г-н Кругликов не торопясь зажигал свечи; серная спичка сначала кинула синеватый, мертвенный свет, потом вдруг загорелась и осветила комнату.

Господин Кругликов поднес ее к светильне, зажег свечу и повернулся. Перед ним невдалеке стояла новая фигура: человек в оленьей дохе с капюшоном, запорошенный снегом. Из-под оленьего мшкя глядели два черные глаза, слегка скошенные, как у карыма, виднелось бледное лицо, тонкий нос и длинные, черные, опущенные книзу усы. По этим чертам я узнал Арабын-тойона, которого с таким тихим трепетом и смирением ждал Ат-Даван уже несколько дней. И в то же время это был мой знакомый, казацкий хорунжий, пезначительный и застенчивый в Иркутске.

По-видимому, первый выход обещал, что все сойдет благополучно. Арабин, очевидно, сильно устал, может быть, от дороги, а может быть также — от роли грозного Арабын-тойона... Казалось, он хочет просто отдохнуть, напиться чаю, прилечь... Теперь он стоял, слегка опустившись, с сонным лицом, в ожидании света. Только по временам в мутных глазах загоралось нетерпение... Зато с г-ном Кругликовым произошла резкая перемена: он совсем не был похож на того маленького, невзрачного и смешного человечка, который еще вчера униженно просил пожалеть его и не требовать лошадей. Теперь он был угрюм, серьезен и сдержан. Движения его были неторопливы и полны какой-то решимости. Он даже как будто вырос. По-видимому, вчерашний рассказ, большое количество водки, пары которой только проходили через его голову, разгоряченную старыми растревоженными воспоминаниями, и ночь без сна, — все это не прошло для г-на Кругликова даром.

— Черт возьми! — произнес Арабин нетерпеливо. — Шевелись там!

— Покорнейше прошу потише, здесь проезжающие, — спокойно отвечал Кругликов.

Арабин снимал свою шапку, и когда снял ее, то в его черных глазах сверкнуло что-то вроде изумления. Однако он все еще, но-видимому, старался удержаться.

— Самовар! — буркнул он, кидая доху и садясь к столу.

— Готов.

— Лошадей!

— Пожалуйте прогопы.

Голова Арабина, низко остриженная, с тонкими, слегка торчащими по-монгольски ушами, повернулась тревожно и живо. В глазах сверкнуло уже что-то пореже простого удивления. Он поднялся и произнес опять:

— Лошадей, живо!

— Прогоны пожалуйста! — с каким-то вызывающим спокойствием отрезал г-н Кругликов.

Вблизи меня что-то зашевелилось. Проснувшийся Копыленков, полусидя на кровати, старался без шума натянуть какую-то принадлежность костюма с таким видом, будто на станции начинался пожар или неприятельское нашествие. Его шея была вытянута, просто-душно-хитрые глаза сверкали в полутьме от испуга и любопытства.

— И-ну, что-то будет, — наклонясь вдруг ко мне, прошептал он, — беда!.. И отчаянный же этот Кругликов... Помни, братец ты мой, мы с тобой ничего не видали — в свидетели еще попадешь...

Только теперь, после этих слов, я сообразил положение вещей... Спрашивать у г-на Арабина, известного и грозного Арабын-тойона, прогопы, да еще таким решительным тоном, да еще как условие подачи лошадей, — это была со стороны смиренного, приютившегося под дикими горами Ат-Давана неслыханная дерзость. Арабин вскочил, сердито дернул к себе сумку, выхватил какую-то бумагу и порывисто швырнул ее Кругликову. По всему было видно, что он, усталый и разбитый, хочет удержаться в известных пределах, что ему теперь тяжела и неприятна роль грозного Арабын-тойона в этот поздний час, на теплом и освещенном Ат-Даване. Но он не хотел также платить прогопы, тем

более что эта тихая, смиренная Лена имеет одну особенность: заплати г-н Арабин на Ат-Даване — и его престиж сразу падет, и уже всюду, на протяжении трех тысяч верст, ямщики от станка до станка разнесут известие, что улахан Арабын-тойон сдался и платит... И всюду уже с него неотступно потребуют тоже прогонов. Он, вероятно, надеялся еще, что Кругликов забыл, кто он такой, и бумага ему паомнит. Но вышло еще хуже.

Кругликов, все так же не торопясь, развернул бумагу, прочитал ее внимательно, долго переводил глаза, от строки к строке и потом сказал:

— Здесь вот сказано: «на четверку лошадей за установленные прогоны». А вы берете шестерку под две повозки и не изволите платить прогонов. Незаконно-с...

Голос его звучал тоже спокойно, но он как будто разнесся по всему Ат-Давапу. Шум, которым был полон станок, приостановился, ямщики теснились с робким интересом к дверям, ведущим из ямщицкой в горницы. Копыленков притаил дыхание.

Арабин встрепенеулся, окинул станок вспыхнувшим взглядом, выпрямился, стукнул кулаком по столу, и по лицу его пробежало злое выражение.

— Молчать! — крикнул он. — Это что... бунт?

— Никакого бунту-с, а по закону. По указу его императорского величества. Что, в самом деле, до коих пор...

Кругликов не успел окончить. Сильный удар свалил его с ног... Арабин кинулся было к лежащему...

Я вбежал в ту комнату и остановился. Арабин стоял против меня, удивленный моим неожиданным появлением. Это, вероятно, спасло и Кругликова, и самого Арабина от дальнейших последствий его иступления. Бледное лицо его подергивалось, в глазах бегало что-то беспокойное и больное. Казалось, казацкий хорунжий, забывший на Лене о том, что он только казацкий хорунжий, и сам уже отвык представлять себя иначе, как Арабын-тойоном, могучим и грозным, с головой выше приленских сопок. И вдруг мое появление перенесло его в Иркутск, в пизкую комнату, где голова хорунжего далеко не достигала потолка и не поднималась выше десятков других, самых обыкновенных голов.

Однако Ат-Давап не заметил ни этой растерянности,

ни этого душевного движения. Он видел только удар, видел, что писарь лежал на полу. Двери из ямской захлопнулись, на дворе опять началась беготня. Из нашей комнаты слышался притворный храп Михаила Ивановича...

Очевидно, бунт в Ат-Даване прекратился, и Арабын-тойон остался для Ат-Давана тем же могучим и грозным, о котором недавно пела песня.

Через несколько мгновений Кругликов поднялся с полу, и тотчас же мои глаза встретились с его глазами. Я невольно отвернулся. Во взгляде Кругликова было что-то до такой степени жалкое, что у меня сжалось сердце, — так смотрят только у нас на Руси!.. Он встал, отошел к стене и, прислонясь плечом, закрыл лицо руками. Фигура опять была вчерашняя, только еще более убитая, приниженная и жалкая.

Женщина торопливо внесла самовар, искоса и с жалостью кинув на хозяина быстрый взгляд... Арабин, тяжело дыша, уселся за самовар.

— Я вам пок-кажу бунтовать! — ворчал он. Дальше разобрать было трудно. Слышно было, однако, какое-то упоминание о «свидетелях», которым г-н Арабин советовал отправиться ко всем чертям, о чести мундира и еще что-то в том же роде.

IX

Между тем в полутьме нашей комнаты Михайло Иванович Копыленков спешно заканчивал свой туалет. Через несколько минут он появился в дверях, одетый, застегиваясь, покашливая и стараясь изобразить на лице приветливую улыбку. Арабин взглянул на это неожиданное появление с выражением сердитого недоумения. По-видимому, он не мог понять сразу, что нужно этому улыбающемуся, подпрыгивающему на ходу и кланяющемуся незнакомцу, однако приятные улыбки и поклоны озадачивали его и предупреждали вспышку не утихшей еще свирепости. Он подносил слегка дрожащею рукой блюдо с горячим чаем и искоса недоброжелательно следил за манерами Копыленкова.

— Вам что надо? — вдруг отчеканил он резко, ставя блюдо на стол.

Копыленков чуть-чуть дрогнул, но тотчас же опять принял прежнее выражение подловатой любезности.

— Собственно, ничего-с. Почтение засвидетельствовать... Не изволили признать, видно... У Лев Степановича, у горного исправника, если изволите вспомнить, имели разговор и даже-с... дельце одно происходило...

— А-а! Ну, так,— произнес Арабин, опять принимаясь за чай.— Теперь помню.

— Именно-с,— обрадовался Копыленков.— А могу побеспокоить вопросом, по какому поручению изволите?..

— Не ваше дело!

— Это справедливо,— смиренно согласился Михайло Иванович.— Может, касающее секретау...

Бедняга не мог понять, что самое упоминание об Иркутске, о горном исправнике, обо всех этих будничных делах не могло быть приятно Арабын-тойону, все еще находившемуся в эпическом, сказочном мире.

— Справедливо-с,— в раздумье еще раз произнес Копыленков и, чтобы удержать позицию, прибавил: — Сердиться изволили тут мало-мало... Да уж истинно, что в здешних местах ангел — и тот рассердится. Верно.

Он покосился в сторону Кругликова и вздохнул:

— Необразованность!

Однако и это не помогло. Арабин не обратил на него внимания, допил стакан, вынул книжку, что-то записал в ней, потом торопливо оделся, рванулся к двери, потом остановился, взглянул, нет ли в дверях кого-либо из ямщиков, и, будто обдумав что-то, вдруг резким движением швырнул деньги. Две бумажки мелькнули в воздухе, серебро со звоном покатилося на пол, Арабин исчез за дверью, и через минуту колокольчики бешено забились на реке под обрывом.

Все это было сделано так неожиданно и быстро, что все мы, трое безмолвных свидетелей этой сцены, не сразу сообразили, что это значит. Как всегда в денежных вопросах, первый, однако, догадался Копыленков.

— Уплатил! — произнес он с величайшим изумлением.— Слышь ты, Кругликов? Ведь это, смотри, прогоны. Ах ты, братец мой!.. Вот так история!

Из ямщиков никто не был свидетелем этой уступки со стороны грозного Арабын-тойона.

Поздним утром следующего дня мы с Копыленковым опять усаживались в свой возок. Мороз не уменьшался. Из-за гор, синевших в морозном тумане за рекой, бледными столбами прорывались лучи восходящего солнца. Лошади бились, и ямщики с трудом удерживали озябшую тройку.

На Ат-Даване было грустно, серо и тихо. Кругликов, подавленный обрушившеюся вчера невзгодой, угнетенный и приниженный, проводил нас до саней, вздрагивая от холода, похмелья и печали. Он с каким-то подбострастием подсаживал Копыленкова, запахивал его ноги кошмой, задерживал пологом.

— Михаил Иванович, — произнес он с робкою мольбой, — будьте благодетель, не забудьте насчет местечка-то. Теперь уж мне здесь не служить! Сами видели, грех какой вышел...

— Хорошо, хорошо, братец! — как-то неохотно ответил Копыленков.

В эту минуту ямщики, державшие лошадей, раскочились в стороны, тройка подхватила с места, и мы понеслись по ледяной дороге. Обрывистый берег убежал назад, туманные сопки, на которые я глядел вчера, — таинственные и фантастические под сиянием луны, — надвигались на нас теперь хмурые и холодные.

— Ну, что ж, Михаил Иваныч, — спросил я, когда тройка побежала ровнее, — доставите вы ему место?

— Нет, — ответил Копыленков равнодушно.

— Но почему же?

— Вредный человек-с, самый опасный, д-да!.. Вы вот рассудите-ка об его поступках. Ну, захотел он тогда, в Кропштадте-то в этом, начальника уважить — и уважь! Отказался бы вчистую от невесты и был бы век свой счастлив. Мало ли их, невестов этих. От одной отступился — взял другую, только и было. А его бы за это человеком сделали. Нет, он, вот посмотрите, как уважил... из пистолета! Ты, братец, суди по человечеству: ну, кому это может быть приятно? И что это за поведение за такое?.. Сегодня он вас этак уважил, а завтра меня.

— Да ведь это давно было. Теперь он не тот.

— Нет, не скажи! Слышал, чай, как он вчера с Арабиным-то разговаривал?..

— Я слышал: требовал прогоны,— это его обязанность.

Копыленков повернулся с досадой ко мне.

— Ведь вот умный ты человек, а простого дела не понимаешь. Прогоны!.. Нешто он ему одному не платил? Чай, он, может, сколько тысячей верст ехал, нигде не платил. На вот, ему одному подавай, велика птица!

— Обязан платить.

— Обязан! Кто его обязал-то, не вы ли с Кругликовым со своим?

— Закон, Михайло Иванович.

— За-а-кón... То-то вот и он вчера валадил: закон. Да он знает ли еще какое это слово: «закон»?

— Какое?

— А такое: раз ты его скажи, десять раз про себя поддержи, пока не спросят. А то, вишь ты, развеличался: «Закон, по закону!..» Дубина ты, а не закон тебе! Нашелся тоже большой человек — начальнику законы указывать...

Видя, что Михайло Иванович начинает сердиться свыше всякой меры, и опасаясь, чтоб окончательно не испортить дела, я попробовал зайти, в интересе Кругликова, с другой стороны.

— Однако вспомните, Михаил Иванович, ведь вы же ему обещали.

— Мало ли что обещал... Разжалобился, оттого и обещал...

— Подымай! — крикнул вдруг Михайло Иванович, так как возок, скользнув с наклонной льдины, опять опрокинулся, и опять Михайло Ивапович очутился подо мной.

Пришлось выйти. Вероятно, в этом месте борьба реки с морозом была особенно сильна: огромные белые, холодные льдины обступили нас кругом, закрывая перспективу реки. Только по сторонам дикие и даже страшные в своем величии горы выступили резко из тумана, да вдаль, над хаотически нагроможденным торосом, тянулась едва заметная белая струйка дыма...

Это, должно быть, и был Ат-Давап.

I

На моей родине, в Волынской губернии, в той ее части, где холмистые отроги Карпатских гор переходят постепенно в болотистые равнины Полесья, есть небольшое местечко, которое я назову Хлебпо. С северо-запада оно прикрыто небольшой возвышенностью. На юго-восток от него раскинулась обширная равнина, вся покрытая нивами, на горизонте переходящими в синие полосы еще уцелевших лесов. Там и сям, особенно под лучами заходящего солнца, сверкают широкие озера, между которыми змеятся узенькие, пересыхающие на лето речушки.

Сторона спокойная, тихая, немного даже сонная. Местечко похоже более на село, чем на город, но когда-то оно знало если не лучшие, то во всяком случае менее дремотные дни. На возвышенности сохранились еще следы земляных окопов, на которых теперь колышется трава, и пастух старается передать ее шепот на своей нехитрой дудке, пока общественное стадо мирно пасется в тени полужасыпанных рвов...

Невдалеке от этого местечка, над извилистой речушкой, стоял, а может, и теперь еще стоит, небольшой поселок. Речка от лозы, обильно растущей на ее берегах, получила название Лозовой; от речки поселок назван Лозищами, а уже от поселка жители все сплошь носят фамилии Лозинских. А чтобы точнее различить друг друга, то Лозинские к общей фамилии прибавляли прозвища: были Лозинские птицы и звери, одного звали Мазницей, другого Колесом, третьего даже Голенищем...

Трудно сказать, когда этот поселок засел под самым боком у города. Было это еще в те времена, когда на валах виднелись пушки, а пушкарки у них постоянно смеялись: то стояли с фитилями поляки, в своих пестрых кунтушах, а казаки и «гомота» подымали кругом пыль, облекая город... то, наоборот, из пушек палили казаки, а польские отряды кидались на окопы. Говорили, будто Лозинские были когда-то «реестровыми» казаками и получили разные привилегии от польских королей. Хо-

дили даже слухи, будто они были когда-то и за что-то пожалованы дворянством.

Все это, однако, давно забылось. В шестидесятых годах умер столетний старик Лозинский-Шуляк. В последние годы он уже ни с кем не разговаривал, а только громко молился или читал старую славянскую библию. Но люди еще помнили, как он рассказывал о прежних годах, о Запорожье, о гайдамаках, о том, как и он уходил на Днепр и потом с ватажками нападал на Хлебно и на Клевань, и как осажденные в горящей избе гайдамаки стреляли из окон, пока от жара не лопались у них глаза и не взрывались сами собой пороховницы. И старик сверкал дикими потухающими глазами и говорил: «Гей-гей! Было когда-то наше время... Была у нас свобода!..» А лозищане — уже третье или четвертое поколение, — слушая эти странные рассказы, крестились и говорили: «А то ж не дай господи боже!»

Сами они давно уже запахали в землю все привилегии и жили под самым местечком ни мужиками, ни мещанами. Говорили как будто по-малорусски, но на особом волынском наречии, с примесью польских и русских слов, исповедывали когда-то греко-униатскую веру, а потом, после некоторых замешательств, были причислены к православному приходу, а старая церковка была закрыта и постепенно развалилась... Пахали землю, ходили в белых и серых свитах, с синими или красными поясами, штаны носили широкие, шапки бараньи. И хотя, может быть, были беднее своих соседей, но все же смутная память о каком-то лучшем прошлом держалась под соломенными стрехами лозищанских хат. Ходили лозищане чище крестьян, были почти все грамотны по-церковному, и об них говорили, что они держат себя слишком гордо. Правда, это очень трудно было бы заметить постороннему, потому что при встрече с господами или начальством они так же торопливо сворачивали с дороги, так же низко кланялись и так же иной раз целовали смиренно господские руки. Но все-таки было *что-то*, и опытные люди *что-то* замечали. О лозищанах говорили, что они *что-то* вспоминают, о *чем-то* воображают и *чем-то* недовольны. Действительно, на обычные вопросы при встречах: «Как себе живете?» или: «Как вам бог помогает?» — лозищане, вместо «слава богу», только махали рукой и говорили: «А, какая там жизнь!» или: «Живем, как горох при дороге!» А иные посмелее принимались рассказывать иной

раз такое, что не всякий соглашался слушать. К тому же у них тянулась долгая тяжба с соседним помещиком из-за чинша, которую лозищане сначала проиграли, а потом вышло как-то так, что наследник помещика уступил... Говорили, что после этого Лозинские стали «еще гордее», хотя не стали довольнее.

И нигде так радушно не встречали заезжих людей, которые могли порассказать кое-что о широком белом свете.

II

Так же вот жилось в родных Лозищах и некоему Осипу Лозинскому, то есть жилось, правду сказать, неважно. Земли было мало, аренда тяжелая, хозяйство беднело. Был он уже женат, но детей у него еще не было, и не раз он думал о том, что когда будут дети, то им придется так же плохо, а то и похуже. «Пока человек еще молод,— говаривал он,— а за спиной еще не пищит детвора, тут-то и поискать человеку, где это затерялась его доля».

Не первый он был и не последний из тех, кто, прощавшись с родными и соседями, взяли, как говорится, поги за пояс и пошли искать долю, работать, биться с лихой нуждой и есть горький хлеб из чужих печей на чужбине. Немало уходило таких беспокойных людей и из Лозищей, уходили и в одиночку, и парами, а раз даже целым гуртом пошли за хитрым агентом-немцем, пробравшись ночью через границу. Только все это дело кончалось или ничем, или еще хуже. Кто возвращался ободранный и голодный, кого немцы гнали на веревке до границы, а кто пропадал без вести, затерявшись где-то в огромном божьем свете, как маленькая булавка в омете соломы.

Лозинский Осип был, кажется, еще первый, который не пропал и отыскался. Человек, видно, был с головой, не из тех, что пропадают, а из тех, что еще других выводят на дорогу. Как бы то ни было,— через год или два, а может и больше, пришло в Лозищи письмо с большою рыжею маркой, какой до того времени еще и не видавали в той стороне. Немало дивились письму, читали его и перечитывали в волости и писарь, и учитель, и священник, и много людей позначительнее, кому было любопытно, а наконец все-таки вызвали Лозинскую и отдали ей письмо в разорванном конверте, на

котором совершенно ясно было написано ее имя: Катерине Лозинской, жене Лозинского Иосифа Оглобли, в Лозицах.

Письмо было от ее мужа, из Америки, из губернии Миннесота, а какого уезда и села, теперь сказать очень трудно, потому что... Впрочем, это будет видно дальше.

В письме было написано, что Лозинский, слава богу, жив и здоров, работает на «ферме», и если бог поможет ему так же, как помогал до сих пор, то надеется скоро и сам стать хозяином. А впрочем, и работником там ему лучше, чем иному хозяину в Лозицах. Свобода в этой стороне большая. Земли довольно, коровы дают молока по ведру на удой, а лошади — чистые быки. Человека с головой и руками уважают и ценят, и вот даже его, Лозинского Осипа, спрашивали недавно, кого он желает выбрать в главные президенты над всею страной. И он, Лозинский, подавал свой голос не хуже людей, и хоть, правду сказать, сделалось не так, как они хотели со своим хозяином, а все-таки ему понравилось и то, что человека, как бы то ни было, спросили. Одним словом, свобода и все остальное очень хорошо. Только Лозинскому очень скучно без жены, и потому он старался работать как только можно, и первые деньги отдал за *тикет*, который и посылает ей в этом письме. А что такое *тикет*, так это вот эта самая синяя бумажка, которую надо беречь как зеницу ока. На ней нарисован паровоз с вагонами и пароход. Это значит, что по этому билету Лозинскую повезут теперь даром и по земле, и по воде, — стоит ей только доехать до немецкого города Гамбурга. А на другие расходы пусть продаст избу, корову и имущество.

Пока Лозинская читала письмо, люди глядели на нее и говорили между собой, что вот и в какой пустой бумажке какая может быть великая сила, что человека повезут на край света и нигде уже не спросят плату. Ну, разумеется, все понимали при этом, что такая бумажка должна была стоить Осипу Лозинскому немало денег. А это, конечно, значит, что Лозинский ушел в свет не напрасно и что в свете можно-таки разыскать свою долю...

И всякий подумал про себя: а хорошо бы и мне... Писарь (тоже лозищанин родом) и тот не сразу отдал Лозинской письмо и билет, а держал у себя целую неделю и думал: баба глупая, а с такой бумагой и кто-нибудь поумнее мог бы побывать в Америке и поискать

там своего счастья... Но на билете было совершенно ясно, хоть и не по-нашему, написано: mississ Katharina Ioseph Losinsky-Oglobla. Иосиф Лозинский и Оглобля — это бы, конечно, еще ничего, но Катерина — это уже было ясно, что женщина, да и mississ тоже, пожалуй, обозначает бабу. Одним словом, хотя и в последнюю минуту писарь все еще как-то вздыхал и неприятно косялся, вынимая из стола билет, который у него был припрятан особо, но все-таки отдал. Лозинская взяла его, села на лавку и горько заплакала.

Разумеется, она была рада письму, да ведь и от радости тоже плачут. Притом все-таки приходилось покинуть и родную деревню, и родных, и соседей. Затем нужно сказать, что Лозинская была баба молодая и, как говорится, гладкая. Без мужа мало ли беды, — не видела проходу хотя бы и от этого самого писаря, а на духу приходилось признаваться, что и «враг» не оставлял ее в покое. Нет-нет да и зашепчет кто-то на ухо, что Осип Лозинский далеко, что еще никто из таких далеких стран в Лозици не возвращался, что, может, вороны растаскали уже и мужнины косточки в далекой пустыне, а она тут тратит напрасно молодые лета — ни девкой, ни вдовой, ни мужниной женой. Правда, что Лозинская была женщина разумная и соблазнить ее было нелегко, но что у нее было тяжело на душе, это оказалось при получении письма: сразу подкатили под сердце и настоящая радость, и прежнее горе, и все грешные молодые мысли, и все бессонные ночи с горячими думами. Одним словом, упала Лозицкая в обморок, и пришлось тут ее родному брату Матвею Лозицкому, по прозвищу Дышло, нести ее на руках в ее хату.

И пошел по деревне говор. Осип Лозинский разбогател в Америке и стал таким важным человеком, что с ним уже советуются, кого назначить в президенты... Стали молодые люди почасту гостить в корчме, пьют пиво и мед, курят трубки, засиживаются за полночь, шумят, спорят и хвастают. Кто бы послушал эти толки, то подумал бы, что не останется в Лозицах ни одного молодого человека к филипповкам... Если уже Осипа спрашивали, кого он хочет в президенты, то что там наделают другие, получше Осипа!.. Потому что там — свобода!

Свобода! Это слово частенько-таки повторялось в шинке еврея Шлемы, спокойно слушавшего за своей

стойкой. Правду сказать, не всякий из лозищан понимал хорошеенько, что оно значит. Но оно как-то хорошо обращалось на языке, и звучало в нем что-то такое, от чего человек будто прибавлялся в росте и что-то будто вспоминалось неясное, но приятное... Что-то такое, о чем как будто бы знали когда-то в той стороне старые люди, а дети иной раз прикидываются, что и они тоже знают...

Ну, да ведь мало ли кто о чем говорит! Поговорили, пошумели и бросили. И может, уже забыли и тянут ляжку, как вол в борозде, а может, говорят и до сих пор, все на том же месте. А все-таки отыскиались тут два человека из таких, что не любят много говорить, пока не сделают... Подумали, потолковали на стороне друг с другом и принялись продавать хаты и землю. Продавать-то было, пожалуй, немного, и, когда все это дело покончили, тогда и объявили: едем и мы с Осиповой Лозихою, чтобы ей одной не пропасть в дороге.

Один приходился ей близким человеком: это был ее брат, Матвей Дышло, родной правнук Лозицкого-Шуляка, бывшего гайдамака,— человек огромного роста, в плечах сажень, руки, как грабли, голова белокурая, курчавая, величиною с добрый котел,— настоящий медведь из пущи. Говорили, что он наружностью походил на деда. Только глаза и сердце — как у ребенка. Женат он еще не был, изба у него была плохая, а земли столько, что если лечь такому огромному человеку поперек полосы, то ноги уже окажутся на чужой земле. Говорил мало, смеялся редко. У него была старая дедовская библия, которую он любил читать, и часто думал что-то про себя стыдливо и печально. Никогда его в Лозицах умным не считали, и парни нередко издевались над ним, может быть потому, что он, несмотря на свою необычайную силу, драться не любил.

Был у него задушевный приятель, Иван Лозинский Дыма, человек уже совсем другого рода: небольшого роста, не сильный, но веселый, разговорчивый и острый. Дыма был сухощав, говорлив, подвижен, волосы у него торчали щетиной, глаза бегали и блестели, язык имел быстрый, находчивый, усы носил длинные, по-ка-зачьи,— книзу. Никто его дураком не считал, и он никому не давал спуска. Но если кого заденет своим колющим словом, то уже, бывало, все старается держаться поближе к Матвею, потому что на руку был не силен и в драке ни с кем устоять не мог.

Когда узнали в Лозицах, что и эти двое собрались в Америку, то как-то всем это стало неприятно.

— Да где же тебе, Матвей,— говорили приятели,— в такую даль забираться? Ты глуп, а Иван слаб. Да вас там в Америке гуси затопчут.

Но Матвей отвечал:

— Будет, что бог даст. А я от сестры да от Дымы не отстану.

Так и поехали втроем в дальнюю дорогу... Не стоит описывать, как они переехали через границу и проехали через немецкую землю; все это не так уж трудно. К тому же в Пруссии немало встречалось и своих людей, которые могли указать, как и что надо делать дорогой. Довольно будет сказать, что приехали они в Гамбург и, взявши свои пожитки, отправились, не долго думая, к реке, на пристань, чтобы там узнать, когда следует ехать дальше.

А Гамбург немецкий город, стоит на большой реке, не очень далеко от моря, и оттуда ходят корабли во все стороны. Вот видят наши лозищане в одном месте, на берегу, народу видимо-невидимо, бегут со всех сторон, торопятся и толкаются так, как будто человек — какое-нибудь бревно на проезжей дороге. А с берега, от пристани, два пароходика все возят народ на корабль, потому что корабли, которые ходят по океану, стоят на середине поодаль, на самом глубоком месте. Видят лозищане, что один корабль дымится, а к нему то и дело пристают пароходы. Выкинут в него народ, сундуки, узлы и чемоданы — и тотчас же опять к пристани, и опять нагружаются, и везут снова.

Вот Иван Дыма, рассмотревши все хорошенько, догадался первый.

— А знаете,— говорит,— что я вам скажу: это, должно быть, корабль в Америку, потому что очень велик. Вот мы и попали как раз. Давай, Матвей, пробираться вперед.

Поставили они женщину с билетом впереди и пошли проталкивать ее между народом. Дошли до самого края пристани, а там уж, видно, последнюю партию принимают. Боже мой, что только творилось на этой пристани: и плачут, и кричат, и смеются, и обнимаются, и ругаются, и машут платками. И редкое лицо не взволновано, и на редких глазах не сверкают прощальные слезы... И все кругом,— чужой язык звучит, незнакомая речь хлещет в уши, непонятная и дикая, как

волна, что брызжет пеной под ногами. Закружились у наших лозищан головы, забились сердца, глаза так и впились вперед, чтобы как-нибудь не отстать от других, чтобы как-нибудь их не оставили в этой старой Европе, где они родились и прожили полжизни...

Матвею Лозинскому нетрудно было пробить всем дорогу, и через две минуты Лозинская стояла уже со своим сундуком у самого мостика и в руках держала билет. А пароходик уже свистнул два раза жалобно и тонко, и черный дым пыхнул из его трубы в сырой воздух, — видно, что сейчас уходить хочет, а пока лозищане оглядывались, — раздался и третий свисток, и что-то заклокотало под ногами так сильно, что наши даже вадрогнули и невольно подались назад. А в это время какой-то огромный немец, с выпученными глазами и весь в поту, суетившийся всех больше на пристани, увидел Лозинскую, выхватил у нее билет, посмотрел, сунул ей в руку, и не успели лозищане оглянуться, как уже и женщина, и ее небольшой узел очутились на пароходике. А в это время два других матроса сразу двинули мостки, сшибли с ног Дыму, отодвинули Матвея и выволокли мостки на пристань. Кинулись наши лозищане к высокому немцу.

— А побойся ты бога, человече! — закричал ему Дыма. — Да это же наша родная сестра, мы хотим ехать вместе.

Дыма, конечно, схитрил, называя себя родным братом Лозинской, да какая уж там к черту хитрость, когда немец ни слова не понимает. А тут пароходик отваливает, а с парохода Катерина так разливается, что даже из всех немецких голосов ее голос слышен. Завернули лозищане полы, вытащили что было денег, положили на руки, и пошел Матвей опять локтями работать. Стали опять впереди, откуда еще можно было вскочить на пароход, и показывают немцу деньги, чтобы он не думал, что они намерены втроем ехать по одному бабьему билету. Дыма так даже отобрал небольшую монетку и тихонько сунул ее в руку немцу. Сунул и сам же зажал ему руку, чтобы монета не вывалилась, и показывает ему на пароходик и на женщину, которая в это время уже начала терять голос от испуга и плача...

Ничего не вышло! Немец, положим, монету не бросил и даже сказал что-то довольно приветливо, но когда наши друзья отступили на шаг, чтобы получше разбежаться и вскочить на пароходик, немец мигнул двум

матросам, а те, видно, были люди привычные: сразу так принялись за обоих лозищан, что нечего было думать о скачке.

— Матвей, Матвей,— закричал было Дыма,— а ну-ка, попробуй с пимп по-своему. Как раз теперь это и нужно! — Но в это время оба отлетели, и Дыма упал, задравши ноги кверху.

Когда он поднялся,— пароходик уже скользил, поворачиваясь, вдоль пристани. Показались кожухи, заворачивались колеса, обдавая пристань мутными брызгами, хвост дыма задел по лицам густо столпившуюся публику, потом мелькнуло заплаканное лицо испуганной Лозинской, и еще через минуту — между пристанью и пароходом залегла бурливая и мутная полоса воды в две-три сажени. Колеса ударили дружнее, и полоса растянулась в десять — двадцать сажень, а пароходик стал уменьшаться, убегая среди мгlistого воздуха, под мутным небом, по мутной реке...

Лозищане глядели, разинувши рты, как он пристал к одному кораблю, как что-то протянулось с него на корабль, точно тонкая жердочка, по которой, как муравьи, поползли люди и вещи. А там и самый корабль дохнул черным дымом, загудел глубоким и гулким голо-сом, как огромный бугай в стаде коров,— и тихо двинулся по реке, между мелкими судами, стоявшими по сторонам или быстро уступавшими дорогу.

Лозищане чуть не заплакали, провожая глазами эту громаду, увезшую у них из-под носа бедную женщину в далекую Америку.

Народ стал расходиться, а высокий немец спял свою круглую шляпу, вытер платком потное лицо, подошел к лозищанам и ухмыльнулся, протягивая Матвею Дышлу свою лапу. Человек, очевидно, был не из злопамятных; как не стало на пристани толкотни и давки, он оставил свои манеры и, видно, захотел поблагодарить лозищан за подарок.

— Вот видишь,— говорит ему Дыма.— Теперь вот кланяешься, как добрый, а сам подумай, что ты с нами наделал; родная сестра уехала одна. Поди ты к черту! — Он плюнул и сердито отвернулся от немца.

А в это время корабль уже выбрался далеко, подымал еще, все меньше, все дальше, а там не то что Лозинскую и его уже трудно стало различать меж другими судами, да еще в тумане. Защекотало что-то у обоих в горле.

— Собака ты, собака! — говорит немцу Матвей Дышло.

— Да! говори ты ему, когда он не понимает, — с досадой перебил Дыма. — Вот если бы ты его в свое время двинул в ухо, как я тебе говорил, то, может, так или иначе, мы бы теперь были на пароходе. А уж от туда все равно в воду бы не бросили! Тем более у нас сестра с билетом!

— Кто знает, — ответил Матвей, почесывая в затылке. — Правду тебе сказать, — хоть оно двинуть человека в ухо и недолго, а только не видал я в своей жизни, чтобы от этого выходило что-нибудь хорошее. Что-нибудь и мы тут не так сделали, верь моему слову. Твое было дело — догадаться, потому что ты считаешься умным человеком.

Как это бывает часто, приятели старались свалить вину друг на друга. Дыма говорит: надо было помочь кулаком, Матвей винит голову Дымы. А пемец стоит и дружелюбно кивает обоим...

Потом немец вынул монету, которую ему Дыма сунул в руку, и показывает лозищанам. Видно, что у этого человека все-таки была совесть; не захотел напрасно денег взять, щелкнул себя пальцем по галстуку и говорит: «Шнапс», — а сам рукой на кабачок показал. «Шнапс», — это на всех языках понятно, что значит. Дыма посмотрел на Матвея, Матвей посмотрел на Дыму и говорят:

— А что ж теперь делать. Конечно, надо идти. Пешком по воде не побежишь, а от этого немецкого черта все-таки, может, хоть что-нибудь доберемся...

Пошли. А в кабаке стоит старый человек, с седыми, как щетина, волосами, да и лицо тоже все в щетине. Видно сразу: как ни бреется, а борода все-таки из-под кожи лезет, как отава после хорошего дождя. Как увидели наши приятели такого шероховатого человека посреди гладких и аккуратных немцев, и показалось им в нем что-то знакомое. Дыма говорит тихонько:

— Это, должно быть, мипский или могилевский, а то из Пуци.

Так и вышло. Поговоривши с немцем, кабатчик принес четыре кружки с пивом (четвертую для себя) и стал разговаривать. Обругал лозищан дураками и объяснил, что они сами виповаты.

— Надо было зайти за угол, где над дверью написано: «Billettenkasse». Billetten, — это и дураку понятно,

что значит билет, а Kasse так касса и есть. А вы лезете, как стадо в городьбу, не умея отворить калитки.

Матвей опустил голову и подумал про себя: «Правду говорит — без языка человек, как слепой или малый ребенок». А Дыма, хоть, может быть, думал то же самое, но, так как был человек с амбицией, то стукнул кружкой по столу и говорит:

— Долго ли ты будешь ругаться, старый! Лучше принеси еще по кружке и скажи, как нам теперь быть.

Всем это понравилось, — увидели, что человек с самолюбием и находчивый. Немец потрепал Дыму по плечу, а хозяин принес опять четыре кружки на подносе.

— Ну, как же нам ее догонять? — спрашивает Дыма.

— Беги за ней, может, догонишь, — ответил кабатчик. — Ты думаешь, на море, как в поле, на телеге. Теперь, — говорит, — вам надо ждать еще неделю, когда пойдет другой эмигрантский корабль, а если хотите, то заплатите подороже: скоро идет большой пароход, и в третьем классе отправляется немало народу из Швеции и Дании наниматься в Америке в прислуги. Потому что, говорят, американцы народ свободный и гордый, и прислуги из них найти трудно. Молодые датчанки и шведки в год-два зарабатывают там хорошее приданое.

— Пожалуй, дорого, — сказал Дыма, но Матвей возразил:

— Побойся ты бога! Ведь женщину нельзя заставлять ждать целую неделю. Ведь она там изойдет слезами. — Матвею представлялось, что в Америке, на пристани, вот так же, как в селе у перевоза, сестра будет сидеть на берегу с узелочком, смотреть на море и плакать...

Переночевали у земляка, наутро он сдал лозицан молодому шведу, тот свел их на пристань, купил билеты, посадил на пароход, и в полдень поплыли наши Лозинские — Дыма и Дышло — догонять Лозинскую Оглоблю...

III

Проходит день, проходит другой. Солнце садится в море с одной стороны, наутро подымается из моря с другой. Плещет волна, ходят туманные облака, летают за кораблем чайки, садятся на мачты, потом как будто отрываются от них ветром и, колыхаясь с боку на бок, как

клочки белой бумаги, отстают, отстают и исчезают назад, улетая обратно, к европейской земле, которую наши лозищане покинули навеки. Матвей Лозинский провожает их глазами и вздыхает. Вот, думает он, и чайка боится лететь дальше, а мы полетели. И рисуется перед ним сосновый лес, под лесом речка с бледною лозой, над речкой — бедные соломенные хаты. И кажется, — вернулся бы назад к прежней беде, родной и знакомой.

А море глухо бьет в борты корабля, и волны, как горы, подымаются и падают с рокотом, с плеском, с глухим стоном, как будто кто грозит и жалуется вместе. Корабль клонит-клонит, вот, кажется, совсем перевернется, а там опять начнет подниматься с кряхтением и скрипом. Гнутся и скрипят мачты, сухо свистит ветер в снастях, а корабль все идет и идет; над кораблем светит солнце, над кораблем стоит темная ночь, над кораблем задумчиво висят тучи или гроза бушует и ревет на океане, и молнии падают в колыхающуюся воду. А корабль все идет и идет...

Матвей Дышло говорил всегда мало, но часто думал про себя такое, что никак не мог бы рассказать словами. И никогда еще в его голове не было столько мыслей, смутных и неясных, как эти облака и эти волны, — и таких же глубоких и непонятных, как это море. Мысли эти рождались и падали в его голове, и он не мог бы, да и не старался их вспомнить, но чувствовал ясно, что от этих мыслей что-то колышется и волнуется в самой глубине его души, и он не мог бы сказать, что это такое...

К вечеру океан подергивался темнотой, небо угасало, а верхушки волны загорались каким-то особенным светом... Матвей Дышло заметил прежде всего, что волна, отбегавшая от острого корабельного носа, что-то слишком бела в темноте, павшей давно на небо и на море. Он нагнулся книзу, поглядел в глубину и замер...

Вода около корабля светилась, в воде тихо ходили бледные огни, всныхивая, угасая, выплывая на поверхность, уходя опять в таинственную и страшную глубь... И казалось Матвею, что все это живое: и ход корабля, и жалобный гул, и грохот волны, и движение океана, и таинственное молчание неба. Он глядел в глубину, и ему казалось, что на него тоже кто-то глядит оттуда. Кто-то неизвестный, кто-то удивленный, кто-то испуганный и недовольный... От века веков море идет своим хо-

дом, от века встают и падают волны, от века поет море свою собственную песню, непонятную человеческому уху, и от века в глубине идет своя собственная жизнь, которой мы не знаем. И вот теперь в эту вековую гармонию, в это живое движение вмещался дерзкий и правильный ход корабля... И песня моря дрогнула и изменилась, и волны разрезаны и сбиты, и кто-то в глубине со страхом прислушивается к этому ходу непопного чудовища из другого, непонятного мира. Конечно, Лозинский не мог бы рассказать все это такими словами, но он чувствовал испуг перед тайной морской глубины. И казалось Лозинскому, что вот он смотрит со страхом сверху, а на него с таким же ужасом кто-то смотрит снизу. Смотрит и сердится, и посылает своих посланцев с огнями, которые vyplывают наверх и ходят взад и вперед, и узнают что-то, и о чем-то тихо советуются друг с другом, и все-таки печально уходят в неизвестную пучину, — ничего не понимая... А корабль все бежит неудержимым бегом к своей собственной цели...

И много в эти часы думал Матвей Лозинский, — жаль только, что все эти мысли подымались и падали, как волны, не оставляя заметного следа, не застывая в готовом слове, вспыхивали и гасли, как морские огни в глубине... А впрочем, он говорил после и сам, что никогда не забудет моря. «Человек много думает на море разного, — сказал он мне, — разное думает о себе и о боге, о земле и о небе... Разное думается человеку на океане — о жизни, мой господин, и о смерти...» И по глазам его было видно, что какой-то огонек хочет выбиться на поверхность из неизвестной глубины этой простой и темной души... Значит, что-то все-таки осталось в этой душе от моря.

Да, наверное, оставалось... Душа у него колыбалась, как море, и в сердце ходили чувства, как волны. И порой слеза подступала к глазам, и порой — смешно сказать — ему, здоровенному и тяжелому человеку, хотелось кинуться и лететь, лететь, как эти чайки, что опять стали уже появляться от американской стороны... Лететь куда-то вдаль, где угасает заря, где живут добрые и счастливые люди...

После Лозинский сам признавался мне, что у него в то время были такие мысли, которые никогда не заходили в голову ни в Лозищах, когда он шел за сохой, ни па ярмарке в местечке, ни даже в церкви. Там все были обыкновенные мысли, какие и должны быть в своем

месте и в свое время. А в океане мысли были все особенные и необычные. Они подымались откуда-то, как эти морские огни, и он старался присмотреться к ним поближе, как к этим огням... Но это не удавалось. Пока он не следил за ними, они плыли одна за другой, вспыхивали и гасли, лаская душу и сердце. А как только он начинал их ловить и хотел их рассказать себе словами,— они убегали, а голова начинала болеть и кружиться.

Разумеется, все оттого, что было много досуга, а перед глазами ходил океан и колыбался, и гремел, и сверкал, и угасал, и светился, и уходил куда-то в бесконечность...

На третий день пути, выйдя на палубу, он увидел впереди корабль. Сначала ему показалось, что это маленький игрушечный кораблик запутался между снастями того парохода, на котором они сами плыли. Но это оттого, что прозрачный и ясный воздух приближал все, а кругом, кроме воды, ничего не было. Парусный корабль качался и рос, и когда поравнялся с ними, то Лозинский увидел на нем веселых людей, которые смеялись и кланялись, и плыли себе дальше, как будто им не о чем думать и заботиться, и жизнь их будто всегда идет так же весело, как их корабль при попутном ветре... А в другой раз в сильную качку, когда на носу их парохода стояла целая туча брызгов, он опять смотрел, как такой же кораблик, весь наклонившийся набок, летел, как птица. Волны вставали и падали, как горы, и порой с замиранием сердца Лозинский и другие пассажиры смотрели и не видели больше смелого суденышка. Но оно опять взлетало на вершину, и опять его парус касался пены, будто крыло чайки,— и он колыбался и шел, шел и колыбался... А Лозинский думал про себя, что это, должно быть, уже американцы. Смелые, видно, люди! И вот он едет к ним, простой и робкий лозищанин... Как-то они его встретят, и зачем он им нужен?.. И какой-то он будет сам через десяток лет?..

И ему казалось, что и теперь он уже другой, не тот, что ходил за сохой в Лозищах или в праздник глазел на базар в соседнем городе. Уже одно то, что он видел это колыхающееся без конца море, эти корабли, этих странных, чужих людей... То, что его глаз смотрел в тайну морской глубины и что он чувствовал ее в душе и думал о ней и об этих чужих людях, и о себе, когда он придет к ним,— все это делало его как будто другим

человеком. И он вглядывался вперед, в яркую синеву неба или в пелену морских туманов, как будто искал там свое место и свое будущее...

В одну из таких минут, когда неведомые до тех пор мысли и чувства всплывали из глубины его темной души, как искорки из глубины темного моря, — он разыскал на палубе Дыму и спросил:

— Послушай, Дыма. Как ты думаешь все-таки: что это у них там за свобода?

Но Дыма ответил сердито:

— Убирайся ты... Поищи себе трясцу (лихорадку) или паралича, чтобы тебя разбило вдребезги ясным громом.

Это оттого, что бедному Дыме в эту минуту был не мил белый свет. Потому что, когда корабль раскачивало направо и налево, то от кормы к носу, то опять от носа к корме, — тогда небо, казалось, вот-вот опрокинется на море, а потом опять море все разом лезло высоко к небу. От этого у бедного Дымы страшно кружилась голова, что-то тосковало под ложечкой, и он все подходил к борту корабля и висел книзу головой, точно тряпка, повешенная на плетне для просушки. Бедного Дыму сильно тошнило, и он кричал, что это проклятое море вывернет его наизнанку, и заклинал Христом-богом, чтобы корабль пристал к какому-нибудь острову и чтоб его, Дыму, высадили хоть к дикарям, если не хотят загубить христианскую душу. Сначала Матвей очень дивился тому, что у Дымы оказался такой непостоянный характер, и даже пробовал всячески стыдить его. Но потом увидел, что это не с одним Дымой; многие почтенные люди и даже шведские и датские барышни, которые плыли в Америку наниматься в горничные и кухарки, так же висели на бортах, и с ними было все то же, что и с Дымой. Тогда Матвей понял, что это на океане дело обыкновенное. Самому ему становилось иногда неприятно и только; Дыма — человек нервный — проклинал и себя, и Осипа, и Катерину, и корабль, и того, кто его выдумал, и всех американцев, даже еще не рожденных на свет... Порой, кажется, он готов был даже кошунствовать, но все-таки сдерживался... Потому что на море оно как-то не так легко, как иной раз на земле...

А все-таки мысль о свободе сидела в голове у Матвея. И еще на берегу, в Европе, когда они разговаривались с могилевцем-кабатчиком, тогда сам Дыма спросил у него первый:

— А что, скажите на милость... Какая там у них, люди говорят, свобода?

— А, рвут друг другу горла,— вот и свобода...— сердито ответил тот.— А впрочем,— добавил он, допивая из кружки свое пиво,— и у нас это делают как не надо лучше. Поэтому я, признаться, не могу понять, зачем это иным простакам хочется, чтобы их ободрали непременно в Америке, а не дома...

— Это вы, кажется, кинули камень в наш огород,— сказал тогда догадливый Дыма.

— Мне до чужих огородов нет дела,— ответил могилец уклончиво,— я говорю только, что на этом свете, кто перервал друг другу горло, тот и прав... А что будет на том свете, это когда-нибудь увидите и сами... Не думаю, однако, чтобы было много лучше.

Кабатчик, видимо, видал в жизни много неприятностей. Ответ его не понравился лозищанам и даже немного их обидел. Что люди всюду рвут друг друга — это, конечно, может быть, и правда, но свободой,— думали они,— наверное, называется что-нибудь другое. Дыма счел нужным ответить на обидный намек.

— А это, я вам скажу, всюду так: как ты кому, так и тебе люди: мягкому и на доске мягко, а костистому жестко и на перине. А такого шероховатого человека, как вы, я еще, признаться, и не видывал...

Таким образом, разговор тогда кончился немного кисло...

Теперь с лозищанами на корабле плыл еще чех, человек уже старый и невеселый, но приятный. Его выписал сын, который хорошо устроился в Америке. Старик ехал, но, по его словам, лучше было бы, если бы сын хорошо устроился на родине. Тогда бы и ехать незачем. Чешская речь все-таки — славянская. Поляку могло показаться, что это он говорит по-русски, а русскому — что по-польски. Наши же лозищане говорили на волыньском наречии: не по-русски и не по-польски, да не совсем и по-украински, а всех трех языков намешано попопопогу. Поэтому им было легче. Дыма к тому же — человек, битый не в темя,— разговорился скоро. Где не хватало языка, он помогал себе и руками, и головой, и ногами. Где щелкнет, где причмокнет, где хлопнет рукой, одним словом, как-то скоро стали они с чехом приятелями. А чех говорит по-немецки, значит, можно было кое-что узнать через него и от немцев. А уже через немцев — и от англичан...

Вот, когда ветер стихал и погода становилась яснее, Дыму и других отпускала болезнь, и становилось на пароходе веселее. Тогда пассажиры третьего класса выполняли на носовую палубу, долговязый венгерец пачинал играть на дудке, молодой немец на скрипке, а молодежь брала шведских барышень за талью и кружилась, обходя осторожно канаты и цепи. И над океаном неслись далеко звуки музыки, а волна подпевала и шаловливо кидала кверху белую пену и брызги, и дельфины скакали, обгоняя корабль. А на душе стаповилось и весело, и грустно.

В это время Дыма с чехом усаживались где-нибудь в уголке, брали к себе еще англичанина или знающего немца, и Дыма учился разговаривать. Англичанин говорил немцу, немец — чеху, а уж чех передавал Дыме. Прежде всего, разумеется, он выучился американскому счету и затверживал его, загибая пальцы. Потом узнал, как называть хлеб и воду, потом плуг и лошадь, дом, колодезь, церковь. И все списывал на бумажке и твердил про себя. Он старался обучить и Матвея, но тому давалось трудно. Только и выучил по-английски «три», потому что у них три называется по-нашему.

А потом у старого чеха Дыма тоже спросил, что такое свобода. Это, говорит, сделана у них на острове такая медная фигура. Стоит выше самых высоких домов и церквей, подняла руку кверху. А в руке — факел, такой огромный, что светит далеко в море. Внутри лестница — и можно войти в голову, и в руку, и даже на верхушку факела. Вечером зажигают огонь во лбу и около факела, и тогда выходит сияние, точно от месяца и даже много ярче. И называется эта медная жевщина — свобода.

Дыма передал этот разговор Матвею, но обоим казалось, что это опять не то: один говорит: «рвут горло», другой говорит: «фигура, которая светится»... А Матвею почему-то вспоминался все старый дед Лозинский-Шуляк, который подарил ему Библию. Старик умер, когда Матвей еще был ребенком; по ему вспоминались какие-то смутные рассказы деда о старине, о войнах, о Запорожье, где-то в степях на Днепре... И теперь, как память о странном сне, рассказанном старым дедом, рисовалась эта старина и какой-то простор, и какая-то дикая воля... «А если встретишь, бывало, татарина или хоть кого другого... Ну, тут уже кому бог поможет», — вспоминались слова деда... «Что же, — думал он, — тоже,

выходит, «рвали горло»...» Потом он вспоминал, что была над народом панская «неволя». Потом пришла «воля»... Но свободы все как будто не было. У него кружилась голова, мысли туманились, а в душе оставался все-таки нерешенный вопрос.

IV

На седьмой день нал на море страшный туман. Такой туман, что нос парохода упирался будто в белую степу и едва было видно, как колыхнется во мгле притихшее море. Раза два-три, прямо у самого парохода, проплыли какие-то водоросли, и Лозинский подумал, что это уже близко Америка. Но Дыма узнал через своего чеха, что это как раз середина океана. Только не очень далеко на полдень — мелкое место. И здесь теплая струя ударяется в мель и идет на полночь, а тут же встречается и холодная струя с полночных морей. И оттого над морем в этом месте все гнездится туман. Пароход шел тихо, и необыкновенно громкий свисток ревел гулко и жалобно, а стена тумана отдавала этот крик, как эхо в густом лесу. И становилось всем жутко и страшно.

И в это время на корабле умер человек. Говорили, что он уже сел больной; на третий день ему сделалось совсем плохо, и его поместили в отдельную каюту. Туда к нему ходила дочь, молодая девушка, которую Матвей видел несколько раз с заплаканными глазами, и каждый раз в его широкой груди поворачивалось сердце. А наконец, в то время, когда корабль тихо шел в густом тумане, среди пассажиров пронесся слух, что этот больной человек умер.

И действительно, на корабле все почувствовали смерть... Пассажиры притихли, доктор ходил серьезный и угрюмый, капитан с помощником совещались, и потом, через день, его похоронили в море. Завернули в белый саван, привязали к ногам тяжесть, какой-то человек, в длинном черном сюртуке и широком белом воротнике, как казалось Матвею, совсем не похожий на священника, прочитал молитвы, потом тело положили на доску, доску положили на борт и через несколько секунд, среди захватывающей тишины, раздался плеск... Вместе с этим кто-то громко крикнул, молодая девушка рванулась к морю, и Матвей услышал ясно родное сле-

во: «Отец, отец!» Между тем корабль, тихо работавший винтами, уже отодвинулся от этого места, и самые волны на том месте смешались с белым туманом. От человека не осталось и следа... Туман сомкнулся позади плотной стеной, и туман был впереди, а пароходный ревун стонал и будто бы падрывался над печальной человеческой судьбой...

Скоро, однако, другие события закрыли собой эту смерть... В этот же день небольшая парусная барка только-только успела вывернуться из-под носа у парохода. Но это еще ничего. Люди на барке махали шляпами и смеялись на расстоянии каких-нибудь пяти саженей. Они были в клеенчатых куртках и странных шляпах... Другой раз чуть не вышло еще хуже. Среди белого дня, в молочной мгле что-то, видно, почудилось капитану. Пароход остановили, потом отошли назад, как будто убегали от кого-то, кто двигался в тумане. Потом стали в ожидании. И вдруг Лозинский увидел сверху, как будто во мгле, встало облако с сверкающими краями, а в воздухе стало холоднее и повеяло острым ветром. Пароход повернулся и тихо, будто украдкой, стал уползать в глубь тумана налево. А направо было не облако, а ледяная гора. Лозинский не верил своим глазам, чтобы можно было видеть разом такую огромную гору чистого льда. Но это видели все. На пароходе все притихло, даже винт работал осторожнее и тише. А гора плыла, тихонько покачиваясь, и вдруг исчезла совсем, будто растаяла...

Наши двое лозищан и чех тотчас же сняли шапки и перекрестились. Немцы и англичане не имеют обычая креститься, кроме молитвы. Но и они также верят в бога и также молятся, и когда пароход пошел дальше, то молодой господин в черном сюртуке с белым воротником на шее (ни за что не сказал бы, что это священник) встал посреди людей, на носу, и громким голосом стал молиться. И люди молились с ним и пели какие-то куплеты, и священное пение смешивалось с гулким и жалобным криком корабельного ревуна, опять посылавшего вперед свои предостережения, а стена тумана опять отвечала, только еще жалобнее и еще глуше...

А море тоже все более стихало и лизало бока корабля, точно ласкалось и просило у людей прощения...

Женщины после этого долго плакали и не могли успокоиться. Особенно жалко было Лозинскому молодую сироту, которая сидела в стороне и плакала, как

ребенок, закрывая лицо углом шерстяного платка. Он уже и сам не знал, как это случилось, но только он подошел к ней, положил ей на плечо свою тяжелую руку и сказал:

— Будет уже тебе плакать, малютка, бог милостив.

Девушка подняла голубые глаза, посмотрела на Лозинского и ответила:

— А! Как мне не плакать... Еду одна на чужую сторону. На родине умерла мать, на корабле отец, а в Америке где-то есть братья, да где они, я и не знаю... Подумайте сами, какая моя доля!

Лозинский постоял, посмотрел и не сказал ей ничего. Он не любил говорить на ветер, да и его доля была тоже темна. А только с этих пор, где бы он ни стоял, где бы он ни сидел, что бы ни делал, а все думал об этой девушке и следил за нею глазами.

И тогда же Лозинский сказал себе самому: «А вот же, если я найду там в широком и неведомом свете свою долю, то это будет также и твоя доля, малютка. Потому что человеку как-то хочется кого-нибудь жалеть и любить, а особенно, когда человек на чужбине».

V

На двенадцатый день народ начал все набираться на носу, как муравьи на пловучей щепке, когда ее прибивает ветром к берегу ручья. Из этого наши лозищане поняли, что, должно быть, недалеко уже американская земля. И действительно, Матвей, у которого глаза были острые, увидел первый, что над синим морем направо встала будто белая игла. Потом она поднялась выше, и уже ясно было видно, что это белый маяк. По волнам то и дело неслись лодки с косым парусом, белые пароходы, с окнами, точно в домах, маленькие пароходики, с коромыслами наверху, каких никогда еще не приходилось видеть лозищанам. А там в синеватой мгле стало проступать что-то, что-то занеслось, что-то забелело, что-то вытягивалось и пестрело. Пошли острова с деревьями, пошла длинная коса с белым песком. На косе что-то громыхало и стучало, и черный дым валил из высокой трубы.

Дыма толкнул Лозинского локтем.

— Видишь? Чех говорил правду.

Матвей посмотрел вперед. А там, возвышаясь над

самыми высокими мачтами самых больших кораблей, стояла огромная фигура женщины, с поднятой рукой. В руке у нее был факел, который она протягивала навстречу тем, кто подходит по заливу из Европы к великой американской земле.

Пароход шел тихо, среди других пароходов, сповавших, точно водяные жуки, по заливу. Солище село, а город все выплывал и выплывал навстречу, дома вырастали, огоньки зажигались рядами и в беспорядке дрожали в воде, двигались и перекрещивались внизу, и стояли высоко в небе. Небо темнело, но на нем ясно еще рисовалась высоко в воздухе тонкая сетка огромного, невиданного моста.

Исполинские дома в шесть и семь этажей ютились внизу, под мостом, по берегу; фабричные трубы не могли достать до моста своим дымом. Он повис над водой, с берега на берег, и огромные пароходы пробегали под ним, как ничтожные лодочки, потому что это самый большой мост во всем божьем свете... Это было направо, а налево уже совсем близко высилась фигура женщины, и во лбу ее, еще споря с последними лучами угасавшей в небе зари, загоралась золотая диадема, и веночек огоньков светился в высоко поднятой руке...

А сердце Лозинского трепетало и сжималось от ужаса. Только теперь он понял, что такое эта Америка, на берегу которой он думал встретить Лозинскую. Он ждал, что она будет сидеть тут где-то со своим узелком. «Боже мой, боже мой,— думал Матвей.— Да здесь человек — как иголка в траве или капля воды, упавшая в море...» Пароход шел уже часа два в виду земли, в виду построек и пристаней, а город все разворачивал над заливом новые ряды улиц, домов и огней... И с берега, сквозь шум машины, несло рокотание и гул. Казалось, кто-то дышит, огромный и усталый, то опять кто-то жалуется и сердится, то кто-то ворочается и стонет... и опять только гудит и катится, как ветер в степи, то опять говорят смешанными голосами...

Лозинский отыскал Анну, — молодую девушку, с которой он познакомился, — и сказал:

— Держись, малютка, меня и Дымы. Видишь, что тут дется в этой Америке. Не дай боже!

Девушка схватила его за руку, и не успел сконфуженный Матвей оглянуться, как уж она поцеловала у него руку. Потому что бедняжка, видно, испугалась Америки еще хуже, чем Лозинский.

Пароход остановился на ночь в заливе, и никого не спускали до следующего утра. Пассажиры долго сидели на палубах, потом большая часть разошлась и заснула. Не спали только те, кого, как и наших лозищан, пугала неведомая доля в незнакомой стране. Дыма, впрочем, первый заснул себе на лавке. Анна долго сидела рядом с Матвеем, и порой слышался ее тихий и робкий голос. Лозинский молчал. Потом и Анна заснула, склоняясь усталой головой на евой узел.

И только Матвей просидел всю теплую ночь, пока свет на лбу статуи не померк и заиграли отблески зари на волнах, оставляемых бороздами возвращавшихся с долгой ночной работы пароходов...

На следующее утро пришли на пароход американские таможенные чиновники, давали подписывать какую-то бумагу, а между тем корабль потихоньку стали подтягивать к пристани. И было как-то даже грустно смотреть, как этот морской великан лежит теперь на воде, без собственного движения, точно мертвый, а какой-то маленький пароходишко хлопочет около него, как живой муравей около мертвого жука. То потянет его за хвост, то забежит с носу, и свистит, и шипит, и вертится... А пристань оказалась — огромный сарай, каких много было на берегу. Они стояли рядами, некрасивые, огромные и мрачные. Только на одной толпились американцы, громко визжали, свистели и кричали «ура». Матвей посмотрел туда с остатком надежды увидеть сестру — и махнул рукой. Где уж!..

Наконец пароход подтянули. Какой-то матрос, ловкий, как дьявол, взобрался кверху, под самую крышу сарая, и потом закачался в воздухе вместе с мостками, которые спустились на корабль. И пошел народ выходить на американскую землю...

Скучно было нашим... Пошли и они — не оставаться же на корабле вечно. А если сказать правду, то Матвею приходило в голову, что на корабле было лучше. Плы-вешь себе и плывешь... Небо, облака, да море, да вольный ветер, а впереди, за гранью этого моря, — что бог даст... А тут вот тебе и земля, а что в ней... Всех кто-нибудь встречает, целуют, обнимаются, плачут. Только наших лозищан не встречает никто, и приходится идти самим искать неведомую долю. А где она?.. Куда ступить, куда податься, куда поставить ногу и в какую сторону повернуться, неизвестно. Стали наши, в белых свитках, в больших сапогах, в высоких бараньих шапках

и с большими палками в руках,— с палками, вырезанными из родной лозы, над родною речкою, и стоят, как потерянные, и девушка со своим узелком жметя меж ними.

VI

— Жид! А ей же богу, пусть меня разобьет ясным громом, если это не жид,— сказал вдруг первый Дыма, указывая на какого-то господина, одетого в круглую шляпу и в кургузый, потертый пиджак. Хотя рядом с ним стоял молодой барчук, одетый с иголки и уже вовсе не похожий на жиденка,— однако когда господин повернулся, то уже и Матвей убедился с первого взгляда, что это непременно жид, да еще свой, из-под Могилева или Житомира, Минска или Смоленска, вот будто сейчас с базара, только переоделся в немецкое платье.

Обрадовались они этому человеку, будто родному. Да и жид, заметив белые свитки и барашковые шапки, тотчас подошел и поклонился.

— Ну, поздравляю с приездом. Как ваше здоровье, господа? Я сразу вижу, что это приехали земляки.

— А что,— сказал Дыма с торжествующим видом.— Не говорил я? Вот ведь какой это народ хороший! Где нужно его, тут он и есть. Здравствуйте, господин еврей, не знаю, как вас назвать.

— А! Звали когда-то Борух, а теперь зовут Борк, мистер Борк,— к вашим услугам,— сказал еврей и как-то гордо погладил бородку.

— А! Чтоб тебя! Ну, слушай же ты, Берко...

— Мистер Борк,— поправил еврей с еще большею гордостью.

— Ну, пускай так, мистер так и мистер, чтоб тебя схватило за бока... А где же тут хорошая заезжая станция, чтобы, знаешь, не очень дорого и не очень уж плохо. Потому что, видишь ты... Мы хоть в простых свитках, а не совсем уже мужики... однодворцы... При том еще с нами, видишь сам, девушка...

— Ну, разве я уж сам не могу различить, с кем имею дело,— ответил мистер Борк с большою политикой.— Что вы обо мне думаете?.. Пхе! Мистер Борк дурак, мистер Борк не знает людей... Ну, только и я вам скажу: это ваше большое счастье, что вы попали сразу на мистера Борка. Я ведь не каждый день хожу на пристань,

зачем я стал бы каждый день ходить на пристань?.. а у меня вы сразу имеете себе хорошее помещение, и для барышни найдем комнатку особо, вместе с моею дочкой.

— А, вот видите вы, как оно хорошо,— сказал Дыма и оглянулся, как будто это он сам выдумал этого мистера Борка.— Ну, води же нас, когда так, на свою заезжую станцию.

— Может, вам пужно взять еще ваш багаж?

— Э! Какой там багаж! Правду тебе сказать, так и все вот тут с нами.

— Гэ, это не очень много! Джон!..— крикнул он на молодого человека, который таки оказался его сыном.— Ну, чего ты стоишь, как какой-нибудь болван. Такэ ту бэгедж оф мисс (возьми у барышни багаж).

Молодой человек оказался негордый. Он вежливо приподнял шляпу, схватил из рук Анны узелок, и они пошли с пристани.

Прошли через улицу и вошли в другую, которая показалась приезжим какой-то пещерой. Дома темные, высокие, выходы из них узкие, да еще в половину домов поверх улицы сделана на столбах настилка, загородившая небо...

— А, господи! мать божья! — взвизгнула вдруг в испуге Анна и схватила за руку Матвея.

— Всякое дыхание да хвалит господа,— сказал про себя Матвей,— а что же это еще такое?

— Ай-ай, чего вы это испугались,— сказал жид.— Да это только поезд. Ну, ну, идите, что такое за важность... Пускай себе он идет своей дорогой, а мы пойдем своей. Он нас не тронет, и мы его не тронем. Здесь, я вам скажу, такая сторона, что зевать некогда...

И мистер Борк пошел дальше. Пошли и наши скрепя сердце, потому что столбы кругом дрожали, улица гудела, вверху лязгало железо о железо, а прямо над головами лозищан по настилке на всех парах летел поезд. Они посмотрели с разинутыми ртами, как поезд изогнулся в воздухе змеей, повернул за угол, чуть не задевая за окна домов, и полетел опять по воздуху дальше, то прямо, то извиваясь...

И показалось нашим, привыкшим только к шуму родного бора, да к шепоту тростников над тихою речкой Лозовою, да к скрипу колес в степи, что они теперь попали в самое пекло. Дома — шапка свалится, как помотришь. Взглянешь назад — корабельные мачты, как

горелый лес; поднимаешь глаза к небу — небо закопчено и еще закрыто этой настилкой воздушной дороги, от которой в улице вечные сумерки. А впереди человек видит опять, как в воздухе, наперерез, с улицы в улицу летит уже другой поезд, а воздух весь изрезан храпом, стоном, лязганием и свистом машин.

— Господи Иисусе,— шептала Анна бледными губами. Матвей только закусил ус, а Дыма мрачно понурил голову и шагал, согнувшись под своим узлом. А за ними бежали кучи каких-то уличных дьяволят, даже иной раз совсем черных, как хорошо вычищенный сапог, и заглядывали им прямо в лица, и подпрыгивали, и смеялись, а один большой негодяй кинул в Дыму огрызок какого-то плода.

— А ну, это человек наконец может потерять всякое терпение,— сказал Дыма, ставя свой узел на землю. — Послушай, Берко...

— Мистер Борк,— поправил еврей.

— А что же, мистер Борк, у вас тут делает полиция?

— А что вам за дело до полиции? — ответил еврей с неудовольствием. — Зачем вам беспокоить полицию такими пустяками? Здесь не такая сторона, чтобы чуть что не так, и сейчас звать полицию...

— Это, верно, называется свобода,— сказал Дыма очень язвительно. — Человеку кинули в лицо огрызок — это свобода... Ну, когда здесь уже такая свобода, то послушай, Матвей, дай этому висельнику хорошего пинка, может, тогда они нас оставят в покое.

— Ну, пожалуйста, не надо этого делать,— взмолился Берко, к имени которого теперь все приходилось прибавлять слово «мистер». — Мы уже скоро дойдем, уже совсем близко. А это они потому, что... как бы вам сказать... Им неприятно видеть таких очень лохматых, таких шорстких, таких небритых людей, как ваши милости. У меня есть тут поблизости цирюльник... Ну, он вас приведет в порядок за самую дешевую цену. Самый дешевый цирюльник в Нью-Йорке.

— А это, я вам скажу, хорошая свобода — чтоб ее взяли черти,— сказал Дыма, сердито взваливая себе мешок на спину.

А в это время в Дыму опять полетела корка бапапа. Пришлось терпеть и идти дальше. Впрочем, прошли немного, как мистер Борк остановился.

— Ну, а теперь, пожалуйста, пойдем на эту лестницу...

— Да куда же это мы пойдем, хотел бы я знать? — сказал Дыма. И действительно, лестница вела с улицы наверх, на ту самую настилку, что была у них над головами.

— Ну, нам надо сесть в вагон.

— Не пойду, — сказал Дыма решительно. — Бог создал человека для того, чтобы он ходил и ездил по земле. Довольно и того, что человек проехал по этому проклятому морю, которое чуть не вытянуло душу. А тут еще лети, как какая-нибудь сорока, по воздуху. Веди нас пешком.

— Ай-ай! — сказал мистер Борк нетерпеливо, — что же мне с вами делать? Идите, пожалуйста!

— Не пойду! — решительно сказал Дыма и, обращаясь к Матвею и Анне, сказал: — И вы тоже не ходите!

Еврей что-то живо заговорил с сыном, который только улыбался, и потом, повернувшись к Дыме, мистер Борк сказал очень решительно:

— Ну, когда вы такой упрямый человек, что все хотите по-своему... то идите, куда знаете. Я себе пойду в вагон, а вы как хотите... Джон! Отдай барышние багаж. Каждый человек может идти своей дорогой.

Джон усмехнулся, но не торопился отдавать Анне багаж. Матвей взял Дыму за руку и сказал:

— А! Что там! Пойдем уже.

— Пойдем, пожалуйста, — робко сказала и Анна.

— Га! Что делать? В этой стороне, видно, надо ко всему привыкать, — ответил Дыма и, взвалив мешок на плечи, сердито пошел на лестницу.

На первом повороте за конторкой сидел равнодушный американец, которому еврей дал монету, а тот выдал ему пять билетов. Эти билеты Борк кинул в стеклянную коробку, и все поднялись еще выше и вышли на платформу.

Поезда еще не было. Платформа была вровень с третьими этажами домов. Внизу шли люди, ехали большие фургоны, проходили, позваивая, вагоны копно-железной дороги; вверху, по синему небу плыли облака, белые, светлые, совсем как наши. «Вот, — думал Матвей, — полетит это облако над землей, над морем, пронесется над Лозищами, заглянет в светлую воду Лозовой речки, увидит лозищанские дома, и поле, и людей, которые едут в поле и с поля, как бог велел, в пароконных телегах и с драбинами. Подумает ли кто-нибудь в Ло-

зицах, что двое лозищан стоят в эту минуту в чужом городе, где над ними сейчас издевались, точно они не христиане и приехали сюда на посмешище... Стоят ни на земле, ни на горе и собираются лететь по воздуху в какой-то машине». «Господи,— думала в это время и Анна,— а ну, как это провалится, а ну, как полетим мы все с этой машиной вниз, на каменную мостовую! Господи Иисусе, дева Мария, святой Иосиф! Всякая душа хвалит господа». Дыма смотрел и кусал длинный ус...

На рельсах вдаль показался какой-то круг и покатился, и стал вырастать, приближаться, железо зазвенело и заговорило под ногами, и скоро перед платформой пролетел целый поезд... Завизжал, остановился, открылись затворки — и несколько десятков людей торопливо прошли мимо наших лозищан. Потом они вошли в вагон, заняли пустые места, и поезд сразу опять кинулся со всех ног и полетел так, что только мелькали окна домов...

Матвей закрыл глаза. Анна крестилась под платком и шептала молитвы. Дыма оглядывался кругом вызывающим взглядом. Он думал, что американцы, сидевшие в вагонах, тоже станут глазеть на их шапки и свитки и, пожалуй, кидать огрызками бананов. Но, видно, эти американцы были люди серьезные: никто не пялил глаз, никто не усмехался. Дыме это понравилось, и он немного успокоился...

А там поезд опять остановился, и наши вышли благополучно и опять спустились по лестнице на улицу...

VII

Заезжий двор мистера Борка совсем не походил на наши. Наши, то есть те, что на Волыни, или под Могилевом, или в Полесье, гораздо лучше: длинный, невысокий дом, на белой стене чернеют широкие ворота так приветливо и приятно, что лошади приворачивают к ним сами собой. За въездом — прямо крытый двор, с высокою соломенной стрехой; между стропилами летают тучи воробьев, и голуби воркуют где-то так сладко, а где — и не увидишь... А там — колодезь с воротом, ясли с «драбинами» для лошадей, куры, коза, корова, запах лошадиного пота, запах дегтя и душистого сена... Вспомнить, так и то приятно...

Нужно сказать, что Матвей и Дыма считались в своих местах людьми степенными, знающими, как обращаться в свете. Случалось им не раз, на ярмарке, или в праздник, проездом в местечках, или в какой-нибудь корчме на шляху — заставить полным-полным народу, — и это ихнисколько не смущало. Известное дело, — всякий сам себя знает. Поставил человек лошадь к месту, кинул ей сена с воза или подвязал торбу с овсом, потом сунул кнут себе за пояс, с таким расчетом, чтобы люди видели, что это не бродяга или нищий волочится на ногах по свету, а настоящий хозяин, со своей скотиной и телегой; потом вошел в избу и сел на лавку ожидать, когда освободится за столом место. А пока — оглядел всех, и сразу видно, что за народ послал бог навстречу, и сразу же можно начать подходящий разговор: один разговор с простым мужиком, другой — со своим братом, однодворцем или мещанином, третий — с управляющим или подпанком. Разумеется, знали и свое место: если уже за столом расселся приезжий барин, то, конечно, приходилось и пообождать, хотя бы места было и достаточно. Одним словом, ходили всегда по свету с открытыми глазами, — знали себя, знали людей, а потому от равных видели радушие и уважение, от гордых сторонились, и если встречали от господ иногда какие-нибудь неприятности, то все-таки не часто.

Теперь они сразу стали точно слепые. Не пришли сюда пешком, как бывало на богомолье, и не приехали, а прилетели по воздуху. И двор мистера Борка не похож был на двор. Это был просто большой дом, довольно темный и неприятный. Борг открыл своим ключом дверь, и они вошли наверх по лестнице. Здесь был небольшой коридорчик, на который выходило несколько дверей. Войдя в одну из них, по указанию Борка, наши лозищане остановились у порога, положили узлы на пол, сняли шапки и огляделись.

Комната была просторная. В ней было несколько кроватей, очень широких, с белыми подушками. В одном только месте стоял небольшой столик у кровати, и в разных местах — несколько стульев. На одной стене висела большая картина, на которой фигура «Свободы» подымала свой факел, а рядом — литографии, на которых были изображены пятисвечники и еврейские скрижали. Такие картины Матвей видел у себя на Волыни и подумал, что это Борг привез в Америку с собою.

В открытое окно виднелась линия воздушной доро-

ги, вдоль улицы, по которой приехали и они. И опять вдали показался круглый щит локомотива и стал все вырастать. Лозищане смотрели на него с некоторым страхом. Лязг и грохот все приближался, и им казалось, что поезд вкатится в комнату. Но в это время что-то вдруг хлеснуло в окно резкой струей воздуха, и мимо, совсем близко, с противоположной стороны, пронеслась какая-то стена с окнами. Это был другой, встречный поезд; в окнах мелькнули головы, шляпы, лица, в том числе некоторые черные, как сажа. И через несколько секунд все исчезло, повернуло, и поезд понесся вдаль, все уменьшаясь, между тем как прежний вырастал и через минуту тоже пронесся мимо окон. Клуб пара и дыма, точно развевающаяся лента, махнул по окну, и несколько ключев ворвалось в самую комнату...

— Всякое дыхание да хвалит господу! — сказал Матвей, крестясь с испугом. И только когда оба поезда исчезли, он решился оглядеться хорошенько на новом месте.

Кроватей в комнате стояло около десятка, но из жильцов в ней находился только один господин, звание которого лозищане определить не могли. На нем было «городское платье», как и на Борке, светлые клетчатые короткие панталоны, большие и тяжелые шнуровые ботинки, крахмальная сорочка и светлый жилет. Он лежал на постели, полуприкрывшись огромным листом газеты, и, отклонив ее угол, с любопытством смотрел на новоприбывших. По виду это был настоящий «барин», и если бы так у себя дома, то Дыма непременно отвесил бы ему низкий поклон и сказал бы:

— Прошу прощения... Может, это жид Берко завел нас сюда по ошибке.

Во всяком случае лозищане подумали, что видят перед собой американского дворянина или начальника. Но мистер Борк скоро сошел по витой лесенке сверху, куда он успел отвести Аппу, и подвел лозищан к кровати совсем рядом с этим важным барином.

— Вот эта кровать, — сказал он, — стоит вам два доллара в неделю.

— А что я тебе скажу, мистер Борк, — зашептал ему осторожно Дыма. — Хорошо ли, смотри, это у нас выйдет?

— Ну, — обиженно ответил Борк, — что же еще нужно за два доллара в неделю? Вы, может, думаете — это с одного? Нет, это с обоих. За обед особо...

— Бог с тобой, — ответил Дыма все-таки шепотом, — если уже ты не можешь уступить подешевле. А только вот этому господину не покажется ли неприятно? Все-таки мы люди простого звания...

Борк в ответ только свистнул и сказал, с нескрываемым пренебрежением посмотрев на американского дворянина:

— Фю-ю! На этот счет вы себе можете быть вполне спокойны. Это совсем не та история, что вы думаете. Здесь свобода: все равные, кто за себя платит деньги. И знаете, что я вам еще скажу? Вот вы простые люди, а я вас больше почитаю... потому что я вижу: вы в нашем месте были хозяева. Это же видно сразу. А этого шарлатана я, может быть, и держать не стал бы, если бы за него не платили от Тамани-холла. Ну, что мне за дело! У «босса» денег много, каждую неделю я свое получаю аккуратно.

Дыма ловил на лету все, что замечал на новом месте, и потому, обдумав не совсем понятные слова Борка, покосился на лежавшего господина и сказал:

— Я, мистер Борк, так понимаю твои слова, что это не барин, а бездельник, вроде того, какие и у нас бывают на ярмарках. И шляпа на нем, и белая рубашка, и галстук... а глядишь, уже кто-нибудь кошелек и потерялся...

Борк усмехнулся.

— Ну, вы таки умеете попадать пальцем в небо, — сказал он, поглаживая свою бородку. — Нет, насчет кошелька так вы можете не бояться. Это не его ремесло. Я только говорю, что всякий человек должен искать солидного и честного дела. А кто продает свой голос... пусть это будет даже настоящий голос... Но кто продает его Тамани-холлу за деньги, того я не считаю солидным человеком.

И, вздохнув, он прибавил:

— У меня было здесь солидное заведение. Ну, что делать! Заведение пошло прахом, осталась квартира до срока. Приходится как-нибудь колотиться со всякою дрянью.

Дыма не совсем понимал, как можно продать свой голос, хотя бы и настоящий, и кому он нужен, но так как ему было обидно, что раз он уже попал пальцем в небо, то он сделал вид, будто все понял, и сказал уже громко:

— А когда так, то и хорошо. Клади, Матвей, узел

сюда. Что в самом деле! Ведь и наши деньги не щербаты. А здесь притом же, черт их бей, свобода!

И он сел на свою кровать против американского господина, вдобавок еще расставивши ноги. Матвей боялся, что американец все-таки обидится. Но он оказался парень простой и покладливый. Услышав, что разговор идет о Тамани-холле, он отложил газету, сел на своей постели, приветливо улыбнулся, и некоторое время оба они сидели с Дымой и пялили друг на друга глаза.

— Good day (здравствуй)! — первый сказал американец и хлопнул Дыму по колену.

Дыма хлопнул его с своей стороны и, очень мало подумавши, ответил:

— Yes (да).

— Tammany-holl, — сказал опять американец, любезно улыбаясь, — вэри-уэлл!

— Вэри-уэлл, — кивнул головой Дыма. — Это значит: очень хорошо... Эх ты, барин! Ты вот научи меня, как это продать этому черту Тамани-холлу свой голос, чтобы за это человека кормили и поили даром.

— Well! — ответил американец, захохотав.

— Yes, — засмеялся и Дыма.

Ирландец опять подмигнул, похлопал Дыму по колену, и они, видно, сразу стали приятели,

VIII

А Матвей подивился на Дыму («Вот ведь какой дар у этого человека», — подумал он), но сам сел на постели, грустно понурив голову, и думал:

«Вот человек и в Америке... что же теперь будем делать?»

Правду сказать, все не понравилось Матвею в этой Америке. Дыме тоже не понравилось, и он был очень сердит, когда они шли с пристани по улицам. Но Матвей знал, что Дыма — человек легкого характера: сегодня ему кто-нибудь не по душе, а завтра первый приятель. Вот и теперь он уже крутит ус, придумывает слова и посматривает на американца веселым оком. А Матвею было очень грустно.

Да, вот и Америка! Еще вчера ночью она лежала перед ним, как какое-нибудь облако, и он не знал, что-то явится, когда это облако расступится... Но все ждал чего-то чудесного и хорошего... «Правду сказать, — ду-

мал он,— на этом свете человек думает так, а выходит иначе, и если бы человек знал, как выйдет, то, может, век бы свековал в Лозицах, с родной бедою». Вот и облако расступилось, вот и Америка, а сестры нет, и той Америки нет, о которой думалось так много над тихою Лозовою речкой и на море, пока корабль плыл, колыхаясь на волнах, и океан пел свою смутную песню, и облака неслись по ветру в высоком небе то из Америки в Европу, то из Европы в Америку... А на душе пробегали такие же смутные мысли о том, что было там, на далекой родине, и что будет впереди за океаном, где придется искать нового счастья...

Ищи его теперь, этого счастья, в этом пекле, где люди летят куда-то, как бешеные, по земле и под землей и даже,— прости им, господи,— по воздуху... где все кажется не таким, как наше, где не различишь человека, какого он может быть звания, где не схватишь ни слова в человеческой речи, где за крещеным человеком бегают мальчишки так, как в нашей стороне бежали бы разве за турком...

— Вот что, Дыма,— сказал Матвей, отрываясь от своих горьких мыслей.— Надо поскорее писать письмо Осипу. Он здесь уже свой человек, пусть же советует, как сыскать сестру, если она еще не приехала к нему, и что нам теперь делать с собою.

— Да уж не иначе! — ответил Дыма.

Попросили у Борка перо и черпил, устроились у окна и написали. Писал письмо Дыма, а так как и у него руки не очень-то привыкли держать такую маленькую вещь, как перо, то прописали очень долго.

Кончили писать, Дыма стал отирать пот со лба и вдруг остановился с разинутым ртом. Матвей тоже оглянулся, и у него как-то приятно замерло сердце.

В комнате стояла старая барыня, в поношенной, но видно, что когда-то шелковой мантилье, в старой шляпке с желтыми цветами и с сумочкой на руке. Кроме того, на ленточке она держала небольшую белую собачку, которая поворачивалась во все стороны и нюхала воздух.

— Наша,— шепнул Дыма Матвею.

И действительно, барыня села у двери на стул, отдышалась немного и сказала с первого слова:

— Проклятая сторона, проклятый город, проклятые люди. Ну, скажите, пожалуйста, зачем вы сюда приехали?

Наши очень обрадовались родной речи, кинулись к барыне и чуть не столкнулись головами, целуя у нее руку.

Барыне, видно, это понравилось. Она сидела на стуле, не отнимала руки и глядела на лозищан, жалостно кивая головой.

— Подольские или из Волыни?

— Из Лозищей, милостивая госпожа.

— Из Лозищей! Прекрасно! А куда же это бог несет?

— В Миннесоте есть наши.

— Миннесота! Знаю, знаю. Болото, лес, мошка, лесные пожары и, кажется, индейцы... Ай, люди, люди! И что вам только понадобилось в этой Америке? Жили бы в своих Лозищах...

«Оно, может, и правда», — подумал Матвей. А Дыма ответил:

— Рыба ищет где глубже, а человек — где лучше.

— Так... от этого-то рыба попадает в невод, а люди в Америку... Это очень глупо. А впрочем, это не мое дело. А где же тут сам хозяин?.. Да, вот и Берко.

— Мистер Борк, — поправил еврей, входя в комнату.

— А, мистер Берко, — сказала барыня, и лозищане заметили, что она немного рассердилась. — Скажите, пожалуйста, я и забыла! А впрочем, ваша правда, ясно-вельможный мистер Борк! В этой проклятой стороне все мистеры, и уже не отличишь ни жида, ни хлопа, ни барина... Вот и эти (она указала на лозищан) снимут завтра свои свитки, забудут бога и тоже потребуют, чтобы их звать господами...

— Это их дело, всякий здесь устраивает себя как хочет, — сказал Борк хладнокровно и прибавил, поглаживая бородку: — Чем могу вам служить?

— Твоя правда, — сказала барыня. — В этой Америке никто не должен думать о своем ближнем... Всякий знает только себя, а другие — хоть пропади в этой жизни и в будущей... Ну, так вот я зачем пришла: мне сказали, что у тебя тут есть наша девушка. Или, простите, мистер Борк... Не угодно ли вам позвать сюда молодую приезжую лэди из наших крестьянок.

— Ну, а зачем вам мисс Эни?..

— Ты, кажется, сам начинаешь вмешиваться в чужие дела, мистер Берко.

Борк пожал плечами, и через минуту сверху спустилась Анна. Старая барыня падела стеклышки на нос

и оглядела девушку с ног до головы. Лозицане тоже взглянули на нее, и им показалось, что барыня должна быть довольна и испуганным лицом Анны, и глазами, в которых дрожали слезы, и крепкой фигурой, и тем, как она мяла рукой конец передника.

— Умеешь ты убирать комнаты? — спросила барыня.

— Умею, — ответила Анна...

— И готовить кушанье?

— Готовила.

— И вымыть белье, и выгладить рубашку, и запирать лампу, потому что я терпеть не могу здешнего газа, и поставить самовар или сварить кофе...

— Так, ваша милость. Умею.

— Ты приехала сюда работать?

— Как же иначе? — ответила девушка совсем тихо.

— Почему я знаю, как иначе?.. Может быть, ты рассчитывала выйти замуж за президента... Только он, моя милая, уже женат...

Две крупные слезы скатились с длинных ресниц Анны и упали на белый передник, который она все переминала в руках. Матвею стало очень жаль девушку, и он сказал:

— Она, ваша милость, сирота...

А Дыма прибавил:

— У нее на корабле умер отец.

— Умнее ничего не мог придумать! — сказала барыня спокойно. — Много здесь дураков прилетало, как мухи на мед... Ну, вот что. Мне некогда. Если ты приехала, чтобы работать, то я возьму тебя с завтрашнего дня. Вот этот мистер Борк укажет тебе мой дом... А эти — тебе родня?

— Нет, милостивая пани, но...

И Матвей видел, как испуганный глаз девушки остановился на нем, будто со страхом и вопросом.

— Никаких «но». Я не позволю тебе водить ни любовников, ни там двоюродных братьев. Вперед тебе говорю: я строгая. Из-за того и беру тебя, что не желаю иметь американскую барыню в кухарках. Шведки тоже уже испорчены... Слышишь? Ну, а пока до свидания. А паспорт есть?

— Есть...

— То-то.

Барыня встала, гордо кивнула головой и вышла из помещения.

— Наша! — сказал Матвей и глубоко вздохнул.

— А это, видно, и здесь так же, как и всюду на свете, — прибавил к этому Дыма.

Анна тихонько вытерла слезу концом передника.

Еврей посмотрел на девушку с сожалением и сказал:

— Ну, что вы плачете, мисс Эни! Я вам прямо скажу: это дело не пойдет, и плакать нечего...

— А почему же не пойдет? — возразил Матвей задумчиво, хотя и ему самому казалось, что не стоило ехать в Америку, чтобы попасть к такой строгой барыне. Можно бы, кажется, и пожалеть сироту... А, впрочем, в сердце лозищанина применялось к этому чувству другое. «Наша барыня, наша, — говорил он себе, — даром что строгая, зато своя и не даст девушке ни пропасть, ни избаловаться...»

— Ну, почему же не идет? — повторил он свой вопрос.

— Га! Если мисс Эни приехала сюда искать своего счастья, то я скажу, что его надо искать в другом месте. Я эту барыню знаю: она любит очень дешево платить и чтобы ей очень много работали.

— Эх, мистер Борк, а кто же этого не любит на свете? — сказал Матвей со вздохом.

— Ну, это правда, а только здесь всякий любит так же получить больше, а работать меньше. А, может быть, вы думаете иначе, тогда мистер Борк будет молчать... это уже не мое дело.

Борк поднялся с своего места и вскоре ушел, одевшись, на улицу.

Он был еврей серьезный, но неудачливый, и дела его шли неважно. Помещение было занято редко, и буфет в соседней комнате работал мало. Дочь его прежде ходила на фабрику, а сын учился в коллегии; но фабрика стала, сам мистер Борк менял уже третье занятие и теперь подумывал о четвертом. Кроме того, в Америке действительно не очень любят вмешиваться в чужие дела, поэтому и мистер Борк не сказал лозищанам ничего больше, кроме того, что покамест мисс Эни может помогать его дочери по хозяйству, и он ничего не возьмет с нее за помещение.

— Подождем еще, малютка, — сказал Матвей. — Может быть, придет скоро ответ от Лозинского, тогда, пожалуй, и тебе найдется работа в деревне.

— Дай-то боже, — ответили в один голос девушка и Дыма.

— А теперь, — прибавил Матвей, — напиши, Дыма, адрес.

Но тут открылось вдруг такое обстоятельство, что у лозищан кровь застыла в жилах. Дело в том, что бумажка с адресом хранилась у Матвея в кисете с табаком. Да как-то, видно, терлась и терлась, пока карандаш на ней совсем не истерся. Первое слово видно, что губерния Миннесота, а дальше ни шагу. Осмотрели этот клочок сперва Матвей, потом Дыма, потом позвали девушку, дочь Борка, не догадается ли она, потом вмешался новый знакомый Дымы — ирландец, но ничего и он не вычитал на этой бумажке.

— Что же это теперь будет? — сказал Матвей печально.

Дыма посмотрел на него с великою укоризной и постучал себя пальцем по лбу. Матвей понял, что Дыма не хочет ругать его при людях, а только показывает знаком, что он думает о голове Матвея. В другое время Матвей бы, может, и сам ответил, но теперь чувствовал, что все они трое по его вине идут на дно, и смолчал.

— Эх! — сказал Дыма и заскреб в голове. Заскреб в голове и Матвей, но ирландец, человек, видно, решительный, схватил конверт, написал на нем: «Миннесота, фермерскому работнику из России, Иосифу Лозинскому», и сказал:

— All right.

— Он говорит: олл райт, — обрадовался Дыма, — значит, дойдет.

— Дай-то бог, — это будет чудо господне, — сказал Матвей.

А ирландец вдобавок предложил Дыме сходить вместе, отнести письмо. И когда они выходили, — ирландец, надев свой котелок и взяв в руки тросточку, а Дыма в своей свитке и бараньей шапке, — то Матвею показались они оба какими-то странными, точно он их видел во сне. Особенно когда у порога ирландец, как-то изогнувшись, предложил Дыме выйти первому, Дыма, изогнувшись совершенно так же, предлагал пройти вперед ирландцу. Потом они двинулись оба вместе, и тут уже Дыма постарался все-таки пройти первым. Ирландец крепко хлопнул его по плечу и захохотал... Дыма посмотрел на Матвея с гордым видом.

Дело это было в пятницу, уже после обеда.

Матвей ждал Дыму, но Дыма с ирландцем долго не шел. Матвей сел у окна, глядя, как по улице снуют народ, ползут огромные, как дома, фургоны, летят поезда. На небе, поднявшись над крышами, показалась звезда. Роза, девушка, дочь Борка, накрыла стол в соседней комнате белой скатертью и поставила на нем свечи в чистых подсвечниках и два хлеба прикрыла белыми полотенцами.

От этих приготовлений у Матвея что-то вдруг прилило к сердцу. Он вспомнил, что сегодня пятница и что таким образом на его родине евреи готовят всегда встречать субботу.

Действительно, скоро мистер Борк вернулся из синагоги, важный, молчаливый и, как показалось Матвею, очень печальный. Он стоял над столом, покачивался и жужжал свои молитвы с закрытыми глазами, между тем как в окно рвался шум и грохот улицы, а из третьей комнаты доносился смех молодого Джона, вернувшегося из своей «коллегии» и рассказывавшего сестре и Аннушке что-то веселое. На зов отца девушка вбежала в комнату и подала ему на руки воду. Он мыл руки, потом концы пальцев, брызгал воду и бормотал слова молитвы, а девушка, видно, вспомнила что-то смешное и глядела на брата, который подошел к столу и ждал, покачиваясь на каблуках. Затем они уселись. Молодые люди продолжали весело разговаривать. Один Борк что-то порой шептал про себя, тихонько разрезывая луковицу или белый хлеб, и часто и глубоко вздыхал...

Лозищанин глядел на еврея и вспоминал родину. Вот и шабаш здесь не такой, думал он про себя, и родное местечко встало в памяти, как живое. Вот засияла вечерняя звезда над потемневшим лесом, и городок стихает, даже перестали дымиться трубы в еврейских домах. Вот засветилась огнями синагога, зажглись желтые свечи в окнах лачуг, евреи степенно идут по домам, смолкает на улицах говор и топот шагов, а зато в каждое окно можно видеть, как хозяин дома благословляет стол, окруженный семьей. В это время двери всюду открыты, чтобы Авраам, Иаков и другие патриархи могли ходить невидимо от одной лачуги к другой и заходить в дома. Знакомые евреи говорили Матвею, что в это

время ангелы ходят вместе с Авраамом, а черти, как вороны, носятся над крышами, не смея приблизиться к порогу.

Разумеется, в своем месте Матвей смеялся над этими пустяками; очень нужно Аврааму, которого чтут также и христиане, заходить в грязные дачуги некрещенных жидов! Но теперь ему стало очень обидно за Борка и за то, что даже евреи, такой крепкий в своей вере народ, забыли здесь свой обычай... Молодые люди наскоро отужинали и убежали опять в другую комнату, а Борк остался один. И у Матвея защемило сердце при виде одинокой и грустной фигуры еврея.

Мистер Борк, как бы угадывая мысли Лозинского, вышел из-за стола и сел с ним рядом.

— Вижу я, господин Борк,— обратился к нему Матвей,— что твои дети не очень почитают праздник?

Борк задумчиво погладил бороду и сказал:

— А! хотите вы знать, что я вам скажу? Америка — такая сторона, такая сторона... Она перемалывает людей, как хорошая мельница.

— Что, видно, и здесь не очень-то любят вашу веру? — сказал Матвей наставительно.

— Э, вы совсем не то говорите, что надо. Если бы вы захотели, я повел бы вас в нашу синагогу... Ну, вы увидели бы, какая у нас хорошая синагога. А наш раввин здесь в таком почете, как и всякий священник. И когда его вызывали на суд, то он сидел с их епископом, и они говорили друг с другом... Ну, совсем так, как двоюродные братья.

— А вы бросаете все-таки свою веру? — сказал лозищанин. Ему не совсем-то верилось, чтобы и здесь можно было приравнять раввина к священнику.

— Ну, это очень трудно вам объяснить. Видите что: Америка такая хитрая сторона, она не трогает ничьей веры. Боже сохрани! Она берет себе человека. Ну, а когда человек станет другой, то и вера у него станет уже другая. Не понимаете? Ну, хорошо. Я вам буду объяснять еще иначе. Моя дочь кончила школу, а в это время мои дела пошли очень плохо. Ну, мне говорят, пусть ваша дочь идет на фабрику. Плата будет десять долларов в неделю, а когда выучится — тогда плата будет и двенадцать долларов в неделю. Ну, что вы скажете на это? Ведь это двадцать четыре рубля в неделю — хорошие деньги?

— Очень хорошие деньги,— подтвердил Матвей.—

Такие деньги у нас платят работнику от покрова до пасхи... Правда, на хозяйских харчах.

— Ну, вот. Она пошла на фабрику к мистеру Бэркли. А мистер Бэркли говорит: «Хорошо. Еврейки работают не хуже других. Я могу принимать еврейку. Но только я не могу, чтобы у меня станок стоял пустой в субботу. Это не платит. Ты должна ходить и в субботу...»

— Ну?

— Ну... Я сказал: лучше я буду помирать или выйду на улицу продавать спички, а не позволю дочери ломать святую субботу. Хорошо. А в это время приехал к нам мистер Мозес. Вы не знаете, разумеется, кто такой мистер Мозес. Это один себе еврей из Луисвилля. У него ум — как огонь, а язык — как молот. Ну, он перековал всех своих евреев в Луисвилле и поехал в другие города. Собрались мы в синагогу слушать этого Мозеса, а он и говорит: «Слышал я, что многие из вас терпят нужду и умирают, а не хотят ломать субботу». Мы говорим: ну, это и правда. Суббота святая! Суббота царица, свет Израиля! А он говорит: «Вы похожи на человека, который собрался ехать, сел на осла задом наперед и держится за хвост. Вы смотрите назад, а не вперед, и потому все попадете в яму. Но если бы вы хорошо смотрели назад, то и тогда вы бы могли догадаться, куда вам ехать. Потому что, когда сынов Израиля стали избивать язычники, а было это дело при Маккавеях, то ваши отцы погибали, как овцы, потому что не брали меча в субботу. Ну, что тогда сказал господь? Господь сказал: если так будет дальше, то из-за субботы всех моих людей перережут, как стадо, и некому будет праздновать самую субботу... пусть уж лучше берут меч в субботу, чтобы у меня остались мои люди. Теперь подумайте сами: если можно брать меч, чтобы убивать людей в субботу, то отчего не взять в руки станок, чтобы вам не помирать с голоду в чужой стороне?» А! Я же вам говорил: это очень умный человек, этот Мозес.

Матвей посмотрел на еврея, у которого странно сверкали глаза, и сказал:

— Видно, и тебя начинает тянуть туда же. А я тебя считал почтенным человеком.

— Ну, — ответил Борк, вздохнув, — мы, старики, все-таки держимся, а молодежь... А! что тут толковать! Вот и моя дочь пришла ко мне и говорит: «Как хочешь,

отец, незачем нам пропадать. Я пойду на фабрику в субботу. Пусть наша суббота будет в воскресенье».

Борк взял свою бороду обеими руками, посмотрел на Матвея долгим взглядом и сказал:

— Вы еще не знаете, какая это сторона Америка! Вот вы посмотрите сами, как это вам понравится. Мистер Мозес сделал из своей синагоги настоящую конгрегацию, как у американцев. И знаете, что он делает? Он венчает христиан с еврейками, а евреек с христианами!

— Послушай, Берко,— сказал Матвей, начиная сердиться.— Ты, кажется, шутишь надо мной.

Но Борк смотрел на него все так же серьезно, и по его печальным глазам Матвей понял, что он не шутит.

— Да,— сказал он, вздохнув.— Вот вы увидите сами. Вы еще молодой человек,— прибавил он загадочно.— Ну, а наши молодые люди уже все реформаторы или, еще хуже, зликурейцы... Джон, Джон! А поди сюда на минуту! — крикнул он сыну.

Смех и разговоры в соседней комнате стихли, и молодой Джон вышел, играя своей цепочкой. Роза с любопытством выглянула из-за дверей.

— Послушай, Джон,— сказал ему Борк.— Вот господин Лозинский осуждает вас, зачем вы не исполняете веру отцов.

Джон, которому, видно, не очень любопытно было разговаривать об этом, поиграл цепочкой и сказал:

— А разве господин тоже еврей?

Матвей выпрямился. У себя он бы, может быть, проучил этого молокососа за такое обидное слово, но теперь он только ответил:

— Я христианин, и деды, и отцы были христианами — греко-униаты...

— Олл райт! — сказал молодой Джон.— А как вы мне скажете: можно ли спастись еврею?

Матвей подумал и сказал, немного смутившись:

— По совести тебе, молодой человек, скажу: не думаю...

— Уэлл! Так зачем вы хотите, чтобы я держался такой веры, в которой моя душа должна пропасть...

И видя, что Матвей долго не соберется ответить,— он повернулся и опять ушел к сестре.

— А ну! Что вы скажете? — спросил Борк, глядя на лозинца острым взглядом.— Вот как они тут умеют рассуждать. Поверите вы мне, на каждое ваше слово он вам сейчас вот так ответит, что у вас язык присохнет,

По-нашему, лучшая вера та, в которой человек родился, — вера отцов и дедов. Так мы думаем, глупые старики.

— Разумеется, — ответил Матвей, обрадовавшись.

— Ну, а знаете, что он вам скажет на это?

— Ну?

— Ну, он говорит так: значит, будет на свете много самых лучших вер, потому что ваши деды верили по-вашему... Так? Ага! А наши деды — по-нашему. Ну, что же дальше? А дальше будет вот что: лучшая вера такая, какую человек выберет по своей мысли... Вот как они говорят, молодые люди...

— А чтоб им провалиться, — сказал Матвей. — Да это значит, сколько голов, столько вер.

— А что вы думаете, тут их разве мало? Тут что ни улица — то своя конгрегешен. Вот нарочно подите в воскресенье в Бруклин, так даже можете не мало посмеяться...

— Посмеяться? В церкви?

— Ну! они и молятся, и смеются, и говорят о своих делах, и опять молятся... Я вам говорю, — Америка такая сторона... Вот увидите сами...

И долго еще эти два человека: старый еврей и молодой лозищанин, сидели вечером и говорили о том, как верят в Америке. А в соседней комнате молодые люди все болтали и смеялись, а за стеной глухо гремел огромный город...

Х

Город гремел, а Лозицкий, помолившись богу и рано ложась на ночь, закрывал уши, чтобы не слышать этого страшного, тяжелого грохота. Он старался забыть о нем и думать о том, что будет, когда они разыщут Осипа и устроятся с ним в деревне...

В той самой деревне, которая померещилась им еще в Лозицах, из-за которой Лозищи показались им бедны и скучны, из-за которой они проехали моря и земли, которая виднелась им из-за дали океана, в туманных мечтах, как земля обетованная, как вторая родина, которая должна быть такая же дорогая, как и старая родина.

Такая же, как и старая, только гораздо лучше...

Такие же люди, только добрее. Такие же мужики, в таких же свитках, только мужики похожи на старых лозищан, еще не забывших о своих старых правах, а свит-

ки тоньше и чище, только дети здоровее и все обучены в школе, только земли больше, и земля родит не по-нашему; только лошади крепче и сытее, только плуги берут шире и глубже, только коровы дают по ведру на удой...

И такие же села, только побольше, да улицы шире и чище, да избы просторнее и светлее, и крыты не соломой, а тесом... а может быть и соломой, только новой и свежей... И должно быть, около каждого дома — садик, а на краю села у выезда корчма с приветливым американским жидом, где по вечерам гудит бас, тонко подпеваает скрипка и слышен в весенние теплые вечера топот и песни до ранней зари, — как было когда-то в старые годы в Лозищах. А посередине села школа, а недалеко от школы — церковка, может быть даже униатская.

А в селе такие же девушки и молодницы, как вот эта Анна, только одеты чище и лица у них не такие запуганные, как у Анны, и глаза смеются, а не плачут.

Все такое же, только лучше. И, конечно, такие же начальники в селе, и такой же писарь, только и писарь больше боится бога и высшего начальства. Потому что и господа в этих местах должны быть добрее и все только думают и смотрят, чтобы простому человеку жилось в деревне как можно лучше...

С этими мыслями лозищанин засыпал, стараясь не слышать, что кругом стоит шум, глухой, непрерывный, глубокий. Как ветер по лесу, пронесся опять под окнами ночной поезд, и окна тихо прозвенели и смолкли, а Лозинскому казалось, что это опять гудит океан за бортом парохода... И когда он прижимался к подушке, то опять что-то стучало, ворочалось, гроыхало под ухом... Это потому, что над землей и в земле стучали без отдыха машины, вертелись чугунные колеса, бежали канаты...

И вот ночью Матвею приснилось, что кто-то стоит над ним, огромный, без лица и не похожий совсем на человека, стоит и кричит, совсем так, как еще недавно кричал в его ушах океан под ночным ветром:

— Глупые люди, бедные, темные люди. Нет такой деревни на свете, и нет таких мужиков, и господ таких нету, и нет таких писарей. И поле здесь не такое, и не то здесь в поле родится, и люди иные. И нет уже тебя, Матвея Оглобли, и нет твоего приятеля Дымы, и нету Анны!.. Прежний Матвей уже умер, и умер Дыма, и умерла ваша прежняя вера, и сердце у вас стапет другое, и иная душа, и чужая молитва... И если бы встала

твоя мать из заброшенной могилы, на тихом кладбище под лозищанским лесом, то здесь в детях твоих она не признала бы своих внуков... Потому что они не будут похожи ни на отца, ни на тебя, ни на дедов и прадедов... А будут американцы...

Матвей проснулся весь в поту и сел на своей постели.

Он протирает глаза и не мог вспомнить, где он. В комнате было темно, но кто-то ходил, кто-то топал, кто-то сопел и кто-то стоял над самой его постелью.

Потом вдруг комната осветилась, потому что кто-то зажег газовый рожок спичкой. Комната осветилась, а Матвей все еще сидел и ничего не понимал, и говорил с испугом:

— Всякое дыхание да хвалит господу.

— Ну, что еще?.. Чего ты это испугался? — сказал кто-то знакомым голосом. Голос был как будто Дымы, но что-то еще было в нем странное и чужое. И человек, стоявший над кроватью Матвея, был тоже Дыма, но как будто какой-то другой, на Дыму не похожий... Матвей думал, что это все еще сон, и стал протирать кулаками глаза... Когда он открыл их, в комнате было еще светлее, и по ней двигались люди, только что вернувшиеся целой гурьбой... Станные люди, чужие люди, люди непонятные и незнакомые, люди неизвестного звания, люди с такими лицами, по которым нельзя было определить, добрые они или злые, правятся ли они человеку или не правятся... Они нахлынули в комнату, точно толпа странных привидений, которые человеку видятся порой только во сне, и тихо, без шума занимали свои места. И Матвей долго еще не мог сообразить — кто это, откуда, что здесь делают и что он сам делает среди них...

А потом вспомнил: да ведь это американцы. Те, что летают по воздуху, что смеются в церквях, что жепятся у раввинов на еврейках, что выбирают себе веру, кто как захочет... Те, что берут себе всего человека, и тогда у него тоже меняется вера...

А тот, что стоял над самой постелью, неужели это Дыма? Да, это и был Дыма, но только опять такой, как будто он приснился во сне. Он очень торопился раздеваться и отворачивал лицо. Однако от Матвея ускользнуло, что этот Дыма скидает с себя совсем не свою одежду. На нем не было ни белой свитки, ни красного пояса, купленного перед самым отъездом в местечке, ни высоких смазных сапог, ни широких шаровар из

коричневой коломянки. Вместо всего этого он теперь старался поскорее вылезть из какой-то немецкой кургузой куртки, не закрывавшей даже как следует того, что должно быть закрыто хорошей одеждой; шею его подпирали высокий воротник крахмальной рубашки, а ноги нельзя было освободить из узких штанов... Когда же он наконец разделся и полез к Матвею под одно одеяло, то Матвей даже отшатнулся, до такой степени самое лицо Дымы стало чужое. Волосы его были коротко острижены и торчали вихром на лбу, усы подстрижены над губой, а от бороды осталась только узкая американская лопатка.

— Побойся ты бога, Дыма! — сказал Матвей, взглядевшись. — На кого ты похож и что это ты над собою сделал?

Дыма, по-видимому, чувствовал себя так, как человек, который вышел на базар, забывши надеть штаны... Он как-то все отворачивал лицо, закрывал рот рукою и говорил каким-то виноватым и слащавым голосом:

— Да вот, как меня видишь... Зашел с проклятым ирландцем в цирюльню, чтобы меня немного остригли. Поверь совести, Матвей, я хотел чуть-чуть... А вышло вот что. Посадили меня в кресло. Кресло, знаешь, такое хорошее, а только как сел в него — и кончено. Ноги сейчас схватило чем-то и кинуло кверху, голову отвалило назад: ей-богу, как баран на бойне... Вижу, делает немец не так, как надо, а двинуться не могу. Посмотрел потом на себя в зеркало, — не я, да и только. «Что ты, говорю, собачий сын, над человеком сделал?» А они оба довольны, хлопают меня по плечу: «Уэлл, узлл, вери узлл!»

Дыма тихонько полез под одеяло, стараясь улечься на краю постели. Однако, когда в комнате погасили огонь и последний из американцев улегся, он сначала все еще лицемерно вздохнул, потом поправился на своем месте и, наконец, сказал:

— Ну, а все-таки, признайся, Матвей... Все-таки зтак человек как-то больше похож на американца.

— А зачем тебе непременно походить на американца? — сказал Матвей холодно...

— И знаешь, — живо продолжал Дыма, не слушая, — когда я, вдобавок, выменял у еврея на базаре эту одежду... с небольшой, правда, придачей... то уже на улице подошел ко мне какой-то господин и заговорил по-английски...

— Ах, Иван, Иван, — сказал Матвей с такой горечью,

что Дыму что-то как бы укололо и он заворочался на месте.— Правду, видно, говорит этот Берко: ты уже скоро забудешь и свою веру...

— Иные люди,— заворчал Дыма, отворачиваясь,— так упрямые, как лозищанский вол... Им лучше, чтобы в них кидали на улице корками...

— Вот ты уже ругаешься Лозищами, в которых родился,— сказал Матвей и замолчал. Дыма еще поворчал, поворочался, повздыхал и затем заговорил тихо, немного заискивающим голосом:

— Охота тебе слушать Берка. Вот он облаял этого ирландца... И совсем напрасно... Знаешь, я таки разузнал, что это такое Тамани-холл и как продают свой голос... Дело совсем простое... Видишь ли... Они тут себе выбирают голову, судей и прочих там чиновников... Одни подают голоса за одних, другие за других... Ну, понимаешь, всякому хочется попасть повыше... Вот они и платят... Только, говорит, подай голос за меня... Кто соберет десять голосов, кто двадцать... Ты, Матвей, слушаешь меня?

И, хотя Матвей ничего не ответил, он продолжал:

— И, по-моему, это таки справедливо: хочешь себе — дай же и людям... И знаешь еще что?..

Тут Дыма понизил голос до шепота и повернулся совсем к Матвею:

— Они говорят — этот ирландец и еврей, у которого я покупал одежду,— что и нам бы можно... Конечно, голоса не совсем настоящие, но тоже чего-нибудь стоят...

Матвей хотел ответить что-то очень внушительное, но в это время с одной из кроватей послышался сердитый окрик какого-то американца. Дыма разобрал только одно слово *devil*, но и из него понял, что их обоих посылают к дьяволу за то, что они мешают спать... Он скорчился и юркнул под одеяло.

А наверху, в маленькой комнатке, спали вместе Роза и Анна. Когда им пришлось ложиться, Роза посмотрела на Аннушку и спросила:

— Вам, может быть, неприятно будет спать на одной постели с еврейкой?

Анна покраснела и сконфузилась.

Она собиралась молиться, вынула свой образок и только что хотела приладить его где-нибудь в уголку, как слова Розы напомнили ей, что она — в еврейском помещении. Она стояла в нерешительности, с образком в руках. Роза все смотрела на нее и потом сказала:

— Вы хотите молиться, п... я вам мешаю... Я сейчас уйду.

Анна сконфузилась. Она действительно думала, хорошо ли молиться богу в присутствии еврейки, и позволит ли еврейка молиться по-христиански в своей комнате.

— Нет,— ответила она.— Только... я думала: не будет ли вам неприятно?

— Молитесь,— просто сказала Роза и стала оправлять постель.

Аппушка прочитала свои молитвы, и обе девушки стали раздеваться. Потом Роза завернула газовый рожок, и свет погас. Через некоторое время в темноте обозначилось окно, а за окном высоко над продолжающим гудеть огромным городом стояла небольшая бледная луна.

— О чем вы думаете? — спросила Роза лежащую с ней рядом Анну.

— Я думаю... видят ли теперь этот самый месяц в нашем городишке.

— Нет, не видят,— ответила Роза,— у вас теперь день... А какой ваш город?

— Наш город — Дубно...

— Дубно? — живо подхватила Роза.— Мы тоже жили в Дубне... А зачем вы оттуда уехали?

— Братья уехали раньше... Я жила с отцом и младшим братом. А после этого брата... уехали.

— Что он сделал?

— Он... вы не думайте... Он не вор и не что-нибудь... только...

Она замялась. Она не хотела сказать, что, когда разбивали еврейские дома, он разбивал тоже, и после стали драться с войсками... Она думала, что лучше не говорить этого, и замолчала.

— Что ж,— сказала Роза,— со всяким может случиться несчастье. Мы жили спокойно и тоже не думали ехать так далеко. А потом... вы, может быть, знаете... когда стали громить евреев... Ну, что людям нужно? У нас все разбили, и... моя мать...

Голос Розы задрожал.

— Она была слабая... и они ее очень испугали... и она умерла...

Анна подумала, что она хорошо сделала, не сказав Розе всего о брате... У нее как-то странно сжалось сердце... И еще долго она лежала молча, и ей казались стран-

ными и этот глухо гудящий город, и люди, и то, что она лежит на одной постели с еврейкой, и то, что она молилась в еврейской комнате, и что эта еврейка кажется ей совсем не такой, какой представлялась бы там, на родине...

Начинало уже светать, когда наконец обе девушки заснули крепким молодым сном. А в это самое время Матвей, приподнявшись на своей постели после легкого забытья, все старался припомнить, где он и что с ним случилось. Ненадолго притихший было город начинал просыпаться за стеной. Быстрее ворочались колеса на какой-то близкой станции, и уже пронесся поезд, шумя, как ветер в бору перед дождливым утром. Рядом на другой подушке лежала голова Дымы, но Матвей с трудом узнавал своего приятеля. Лицо Дымы было красно, потому что его сильно подширал тугой воротник не снятой на почь крахмальной сорочки. Прежние его казацкие длинные усы были подстрижены, и один еще держался кверху тонко нафабренным кончиком. Вообще, при виде этого почти чужого лица Матвею стало как-то обидно... Ему казалось, что Дыма становится чужим...

XI

И действительно, с следующего утра стало заметно, что у Ивана Дымы начал портиться характер...

Когда он проснулся, то прежде всего, наскоро одевшись, подошел к зеркалу и стал опять закручивать усы кверху, что делало его совсем не похожим на прежнего Дыму. Потом, едва поздоровавшись с Матвеем, подошел к ирландцу Падди и стал разговаривать с ним, видимо, гордясь его знакомством и как будто даже щеголяя перед Матвеем своими развязными манерами. Матвею казалось, однако, что остальные американцы глядят на Дыму с улыбкой.

Компания жильцов мистера Борка была довольно разнообразная. Были тут и немцы, и итальянец, и два-три англичанина, и несколько ирландцев. Часть этих людей казались Матвею солидными и серьезными. Они вставали утром, умывались в ванной комнате, мало разговаривали, пили в соседней комнате кофе, которое подавали им Роза с Аппой, и потом уходили на работу или на поиски работы. Но была тут и кучка людей,

которые оставались на целые дни, курили, жевали табак и страшно плевались, стараясь попадать в камин, иной раз через головы соседей. У них не было определенных часов работы. Иной раз они уходили куда-то гурьбой и тогда звали с собой и Дыму... В разговорах часто слышалось слово Тамани-холл... Дела этой компании, по-видимому, шли в это время хорошо. Возвращаясь из своих походов в помещение Борка, они часто громко хохотали... И Дыма хохотал с ними, что Матвею казалось очень противно.

Так прошло еще два-три дня.

Характер Дымы портился все больше. Правда, он сделал большие, даже удивительные успехи в языке. За две недели на море и за несколько дней у Борка он уже говорил целые фразы, мог спросить дорогу, мог поторговаться в лавке и при помощи рук и разных движений — разговаривал с Падди так, что тот его понимал и передавал другим его слова... Это, конечно, не заслуживало еще осуждения. Но Матвею огорчало и даже сердило, что Дыма не просто говорит, а как будто гримасничает и передразнивает кого-то: вытягивает нижнюю губу, жует, шипит, картавит... «Взял бы хоть пример с жида, — думал про него Матвей. — Он тоже говорит с американцами на их языке, но как степенный и серьезный человек». А Дыма уже и «мистер Борк» произносит как-то особенно картаво — мисте'г Бег'к. А иной раз, забывшись, он уже и Матвею начинал называть мистер Мэтью... В таких случаях Матвей смотрел на него долгим укоризненным взглядом — и он немного смущался.

В один день, после того как Падди долго говорил что-то Дыме, указывая глазами на Матвея, они оба ушли куда-то, вероятно к еврею-лавочнику, который в трудных случаях служил им переводчиком. Вернувшись, Дыма подошел к Матвею и сказал:

— Послушай, Матвей, что я тебе скажу. Сидим мы здесь оба без дела и только тратим кровные деньги. А между тем можно бы действительно кое-что заработать.

Матвей поднял глаза и, ничего не говоря, ожидал, что Дыма скажет дальше.

— Вот видишь ли... Тут эти вот шестеро — агенты, или, по-нашему, факторы Тамани-холла... Это, видишь ли, такая, скажем, себе компания... Скоро выборы. И они хотят выбрать в мэры над городом своего человека.

И всех тогда назначат тоже своих... Ну, и тогда уже делают в городе, что хотят...

— Ну, так что же? — спросил Матвей.

— Так вот они собирают голоса. Они говорят, что если бы оба наши голоса, то они и дали бы больше, чем за один мой... А нам что это стоит? Нужно только тут в одном месте записаться и не говорить, что мы недавно приехали. А потом... Ну, они все сделают и укажут...

Матвей вспомнил, что раз уже Дыма заговаривал об этом, — вспомнил также и серьезное лицо Борка, и презрительное выражение его печальных глаз, когда он говорил о занятиях Падди. Из всего этого в душе Матвея сложилось решение, а в своих решениях он был упрям как бык. Поэтому он отказался наотрез.

— Но отчего же ты не хочешь? Скажи! — спросил Дыма с неудовольствием.

— Не хочу, — упрямо ответил Матвей. — Голос дан человеку не для того, чтобы его продавать.

— Э, глупости! — сказал Дыма. — Ведь не останешься же ты после этого без голоса. Даже не охрипнешь. Если люди покупают, так отчего не продать? Все-таки не убудет в кошеле, а прибудет...

— А помнишь, как когда-то экономя уговаривал нас, чтобы мы подписали его бумагу... Что бы тогда вышло?

— Гм... да... — пробормотал Дыма, немного растерявшись. — Потеряли бы всю чиншевую землю! Так ведь там было что терять. А тут... что нам за дело? Дают, черт их бей, деньги и кончено.

Матвей не нашел что ответить, но он был человек упрямый.

— Не пойду, — сказал он, — и если хочешь меня послушать, то и тебе не советую. Не связывайся ты с этим лодырем.

И Матвей без церемонии ткнул пальцем по направлению к Падди, который внимательно следил за разговором и, увидя, что Матвей указывает на него, весело закивал головой. Дыма, конечно, тоже не послушался.

— Ну что ж, — сказал он, — когда ты такой, то зарабатываешь один. Все-таки хоть что-нибудь...

И в тот же день он сообщил, что его уже записали...

Письма все не было, а дни шли за днями. Матвей больше сидел дома, ожидая, когда наконец он попадет в американскую деревню, а Дыма часто уходил и, возвращаясь, рассказывал Матвею что-нибудь новое.

— Сегодня Падди сводил меня на кулачную драку, — сказал он однажды. — Ты, Матвей, и представить себе не можешь, как этот народ любит драться. Как только двое заспорят, то остальные станут в круг, — кто с трубкой, кто с сигарой, кто с жвачкой, и смотрят. А те сейчас куртки долой, засучат рукава, завертят-завертят руками и — хлоп! Кто половчее, глядишь, и засветил другому фонарь... И притом больше всего любят бить по лицу, в нос или, если уж не удастся, в ухо. А в темя или под сердце — боже упаси! Но дерутся, заметь, не сердито и, как только один полетит пятками кверху, так его сейчас поднимут, обмоют лицо и опять сядут вместе за игру или там за кружки, как будто бы ничего и не случилось. И начнут говорить, кто как ударил и как бы можно ударить еще лучше.

— Ну, это правда, — подтвердил Борк, слышавший рассказ Дымы. — Во всей Америке бокс очень любят! И если еще, вдобавок, выищутся какие-нибудь необыкновенные силачи, то ездят из города в город и тузят друг друга на людях за хорошие деньги. И знаете что: в это время за ними ездят газетчики и все записывают. И даже посылают телеграммы: «В два часа 15 минут 4 секунды Джон подбил Джеку правый глаз, вот таким способом, а через полминуты Джек свалил Джона с ног так-то». И тогда в разных городах люди сидят в ресторанах, а им читают известия. И они спорят: как бы можно ударить Джона или Джека еще лучше... И что вы думаете: проигрывают на этом большие деньги!

— Лодыри! — сказал на это Матвей.

В один день Дыма пришел под вечер и сказал, что сегодня они таки выбрали нового мэра и именно того, кого хотелось Тамани-холлу.

— Жарко было, о възл! — сказал он хвастливо. — А все-таки наша взяла... И знаешь: Падди мне говорит, что много помогли наши «пенастоящие голоса».

В этот день Падди и его компания были особенно веселы и шумны. Они ходили по кабачкам, много пили и угощали Дыму. Дыма вернулся с ними красный, говорил громко, держался особенно развязно. Матвей си-

дел на своей постели, около газового рожка, и, пристроив небольшой столик, читал Библию, старался не обращать внимания на поведение Дымы.

Однако через несколько минут Дыма подошел к нему и, положив ему руку на плечо, наклонился к его лицу так близко, что от него запахло даже вином.

— Слушай, Матвей, — сказал он каким-то заискивающим голосом. — Вот видишь, что я тебе хочу сказать. Они... хотели бы угостить тебя.

— Спасибо, я не хочу, — ответил Матвей, не отрываясь от книги.

— И видишь, что еще... Пожалуйста, не прими там как-нибудь... того... в дурную сторону. У всякого народа свой обычай, и в чужой монастырь, как говорится, не ходят со своим уставом.

— К чему ты это ведешь? — спросил Матвей строго.

— А к тому, что этот Падди хочет с тобой драться...

Матвей даже разинул рот от удивления, и два приятеля с полминуты молча глядели друг на друга. Потом Дыма отвел глаза и сказал:

— Когда уже у них здесь такой обычай...

— Послушай, Дыма, — сказал Матвей серьезно. — Почему ты думаешь, что их обычай непременно хорош? А по-моему, у них много таких обычаев, которых лучше не перенимать крещеному человеку. Это говорю тебе я, Матвей Лозинский, для твоей пользы. Вот ты уже переменил себе лицо, а потом застыдишься и своей веры. И когда придешь на тот свет, то и родная мать не узнает, что ты был лозищанин.

— Э! — ответил Дыма с неудовольствием. — Где Крым, где Рим, а где панская корчма. С какой стати ты приплел сюда мою покойницу мать? Мне говорят: скажи — я и сказал. А ты как себе хочешь.

— Ну, так я и говорю: скажи ты своим приятелям, пусть не просят своего бога, чтобы я стал с ними драться...

— Ну, вот видишь, — обрадовался Дыма. — Я им как раз говорил, что ты у нас самый сильный человек не только в Лозицах, но и во всем уезде. А они говорят: ты не знаешь правильного боя.

Дыма отошел к ирландцам, а Матвей опять обратился к старой Библии и погрузился в чтение.

Он стал читать, шевеля губами, о том, как двое молодых людей пришли в Содом к Лоту и как жители города захотели взять их к себе. Потом он поднял голову

и начал думать. Он думал о том, что вот они с Дымой как раз такие молодые люди в этом городе. Только у Дымы сразу стал портиться характер, и он сам пошел к жителям города...

Пока он размышлял таким образом, кто-то вдруг погасил рожок, около которого он сидел. Матвей оглянулся. За ним, недалеко, сидел мистер Падди, ирландец, приятель Дымы, и невинно улыбался.

Матвей достал спичку, зажег рожок и опять принялся за книгу. Однако догадавшись, что Падди на этом не кончит, он тотчас оглянулся. Падди стоял сзади и уже вытянул рот, чтобы дунуть на огонь из-за плеча Матвея.

Матвей не очень сильно двинул локтем, и Падди упал на постель.

— All right (хорошо), — сказал он, подымаясь и скидывая куртку.

— Very well (отлично), — сказали его товарищи, отодвигая стулья и подходя к тому месту,

— Ал райт, — повторил за другими и Дыма как-то радостно. — Теперь выходи, Матвей, на середину и, главное, защищай лицо. Он будет бить по носу и в губы. Я знаю его манеру...

Но Матвей, как ни в чем не бывало, сел опять и раскрыл свою книгу.

Ирландцы были озадачены. Однако так как у них на все есть свои правила, то вскоре Падди стал подходить к Матвею, приседая и вертя кулаками, точно мельницами.

«Ну, делать нечего, — подумал Матвей, — если уж ты сам этого хочешь».

И не успел еще Падди изловчиться, как уже сильный лозищанин встал во весь рост, как медведь на охотника, поднял над головой Падди обе руки, потом сгреб его за густые, хотя и не длинные волосы, нагнул и, зажав голову коленями, несколько раз шлепнул очень громко по мягкому месту.

Все это случилось так быстро, что никто не успел и оглянуться. А когда Падди поднялся, озираясь кругом, точно новорожденный младенец, который не знает, что с ним было до этой минуты, то все невольно покатались со смеху.

На несколько минут большая комната мистера Борка оглашалась только хохотом на разные лады и разными голосами. Даже длинный американец, с сухим лицом и

рыжей бородой в виде лопатки, человек в очень потертом клетчатом костюме, на высохшем и морщинистом лице которого никогда не видно было даже подобия улыбки, теперь делал какие-то невероятные гримасы, как будто хватил печально уксусу, и из его горла вылетало что-то такое, как будто он сильно занкался. А один безусый юноша, недавно запывший последнюю кровать у мистера Борка, кинулся на свою постель и хохотал звонко, неудержимо, лягая в воздухе ногами, как будто боялся, что иначе смех задушит его насмерть. На этот шум из других комнат прибежали сначала Роза, а потом и Анна. Роза видела только, как Падди оглядывался по комнате, и все-таки упала на стул у двери, свесив руки и закинув голову от смеха. А Анна уже ничего не видела, но все-таки смеялась, зараженная общим хохотом и глядя на сухопарого американца, который все еще икал и как будто давился.

Дыма тоже смеялся и сначала очень гордился своим приятелем.

— А, что! Я говорил вам, — сказал он, поворачиваясь к смеющимся американцам и забывая даже перевести свои слова. — Га! Вот как дерутся у нас, в Лозицах.

Но после, когда смех постепенно утих и все принялись горячо обсуждать случившееся, лицо Дымы стало омрачаться, и через некоторое время он сказал так, что Матвей расслышал ясно его слова:

— Хорошо, печего сказать: драться, точно медведь у берлоги... Это стыд перед образованными людьми...

— Ничего, — ответил Матвей спокойно, опять, как ни в чем не бывало, принимаясь за Библию, — хоть по-медвежьки, а здорово. В другой раз твой Падди будет знать...

Ирландцы пошумели еще некоторое время, потом расступились, вынустив Падди, который опять вышел вперед и пошел на Матвея, сжав плечи, втянув в них голову, опустивши руки и изгибаясь, как змея. Матвей стоял, глядя с некоторым удивлением на его страшные ужимки, и уже опять было приготовился повторить прежний урок, как вдруг ирландец присел; руки Матвея напрасно скользнули в воздухе, ноги как будто сами поднялись, и он полетел через постель на спину.

Кровать затрепала, и огромный лозицанин свалился на пол.

— All right, — одобрительно раздалось в куче ирландцев, а Падди, довольный, стал надевать свою курт-

ку. Но в это время Матвей тяжело поднялся из-за кровати.

Его нельзя было узнать: всегда кроткие глаза его теперь глядели дико, волосы торчали дыбом, зубы скрипели, и он озирался, что бы ему взять в руку.

Ирландцы взяли Падди в середину и сомкнулись тревожно, как стадо при виде медведя. Все они глядели на этого огромного человека, ожидая чего-то страшного, тем более что Дыма тоже стоял перепуганный и бледный...

Трудно сказать, что было бы дальше, но в эту минуту Анна перебежала через комнату и схватила Матвея за руку.

— Для бога,— сказала она только.— О, для бога!..

Матвей поглядел на нее сначала мутным, непонимающим взглядом, но через несколько секунд тяжело перевел дух. Потом отвернулся и сел к окну.

Ирландцы успокоились. Падди хотел даже подойти к Матвею и протянул руку; но Дыма остановил его, и они оставили Матвея в покое.

А за окном весь мир представлялся сплошной тьмой, усеянной светлыми окнами. Окна большие и окна маленькие, окна светились внизу, и окна стояли где-то высоко в небе, окна яркие и веселые, окна чуть видные и будто прижмуренные. Окна вспыхивали и угасали, наконец, ряды окон пролетали мимо, и в них мелькали, проносились и исчезали чьи-то фигуры, чьи-то головы, чьи-то едва видные лица...

XIII

Поздним вечером Дыма осторожно улегся в постель рядом с Матвеем, который лежал, заложив руки за голову, и о чем-то думал, уставивши глаза и сдвинувши брови. Все уже спали, когда Дыма, собравшись с духом, сказал:

— И чего бы, кажется, сердиться на приятеля... Разве я тут виноват... Если уже какой-нибудь поджарый Падди может повалить самого сильного человека во всех Лозицах... Га! Это значит, такая уже в этой стороне во всем образованность... Тут сердиться нечего, ничего этим не поможешь, а видно, надо как-нибудь и самим ухитриться... Индейский удар! Это у них, видишь ли, называется индейским ударом...

Матвей поднялся на постели, повернул лицо к Дыме и спросил:

— А ты, Дыма Лозинский, знал вперед, что они мне приготовили эту индейскую штуку?..

— А... разве я уже все понимаю по-английски,— отвечал Дыма уклончиво. И затем, обрадовавшись, что Матвей говорит спокойно, он продолжал уже смелее: — Вот, знаешь что,— сходим завтра к этому цирюльнику. Приведи ты и себя, как это здесь говорится, в порядок, и кончено. Ей-богу, правда! — прибавил он сладким голосом и уже собираясь заснуть.

Но вдруг он с испугом привскочил на кровати. Матвей тоже сидел. При свете с улицы было видно, что лицо его бледно, волосы стоят дыбом, глаза горят, а рука приподнята кверху.

— Слушай ты, Дыма, что тебе скажет Матвей Лозинский. Пусть гром разобьет твоих приятелей, вместе с этим мерзавцем Таманиголлом, или как там его зовут! Пусть гром разобьет этот проклятый город и выбранного вами какого-то мэра. Пусть гром разобьет и эту их медную свободу, там на острове... И пусть их возмут все черти, вместе с теми, кто продает им свою душу...

— Тише, пожалуйста, Матвей,— пробовал остановить его Дыма.— Люди спят, и здесь не любят, когда кто кричит ночью...

Но Матвей не остановился, пока не копчил. А в это время действительно и ирландцы повскакали с кроватей, кто-то зажег огонь, и все, проспавшись, смотрели на рассвирепевшего лозищанина.

— Смотрите не смотрите, а это правда,— сказал он, повернувшись к ним и грозя кулаком, и затем опять повалился на постель.

Американцы стали тревожно разговаривать между собой и потом, потребовав Дыму, спрашивали у него, в своем ли разуме его приятель и не грозит ли им ночью от него какая-нибудь опасность. Но Дыма их успокоил: теперь Матвей будет спать и никому ничего не сделает. Он человек добрый, только не знает образованности, и теперь его дня два не надо трогать... Тогда американцы тихо разошлись по своим постелям, оглядываясь на Матвея. Погасили огни, и в комнате мистера Борка водворилась тишина. Только огни с улицы светили смутно и неясно, так что нельзя было видеть, кто спит и кто не спит в помещении мистера Борка.

Матвей Лозинский долго лежал в темноте с открытыми глазами и забылся сном уже перед утром, в тот серый час, когда заснули совсем даже улицы огромного города. Но его сон был мучителен и тревожен: он привык уважать себя и не мог забыть, что с ним сделал негодяй Падди. И как только он начинал засыпать, ему снилось, что он стоит, неспособный двинуть ни рукой, ни ногой, а к нему, приседая, подгибая колени и извиваясь, как змея, подходит кто-то, — не то Падди, не то какой-то курчавый негр, не то Джон. И он не может ничего сделать, и летит куда-то среди грохота и шума, и перед глазами его мелькает испуганное лицо Анны.

Потом вдруг все стихло, и он увидел еврейскую свадьбу: мистер Мозес из Луисвилля, еврей очень неприятного вида, венчает Анну с молодым Джоном. Джон с торжествующим видом топчет ногой рюмку, как это делается на еврейской свадьбе, а кругом, надрываясь, все в поту, с вытаращенными глазами, ирландцы гудят и пицат на скрипичах, и на флейтах, и на пузатых контрабасах... А невдалеке, задумчивый и недоумевающий, стоит Берко и говорит:

— Ну, что вы на это скажете?.. И как вы это можете допустить?..

Матвей заскрежетал во сне зубами, так что Дыма проснулся и отодвинулся от него со страхом... — Гейгей! — закричал Матвей во сне... — А где же тут христиане? Разве не видите, что жида захватили христианскую овечку!..

Дыма отодвинулся еще дальше, слушая бормотание Матвея, но тот уже смолк, а сон шел своим чередом... Бегут христиане со всех сторон, с улиц и базаров, из шинков и от возов с хлебом. Бегут христиане с криком и шумом, с камнями и дреколлем... Быстро запираются двери домов и лавочек, звякают стекла, слышны отчаянные крики женщин и детей, летят из окон еврейские бебехи и всякая рухлядь, пух из перин кроет улицы, точно снегом...

Потом и это затихло, и в глубоком сне к Матвею подошел кто-то и стал говорить голосом важным и почтенным что-то такое, от чего у Матвея на лице даже сквозь сон проступило выражение крайнего удивления и даже растерянности.

И на этом он проснулся... Ирландцы снестно шли в

соседней комнате утренний кофе и куда-то торопливо собирались. Дыма держался в стороне и не глядел на Матвея, а Матвей все старался вспомнить, что это ему говорил кто-то во сне, тер себе лоб и никак не мог припомнить ни одного слова. Потом, когда почти все разошлись и квартира Борка опустела, он вдруг поднялся наверх, в комнату девушек.

Там он застал Джона. В последние дни молодой человек передко заходил туда, просиживал по получасу и более и что-то оживленно рассказывал Анне. На этот раз, поднимаясь по лестнице, Матвей опять услышал голос молодого человека.

— Ну, вот видите, — говорил он, — так-то здесь живут, в новом свете, что? Разве плохо?

Увидя Матвея, он скоро попрощался и выбежал, чтобы поспеть к поезду, а Матвей остался. Лицо его было немного бледно, глаза глядели печально, и Анна потупилась, ожидая, что он скажет. Обе девушки посмотрели на него как-то застенчиво, как будто невольно вспоминали об индейском ударе и боялись, что Лозинский догадается об этом. Он тяжело присел на постель, посмотрел на Анну немного растерянным взглядом и сказал:

— Хочешь ли ты, сирота, послушать, что тебе скажет Матвей Лозинский?

— Говорите, пожалуйста. Я вас считаю за родного, — тихо ответила девушка, которая старалась показать Матвею, что она не перестала уважать его после вчерашнего случая.

Матвей мучительно задумался и сказал:

— Мало хорошего в этой стороне, малютка. Поверь ты мне, мало хорошего... Содом и Гоморра.

Роза невольно улыбнулась, но он говорил так печально, что у Анны навернулись на глаза слезы. Она подумала, что, по рассказам Джона, в Америке не так уж плохо, если только человек сумеет устроиться. Но она не возражала и сказала тихо:

— Что же теперь делать?

— А! Что делать! Если бы можно, падел бы я котмку на плечи, взял бы в руки палку, и пошли бы мы с тобой назад, в свою сторону, хотя бы Христовым именем... Лучше бы я стал стучаться в окна на своей стороне, лучше стал бы водить слепых, лучше издох бы где-нибудь на своей дороге... На дороге или в поле... па своей стороне... Но теперь этого нельзя, потому что...

Он потер себе лоб и сказал:

— Потому что море... А письма от Осипа не будет... И сидеть здесь сложа руки... ничего не высидим... Так вот что я скажу тебе, сирота. Отведу я тебя к той барыне... к нашей... А сам посмотрю, на что здесь могут пригодиться здоровые руки... И если... если я здесь не пропаду, то жди меня... Я никогда еще не лгал в своей жизни и... если не пропаду, то приду за тобою...

— Нехорошо вы придумали! — горячо сказала на это молодая еврейка. — Мы эту барыню знаем... Она всегда старается нанимать приезжих.

— Бог наградит ее за это, — сказал Матвей сухо.

— Но это потому, — сбиваясь, сказала Роза, — что она платит очень мало...

— С голоду не уморит...

— И заставляет очень много работать.

— Бог любит труд...

Матвей посмотрел на Розу высокомерным и презрительным взглядом. Молодая еврейка хорошо знала этот взгляд христианина. Ей казалось, что она начала дружить с Анной и даже питала симпатию к этому задумчивому волынцу с голубыми глазами. Но теперь она вспыхнула и сказала:

— Делайте, как себе хотите... — И она вышла из комнаты...

— Наше худое лучше здешнего хорошего, — сказал Матвей поучительно, обращаясь к Анне. — Собери свои вещи. Мы пойдем сегодня.

Анна вздохнула, однако покорно стала собираться. Матвею не понравилось, что, уходя из помещения мистера Борка, она крепко поцеловалась с еврейкой, точно с сестрой.

XV

В этот день наши опять шли по улицам Нью-Йорка с уздами, как и в день приезда. Только в этот раз с ними не было Дымы, который давно расстался с своей белой свитой, держался с ирландцами и даже плохо знал, что затевают земляки. Зато Матвей и Анна остались точь-в-точь как были: на нем была та же белая свита со шнурами, на ней — беленький платочек. Молодой Джон тоже считал очень глупым то, что надумал Матвей. Но, как американец, он не позволял себе мешаться в чужие

дела и только посвистывал от досады, провожая Матвея и Анну.

Сначала шли пешком, потом пара лошадей потащила их в огромном вагоне, потом поднимались наверх и летели по воздуху. Из улицы в улицу — ехали долго. Пошли дома поменьше, попроще, улицы пошли прямые, широкие и тихие.

На одном углу наши вышли и вошли прямо. Если бы помешье камня, да если бы кое-где из-под камня пробила мурава, да если бы на середине улицы сидели ребята с задранными рубашонками, да если бы кое-где корова, да хоть один домикшко, вросший окнами в землю и с провалившейся крышей, то, думалось Матвею, улица походила бы, пожалуй, на нашу. Только здесь все дома были как один: все в три этажа, все с плоскими крышами, у всех одинаковые окна, одинаковые крылечки с одинаковым числом ступенек, одинаковые выступы и карнизы. Одним словом, вдоль улицы ряды домов стояли, как родные братья-близнецы, — и только черный номер на матовом стекле, над дверью, отличал их один от другого.

Джон посмотрел в свою записную книжку, потом разыскал номер и прижал палец у двери. В квартире что-то затрещало. Дверь отворилась, и наши вошли в переднюю.

Старая барыня, ждавшая мужа, сама отперла дверь. Она, как оказалось, мыла полы. Очки у нее были вздернуты на лоб, на лице виднелся пот от усталости, и была она в одной рубашке и грязной юбке. Увидев пришедших, она оставила работу и вышла, чтобы переодеться.

— Смотри, — шепнул Матвей Анне, — вот как здесь живет нашим господам, — что уж говорить о простых людях!

— Ну, — ответил Джон, — вы еще не знаете этой стороны, мистер Мэтью. — И с этими словами он прошел в первую комнату, сел развязно на стул, а другой подвинул Анне.

Матвей строго посмотрел на невежливого молодого человека, и оба с Анной остались на ногах у порога. Матвей невзлюбил молодого еврея еще с тех пор, как говорил с ним о религии. А затем он не мог не заметить, что Джон частенько остается дома с сестрой, помогает девушкам по хозяйству и поглядывает на Анну. Нужно сказать, что девушка была хороша: голубые глаза,

большие и ясные, кроткий взгляд, приветливая улыбка и нежное лицо, немного, правда, побледневшее от дороги и от неизвестности. Никто из бездельников, живших у Борка, ни разу не позволил себе с девушкой ни одной вольности. Однако, не считая Дымы, который вывертывался перед нею в своих диковинных пиджаках, еще и Падди тоже старался всячески услужить ей, когда встречался в коридоре или на лестнице. А тут еще Джон и рассказы Борка о Мозесе... «Чего доброго,— думал Матвей,— ведь в этом Содоме никто не смотрит за такими делами. Вот Дыма — давний и испытанный приятель, но и у него характер совершенно изменился в какую-нибудь неделю. Что же может статься с молодой, неопытной девушкой, немного еще, может быть, и легкомысленной, как все дочери Евы... Дурного, положим, она не сделает... Но ведь здесь и хорошее тоже ни черта не стоит, а девушка молода, неопытна и испугана».

Вспомнив, вдобавок, свой сон, Матвей даже вздохнул и оглянулся. Слава богу, вот квартира старой барыни, которая возьмет к себе Анну. Все шло по плану Матвею в этой квартире. В первой комнате стоял стол, покрытый скатертью, в соседней виднелась кровать, под пологом, в углу большой знакомый образ Почаевской божией матери, которую в нашем западном крае чтут одинаково католики и православные. За образом была воткнута восковая свеча и пучок сухих веток. Вербка не верба, а все-таки был виден наш обычай, и у Матвея стало теплее на сердце... Поэтому он сначала заложил руку за пояс и очень гордо посмотрел на молодого еврея... Но тотчас же ему пришлось смиренно согнуться почти до земли, потому что в комнату вошла барыня, одетая, с очками на носу, с вязанием в руках. Вид у нее был спокойный и даже величавый, так что Матвею было даже странно вспомнить, что он видел ее сейчас за мытьем полов. Она села на стул, досчитала петли, перевернула спицу и сказала почтительно ожидавшим Матвею и Анне, не кивнув даже Джону:

— Ну, что скажете?

— К вашей милости,— ответили оба в один голос.

— Тебя, кажется, зовут Анной?..

— Анной, милостивая пани.

— А тебя... Матвеем?

Лицо Матвея расцвело приятной улыбкой.

— А что же тот... Третий?..

Матвей махнул рукой:

— А! Не знаю уж что и сказать... Поступил на службу или уж как... к какому-то здешнему... Тамани-голла...

Барыня жалостно посмотрела на Матвея и покачала головой.

— Хороший господин, нечего сказать! Шайка мошенников!

— О, господи,— вздохнул Лозинский.

— В этой стороне все наыворот,— сказала опять барыня.— У нас таких молодцов сажают в тюрьмы, а здесь они выбирают висельников в городские мэры, которые облагают честных людей налогами.

Матвей вспомнил, что и Дыма выбирал мэра, и вздохнул еще глуже. У барыни спицы забегали быстрее, было видно, что она начинает чего-то сердиться...

— Ну, что же ты мне скажешь, моя милая? — спросила она как-то едко, обращаясь к Анне.— Ты пришла напиматься или, может быть, тоже поищешь себе какого-нибудь Тамани-голла?..

— Она — девушка честная,— вступился Матвей.

— А! Видела я за двадцать лет много честных девушек, которые через год, а то и меньше пропадали в этой проклятой стране... Сначала человек как человек: тихая, скромная, послушная, боится бога, работает и уважает старших. А потом... Смотришь,— начала задирать нос, потом обвешается лентами и тряпками, как ворона в павлиньих перьях, потом прибавляй ей жалованье, потом ей нужен отдых два раза в неделю... А потом уже барыня служи ей, а она хочет сидеть сложа руки...

— Господи упаси! Где же это видано!..— сказал с ужасом Матвей.

Молодой Джон сидел на стуле, вытянув ноги и заложив руки в карманы, с видом человека, скучающего от этих разговоров.

— Ну, черт еще не так страшен, как его малюют,— сказал он.

Барыня замолкла, даже перестала вязать и устремила внимательный взгляд на Джона, который поднял беспечно голову к потолку, как будто разглядывая там что-то интересное. Несколько секунд стояло молчание, барыня и Матвей укоризненно смотрели на молодого еврея. Анна покраснела.

— А все отчего? — начала опять барыня спокойно.— Все оттого, что в этой стране нет никакого поряд-

ка. Здесь жид Берко — уже не Берко, а мистер Борг, а его сын Иоська превратился в ясновельможного Джона...

— Чистая правда, — сказал Матвей с убеждением. — Слышишь, Анна?

Девушка с некоторым удивлением посмотрела на Матвея и покраснела еще больше. Ей казалось, что хотя, конечно, Джон еврей и сидит немного дерзко, но что говорить так в глаза не следует...

— Да, все здесь перемешалось, как на Лысой горе, — продолжала барыня, — правду говорит один мой знакомый: этот новый свет как будто сорвался с петель и летит в преисподнюю...

— И это святая правда, — подтвердил Матвей.

— Я вижу, что ты человек разумный, — сказала барыня снисходительно, — и понимаешь это... То ли, сам скажи, у нас?.. Старый наш свет стоит себе спокойно... люди знают свое место... жид так жид, мужик так мужик, а барин так барин. Всякий смиренно понимает, кому что назначено от господ... Люди живут и славят бога...

— Ну, эту историю надо когда-нибудь кончить, — сказал Джон, поднимаясь.

— Ах, извините, мистер Джон, — усмехнулась барыня. — Ну, что ж, моя милая, надо и в самом деле копчать. Я возьму тебя, если сойдемся в цене... Только вперед предупреждаю, чтобы ты знала: я люблю все делать по-своему, как у нас, а не по-адаешнему.

— Это и всего лучше, — вставил Матвей.

— Я за тебя отвечаю перед людьми и перед богом. По воскресеньям мы станем вместе ходить в храм божий, а на эти митинги и балы — ни ногой.

— Слушай барыню, Анна, — сказал Матвей. — Барыня тебя худому не научит... И уж она не обидит сироту.

— Пятнадцать долларов в месяц считается здесь совсем низкой платой, — сказал Джон, глядя на часы, — пятнадцать долларов, отдельная компата и свободный день в неделю.

Барыня, все так же спокойно продолжая вязанье, кинула на Джона уничтожающий взгляд и сказала Анне:

— Знаешь ты, что значит доллар?

— А это два рубля, милостивая госпожа, — ответил за Анну Матвей.

- Ты служила уже где-нибудь?
- Служила... горничной у госпожи Залесской.
- Сколько получала?
- Шесть рублей.

— Много что-то для нашей стороны,— вздохнула барыня.— В мое время такой платы не знали... А здесь, если хочешь получить тридцать, то поди вот к нему. Он тебе даст тридцать рублей, отдельную комнату и сколько хочешь свободного времени... днем...

Краска опять залила лицо Анны, и барыня, посмотрев на нее поверх очков, прибавила, обращаясь к Матвею:

— Недалеко ходить: на этой же улице живет христианская девушка у еврея. И уже бог благословил их ребеночком.

— Вы же знаете, что они обвенчаны,— сказал Джон сердито.

— Обвенчаны, конечно!.. Кто же их это обвенчал, скажи, пожалуйста?

— Их обвенчали в мэрии, вы знаете.

— Ну, вот видите,— обратилась барыня к Матвею.— Они это называют венчанием...

Матвей с ненавистью взглянул на еврея и сказал:

— Девушка останется у вас.

И потом, посмотрев на Анну, он добавил мягким тоном:

— Она, сударыня, круглая сирота... Грех ее обидеть.

Барыня, перебирая спицы, кивнула головой. Между тем Джон, которому очень не понравилось все это, а также и обращение с ним Матвея, надел шляпу и пошел к двери, не говоря ни слова. Матвей увидел, что этот неприятный молодой человек готов уйти без него, и тоже заторопился. Наскоро попрощавшись с Анной и поцеловав у барыни руку, он кинулся к двери, но еще раз остановился.

— А что... извините... я спросил бы у вас?

— Что такое?

— Не найдется ли и мне у вас местечка? За дешевую плату... Может, по двору, в огороде или около лошади? Угла бы я у вас где-нибудь в сарае не пролежал и цену бы взял пустую. А?.. Чтобы только не издохнуть...

— Нет, милый. Какие огороды! Какие лошади! Здесь сенаторы садятся за пять центов в общественный вагон рядом с последним оборванцем...

— Ну, прошу прощения... А где же?..

И, не окончив, Матвей торопливо выбежал на крыльцо, чтобы не потерять из виду Джона.

XVI

На крыльце неприятного молодого человека уже не было, но кто-то мелькнул за углом. Матвей побежал туда, хотя ему и показалось, что это в другой стороне. Повернув еще за угол, он догнал шедшего человека, но в этой стороне люди, как и дома, похожи друг на друга. На незнакомце был такой же котелок на голове, такая же тросточка в руках, такая же походка, как и у Джона, но лицо человека, повернувшегося к Матвею, было совсем чужое, удивленное и незнакомое. Матвей остолбенел и провожал взглядом уходившего незнакомца; а на Матвея с обеих сторон улицы глядели занавешенные окна домов, похожих друг на друга как две капли воды.

Матвей попробовал вернуться. Он еще не понимал хорошенько, что такое с ним случилось, но сердце у него застучало в груди, а потом начало как будто падать. Улица, на которой он стоял, была точь-в-точь такая, как и та, где был дом старой барыни. Только занавески в окнах были опущены на правой стороне, а тени от домов тянулись на левой. Он прошел квартал, постоял у другого угла, оглянулся, вернулся опять и начал тихо удаляться, все оглядываясь, точно его тянуло к месту или на ногах у него были пудовые гири.

А в это время молодого Джона зазрила совесть, что он так невежливо бросил Матвея. Он быстро вернулся, позвонил и довольно сердито попросил выслать Лозинского, потому что ему некогда ждать: время — деньги.

Старая барыня посмотрела на него с удивлением, Анна, которая успела уже снести свой узел на кухню и, поддержав подол юбки, принималась за мытье пола, покинутого барыней, — наскоро оправившись, тоже выбежала к Джону. Все трое стояли на крыльце и смотрели и направо, и налево. Никого не было видно, похожего на Матвея, па тихой улице.

— Ну, он, верно, пошел на станцию другой дорогой, — сказал Джон.

Анна недоверчиво покачала головой.

— Нет, — сказала она, — он не знает здесь никакой дороги.

Она посмотрела на улицу, на ряды однообразных домов, и на глазах у нее появились слезы.

— Ну, милая,— сказала барыня,— глядеть теперь нечего... Ничего не высмотришь... Да и не за тем я взяла тебя... Там пол стоит неумытый.

— Может быть... он вернется? — сказала Анна.

— Что же! Ты так и будешь стоять тут до вечера? — спросила барыня, уже немного раздражаясь.

— Он у меня один только близкий человек в этой стороне,— произнесла Анна тихо.

— Ну, и слава богу, что только один,— ответила барыня.— Для молодой девушки и одного слишком много.

Анна кинула последний взгляд на улицу. За углом мелькнула фигура Джона, расспрашивавшего какого-то прохожего. Потом и он исчез. Улица опустела. Анна вспомнила, что она не оставила себе даже адреса мистера Борка и что она теперь так же потеряна здесь, как и Матвей.

Вскоре дверь за нею захлопнулась, и дом старой барыни, недавно еще встревоженный, стоявший с открытою дверью и с людьми на крыльце, которые останавливали расспросами прохожих, опять стал в ряд других, ничем не отличаясь от соседей; та же дверь с матовым стеклом и черный номер: 1235.

Между тем недалеко в переулке один из прохожих, которого расспрашивал Джон, паткнулся на странного человека, который шел, точно тащил на плечах невидимую тяжесть, и все озираясь. Американец ласково взял его за рукав, подвел к углу и указал вдоль улицы:

— Тэрти-файф, тэрти-файф (тридцать пятый),— сказал он ласково, и после этого, вполне уверенный, что с таким точным указанием нельзя уже сбиться, побежал по своему спешному делу, а Матвей подумал, оглянулся и, подойдя к ближайшему дому, позвонил. Дверь отворила незнакомая женщина с лицом в морщинах и с черными буклями по бокам головы. Она что-то сердито спросила — и захлопнула дверь.

То же случилось в следующем доме, то же в третьем. На углу он подумал, что надо повернуть, и он повернул, опять повернул и, увидя фонтан, мимо которого, как ему казалось, они проходили час назад, повернул еще раз. Перед ним вновь была такая же улица, только тени опять перебросились на правую сторону, а солнце прямо било в занавески на левой... Издали, точно где-то за горой, хранил поезд... Матвей остановился на сере-

дине улицы, как барка, которую сорвало с причала и несет куда-то по течению, и, без надежды пайти жилью старой барыни, пошел туда, откуда слышался шум. А в это время по улице, через которую только что прошел лозицанин, опять пробежал молодой Джон, совсем встревоженный и огорченный. № 1235 опять отворился, и опять на крыльце стояли две женщины с молодым человеком, советуясь и озираясь кругом. У Аяны на глазах стояли слезы, Джон сконфуженно пожимал плечами.

Поздно вечером, заплаканная и грустная, Анна кончила работу своего первого дня на службе. Работы было много, так как более двух недель уже барыня обходилась без прислуги. Вдобавок, в этот день у барыни обыкновенно вечером играли в карты жильцы ее и гости. Засиделись далеко за полночь, и Анна, усталая и печальная, ждала в соседней комнате, чтобы быть готовой на первый зов.

Расходясь, гости благодарили хозяйку за приятный вечер.

— А! Право, только у вас и почувствуешь себя иной раз точно на родине,— сказал один из гостей, целуя у хозяйки руку.— И как вы это все умеете устроить?

— О, она у меня истинная волшебница! — сказал с гордостью муж старой барыни, человек круглый, седой, с пробритой в середине бородкой и торчавшими по бокам седыми баками.— А заметили вы новую горничную?

— Как не заметить. Наверное, из наших стран. Такие хорошие, покорные глаза. О, наш народ еще не испорчен!

— Скажите лучше: не весь еще испорчен. Есть уже и у нас эти карикатуры на господ. Даже в деревню уже проникает пиджак, заменяя живописные костюмы простого народа.

— Да! А девушка действительно приятная; нет этого вызывающего нахальства, этого... как бы сказать... Ну, одним словом, приятно, когда видишь человека, занимающего свое место.

— Надолго ли только! — вздохнула барыня.— Портится все это здесь необыкновенно скоро. И не знаешь, просто, откуда.

— В воздухе, в воздухе... вроде эпидемии,— сказал один из жильцов, весело засмеявшись... И, проходя в свою комнату, он благосклонно ущипнул Линну за подбородок...

А в бординг-гоузе мистера Борка в этот вечер долго стоял шум. Несмотря на то что у Дымы испортился характер, ему теперь было очень совестно и жалко Матвея, и он чувствовал себя виноватым. Отправляясь на чужую сторону, они сговорились жить или пропадать вместе. Голова — Дымы; сила, руки и ноги — Матвея. Теперь ноги одни ходили по свету в то время, как голова путалась с чужими людьми. Совесть у Дымы проснулась, Дыма кричал, Дыма проклинал Джона, себя и своих приятелей и даже толкнул Падди, когда тот сунулся с какой-то шуткой. Падди обиделся и вызвал Дыму на единоборство. Дыма сначала послал его к черту; но Падди пустил ему немного крови из носа, тогда он сам стал совать руками куда попало... Чувствуя, однако, что и голове приходится плохо без сильной руки товарища, он схватил стул, стал кричать, что ему наплевать на все правила, и сильно уронил себя во мнения Падди... Ночью он вскакивал с постели и даже плакал.

Но это, конечно, не помогло. Приятель потонул в огромном городе, точно иголка на пыльном проезжем шляху...

XVII

Впоследствии по причинам, которые мы изложим дальше, Матвей Лозинский из Лозинчей стал на несколько дней самым знаменитым человеком города Нью-Йорка, и каждый шаг его в эти дни был прослежен очень точно. Прежде всего человека в странной белой одежде видели идущим на 4 avenue¹, потом он долго шел пешком под настилкой воздушной дороги, к Бруклинскому мосту. Казалось, его тянуло туда, где люднее и гуще. На углу Бродвея и какого-то переулочка он вошел в булочную и, указав на огромный кусок белого хлеба, протянул руку с деньгами на ладони. Он говорил что-то продавцу-немцу и даже, когда тот отдавал сдачу, старался схватить его за руку и тянулся к ней зубами. Немец вырвал руки и занялся другими покупателями. Человек постоял, посмотрел на булочника грустными глазами, пытался еще говорить что-то и вышел на улицу.

Это был час выхода вечерних газет. На небольшой площадке, недалеко от огромного здания газеты «Tri-

¹ Проспект (англ.).

бипе», странный человек зачерпнул воды у фонтана и пил ее с большой жадностью, не обращая внимания на то, что в грязном водоеме два маленьких оборванца плавали и ныряли за никелевыми и медными монетками, которые им на потеху кидали прохожие. Бесчисленное количество газетных мальчишек, ожидавших выхода номера и развлекавшихся пока чем попало, разделяли свое внимание между этими водолазами и странно одетым человеком, которого они засыпали целой тучей звонких острот. В это время через площадку проходил газетный репортер-иллюстратор и наскоро набросал эту сцену в своей книжке. Без сомнения, если бы этот джентльмен мог провидеть будущее, он постарался бы сделать свой рисунок как можно точнее. Но, во-первых, он очень торопился, и ему пришлось поэтому заканчивать набросок с памяти, а во-вторых, он был введен в заблуждение присутствием ныряющих мальчишек, которых причислил к семейству незнакомца. Наконец он не знал, на что собственно может пригодиться его эскиз, так как странный незнакомец не мог ответить ничего на самые обыкновенные вопросы.

— Your nation? — спросил репортер, желая узнать, какой Матвей нации.

— Как мне найти мистера Борка? — ответил тот.

— Your name (ваше имя)?

— Он тут где-то... имеет помещение. Наш... могилевский жид.

— How do you like this country? — Это значило, что репортер желал знать, как Матвею понравилась эта страна, — вопрос, который, по наблюдениям репортеров, обязаны понимать решительно все иностранцы...

Но незнакомец не ответил, только глядел на газетного джентльмена с такою грустью, что ему стало неловко. Он прекратил расспросы, ободрительно похлопал Матвея по плечу и сказал:

— Very well! Это очень хорошо для вас, что вы сюда приехали: Америка — лучшая страна в мире, Нью-Йорк — лучший город в Америке. Ваши милые дети станут здесь когда-нибудь образованными людьми. Я должен только заметить, что полиция не любит, чтобы детей купали в городских бассейнах.

Затем, с «сталайтом, отличающим карандаш этого джентльмена», он украсил на рисунке свитку лозицинипа несколькими фантастическими узорами, из его водос, буйных, нестриженных и слившихся, сделал одно

целое — вместе с бараньей шапкой и, наконец, всю эту странную прическу, по внезапному и слишком торопливому вдохновению, перевязал тесьмой или лентой. Рост Матвея он прибавил еще на четверть аршина, а у его ног, в водоеме, поместил двух младенцев, напоминавших чертами предполагаемого родителя.

Все это он паскоро снабдил надписью: *«Дикарь, купающий своих детей в водоеме на Бродвее»*, — и затем, сунув книжку в карман и оставляя до будущего времени вопрос о том, можно ли сделать что-либо полезное из такого фантастического сюжета, он торопливо отправился в редакцию.

Как раз в эту минуту вышло вечернее прибавление, и все внимание площадки и прилегающих переулков обратилось к небольшому балкону, висевшему над улицей, на стене Tribune-building (дом газеты «Трибуна»). На этот балкончик выходили люди с кипами газет, брали у толпившихся внизу мальчишек, запрудивших весь переулок, их марки, а взамен кидали им кипы газет. Минут в двадцать все было кончено. Сотни мальчишек мчали во все стороны десятки тысяч номеров, и их звонкие крики разносились с этого места по огромному городу.

На площадке остался только лозищанин, да два оборванца вылавливали в водоеме последние монеты. Вскоре туда же подошел еще высокий господин, в партикулярном платье, в серой большой шляпе, в виде шлема, и с короткою палкой в руке, вроде гетманской булавы, украшенной цветным шнурком и кистями. Это был полисмен Гопкинс, лицо, хорошо известное всему Нью-Йорку. Полисмен Гопкинс, как сообщалось в тех же газетных заметках, из которых я узнал эту часть моей достоверной истории, был прежде довольно искусным боксером, на которого ставились значительные пари. Однако в последние годы ему пришлось испытать несколько крупных превратностей, связанных с этой профессией, а одна из них сопровождалась даже раздроблением носовых хрящей, потребовавших серьезного лечения. Это побудило мистера Гопкинса к перемене рода занятий. Физические данные и любовь к сильным ощущениям решили его выбор, и он предложил свои услуги директору полиции в качестве полисмена. Само собою разумеется, что услуги были охотно приняты, так как времена наступали довольно бурные: участились стачки и митинги безработных («которыми, — как пи-

сала одна благомыслящая газета,— эта цветущая страна обязана коварной агитации завистливых иностранцев»), и все это открывало новое поле природным талантам мистера Гопкинса и его склонности к физическим упражнениям более или менее рискованного свойства. Увесистый «клуб» из ясеня или дуба дает, вдобавок, решительное преимущество полисмену перед любым боксером, и имя мистера Гопкинса опять стало часто мелькать в хронике газет. «Полисмен Гопкинс, известный неумеренным употреблением клуба», — писали о нем рабочие газеты. Зато другие отмечали с восторгом, что «клуб полисмена Гопкинса, как всегда, отбивал барабанную дробь на головах анархистов».

Случай пожелал, чтобы дороги знаменитого полисмена и бедного лозищанина встретились два раза. В первый раз это произошло именно у описанного фонтана. Мистер Гопкинс шел мимо, как всегда, величаво и важно, играя на ходу своим клубом, и его внимательный взгляд остановился на странной фигуре неизвестного иностранца. «Не видя, однако, законных причин для какого бы то ни было личного воздействия», — так рассказывал впоследствии Гопкинс газетным интервьюерам, он решил только подойти поближе для внимательного осмотра. Но тут незнакомец удивил его своим непонятным поведением: «Сняв с головы свой странный головной убор (по-видимому, из бараньего меха), он согнул стан таким образом, что голова его пришлась вровень с поясом Гопкинса, и, внезапно поймав одной рукой его руку, потянулся к ней губами с неизвестной целью. Гопкинс не может сказать наверное, что незнакомец хотел укусить его за руку, но не может и отрицать этого».

Вопрос остался невыясненным, так как в это мгновение над поверхностью водоема появились внезапно головы двух водолазов. Они нырнули при появлении Гопкинса и теперь опять вынырнули в надежде, что он уже прошел. Это было уже явное нарушение правил благочиния. Полисмен тотчас же взял обоих мальчишек за шивороты, поднял их высоко над землей и стал встряхивать, точно две мокрые тряпицы. Вид у него в это время был величавый и грозный, и как раз в эту же минуту через площадь пробегал прежний торопливый репортер. Он остановился, быстро набросал, около прежней фигуры лозищанина, фигуру мистера Гопкинса с двумя дикаренками в руках и прибавил надпись:

«Полисмен Гопкинс объясняет дикарю, что купание детей в городских водоемах не согласно с законами этой страны».

Затем, сунув книжку в карман, он ринулся со всех ног к вагону капатной дороги, чтобы поспеть на пожар. В его голове мелькал уже план целой заметки: «Известно, что наш город, величайший в мире, привлекает к себе пришельцев из отдаленнейших частей света. На днях мы имели случай наблюдать, как один из этих дикарей...»

Вагон капатной дороги умчал талантливое человека вместе с этим началом, а мистер Гопкинс поставил мальчишек на мостовую, дал им по легопькому шлепку, при одобрительном смехе проходящих, и затем повернулся к незнакомцу. Очень может быть, что мистеру Гопкинсу удалось бы лучше выяснить национальность незнакомца, а также и то, «как ему нравится эта страна»... Может быть, даже Матвей в тот же вечер попал бы в объятия Дымы, который весь день бегал с Падди по городу, если бы... в то время, пока Гопкинс возился с мальчишками, лозицанин не скрылся...

По всему поведению Гопкинса он понял, что это полицейский и даже, по-видимому, не из последних. А эта мысль тотчас же привела за собой другую: Матвей вспомнил, что его паспорт остался в квартире Борка... А так как он не знал, что в этой стране даже не понимают хорошенько, что такое паспорт, то его подрало по спине. Сначала он попятился немного назад, потом еще, а потом, — как у нас говорится, — взял ноги за пояс и пошел, не оглядываясь, прочь. С тяжелой мыслью в голове, что вот он теперь, вдобавок ко всему, стал в этой стороне беспаспортным бродягой, он смешался с густой толпой на Бродвее.

XVIII

Тут еще раз лозицанина приласкала надежда. Когда он шел по людной улице, кто-то тронул его за рукав тихо и ласково. Рядом с ним стоял негр и что-то говорил ему, указывая рукою на стул, который стоял тут же, на панели. Черное, лоснящееся лицо, красные губы, сверкающие белки и вьющиеся волосы негра показались Матвею как будто знакомыми. Он даже подумал, — не один ли это из тех бездельников, которые приставали к нему на улице в первый день приезда. Но что же ему нужно

теперь? А может быть, он узнал Матвея, может быть, он знает Борка и Дыму, может быть, он видел, что они ищут его по всему городу, и предлагает подождать здесь, а сам пошлет кого-нибудь за приятелями Матвея?

Действительно, сажая Матвея на стул, негр сказал что-то своему мальчишке, и тот внезапно куда-то провалился. Очевидно, побежал за Дымой или Борком. Матвей радостно сел и кивнул негру головой. Лицо черпного человека теперь ему очень понравилось: глаза грустные и ласковые, губы добрые. Правда, некрасив и черен, зато приветлив и услужлив. Он тоже кивнул Матвеем головой, присел у его ног и вздумал пока что почистить Матвеем сапоги. Матвей сначала противился, а потом подумал, что всякие есть обычаи на свете, пожалуй, как бы негр не обиделся. И он согласился исполнить желание доброго человека, тем более что действительно сапоги совсем порыжели за дорогу. Негр все так же ласково стал тереть ноги Матвея щетками, мазал сапоги ваксой, плевал, дышал и опять тер. Минут через пять сапоги Матвея стали как зеркало. Матвей кивнул головой и опять уселся на стул поудобнее, но негр взял его за рукав и показал большим пальцем на ладонь. Матвей понял, что негр просит «на водку», сошел со стула и полез в карман.

— И стоит,— сказал он громко.— Верно, что стоит. За такую услугу не знаю, чего бы человек не отдал.

И он вынул из кармана две монеты. Негр взял лишь одну.

— Бери еще,— сказал Матвей добродушно.

Негр покачал головой. «Вот ведь какой честный народ»,— подумал Матвей и опять хотел вагромоздиться на стул, но в это время какой-то господин сел раньше его, а прибежавший мальчишка принес негру кружку пива. Негр стал пить пиво, а мальчишка принялся ваксить сапоги новопривывшего американца. Волосы у Матвея стали подыматься под шапкой.

— А Дыма, а Борк? — спросил он, обращаясь к старшему негру.

Тот повернулся, поглядел на Матвея, потом указал на его сапоги и сказал:

— Уэлл (хорошо).

— Уэлл,— вспомнил Матвей объяснение Дымы.— Это значит «очень хорошо». Что же тут хорошего? А, проклятый! Он говорит, что хорошо вычистил мои сапоги. Ему только этого и было нужно...

«Собака ты, черная собака,— подумал он с горечью.— Человек на тебя надеялся, как на друга, как на брата... как на родного отца! Ты мне казался небесным ангелом. А вместо всего — ты только вычистил мои сапоги...»

И бедный человек пошел дальше. Сапоги его блестели, как зеркало, но на душе стало еще темнее...

XIX

Так вышел он на берег залива. Круглая площадка, на ней — небольшой садик, над головами прохожих вьется по столбам дорога, по дороге пробежал поезд, изогнулся над самым заливом и побежал дальше берегом, скрывшись за углом серого дома и кинувши на воду клуб черного дыма. Матвей сел на скамью и стал смотреть на залив. Вода колыбалась, искрилась, сверкала. Невдалеке свистнул пароход и отбежал от берега, нагруженный народом. Глаза Матвея побежали невольно за ним. Пароходик бежал прямо к острову, на котором стояла знакомая медная женщина. Мимо острова в это самое время тихо проплывал гигантский корабль, такой же, как и тот, на котором приехали лозинские. Распущенный флаг плескался по ветру и, казалось, стлался у ног медной женщины, которая держала над ним свой факел... Матвей смотрел, как европейский корабль тихо расталкивает своею грудью волны, и на глаза его просились слезы... Как недавно еще он с такого же корабля глядел до самого рассвета на эту статую, пока на ней угасли огни и лучи солнца начинали золотить ее голову... А Анна тихо спала, склонясь на свой узел...

Невдалеке от этого места стоит круглое невысокое здание, вроде цирка. Теперь это здание уже заколочено, а прежде, еще недавно, здесь получали приют эмигранты из Европы, приезжавшие на эмигрантских пароходах. Если бы Матвей знал это, то наверное подошел бы поближе. А если бы подошел, то мог бы увидеть, как из ворот, веселая и нарядная, выходила его сестра Катерина, об руку с Осипом Лозинским. Осип одет, как господин, так же, как оделся Дыма, только на Осипе все уже облежалось и не торчит, как на корове седло. Они вышли и пошли берегом, направо, к пристаням, в надежде, что, может быть, Матвей и Дыма приехали на том эмигрантском корабле из Германии, который только

что проплыл мимо «Свободы». А в это время Матвей поднялся и пошел налево, вдоль берега, за убежавшим поездом.

Часа в четыре странного человека видели опять у моста. Только что прошел мостовой поезд, локомотив делал поворот по кругу, с лестницы сходила целая толпа приехавших с той стороны американцев, и они обратили внимание на странного человека, который, стоя в середине этого людского потока, кричал:

— Кто в бога верует, спасите!

Но, разумеется, никто его не понял. Если бы так крикнул кто теперь в большом американском городе, то наверное ему отозвался бы кто-нибудь из толпы, потому что в последние годы корабль за кораблем привозит множество наших: поляков, духоборов, евреев. Они расходятся отсюда по всему побережью, пробуют пахать землю в колониях, нанимаются в приказчики, работают на фабриках. Иным удастся, иные богатеют, иные пристраиваются к земле, и тогда через несколько лет уже не узнаешь еврейских мальчиков, вырастающих в здоровых фермерских работников. Но многие также терпят неудачи; тогда, обедневшие и испуганные, они опять кидаются в города, цепляются за прежнюю жизнь. Кто разложит на тележке плохие ножики и замочки, кто торгует с рук разной мелочью, кто носит кпийки с картинками Нью-Йорка, Ниагары, великой дороги, кто бегаёт на побегушках у своей братии и приезжих. Идет такой бедняга с дрянным товаром, порой со спичками, только бы прикрыть чем-нибудь свое нищество, идет лохматый, оборванный и грязный, с потускневшими и грустными глазами, и по всему сразу узнаешь нашего еврея, только еще более несчастного на чужой стороне, где жизнь дороже, а удача встречается не всех.

Но тогда их было еще не так много, и на несчастье Матвея ему не встретилось ни одного, когда он стоял среди толпы и кричал как человек, который тонет. Американцы останавливались, взглядывали с удивлением на странного человека и шли дальше... А когда опять к этому месту стал подходить полисмен, то Лозинский опять быстро пошел от него и скрылся на мосту...

За мостом он пошел все прямо по улицам Бруклина. Он ждал, что за рекой кончится этот проклятый город и начнутся поля, но ему пришлось идти часа три, пока

наконец дома стали меньше и между ними, на больших расстояниях, потянулись деревья.

Лозинский вздохнул полной грудью и стал жадными глазами искать полей с желтыми хлебами или лугов с зеленой травой. Он рассчитал, что, по-нашему, теперь травы уже поспели для косьбы, а хлеба должны наливаться, и думал про себя:

«А! Подойду к первому, возьму косу из рук, взмахну раз-другой, так тут уже и без языка поймут, с каким человеком имеют дело... Да и народ, работающий около земли, должен быть проще, а паспорта наверное не спросят в деревне. Только когда наконец кончится этот проклятый город?..»

Теперь по бокам дороги пошли уже скромные коттеджи, в один и два этажа, на иных висели скромные вывески, как на наших лавках — по дверям и в окнах. Сады становились все чаще, дома все те же, мощеная дорога лежала прямо, точно разостланная на земле холстина, над которой с обеих сторон склонились зеленые деревья. Порой на дороге показывался вагон, как темная коробочка, мелькал в солнечных пятнах, вырастал и прокатывался мимо, и вдали появлялся другой... Порой казалось, что вот-вот сейчас все это кончится и откроется даль, с шоссейной дорогой, которая бежит по полям, с одним рядом телеграфных столбов, с одинокой почтовой тележкой и с морем спелых хлебов по сторонам, до самого горизонта. А там светлая речка, мостик, лужок — и приветливый деревенский народ на работе...

Но вместо этого внезапно целая куча домов опять выступала из-за зелени, и Матвей опять попадал как будто в новый город; порой даже среди скромных коттеджей опять подымались гордые дома в шесть и семь этажей, а через несколько минут опять маленькие домики и такая же дорога, как будто этот город не может кончиться, как будто он занял уже весь свет...

И все здесь было незнакомо, все не наше. Кое-где в садах стояла странная зелень, что-то вилось по тычишкам, связанным дугами, и, приглядевшись, Матвей увидел кисти винограда...

Наконец в стороне мелькнул меж ветвей кусок черной, как бархат, пашни. Матвей быстро кинулся туда и стал смотреть с дороги из-за деревьев...

Но то, что он здесь увидел, облило кровью его сердце. Это был кусок плоского поля, десятин в пятнадцать, огороженного не плетнем, не тыном, не жердями, а же-

лезной проволокой, с колючками. На одном краю этого поля дымилась труба завода, закопченного и черного. На другом стоял локомотив — красивая и сверкающая машина на колесах. Маховое колесо быстро вертелось, суетливо стучали поршни, белый пар вырывался тоненькой, хлопотливой и прерывистой струйкой. Тут же, мерно волнуясь, плыл в воздухе приводной канат. Проследив его глазом, Матвей увидел, что с другого конца пашни, как животное, сердито варывая землю, ползет железная машина и грызет, и роет, и отваливает широкую борозду чернозема.

Матвей перекрестился. Всякое дыхание да хвалит господу! На что же теперь может пригодиться в этой стороне деревенский человек, вот такой пахарь, как Матвей Лозинский, на что нужна умная лошадь, почтенный вол, твердая рука, верный глаз и споровка? И что же он станет делать в этой стороне, если здесь так пахнут землю?

Несколько человек следили за этой работой. Может быть, они пробовали машину, а может быть, обрабатывали поле, но только ни один не был похож на нашего пахаря. Матвей пошел от них в другую сторону, где сквозь зелень блеснула вода...

Он жадно наклонился к пей, но вода была соленая. Это уже было взморье, — два-три паруса виднелись между берегом и островом. А там, где остров кончался, — над линией воды тянулся чуть видимый дымок парохода. Матвей упал на землю, на береговом откосе, на самом краю американской земли, и жадными, воспаленными, сухими глазами смотрел туда, где за морем осталась вся его жизнь. А дымок парохода тихонько таял, таял и наконец исчез...

Между тем за островом село солнце. Волна за волной тихо набегала на берег, и пена их становилась белее, а волны темнели. Матвею казалось, что он спит, что это во сне плещутся эти странные волны, утасает заря, полный месяц, большой и задумчивый, повис в вечерней мгле, лиловой, прозрачной и легкой... Волны все бежали и плескались, а на их верхушках, закругленных и зыбких, играли то белая пена, то переливы глубокого синего неба, то серебристые отблески месяца, то наконец красные огни фонарей, которые какой-то человек, сновавший по воде в легкой лодке, зажигал зачем-то в разных местах, пад морем...

Потом, опять будто во сне, послышались голоса, кри-

ки, звонкий смех. Несколько мужчин, женщин и девушек, в странных костюмах, с обнаженными руками и ногами до колен, появились из маленьких деревянных будок, построенных на берегу, и, взявшись за руки, кинулись со смехом в волны, расплескивая воду, которая брызгала у них из-под ног тяжелыми каплями, точно расплавленное золото. Еще сильнее закачались зыбкие гребни, еще быстрее запрыгали в воде огни, перемешиваясь с цветными клочками неба и месяца, а лодки под фонарями, черные, точно из цельного угля, забились и запрыгали на вершушках...

Матвею все казалось, что он спит или грезит. Чужое небо, незнакомая красота чужой природы, чужое, непонятное вселение, чужой закат и чужое море — все это расслабляло его усталую душу...

— Господи, Иисусе, святая дева... Всякое дыхание... Помилуй меня грешного.

Потихоньку бормотание странного человека стихало.

Он действительно спал, откинувшись на спину, на откосе...

XX

Проснулся он внезапно, точно кто толкнул его в бок, вскочил и, не отдавая себе отчета, куда и зачем, пошел опять по дороге. Море совсем угасло, на берегу никого не было, дорога тоже была пуста. Коттеджи спали, освещаемые месяцем сверху, спали также высокие незнакомые деревья с густой, тяжелою зеленью, спало недопанное квадратное поле, огороженное проволокой, спала прямая дорога, белевшая и искрившаяся бледною полоской...

Послышался звон. Вагон вынырнул на свет из тени деревьев и, вздрагивая, позванивая, гудя, как ночной жук, пробежал мимо. Матвей посмотрел ему вслед. Лошадей не было, не было ни трубы, ни дыма, ни пара. Только наверху, откинувшись спереди назад, точно щупальце этого странного животного из стекла, железа и дерева, торчал железный стержень с утолщением на конце. Он как будто хватался вверху за тонкую проволоку, чуть видную в темном воздухе, и всякий раз, как ему встречался узел, на его вершущке вспыхивала яркая, синеватая искра.

Вагон уменьшался, стихал его гудящий звон, и ис-

корки бледнели и угасали вдали, а из тени уже подходил другой, также гудя и позванивая.

Это, должно быть, был уже последний и шел почти пустой. Полусонный кондуктор, заметив одинокую фигуру на дороге, позвонил; вагон задрожал, заскрежетал на рельсах и замедлил ход. Кондуктор наклонился, взял Лозинского под локоть и посадил на скамью. Лозинский подал монету, раздался металлический звонок счетчика, и вагон опять покатился, а мимо убегали назад коттеджи, сады, переулки, улицы. Сначала все это спало или засыпало. Потом как будто пробуждалось, гремело, говорило, светилось. На небе разливалось зарево. Замелькали окна, уходя все выше и выше к небу.

— Бридж (мост), — сказал кондуктор. Матвей вышел, сожалея, что нельзя ехать таким образом вечно. Перед ним зияло опять, точно пещера, устье Бруклинского моста. Вверху, пыхтя, опять завернулся локомотив и подхватил поезд. В левой стороне вкатывались вагоны канатной дороги, справа выбегали другие, а рядом въезжали фургоны и шли редкие пешеходы...

Дойдя до половины моста, Матвей остановился. В ушах у него шумело, в голове что-то ворочалось. Мимо бежали поезда, вагоны, коляски, мост гудел, и было страшно слушать тонкие свистки пароходов, долетавшие снизу, — так они казались далеко и глубоко, в какой-то бездне, переполненной снующими огоньками... А в небо уходили два гигантских пролета, с которых спускались канаты невиданной толщины. Целая сеть железных стержней, которые казались Матвею с корабля такой красивой паутиной, тянулась от канатов, поддерживая мост на весу. Из-за них едва можно было разглядеть реку, сливавшуюся с заливом в одно серебристое сияние, в котором утопали и из которого виднелись опять огни пароходов. И дальше тысячи огней, как звезды, висели над водой, уходя вдаль, туда, где новые огни горели в Нью-Джерси. И среди всего этого моря огня, вдалеке, острые глаза Матвея едва различили круглую огненную диадему и факел свободы. Ему казалось, что он видит в синеватом свете и голову медной женщины, и поднятую руку. Но это уже светилось слабо, чуть-чуть мерцая, как недавние дни с мечтами о счастье на чужой стороне...

В черной громаде пролета, точно нора, светилось оконце мостового сторожа, и сам он, как ничтожный

светляк, выполз из этой норы, с фопарем. Он тотчас же увидел на мосту иностранца, а это всегда нравится американцу. Сторож похлопал Матвея по плечу и сказал несколько одобрительных слов.

— Нельзя ли у тебя переночевать? — спросил Матвей усталым голосом.

— О уэдл! — ответил тот по-своему и стал объяснять Матвею, что Америка больше всего остального света, — это известно. Нью-Йорк — самый большой город Америки, а этот мост — самый большой в Нью-Йорке. Из этого Матвей, если бы понимал слова сторожа, мог бы заключить, чего стоят остальные мостишки перед этим.

Потом сторож поглядел в глаза странного человека, прочел в них тоску, вместо удивления, и мысли его приняли другое направление... Конечно, если уже человеку жизнь не мила, то, пожалуй, лестно кинуться с самого большого моста в свете, но, во-первых, это трудно: не перелезешь через эту сеть проволок и канатов, а во-вторых, мост построен совсем не для того. Все это сторож объявил Матвею, а затем довольно решительно повернул его и стал провожать, поталкивая сзади. Впрочем, сгранный человек пошел покорно, как заведенная машина, туда, где над городом стояло зарево и, точно венец, плавало в воздухе кольцо электрических огней над зданием газетного дома...

За мостом он уже без приглашения кондуктора вошел в вагон, на котором стояла надпись: «Central park»¹. Спокойное сидение и ровный бег вагона манили невольно бесприютного человека, а куда ехать, ему было теперь все равно. Только бы ехать, чем дальше, тем лучше, не думая ни о чем, давая отдых усталым ногам, пока дремота налетает вместе с ровным постукиванием колес...

Ему было очень неприятно, когда постукивание вдруг прекратилось, и перед ним стал кондуктор, взявший его за рукав. Он опять вынул деньги, но кондуктор сказал — No², — и показал рукой, что надо выйти.

Матвей вышел, а пустой вагон как-то радостно закатился по кругу. Кондуктор гасил на ходу огни, окна вагона точно зажимались, и скоро Матвей увидел, как он вкатился во двор станции и стал под навесом,

¹ Центральный парк (англ.).

² Нет (англ.).

где, покрытые тенью, отдыхали другие такие же вагоны...

Здесь было довольно тихо. Луна стала совсем маленькой, и сияя почь была довольно темна, хотя на небе виднелись звезды, и большая, еще не застроенная площадь около Центрального парка смутно белела под серебристыми лучами... Далекие дома перемежались с пустырями и заборами, и только в одном месте какой-то гордый человек вывел дом этажей в шестнадцать, высившийся черною громадой, весь обставленный еще лесамп... Эта вавилонская башня резко рисовалась на заре от освещенного города...

До ушей Матвея донесся шум деревьев. Лес всегда тянет к себе бесприютного бродягу, а Матвей Лозинский чувствовал себя настоящим бродягой.

Поэтому он быстро повернулся и пошел к парку. Если бы кто смотрел на него в это время с площади, то мог бы видеть, как белая одежда то теряется в тени деревьев, то мелькает опять на месячном свете.

Он шел так несколько минут и вдруг остановился. Перед ним поднималась в чаще огромная клетка из тонкой проволоки, точно колпаком покрывшая дерево. На ветвях и перекладинах сидели и тихо дремали птицы, казавшиеся какими-то серыми комками. Когда Матвей подошел поближе, большой коршун поднял голову, сверкнул глазами и лениво расправил крылья. Потом опять уселся и втянул голову между плеч.

Матвей отошел, боясь, чтобы птицы не подняли возню. Он ступал тихо и оглядывался, ища себе приюта. Вскоре перед ним забелело продолговатое здание. Половина его была темная, и Матвею показалось, что это какой-нибудь сарай, где можно свернуться и заснуть до утра. Но, подойдя, он опять увидел железную решетку, от которой отскочил в испуге. Из-за нее сверкнули на него огнем два глаза. Большой серый волк стоял над спящею волчицей и зорко следил за подозрительным человеком в белой одежде, который бродит неизвестно зачем ночью около звериного жилья.

В то же время откуда-то из тени человеческий голос сказал что-то по-английски резко и сердито. Матвею этот окрик показался хуже ворчания лесного зверя. Он вздрогнул и пугливо пошел опять к опушке. Тут он остановился и погрозил кулаком. Кому? Неизвестно, но человек без языка чувствовал, что и в нем просынается что-то волчье...

Легкое журчание воды потянуло его дальше. Это струился в бассейн неплотно запертый фонтан. Вода сочилась кверху, будто сонная, и, то поднимаясь, то падая совсем низко, струйка звенела и плескалась. Матвей склонился к водоему и стал жадно пить. Потом он снял шапку и перекрестился, решившись лечь тут же в кустах. Издалека в тишине почти до него донесся свисток... Ему показался он звуком из какого-то другого мира. Он сам когда-то тоже приехал на пароходе... Может быть, это еще такой же пароход из старой Европы, на котором люди приехали искать в этой Америке своего счастья, и теперь смотрят на огромную статую с поднятой рукой, в которой чуть не под облаками светится факел... Только теперь лозищанину казалось, что он освещает вход в огромную могилу.

С сокрушением, сняв шапку и глядя в звездное небо, он стал молиться готовыми словами вечерних молитв. Небо тихо горело своими огнями в бездонной синеве и казалось ему чужим и далеким. Он вздохнул, бережно положил около себя кусок хлеба, с которым все не расставался, и лег в кусты. Все стихло, все погасло, все заснуло на площади, около зверинца и в парке. Только плескалась струйка воды, да где-то вскрикивала в клетке ночная птица, да в кустах шевелилось что-то белое, и порой человек бормотал во сне что-то печальное и сердитое, может быть, молитву, или жалобы, или проклятия.

Ночь продолжала тихий бег над землей. Поплыли в высококом небе белые облака, совсем похожие на наши. Луна закатилась за деревья; становилось свежее и как будто светлело. От земли чувствовалась сырость...

Тут с Матвеем случилось небольшое происшествие, которого он не забыл во всю свою последующую жизнь, и хотя он не мог считать себя виноватым, но все же оно камнем лежало на его совести.

Он начинал дремать, как вдруг раздвинулись кусты, и какой-то человек остановился над ним, заглядывая в его ночное убежище.

Час был сорый, сумеречный. Матвей плохо видел лицо незнакомца. Впоследствии ему припомнилось, что лицо было бледно, а большие глаза смотрели страдающе и грустно...

Очевидно, это был тоже ночной бродяга, какой-ни-

будь несчастливец, которому, видно, не повезло в этот день, а может, не везло уже много дней и теперь не было нескольких центов, чтобы заплатить за ночлег. Может быть, это был тоже человек без языка, какой-нибудь бедняга итальянец, один из тех, что идут сюда целыми стадами из своей благословенной страны, бедные, темные, как и наши, и с такой же тоской о покинутой родине, о родной беде, под родным небом... Один из безработных, выкинутых этим огромным потоком, который лишь ненадолго затих там, в той стороне, где высились эти каменные вавилонские башни и зарево огней тихо догорало, как будто и оно засыпало перед рассветом. Может быть, и этого человека грызла тоска; может быть, его уже не носили ноги; может быть, его сердце уже переносилось тоской одиночества; может быть, его просто томил голод, и он рад бы был куску хлеба, которым мог бы с ним поделиться Лозинский. Может быть, и он мог бы указать лозищанину какой-нибудь выход...

Может быть... Мало ли что может быть! Может быть, эти два человека нашли бы друг в друге братьев до конца своей жизни, если бы они обменялись несколькими братскими словами в эту теплую, сумрачную, тихую и печальную ночь на чужбине...

Но человек без языка шевельнулся на земле так, как недавно шевельнулся ему навстречу волк в своей клетке. Он подумал, что это тот, чей голос он слышал недавно, такой резкий и враждебный. А если и не тот самый, то, может быть, садовый сторож, который прогонит его отсюда...

Он поднял голову с враждой на душе, и четыре человеческих глаза встретились с выражением недоверия и испуга...

— Джермен? — спросил незнакомец глухим голосом... — Френч? Тэдеско, итальяно?.. (германец? француз? итальянец?)

— Что тебе нужно? — ответил Матвей. — Неужели и здесь не дашь человеку минутку покоя?..

Они еще обменялись несколькими фразами. Голоса обоих звучали сердито и враждебно...

Незнакомец тихо выпустил ветку, кусты сдвинулись, и он исчез.

Он исчез, и шаги его стали стихать... Матвей быстро приподнялся на локте с каким-то испугом. «Уходит,— подумал он.— А что же будет дальше...» И ему захоте-

лось вернуть этого человека. Но потом он подумал, что вернуть нельзя, да и незачем. Все равно — не поймет ни слова.

Он слушал, как шаги стихали, потом стихли, и только деревья что-то шептали перед рассветом в сгустившейся темноте... Потом с моря надвинулась мгlistая туча и пошел тихий дождь, недолгий и теплый, покрывший весь парк шорохом капель по листьям.

Сначала этот шорох слышали два человека в Центральном парке, а потом только один...

Другого наутро ранняя заря застала висющим на одном из шептавших деревьев, с страшным, посиневшим лицом и застывшим стеклянным взглядом.

Это был тот, что подходил к кустам, заглядывая на лежавшего лозищанина. Человек без языка увидел его первый, поднявшись с земли от холода, от сырости, от тоски, которая гнала его с места. Он остановился перед ним как вкопанный, невольно перекрестился и быстро побежал по дорожке, с лицом, бледным как полотно, с испуганными сумасшедшими глазами... Может быть, ему было жалко, а может быть, также... он боялся попасть в свидетели... Что он скажет, он, человек без языка, без паспорта, судьям этой проклятой стороны?..

В это время его видал сторож, который, зевая, потягивался под своим навесом. Он подивился на странную одежду огромного человека, вспомнил, что как будто видел его ночью около волчьей клетки, и потом с удивлением рассматривал огромные следы огромных сапог лозищанина на сырой песчаной дорожке...

XXII

В это утро безработные города Нью-Йорка решили устроить митинг. Час был назначен ранний, так, чтобы шествие обратило внимание всех, кто сам спешит на работу в конторы, на фабрики и в мастерские.

О предстоящем митинге уже за неделю писали в газетах, сообщая его программу и имена ораторов. Предвидели, что толпа может «выйти из порядка», интервьюировали директора полиции и вожakov рабочего движения. Газеты биржевиков и Тамани-холла громили «агитаторов», утверждали, что только иностранцы да еще лентяи и пьяницы остаются без работы в этой свободной стране. Рабочие газеты возражали, по тоже при-

звали к достоинству, порядку и уважению к законам. «Не давайте противникам повода обвинять вас в некультурности»,— писали известные вожаки рабочего движения.

Газета «Sun», одна из наиболее распространенных, обещала самое подробное описание митинга в нескольких его фазах, для чего каждые полчаса должно было появляться специальное прибавление. Один из репортеров был поэтому командирован ранним утром, чтобы дать заметку: «Центральный парк перед началом митинга».

Ему очень повезло. Прежде всего, обегая все закоулки парка, он наткнулся на Матвея и тотчас же нацелился на него своим фотографическим аппаратом. И хотя Матвей быстро от него удалился, но он успел сделать моментальный снимок, к которому намеревался прибавить подпись: «Первый из безработных, явившийся на митинг».

Он представлял себе, как подхватят эту фигуру газеты, враждебные рабочему движению: «Первым явился какой-то дикарь в фантастическом костюме. Наша страна существует не для таких субъектов...»

Затем зоркий глаз репортера заметил в чаще висящее тело. Надо отдать справедливость этому газетному джентльмену: первой его мыслью было, что, может быть, несчастный еще жив. Поэтому, подбежав к трупу, он вынул из кармана свой ножик, чтобы обрезать веревку. Но, пощупав совершенно охладевшую руку, спокойно отошел на несколько шагов и, выбрав точку, набросал снимок в альбом... Это должно было тоже произвести впечатление, хотя уже с другой стороны. Это подхватят рабочие газеты... «Человек, который явился на митинг еще ранее... Еще одна жертва нужды в богатейшей стране мира...» Во всяком случае заметка вызовет общую сенсацию, и редакция будет довольна.

Действительно, и заметка, и изображение мертвого тела появились в газете ранее, чем о происшествии стало известно полиции. По странной оплошности («что, впрочем, может случиться даже с отличной полицией»,— писали впоследствии в некоторых газетах) толпа уже стала собираться и тоже заметила тело, а полиция все еще не знала о происшествии...

Матвей Лозинский, ничего, конечно, не читавший о митинге, видел, что к парку с разных сторон стекается народ. По площади, из улиц и переулков шли кучами

какие-то люди в пиджаках, правда, довольно потертых, в сюртуках, правда, довольно засаленных, в шляпах, правда, довольно измятых, в крахмальных, правда, довольно грязных рубахах. Общий вид этой толпы, изможденные, порой бородатые лица производили на Лозинского успокоительное впечатление. Он чувствовал что-то как будто родственное и симпатичное. Все они собирались к фонтану, затем узнали о самоубийстве и, как муравьи, толпились около этого места, сумрачные, озлобленные, печальные.

Лозинский теперь смелее вышел на площадку, около которой расположилась группа черномазых и густоволосых людей, еще более оборванных, чем остальные. Глаза у них были как сливы, лица смуглые, порой остроконечные шляпы с широкими полями, а язык звучал, как музыка — мягко и мелодично. Это были итальянцы. Они напомнили Матвею словаков, заходивших в Лозици из Карпат, и он доверчиво попытался заговорить с ними. Но и тут его никто не понял. Итальянцы лениво поворачивали к нему головы; один подошел, пощупал его белую свиту и с удивлением щелкнул языком. Потом он с удовольствием ощущал мускулы его рук и сказал что-то товарищам, которые выразили свое одобрение шумными криками... Но больше ничего от них Матвей не добился... Он заметил только, что глаза у них сверкают, как огонь, а у иных, под куртками у поясов, висят небольшие ножи.

Вскоре толпа залила уже всю площадку. Над ней стояла тонкая пыль, залегавшая, как туман, между зеленью, и сплошной гул голосов носился над людскими головами.

Около дерева, где висел человек, началось движение. Суровые и важные, туда прошли полисмены в своих серых шляпах. Над ними смеялись, их закидали враждебными криками и остротами, показывая номер газеты, но они не обращали на это внимания. Только около самого дерева произошло какое-то замешательство, — серые каски как-то странно толкались между черными, рыжими и пестрыми шляпками, потом подымались вверх и опускались деревянные палки и что-то суетливо топталось и шарахалось. Потом мертвое тело колыхнулось, голова мертвеца вдруг выступила из тепи в светлое пятно, потом поникла, а тело, будто произвольно, тихо опустилось вровень с толпой.

Матвей снял шапку и перекрестился. А в это время,

с другой стороны, с площадки, слышались вдруг звуки музыки. Повернув туда голову, лозищанин увидел, что из переулка, на той стороне площади, около большой постройки, выкатился клуб золотистой пыли и покати́лся к парку. Точно гнали стадо или шло большое войско. А из облака пелась музыка, то стихая, — и тогда слышался как будто один только гулкий топот тысячи ног, — то вдруг вылетая вперед визгом кларнетов и медных труб, стуком барабанов и звоном литавров. Впереди бежали двумя рядами уличные мальчишки, и высокий тамбур-мажор шагал, отмахивая такт большим жезлом. За ним двигались музыканты, с раздутыми и красными щеками, в касках с перьями, в цветных мундирах, с огромными эполетами на плечах, расшитые и изукрашенные до такой степени, что, кажется, не оставалось на них ни клочка, чем-нибудь не расцвеченного, не завешанного каким-нибудь галуном или позументом.

Матвей думал, что далее он увидит отряд войска. Но, когда пыль стала ближе и прозрачнее, он увидел, что за музыкой идут сначала рядами, а потом, как попало, в беспорядке — все такие же пиджаки, такие же мятые шляпы, такие же пыльные и полинялые фигуры. А впереди всей этой пестрой толпы, высоко над ее головами, плывет и колышется знамя, укрепленное на высокой платформе на колесах. Кругом знамени, точно стража, с десятков людей двигались вместе с толпой...

Гремя, стуча, колыхаясь, под яркие звуки марша, под неистовые крики и свист ожидавшего народа, знамя подошло к фонтану и стало. Складки его колыхнулись и упали, только ленты шевелились по ветру, да порой полотнище плескалось, и на нем струились золотые буквы...

Тогда в толпе поднялся настоящий шабаш. Одни звали новоприбывших к дереву, где недавно висел самоубийца, другие хотели остаться на заранее назначенном месте. Знамя опять колыхнулось, платформа поплыла за толпой, но скоро вернулась назад, отраженная плотно сомкнувшимися у дерева отрядом полиции.

Когда пыль, поднятую этой толкотней, пронесло дальше, к площади, знамя опять стояло неподвижно, а под знаменем встал человек с открытой головой, длинными, откинутыми назад волосами и черными сверкающими глазами южанина. Он был невелик ростом, но возвышался над всею толпой на своей платформе, и у

него был удивительный голос, сразу покрывший говор толпы. Это был мистер Чарльз Гомперс, знаменитый оратор рабочего союза.

Толпа вся стихла, когда, протянув руку к дереву, где еще недавно висел самоубийца, он сказал негромко, но с какой-то особенной торжественной внятностью:

— Прежде всего отдадим почет одному из наших товарищей, который еще этой ночью изнемог в трудной борьбе.

Над многотысячной толпой точно пронесся ветер, и бесчисленные шляпы внезапно замелькали в воздухе. Головы обнажились. Складки знамени рванулись и заплескались среди гробовой тишины печально и глухо. Потом Гомперс начал опять свою речь.

В груди у Матвея что-то дрогнуло. Он понял, что этот человек говорит *о нем*, о том, кто ходил этой ночью по парку, несчастный и бесприютный, как и он, Лозинский, как и все эти люди с истомленными лицами. О том, кого, как и их всех, выкинул сюда этот безжалостный город, о том, кто недавно спрашивал у него о чем-то глухим голосом... О том, кто бродил здесь со своей глубокой тоской и кого теперь уже нет на этом свете.

Было слышно, как ветер тихо шелестит листьями, было слышно, как порой тряхнется и глухо ударит по ветру своими складками огромное полотнище знамени... А речь человека, стоявшего выше всех с обнаженной головой, продолжалась, плавная, задушевная и печальная...

Потом он повернулся и протянул руку к городу, гневно и угрожающе.

И в толпе будто стукнуло что-то разом во все сердца,— произошло внезапное движение. Все глаза повернулись туда же, а итальянцы приподнимались на цыпочках, сжимая свои грязные, загорелые кулаки, вытягивая свои жилистые руки.

А город, обхваченный тонкою мглой собственных испарений, стоял спокойно, будто тихо дыша и продолжая жить своею обыною, ничем не возмутимую жизнью. По площади тянулись и грохотали вагоны, пыхтел где-то в туннеле быстрый поезд... Ветер пес над площадью пыльное облако. Облако это, точно лента, пронизанная солнцем, повисло в половине огромного недостроенного дома, напоминавшего вавилонскую башню. Вверху среди лесов и настилок копошились, как муравьи, занятые постройкой рабочие, а снизу то и дело подымались огром-

ные тяжести... Подымались, исчезали в облаке пыли и опять плыли сверху, между тем как внизу гигантские краны бесшумно ворочались на своих основаниях, подхватывая все новые платформы с глыбами кирпичей и гранита...

И на все это светило яркое солнце веселого ясного дня.

В груди лозищанина подымалось что-то незнакомое, неиспытанное, сильное. В первый еще раз на американской земле он стоял в толпе людей, чувство которых ему было понятно, было в то же время и его собственным чувством. Это нравилось ему, это его как-то странно щекотало, это его подмывало на что-то. Ему захотелось еще большего, ему захотелось, чтобы и его увиделл, чтобы узнали и его историю, чтобы эти люди поняли, что и он их понимает, чтобы они оказали ему участие, которое он чувствует теперь к ним. Ему хотелось еще чего-то необычного, ошьяняющего, ему казалось, что сейчас будет что-то, от чего станет лучше всем и ему, лозищанину, затерявшемуся, точно иголка, на чужой стороне. Он не знал, куда он хочет идти, что он хочет делать, он забыл, что у него нет языка и паспорта, что он бродяга в этой стране. Он все забыл и, ожидая чего-то, проталкивался вперед, ошьяненный после одиночества сознанием своего единения с этой огромной массой в каком-то общем чувстве, которое билось и трепетало здесь, как море в крутых берегах. Он как-то кротко улыбнулся, говорил что-то тихо, но быстро, и все проталкивался вперед, туда, где под знаменем стоял человек, так хорошо понимавший все чувства, так умело колыхавший их своим глубоким, проникавшим голосом...

XXIII

Совершенно неизвестно, что сделал бы Матвей Лозинский, если бы ему удалось подойти к самой платформе, и чем бы он выразил оратору, мистеру Гомперсу, волновавшие его чувства. В той местности, откуда он был родом, люди, носящие сермяжные свиты, имеют обыкновение выражать свою любовь и уважение к людям в сюртуках — посредством низких, почти до земли, поклонов и целования руки. Очень может быть, что мистер Гомперс получил бы это проявление удивления к

своему ораторскому искусству, если бы роковой случай не устроил это дело иначе, а именно так, что ранее мистера Гомперса, председателя рабочих ассоциаций и искусного оратора, на пути лозищанина оказался мистер Гопкинс, бывший боксер и полисмен. Мистер Гопкинс, наряду с другими людьми в серых касках и с клобами в руках, стоял неподвижно, как статуя, и, разумеется, не был тронут красноречием мистера Гомперса. Нью-йоркская полиция отлично знала этого популярного джентльмена и действие его красноречия оценивала с своей точки зрения. Она знала, что мистер Гомперс человек очень искусный и никогда в своих речах не «выйдет из порядка». Но зато — таково было обычное действие его слова — слушатели выходили из порядка слишком часто. Безработные всегда склонны к этому в особенности, а сегодня, вдобавок, от этого проклятого дерева, на котором полиция прозевала повесившегося беднягу и позволила ему висеть «вне всякого порядка» слишком долго, на толпу веяло чем-то особенным. Между тем давно уже не бывало митинга такого многолюдного, и каждому полисмену, в случае свалки, приходилось бы иметь дело одному на сто.

В таких случаях полиция держится крепко настороже, следя особенно за иностранцами. Пока все в порядке, а в порядке все, пока дело ограничивается словами, хотя бы и самыми страшными, и жестами, хотя бы очень драматическими, — до тех пор полисмены стоят в своих серых шляпах, позволяя себе порой даже знаки одобрения в особенно удачных местах речи. Но лишь только в какой-нибудь части толпы явится стремление перейти к делу и «выйти из порядка» — полиция тотчас же занимает выгодную позицию нападающей стороны. И клобы пускаются в ход быстро, решительно, с ошеломляющей неожиданностью. И толпа порой тысяч в двадцать отступает перед сотнею-другою палок, причем задние бегут, закрывая, на всякий случай, головы руками...

Матвей Лозинский, разумеется, не знал еще, к своему несчастью, местных обычаев. Он только шел вперед, с раскрытым сердцем, с какими-то словами на устах, с надеждой в душе. И когда к нему внезапно повернулся высокий господин в серой шляпе, когда он увидел, что это опять вчерашний полицейский, он излил на него все то чувство, которое его теперь переполняло: чувство огорчения и обиды, беспомощности и надежды на чью-

то помощь. Одним словом, он наклонился и хотел поймать руку мистера Гопкинса своими губами.

Мистер Гопкинс отскочил шаг назад, и клоб свистнул в воздухе... В толпе резко прозвучал первый удар...

Лозицанин внезапно поднялся, как разъяренный медведь... По лицу его текла кровь, шапка свалилась, глаза стали дикие. Он был страшнее, чем в тот раз в комнате Борка. Только теперь не было уже человеческой силы, которая была бы в состоянии сдержать его. Неожиданное оскорбление и боль переполнили чашу терпения в душе большого, сильного и кроткого человека. В этом ударе для него вдруг сосредоточилось все то, что он пережил, перечувствовал, перестрадал за это время, вся ненависть и гнев бродяги, которого наконец заставили, как дикого зверя.

Неизвестно, знал ли мистер Гопкинс индейский удар, как Падди, во всяком случае и он не успел применить его вовремя. Перед ним поднялось что-то огромное и дикое, поднялось, навалилось — и полисмен Гопкинс упал на землю, среди толпы, которая вся уже волновалась и кипела... За Гопкинсом последовал его ближайший товарищ, а через несколько секунд огромный человек, в невиданной одежде, лохматый и свирепый, один опрокинул ближайшую цепь полицейских города Нью-Йорка... За ним с громкими криками и горящими глазами первые кинулись итальянцы. Американцы оставались около знамени, где мистер Гомперс напрасно надрывал грудь призывами к порядку, указывая в то же время на одну из надписей: «Порядок, достоинство, дисциплина!»

Через минуту вся полиция была смята, и толпа кинулась на площадь...

Была одна минута, когда, казалось, город дрогнул под влиянием того, что происходило около Central park'a... Уезжавшие вагоны затормозились, встречные остановились в нерешимости, перестали вертеться крапы, и люди на постройке перестали ползать взад и вперед... Рабочие смотрели с любопытством и сочувствием на толпу, опрокинувшую полицию и готовую ринуться через площадь на ближайшие здания и улицы.

Но это была только минута. Площадь была во власти толпы, но толпа совершенно не знала, что ей делать с этой площадью. Между тем большинство осталось около знамени и понемногу голова толпы, которая, точно змея, потянулась было по направлению к городу,—

опять притянулась к туловищу. Затем, после короткого размышления, вожак решил, что митинг сорван, и, составив наскоро резолюцию, протестующую против действий полиции, они двинулись обратно. Впереди, как ни в чем не бывало, опять выстроился наемный оркестр, и облако пыли опять покатилося вместе с музыкой через площадь. А за ним сомкнутым строем шли оправившиеся полицейские, одобрительно помахивая клобами и поощряя отставших.

Через полчаса парк опустел; подъемные краны опять двигались на своих основаниях, рабочие опять сновали чуть не под облаками на постройке, опять мерно прокатывались вагоны, и проезжавшие в них люди только из газет узнали о том, что было полчаса назад на этом месте. Только сторожа ходили около фонтана, качая головами и ругаясь за помятые газоны...

XXIV

Несколько дней газеты города Нью-Йорка, благодаря лозищанину Матвею, работали очень бойко. В его честь типографские машины сделали сотни тысяч лишних оборотов, сотни репортеров сновали за известиями о нем по всему городу, а на площадях, перед огромными зданиями газет «World», «Tribune», «Sun», «Herald» — толпились лишние сотни газетных мальчишек. На одном из этих зданий Дыма, все еще рыскавший по городу в надежде встретиться с товарищем, увидел экран, на котором висело объявление:

ДИКАРЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ

Пронсшествие на митинге безработных.
Кафр, патаговец или славянин?
Сильнее полисмена Гопкинса,

УГРОЗА ЦИВИЛИЗАЦИИ

Оскорбление законов этой страны!

*Мы дадим портрет дикаря,
убившего полисмена Гопкинса.*

Через час листы уже летели в толпу мальчишек, которые тотчас же ринулись во все стороны. Они шныря-

ли под ногами лошадей, вскакивали на ходу в вагоны электрической дороги, через полчаса были уже на конце подземной дороги и в предместьях Бруклина,— и всюду раздавались их звонкие крики:

«Дикарь в Нью-Йорке!.. Портрет дикаря на митинге безработных!.. Оскорбление законов этой страны!»

Газетный джентльмен, нарисовавший вчера фантастическое изображение дикаря, купающего свою семью в городском водоеме, не подозревал, что его рисунок получит столь скорое применение. Теперь это талантливое произведение красовалось в сотнях тысяч экземпляров, и серьезные американцы, возвращавшиеся из своих контор, развертывали на ходу газету именно в том месте, где находилась фигура дикаря, «дважды нарушившего законы этой страны». А так как очень трудно воздержаться от невольных сопоставлений, то газета, пока не выяснятся окончательно мотивы загадочного преступления этого загадочного человека, предлагала свое объяснение, не настаивая, впрочем, на полной его достоверности. «Вчера бедный Гопкинс разъяснил дикарю всю неуместность купания детей в городских водоемах. Известно, что дикари мелочны и мстительны. Кто знает, быть может, Гопкинс пал невинною жертвой ревностного исполнения своего долга на Бродвее».

В другой газете, более серьезной, дапо было изложение событий по свежим следам. Заметка носила название: «*Митинг безработных*»:

«Спешим дать нашим читателям точное изложение события в Центральном парке. Как уже известно, митинг безработных был назначен утром, и уже чуть не с рассвета площадка и окружающая местность стали наполняться людьми в количестве, которое привело в некоторое замешательство полицейские резервы. В числе последних оказался известный Гопкинс, бывший боксер, лицо, достаточно популярное в этом городе.

К несчастью, случай, один из тех, которые, конечно, могут встретиться во всяком городе этого штата, во всяком штате этой страны, во всякой стране этого мира (где всегда будет богатство и бедность, что бы ни говорили опасные утописты) — такой случай внес особенное возбуждение в настроение этой толпы. Неподалеку от фонтана, по соседству с местом митинга, в эту почь повесился какой-то бедняк, имя, род занятий, даже национальность которого остаются пока неизвестны. Как бы то ни было, полиция проявила несомненную оплош-

ность. Один из репортеров успел срисовать даже изображение самоубийцы прежде, чем полиция узнала о факте. Вынимать тело из петли пришлось уже в то время, когда в парке было много людей, судьба которых, вследствие случайных, но тем не менее прискорбных причин, очень грустно иллюстрировалась видом и судьбой этого бедняги. Первая попытка полиции снять тело оказалась неудачна вследствие сопротивления, оказанного сильно возбужденной толпой. Но затем, когда силы полиции увеличились, это было наконец сделано, хотя, нужно признаться, не без содействия клобов, которые, как мы это указывали многократно, полиция нашла пускает в ход нередко и при обстоятельствах, пожалуй менее оправдывающих употребление этого орудия в цивилизованной стране.

В назначенное время прибыл на место известный рабочий агитатор мистер Гомперс, в сопровождении хора музыки и со знаменем, на котором была надпись:

Работы!
Терпение народа истощено.
Соединяйтесь!
Петиция новому мэру!

Беспристрастие требует прибавить, что, кроме этих, была еще надпись следующего содержания: «Достоинство, порядок, дисциплина!»

За этой заметкой следовала в газете другая, имевшая опять три заглавия!

«Чарли Гомперс был горек».
«Он громил богатство и роскошь».
«Порицал порядки этой страны, а этот город называл вавилонской блудницей».

«Чарли Гомперс, ораторскому таланту которого пельзя не отдать должной дани удивления, прекрасно использовал данное положение. Едва прибыв на место, в сопровождении прекрасного хора м-ра Ивэнса (Second avenue¹, № 300), и узнав об утреннем происшествии, он начал свою речь блестящей импровизацией, в которой в самых мрачных красках изобразил положение лишенных работы и судьбу, ожидающую, быть может, в близком будущем многих из этих несчастливцев. Вслед за этим он воспользовался контрастами, которые на вся-

¹ Второй проспект (англ.).

ком шагу разворачивает этот город, как известно, самый большой и самый богатый в мире. Эта речь Чарли Гомперса, имевшая целью пригласить безработных к петиции на имя городского мэра, а также пропагандировавшая идею рабочих ассоциаций, вызвала, по-видимому, самые дурные страсти. Правда, англичане и америкапцы (которых, впрочем, было очень немного), даже большинство ирландцев и немцы, остались в порядке. Но наименее цивилизованные элементы толпы — в лице итальянцев, отчасти русских евреев и в особенности какого-то дикого человека неизвестной нации — вспыхнули при этом, как порох от спички».

*«Мнение о происшествии
Сенатора Робинсона»*

«Мистер Робинзон, любезно принявший у себя нашего репортера, находит, что в этом происшествии с особенной яркостью выразилась сила законного порядка этой страны. «Сэр,— сказал мистер Робинзон нашему репортеру,— что вы видите в данном случае? Мятеежники, побуждаемые опасными демагогами, опрокинули полицию. Преграда между ними и цивилизацией в лице бравого Гонкинса и его товарищей рушилась. И что же, мятеежники не находят ничего лучшего, как вернуться самопроизвольно к порядку. Я позволил бы себе, однако, предложить мистеру Гомперсу и в его лице всем подобным ему агитаторам один вопрос, который, надеюсь, поставил бы их в немалое затруднение: *зачем вы, сэр, возбуждаете страсти и подстрекаете толпу на дело, самый успех которого не можете ни в каком случае обрратить в свою пользу?»*

«В следующем номере,— прибавляла редакция,— мы надеемся дать читателям ответ мистера Гомперса на уничтожающий вопрос почтенного сенатора».

Наутро газета исполнила свое обещание. Она дала, во-первых, портрет мистера Гомперса, а затем подробное изложение беседы его с репортером. При этом мистер Гомперс в изображении репортера рисовался столь же благожелательными красками, как и сенатор Робинзон. «Мистер Гомперс в личной жизни — человек привлекательный и симпатичный, его обращение с репортером было необыкновенно приветливо и любезно, но его отзывы о деле — очень горячи и энергичны. Мистер Гомперс винит во всем несдержанность полиции этого го-

рода. Сам он был «в порядке». Правда, как это совершенно справедливо было отмечено нашим репортером, он «был горек» в своей речи. Он этого не отрицает. Но с каких же это пор для американца в этой стране считается обязательным произносить только сладкие речи?! Кому не нравится сравнение этого города с блудницей, тот не должен слушать по воскресеньям проповеди, хотя бы, например, достопочтенного реверенд-Джонса, так как это его любимое сравнение. И, однако, никто не обвиняет за это священников в возбуждении дурных страстей или в оскорблении страны. Надо думать, что Тамани-ринг, которого, как известно, мистер Робинзон является деятельным членом, еще не в силах огранить в этой стране свободу слова, завещанную великими творцами ее конституции! (Здесь репортер выражает сожаление, что он не в силах передать ни великолепно-го жеста, ни возвышенного пафоса, с каким мистер Гомперс произнес последнюю фразу. Он констатирует, однако, что они сделали бы честь первым ораторам страны.) Мистер Гомперс очень сожалеет о том, что случилось, но пострадавшими в этом деле считает себя и своих друзей, так как митинг оказался сорванным и право собраний грубо нарушено в их лице. Как началась свалка, он не видел. Он далек также от мысли заподозреть добросовестность талантлив-го джентльмена, давшего изображение дикаря. Однако и наружность, и костюм этого дикаря кажутся ему достаточно маскар-адными, чтобы быть изобретением полиции. Что касается до обращенного к нему вопроса, то удовлетворить любопытство достопочтенного сенатора гораздо легче, чем осветить некоторые проделки Тамани-ринга. Как уже ясно из предыдущего, он не подстрекал никого к нападению на полицию так же, как не подстрекал полицейских к слишком усердному употреблению кловов. Но он убежден, что великий вопрос о богатстве и бедности должен быть решен на почве свободы слова и союзов. Что же касается до плодов агитации, то они видны уже и теперь. Два года назад ассоциация рабочих, которой он имеет честь быть председателем, считала ровно вдвое меньшее число членов, чем имеет в настоящее время. Таковы плоды непосредственные. Что же касается даль-нейших, то мистер Робинзон, сенатор и крупный фабри-кант, может сказать кое-что по этому поводу, так как на его собственной фабрике с прошлого года рабочие часы сокращены без сокращения платы. «И мы с гордостью

предвидим,— прибавил мистер Гомперс с неподражаемой иронией,— тот день, когда мистеру Робинзону придется еще поднять плату без увеличения рабочего дня...» Наконец мистер Гомперс сообщил, что он намерен начать процесс перед судьей штата о нарушении неприкосновенности собраний. Как известно,— сказал он,— ученым этой страны до сих пор не удалось выяснить вопроса о национальности загадочного дикаря. Мистер Гомперс не теряет, однако, надежды, что суду это удастся и что директору полиции (которому он отказывает, впрочем, в должном уважении) уже и теперь известно кое-что по этому поводу».

«Одним словом,— так заканчивалась заметка,— если оставить в стороне некоторые щекотливые вопросы, вызывающие (быть может, и справедливое) осуждение,— мистер Гомперс оказался не только превосходным оратором и тонким политиком, но и очень приятным собеседником, которому нельзя отказать в искреннем пафосе и возвышенном образе мыслей. Сам мистер Гомперс убежден, что он и его единомышленники оказывают истинную услугу стране, внося организацию, порядок, сознательность и надежду в среду, бедствие, отчаяние и справедливое негодование которой легко могли бы сделать ее добычей анархии...»

Несколько дней еще происшествие в Центральном парке не сходило со столбцов нью-йоркских газет. Репортеры обегали весь город, и в редакции являлись разные лица, видевшие в разных местах странных людей, навлекавших подозрение в тождественности с загадочным дикарем. Дикарей в Нью-Йорке оказалось достаточно. Исходя из первого изображения, некоторые более или менее ученые джентльмены высказывали свое мнение о его национальности. Отзывы были весьма различны, но по мере того, как сведения становились многочисленнее и точнее, заключения ученых джентльменов начинали вращаться в круге все более ограниченном. Первый приблизился к истине некто мистер Аткинсон, взявший исходным пунктом «разрушительные тенденции незнакомца и его беспредельную ненависть к цивилизации и культуре». Судя по этим признакам, он причислял его к славянскому племени... К сожалению, пустившись в дальнейшие гипотезы, мистер Аткинсон отнес к славянскому племени также «кавказских черкесов и самоедов, живущих в глубинах снежной Сибири».

Круг около загадочной личности смыкался все более. В заметках, становившихся все более краткими, но зато и более точными, появлялись все новые места и лица, так или иначе прикосновенные к личности «дикаря». Негр Сам, чистильщик сапог в Бродвее, мостовой сторож, подозревавший незнакомца в каком-нибудь покушении на целостность Бруклинского моста, кондуктор вагона, в котором Матвей прибыл вечером к Central park'у, другой кондуктор, который подвергал свою жизнь опасности, оставаясь с глазу на глаз с дикарем в электрическом вагоне, в пустынных предместьях Бруклина, наконец, старая барыня, с буклями на висках, к которой таинственный дикарь огромного роста и ужасающего вида позволился однажды с неизвестными, но, очевидно, недобрыми целями, когда она была одна в своем доме... К счастью, престарелая леди успела хлопнуть свою дверь как раз вовремя для спасения своей жизни.

XXV

О другой старой барыне, из дома № 1235, в газетах не упоминалось. Не упоминалось также и об Анне, которая только вздыхала порой, при воспоминании о пропавшем без вести Матвее. Человек канул точно в воду, а сама она попала, как лодка, в тихую заводь. Каждый день, когда муж и жильцы старой барыни уходили, она, точно невидимая фея, являлась в оставленные комнаты, убирала постели, подметала полы, а раз в неделю перетирала стекла и чистила газовые рожки. Каждый день выносила сор на улицу в корзину, откуда его убирали городские мусорщики, и готовила обед для господ и для двух джентльменов, обедавших с ними. Два раза в месяц она ходила в церковь вместе с барыней... Вообще все для нее в этом уголке было так, как на родине. Все было, как на родине, в такой степени, что девушке становилось до боли грустно: зачем же она ехала сюда, зачем мечтала, надеялась и ждала, зачем встретилась с этим высоким человеком, задумчивым и странным, который говорил: «Моя доля будет и твоя доля, малютка». Молодой Джон и Дыма не являлись. Жизнь ее текла скучными днями, как две капли воды похожими друг на друга... Она нашла здесь родину, ту самую, о которой так вздыхал Лозинский, и не раз она горько плакала об этом по ночам в своей кухоньке, в подвальном

этаже, низком и тесном... И не раз ей хотелось вернуться к той минуте, когда она послушалась Матвея, вместо того чтобы послушать молодую еврейку... Вернуться и пачать жпть здесь по-иному, искать иной долп, может быть, дурной, да иной...

Однажды почтальон, к ее великому удивлению, подал ей письмо. На конверте совершенно точно стоял ее адрес, написанный по-английски, а наверху печатный штемпель: «Соединенное общество лиц, занятых домашними услугами». Не понимая по-английски, она обратилась к старой барыне с просьбой прочесть письмо. Барыня подозрительно посмотрела на нее и сказала:

— Поздравляю! Ты уже заводишь шашип с этими бунтовщиками!

— Я ничего не знаю,— ответила Анна.

В письме был только печатный бланк, с приглашением поступить в члены общества. Сообщался адрес и размер членского взноса. Цифра этого взноса поразила Анпу, когда барыня иронически перевела приглашение... Однако девушка спрятала письмо и порой вынимала его по вечерам и смотрела с задумчивым удивлением: кто же это мог заметить ее в этой стране и так правильно написать на конверте ее имя и фамилию?

Это было вскоре после ее поступления на службу. А еще через несколько дней старая барыня с суровым видом сообщила ей новость.

— Хорошие дела, нечего сказать, наделал этот твой... Матвей, что ли! — сказала она. — Вот и верь после этого наружности. Казался таким почтительным и смирным.

— Что такое? — спросила Анна с тревогой.

— Убил полицейского, ни более ни менее.

— Не может быть! — вскрикнула девушка певольно.

Старая барыня показала ей кучку газет, которые принес ей муж, когда уже личность Матвея стала выясняться. В фантастическом изображении трудно было признать добродушную фигуру лозицанина, хотя все же сохранились некоторые черты и оклад бороды. Затем в следующих номерах был приведен портрет Дымы, па этот раз в свите и бараньей шапке, как соотечественника исчезнувшей знаменитости. Старая барыня, надев очки, целый день читала газеты, сообщая от времени до времени вычитанные сведения и Анпе. Сама она была искренно удивлена, узнав, что Матвей попал на митинг и оказался предводителем банды итальянцев, опроки-

нувших полицию и побуждавших толпу безработных ограбить ближайшие магазины.

— А ведь каким казался почтительным и тихим,— сказала барыня в раздумье, вспоминая покорную фигуру Матвея, его кроткие глаза и убежденное поддакивание на все ее мнения.— Да, да! Верь после этого наружности.

Она подозрительно покосилась даже на Анну, готовая видеть в ней сообщницу страшного человека, но открытый взгляд девушки рассеял ее опасение.

— Он очень вспылчив,— сказала Анна грустно, вспоминая страшную минуту во время столкновения с Падди.— И... и... знаете что... Как это там написано: потянулся губами к руке... Ведь это он... прошу вас... хотел, верно, поцеловать у него руку...

— Хотел поцеловать?.. и убил?.. Что-то все это странно,— сказала барыня.— Во всяком случае, если его поймут, то непременно повесят... Видишь, до чего здесь доводят эти... общества разные... Я бы этих Гомперсов!.. Смотри, вот они и тебя хотят завлечь в свои сети...

Анна видела, что барыня говорит совершенно искренно, а происшествие с Матвеем придавало ее словам еще большее значение. Однако, когда, в отсутствие барыни, опять пришло письмо на ее имя с тем же штемпелем, она обратилась за прочтением не к ней, а к одному из жильцов. Это был человек молчаливый и суровый, не участвовавший в карточных вечерах у хозяев и не сказавший никогда с Анной лишнего слова. Он все сидел в своей комнате, целые дни писал что-то и делал какие-то выкладки. В доме говорили, что он «считает себя изобретателем». Почему-то Анна питала к суровому человеку безотчетное доверие и уважение.

Он взял из ее рук письмо и добросовестно перевел слово в слово. Содержание письма очень удивило Анну: в нем писали, что комитету общества стало известно, что мисс Анна служит на таких условиях, которые, во-первых, унижительны для человеческого достоинства своей неопределенностью, а во-вторых, понижают общий уровень вознаграждения. Десять долларов в месяц и один свободный день в неделю — это минимальные требования, принятые в одном из собраний «соединенного общества лиц, занятых домашними услугами». Ввиду этого ей опять предлагают поступить в члены общества и предъявить повышенные требования своей хо-

зайке, иначе ее сотоварищи вынуждены будут считать ее «врагом своего класса».

Анна выслушала с испугом это странное обращение.

— Что же мне будет? — спросила она, глядя на чтеца совсем округлившимися глазами и не понимая хорошенько, кто это пишет и по какому праву.

— Ну, я в эти дела не мешаюсь, — ответил сурово молчаливый жилец и опять повернулся к своим бумагам. Но между глазами и бумагой ему почудилось испуганное лицо миловидной девушки, растерявшейся и беспомощной, и он опять с неудовольствием повернулся, подымая привычным движением свои очки на лоб.

— Ты еще здесь? — сказал он, глядя в упор на Анну своими близорукими глазами, устремленными как бы в пространство или видевшими что-то за ней. — Странно: твое лицо мне мешает... Ты спрашивала мое мнение?.. Ну, так вот: по моему мнению, все это глупости! Когда-то и я верил в эти бирюльки и увлекался, пока не понял, что только наука способна изменить все человеческие отношения. Понимаешь: наука! Вопрос решается не на улице, а в кабинете ученого... Вот здесь (он положил руку на бумаги) решение всех этих вопросов. Скоро все узнают... и ты в том числе. Ну, а пока — иди с богом. Твое лицо мне мешает... А мое дело и для тебя важнее всей этой сутолоки.

И он опять наклонился над чертежами и выкладками, махая Анне левой рукой, чтобы она уходила. Анна пошла в кухню, думая о том, что все-таки не все здесь похоже на наше и что она никогда еще не видела такого странного господина, который бы так торжественно произносил такие непонятные слова.

Она захотела посоветоваться еще с Дымой и Розой. В церковь она ходила мимо Борка и уже знала дорогу. Однажды, когда барыня осталась дома и она одна пошла в церковь, девушка забежала в знакомую квартиру. Розы и Джона не было, а Борк был очень занят. От него она узнала только, что Дыма уехал, так как письмо его наконец дошло, и Лозинские его увезли в Миннесоту. Это было для него очень кстати, так как приятели ирландцы разбрелись, Тамани-холл не нуждался более в его голосе, а работы все не находилось... Временная знаменитость и появление его портрета в газетах плохо утешали Дыму в потере приятеля. Впрочем, в это время публика перестала уже интересоваться инцидентом в Центральном парке, в особенности после того, как ока-

залось, вдобавок, что и здоровье мистера Гонкинса, во все не убитого, приведено в надлежащее состояние.

История дикаря отступала все далее и далее на четвертую, пятую, шестую страницы, а на первых, за отсутствием других предметов сенсации, красовались через несколько дней портреты мисс Лиззи и мистера Фрада, двух еще совсем молодых особ, которые, обвенчавшись самовольно в Балтиморе, устроили своим родителям, известным миллионерам города Нью-Йорка, «неожиданный сюрприз». И веселая, кудрявая головка мисс Лиззи, с лукавыми черными глазками, глядела на читателя с того самого места и даже нарисованная тем самым карандашом, который изображал недавно нашего земляка.

Из этого следует, как легко стать знаменитым в этой стране и как это бывает ненадолго...

И только Дыма да Лозинские читали, что могли, о Матвее, думая о том, как им теперь разыскать беднягу, опять потонувшего без следа в людском океане...

XXVI

А сам виновник волнения публики в день знаменитого митинга под вечер ехал в экстренном поезде на Детройт, на Бзффало, на Ниагару и на Чикаго...

Как он попал в этот поезд, он помнил потом очень смутно. Когда толпа остановилась, когда он понял, что более уже ничего не будет, да и быть более уже нечему, кроме самого плохого, когда наконец он увидел Гонкинса лежащим на том месте, где он упал, с белым, как у трупа, лицом и закрытыми глазами, он остановился, дико озираясь вокруг и чувствуя, что его в этом городе настигнет наконец настоящая гибель. С этой минуты он стал опять точно беспомощный ребенок и покорно побежал за каким-то долговязым итальянцем, который схватил его за руку и увлек за собой.

Через площадь они пробежали вместе с другими, потом вбежали в переулок, потом спустились в какой-то подвал, где было еще с десятков беглецов, частью мрачных, частью, по-видимому, довольных сегодняшним днем. Мрачны были старики, довольны молодые бобыли и в том числе долговязый спаситель Матвея. Это был тот самый молодой человек, который утром, перед митингом, хлопал Матвея по плечу и щупал его мускулы.

Веселому малому, кажется, очень понравилась манера обращения Матвея с полицией. Он и несколько его товарищей кинулись вслед за Матвеем, расчитившим дорогу, но затем, когда толпа остановилась, не зная, что делать дальше, он сообразил, что теперь остается только скрыться, так как дело принимало оборот очень серьезный. И он счел своей обязанностью позаботиться также о странном незнакомце.

Из переулка Матвея ввели в какое-то помещение, длинное, узкое и довольно темное. Здесь столпилось десятка два человек, разных национальностей, которые, чувствуя себя в безопасности, обсуждали события дня. Они горячо спорили при этом: одни находили, что митинг сорван напрасно, другие доказывали, что, наоборот, все вышло хорошо, и факт прямого столкновения с полицией произведет впечатление даже сильнее «слишком умеренных» речей Гомперса. Все это привело наконец споривших к вопросу: что же им делать с странным незнакомцем?

Они приступили к Матвею с расспросами на разных языках, но он только глядел на них своими синими глазами, в которых виднелась щемящая тоска, и повторял: «Миннесота... Дыма... Лозипский...»

Наконец долговязый юноша пришел к заключению, что не остается ничего другого, как переодеть Матвея и отправить его по железной дороге в Миннесоту. Достали одежду, которая сразу затрещала по швам, когда ее напялили на Матвея, а затем привели парикмахера из членов того же общества. Сначала Матвей оказал было сопротивление, но когда молодой верзила очень красноречивым жестом показал на шею, как бы охватывая ее петлей, Матвей понял и покорно отдался своей судьбе. Через десять минут в небольшое зеркальце на Матвея глядело чужое, незнакомое лицо, с подстриженными усами и небольшой лопаткой вместо бороды.

Молодой человек похлопал его по плечу. Лозицанин понял, что эти люди заботятся о нем, хотя его удивляло, что этот беспечный народ относился к его печальному положению с каким-то непонятым весельем. Как бы то ни было, под вечер, совершенно преображенный, он покорно последовал за молодыми людьми на станцию железной дороги. Здесь у него взяли деньги, отсчитали, сколько было нужно, остальное (не очень много) отдали ему вместе с билетом, который проделал за ленту шляпы. Перед самым отходом поезда долговязый принес

еще две бутылки сидра, большой белый хлеб и несколько фруктов. Все это было уложено в корзине. Это до глубины души тронуло Матвея, который крепко обнял своего благодетеля.

— Ты мне все равно как родной,— сказал Матвей.— Никогда тебя не забуду...— Долговязый похлопал его по плечу, и вся компания, весело кивая и смеясь, проводила взглядами поезд, который понес Матвея по туннелям, по улицам, по насыпям и кое-где, кажется, по крышам, все время звоня мерно и печально. Некоторое время в окнах вагона еще мелькали дома проклятого города, потом засинела у самой насыпи вода, потом потянулись зеленые горы, с дачами среди деревьев, кудрявые острова на большой реке, синее небо, облака... потом большая луна, как вчера на взморье — всплыла и повисла в голубоватой мгле над речною гладью...

Корзина с провизией склонилась в руках ослабевшего человека, сидевшего в углу вагона, и груши из нее посыпались на пол. Ближайший сосед поднял их, тихо взял корзину из рук спящего и поставил ее рядом с ним. Потом вошел кондуктор, не будя Матвея, вынул билет из-за ленты его шляпы и на место билета положил туда же белую картонную марку с номером. Огромный человек крепко спал сидя, и на лице его бродила печальная судорога, а порой губы сводило, точно от испуга...

А поезд летел, и звон, мерный, печальный, оглашал то спящие ущелья, то долины, то улицы небольших городов, то станции, где рельсы скрещивались, как паутина, где, шумя, как ветер в непогоду, пролетали такие же поезда, по всем направлениям, с таким же звоном, ровным и печальным.

XXVII

Впоследствии Матвеем случалось ездить тою же дорогой, но впоследствии все в Америке казалось ему уже другим, чем в эти печальные дни, когда поезд мчал его от Нью-Йорка, а куда — неизвестно. Он проспал чудные берега Гудзона и проснулся на время лишь в Сиракузах, где в окнах засветилось что-то снаружи зловещим красным светом. Это были громадные литейные заводы. Расплавленный чугун огненным озером лежал на земле, кругом стояли черные здания, черные люди бро-

дили, как нечистые духи, черный дым уходил в темное мглистое небо, и колокола паровозов все звонили среди ночи, однообразно и тревожно... Затем Баффало, весь тоже во мгле и дыму. Потом, уже на заре, в вагоне застучали отодвигаемые окна; повеяло утренней свежестью, американцы высунулись в окна, глядя куда-то с видимым любопытством.

— Найагара, Найагара-фолл,— сказал кондуктор, торопливо проходя вдоль поезда, и тронул лозищанина за рукав, с удивлением глядя на человека, который один сидит в своем углу и не смотрит Ниагару.

Матвей поднялся и заглянул в окно. Было еще темно, поезд как-то робко вползал на мост, висевший над клубящейся далеко внизу быстрой рекой. Мост вздрагивал и напрягался под тяжестью, как туго натянутая струна, а другой такой же мост, кинутый с берега на берег, на страшной высоте, казался тонкой полоской кружева, сквозившей во мгле. Внизу шумело пенное течение реки, на скалах дремали здания городка, а под ними из кампей струилась и падала книзу вода тонкими белыми лентами. Дальше пена реки сливалась с беловатым туманом, который клубился и волновался точно в гигантском котле, закрывая зрелище самого водопада. Только глухой шум, неустанный, ровный и какой-то безнадежный, рвался оттуда, наполняя трепетом и дрожащим сырой воздух мгливой ночи. Будто в тумане ворочалось и клокотало что-то огромное и глухо стонало, жалуясь, что нет ему покоя от века до века...

Поезд продолжал боязливо ползти над бездной, мост все напрягался и вздрагивал, туман клубился, как дым огромного пожара, и, поднимаясь к небу, сливался там с грядой дальних облаков. Потом вагон пошел спокойнее, под колесами зазвучала твердая земля, поезд сошел с моста и потянулся, прибавляя ход, вдоль берега. Тогда стало вдруг светлее, из-за облака, которое стояло над всем пространством огромного водопада, приглушая его грохот, выглянула луна, и водопад оставался сзади, а над водопадом все стояла мглистая туча, соединявшая небо и землю... Казалось, какое-то летучее чудовище припало в этом месте к реке и впилося в нее среди ночи, и ворчит, и роется, и клокочет...

Детройт остался у Матвея в памяти только тем, что железная дорога как будто вся целиком отделилась от земли и вместе с рельсами и поездом поплыла по воде.

Это было уже следующей ночью, и на другом берегу реки, на огромном расстоянии разлегся город и тихо пламенел и сверкал синими, белыми, желтыми огнями. Потом поезд пронесся утром мимо Чикаго. На правой стороне чуть не в самые рельсы ударяла синяя волна Мичигана — огромного, как море, и пароход, шедший прямо к берегу, вынылывал из-за водного горизонта, большой и странный, точно он взбирался на водяную гору... Еще несколько часов вдоль берега, потом Мильвоки — и дорога отклонилась к западу...

Города становились меньше и проще, пошли леса и речки, потянулись поля и плантации кукурузы... И по мере того как местность изменялась, как в окна врывался вольный ветер полей и лесов, Матвей подходил к окнам все чаще, все внимательнее присматривался к этой стране, развертывавшей перед ним, торопливо и мимолетно, мирные картины знакомой лозичанину жизни.

И вместе с тем, понемногу и незаметно, застывшая во вражде душа оскорбленного и загнанного человека начинала как будто таять. В одном месте он чуть не до половины высунулся из окна, провожая взглядом быстро промелькнувшую пашню, на которой мужчины и женщины вязали снопы пшеницы. В другом, опершись на саны и кирки, смотрели на пробегающий поезд крепкие, загорелые люди, корчевавшие пни поваленного леса. Матвею была знакома эта работа — и ему хотелось бы выскочить из вагона, взять в руки топор или кирку и показать этим людям, что он, Матвей Лозинский, может сделать с самым здоровым нинищем.

Но поезд все звонил и летел, сменяя картину за картиной. Грустные дни чередовались с еще более грустными почвами. И по мере того, как природа становилась доступнее, понятнее и проще, по мере того, как душа лозичанина все более оттаивала и смягчалась, раскрываясь навстречу спокойной красоте мирной и понятной ему жизни; по мере того, как в нем, на месте тупой вражды, вставало сначала любопытство, а потом удивление и тихое смирение, по мере всего этого и наряду со всем этим его тоска становилась все острее и глубже. Теперь он чувствовал, что и ему нашлось бы место в этой жизни, если бы он не отвернулся сразу от этой страны, от ее людей, от ее города, если бы он оказал более внимания к ее языку и обычаю, если бы он не осудил в ней сразу, заодно, и дурное и хорошее... А теперь между ним и

этой жизнью встало бродяжество и даже, может быть, преступление...

И люди, хотя часто находили с виду на Падди, начинали все-таки представляться лозищанину в другом свете. Пока он ехал, переходя с поезда на поезд, не раз сменилась и публика, и кондукторская бригада. Но сменившиеся пассажиры обращали внимание новых на огромного человека, чувствовавшего себя как будто нелов в своей одежде, робкого, застенчивого и беспомощного, как ребенок. Никто его не тревожил, никто не надоедал никакими расспросами, по каждый раз, как приходилось менять вагон или пересаживаться на другой поезд, к Матвею подходил или кондуктор, или кто-нибудь из соседей, брал его за руку и вел за собою на новое место. Большой человек покорно следовал в таких случаях за ними и глядел на провожавшего застенчивыми, но благодарными глазами.

Кроме того, здесь, в глубине страны, люди не казались уже до такой степени похожими друг на друга, как в том огромного городе, где Матвей испытал столько горестных приключений. В поезд то и дело садились рослые фермеры, загорелые, широкоплечие, в широких сюртуках и с бородами, которые могли бы и на них навлечь остроты пью-йоркских уличных бездельников. Порой суровый квакер в застегнутом до шеи сюртуке, порой степной торговец скотом или охотник из Канады в живописном кожаном костюме, увешанном бахромой и кистями, выделялись среди остальной публики, привлекая невольное внимание. А одяп раз у костра сидела в ожидании своего поезда группа бронзовых индейцев, возвращавшихся из Вашингтона, завернувших в свои одеяла и равнодушно куривших трубки под взглядами любопытной толпы, высылавшей на это зрелище из поезда...

На одной станции у небольшого города, здания которого виднелись над рекой, под лесом, в вагон, где сидел Матвей, вошел новый пассажир. Это был старик с худощавым лицом, сильно впавшими щеками, тонкими губами и острым пронзительным взглядом. Человек вида странного, пожалуй даже смешного, тем более что одет он был совсем оборванцем, а между тем держал себя уверенно и даже гордо. Его одежда, когда-то, вероятно, черпая, теперь стала серой от солнца, едкой белой пыли и многочисленных ржавых пятен. Его штаны были коротки, точно падеты с ребенка, и сапоги порыжелли

еще более, чем у Матвея, у которого они хранили все-таки следы щеток негра Сама на Бродвее. Но на голове незнакомца был надет новенький лоснящийся цилиндр, а во рту торчала большая сигара, наполнявшая вагон топким ароматом. Матвей удивлялся уже ранее, что здесь, по-видимому, нет особых вагонов для «простого народа», а теперь подумал, что такого молодца в таких штанах, да еще с сигарой, едва ли потерпят рядом с собой остальные пассажиры, несмотря даже на его новый цилиндр, как будто украденный. Но, к его удивлению, старика почтительно провожали со станции какой-то господин, очень щеголеватый, и кузнец, видимо только что отошедший от горна. Оба они пожимали ему руки на платформе, а когда он вошел в вагон, ближайший молодой человек, тоже одетый весьма старательно, приветливо посторонился, очищая место возле себя... Старик кивнул головой, вынул сигару, сплюнул и протянул молодому человеку руку в щегольской перчатке.

Между тем поезд опять мчался дальше. Теплый вечер спускался на поля, на леса, на равнины, закутывая все легким сумраком, который становился все синее и гуще. Мерное позванивание локомотива оглашало леса, молчаливо лежавшие по обе стороны дороги. И всякий раз при этом где-нибудь на полянке мелькал огонь, порой горел костер, вокруг которого расположились дровосеки, порой светились окна домов... В одном месте семья садилась за ужин на открытом воздухе. В открытых настежь дверях стояла женщина с ребенком, и даже пламя свечей не колебалось в тихом лесном затишье.

Матвей глядел на все это с смешанным чувством: чем-то родственным веяло на него от этого простора, где как будто еще только закипала первая борьба человека с природой, и ему становилось грустно: так же вот где-нибудь живут теперь Осип и Катерина, а он... что будет с ним в неведомом месте после всего, что он наделал?

Ему стало так горько, что он решил лучше заснуть... И вскоре он действительно спал, сидя и закинув голову назад. А по лицу его, при свете электрического фонаря, проходили тени грустных снов, губы подергивались, и брови сдвигались, как будто от внутренней боли...

Сон не всегда приходит к нам вовремя. Если бы на этот раз Матвей не спал, то мог бы услышать много любопытного, и его похождения кончились бы благополучно и скоро.

Но он спал, когда поезд остановился на довольно продолжительное время у небольшой станции. Невдалеке от вокзала, среди вырубки, виднелись здания из свежесрубленного леса. На платформе царствовало необычайное оживление: выгружали земледельческие машины и камень, слышались беготня и громкие крики на странном горловом жаргоне. Пассажиры-американцы с любопытством выглядывали в окна, находя, по-видимому, что эти люди суетятся гораздо больше, чем бы следовало при данных обстоятельствах.

— Простите, сэр, — спросил пассажир, ехавший в поезде из Мильвоки, — что это за народ?

— Русские евреи, — ответил спрошенный. — Они основали колонию около Дзблтуна...

В это время у открытой боковой двери вагона остановились две фигуры, и слышались звуки русской речи.

— Слушай, Евгений, — говорил один высоким теплом, с легким гортанным акцентом. — Еще раз: оставайся с нами.

— Нет, не могу, — ответил другой грудным баритоном. — Тянет, понимаешь... Эти последние известия...

— Такая же иллюзия, как и прежде!.. И из-за этих фантазий ты отворачиваешься от настоящего хорошего живого дела: дать новую родину тысячам людей, произвести социальный опыт...

— Все это так и при других условиях... Повторяю тебе: тянет. А что касается фантазий, то... во-первых, Самуил, только в этих фантазиях и жизнь... будущего! А во-вторых, ты сам со своим делом...

— All right (готово)! — крикнул кто-то на платформе.

— Please in the cars (прошу в вагоны)! — раздались приглашения кондукторов. Два приятеля крепко обнялись, и один из них вскочил в вагон уже на ходу.

Это был высокий, молодой еще человек, с неправильными, но выразительными чертами лица, в запыленной одежде и обуви, как будто ему пришлось в этот

день много ходить пешком. Он положил небольшой узелок на полку, над головой Матвея, и затем его взгляд упал на лицо спящего. В это время Матвей, быть может под влиянием этого взгляда, раскрыл глаза, сонные и печальные. Несколько секунд они смотрели друг на друга. Но затем голова Матвея опять откинулась назад и из его широкой груди вырвался глубокий вздох. Он опять спал.

Пришелец еще несколько секунд смотрел в это лицо... Несмотря на то что Матвей был теперь переодет и гладко выбрит, что на нем был американский пиджак и шляпа, было все-таки что-то в этой фигуре, пробуждавшее воспоминания о далекой родине. Молодому человеку вдруг вспомнилась равнина, покрытая глубоким мягким снегом, звон колокольчика, высокий бор по сторонам дороги и люди с такими же глазами, торопливо сворачивающие свои сани перед скачущей тройкой...

Может быть, и Матвею вспомнилось что-нибудь в этом роде. Губы его шевелились и бормотали что-то, и на лице виднелось выражение покорной просьбы.

Всю эту короткую молчаливую сцену наблюдал серый господин в цилиндре своими рысьими глазками, в которых светилось страшное выражение — какого-то насмешливого доброжелательства.

— How do you do (здравствуйте), mister Nilof,— окликнул он, видя, что русский его не замечает. Тот вздрогнул и живо повернулся.

— А! Здравствуйте, судья Дикипсон,— ответил он на чистом английском языке, протягивая судье руку.— Простите, я вас не заметил.

— О, это пичего. Вы заинтересовались этим пассажиром?.. Меня он тоже интересуется... Он едет, по-видимому, издалека.

— Из Мильвоки,— сказал один из пассажиров.

— О нет,— вмешался другой.— Я еду из Мильвоки и уже застал его в поезде. Оп, кажется, сел в Чикаго, а может быть, и в Нью-Йорке. Он не говорит ни слова по-английски и беспомощен, как ребенок.

— Очевидно, иностранец,— сказал судья Дикипсон, меряя спящего Матвея испытующим, внимательным взглядом.— Атлетическое сложение!.. А вы, мистер Нилов, кажется, были у ваших земляков? Как их дела? Я видел: они выписали хорошие машины: лучшая марка в Америке.

— Да... теперь им еще трудно. Но они надеются.

— Читали вы извлечение из отчетов эмиграционного комитета?.. Цифра переселенцев из России растет.

— Да,— кратко ответил Нилов.

— А кстати: в том же номере «Дэблтоунского курьера» есть продолжение истории пью-йоркского дикаря. И знаете: оказывается, что он тоже русский.

— В таком случае, сэр, он не дикарь,— сказал Нилов сухо.

— Гм... да... Извините, мистер Нилов... Я, конечно, не говорю о культурной части нации. Но... до известной степени все-таки... человек, который кусается...

— Без сомнения, он не кусается, сэр. Не все газетные известия верны.

— Однако... его поступок с полисменом Гонкинсом?

— Полисмен Гонкинс, судя даже по газетам, первый ударил его по голове кlobом... Считаете вы его дикарем?

Серый джентльмен засмеялся и сказал:

— О! Но это немного другое дело... Полицейские этой страны снабжаются кlobами для известного употребления... И раз иностранец нарушает порядок...

— Мне очень жаль это слышать от судьи,— сказал Нилов холодно.

Серый джентльмен несколько выпрямился, видимо задетый, и сказал:

— Судью Дикинсона еще никто не упрекал за опрометчивые суждения... в его камере. Здесь мы имеем дело с фактами, как они изложены в газетах... Я вас обидел чем-нибудь, мистер Нилов?

— Вы меня не обидели. Но если вы знаете полицейских вашей страны, то я знаю людей моей родины. И я считаю оскорбительной пеленостью газетные толки о том, что они кусаются. Внодне ли вы уверены, что ваши полицейские не злоупотребляют кlobами без причины?

Серый господин вынул изо рта сигару и некоторое время смотрел на собеседника, как будто удивленный неожиданным оборотом разговора.

— Гм... да,— сказал он.— Если взглянуть на дело с этой точки зрения... По совести, я в этом далеко не уверен... И поступи это дело ко мне, я потребовал бы разъяснения... По-видимому, у вас есть идея всего события?

— Да, у меня есть идея события... Я думаю, что мой земляк попал на митинг случайно... И случайно встретился с Гонкинсом.

— Ну, а зачем он наклонился и старался схватить его... гм... одним словом... как это изложено в газетах?

— Правда состоит, вероятно, в том, что он наклонился... К сожалению, сэр, на моей родине люди действительно кланяются иногда слишком низко...

— Вы думаете? Ха! Это кажется невероятным. Намерение укусить и именно за руку... Это по меньшей мере требовало бы доказательств...

— А если па приветствие последовал хороший удар по голове...

— Ха-ха! Это, конечно, затемняет рассудок и освобождает страсти! Положительно, я считаю дело почти выясненным. Вы были бы отличным адвокатом. О да! Вы могли бы стать лучшим адвокатом нашего города!.. И если вы все-таки предпочитаете работать на моей лесопилке...

Он стряхнул пепел с своей сигары и впился в лицо Нилова своими живыми, острыми глазками. Затем, оглянувшись на других пассажиров и желая придать разговору больше интимности, он пересел на скамью рядом с Ниловым, положил ему руку на колено и сказал, понизив голос:

— Извините меня, мистер Нилов... Дик Дикинсон человек любопытный. Позвольте вы мне предложить вам несколько вопросов, так сказать... личного свойства?

— Сделайте одолжение. Если они будут неудобны, я не отвечу.

— О, конечно, конечно! — засмеялся Дикинсон. — Видите ли: вы третий русский джентльмен, которого я встречаю... Скажите — много американцев видели вы у себя на родине?

— Встречал, хотя... очень немного.

— И, паверное, они меняли свое среднее положение на лучшие условия у вас?..

— Пожалуй...

— Скажите теперь... Может быть, я ошибаюсь, но... Мне кажется... вы лично не поступили ли наоборот?.. И здесь вы уже несколько раз имели случай скинуть рабочую блузу и сделать лучшую карьеру...

Нилов бросил взгляд на невероятный костюм старого джентльмена и ответил улыбувшись:

— Я вижу на вас, судья Дикинсон, ваш рабочий костюм!

— О, это немного другое дело, — ответил Дикинсон. — Да, я был каменщиком. И я поклялся надевать

доспехи каменщика во всех торжественных случаях... Сегодня я был на открытии банка в Н. Я был приглашен учредителями. А кто приглашает Дика Дикинсона, тот приглашает и его старую рабочую куртку. Им это было известно.

— Я очень уважаю эту черту, сэр,— сказал серьезно Нилов.— Но...

— Но, повторяю, это другое дело. Я надеваю старое рабочее платье и лучшие перчатки из Нью-Йорка. Это напоминает мне, чем я был и чем стал, то есть чем именно я обязан моим старым доспехам. Это — мое прошлое и мое настоящее...

Он замолк, пожевал сигару своими тонкими ироническими губами и, пристально глядя на молодого человека, прибавил:

— Вы, кажется, идете обратным путем, и в старости вам, пожалуй, захочется надеть ваш фрак.

— Надеюсь, что нет,— ответил Нилов.— Однако, кажется, поезд останавливается. Это — лесопилка, и я здесь сойду. До свидания, сэр!

— До свидания. Я оставляю еще за собой свои вопросы...

Нилов, снимая свой узел, еще раз пристально и как будто в нерешимости посмотрел на Матвея, но, заметив острый взгляд Дикинсона, взял узел и попрощался с судьей. В эту самую минуту Матвей открыл глаза, и они с удивлением остановились на Нилове, стоявшем к нему в профиль. На лице проснувшегося проступило как будто изумление. Но, пока он протирает глаза, поезд, как всегда в Америке, резко остановился, и Нилов вышел на платформу. Через минуту поезд несясь дальше.

Дикинсон пересел на свое место, и американцы стали говорить об ушедшем.

— Да,— сказал судья,— это третий русский джентльмен, которого я встречаю, и третий человек, которого я не могу понять...

— Быть может... из секты Лео Толстого,— предположил один из собеседников.

— Не знаю... Но он, видимо, получил прекрасное образование,— продолжал Дикинсон задумчиво.— И уже несколько раз, на моих глазах, пропускает прекрасные шансы... Когда я исполнил свой первый небольшой подряд, мистер Дэглас, инженер, сказал мне: «Я вам доволен, Дик Дикинсон. Скажите мне, в чем ваша амбиция». Я усмехнулся и сказал: «Для первого случая, я

не прочь попасть в президенты». Мистер Дуглас засмеялся тоже и ответил: «Верно, Дик! Не могу поручиться, что вы станете президентом, но вы постройте целый город и станете в нем головой...»

— И это оправдалось,— сказал почтительно самый юный из пассажиров.

— Да,— продолжал Дикинсон.— Понять человека, значит узнать, чего он добивается. Когда я заметил этого русского джентльмена, работавшего на моей лесопилке, я тоже спросил у него: «What is your ambition?» И знаете, что он мне ответил? «Я надеюсь, что приготовлю вам фанеры не хуже любого из ваших рабочих...»

— Да, все это странно,— сказал один из собеседников.

Между тем Матвей, который опять задремал в поезде после ухода Нилова, вздрогнул и забормотал во сне.

— Вот тоже человек, которого трудно понять,— засмеялся один из американцев.

— Я не встречал никого, кто мог бы так много спать в таком неудобном положении.

Судья Дикинсон внимательно посмотрел на Матвея и потом сказал:

— Я готов биться об заклад: на душе этого человека... беспокойно. Я не знаю, куда он едет, но предпочел бы, чтобы он миновал наш город. О! у меня на этот счет верный глаз...

XXIX

Звон раздавался чаще, поезд замедлял ход, кондуктор вошел в вагон и отобрал билеты у серого старика и у его молодого соседа. Потом он подошел к спавшему Матвею и, тронув его за рукав, сказал:

— Дэблтоун, Дэблтоун, сэр...

Матвей проснулся, раскрыл глаза, понял и вздрогнул всем телом. Дэблтоун! Он слышал это слово каждый раз, как новый кондуктор брал билет из-за его шляпы, и каждый раз это слово будило в нем неприятное ощущение. Дэблтоун, поезд замедлял ход, берут билет, значит, конец пути, значит, придется выйти из вагона... А что же дальше, что его ждет в этом Дэблтоуне, куда ему взяли билет, потому что до этого места хватило денег...

В окнах вагона замелькали спаружки огни, точно бриллиантовые булавки, воткнутые в темпоту гор и лесов. Потом эти огни сбежали далеко вниз, отразились в каком-то клочке воды, потом совсем исчезли, и мимо окна, шиня и гудя, пробежала гранитная скала так близко, что на ней ясно отражался желтый свет из окон вагона... Затем под поездом загудел мост, опять появились далекие огни над рекой, но теперь они взбирались все выше, подбегали все ближе, заглядывая в вагон вплотную и быстро исчезая назад. На паровозе звонили без перерыва, потому что поезд, едва замедливший ход, мчался теперь по главной улице города Дэблтоупа...

— Видели ли вы, сэр, как этот незнакомец вздрогнул? — спросил молодой человек, очевидно, заискивавший у судьи Дикинсона.

— Я все видел, — ответил старик. — Дик Дикинсон примет свои меры.

Через минуту двери домов в Дэблтоуне раскрывались, и жители выходили на встречу своих приезжих. Вагон опустел. Молодой человек еще долго кланялся мистеру Дикинсону и напоминал о поклоне мисс Люси. Потом он отправился в город и посеял там некоторое беспокойство и тревогу.

Город Дэблтоун был молодой город молодого штата. Прошло не более восьми лет с тех пор, как были распланированы его улицы у линии новой железной дороги, и с тех пор городок жил тихою жизнью американского захолустья. Совершенно понятно, что среди односторонней рабочей жизни город Дэблтоун жадно поглощал известие, что с последним поездом прибыл человек, который не сказал никому ни слова, который вздрагивал от прикосновения, который наконец возбудил сильные подозрения в судье Дикинсоне, самом эксцентричном, но и самом уважаемом человеке Дэблтоуна.

Сойдя с поезда, судья Дикинсон тотчас же подозвал единственного дэблтоупского полисмена и, указав на фигуру Матвея, нерешительно стоявшего на залитой электрическим светом платформе, сказал:

— Посмотрите, Джон, куда отправится этот приезжий. Надо узнать намерения этого молодца. Боюсь, что нам не придется узнать ничего особенно хорошего.

Полисмен Джон Келли отошел и скрылся под тенью какого-то сарая, гордясь тем, что наконец и ему выпало на долю исполнять некоторое довольно тонкое поручение...

Однако Джону Келли скоро стало казаться, что у незнакомца не было никаких намерений. Он просто вышел на платформу, без всякого багажа, только с корзиной в руке, даже, по-видимому, без всякого плана действий и туго смотрел, как удаляется поезд. Раздался звон, зашумели колеса, поезд пролетел по улице, мелькнул в полосе электрического света около аптеки, а затем потонул в темноте, и только еще красный фонарик сзади несколько времени посылал прощальный привет из глубины ночи...

Лозицанни вздохнул, оглянулся и сид на скамью, под забором, около опустевшего вокзала. Луна поднялась на середину неба, фигура полисмена Джона Келли стала выступать из сократившейся тени, а незнакомец все сидел, ничем не обнаруживая своих намерений по отношению к засыпавшему городу Дэблтоуну.

Тогда Джон Келли вышел из засады и, согласно уговору, постучался в окно к судье Дикинсону.

Судья Дикинсон высунул голову с выражением человека, который знал вперед все то, что ему пришли теперь сообщить.

— Ну что, Джон? Куда направился этот молодец?

— Он никуда не отправился, сэр. Он все сидит на том же месте.

— Он все сидит... Хорошо. Обнаружил он чем-нибудь свои намерения?

— Я думаю, сэр, что у него нет никаких намерений.

— У всякого человека есть намерения, Джон,— сказал Дикинсон с улыбкой сожаления к наивности дэблтоунского стража.— Поверьте мне, у всякого человека непременно есть какие-нибудь намерения. Если я, например, иду в булочную,— значит, я намерен купить белого хлеба, это ясно, Джон. Если я ложусь в постель,— очевидно, я намерен заснуть. Не так ли?

— Совершенно справедливо, сэр.

— Ну, а если бы (тут лицо старого джентльмена приняло лукавое выражение)... если бы вы увидели, что я хожу в полночь около железнодорожного склада, осматривая замки и двери... Понимаете вы меня, Джон?

— Как нельзя лучше, сэр... Однако... Если человек только сидит на скамье и вздыхает...

— Уалл! Это, конечно, не так определенно. Он имеет право, как и всякий другой, сидеть на скамье и вздыхать хоть до утра. Посмотрите только, не станет ли он делать чего-нибудь похуже. Дэблтоун полагается на вашу

бдительность, сэр! Не пойдет ли незнакомец к реке, нет ли у него сообщников на барках, не ждет ли он случая, чтобы ограбить железнодорожный поезд, как это было недавно около Мадисона... Пойдите еще, Джон.

Дик Дикинсон прислушался: к станции подходил поезд. Судья посмотрел на Джона своими острыми глазами и сказал:

— Джон!

— Слушаю, сэр.

— Я сильно ошибаюсь, если вы найдете его на месте. Он хотел обмануть вашу бдительность и достиг этого. Он, вероятно, сделал свое дело и теперь готовится сесть в поезд. Поторопитесь.

Окно Дикинсона захлопнулось, а Джон Келли бегом отправился на вокзал. Человек без намерений все сидел на прежнем месте, низко опустив голову. Джон Келли стал искать тени, подлиннее и погуще, чтобы пристроить к ней свою долговязую фигуру. Так как это не удавалось, то Келли решил, что ему необходимо присесть у стены склада. А затем голова Джона Келли сама собой прислонилась к стене, и он сладко заснул. Судья Дикинсон подождал еще некоторое время, но, видя, что полисмен не возвращается, решил, что человек без намерений оказался на месте. Он хотел уже тушить свою лампу, когда ему доложили, что с поезда явился к нему человек по экстренному делу.

Действительно, в его комнату вошел торопливой походкой человек довольно неопределенного вида, в котором, однако, опытный глаз судьи различил некоторые специфические черты детектива (сыщика).

— Вы здешний судья? — спросил незнакомец, поклонившись.

— Судья города Дэблтоуна, — ответил Дикинсон важно.

— Мне необходим приказ об аресте, сэр.

— А! Я так и думал... Человек высокого роста, атлетического сложения?.. Прибыл с предыдущим поездом?..

Сыщик посмотрел с удивлением на пронзительного судью и сказал:

— Как? Вам уже известно, что нью-йоркский дикарь?..

Судья Дикинсон быстро взглянул на сыщика и сказал:

— Ваши полномочия?

Новоприбывший потонул.

— Я так спешно отправился по следам, что не успел запастьись специальными приказами. Но история так известна... Дикарь, убивший Гопкинса...

— По последним телеграммам,— сказал холодно судья,— здоровье полисмена Гопкинса находится в отличном состоянии. Я спрашиваю ваши полномочия?

— Я уже сказал вам, сэр... Дело очень важно, и при этом он иностранец.

— Иначе сказать, вы часто облегчаете себе задачу с иностранцами. Я не дам приказа.

— Но, сэр... это опасный субъект.

— Полиция города Дэблтоуна исполнит свой долг, сэр,— сказал судья Дикинсон надменно.— Я не допущу, чтобы впоследствии писали в газетах, что в городе Дэблтоуне арестовали человека без достаточных оснований.

Незнакомец вышел, пожав плечами, и отправился прежде всего на телеграф, а судья Дикинсон лег спать, совершенно уверенный, что теперь у полиции города Дэблтоуна есть хорошая помощь по надзору за человеком без намерений. Но, прежде чем лечь, он послал еще телеграмму, вызывавшую на завтра мистера Евгения Нилова...

XXX

Наутро Джон Келли явился к судье.

— Ну, что скажете, Джон? — спросил у него Дикинсон.

— Все в порядке, сэр. Только... Там за ним следит еще кто-то.

— Знаю. Человек небольшого роста, в сером костюме.

Джон Келли с благоговением посмотрел на всезнающего судью и продолжал:

— Он все сидит, сэр, опустив голову на руки. Когда поутру проходил железнодорожный сторож, он только посмотрел на него. «Как большая собака»,— сказал Вилламс.

— И ничего больше?

— Около незнакомца собирается толпа... Вся площадь и сквер около вокзала заняты народом, сэр.

— Что им нужно, Джон?

— Опи, вероятно, тоже хотят узнать его намерения... И притом, разнесся слух, будто это дикарь, убивший полисмена в Нью-Йорке...

Допесение Джона было совершенно справедливо. За ночь слухи о том, что с поездом прибыл страшный незнакомец, намерения которого возбудили подозрительность мистера Дикинсона, успели вырасти, и наутро, когда оказалось, что у незнакомца нет никаких намерений и что он просидел всю ночь без движения,— город Дэблтоун пришел в понятное волнение. Около странного человека стали собираться кучки любопытных, сначала мальчики и подростки, шедшие в школы, потом приказчики, потом дэблтоунские дамы, возвращавшиеся из лавок и с базаров,— одним словом, весь Дэблтоун, постепенно просыпавшийся и припимавшийся за свои обыденные дела, перебивал на площадке городского сквера, у железнодорожной станции, стараясь, конечно, проникнуть в намерения незнакомца...

Но это было очень трудно, так как незнакомец все сидел на месте, вздыхал, глядел на проходящих и порой отвечал на вопросы непонятными словами. А между тем у Матвея к этому времени уже было намерение. Рассмотрев внимательно свое положение в эту долгую ночь, пока город спал, а невдалеке сповали тени полицейского Келли и приезжего сыщика, он пришел к заключению, что от судьбы не уйдешь, судьба же представлялась ему, человеку без языка и без паспорта, в виде неизбежной тюрьмы... Он долго думал об этом и решил, что раньше или позже, а без знакомства с американской кутузкой дело обойтись не может. Так пусть уж лучше раньше, чем позже. Он покажет знаками, что ничего не понимает, а об истории в Нью-Йорке здесь, конечно, никто не знает... Поэтому он даже вздохнул с облегчением и с радостной доверчивостью подпнулся навстречу добродушному Джону Келли, который шел к нему, расталкивая толпу.

Судья Дикинсон вышел в свою камеру, когда шум и говор раздались у его дома и в камеру ввалилась толпа. Незнакомый великан кротко стоял посередине, а Джон Келли сиял торжеством.

— Он обнаружил намерение, господин судья,— сказал полисмен, выступая вперед.

— Хорошо, Джон. Я знал, что вы оправдаете доверие города... Какое же именно намерение он обнаружил?

— Он хотел укусить меня за руку.

Мистер Дикинсон даже откинулся в своем кресле.

— Укусить за руку?.. Так это все-таки правда! Уверены ли вы в этом, Джон Келли?

— У меня есть свидетели.

— Хорошо. Мы спросим свидетелей. Случай требует внимательного расследования. Не пришел еще мистер Ниллов?..

Нилова еще не было. Матвей глядел на все происшедшее с удивлением и неудовольствием. Он решил идти навстречу неизбежности, но ему казалось, что и это делается здесь как-то не по-людски. Он представлял себе это дело гораздо проще. У человека спрашивают паспорт, паспорта нет. Человека берут, и полицейский, с книгой под мышкой, ведет его куда следует. А там уж что будет, то есть как решит начальство.

Но здесь и это простое дело не умеют сделать как следует. Собралась зачем-то толпа, точно на зверя, все валят в камеру, и здесь сидит на первом месте вчерашний оборванец, правда, теперь одетый совершенно прилично, хотя без всяких знаков начальственного звания. Матвей стал озираться по сторонам с признаками негодования.

Между тем судья Дикинсон приступил к допросу.

— Прежде всего установим национальность и имя,— сказал он.— Youг name (ваше имя)?

Матвей молчал.

— Youг nation (ваша национальность)? — И, не получая ответа, судья посмотрел на публику.— Нет ли здесь кого-нибудь, знающего хоть несколько слов порусски? Миссис Брайс! Кажется, ваш отец был родом из России?..

Из толпы вышла женщина лет сорока, небольшого роста, с голубыми, как и у Матвея, хотя и значительно выцветшими глазами. Она стала против Матвея и как будто начала припоминать что-то.

В камере водворилось молчание. Женщина смотрела на лозищанина, Матвей впился глазами в ее глаза, тусклые и светлые, как лед, но в которых пробивалось что-то, как будто старое воспоминание. Это была дочь поляка-эмигранта. Ее мать умерла рано, отец спился где-то в Калифорнии, и ее воспитали американцы. Теперь какие-то смутные воспоминания шевелились в ее голове. Она давно забыла свой язык, но в ее памяти еще шевелились слова песни, которой мать забавляла когда-то ее, малого ребенка. Вдруг глаза ее засветились,

и она приподняла над головой руки, щелкнула пальцами, повернулась и запела по-польски, как-то странно, точно говорящая машина:

Наша мат-ка... ку-ропат-ка...
Рада бить дет-ей...

Матвей вздрогнул, рванулся к ней и заговорил быстро и возбужденно. Звуки славянского языка дали ему надежду на спасение, на то, что его наконец поймут, что ему найдется какой-нибудь выход...

Но глаза женщины уже потухли. Она помнила только слова песни, но и в ней не понимала ни слова. Потом поклонилась судьбе, сказала что-то по-английски и отошла...

Матвей кинулся за ней, крича что-то, почти в иступлении, но немец и Келли загородили ему дорогу. Может быть, они боялись, что он искушает эту женщину, как хотел укусить полисмена.

Тогда Матвей схватился за ручку скамейки и пошатнулся. Глаза его были широко открыты, как у человека, которому представилось страшное видение. И действительно, ему, голодному, истерзанному и потрясенному, первый раз в жизни привиделся сон наяву. Ему представилось совершенно ясно, что он еще на корабле, стоит на самой корме, что голова у него кружится, что он падает в воду. Это снилось ему не раз во время путешествия, и он думал после этого, что чувствуют эти бедняки, с разбитых кораблей, одни, без надежды, среди этого бездушного, бесконечного и грозного океана...

Теперь этот самый сон проносился перед его широко открытыми глазами. Вместо судьи Дикинсона, вместо полицейского Келли, вместо всех этих людей, вместо камеры, перед ним ясно ходили волны, пенистые, широкие, холодные, без конца, без края... Они ходят, грохочут, плещут, поднимаются, топят... Он напрасно старается вынырнуть, крикнуть, позвать, схватиться, удержаться на поверхности... Что-то тянет его книзу. В ушах шумит, перед глазами зеленая глубина, таинственная и страшная. Это гибель. И вдруг к нему склоняется человеческое лицо с светлыми застывшими глазами. Он оживает, надеется, он ждет помощи. Но глаза тусклы, лицо бледно. Это лицо мертвеца, который утонул уже раньше...

Вся эта картина мелькнула на одно мгновение, но так ясно, что его сердце сжалось ужасом. Он глубоко вздох-

пул и схватился за голову... «Господи боже, святая дева,—бормотал он,—помогите несчастному человеку. Кажется, что в голове у меня неладно...»

Он протер глаза кулаком и опять стал искать надежду на лица этих людей.

А в это время полицейский Джон объяснил судье Дикинсону, при каких обстоятельствах обнаружились намерения незнакомца. Он рассказал, что, когда он подошел к нему, тот взял его руку вот так (Джон взял руку судьи), потом наклонился вот этак...

И полицейский Джон, наклонившись к руке судьи, для большей живости оскалил свои белые зубы, придав всему лицу выражение дикой свирепости.

Эта демонстрация произвела сильное впечатление на публику, но впечатление, произведенное ею на Матвея, было еще сильнее. Этот язык был и ему понятен. При виде маневра Келли, ему стало ясно очень многое: и то, почему Келли так резко отдернул свою руку, и даже за что он, Матвей, получил удар в Центральном парке... И ему стало так обидно и горько, что он забыл все.

— Неправда,—крикнул он,—не верьте этому подлому человеку...

И, возмущенный до глубины души клеветой, он кинулся к столу, чтобы показать судье, что именно он хотел сделать с рукой полицмена Келли...

Судья Дикинсон вскочил со своего места и наступил при этом на свою новую шляпу. Какой-то дюжий немец, Келли и еще несколько человек схватили Матвея сзади, чтобы он не искусал судью, выбранного народом Дэблтоуна; в камере водворилось волнение, небывалое в летописях города. Ближайшие к дверям кинулись к выходу, толпились, падали и кричали, а внутри происходило что-то непонятное и страшное...

Измученный, голодный, оскорбленный, доведенный до иступления, лозингганин раскидал всех вцепившихся в него америкашцев, и только дюжий, как и он сам, немец еще держал его сзади за локти, упираясь ногами... А он рвался вперед, с глазами, палившимися кровью, и чувствуя, что он действительно начинает сходить с ума, что ему действительно хочется кинуться на этих людей, бить и, пожалуй, кусаться...

Неизвестно, что было бы дальше. Но в это время в камеру быстро вошел Ниллов. Он протолкался к Матвею, стал перед ним и спросил с участием, по-русски:

— Эй, земляк! Что это вы тут натворили?

При первых звуках этого голоса Матвей рванулся и, припав к руке повопришедшего, стал целовать ее, рыдая, как ребенок...

Через четверть часа камера мистера Дикинсона опять стала наполняться обывателями города Дэблтоуна, узнавшими, что по обстоятельствам дела намерение пезнакомца разъяснилось в самом удовлетворительном смысле. В лице русского джентльмена, работающего на лесопилке, он нашел земляка и адвоката, которому не стоило много труда опровергнуть обвинения. Судья Дикинсон получил вполне удовлетворительные ответы на вопросы: «Your name?», «Your nation?» и на все другие, вытекавшие из обстоятельств дела. Гордый полным успехом, увенчавшим его разбирательство, он великодушно забыл даже о новой шляпе и, быстро покончив с официальными отпошениями, протянул обвиняемому руку, выразив при этом уверенность, что выбор именно Дэблтоуна из всех городов союза, делает величайшую честь его проницательности... В заключение он предложил Матвею партикулярный вопрос:

— Гоу до ю лайк дис кэунтри, сэр?

— Он хочет знать, как вам понравилась Америка? — перевел Нилов.

Матвей, который все еще дышал довольно тяжело, махнул рукой.

— А! чтоб ей провалиться, — сказал он искренно.

— Что сказал джептьлмен о нашей стране? — с любопытством переспросил судья Дикинсон, одновременно возбуждив великое любопытство в остальных присутствующих.

— Он говорит, что ему пужно время, чтобы оцепить все достоинства этой страны, сэр...

— Вэри узля! Ответ, совершенно достойный благо-разумного джентльмена! — сказал Дикинсон тоном полного удовлетворения.

XXXI

На следующий день газета города Дэблтоуна вышла в увеличенном формате. На первой странице ее красовался портрет мистера Мэтью, нового обитателя славного города, а в тексте, снабженном достаточным количеством весьма громких заглавий, редактор ее обращал

ся ко всей остальной Америке вообще и к городу Нью-Йорку в особенности. «Отныне,— писал он,— город Дэблтоун может гордиться тем обстоятельством, что его судья, мистер Дикинсон, удачно разрешил вопрос, над которым тщетно ломали головы лучшие ученые этнографы Нью-Йорка. Знаменитый дикарь, виновник инцидента в Central park'e, известие о котором обошло всю Америку в столь искаженном виде, в настоящее время является гостем нашего города. После весьма искусного расследования, произведенного чрезвычайно сведущим в своем деле судьей, мистером Дикинсоном,— он оказался русским, уроженцем Лозницанской губернии (одной из лучших и самых просвещенных в этой великой и дружественной стране), христианином и,— добавим от себя,— очень кротким человеком, весьма приятным в обращении и совершенно лояльным. Он обнаружил истинно христианскую радость, узнав о том, что здоровье полисмента Гопкинса, считавшегося убитым, находится в вожделенном состоянии и что этот полисмен уже приступил к исполнению своих обычных обязанностей. Тем лучше для полисмента Гопкинса, но, смеем прибавить, основываясь на мнении лучших юристов нашего города, что в этом вопросе является заинтересованным лицом единственно лишь сам полисмен Гопкинс, так как он сам виновен в постигшем его несчастии. Да, повторяем, он сам виновен, так как первый ударил кlobом по голове мирного иностранца, обратившегося к нему с выражением любви и доверия. Если судьи города Нью-Йорка думают иначе, если адвокат этого штата пожелает доказывать противное или сам полисмен Гопкинс вознамерится искать убытки, то они будут иметь дело с лучшими юристами Дэблтоуна, выразившими готовность защищать обвиняемого безвозмездно. Едва ли, однако, в этом представится надобность после того, как мы разоблачим на этих столбцах еще одну клевету, которой наши нью-йоркские собратья по неру, без достаточной проверки, очернили репутацию Мэтью Лозинского, нашего уважаемого гостя и, надеемся — будущего согражданина. Дело в том, что он *вовсе не кусается*. Движение, которое полисмен Гопкинс истолковал в этом позорном смысле (что *вовсе не* делает чести проницательности нью-йоркской полиции), имеет, наоборот, значение самого горячего привета и почтения, которым в Лозницанской губернии обмениваются взаимно люди самого лучшего круга. Он просто наклонился, чтобы по-

целовать у Гопкинса руку. То же движение мы имели случай наблюдать с его стороны по отношению к судье Дикинсону, полисмену Джону Келли, а также к одному из его соотечественников, занимающему ныне очень скромное положение на лесопилке мистера Дикинсона, но которому его таланты и образование, без сомнения, откроют широкую дорогу в этой стране. Нет сомнения, что если бы и у нас на это выражение высшей деликатности последовал грубый ответ по голове клобом, то полисмен города Дэблтоуна испытал бы горькую судьбу, полисмена города Нью-Йорка, так как русский джентльмен обладает необыкновенной физической силой. Но Дэблтоун,—говорим это с гордостью,—не только разрешил этнографическую загадку, оказавшуюся не по силам кичливому Нью-Йорку,—но еще подал сказанному городу пример истинно христианского обращения с иностранцем,—обращения, которое, надеемся, изгладит в его душе горестные воспоминания, порожденные пребыванием в Нью-Йорке.

Из судебной камеры мистер Нилон,—русский джентльмен, о котором сказано выше,—увел соотечественника в свое жилище, находящееся в небольшом рабочем поселке, около лесопилки. Значительная часть населения города Дэблтоуна, состоявшая преимущественно из юных джентльменов и леди, провожала их до самого дома одобрительными криками, и даже после того, как дверь за ними закрылась, народ не расходился, пока мистер Нилон не вышел вновь и не произнес небольшого спича на тему о будущем процветании славного города... Он закончил просьбой дать отдых его скромному соотечественнику, не привыкшему к столь шумным изъяснениям общественной симпатии».

Разумеется, автор красноречивой статьи не знал, что, когда граждане города Дэблтоуна разошлись, Матвей вздохнул с облегчением и сказал:

— Что?.. совсем ушли?

— Да,—ответил Нилон, принявшийся готовить кофе на керосинке.

— А, чтоб их всех взяла холера!..—от души сказал Матвей и как-то весь опустил.

Нилон только улыбнулся и не сказал ничего; он понимал, что столько пережитых ощущений могут свалить даже такого сильного человека. Поэтому он наскоро наполнил его горячим кофе и уложил спать.

Матвей проспал целые сутки и даже несколько больше. Когда он проснулся, солнце уходило из светлой каморки, озаряя ее последними лучами. Нилов, вернувшийся с работы, снимал с себя синюю блузу, всю в стружках и опилках. Стружки видны были даже в его волосах.

Матвей некоторое время не мог сообразить, где он и что с ним происходит. Поэтому сначала он смотрел прищуренными глазами, как-то подозрительно следя за движениями молодого человека, боясь, что это сон, который сейчас сменится новой кутерьмой неприятного свойства.

Между тем Нилов тихонько переоделся, сменив рабочий костюм легкой фланелевой парой, и, сев к столу, раскрыл какую-то книгу.

В этом виде он совсем не напоминал рабочего, и в памяти лозищанина ожил опять мимолетный образ, который мелькнул уже раз в вагоне. Ему вспомнился барский дом около Лозищей, выглядывавший из-за зелени сада. Между этим домом и поселком шла давняя вражда и долгая тяжба из-за чиншевых земель. Она началась при отцах, продолжалась при детях и склонялась то на ту, то на другую сторону. Дело грозило большими запутанностями и неприятностями, как вдруг старый барин умер. В Лозищи явился его наследник и, созвав сход, предложил покончить спор, уступив по всем пунктам. Некоторое время лозищане еще шумели и упирались, не понимая причин этой уступчивости.

Но потом более проникательные люди сообразили, что, вероятно, барчук прокутился, наделал долгов и хочет поскорее спустить отцовское наследство, чему мешает тяжба. Лозищане постарались оттянуть еще, что было можно, и дело было кончено. После этого барчук исчез куда-то, и о нем больше не было слышно ничего определенного. Остались только какие-то смутные толки, довольно разноречивые, но во всех версиях неблагоприятные для молодого человека.

И вот теперь Матвею показалось, что перед ним этот самый человек, только что снявший рабочую блузу и сидящий за книгой. Он так удивился этому, что стал протирать глаза. Кровать под ним затрещала. Нилов повернулся.

— Что, земляк, выпались? — спросил он приветливо. — Ну, теперь давайте пить кофе.

Лозинский поднялся застенчиво и неловко, расправляя опемевшие члены. Вчера он обрадовался этому человеку, как избавителю, сегодня чувствовал себя как-то неловко в его присутствии. К тому же он увидел с смущением, что в комнате не было другой кровати, — значит, хозяин уступил свою, а его ноги были босы, — значит, Нилов свял с него, сошного, сапоги. Правда, он не разувался во все время долгого пути, и от этого ноги его горели... Но все-таки эти заботы причинили ему скорее неудовольствие. Он был теперь уверен, что это лозищанский барчук и что толки были правдивы; он, значит, действительно спустил все отцовское наследство и теперь несет участь блудного сына на чужой стороне. Но так как все-таки он оказал ему услугу и притом был барин, то Лозинский решил не подавать и виду, что узнал его, но в его поведении сквозило невольное почтение. Это вносило какое-то замешательство и неопределенность в их взаимные отношения. Нилов вел себя просто, но сдержанно, Матвей конфузился и уходил в себя.

На следующий день, вернувшись с лесопилки, Нилов сказал, что Матвей может, если желает, получить работу: носить лес с барок. Матвей, конечно, согласился с радостью, и вскоре недавняя знаменитость, человек, о котором говорили все газеты Америки, — скромно переносил лес с барок на берег речки. Его сила и уверенность его обращения с тяжелыми дубовыми бревнами доставили ему повышение, и, спустя недели две, он работал уже рядом с Ниловым, подавая лес на зубчатые колеса, где Нилов резал его на тонкие фанеры. К вечеру, оба засыпанные опилками, они возвращались домой.

Матвей нанял комнату рядом с Ниловым, обедать они ходили вместе в ресторан. Матвей не говорил ничего, но ему казалось, что обедать в ресторане — чистое безумие, и он все подумывал о том, что он устроится со временем поскромнее. Когда пришел первый расчет, он удивился, увидя, что за расходами у него осталось еще довольно денег. Он их припрятал, купив только смену белья.

Еще через неделю Нилов сказал ему, что они отправятся вместе в Дэблтоун, где он, Нилов, будет читать лекцию. Они пришли в большой зал, весь набитый наро-

дом, который встретил их криками и свистом (в Америке это — выражение одобрения). Затем все стихло, судья Дикинсон сказал несколько слов, указывая то на Матвея, то на Нилова, а затем последний стал долго и свободно рассказывать что-то, по временам показывая места на большой карте. Публика, состоявшая в большинстве из рабочих людей, слушала с напряженным вниманием и в конце опять устроила им овацию...

Когда после этого они пришли домой, Нилов вынул кучку денег и, разделив ее на две половины, одну отдал Матвею.

— Это мы с вами заработали сегодня, — сказал он. — Это плата за лекцию. Я говорил им о нашей родине и о ваших похождениях. По справедливости, половина принадлежит вам.

Матвей пробовал было отказаться, но потом принял деньги. За это время его отношение к Нилову сильно изменилось, и хотя он не все понимал, однако совершенно отбросил мысль о блудном сыне. Получив деньги, он сконфуженно смотрел на Нилова... Ему хотелось бы выразить как-нибудь свою благодарность и почтение... Губы его тянулись к руке Нилова, колени подгибались для земного поклона... Но в лице Нилова, а может быть, и в тех неделях, которые они уже провели вместе, было что-то, удержавшее Матвея от этого излияния. Поэтому он взял деньги и, положив их около себя, сказал:

— А что... извините и не подумайте чего худого... Тут очень много денег?

— Не очень много, но достаточно, чтобы сделать себе хорошую пару платья, — ответил Нилов. — Вы ходите в одном и на работу, и в праздник.

— А! — сказал Матвей, махнув рукой. — Я простой человек, работник.

— Здесь все простые люди, и работники считают себя не хуже других и не хотят ничем отличаться по внешности. Я советую вам обзавестись бельем и платьем.

Матвей потушился.

— Простите меня, — сказал он. — Я не то чтобы там... не слушался вас или что... Но... скажите: можно здесь работой скопить на дорогу?

— Куда?

— Назад, на родину!.. — сказал Матвей страстно. — Видите ли, дома я продал и избу, и коня, и поле... А те-

перь готов работать, как вол, чтобы вернуться и стать хоть последним работником там, у себя на родной стороне...

Нилов прошелся по комнате, о чем-то думая, и потом, остановившись против Лозинского, сказал:

— Слушайте, Лозинский. Заработать столько можно. Можно со временем и вернуться. Но... всякий человек должен знать, что он делает. Зачем вы ехали сюда?

— А! — ответил Матвей, махнув рукой. — Мало ли что приходит человеку в голову.

— Постарайтесь вспомнить, что вам приходило в голову.

Матвей наморщил лоб и сам удивился тому, как трудно идут из головы слова и мысли.

— А! Хотелось человеку, конечно... клок вольной земли, чтобы было где разойтись плугом... Ну там... пару волов, хорошего коня... корову... крепкую телегу...

— А еще?

Матвей чувствовал, что за всеми перечисленными предметами в душе остается еще что-то, какой-то неясный осадок... Мелькнуло лицо Анны...

— Ну, потом... — продолжал он с усилием, — человек уже в возрасте. Своя хата, значит, уже и своя жена.

— И еще что-нибудь?

— Еще... если бы можно было молиться по-старому в своей церкви...

В голове его мелькнули еще разговоры о свободе, но это было уже так неясно и неопределенно, что он не сказал об этом ни слова.

Нилов подождал еще. Лицо его было серьезно и несколько взволнованно.

— Все это вы можете найти здесь! — сказал он решительно и резко, — все, что вы искали. Зачем же вам уезжать?

И видя, что Матвей несколько огорчен его резким тоном, он прибавил:

— Вы пережили самое трудное: первые шаги, на которых многие здесь гибнут. Теперь вы уже на дороге. Поживите здесь, узнайте страну и людей... И если все-таки вас потянет и после этого... Потянет так, что никто не в состоянии будет удержать... Ну, тогда...

В голосе Нилова звучало какое-то страстное возбуждение. Матвей заметил это и сказал:

— А вы сами... извините... ведь вы хотите уехать. Лицо Нилова опять слегка омрачилось.

— Да,— ответил он.— У меня свои причины...

— Значит... вы не нашли для себя то, чего искали?

Нилов распахнул окно и некоторое время смотрел в него, подставляя лицо ласковому ветру. В окно глядела тихая ночь, сияли звезды, невдалеке мигали огни Дэблтоуна, трубы заводов начинали куриться: на завтра разводили пары после праздничного отдыха.

— Здесь есть то, чего я искал,— ответил Нилов, повернув от окна взволнованное и покрасневшее лицо.— Но... слушайте, Лозинский. Мы до сих пор с вами играли в прятки... Ведь вы меня узнали?

— Я узнал вас,— смущенно сказал Матвей.

— И я вас узнал также. Не знаю, поймете ли вы меня, но... за то одно, что мы здесь встретились с вами... и с другими, как равные... как братья, а не как враги... За это одно я буду вечно благодарен этой стране...

Матвей слушал с усилием и напряжением, не вполне понимая, но испытывая странное волнение...

— А если я все-таки еду обратно,— продолжал Нилов,— то... видите ли... Здесь есть многое, чего я искал, но... этого не увезешь с собою... Я уже раз уезжал и вернулся... Есть такая болезнь... Ну, все равно. Не знаю, поймете ли вы меня теперь. Может, когда-нибудь поймете. На родине мне хочется того, что есть здесь... Свободы, своей, понимаете? Не чужой... А здесь... Здесь мне хочется родины...

Нилов смолк, и после этого оба они долго еще смотрели в окно на почное небо, на тихую, ласковую ночь чужой стороны. Нилов думал о том, что скоро он покинет все это и оставит назади целую полосу своей жизни. А Матвею почему-то вспомнилось море и его глубина, загадочная, таинственная, непонятная... Так же непонятно казалось ему теперь многое в жизни, и так же манило еще смутную мысль... И, вспоминая недавний разговор, он чувствовал, что не знал хорошо себя самого и что за всем, что он сказал Нилову,— за коровой, и хатой, и полем, и даже за чертами Анны — чудится еще что-то, что манило его и манит, но что это такое — он решительно не мог бы ни сказать,

ни определить в собственной мысли... Но было это глубоко, как море, и заманчиво, как дали просыпающейся жизни...

XXXIII

Наша правдивая история близится к концу. Через некоторое время, когда Матвей несколько узнал язык, он перешел работать на ферму к дюжему немцу, который, сам страшный силач, ценил и в Матвее его силу. Здесь Матвей ознакомился с машинами, и уже на следующую весну Нилов, перед своим отъездом, пристроил его в еврейской колонии инструктором. Сам Нилов уехал, обещав написать Матвею после приезда.

О жизни Матвея в колонии, а также историю американской жизни Нилова мы, быть может, расскажем в другой раз. А теперь нам придется досказать немного.

Статья «Дэблтоунского курьера» об окончании похождения «дикаря» была перепечатана в нескольких газетах преимущественно провинциальных городов, недовольных «кичливостью» нью-йоркцев, впадших в данном случае в такую грубую ошибку. Нью-йоркские газеты обмолвились о ней лишь краткими и довольно сухими извлечениями фактического свойства, так как в это время на поверхности политической жизни страны появился один из крупных вопросов, поднявших из глубины взволнованного общества все принципы американской политики... нечто вроде бури, точно вихрем унесшей и портреты «дикаря», и веселое личико мисс Лиззи, устроившей родителям сюрприз, и многое множество других знаменитостей, которые, как мотыльки, летают на солнышке газетного дня, пока их не развеет появление на горизонте первой тучи.

О Матвее и его истории скоро забыли, и ни Дыма, ни Анна не узнали, что он очутился в Дэблтоуне и потом перешел в колонию, что здесь он был приписан к штату и подавал свой голос, после мучительных колебаний и сомнений (ему все вспоминалась история Дымы в Нью-Йорке). И понемногу даже лицо его изменялось, менялся взгляд, выражение лица, вся фигура. А в душе всплывали новые мысли о людях, о порядках,

о вере, о жизни, о боге, которому поклоняются, хотя и разное, по всему лицу земли, о многом, что никогда не приходило в голову в Лозицах. И некоторые из этих мыслей становились все яснее и ближе...

А Анна все жила в том же доме под № 1235, только барыня становилась все менее довольна ею. Она два раза уже сама прибавляла ей плату, но «благодарности» как-то не видела. Наоборот, у Анны все больше портился характер, являлась беспредметная раздражительность и недостаток почтительности.

— Что делать... правду говорят, что это здесь в воздухе, — говорил муж старой барыни, а изобретатель, все сидевший над чертежами и к которому старая барыня обращалась иногда с жалобами, зная его влияние на Анну, — только пожимал плечами.

— Я теперь далек от всего этого, — говорил он, — но когда-то... одним словом, я думаю, что ей просто хотелось бы... собственной своей жизни... Понимаете ли вы: собственной своей жизни...

— Скажите, пожалуйста, — отвечала барыня с искренним изумлением. — Не обязана ли я ей доставлять, кроме десяти долларов, еще собственную жизнь...

— Ну, это теперь меня не касается, — отвечал старый господин. — Все это разрешит наука. Все: и ее, и вас, и всех. Дело, видите ли, в том, что...

Ученый повернулся на стуле и сказал серьезным тоном:

— Человек изобретает нужную ему машину... Это мы все отлично знаем. А думали ли вы когда-нибудь о том, что и машина в свою очередь изобретает... вернее сказать, вырабатывает нужного ей человека... Вы удивлены?.. А между тем это можно доказать с математической точностью. Стоит усвоить эту великую истину, и все решено: вся задача сводится к тому, чтобы изобрести такую универсальную машину, которой нужен только свободный человек, понимаете? Тогда и только тогда разрешатся все эти мучительные вопросы... В этом будущем строе не будет уже ни господ, ни прислуги, ни рабовладельцев с их смешными притязаниями, ни рабов с их завистью и враждой... Понимаете вы меня?..

Старый господин приподнял очки и простодушно-радостным взглядом посмотрел в лицо хозяйки. Но на этом лице виднелось лишь негодование.

— Благодарю покорно! — сказала она. — Хорош ваш будущий строй... без прислуги! Я лучше согласна остаться при старом...

А дело с Анной шло все хуже и хуже...

Через два года после начала этого рассказа два человека сошли с воздушного поезда на углу 4 avenue и пошли по одной из перпендикулярных улиц, разыскивая дом № 1235. Один из них был высокий блондин с бородой и голубыми глазами, другой — брюнет, небольшой, но очень юркий, с бритым подбородком и франтовски подвитыми усами. Последний вбежал на лестницу и хотел позвонить, но высокий товарищ остановил его.

Он взошел на площадку и оглянулся вдоль улицы. Все здесь было такое же, как и два года назад. Так же дома, точно близнецы, походили друг на друга, так же солнце освещало на одной стороне опущенные занавески, так же лежала на другой тень от домов...

Глаза его с волнением видели здесь следы прошлого. Вот за углом как будто мелькнула чья-то фигура. Вот она появляется из-за угла, ступая так тяжело, точно на ногах у нее пудовые гири, и человек идет, с тоской оглядывая незнакомые дома, как две капли воды похожие друг на друга... «Все здесь такое же, — думал про себя Лозинский, — только... нет уже того человека, который блуждал по этой улице два года назад, а есть другой...»

Звонок затрещал, дверь открылась, из-за нее выглянуло лицо Анны, и дверь опять захлопнулась, заглушив испуганный крик девушки, точно она увидела призрак. Потом она опять выглянула в щелку и сказала:

— Вы?.. Неужели это вы?

Старая барыня тоже с большим удивлением встретила этого человека и с трудом узнавала в нем простодушного лозищанина в белой свите и грубых сапогах, когда-то так почтительно поддерживавшего ее взгляды на американскую жизнь и на основы общественности. Она внимательно присматривалась к нему сквозь свои очки и искренно находила, что он стал гораздо хуже. Правда, в нем не было вызывающей резкости и задора молодого Джона, но не было также ласковой и застенчивой покорности прежнего Матвея, которая так приятно ласкала глаз старой барыни. Кроме того, она находи-

ла, что черный сюртук сидел на нем, «как на корове седло».

— Садитесь, пожалуйста,— сказала она с легким оттенком иронии. Но она чувствовала с некоторой досадой, что ей все-таки неловко было бы оставить стоять этого человека.

В сущности, она была человек недурной, и, когда Анна заявила ей об отказе от службы, она поняла, что теперь у Анны есть уважительная причина...

— Ну, вот — она нашла себе «свою собственную жизнь», — сказала она с оттенком горечи ученому господину, когда Анна попрощалась с ними. — Теперь посмотрим, что вы скажете: пока еще явится ваш будущий строй, а сейчас вот... некому даже убрать комнату.

— Гм... да... — задумчиво ответил изобретатель... — Надо признать, что в этом есть доля неприятности. Конечно, со временем все это устроится несомненно... Но... действительно, трудно будет придумать машину, которая бы делала это так приятно и ловко, — как эта милая девушка...

Несколько дней после этого ученый чувствовал себя не в своей тарелке и находил, что даже выкладки даются ему как-то труднее.

— Гм... да... я должен признаться, — говорил он старой барыне. — Мне недостает ее лица и ее добрых синих глаз... Конечно, со временем все заменят машины...

Но тут он оборвал фразу под упорным ироническим взглядом старой барыни, которая процедила сквозь зубы:

— Даже синие глаза? Ну, это-то уж едва ли...

Перед отъездом из Нью-Йорка Матвей и Анна отправились на пристань — смотреть, как подходят корабли из Европы. И они видели, как, рассекая грудью волны залива, подошел морской гигант, и как его опять подвели к пристани, и по мосткам шли десятки и сотни людей, неся сюда и свое горе, и свои надежды, и ожидания...

Сколько из них погибнет здесь, в этом страшном людском океане?..

Матвею становилось грустно. Он смотрел вдаль, где за синеею дымкой легкого тумана двигались на горизонте океанские валы, а за ними мысль, как чайка, летела дальше на старую родину... Он чувствовал, что сердце его сжимается сильною, жгучею печалью...

И он понимал, что это оттого, что в нем родилось что-то новое, а старое умерло или еще умирает. И ему до боли жаль было многого в этом умирающем старом; и невольно вспоминался разговор с Ниловым и его вопросы. Матвей сознавал, что вот у него есть клочок земли, есть дом, и телки, и коровы... Скоро будет жена... Но он забыл еще что-то, и теперь это что-то плачет и тоскует в его душе...

Уехать... туда... назад... где его родина, где теперь Нилов со своими вечными исканиями!.. Нет, этого не будет: все порвано, многое умерло и не оживет вновь, а в Лозицах, в его хате живут чужие. А тут у него будут дети, а дети детей уже забудут даже родной язык, как та женщина в Дэблтоуне...

Он крепко вздохнул и посмотрел в последний раз на океан. Солнце село. Туманная дымка сгущалась, закрывая бесконечные дали. Над протянутой рукой «Свободы» вспыхнули огни...

Пароход опустел. Две чайки снялись с мачт и, качаясь в воздухе, понеслись по ветру в широкую туманную даль...

Как те, которые когда-то, так же отрываясь от мачт корабля, неслись туда... назад... к Европе, унося с собой из Нового света тоску по старой родине...

1895

МАРУСИНА ЗАЙМКА

Очерки из жизни в далекой стороне

I. Уголок

Мы ехали верхами по долине Амги. Лошади бежали тихою «хлынью» по колеям якутской дороги.

Эти дороги совсем не похожи на русские, укатанные телегами и лежащие «скатертью» между зелеными полосами. Здесь дороги утаптываются лишь копытами верховых лошадей. Две глубокие борозды, отделенные межником, по которому растет высокая трава, лежат в середине. Они одинаково глубоки и рисуются ясными

линиями пыльного дна. Если едут двое — они плетутся рядом под ленивые разговоры о наследных происшествиях, о покосах или приезде начальства. Трое в ряд едут уже гораздо реже, четверо уже выстраиваются двумя парами, одна за другой. Поэтому несколько пар боковых дорожек намечаются все слабее и слабее, теряясь едва заметными линиями в буйной траве.

Травы в этот год были роскошные. Якут, ехавший навстречу, виднелся нам за поворотом лишь своей остроконечной шапкой, приподнятыми рукавами своего кафтана, и порой только встряхивалась над зеленой стеной голова его лошади. Он разминулся с нами, обменявшись обычными приветствиями, и, прибавив шагу, скоро совсем исчез среди волнующегося зеленого моря...

Солнце висело над дальней грядой гор. И летом оно стоит в этих местах невысоко, но светит своими косыми лучами почти целые сутки, восходя и заходя почти в одном месте. Земля, разогреваемая спокойно, но постоянно, не успевает значительно охладиться в короткую ночь, с ее предутренним туманом, и в полдень северное лето пышет жаром и сверкает своей особенной прелестью, тихой и печальной...

Дальние горы, обвеянные синеватою мглой, реяли и, казалось, расплавлились в истоме. Легкий ветер шевелил густые травы, пестревшие разноцветными присадами, кашкой и какими-то еще бесчисленными желтыми и белыми головками. Нашим лошадям стоило повернуть головы, чтобы схватить, даже не нагибаясь, пук сочной травы с межника, — и они бежали дальше, помахивая зажатými в губах роскошными букетами. Кое-где открывались вдруг небольшие озерки, точно клочки синего неба, упавшие на землю и оправленные в изумрудную зелень... И от всей этой тихой красоты становилось еще печальнее на сердце. Казалось, сама пустыня тоскует о чем-то далеком и неясном в задумчивой истоме своего короткого лета.

Мы миновали небольшую кучку юрт, расположившихся на холме над озером, и зеленый луг опять принял нас в свои молчаливые объятия. Горы другого берега уже не туманились, а проступали осками каменистых оврагов, нащепившихся остроконечными верхушками лиственниц. Слева все ближе подступали холмы, разделенные узкими луговинками, и пади, по ко-

торым струились тихие речки амгинского бассейна. По этим речкам ходили «вольно, нехранимо» табуны кобылиц, принадлежащие якутским «богатырям» родовичам, успевшим и здесь, на лоне почти девственной природы, захватить лучшие уголки божией земли.

По временам в ущельях глухо раздавался топот конских копыт, и табун, одичавший и отъевшийся на жирных травах, выскакивал из пади на луговину, привлеченный ржанием наших лошадей. Кобылицы, подняв уши и охорашиваясь, выказывали явное любопытство, но вожак-жеребец, тотчас же вытянув, как рассерженный гусь, свою длинную шею и почти вслоча по траве роскошную гриву, — делал широкий круг около стада, вспугивая легкомысленных красавиц и загоня их обратно. Когда кобылы, не смея послушаться и делая вид, что они сами очень напуганы, скрывались опять за речкой, в глубине ущелья, сторожевой жеребец выбегал оттуда обратно и, все тряся головой и расстилая гриву, грозно подбегал к нам, зорко и пытливо высматривая наши намерения. Наши лошади вздрагивали от нетерпеливого желания завязать дружеские или враждебные отношения с себе подобными, и нам приходилось тогда усиленно прибегать к нагайкам. Жеребец, проводив неведомых гостей с полверсты, весело возвращался обратно к своему гарему, а наши лошади уныло опускали головы и ленивою хлынью продолжали бежать по роскошным пустынным лугам. Становилось еще скучнее, тихая и безмолвная красота пустыни томилась еще больше, молчание ее еще гуще насыщалось какими-то реющими, как туман, желаниями и образами. Глаз беспокойно искал чего-то в смеющихся далях. Но навстречу попадался только ленивый дымок юрты над озером, или якутская могила — небольшой сруб вроде избушки с высоким крестом — загадочно смотрела с холма над водой, обвеянная грустным шепотом деревьев...

— Посмотрите-ка, — сказал вдруг мой товарищ, задерживая повод разбежавшейся лошади.

Мы давно ехали узкой дорожкой, две-три колени которой чуть-чуть взрезали зеленую целину роскошного луга. Где-то мы сбились, очевидно, с проезжей дороги, но мало заботились об этом, так как горы того берега легко могли служить нам указанием. Теперь навстречу

нам вырастал молодой ярко-зеленый лесок, над вершинами которого уже исчезали меловые скалы. Наша дорожка внезапно вбежала в пространство, обнесенное с двух сторон городьбой, кое-где даже плетнем, не часто употребляемыми в этих местах, и вскоре дымок засинел перед нами на зеленой стене леса.

Мы оглядывались с удивлением: пашни, хотя и нечастые, составляют, однако, обычное явление в этих недалеких улусах, но огородов якуты совсем еще не знают. Кое-где, правда, проезжая по наслегам, мы встречали клочки земли, старательно обнесенные высоким налеса-дом или тыном и напоминавшие вдали от жилья кладбища или старые языческие мольбища, огражденные от взоров посторонних. Но это были только наслежные огороды. Один из губернаторов, прекраснородушный немец, большой знаток и любитель огородничества, предписал строжайшими циркулярами, чтобы по всем наслегам были заведены огороды. Якуты в точности исполнили волю начальства — отвели по клочку земли и обнесли кренчайшими частоколами, оставив лишь один вход, запертый на замок, ключ от которого вручался особому выборному лицу. Дальше, однако, дело не шло. Губернатора давно уже нет, но до сих пор тщательно огражденные пустые участки свидетельствуют об его попечениях. Следы межников и грядок давно исчезли под необыкновенно буйной порослью белены и чертополоха, защищенных от лугового ветра...

Теперь перед нами лежал настоящий, отлично разделанный огород. Высокие грядки уже зеленели ботвой картофеля и кудрявыми султанчиками моркови. Бледно-зеленая канустная рассада торчала рядами в неглубоких лунках, еще темных от обильной поливки. По кольям завивался горох, в небольшом срубе примитивного парника уютно зеленели побеги огурцов, видимо тщательно оберегаемых от утренних коротких, но резких заморозков. Невдалеке волновалась нивка колосившейся озими.

Но что всего более удивило нас — это небольшая избышка, стоявшая посреди этого заколдованного уголка. Это была не юрта с наклонными стенами и не сибирский «амбар» с прямым срубом и плоской земляной крышей, а настоящая малорусская хатка с соломенной стрехой и тщательно обмазанными стенами. Только окна частью

из слюды, частью из осколков стекла, вставленных в узорно вырезанную берестяную рамку, отличали это жилище от какой-нибудь черниговской или полтавской «хатынки». Изумленный неожиданностью взгляд повольно искал колеса с семьей аиста на крыше и высокого «журавля» криницы. Но вместо аистов над поляной носились северные орлы с пронзительным криком молодого жеребенка, а в кринице, видимо, не было надобности: в нескольких десятках сажень за избушкой, тяжело отражая безоблачное небо, лежало небольшое озерко. На середине его, точно раскиданные кем-то черные комья, дремала стайка уток, беспечно уткнув головы под крылья...

Утки были дикие, лес был лиственный, сибирский, чуждый и этой хатке, с ее соломенной крышей, и этим грядкам...

Мой товарищ, природный украинец, приподнялся на стременах, и лицо его даже слегка покраснело под слоем загара. Он смотрел кругом, но никого и ничего не было видно. Ветер тихо шевелил соломою крыши, чуть-чуть шелестела тайга, и жалобный переливчатый крик орленка или коршуна один резко нарушал тишину. Казалось, вот-вот сейчас дрогнет что-то и вся эта иллюзия малороссийского хуторка на дальнем севере расплывется, как дымное марево...

— Эй, а кто тут в бога вируе? — крикнул мой спутник на родном языке, на котором, впрочем, не говорил при мне еще ни разу.

Что-то зашуршало под тыном, вплоть около пас.

— Ой, лішенько! — сказал как будто испуганный женский голос, и худощавое молодое лицо с черными глазами вдруг поднялось над заплотом. Лицо было смугло, голова повязана по-малорусски «кичкою», глаза быстрые, живые и несколько дикие смотрели с выражением любопытства и испуга. Было ясно, что женщина, застигнутая врасплох появлением незнакомых людей, нарочно притаилась под плетнем в надежде укрыться от непрошенных гостей.

— Здоровеньки були, — весело сказал мой товарищ.

Незнакомка кивнула головой, и в ее выразительных глазах любопытство ясно пересилило испуг. Она поднялась над заплотом и наклонилась, оглядывая нас быстрым сверкающим взглядом, от голов до копыт наших лошадей... По-видимому, этот осмотр не разъяснил ей

ничего: ее тревога не усилилась и не рассеялась, а любопытство оставалось неудовлетворенным. Но в ее черных глазах все-таки мелькало скорее нерасположение. Видимо, смуглянка надеялась, что мы спросим, как выехать на проезжую дорогу, и отправимся своим путем далее.

Но мы не торопились и к тому же были слишком заинтересованы.

— Чья эта хатка? — спросил мой товарищ.

— А вам на что? — ответила незнакомка вопросом и неохотно прибавила: — Ну, Степанова та моя.

«Что же вам еще нужно и почему вы не уезжаете?» — как будто говорил ее неприветливый взгляд.

Но имя Степана заинтересовало нас еще больше. Мы уже не раз слышали об этом поселенце, слышали также, что у него отличное хозяйство и красивая хозяйка. Об этом рассказывал, между прочим, в один из своих приездов в слободу заседатель Федосеев, человек добродушный, веселый и порядочно распушенный. Он считался, между прочим, большим допжуаном. Однако на игривую шутку почтового смотрителя на этот раз он слегка покраснел, как-то озабоченно поднял брови и покачал головой.

— Ну, нет, батюшка, ошиблись, — сказал он серьезно. — У них там, на озере, настоящая... настоящая... как это, господа, говорится по-книжному?..

— Идиллия? — подсказал кто-то из нас.

— Ну, вот-вот! Да и Степашка этот из себя молодец. Сюда попал за бродяжество, а видно, что ухорез. В случае чего — головы, подлец, не пожалеет... И при этом считает себя как бы в законе...

— Медведь их, что ли, в тайге обвенчал, — не унимался смотритель.

— Черт их знает... По бродячеству, говорит, венчаны... Обряд будто бы тоже какой-то...

— Уж будто вы так и отступились? — сказал смотритель насмешливо. Федосеев наморщил брови, покраснел и с досадой пожал плечами.

В пустынных местах удельный вес человека, в особенности человека хоть чем-нибудь выделяющегося, — вообще больше, и имя Степана «с озера» или с «Дальней заимки» произносилось в слободе с оттенком значительности и уважения. «Мы с Степаном довольно знакомы», — хвастливо говорили поселенцы, а якуты весело кивали головами: «Истребан биллем» (Степана

знаем)... Совершенно понятно, что теперь, когда мы случайно попали к этому человеку, нам не хотелось уезжать от его заимки, не познакомившись с хозяином.

— А где же сам Степан? — спросил я, оглядываясь и подыскивая предлог остаться.

— Нема Степана. У слободу поехал, — ответила молодая женщина как-то торопливо. — Не скоро и воротится...

И ее черные глаза впились в мой верблюжий кафтан с разводами на полах, какие носят приискатели. Казалось, человек в таком кафтане в особенности не мог рассчитывать на ее снисходительность.

— Ну, езжайте с богом, — закончила она бесцеремонно. — Нема и нема Степана. Где ж мне его взять... А вам здесь оставаться не можна.

Мы переглянулись с товарищем, и он уже было тронул лошадь, как вдруг на озере, на другом берегу, грянул выстрел. Взвился белый дымок, утки, скорее изумленные, чем испуганные, тяжело подымались над водой, взмахивая серповидными крыльями, с трудом уносившими грузные тела. Орлята заржали неистово и злобно; по озеру, оживляя сонную поверхность, засверкали круги, и на минуту тревожная суeta наполнила весь этот тихий угол.

Но только на минуту. Круги скоро улеглись, вода выгладилась, стая уток скрылась за верхушками леса... Только на самой середине неподвижно лежали две убитые птицы, а от берега отчаливал небольшой плот. Стрелок торопливо толкался шестом, по временам прикрывая глаза рукою и глядя из-под ладони по направлению к нам.

— Эге!.. Скоро же Степан вернулся из слободы, — засмеялся мой товарищ. Но молодая женщина, несколько не сконфузившись, пожала плечами и посмотрела на нас откровенно неприязненным взглядом.

Между тем стрелок, подобрав уток, причалил к берегу, соскочил с плота и торопливо направился к нам, перескакивая через городьбу и шагая через грядки. Подойдя на несколько шагов, он отдал женщине ружье и кинул на землю уток.

— Милости просим, господа, — сказал он, вежливо снимая шапку. — Слезайте с коней.

— Да нам тут объявили, что вас нет дома, — сказал мой спутник, улыбаясь. Степан посмотрел на женщину

быстрым и гневным взглядом, но она встретила этот взгляд беззаботно и вызывающе.

— Опять ты, Маруся, за старое... Дура,— грубо сказал Степан.— Ну, ставь чайник, живее... Птицу возьми! Пожалуйте, господа! Мы хорошим людям рады...

Женщина быстро нагнулась и подняла птицу, а затем еще раз окинула нас своим диким взглядом. По-видимому, какой-то оттенок в обращении Степана заставил ее задуматься, и только мой кафтан по-прежнему внушал ей сомнение. В конце этого вторичного осмотра она все-таки улыбнулась, вскинула на плечи ружье, и ее стройный стан быстро замелькал между грядками. Босые загорелые ноги, видневшиеся из-под короткой юбки, привычно и ловко ступали по глубоким и узким огородным межам.

— Извините, господа! Дикая она у меня,— сказал Степан с оттенком самодовольства, заметив, что мы любим его Марусей.— Она, видите, думала, что вы — прискатели.

— А если бы прискатели? Так что же?

— Звали тут меня... в присковую партию,— ответил он, глядя как-то в сторону...— Дайте-ка я ваших лошадей привяжу. Пожалуйте вот сюда.

И он пошел впереди, ведя в новоду лошадей. Это был человек высокого роста, с широкими плечами и стройным тонким станом. У него были светло-голубые глаза, светло-русые волосы и почти совсем белые усы, странно выделявшиеся на сильно загорелом красном лице. Его можно было бы назвать красавцем, если бы не тусклость точно задернутого чем-то взгляда, и не эти слишком уже светлые усы на темном лице. Губы у него были полные, с какой-то странною складкой — грубоватой и портившей довольно благоприятное общее впечатление. Во всей фигуре чувствовалось что-то уже как бы надломленное, не вполне нормальное, хотя и сильное. Родом он, как оказалось после, был с Дона.

II. «Бродяжий брак»

Через полчаса мы лежали на сочной траве, недалеко от избушки. На земле потрескивал костер, и в железном котле закинала вода.

Кругом опять вошла в колею жизнь пустыни. Орлята и коршуны заливались своим свистом и ржанием, переливчатым и неприятным, по ветвям лиственниц ходил ленивый шорох, и утки, забыв или даже не зная о недавней тревоге, опять лежали черными комьями на гладкой воде озера.

Маруся, казалось, готова была примириться с нами. Она вступила в роль хозяйки, поставила чайник и усеялась было около Степана, ожидая, пока вода закипит у огня. При этом исподлобья она взглядывала на нас с выражением застенчивого любопытства. Но мой товарищ, в свою очередь окинув ее пристальным взглядом, сказал:

— А вы, землячка, кажется, из-под Чернигова? Или с Полтавщины?

Молодая женщина вся вздрогнула, как от внезапно-го удара. По лицу ее пробежала резкая судорога, она с ненавистью взглянула на неосторожного допросчика и быстро поднялась на ноги. При этом она нечаянно толкнула чайник и, не обращая внимания на то, что вода лилась на угли, скрылась в дверях избы.

Степан слегка нахмурился и, поправив чайник, сказал:

— Теперь уж не подойдет... И чай пить не станет... Напрасно спросили.

И, поправив несколько заглохший огонь, он прибавил задумчиво:

— Всегда вот так. Теперь я уже и не спрашиваю... Плачет... Или ударится о землю... Пена изо рта, как есть порченая! Так и сам не знаю,— откуда она родом...

Он замолчал. Фигура молодой женщины мелькнула около избышки и скрылась в другом конце огорода. Через некоторое время оттуда донесся мотив какой-то песни. Маруся пела про себя, как будто забыв о нашем присутствии. Песня то жужжала, как веретено в тихий вечер, то вдруг плакала отголосками какой-то рвущей боли... Так мне, по крайней мере, казалось в ту минуту.

— Марья! — крикнул было Степан. — Ну, иди, что ли! Что в самом деле: не съели тебя...

Женщина не ответила, но песня смолкла. Всем нам стало томительно и неловко.

— Эх... нехстати маленько спросили,— сказал опять

Степан. — Может, обошлось бы. Она ведь у меня занятая... Иной раз разойдется, песни заиграет...

— А когда вы с нею встретились? — спросил я, чтобы поддержать разговор. — И если вам не неприятно, расскажите, как это вы венчались бродяжьим браком?

— Слышали, значит? — спросил Степан, встрепешувшись. — Нет, что же... У меня этого нет... Да что! Здесь такая сторона: никому нет дела! Я даже письма из дому получал...

В его лице появились признаки оживления. Видимо, воспоминания, на которые навел его мой вопрос, не были ему неприятны. Он только оглянулся в сторону Маруси и сказал, немного понижая голос:

— Если вам рассказать, например, всю историю, как мы с нею сошлись, то это даже очень любопытно... Дело то, если говорить по порядку, начинается с каторги. Значит, ранней весной выбежали мы с товарищем с N-ских рудников. Только снег прошел... Речки еще играли. Ну, сначала скрывались поблизости, в тайге, подобно как звери. Бедствовали сильно. Потом выбились-таки на дорогу, к Чите подходить стали, месяца уже через полтора. Дождь, помню, шел с ночи... А дождь перестанет — туман... Так на горах и висит. Ну, дело по бродяжеству привычное. Идем, отряхаемся. Дождь, дескать, вымочит, ветер высушит. Наплевать! Третий тут еще к нам прикомандировался, бродяжка тоже... Иваном назвался. Только верст этак, может, на десять от городу вдруг из тумана двое на нас: «Стой, что за люди?» Потом посмотрели и говорят: «Нет, не те. Тоже варначье, да нам на этот раз не надобны. Черт с вами». И побежали дальше. Опомнились мы, перекрестились... «А ведь это, братцы, — говорит нам товарищ, — тревога! Непременно из замка кто-нибудь убежал. Надо нам с дороги-то податься в сторону». — «Давайте, — я говорю, — пойдем лучше за ними. Эти не тронули, а на других наткнемся, еще бог знает...» Ну, и пошли мы в ту самую сторону, куда эти двое побежали...

А в эту ночь, действительно, Маруся еще с подругой одной — из острога выбежали. Редкость это, конечно, что женщины бегут, ну, тут, правда, помощь им была... В Читу пришли они в партии. Сами знаете, каково женщине в нашем быту...

— Да, подлость большая! — утрюмо сказал мой товарищ.

— Каторга верховодит,— пояснил Степан.— Продаются баб, как скотину, в карты на майдане проигрывают, из полы в полу сдают. Ну, а она вдобавок — бедовая, непокорлива. И теперь знак есть: пожиком один пырнул. Как уж там было, бог ее знает, только слюбилась с одним... Тот ухарь был тоже, в обиду уже не давал. Вместе и в Забайкалье пришли. Ему на поселение, ей — в каторгу, только он так порешил, что им не расставаться. Ну, они две с подругой — в лазарет слегли, под видом болезни, а он билет взял и уже около тюрьмы рыщет... Сговорились. Лазарет к тому же по случаю перестройки был за оградой... У Даши тоже друг был, высидочный, и тоже с нею бежать надумал. Вот раз эта Даша и говорит надзирателю: «Принеси четверть вина». — «Рад бы, говорит, принести, да без старшего нельзя». А старшой... сказать вам...

Он запнулся, слегка покраснел, кинул быстрый взгляд в ту сторону, где мелькала над грядками фигура Маруси... Она полола, и до нас опять долетало жужжание ее тихой песни. Степан некоторое время молчал, наткнувшись в рассказе на неожиданное препятствие. Мы не решались торопить его.

— Ну! — сказал он наконец, тряхнув головой. — Что уж тут, сами понимаете: каторга не свой брат. Так уж... что было, чего не было... только в этот вечер пошел у них в камере дым коромыслом: обошли, околдовали, в лоск уложили и старшого, и надзирателя, и фершала. Старшой так, говорили, и не очухался... Сами знаете, баба с нашим братом что может сделать... А тут о головах дело пошло... Притом же — сонного в хмельное подсыпали...

Он остановился и затем продолжал уже свободнее:

— А на дворе дождь... Так и хлопчет, пылит, ручьи пошли. Мы эту погоду клянем в поле, а им самое подходящее дело. Темно. Дождь по крыше гремит, часовой в будку убрался да, видно, задремал. Окна без решеток. Выкинули они во двор свои узелки, посмотрели: никто не увидал. Полезли и сами... Шли всю ночь. На заре вышли к реке, куда им было сказано, смотрят, а там — никого!

Друзья-то, значит, сплеховали! Сошлись к вечеру у притонщика да, может, вспомнили, что теперь в лазарете делается. Ну, с горя хватили. Известно, слабость. Там еще бутылочку... Захмелели, да так, подумайте, и про-

спали ночь!.. На заре прокинулись: в городе уже тревога, выйти нельзя!

Так они от них и потерялись. Этим ждать нельзя, тем нельзя выйти. Перешли они реку, пошли тайгой на милость божью. А мы на тот случай тоже от греха сошли с дороги, идем лесными тропками. Стали опять на дорогу выбиваться, только третий товарищ отстал: прошлогодную ягоду все искал под кустами. Догоняет он нас и говорит: «Послушайте, братцы, что я скажу вам: тут вот две женщины в тайге сидят и плачут». — «Что ты, бог с тобой, каким тут женщинам быть». — «Не знаю, — говорит, — только юбки на них серые, арестантские». Удивились мы, а тут смотрим: вышли и они на тропу и остановились. Испугались, конечно. Ну, только все-таки мы пошли, они за нами. И подойти бояться, и отстать страшно...

Мы идем, смеемся себе. Выбились на проселок. Дождь кончился, от нас на солнышке пар валит. Встретили сибиряка, трубочки закурили, потом сошли в овражек и сели. Они подошли, остановиться-то уж им неловко, идут мимо, потунились.

«Здравствуйте, говорим, красавицы». — «Здравствуйте». — «Кто вы такие будете?» — «Поселки... Идем в такую-то волость».

И называют, действительно, волость, которая впереди. Научены. Ну, однако, я спрашиваю дальше: «Где же вы судились?» — «В Ирбите». — «А за что?» — «За бродяжество. От мужей». — «Ну, уж это, говорю, извините, неправильно. Ежели бы вы в Ирбите судились за бродяжество, то надо вам не на поселение, а в каторгу. В Камышловое — дело другое». Слово за слово, спутались они, заплакали. «Не обижайте, говорят, нас, господа!» — «Мы обижать никогда не согласны. Сами обижены, ну только понимаем мы так, что из-за вас была тревога. Как же теперь: хотите с нами дальше идти?» — «Нам, говорят, с вами вместе никак нельзя... Идите вы вперед, мы уж как-нибудь, ежели не хотите обижать, за вами. Потому что мы не какие-нибудь и могут нас наши друзья догнать...»

Пошли мы этак. Идем впереди трое, я и говорю: «Вот что, господа. Ежели придется так что нам этих женщин взять себе — как быть: их две, нас трое». Вот Иван, который после пристал, и говорит: «Берите себе, ребята, мне не надо. Мне и одному трудно, и годы не те. Не интересуюсь я. Они вместе шли, вы тоже вместе, вам и

кстати. А я, может, отстану скоро». Справедливый был бродяга, нечего сказать.— Ну, это, говорим, хорошо. Без спору. Теперь нам двоим разбираться. «Ты, говорю, товарищ, как хочешь?» — «Насчет чего?» — «Которую взял бы?» — «А ты?» — «Обо мне речь впереди. Говори сам». — «Ну, я, говорит, ту, которая повыше». Вот дело. Мне-то, признаться, Марья сразу в глаз пала...

Пошли. Они за нами идут. Конечно, дело женское. Нам и для них стараться надо. Запас вышел. В деревни, на займки заходим, под окнами милостыню просим, кондаки эти тянем. Добываем и на себя, и на них. Чай станем варить — вместе сойдемся. Ночевать — уж они где-нибудь захоронятся... Шли таким родом с неделю. Стали к Селенге подходить. Перевалили в одном месте через гору. Смотрим: на бережку люди сидят, дымок у них; видно, что бродяги, плот готовят, человек шесть. Вот Иван подозвал женщин и говорит: «Глупо вы это делаете: друзья ваши, может, попались, может, запили, след потеряли. Теперь, ежели в артель ничьи войдете, ведь это грех выйдет из-за вас. Хотите с этими людьми дальше идти — говорите». Ну, они, конечно, видят, что это правда. Со старыми друзьями дело разошлось... При том же, обзнакомились мы. Когда пошутим, когда посмеемся. Видят, что мы с ними по-благородному, не пьяницы, не буяны. Говорят: согласны.

Так мы и к артели этой пристали. Те нам рады: река быстрая, плыть трудно.

— А насчет женщин как же? — спросил мой товарищ.

— Что ж насчет женщин? — ответил Степан.— Пришли мы к ним уже не чужие... Притом же артель.

— Ну, в тюрьмах тоже артели,— сказал тот скептически.— Знаем мы артели ваши!

— Знаете, да, видно, не всё,— несколько обиженно ответил Степан.— Конечно, в тайге, с глазу на глаз... Тут иной подлец из-за бродней товарища не пожалеет. Ну, что касается в артели, да если есть старики... Вы вот послушайте дальше. Тут, можно сказать, дело у нас помудренее вышло, невесть как и расхлебывать-то пришлось бы... А обошлось благородно.

— Сгношили мы немаленький плот,— рассказчик опять повернулся ко мне,— поплыли вниз по реке. А река дикая, быстрая. Берега — камень, да лес, да пороги. Плыдем на волю божью день, и другой, и третий.

Вот на третий день к вечеру причалили к берегу, сами в лощине огонь развели, бабы наши по ягоды пошли. Глядь, сверху плывет что-то. Сначала будто бревнушко оказывает, потом ближе да ближе — плотинко. На плоту двое, веслами машут, летит плотик, как птица, и прямо к нам.

«Здравствуйте, говорят».

«Здравствуйте».

«Можно к вашему огню присесть?»

«Садитесь, если вы добрые люди».

«Мы, говорят, вашего поля ягоды. Гонимся за вами сколько время, насилу догнали».

«Что же вам за надобность? Мы вас не знаем».

«Может, кто и признает... Все ли вы тут в сборе?»

«Не все в сборе: две женщины вот по ягоды пошли».

«Ну, подождем. Придут они — мы свое дело скажем».

Посидели, поговорили о разном. О деле ни слова. Как тут глядим: идут и наши женщины из лесу. Только стали к берегу подходить, гляжу я: встала моя Марья как вкопанная. Лицо блее рубашки. Дарья посмотрела, только руками всплеснула.

«Ну, вот, — говорят гости, — спросите теперь у этих женщин, знают ли они нас? Может, отрекутся».

Признаться, упало у меня сердце: ежели, думаю, теперь отдать мне ее другому, лучше не жить...

Дарья, посмелее, вышла вперед и говорит:

— Не отрекаюсь. Вы с нами в партии шли, из тюрьмы вызволяли. Зачем потеряли?

— Мы потеряли, другие нашли. Чья находка? — говорит один повыше. — Вас тут семеро, нас двое... Какая будет ваша правда? Посмотрим мы, а отступить не согласны.

Я говорю: «Мы, братцы, тоже не отступимся. Будь что будет». Ну, старики нас развели и говорят: «Вот что. Вы, ребята, к нам недавно пристали, а тех и вовсе не знаем. Но как у нас артель, то надо рассудить по совести. Согласны ли? А не согласны, — артель отступится. Ведайтесь, как знаете...»

Мы, делать нечего, согласились, те тоже. Стали старики судить, Иван с ними. Те говорят: «Мы с ними в партии шли. На майдане купили, деньги отдали, из тюрьмы вызволяли». Мы опять свое: «Верно, господа, так. А зачем вы их потеряли? Мы с ними, может, тыся-

чу верст прошли не на казенных хлебах, как вы. По полсутки под окнами кланчили. Себя не жалели. Два раза чуть в острог не попали, а уж им-то без нас верно, что не миновать бы каторги».

Старики послушали наши споры, потом потолковали между собой и говорят нам:

«Все ли вы, ребята, с этими женщинами на поселении жить соглашаетесь или дорогой идти, потом бросить?»

Мы, конечно, говорим: согласны жить.

«Ну, так мы, дескать, вот как обсудили. Майдан теперь вспоминать не к чему. Это дело тюремное, на воле этот закон не действует. Из тюрьмы вы их вызволяли, так опять след потеряли от своей слабости. Опять это ни к чему. Ни на которую сторону не тянет. Спросим теперь самих женщин».

— Догадались все-таки! — усмехнулся мой товарищ.

— Это, конечно... правильно, — сказал Степан. — Ну, призвали женщин. Даша заплакала: «Ежели бы вы, говорит, след не потеряли. Мы сколько время шли с ними, они нас не обижали...» А Марья вышла вперед и поклонилась в пояс.

«Ты мне, говорит, в тюрьме за мужа был. Купил ты меня, да это все равно. Другому бы досталась, руки бы на себя наложила. Значит, охотой к тебе пошла... За любовь твою, за береженье в ноги тебе кланяюсь... Ну, а теперь, говорит, послушай, что я тебе скажу: когда я уже из тюрьмы вышла, то больше по рукам ходить не стану... Пропил ты меня в ту ночь, как мы в кустах вас дожидались, и другой раз пропьешь. Ежели б старики рассудили тебе отдать, только б меня и видели...»

Тот только потушился, слова не сказал. Видят, что дело их не выгорело. Один и говорит: «Я теперь в свою волость пойду», а другой: «Мне идти некуда. Одна дорога — бродяжья. Ну, только нам теперь вместе идти нехорошо. Прощайте, господа». Взяли котелки, всю свою амуницию, пошли назад. Отошли вверх по реке верст пяток, свой огонек развели.

Долго я ночью не спал, на их огонек глядел. Темною ночью огонь кажется близехонько. Думаю: на сердце у него нехорошо теперь. Если человек отчаянный, то, может, огонь у него горит, а он берегом крадется... Ну, однако, ничего. Наутро — еще гор из-за тумана не видно — мы уж плот свой спустили...

Он замолчал.

— Ну, а как же вы сюда-то вместе попали?

— Это уже дело проще. Зимовали у сибиряка в рабочих. На другую весну опять пошли. Довел я ее до Пермской губернии. В Камышлове арестовались, показали па одно имя... Судят за бродяжество в каторгу, а за переполнением мест — в Якутскую область. В партии уже вместе шли, все равно муж и жена...

III. Пахарь Тимоха

Долгий летний день все еще горел своим спокойным светом, только в воздухе чуялось постепенное охлаждение. Зной удалялся незаметно вместе с блеском и яркостью красок.

Степан предложил поохотиться на гусей. Мой товарищ согласился. Я отказался и пошел от скуки пройтись по лесу. В лесу было тихо и спокойно, стоял серый полумрак стволов, и только вверх играли еще лучи, светилося небо и ходил легкий шорох. Я присел под лиственницей, чтобы закурить папиросу, и, пока дымок тихо вился надо мною, отгоняя больших лесных комаров, меня совершенно незаметно охватила та внезапная сладкая и туманная дремота, которая бывает результатом усталости на свежем воздухе.

Меня разбудили чьи-то мелкие шаги. Между стволов мелькала фигура Марьи; в руках у нее был платок с завязанным в нем горшком и хлебом. Очевидно, она несла кому-то ужин.

Кому же? Значит, население этого уголка не ограничивается Степаном и Марусей... Есть кто-то третий. И в самом деле, трудно было представить, что весь этот уголок разделан руками только двух человек. Для этого нужно было много упорного труда и своего рода творчества. Я вспомнил, каким тусклым и безучастным взглядом Степан смотрел на свои владения... Едва ли он играл в этом творчестве особенно видную роль. На всем здесь лежала печать Маруси, ее личности и ее родины. Но все-таки этого было недостаточно. Нужна была еще чья-то упорная сила, чьи-нибудь крепкие мускулы...

Фигура женщины исчезла между стволами. Я выкурил еще папиросу и пошел в том же направлении,

интересуясь этим неведомым третьим обитателем хутора.

Вскоре передо мной мелькнула лесная вырубка. Распаханная земля густо чернела жирными бороздами, и только островками зелень держалась около больших, еще не выкорчеванных пней. За большим кустом, невдалеке от меня, чуть тлелись угли костра, на которых стоял чайник. Маруся сидела вполоборота ко мне. В эту минуту она распустила на голове платок и поправляла под ним волосы. Покончив с этим, она принялась есть. С ней был еще кто-то, но за кустом мне его не было видно.

Один мой знакомый, считавший себя знатоком женщин, сделал шутливое замечание, что любовь крестьянской женщины легко узнать по тому, с кем она охотнее ест. Это замечание внезапно мелькнуло у меня в голове при взгляде на спокойное лицо Маруси. С нами она была дика и неприступна; теперь в ее позе, во всех ее движениях сквозила интимность и полная свобода.

Мое положение невольного соглядатая показалось мне не совсем удобным, и потому, отступя несколько шагов по мягкому мху, я вышел на полянку в таком месте, где меня сразу могли заметить.

Мои подозрения рассеялись тотчас же, как только, приблизясь, я разглядел собеседника Маруси.

Это был человек, которому даже при пылком воображении трудно было навязать роль соперника удалого Степана. В то время как на последнем все было чисто и даже, пожалуй, щеголевато, — работник весь оброс грязью: пыль на лице и шее размокла от пота, рукав грязной рубахи был разорван, истертый и измызганный олений трех беззаботно покрывал его голову с запылевыми волосами, обрезанными на лбу и падавшими на плечи, что придавало ему какой-то архаический вид. Такими рисуют древних славян. Возраст его определить было бы трудно: сорок, сорок пять, пятьдесят, а может быть и значительно менее: это была одна из тех кряжистых фигур, покрытых как будто корою, сквозь которую не проступит ни игра и сверканье молодости, ни тусклая старость. Глаза, выцветшие, полинялые от солнца и непогоды, едва выделялись на сером лице, и, только приглядевшись, можно было заметить в них искру добродушного лукавства.

Плохие якутские торбасишки он снял на время от-

дыха, и огромные ступни его торчали как-то нелепо из-под синих дабовых штапов.

— Хлеб-соль! — сказал я, кланяясь.

Он смотрел на меня несколько секунд, не отвечая, и потом сказал:

— Милости просим, хлеба кушать...

— Можно присесть?

— Садись, не просидишь места.

Маруся не обратила на меня никакого внимания.

Незнакомец зачерпнул несколько раз ложкой из горшка и, еще рассмотрев меня с деловитым любопытством, спросил:

— Из каких местов будете? Расейские?

Я назвал свою губернию.

— Это что же, под Киевом?

— Да.

— Далече же, — произнес он и, отложив ложку, перекрестился. — Спасибо, хозяйка.

— А вы откуда родом?

— Мы-то? Мы калуцкие.

— А здесь давно?

— Здесь-то... Да уж, как тебе сказать, годов десятка полтора будет.

— Давно! — вырвалось у меня невольно.

— А мне, так будто и недавно. Поживешь сам годов с пяток, а там и не заметишь... Объявляли, скажем, манифесты. Мне хоть сейчас ступай куда хошь, хоть в Иркутской... Да куда пойдешь? Далеко!

Мне опять вспомнился Степан, выбежавший из ка-торги, прошедший с Марусей всю Сибирь, и я с невольным жутким чувством посмотрел на этого человека, напоминавшего обомшелый пенъ, выкинутый волной на неприветливую отмель.

Он вынул из кармапа кисет и трубку и потом взял из пепелища горячий уголь, который, казалось, несколько не жег его руку...

— Куда пойдешь? — сказал он, выпуская дым изо рта, и мне стало еще более жутко от этой безнадежности, потерявшей даже свою горечь... — Нет, брат, попал сюда, тут и косточки сложишь...

Он посмотрел на меня из-за клубов дыма, и какая-то мысль залегла где-то в неясной глубине его серых глаз.

— Этакой же вот Ермолаев был, когда мы с ним в дальном улусе встретились. Молодой... Я, говорит,

здесь не заживусь... Не зажился: теперь уж борода седая...

И он опять посмотрел на меня.

— Вы это о каком Ермолаеве говорите? О Петре Ивановиче? — спросил я.

— Ну, ну, знакомцы, видно?

— Встречались.

Он откинулся спиной на пень и принял позу человека, наслаждающегося отдыхом.

— Да... жили мы с ним, — сказал он, вспоминая что-то. — Душевный человек. Ну! чудак... А не говорил он тебе про меня?

— Нет, не говорил...

— Про Тимоху-то?.. Как мы с ним в улусе землю зачали пахать?

— Нет, не говорил. А вы расскажите сами.

— Рассказать тебе?.. Пожалуй, еще не поверишь...

— Расскажи, — вдруг тихо и застенчиво вмешалась Маруся...

— Любит, — сказал Тимофей, усмехнувшись в сторону Маруси. — Все одно — сказку ей рассказывай...

Он затаился махоркой, посмотрев кверху, где тихо качались верхушки лиственниц и плыли белые облака, и сказал:

— Да... и верно, что сказка. Поди, в нашей деревне тоже не поверят, какие народы есть у белого царя. Значит... пригнали меня в наслег, в самый дальней по округе. А Пётра-то Иваныч там уже. Сидит... в юрешке в махонькой, да книжку читает...

В глазах рассказчика мелькнул чуть заметный насмешливый огонек.

— Ну, я, конечно, русскому человеку рад: «Здравствуйте, говорю, ваше благородие». Потому вижу: обличье барское. «Какое, говорит, я благородие. Такой же, говорит, жиган, как и вы». — «Ну, это, говорю, спасибо на добром слове. А как вас величать?» — «Пётра, говорит, Иваныч. А вас?» — «А я, говорю, Тимофей, просто сказать, Тимоха, дело мое мужицкое». — «Нет, говорит, не идет это...» Чудак!.. Так и пошло у нас: я ему — Пётра Иванович... А он мне: Тимофей Аверьянович!.. А генеральской сын... Ну, хорошо. Напоил меня чаем, потом сел на ороне, смотрит на меня. Я на него смотрю... «Что же, говорит, теперь мы с тобой, Тимофей Аверьянович, делать будем?» — «Не знаю, говорю, Пётра Иванович. Кабы так что лошадь, да соха, да семена — землю бы

пахать, чего боле! Да, вишь, нет ничего. Палкой ее не сковыряешь, песком не засеешь». — «Это бы, говорят, ничего. Об лошади дело малое, соху, пожалуй, тоже — хоть далеко — достанем. Да я сроду не пахивал». — «Это, говорю, ничего. Ты не умеешь, я умею. Уродит бог, оба сыты будем. Земли, слышь, много, земля, я поглядел, хороша».

В это время издалека допесся звук выстрела.

— Постреливает твой-то... хозяин, — сказал Тимоха с юмором, обратясь к Марусе. Мне показалось, что по лицу молодой женщины прошла какая-то тень.

— Ну, — продолжал Тимофей, — кушил он лошадь, за сошником да лемехом за двести верст смахал. Сладил я соху, выбрали местечко под лесом. Здесь лес хороший, сладкий. У сосны, брат, прямо тебе скажу, никогда не пани, потому — сосновая игла едучая. А листвень много слаще... Поехал мой Пётра Иваныч за семенами к скопцам, а тут как раз и ударь дожжиком, да те-еплым. Снегот мйгом съело, пошла из земли трава. Так тебе и лезет, все одно на опаре. Ну, думаю: когда так, то, видно, зевать нечего. Помолился да на зорьке выехал с сошкой... Налей-ка ты мне, хозяйка, еще чашечку.

Марья налила в чашку густого кирпичного чаю, подала Тимофею и тотчас же уставилась в него своими странными черными глазами. Тимофей налил чай на блюдце и поставил на траву, рядом с собой.

— Побился я этот день порядочно, — продолжал он, — земля-те сроду не пахана, конь якутской дикой: не то что на него надеяться: чуть зазевался, уж он поровит порскнуть в лес, да я с сохой. Известно: каковы хозяева, такова и животная. Ну, однако, обломал я его: руки вожжами мало из плеч не вытянул, а все-таки к вечеру с четверть десятины места отпластал. Посмотрел на пашенку — сердце в груди взыграло: зпачит, сподобил господь в пустыне пашенку поднять. Лежит моя полоска на взлобочке — бархат... Однако пора пришла и шабашить. Дело субботнее: в нашей, мол, деревне, пожалуй, уже и к вечерням ударили. И ведь вот, братец мой, чудесное дело: только я это подумал, — слышу, — и верно ударило. Раз, другой, третий... этак вот из-за лесу наносит — звон, да и только. Снял я шапку лоб перекрестить, да вдруг и вспомнил: с нами сила крестная. Да ведь здесь и церкви-то верст, почитай, на пятьсот нету!..

Из груди Маруси вылетел долгий вздох.

— Ну, пошабашил все-таки, приехал домой. А изба наша, тебе сказать — юртенка, недалеко была за перелеском, с версту не более от пашни. Подъезжаю,— а у моей юрты два вершние якута сидят. Лошадей к лесине подвязали, сами на бревне беседуют, дожидаются. Раньше тоже тут все вертелись. Я, значит, пашу, а они, ухастые, кругом рыщут да смотрят. Ну, мне будто ни к чему: не на разбой выехал, на пашню. Смотри, кому охота. Подъехал, честь честью, здороваются, я тоже. Зовут на муняк (сходка) к тойонше. Сказать вам по порядку, так была в нашем улусе за начальника баба, по-ихнему тойонша, вдова родовича богатыря. Ну, язва! Все, значит, что мы ни делаем, ей известно. Я борозду кончил, другую веду, уж ей обсказали. И значит, зовет меня к себе. Ладно, мне что: зовет, надо идти. Наутро, праздничное дело, рубаху чистую надел, иду к ней, потому все-таки, как бы там ни было, начальница считается. Прихожу. Кругом юрты лошадей навязано много. Сама на дворе сидит... Поклонился я, стал в стороне: что, мол, будет. Забалакали они по-своему, ничего, будь прокляты, не поймешь. Потом зовет меня ближе.

«Ты, говорит, нюча (русский), чего это делать задумал?»

«Ну, мол, известно чего: землю пашу». Значит, я ей говорю по-своему, по-русски, а старик якут переводит.

«Не моги, говорит, ты этого делать. Мы, говорит, хоть об этом заведении слыхивали, но, однако, в наших местах не дозволим».

«Как же, я говорю, не разрешите? Ежели нам земля отведена, то, стало быть, я ей хозяин, глядеть мне на нее, что ли?»

«Землю, говорит, мы тебе отвели для божьего дела: коси, что бог сам на ней уродит, а портить не моги».

Вот и подумайте, какое ихнее попятие! Ну, однако, вижу, стоят кругом родовичи, ждут, что ихней бабе русский человек может от себя соответствовать. «Это, я говорю, вы вполне неправильно объясняете, потому как бог велел трудиться».

«Трудись, говорит. Мы тоже, говорит, без труда не живем. Когда уже так, то согласнее мы тебе дать корову и другую с бычком, значит, для разводу. Коси

сено, корми скотину, пользуйся молоком и говядиной. Только греха, говорит, у нас этого не заводи».

«Какой грех?» — говорю.

«Как же, говорит, не грех? Бог, говорит, положил так, что на тебе, например, сверху кожа, а под ней кровь. Так ли?»

«Так, мол, это правильно».

«Ежели тебе кожу снять да в нутро положить, а внутренность, например, обернуть наружу, ты что скажешь?»

«Это, говорю, вы надо мной, русским человеком, не можете никак...»

«А ты, говорит, что над землей-то делаешь? Вы, говорит, русские люди, больно хитры,— бога не боитесь... Бог, значит, положил так, что трава растет кверху, черная земля внизу и корень в земле. А вы, говорит, божье дело наыворот произвели: корень кверху, траву закапываете. Земля-те изболит, травы родить нам не станет, как будем жить?» Вот видишь ты, куда повернула! Говори ты с ними, с поганью. Если бы я грамотный был... После-то уж мне сказал священник: «Ты бы, говорит, им от Писания: в поте лица твоего снеси хлеб. А откуда хлебу быть, ежели землю не пахать». Видишь ты вот: на все слово есть, да не всегда его вспомнишь... Так вот и я на тот случай ничего не мог насупротив сказать, сбила меня колдунья словами. «Мне, говорю, с вами и говорить не надобно: потому вы не те слова выражаете... У вас свой климат, значит, якутской, у меня климат русской. Я от своего климату не отстану, и Пётра Иваныч тоже». Признаться, вступило в меня в ту пору маленько, потому досада. Сердце загорелось, главное дело, что ответить не могу. Потолкал кое-кого порядочно, даром, что много их было. «Вот, говорю, подлецы вы, нечисть лесная! Сколько вас ни есть, выходи!» Известно, народ не хлебный: молоко, да мясо, да рыба тухлая. А у нас с Пётром-то Иванычем хлеб все-таки не переводился. Хлебному человеку — десятерых на одну руку...

— Ну, и что же?

— Ну, порастолкал, ушел. Думаю так — что жизни решусь, а от своего, значит, климату не отступлюсь. Только бы Пётра Иваныч скорее вернулся. Пришел домой, лошадь напоил-накормил, богу на солнушко помолился, спать лег пораньше, топор около себя на слу-

чай положил... Ну, правду скажу: ночь без малого всю не спал: только задремишь — почудится что-нибудь... будто крадется кто... Один ведь, — кругом лесище... притом еще, как все-таки окровавил я одного, другого, так как бы, думаю, по этому случаю греха не сделали... Концы тоже спрятать недолго. Приедет мой Пётра Иваныч, где, мол, Тимофей-то свет Аверьяныч мой... А Тимохи, ау! — и след простыл.

Он остановился, чтобы отхлебнуть чаю. Видимо было, что собственный рассказ расшевелил Тимоху. Глаза его искрились, лицо стало тоньше и умнее... У каждого из нас есть свой выдающийся период в жизни, и теперь Тимофей развертывал перед нами свою героическую поэму.

Мой взгляд случайно упал на Марусю. Она как будто застыла вся в волнении и ожидании.

— В силу солнушка дождался, — продолжал Тимофей. — Ну, ободняло, выкатилось солнушко, встал я, помолился, лошадь напоил в озере, запрег. Выезжаю из-за лесу, к пашенке... Что, мол, за притча: пашни-то, братцы, моей как не бывало.

Из груди Маруси вырвался долгий вздох, почти стон... Ее лицо выражало необыкновенное, почти страдальческое участие, и мне невольно вспомнилась... Дездемона, слушавшая рассказы Отелло об его похождениях среди варваров. Тимофей, с неожиданным для меня инстинктом рассказчика, остановился, поковырял в трубке и продолжал, затянувшись:

— С нами, мол, крестная сила. Где же пашня моя? Заблудился, что ли? Так нет: место знакомое и прикол стоит... А пашни моей нет, и на взлобочке трава оказывается зеленая... Не иначе, думаю, колдовство. Нашаманили, проклятая порода. Потому — шаманы у них, сам знаешь, язвительные живут, сила у дьяволов большая. Навешает сбрую свою, огонь в юрте погасит, как ударит в бубен, пойдет бесноваться да кликать, тут к нему нечисть эта из-за лесу и слетается.

— Маты божая! — простонала Маруся.

Тимофей, довольный, посмотрел на нее, и его серые глаза еще больше заискрились...

— Сотворил я крестное знамение, подъезжаю все-таки поближе... Что ж ты думаешь: она, значит, бабича эта, ночью с воскресенья на понедельник народ со всего наслег сбила... Я сплю, ничего не чаю, а они, по-

гань, до зари над моей полоской хлопочут: все борозды как есть дочиста руками позад повернули: травой, понимаешь ты, кверху, а корнем книзу. Издали-то как быть луговина. Примята только.

Маруся засмеялась. Смех ее был резкий, звонкий, прерывистый и неприятно болезненный. Несколько раз она как-то странно всхлипнула, стараясь удержаться, и, глядя на нервную судорогу ее лица, я понял, что все пережитое нелегко далось этой моложавой красавице. Тимофей посмотрел на нее с каким-то снисходительным вниманием. Она вся покраспела, вскочила и, собрав посуду, быстро ушла в лес. Ее стройная фигура торопливо, будто убегая, мелькала между стволами. Тимофей проводил ее внимательным взглядом и сказал:

— Э-эх, Марья, Марья! Пошла теперь... захоронится куда-нито, в самую глушь.

— Отчего? — спросил я.

— Поди ты! Нельзя смеяться-то ей. Как засмеется, то потом плакать. Об землю иной раз колотится... Порченная, что ли, шут ее разберет.

Я не мог разобрать, сочувствие слышалось в его топе, сожаление или равнодушное презрение к порченной бабе. И сам он казался мне неопределенным и странным, хотя от его бесхитростного рассказа о полоске, распаханной днем, над которой всю ночь хлопочут темные фигуры дикарей, на меня повеяло чем-то былинным... «Что это за человек, — думал я невольно, — герой своеобразного эпоса, сознательно отстаивающий высшую культуру среди низшей, или автомат-пахарь, готовый при всех условиях приняться за свое нехитрое дело?»

Несколько мпнут я ворочал в голове этот вопрос, но ответа как-то ниоткуда не получалось. Только легкий, протяжный и как будто мечтательный шорох тайги говорил о чем-то, обещал что-то, но вместо ответа веял лишь забвением и баюкающей дремотой... И фигура Тимохи глядела на меня без всякого определения...

— Тимофей, — обратился я к нему после некоторого молчания. — Что же, после этого вы бросили хозяйничать?

— Где бросить. Нешто можно это, чтобы бросить... Спахали опять, заборонили, я ружьем пригрозил. Ну, все-таки одолели, проклятая сила. Главное дело, — заседателя купили. Перевели нас с Пётром Иванычем в

другой улус, поближе к городу. Тут ничего, жили года два...

В глазах его опять засветился насмешливый огонек, и он сказал после короткого молчания:

— Потом разошлись. Не вышло, видишь ты, у нас дело-то. Я ему, значит, говорю: «Ты, выходит, Пётра Иваныч, хозяин, я работник. Положь жалованье». А он говорит: «Я на это не согласен. Мы, говорит, будем товарищи, все пополам».

— Ну, и что же? — спросил я с интересом.

— Да что: говорю — не вышло.

Он поглядел перед собой и заговорил отрывисто, как будто история его отношений к Ермолаеву не оставила в нем цельного и осмысленного впечатления...

— Отдал Ивану телку... шести месяцев. Я говорю: «Ты это, Пётра Иванович, зачем телку отдал?» — «Да ведь у него, говорит, нет, а у нас три». — «Хорошо, я говорю. Пуцай же у нас три. Мы наживали... Он себе наживи!» Сердится! «Ты, говорит, мужик, значит, хресьянин. Должон, говорит, понимать». — «Ну, я говорю, ты, Пётра Иванович, ученый человек, а я телку отдавать не согласен...» — Ушел от него... К князю в работники наваялся...

— А за что вы сюда попали? — спросил я, видя, что этот предмет, очевидно, исчерпан.

— Мы-то? — Он взглянул на меня с оттенком недоумения, как человек, которому трудно перевести внимание на новый предмет разговора. — Мы, значит, по своему делу, по хресьянскому. Главная причина из-за земли. Ну, и опять, видишь ты, склёка. Они, значит, так; мир, значит, этак. Губернатор выезжал. «Вы, говорит, сроки пропустили...» Мы говорим: «Земля эта наша, деды пахали, кого хошь спроси... Зачем нам сроки?» Ничего не примает, никаких то есть резюнов...

— Жена, дети остались у вас на родине?

— То-то, вот видишь ты. Жена, значит, померла у меня первым ребенком. Дочку-то бабушка взяла. Мир, значит, и говорит: «Ты, Тимоха, человек, выходит, слободнай». Ну, оно и того... и сошлось этак-то вот.

Он, очевидно, не хотел вдаваться в дальнейшие подробности, да, впрочем, и без рассказа дело было ясно. Мир, бессильный перед формальным правом, решил прибегнуть к «своим средствам». Тимофей явился испол-

нителем... Красный петух, посягательство па казенные межевые знаки, может быть, удар слегой «при исполнении обязанностей», может быть, выстрел в освещенное окно из темного сада...

— Вы, значит, попали сюда за мир,— сказал я.

— То-то... выходит так, что за мир... Видишь ты вот.

— А мир вам не помогает в ссылке?

Он посмотрел на меня с недоумением.

— Мир-от? Да, я чаю, наши и не знают, где моя головушка.

— Да вы разве писем не писали?

— Я, брат, неграмотный. В Расее писал мне один человек, да, видно, не так что-нибудь. Не потрафил... А отсель я письмо-то не дойдет. Где поди! Далеко, братец мой! Гнали, гнали — и-и, боже ты мой!.. Каки письма! Это, годов с пять, человек тут попадал, от нашей деревни недальной. «Скажите, говорит, Тимофею, дочку его замуж выдали...» Правда ли, нет ли... Я, брат, и не знаю. Может, зря.

Он сидел рядом со мной, завязывая обувь, и говорил удивительно равнодушно... Я глядел на него искоса, и мне казалось только, что его выцветшие от зноя и непогод серые глаза слегка потускнели. Некоторое время мы оба помолчали. Думал ли он о далекой родине, о дочке, вышедшей неведомо за кого замуж, о мире, который не знает, где теперь «слободный человек» Тимоха, пострадавший за общее дело. Может быть, теперь никто, даже родная дочь, не вспоминает о нем в родной деревне, где такие же Тимохи в эту самую минуту тоже ходят за своими сохами на своих пашнях. И кто-нибудь пашет полоску Тимохи, давно поступившую в мирское равнение, как выравнивается круг на воде от брошенного камня... Был Тимоха, и нет Тимохи... Только разве у старухи матери порой защежит сердце и слеза покажется из глаз. И то едва ли: старуха, пожалуй, на погосте...

— То-то,— сказал он, помолчав.— Грешим, грешим... А много ли и всего-то земли надо? Всего, братец, три аршина.

Я понял, что для Тимохи не было утешения и в сознании, что он пострадал за общее дело: мир оставался миром, земля землей, грех грехом, его судьба ни в какой связи ни с какими большими делами не стояла...

И опять смутный звон леса затянул для меня все более определенные впечатления.

— Так и живете все? — спросил я через несколько минут.

— Так вот и живу в работниках на чужедальной стороне.

— Неужто нельзя было во столько времени устроить своего хозяйства?

Он почесал в голове.

— Оно, скажем, того... Просто сказать тебе... оно бы можно... И женился бы. Да, видишь ты, слабость имею. Денег нет, оно и ничего. А с деньгами-то горе...

Он виновато улыбнулся.

— Четвертый год у Марьи живу. Хлеб ем, чего надо купит... Не обидит... Не баба — золото! — прибавил он, внезапно оживляясь. — Даром что порченная... Кабы эта баба да в другие руки...

— А Степан?

— Что Степан! Вон, слышь, постреливает. На это его взять. Птицу тебе влёт сшибет, на озере выждет, пока две-три в ряд выплывут, — одной пулькой и снижет... Верно!

Он засмеялся, как взрослый человек, рассказывающий о шалостях ребенка.

— Ухорез, что и говорить. За удалство и сюда-те попал. С каторги выбежал, шестеро бурят напали — сам-друг от них отбился, вот он какой. Воин. Пашня ли ему, братец, на уме? Ему бы с Абрашкой с Ахметзяновым стакаться — они бы делов наделали, нашумели бы до моря, до кияну... Или бы на прииска... На приисках, говорит, я в один день человеком стану, все ваше добро продам и выкуплю... И верно, — давно бы ему на приисках либо в остроге быть, кабы не Марья.

Он помолчал и через некоторое время прибавил тише:

— Венчаться хотят... Все опа, Марья, затевает. Они, положим, по бродяжеству вроде как венчаны.

Косая пренебрежительная улыбка мелькнула на его лице, и он продолжал:

— Круг ракитова кусточка, видно... Ну, ей это, видишь ты, недостаточно, желает у попа.

— Да ведь он бродяга!

— То-то и оно: непомнящий; имени-звания не объясняет. Она то же самое. Ну, да ведь... не Расея. Зна-

ешь сам, какая здесь сторона. Гляди, за бычка и перевенчает какой-нибудь.

Он неодобрительно вздохнул и покачал головой.

— А все Марья... Не хочется как-нибудь, хочется по-хорошему... Ну, да ничего, я ей говорю, у вас не выйдет... Хошь венчайся, хошь не венчайся, толку все одно ничего!.. Слышь, опять выпалил...

— А вы, Тимофей, не любите Степана, — сказал я.

Он как будто не понял.

— Что мне его любить? Не красная девушка... По мне, что хошь... Хошь запади с четырех концов займку...

И, окончив обувание, он встал на поги.

— Нутра настоящего нет... человек не патуральный. Работать примется, то и гляди, лошадь испортит. Дюжой, дьявол! Ломит, как медведь. Потом бросит, умается... Ра-бот-ник!

Он понизил голос и сказал:

— Это Абрашка-татарип приезжал. Она его ухватом из избы... А потом поехал я на болото мох брать, гляжу: уж они вдвоем, Степашка с татаринком, по степе-то вьются, играют... Коней менять хотят. А у Абрашки и конек-то, я чаю, краденой.

Через несколько минут он уже ходил за сохой, внимательно налегая на ручку.

— Ну, ну, не робь, — поощрял он лошадь, — вылазий милая, копайся... Н-нет, вр-решь, — возражал он кому-то, с усилием налегая на соху, когда какой-либо крепкий, не перегнивший корень стремился выкинуть железо из борозды. Дойдя опять до меня, он вдруг весь осклабился радостной улыбкой.

— Пашаничку на тот год посеем. Гляди, кака пашаничка вымахнет... Земля-то — сахар!

Он весь преобразился. Очевидно, в этой идее потонули для него все горькие воспоминания и тревоги, которые я расшевелил своими расспросами... И опять он пошел от меня своей бороздой, ласково покрикивая на лошадь... Скрипела соха, слышался треск кореньев, разрываемых железом, и стихийный говор леса примешивался к моим размышлениям о Тимохе, подсказывая какие-то свои непонятные речи.

У выхода из лесу, на самой опушке, взгляд мой остановила странная молодая лиственница. Несколько лет назад деревцо, очевидно, подверглось какому-то нападению: вероятно, какой-нибудь враг положил свои ли-

чинки в сердцевину,— и рост дерева извратился: оно погнулось дугой, исказилось. Но затем, после нескольких лет борьбы, тонкий ствол опять выпрямился, и дальнейший рост шел уже безукоризненно в прежнем направлении: внизу опадали усохшие ветки и сучья, а вверх, над изгибом буйно и красиво разрослась корона густой зелени.

И мне показалось, что я понял тихую драму этого уголка. Таким же стремлением изломанной женской души держится весь этот маленький мирок: оно веет над этой полумалорусской избушкой, над этими прозябающими грядками, над молоденькой березкой, тихо перебирающей ветками над самой крышей (березы здесь редки — и ее, вероятно, пересадила сюда Маруся). Оно двигает вечного работника Тимоху и сдерживает буйную удаль Степана.

IV. Белая ночь

Матово-белая, свежая ночь лежала над лугами, озером и спящей избушкой, когда я внезапно проснулся на открытом сеновале.

— Вы не спите? — спросил меня товарищ.

— Недавно проснулся.

— Ничего не слышали?

— Нет, а что?

— Мне показалось, будто кто плакал. Вероятно, хозяйка.

— Может быть, вам почудилось?

— Едва ли. Этот Степан, должно быть, жох. Как повашему?

— Вы с ними были дольше, чем я. Я только и слышал его рассказ.

— Бродяжья идиллия, — сказал он саркастически. — Вы уже, конечно, записали... Хотел бы я знать, есть ли тут хоть слово правды!

— Отчего же?

— Ну, да я знаю: у вас они все «искру проявляют». Вот и этот еще тоже с искрой, должно быть.

Он приподнялся и посмотрел на лежавшего рядом Тимоху, который, забившись лицом в сено, храпел и вздрагивал, точно в агонии. Очевидно, этот храп не давал спать моему товарищу и, кажется, разбудил и меня.

Должен сознаться, что и в позе Тимохи, и в его богатырском храпе мне тоже чудилось в эту минуту какое-то сознательное, самодовольное нахальство, как будто насмешка над нашей нервной деликатностью.

В тоне моего товарища я уловил знакомую ноту. Пустынные места и постоянное ограниченное общество, вне родственных и живых интересов, развивают особое, болезненное настроение. Разнообразие человеческой личности развертывается только навстречу разнообразию среды: без этого она застывает и тускнеет. В таком настроении бородавка на щеке постоянного товарища, знакомый тон его голоса, слишком хорошо известные мнения вызывают глухое нерасположение, даже злобу. Припадки глубокой ипохондрии — специфическая болезнь пустынных мест, — и мы по взаимному договору старались не тревожить друг друга в такие минуты.

Поэтому, не отвечая ни слова на саркастические замечания товарища, в другое время относившегося к людям с большим добродушием и снисходительностью, я сошел с сеновала и направился к лошадям. Они ходили в загородке и то и дело поворачивались к воде, над которой, выжатая утренним холодком, висела тонкая пленка тумана. Утки опять сидели кучками на середине озера. По временам они прилетали парами с дальней реки и, шлепнувшись у противоположного берега, продолжали здесь свои почные мистерии...

Я пустил лошадей к воде. Обе они вошли в озеро по грудь и пили с жадностью, порой разбрызгивая воду, как бы сознательно наслаждаясь ее изобилием. По временам они подымали морды и начинали прислушиваться к чему-то в тишине белой ночи. Я тоже певольно вслушался. Из-под тихого шелеста тайги чуть вятно проступал какой-то протяжный далекий звон... По мере того как чуткое ухо ловило его яснее, он принимал все более определенные, хотя и призрачные формы: то будто мерно звенел знакомый с детства колокол в родном городе, то гудел фабричный свисток, который я слышал из своей студенческой квартиры в Петербурге... А за ними вставал целый ряд таких же призраков-звуков, странно тревоживших душу каким-то щемящим очарованием.

Избушка тихо спала, тайга спокойно шевелилась и

вдыхала. И вдруг какое-то жуткое по своей определенности ощущение — бессознательный вывод из накопившихся впечатлений — встало в моем воображении... Что слышится обитателям этого угла в голосах пустынной ночи или когда кругом завоет зимняя метель? Какие призраки шлет им эта чуткая, будто насторожившаяся тишина пустыни? Куда она зовет их, к чему она их манит, что обещает? Удастся ли Марусе удержать завязавшуюся жизнь этого поселка, или прав лаконический Тимоха со своими пессимистическими предсказаниями: все это не настоящее, раз сломанной душе уже не выпрямиться и чуткая враждебность пустыни одолеет ее усилия?..

В избушке скрипнула дверь. На пороге показался Степан. Он постоял несколько секунд, посмотрел на небо, потом лениво пошел в лес, захватив предварительно узду. Через несколько минут послышался резкий топот, и Степан выехал из лесу на буланом жеребчике. Лошадь бежала как-то капризно и резво; подъехав к берегу озера, Степан спрыгнул на бегу и, напоив коня, привязал его к городьбе. Когда затем он опять подошел к берегу, глаза его были тусклы, точно чем-то завешены. Он остановился и стоял над водой молча и неподвижно. Вероятно, его тоже захватили таинственные голоса пустынной ночи. Через минуту он вдрогнул, как будто от холода...

— Свежо! — сказал я, чтобы привлечь его внимание.

Он оглянулся, но как будто даже не сразу заметил меня. Потом так же машинально подошел и сел рядом со мной на бревно. Мне показался он странным, как будто даже больным. Вчера в нем было заметно оживление человека, потянувшегося навстречу новому знакомству. Теперь он покорно, без мысли отдавался какому-то внутреннему настроению...

По верхушкам леса потянулся гул от предутреннего ветра... Деревья сначала заговорили глубоким хором, потом гул рассыпался на отдельные голоса, пошептался и начал стихать.

Степан повернулся в сторону леса, как только что на мой оклик.

— Ветер, — сказал он с тем же малоосмысленным выражением и вдруг посмотрел на меня взглядом, полным глубокой тоски.

— Мочи нет, — сказал он с приливом внезапной

откровенности.— Поверите, никакой возможности моей...

— Что же такое, Степан? — спросил я с невольным участием.

— Выйдешь на озеро... все эта тайга шумит... Кругом пусто... Да еще вот эти проклятые.

С неожиданной яростью он схватил ком сухой грязи и кинул в туман, лежавший над озером. Там, точно сквозь матовое стекло, виднелись неясные, увеличенные контуры птиц. Когда комок шлепнулся среди них, в туманной дымке слегка зашевелились грузные очертания...

Однако резкое движение и плеск на озере, по-видимому, несколько привели его в себя. Он сел опять и опустил голову на руки.

— Трудно здесь жить, господин...

— Ну, что ж, Степан. Вам бы и в самом деле на приiski.

— Маруся не идет.

— Ну, вы бы на зиму уходили, а летом опять сюда... Зарабатывали бы там, и в хозяйстве подспорье. А здесь Маруся с Тимофеем справятся.

Он повернулся ко мне и долго глядел в глаза, как будто что-то выпытывая.

— Нет, господин... Это пельзя... Это уже значит... кончепо...

Потом, помолчав, он спросил:

— А вы Тимофея откуда знаете?

— Вчера был у него на расчистке.

— И Марья там была?

— Была.

— Ну-ну! Вы не глядите на него, на Тимофея. Парень не простяк...

И опять ко мне повернулись светлые глаза на еще более потемневшем лице. В них теперь ясно проступило выражение ненависти. Я подумал, что это та же знакомая нам болезнь пустынных мест и ограниченного общества... Только враждебные чары пустыни произвели уже более глубокие опустошения в буйной и требующей сильных движений душе. В эту минуту из трюх обитателей заимки к настроению Степана я почувствовал наиболее близости и симпатии.

Опять скрипнула дверь, показалась Маруся. Потом неуклюжая фигура Тимохи сползла по лестнице с сено-

вала. Маруся принялась доить коров, Тимоха запряг лошадей и привез к огороду огромное полубочье воды для поливки. Замычали коровы и телята, на заимке начался день... Небо над верхушками гор слабо окрашивалось, но мы находились еще в длинной тени, покрывшей всю равнину... Кроме того, по небу развесилась тонкая подвижная целена тумана...

Часа через полтора мы выехали с заимки втроем, Степан ехал с нами. У его седла висели большие кожаные переметы — очевидно, его путь был не близок. Лицо его было опять спокойно, даже весело.

Доехав до проезжей дороги, он указал нам наше направление, а сам повернул к реке. Через некоторое время мы увидели на другой стороне ее небольшую темную точку, подымавшуюся по меловым уступам крутого берега.

— Зачем это его понесло за Нелькан? — задумчиво спросил мой товарищ.

— А вы знаете, что он поехал туда?

— Да. Говорит — к пону. Врет, должно быть! Какие у него дела с попами? Правду сказать, подозрительна мне вся эта идиллия.

— Думаю, что вы ошибаетесь, — сказал я, не вступая, однако, в спор. Мне вспомнились слова Тимофея о желании Маруси. В той стороне, куда ехал теперь Степан, лежали дальние якутские улусы, а затем — тунгусская пустыня, в которой нет ни церквей, ни приходов в нашем смысле... Кое-где только, в тайге, стоят наглухо заколоченные часовенки, открывающиеся к редким приездам священников. Эти бродячие пастыри постоянно объезжают свое стадо, рассеянное на невообразимых пространствах, венчая супругов, у которых давно бегут дети, крестя подростков и отпевая умерших, кости которых давно истлели в земле. Удаленность от епархии и постоянные узаконенные обычаем отступления от канонических правил делают их особенно снисходительными к разного рода формальным препятствиям, и я догадался, что, вероятно, Степан направляется к такому пону, прикочевавшему, быть может, к границе своего огромного прихода, чтобы удовлетворить заветному желанию Маруси.

Скоро темная точка на горной тропе исчезла... Наши лошади бежали опять колеями якутской дороги, срывая сочную траву с луговыми цветами...

Я ничего не узнал о результате переговоров Степана с попом.

Степан и Марья были два раза в слободе и останавливались у нас, как уже знакомые. Степан оживлялся на людях, Маруся была по-прежнему молчалива и необщительна. Год выдался плохой, хлеб во многих местах побил ранними заморозками, но у Маруси все уродилось хорошо. Ее огурцы, которые она солила каким-то особенным способом, пользовались известностью даже в городе, и случалось — за ними приезжали нарочные казаки за полтораста верст. Этому не следует удивляться: расстояния совсем не пугают в этих дальних, редко населенных местах. Один американский путешественник по Сибири с удивлением рассказывал в своей книге, как однажды около Колымска его нагнал посланный губернатором казак, чтобы почтительно вручить ему портсигар и круг мороженого масла, забытые им на станции в Якутске. А от Якутска до Колымска более полутора тысяч верст!

Впрочем, по большей части Маруся сбывала свои продукты поляку-торговцу, который торопился доставить их приискателям. Дела свои она вела спокойно, деловито и твердо.

— Кремень баба! — говорил о ней торговец, причем в тоне его слышалось благоволение к красивой смуглянке и уважение к хорошей хозяйке.

Степан без особого дела бродил по слободе, заходил к татарам и приценивался к лошадям, делая вид, что хочет выменять своего буланка. Иной раз он возвращался к ночи чуть-чуть навеселе, но не пьяный. Вообще я присматривался к своим гостям и спрашивал себя с удивлением: неужели то, что мелькнуло передо мной в белую ночь на дальнем озере, — только моя фантазия?..

Между тем незаметно подходила осень. Уже с августа утренники крепко стискивали землю. К середине дня она едва успевала оттаять под косыми лучами солнца, как уж с ранних сумерек ее опять начинало примораживать. Воздух был чист и прозрачен, звуки неслись отчетливо, ясно, далеко, копыта лошадей звонко стучали по голой, но уже скованной земле...

В один из таких дней телега Маруси и Степана опять остановилась у наших ворот. День был холодный и яс-

ный, кроме того, была суббота, и на улице виднелись кучки татар. Прямо против нашего двора, на завалинке, сидел мой сосед, татарин Абрашка, тот самый, которого Маруся выпроводила от себя ухватом. Он был навеселе и как-то иронически окликнул Степана, когда тот стал спимать жерди наших ворот. В татарской фразе мне послышалось также имя Маруси.

Молодая женщина сохранила презрительное молчание. По ее лицу можно было подумать, что она даже не слышала. Но лицо Степана внезапно вспыхнуло, белокурые усы и брови выступили резко и неприятно. Он ничего не ответил и стал вводить лошадь в открытую городьбу.

Абрашка громко засмеялся. Его поддержали сидевшие рядом соседи.

Абрам Ахметзянов был человек в своем роде замечательный. Как сам он, так и его жена Гарифа, которую, впрочем, в слободе называли Марьей, совсем не были похожи на монголов. У него было круглое лицо, очень смуглое, правда, но с мягкими правильными чертами, и большие, ласкающие, добрые глаза... Она же представляла из себя типическую, русскую красавицу, несколько располневшую, с бойким и, что называется, «бедовым» взглядом. Абрашка любил ее до безумия, но про нее говорили, что она нередко ему изменяла. Однажды ночью, вернувшись неожиданно домой, он зачем-то стрелял около своей юрты. Говорили на другой день, что меховая шапка некоего Абдула Сабитуллина оказалась простреленною дробинами и что только густо вышитая тибетейка спасла его лысую голову. Сабитуллин был богатый старик... Некоторое время он опасался ходить мимо избы Абрама, а однажды последний, неожиданно встретясь с ним на улице, кинулся на него, как кошка. Старого Абдула едва вырвали из рук иступленного Абрашки. Но я видел Абрама и Марью на третий день после выстрела: она держала себя с таким же сознанием своей опьяняющей, чувственной красоты, а он смотрел на нее таким же покорно влюбленным взглядом.

Он пользовался репутацией самого отчаянного головореза и ловчайшего вора. Я долго не хотел верить этому. Он был нашим ближайшим соседом и нередко оказывал мне и моим товарищам соседские услуги. При этом в глазах его светилось такое простодушное распо-

ложение, что я не мог примирить с этим молву об его подвигах. Только однажды, после какого-то нового двусмысленного происшествия с Марьей, он сильно пил несколько дней и пришел ко мне под вечер возбужденный и несколько дикий.

Некоторое время он сидел на лавке, глухо стонал, покачивался и глядел перед собой мутным взглядом. Потом взгляделся в меня и, как будто узнавая, где находится, сказал:

— А! вот это я у кого. Так! Слушай, русский, что я тебе буду говорить.

— Говори, Абрам, что тебе нужно?

— Уезжаете вечером... приезжаете ночью... Дом бросаете пусто...

— Так что же?

— Тронули у вас что-нибудь татаре?

— Нет, не тронули.

— Водки поставь... Одну бутылку. Выпей, брат, с Абрашкой!..

— Нет, Абрам,— ответил я по возможности спокойно.— Водки я не поставлю.

— Почему не поставишь?

— Ты сам знаешь: мы к вам водку пить не ходим. Чаю, если хочешь, заварю, а откупаться от вас мы не станем.

В глазах Абрама промелькнуло сознание.

— Что ты! Брат! — сказал он как-то страстно.— Неужто, сохрани бог, я за этим. Абрам Ахметзянов не каплюжник... Пьян только Абрашка. Сердце загорелось... водки надо... много водки надо. А Марья, брат, не дает...

Последнюю фразу он произнес каким-то жалким шепотом. Потом, внезапно поднявшись, он подошел ко мне, положил руку мне на плечо и, крепко сжав его, наклонил ко мне свое пылающее лицо. Глаза его были такие же добрые, только стали как будто больше и искрились почти восторженно...

— Что вы за люди? — сказал он.— Я не знаю, что вы за люди... А я вот какой человек... Ах, бр-рат!.. Еже-ли бы мне не Марья... давно бы я себе каторгу заработал!

Я был поражен глубиной и непосредственностью этого восклицания. Тут была и тоска о пропадающей удали, и глубочайшая нетронутая уверенность, что, каковы бы там ни были еще люди, взгляды, все-таки

наиболее стоящий человек тот, кто смело носится по самым крутым стремнинам жизни... Только оступись... попадешь прямо на каторгу.

Только в эту минуту я понял настоящим образом Ахметзянова со всей его «невинной» преступностью, — право, я не подыщу тут другого слова... С этими взглядами Абрам вырос и сжился. Он чувствует в себе силы для крупной роли в родной сфере, а между тем приходится тратить их на мелкие подвиги баранты и воровства, в то время как его имя могло греметь наравне с именами Никифорова и Черкеса — весьма известных в те годы на Лене спиртопосов¹ и хищников золота... Я понял также, почему Тимоха ставил имя Степана рядом с Абрашкой... В жизни обоих «бабы» играли почти одинаковую роль, и, как это часто бывает, Абрам Ахметзянов презирал Степана за то самое, за что, вероятно, презирал и себя...

В этот самый день Степан все-таки зашел к Ахметзянову, который занимался корчемством. Ушел он туда в отсутствие Марьи, но она вернулась от торговца раньше. В лице ее я заметил какое-то нервное беспокойство. Она ждала, тревожно прислушиваясь, и внезапно вздрогнула, когда снаружи донесся к нам глухой смешанный шум.

Я вышел на двор и увидел Степана. Необыкновенно возбужденный, он быстро шел от избы Абрама. Видимо он сейчас выдержал свалку с кучкой татар, которые скалили зубы и смеялись вдогонку.

Дойдя до середины улицы, он обернулся и погрозил кулаком.

— Посмеетесь вы у меня, погодите! — бормотал он, уже войдя в наш двор и не обращая внимания на меня.

Не заходя в избу, он вывел плохо отдохнувшую лошадь и стал запрягать ее в телегу.

¹ Торговля водкой на приисках и вблизи приисков строго воспрещена, и потому в таежных приисках Ленской системы развился особый промысел — спиртопосов, доставляющих на прииски спирт в обмен на золото. Промысел чрезвычайно опасный, так как в наказание за это полагаются каторжные работы и, кроме того, дикая природа сама по себе представляет много трудностей. Множество спиртопосов гибнет в тайге от лишения и казачьих пуль, а нередко и под ножами своей же бранны из других нартий. Зато промысел этот выгоднее приисковой работы, (Примеч. В. Г. Короленко.)

— Куда вы так торопитесь, Степан? — спросил я.

— Надо домой... Только вот как бы снег не застиг.—
Он глазами указал на небо.

Я тоже взглянул вверх. Едва перевалив через цепь отлогих холмов на северо-западе, — к нам ползло тяжелое свинцовое облако. Оно было громадно и странно своим одиночеством на холодном и ясном небе. Вверху резко отграниченное, точно спина огромного животного, внизу оно спустило несколько темных отростков, которые тихо, зловеще шевелились, опускаясь все ниже, точно чудовище перебирало гигантскими щупальцами. Но что было всего страннее, — облако ползло совсем низко над землей, вздрагивая, как будто теряя силы в своем полете и готовое упасть на слободу всей своей грузной массой...

Слобожане уже обратили на него внимание. В юртах хлопали двери, люди выбегали с любопытством или тревогой. Впрочем, аборигены смотрели на небо довольно спокойно, но татары и особенно киргизы волновались и переговаривались громко и тревожно. Полусумасшедший киргиз, живший невдалеке, прицелился из ружья и выстрелил...

Облако, все так же вздрагивая, как будто с напряжением, раскинулось уже над крайними юртами слободки. Все кругом потемнело и потускло. Все притихли, когда над нашими головами, тихо волнуясь и шевеля мглистыми отростками, темно-свинцовое, с опаловыми просветами, проползало туманное чудовище, готовое, казалось, задеть за крыши притихшей слободки... Через несколько минут оно пронеслось над рекой. Плотные очертания тучи закрыли оскалины и лесá горного берега... Когда туча исчезла за гребнем, — на уступах, точно нарисованные гигантскою кистью, белели густые полосы снега...

Я очнулся точно после странного сна... Над слободкой опять играли последние лучи скупого осеннего солнца... Люди еще волновались, громко обсуждая значение странного явления. В дверях нашей избы стояла Маруся с омертвевшим, испуганным лицом... Она опять показалась мне постаревшей и изменившейся... Увидев, что Степан запряг лошадь, она наскоро собрала свои пожитки и, не прощаясь, не глядя на меня, как будто болезненно стыдясь показать свое лицо, вышла из избы и села в телегу.

Я попробовал было остановить их. Мой товарищ на

время уехал, в юрте было довольно свободно, а я чувствовал себя одиноким, но Степан отказался наотрез.

— Нет, господин! — сказал он, выводя лошадь. — Теперь начнутся метели, пора пойдет темная... А я, кстати, с татарами тут расплевался...

Он ударил лошадь и, проехав по широкой улице, спустился с луга. Там мне еще некоторое время виднелась телега с двумя темными фигурами, постепенно утопавшими в сумерках.

А пора, действительно, начиналась темная. Осень круто поворачивала к зиме; каждый год в этот промежуток между зимой и осенью в тех местах дуют жестокие ветры. Бурные ночи полны холода и мрака. Тайга кричит не переставая; в лугах бешено носятся столбы снежной колючей пыли, то покрывая, то опять обнажая замерзшую землю.

И вместе с темнотой, с бурями и метелью в слободе и окрестностях водворилась тревога.

Почти половину населения слободки составляли татары, которые смотрели на этот сезон с своей особой точки зрения. Мерзлая земля не принимает следов, а сыпучий снег, переносимый ветром с места на место, — тем более... Поэтому, то и дело, выходя ночью из своей юрты, я слышал на татарских дворах подозрительное движение и тихие сборы... Фыркали лошади, скрипели полозья, мелькали в темноте верховые... А наутро становилось известно о взломанном амбаре «в якутах» или ограблении какого-нибудь якутского богача.

Якуты старались защищаться, иногда мстить. Один мой приятель, полуякут Сергей, знакомивший меня на первых порах с особенностями местной жизни, так характеризовал взаимные отношения слободы и ее окрестностей в это темное время:

— Война! Татар у джякут воровай, джякут у татар воровай... взад-вперед.

Но в сущности полной взаимности в этих отношениях не было. Якуты — народ мирный и робкий: они старались только защищаться. Правда, стоило татарской лошади забежать в улус, подальше от слободы, и она тотчас же попадала в якутский котел на общую пирушку. Но в остальном якуты ограничивались защитой, почти всегда неумелой и трусливо-наивной. Их одинокие разбросанные юрты переживали весь ужас

беззащитного ожидания. Проезжая иной раз ночью по наслезным дорогам, можно было услышать вдруг отчаянные вопли, точно где-то режут сразу несколько человек. Это население юрты, в которой две или три семьи сошлись на долгую холодную зиму, предупреждало неведомого путника, едущего мимо по темной дороге, о том, что они не спят и готовы к защите. Только эти угрозы производили скорее впечатление испуга, почти молюбы. Порой за ними следовали беспорядочные, такие же испуганные выстрелы в воздух. Все это, разумеется, было только на руку предприимчивым и смелым татарам, выжидавшим, пока якуты настреляются и накричатся, и тогда они тихо, но свободно шли на добычу.

А осень все злилась, снег все носился во тьме, гонимый ветром, стучал в наши маленькие окна, и кругом нашей юрты по ночам все слышалось тихое движение то в одном, то в другом татарском дворе. Мой верный Цербер, которого я брал к себе в юрту из чувства одиночества, то и дело настораживал уши и ворчал особенным образом — как природные якутские собаки ворчат только на татар или поселенцев...

Я чувствовал себя, в своей юрте на отшибе, в своеобразном положении, точно на островке, кругом которого в мглистом туманном море кипела своеобразная деятельность пиратов. Порой я догадывался, кто именно из моих добрых соседей выезжает «в якуты» на промысел или в лес с добычей, которую необходимо спрятать... Порой во мне закипало глухое негодование...

Однажды в слободу, запесенные снегом, постукивая перед собой палками, вошли слепые старик со старухой. Это были несчастные, бездомные старики, ходившие по богатым якутам и зарабатывавшие пропитание помолом зерна на ручных мельницах, на каких, вероятно, мололи еще рабыни Одиссея. Такая мельница есть в каждой якутской юрте. На стойке, в половину человеческого роста, укреплен неподвижно небольшой жерновой камень. Другой свободно ходит над ним на железном стержне и цевке. Длинная палка, одним концом укрепленная у потолка, другим может вращать верхний камень. Человек вертит ею жернов, засыпая горстью зерна в отверстие. Камни тихо и скучно жужжат, мука медленно, почти незаметно струится на стол кругом жернова. За помол пуда платят от пятнадцати до двадцати копеек.

Этой работой старики долго копили деньги и наконец купили себе теплые шубы и одеяла в виде мешков на зиму и на старость. Это была для них настоящая драгоценность, о которой они долго мечтали. Я видел, как летом они выносили свои сокровища и вытряхивали из них пыль. Разложив их на земле, старик нащупывал левой рукой место, а правой ударял гибким прутом. По инстинкту слепого он редко ошибался, но все-таки порой удар попадал по кисти... Потом он передвигал руку и ударял рядом... Эту же работу старики выполняли у других, когда не было помолы.

Теперь они шли по улице, озябшие и несчастные. Слезы текли из слепых глаз старухи и замерзали на лице. Старик шел с какой-то горестной торжественностью и, постукивая палкой по мерзлой земле, поднимал лицо высоко, как будто глядя в небо слепыми глазами. Оказалось, что они шли «делать бумагу» в управе. В эту ночь из амбара якута, у которого они зимовали, украли их сокровища, стоившие нескольких лет тяжкого труда...

Выходили слобожане, выходили татары и смотрели на эту чету и слушали переходивший из уст в уста рассказ. Абрам тоже стоял у своих ворот и смотрел на стариков своими добрыми ласкающими глазами.

— Здравствуй,— окликнул он меня,— что идешь мимо, не говоришь?

Я как-то невольно повернулся и подошел к нему вплоть.

— Слушай, Абрам,— сказал я.— Хорошо это?

Он посмотрел немного вкось и ответил обычным ласковым голосом:

— Брат! Не я ведь это сделал.

И потом, поглядев вслед старикам, он прибавил задумчиво:

— Видно, положили свое добро с хозяйским вместе...

— Не отдадите ли теперь? — усмехнулся я желчно...

Абрам не сказал ничего. Но через несколько дней он как-то встретился мне на улице. С ним рядом шел незнакомый татарин, длинный, как жердь, и тощий, как скелет. Поравнявшись со мной, Абрам под влиянием какой-то внезапной мысли вдруг шагнул в сторону и очутился передо мной.

— Слушай, теперь я тебе буду говорить,— сказал

он.— Вот этого татарина пригнали в наслег. Жена померла дорогой... четверо детей... ничего нет... голодом сидели, топить нечем...

— Правда! — глухо сказал высокий татарин и мотнул головой. Но мне не нужно было его подтверждения: голод и застывшее отчаяние глядели у него из глубины впалых глаз, а от темного лица веяло каким-то смертельным равнодушием.

— Просил, кланялся на собрании. Наконец принес детей в управу и кинул, как щенят: делайте, что хотите. Хошь, говорит, бросьте в воду...

— Сама сюда гулял, — пояснил татарин.

— Понял ты мое слово? — спросил Абрам, глядя на меня загоревшимся, пылающим взглядом. Я понял, что это ответ на мой упрек по поводу стариков и что в слободе прибавился еще один предприимчивый человек.

Но это было, как я сказал, несколько дней спустя. В тот вечер я возвращался домой весь еще под впечатлением слепого горя обокраденных стариков. Ночь спустилась ненастная и бурная. Кругом юрты все гудело, над крышей отчаянно бился хвост искр и дыма, которые ветер нетерпеливо выхватывал из трубы и стлал по земле. На втором дворе, куда я пошел, чтобы дать лошади сена, мой Серый метался, как бешеный. Сначала и от меня он кинулся в испуге, но потом подошел, храпя и вздрагивая, и положил мне голову на плечо. Он стриг ушами и в испуге прислушивался к протяжному крику тайги, налетавшему с темных холмов и ущелий.

А кругом бесновалась какая-то волнистая муть, быстро мчавшаяся с холмов за реку... Слобода притаилась под метелью, как вообще привыкла притаиваться под всякой невзгодой. По временам только среди белого хаоса мелькал вдруг сноп искр из трубы или в прореху метели открывалось и опять исчезало смиренно светившееся оконце...

Я начинал понимать в эту минуту настроение наших деревень, то смиренно выносящих непокрытую наглость любого молодца, освободившегося от совести и страха, то прибегающих к зверскому самосуду толпы, слишком долго испытывавшей смиренный трепет... Половина слободки держит в таком трепете не только другую, большую половину, но и все окрестности. И вот теперь, в эту метель, то в той, то в другой юрте робко скрипят

дверь, — хозяева осторожно выглядывают, — что это стучит у амбара, грабитель или непогода? А где-то плачут двое обездоленных стариков, и на много верст кругом раздаются бессмысленные вопли и не менее бессмысленные выстрелы запуганных людей... И я стою здесь среди метели. Я не пловец в этом море, моего места нет в этой борьбе; я здесь не умею ступить ни шагу. И казалось мне, что нигде, во всем этом затянутом метелью, беззащитном мире нет никого, кто встал бы смело и открыто за свое право... Те, казалось мне, кто хотел бы что-нибудь сделать, — неумелы, бессильны, малодушны. А те, кто могут, — не хотят... Каждый только дрожит за себя, и нет никого, кто бы понял, что его дело — часть общего дела...

С этими мыслями я вернулся в свою юрту, но не успел еще раздеться, как моя собака беспокойно залаяла и кинулась к окну. Чья-то рука снаружи смела со стекла налипший снег, и в окне показалось усатое лицо одного из моих соседей, ссыльного поляка Козловского.

— Спите себе! — сказал он шутливо. — А лошадь-то где?

Я наскоро оделся и выбежал наружу. Первой моей мыслью было, что лошадь мою угнали. Но это оказалось неверно. Испуганная метелью и непривычным одиночеством, она перепрыгнула через высокую городьбу и побежала в луга. Козловскому сообщил об этом Абрам, видевший, как лошадь промчалась мимо его двора. Оба они были уверены, что она убежала за реку в якутские наследи. В спокойное время это было не особенно опасно, но теперь якуты могли счесть лошадь татарской... Приходилось тотчас же ехать на поиски. Козловский дал мне свою лошадь, а на другой вызвался сам ехать со мною...

Это был крестьянин, замешанный в восстании и отбывший каторгу. После этого многие из его товарищей возвратились на родину, а он, попав в эти дальние места, почувствовал, как и Тимоха, что это очень далеко и что ему отсюда уже нет возврата. Он женился на слобожанке-полуякутке, его девочки говорили только якутски, а сам он пахал землю, продавал хлеб, ездил зимой в извоз и глядел на жизнь умными, немного насмешливыми глазами. Ему казалось смешным многое в прошлом и настоящем, а между прочим и то, что он, Козловский, хотел когда-то спасти свое отечество, и что

он живет в этой смешной стороне с пятидесятиградусными морозами, и что его собственная жена полуякутка, и что его дети лепечут на чужом для него языке. К нам он чувствовал какое-то снисходительное расположение, любил молча слушать наши споры, но при этом всегда под его огромными усами шевелилась мягкая насмешливая улыбка...

— Помяните мое слово, — сказал он мне, когда мы тронулись в путь, — эту ночь татары опять собираются за добычей... Плачут якутские амбары.

— Почему вы думаете?

— Абрашка ладит сани и две верховые во дворе. А вы еще скажите — слава богу: Абрам спал бы, лошадь бы вашу не увидел... В какую только сторону поедут?..

Дорога наша подбежала к реке и прижалась к береговым утесам. Место было угрюмое и тесное, справа отвесный берег закрыл нас от метели. Отдаленный гул слышался только на далеких вершинах, а здесь было тихо и тепло. Зато тьма лежала так густо, что я едва различал впереди мою белую собаку. Лошади осторожно ступали по щебню...

Вдруг Козловский наклонился и остановил за повод мою лошадь.

— Тише, — сказал он. — Слышите?

Я прислушался, и мне показалось, что с другого берега реки, которая здесь была очень узка, неслось к нам, точно эхо, осторожное постукивание копыт.

— Вот проклятые! — сказал он с оттенком удовольствия в голосе... — Взялись за ум!

— Что это значит? — спросил я.

— Якутский караул. Прослышали, видно, якутье, что татары собираются... ждут гостей... Эх! Вот только неприятно: как бы нас за татар не приняли. Пожалуй, сдуру грохнет который из ружья... Эй, догор! — крикнул он по-якутски. — Не попалась ли вам тут серая лошадь?

Шаги на той стороне стихли, но, когда мы подъехали к броду, на темной реке послышалось шлепанье и появились какие-то силуэты. Через несколько минут к нам приблизился всадник, ведя в поводу серую лошадь. Когда он подъехал вплотную, я с удивлением узнал Степана.

— Как вы тут очутились? — спросил я с певольной радостью.

— Да так... дело тут... у якутов,— ответил он уклончиво.— Гляжу: лошадь знакомая переправляется. Поймал уже на том берегу... думаю: надо обождать маленько, может, хватитесь, приедете... А это кто с вами? — спросил он, наклоняясь в седле и вглядываясь в моего спутника.

— Человек божий, обшитый кожей,— ответил мазур своим веселым голосом.— Поехал вот с ними, думаю: может, бог даст, и моя конячка найдется.

— Тоже пропала? Когда? — спросил Степан.

— Да уже года два... Убежала с покосу, да еще, подлая, поселенца на себе унесла. Лошадь — бог с ней. Боюсь, как бы за поселенца не ответить.

Мне показалось, что шутка Козловского немного задела Степана, и чтобы прекратить разговор, я поблагодарил за услугу и спросил:

— А вам не по пути в слободу? Переночевали бы у меня.

— Нет,— ответил Степан...— Я тут... к приятелю...

— Абрашка тоже к приятелю наладился,— насмешливо кинул Козловский, когда мы тронулись в обратный путь. Степан, отъехавший на некоторое расстояние, остановился было, как будто с целью спросить или сказать что-то, но затем ударил лошадь и съехал с берега.

— Счастье людям! — сказал Козловский, весело ухмыляясь.— У других воруют, вам возвращают. Один вор увидел, как лошадь сбежала, другой поймал...

— Ну, Степан не вор,— сказал я.

— Разумеется... А как вы думаете: кого он тут дожидается? У Абрашки с утра конь на привязи, у Абясова, у Сайфуллы, у Ахмета... Черт их бей, всех. Давайте скорее выезжать из узкого места, как бы не встретиться.

— Но ведь с татарами Степан в ссоре?..

— Ну, мужик с бабой Степан весь день ссорились. А, глядишь, к ночи помирятся...

Замечания Козловского поразили меня самым неприятным образом. Мне импонировала уверенность, с какой он читал все среди этой темной ночи, точно в открытой книге... И действительно, его предсказание оправдалось. Выехав из-за последнего берегового утеса в луга, мы вдруг наткнулись на несколько темных верховых фигур. Они сначала остановились, как будто в нерешительности...

— Что, нашел своего серого? — сказал один из них, и по голосу я узнал Абрама. — Скоро же! Я думал, до утра проездишь.

Потом, когда они отъехали несколько сажень, он повернул лошадь, догнал нас и сказал своим ласковым, приятным голосом:

— Вот что, парень... Мы ведь соседи... Не рассказывайте никому, что нас здесь видели...

— Нам какая надобность, — угрюмо ответил Козловский, не останавливаясь.

Остальную дорогу мы ехали молча. Меня тяготило положение этого невольного, почти дружественного нейтралитета, который выпадал на нашу долю... Может быть, Козловский думал то же.

VI. Степан

Проснувшись на следующий день, я сначала считал всю эту ночную поездку просто сном. Только кинутое беспорядочно на полу седло и не успевшее высохнуть верхнее платье убедили меня в действительности моего маленького приключения...

Несмотря на то что все окна были занесены снегом, я чувствовал, что день стал светлее вчерашнего. У дверей лаяла собака, и, когда, наскоро надев валенки, я выпустил ее, она радостно подбежала к постели и, положив на край холодную морду, глядела на меня с ласковым достоинством, как будто напоминая, что и она разыскивала со мною лошадь, которая теперь ржала на дворе, привязанная в наказание к столбу...

Настроение у меня было бодрое, радостное. Однако скоро под этим настроением оказалась какая-то маленькая змейка, которая шевелилась и шипела, напоминая о чем-то отравляющем и печальном...

— Да! Это о Степане, — вспомнил я внезапно...

«Неужто Козловский прав? — подумал я с ощущением острой грусти... — Неужели Степан оказал мне услугу именно потому, что ожидал татар? Не выдержал наконец говора своей тайги, прозаической добродетели своей Маруси и ровной невозмутимости Тимохи?.. Захотелось опять шири и впечатлений? Что мудреного? Ведь вот даже мое легкое приключение освежило и об-

новило мое настроение, застоявшееся от тоски и одиночества...

Что же теперь станет делать Маруся? Как пойдет ее жизнь? Бурные сцены или покорные слезы?.. Примирение и подчинение или разрыв? Неужели тихая заимка на дальнем озере превратится в склад краденых вещей и в передаточный пункт конокрадства? Уйдет ли при этом Тимоха, или будет делать свое дело, не вмешиваясь в хозяйские дела? И скоро ли нагрянут на заимку власти из Якутска и для Марьи со Степаном опять пойдут этапы, тюрьмы, новые попытки побегов? А на заимке воцарится запустение и Марусины грядки зарастут наподобие губернаторских огородов?..»

В моих сенах послышался топот, в дверь хлынула струя свежего воздуха, и в юрту вошел Козловский. Он был несколько похож на гнома: небольшого роста с большой головой; белокурая борода была не очень длинна, но толстые пушистые и обмерзшие теперь усы висели, как два жгута. Серовато-голубые глаза сверкали необыкновенным добродушием и живым, мягким юмором.

— Ну, вставайте,— сказал он, усмехаясь.— Давайте чаю. Новости расскажу.

— Что такое?

— В слободе что делается,— страх! — говорил он, отряхая на пол белые комки свежего снега.

И, опять весело засверкав глазами, он сказал:

— Смотрите: татары теперь скажут, что непременно это вы сделали! А я с вами, помните, не был!..

Затем он рассказал новость, поразившую слободу как громом. Оказалось, что в эту ночь татары предпринимали один из очень смелых набегов на юрту зажиточного якута, именно в том направлении, куда мы вчера ездили. Очень часто якуты знали заранее о сборах татар, но последние почти всегда направляли их внимание в ложную сторону. На этот раз, однако, смельчаки встретили противников готовыми. Когда, оставив лошадей в определенном месте, они стали подходить к амбару, навстречу им раздался дружный ружейный огонь, и в то же время другой отряд якутов кинулся к татарским лошадям. Бросившись назад, татары успели отбить двух лошадей, а две, и притом лучшие, остались военной добычей победителей. Садясь попеременно на оставшихся коней, четверо татар с позором притащились в слободу едва на заре...

В числе потерпевших был и Абрам Ахметзянов. Каурого конька, которым он гордился, как лучшим бегуном в слободе, теперь в его дворе не было.

Слобода кишела, точно муравейник. Двери то и дело хлопали в наклонных стенах юрт, соседи и соседки перебегали от двора к двору, кое-где татары громко ругались друг с другом. Татарское население слободы было самое разношерстное. Тут были и киргизы, и ачинские татары из азиатской степи, и старинные поселенцы Иркутской губернии. Всех их привела сюда, выбросив из более или менее мирной среды их соотечественников, не заглушенная культурой страсть к баранте. Здесь их объединили религия и нужда, — но и в их среде были подразделения, вражда и ссоры. Теперь, при этом поражении, деморализация среды сказалась с особенной силой: татары закидывали друг друга упреками и подозрениями в измене. Они не могли себе представить, чтобы трусливые и недогадливые якуты могли провести эту кампанию по своей инициативе.

— А знаете что, — задумчиво сказал мне Козловский, когда мы сидели за чаем. — Вы пока никому не говорите о Степане.

— Почему?.. Не ждете ли вы, что начнется следствие?

— Ка-кое следствие! А все-таки помолчите.

И он прибавил, улыбаясь:

— Я его святому должен поставить свечку... Кажется, вчера я его обидел напрасно.

— Так вы думаете, что это он... помогал якутам?

— Ага! А по-вашему, якутые сами бы так распорядились? Никогда! Уж был у них кто-нибудь за генерала!.. Ну, теперь пойдет потеха!

Действительно, с этих пор якуты переменились, как будто кто вдохнул небывалое мужество в сердца этих робких и запуганных людей. Абрам Ахметзянов с товарищами выезжал ночью на место своей неудачи, и, оставаясь в отдалении, они кричали и грозили, требуя возвращения лошадей; но якуты только звали их подойти поближе, а на следующую ночь, как было известно в слободе, — устроили засаду у брода. Но удалой Абрашка уже не решился выехать туда вторично, и угрозы татар остались неисполненными...

За первой неудачей последовали дальнейшие. Два раза якуты ловили воров на месте и, связанных, отвози-

ли в город, провожая их на всякий случай целыми отрядами. Такими же отрядами являлись они иной раз в слободу, представляя в «правление» ясные указания и улики. Проезжая по улицам мимо татарских домов, якуты держались насмешливо и гордо, посмеиваясь и вызывая.

Теперь татары уже боялись отлучаться в улусы даже днем, а отдельные татарские семьи, поселенные среди якутов, покидали места поселения и стягивались к слободе. Якуты прекратили им всякие пособия, которые выдавали прежде. При этом, разумеется, пострадали и мирные татары, к которым все-таки относились подозрительно, опасаясь сношений с соотечественниками.

В это именно время Абрам остановил меня указанием на злополучного татарина, бросившего своих голодных детей...

Борьба, видимо, обострялась. Обоюдное ожесточение росло. Прежде татары воровали, но убийств не было. Теперь они шли уже на все, и при перестрелках бывали раненые с той и другой стороны. Был и еще один косвенный результат наслезной войны: кражи в самой слободе значительно участились.

Однажды Козловский пришел к нам, видимо, озабоченный, и сказал, улыбаясь и почесывая в голове:

— Нельзя ли, господа, как-нибудь... удержать этого вашего приятеля?

— Что такое? Какого приятеля?

— Да якутского генерала. Беда ведь это: прежде, когда татары ездили в якуты, — у нас хоть воровали, да все-таки жить было можно. А ведь теперь — съедят пахисто. Эту почь сломали два амбара...

Один из амбаров принадлежал смотрителю почтовой станции. Это была жалкая станция, конечный пункт почтовой дороги, которая не шла дальше слободы и куда почта приходила раз в две недели. Но смотритель имел все-таки чин и в некоторых торжественных случаях падал даже шпажонку. К неприкосновенности почтовой корреспонденции он относился весьма своеобразно и считал себя в полном праве присланные кому-нибудь из поселенцев (чаще всего скопцам) золотые заменять тем же количеством кредиток. Но, конечно, о вломе своего амбара он тотчас же послал самые энергические жалобы в областной город.

Между тем имя Степана, хотя ни мы, ни Козловский

ничего не говорили о нем, было на всех устах. В слободе об этом сначала говорили шепотом, в виде догадок, потом с уверенностью. Теперь даже дети на улицах играли в войну, причем одна сторона представляла татар, другая якутов, под предводительством Степана... А по улусам, у камельков, в долгие вечера о белоглазом русском уже складывалась чуткая, протяжная былина, олонхо...

Мы, конечно, тоже с большим интересом относились и к эпизодам этой небывалой борьбы, и к новой роли нашего знакомого. Мой желчный товарищ хотя и объяснял все дело личными счетами Степана с Абрашкой, но все-таки переменял о нем свое мнение.

— Как бы там ни было, а молодчина! Проявляет искру, здоровую искру проявляет...

— Да, чем только это кончится? — озабоченно прибавлял Козловский. — На собрании решили на ночь наряжать большие караулы. Придется и вам, господа, из-за приятеля померзнуть...

В конце ноября, в ясный зимний день, в слободу явились гости. Утром, возвращаясь из поездки в город, приехал тунгусский пол. Вскоре после этого у наших ворот остановились санки, в которых сидели Маруся и Тимоха. Их сопровождали три верховых якута, — может быть, случайно, но всем это показалось чем-то вроде почетного эскорта, которым наслег спабдил жену своего защитника. Маруся была одета по праздничному, и в ее лице показалось мне что-то особенное.

А под вечер того же дня по дороге из города опять послышался колокольчик. День был не почтовый: значит, ехало начальство. Зачем? Этот вопрос всегда вызывал в слободе некоторую тревогу. Природные слобожане ждали какой-нибудь новой раскладки, татары в несколько саней потянулись зачем-то к лесу, верховой якут поскакал за старостой... Через полчаса вся слобода была готова к приему начальства...

Приехал заседатель Федосеев и тотчас после приезда пригласил нас к себе на въезжую избу. Передав нам несколько писем, он попросил других присутствующих удалиться и сам запер за ними дверь. Подойдя затем к столу, он расстегнул форменный сюртук, как будто ему было душно, и стал набивать себе трубку. Он был, казалось, в каком-то затруднении и даже в некотором замешательстве.

Это был местный уроженец из казаков, человек средних лет, отличный служака, превосходно знавший местные условия. Из личных его особенностей мы знали его слабость к выпивке — из слободы его иногда увозили, уложив в повозку почти без сознания, — и к книжным словам, которые он коллекционировал с жадностью любителя и вставлял, не всегда кстати, в свою речь. Человек он, впрочем, был в общем добрый, и все его любили. С нами он был не в близких, но все же в хороших отношениях.

Набив трубку и закулив ее от сальной свечи, горевшей на столе, он некоторое время усиленно затягивался и наконец сказал:

— У меня к вам, господа, дело, так сказать... партикулярное. Я буду с вами говорить прямо: вы знакомы с этим поселенцем из бродяг, Степаном?

— С Дальней заимки? Да, знакомы.

— Так!.. Пожалуйста, не думайте что-нибудь такое... Он, кажется, у вас останавливается, приезжая в слободу?

— Да, нередко.

Заседатель засосал свою трубку, как будто в данную минуту это для него было самым важным делом, и сказал:

— Странный человек!

— Чем же собственно?

— Да как же, помилуйте: вмешивается не в свои дела, распоряжается тут в наслеггах, как начальство, заварил кашу...

Он встал со стула, видимо в дурном расположении духа, и, беспокойно пройдясь по комнате, сказал уже с явным неудовольствием:

— Помилуйте, что же это такое. Прежде был самый спокойный улус — теперь не проходит недели без происшествия. Там стреляют, там ранили человека, там поймали татарина, волокут в город. Только и слышишь: где происшествие? В участке Федосеева. Гнездо какое-то.

Я начинал понимать настроение заседателя. Каждая профессия имеет свою специфическую точку зрения. Семён Алексеевич Федосеев не мог не знать, что каждый год окрестные наслегги являлись ареной той же борьбы. Но прежде одна сторона относилась к ней пассивно. Вломан амбар, уведена лошадь, зарезана корова, поступает жалоба, виновные не найдены... Дело предается

воле божией, даже не доходя до города; в каждый свой приезд в слободу он приканчивал несколько таких дел простой подписью под заранее составленными постановлениями о прекращении дел «за необнаружением виновных»... Это и значило, что в его участке было все спокойно. Теперь каждое дело приобретало громкую огласку, доставлялись пойманные с поличным, происходили перестрелки; толки о необычайном обострении борьбы наслегов с татарами обращали внимание. Пропикнув в эту сущность дела, я невольно улыбнулся.

— Позвольте,— сказал я,— по ведь Степан не ворует и не грабит, а защищает и некоторым образом содействует обнаружению виновных.

Семен Алексеевич уселся и посмотрел на меня в упор.

— Ну, вот-вот. Это самое... Это-то вот и есть, как сказать... центр... именно: центр вопроса... Скажите, пожалуйста: бродяга, непомнящий, обыкновенный, извините, варнак... Откуда у него вдруг эти... эти...

— Идеи,— подсказал я, догадываясь, куда клонится его мысль.

— Идеи-то, идеи, но как это еще?..

— Рыцарские.

— Ну, вот-вот,— сказал он с облегчением, и лицо его несколько просветлело.— Вот в городе — извините, я уже буду говорить прямо — и рассуждают: из простого варнака делается вдруг этаким, знаете, необыкновенный, как его?.. Ринальдо Ринальдини своего рода. Как? Почему? Откуда? Книг он не читает... Разными этими идеями не занимается... Очевидно, тут действует (он искоса посмотрел на нас) *постороннее влияние*...

— Прибавьте, Семен Алексеевич, «вредное», — сказал я улыбаясь.

Он слегка поперхнулся дымом своей трубки.

— То есть я, конечно, не говорю... Это очень благородно... Даже, можно сказать, аль... аль... труистично... Ну, да!.. Но согласитесь сами...

И, стукнув себя чубуком несколько раз по затылку, он произнес с большим оживлением:

— Вот где у нас эта защита сидит, вот-с! То и гляди, из Иркутска запрос прискачет на курьерских... Кто заседатель в участке? Как мог допустить такое положение вещей!.. А ч-черт! А я только тем и виноват против

других, что у меня тут... не угодно ли... защитник угнетенных явился...

Его отчаяние было так искренно и комично, что оба мы с товарищем не могли удержаться от откровенной улыбки.

Заметив это, Федосеев сам улыбнулся.

— Ну, хорошо, господа! Все это верно-с и справедливо! Донельзя справедливо! До нек плюс утра! ¹ Признаюсь вам откровенно: сам в городе говорил, что останусь в дураках... А все-таки вот у Петриченки амбар сломали...

— Ну, это еще не самое печальное из бедствий... Почему это, Семен Алексеевич, вам амбар Петриченки дороже крестьянских или якутских?

— Сломают еще ваш, потом примутся за другие. Да если подумать так, по человечеству... так ведь больше им и делать нечего.

— Ну, положим,— работники опи отличные.

— На чем работать? — уныло сказал заседатель, принимаясь лабивать другую трубку.— Областное правление завалено их просьбами об отводе земли... Просьбы совершенно законные...

— Отчего же их не удовлетворяют?

— Откуда? Вы знаете, что у слобожан у самих земли немного. Насилу удалось склонить крестьян уступить по три четверти десятины покоса... Что такое три четверти десятины?

Он закурил и заговорил в совершенно другом тоне, просто и уже действительно внолье партикулярно.

— По закону нельзя поселять ссыльных больше, чем на одну треть против местного населения. А их тут теперь почти столько, сколько слобожан. Где же взять земли?

— Вот об этом в городе и следовало подумать.

— А, батюшка, думали! Даже писали много раз, потому что это ведь не от нас. «Для удобства надзора поселить в одном месте при слободе...» Вот вам и удобство надзора.

— Повторять... добиваться.

— Повторяемо было многократно!.. (Он махнул рукой с видом полной безнадежности.) А теперь я вот вам прямо скажу: всех захваченных якутами татар мы выпустили.

¹ Nec plus ultra — до последней степени (лат.).

— Да? А ведь, кажется, улики полные.

— Тюрьма еще полнее. Недавно прислали партию спиртоносов из отряда Никифорова. Эти молодцы в Олекминской тайге дали правильное сражение приисковым казакам. Это поважнее якутских амбаров. А в остроге яблоку упасть некуда... Эх, господа, господа!.. Надо судить по человечеству... Мы тут так опутаны... Приезжай сейчас какой-нибудь ревизор из того же Иркутска: мы тут в «нарушениях», как в паутине... А если бы разобрать хорошенько, по человечеству...

Расстались мы совершенно дружески. Мы объяснили заседателю, что наше влияние едва ли должно быть принимаемо в расчет в этом случае...

— А ведь сразил он вас, признайтесь,— сказал дорогой мой товарищ, молчавший почти все время нашего разговора.

— Признаюсь охотно,— ответил я.— Действительно, вторая половина нашей беседы произвела на меня сильное впечатление.

— И главное, чем сразил,— продолжал мой приятель,— вы говорили то, что должен был говорить он, а он — то, что, в сущности, должны были сказать вы...

И это было вполне справедливо. Короткий разговор с заседателем отбросил опять мое настроение в область того нейтралитета, который по какому-то инстинкту признала за нами сама среда... Но что же делать? Живому человеку трудно ограничиться ролью свидетеля, когда жизнь кругом кипит борьбой... Печать? корреспонденции? освещение общих условий? Долго, далеко, неверно!..

Остальную дорогу мы оба шли молча. По сторонам тихо переливались огни сквозь ледяные окна... Слободка кончала обычным порядком свой бесхитростный день, не задаваясь ни думами, ни вопросами... Она жила, как могла, и нам выпала роль безучастных свидетелей этой жизни. И никогда еще эта роль не казалась мне такой тяжелой...

На улице нас остановил Козловский, который дожидался у своих ворот, чтобы узнать о результатах переговоров наших с заседателем. Умный поляк выслушал внимательно наш рассказ и сказал с убеждением:

— А что вы думаете: ей-богу, это правда! Что нужно этому Степану, в самом деле? Какое у него шило си-

дят, что он эту кашу заварил? Не поверю я, что это оп из-за якутов.

Я рассказал то, что знал сам. Вспомнил Дальнюю заимку, болезненный приступ Степана ночью над озером, его жалобы на пустоту жизни, его порывания па прииски, от которых его удерживало упорное сопротивление Маруси...

— Мудрено все это,— задумчиво сказал Козловский и прибавил решительно: — Ну, помяните мое слово, долго это все равно не протянется... А я был у вас: там теперь пои в гостях... Чего они святить собираются?

Я догадывался, о чем шли переговоры с бродячим священником, и мы в некоторой нерешительности остановились невдалеке от нашей освещенной юрты, чтобы не мешать этим переговорам, решавшим участь Маруси. Вечер был морозный, но безветренный и тихий, и мы думали еще пройти по улице или даже уйти на время к Козловскому, как вдруг дверь нашей юрты открылась и из нее вышел Тимоха. Его приземистая фигура, в полушубке и неизменном треухе, вся облитая холодным светом луны, показалась мне как-то особенно устойчивой, кряжистой и крепкой. Когда он поравнялся с нами, в морозном воздухе пронеслась струйка винного запаха.

— Куда вы это, Тимофей? — спросил я.

— Да что, братцы... Сам не знаю: запрягать, что ли... Ведь уж дело-то видно: ни черта не выйдет. Не бывать, видно, плешатому кудрявым.

— О чем вы это говорите?

— Да все о том же. Она, конечно, хочет, чтобы как по-хорошему, как, словом сказать, у людей. А ему бы, лодырю, играть... Нельзя ему без Абрашки и быть.

— Да ведь они с Абрамом теперь на ножах?

— То-то и я говорю... Не мытьем, так катаньем... Всю татарскую силу поднял. Чужих, вишь ты, амбаров жалко... Свой-то убережешь ли, говорю, Степанушко... Сказано: ненатуральный человек... Игрун!

Потом, наклонясь к нам, он прибавил тише:

— Дело-то, почитай, на мази было. Бычка да двух телок уж я к якутам свел на станцию. Попу, значит, мимо ехать,— взял бы. Да денег пятнадцать рублей. Все ведь припасла Марья-то... А ни к чему.

— Отчего же?

— Да вот по тому самому: боек очень. Теперь об нем не то что... в городе молва идет. Обвенчай эдакого хахалю,— будешь у праздника. Чай, тоже не о двух головах хоть и поп этот...

В это время дверь юрты открылась опять, и на пороге появилась высокая фигура, вся в мехах и с посохом в руке. Это был священник. Я уже раз видел у знакомых эту своеобразную фигуру, всю пропикнутую колоритом холодной и дикой пустыни. Родом с далекой Камчатки, настоящий подвижник своей трудной миссии, он разучился даже говорить полными предложениями и выражался кратко, однословно, но по-своему определенно и сильно. Никогда я не видел человека, который бы мог пить так много и притом без всяких последствий. Другие собеседники валились кругом один за другим, а он продолжал, все такой же крепкий и молчаливый. Только черные глаза его немного разгорались, а лицо чуть-чуть бледнело. На многое он смотрел слишком упрощенно, но мне казалось, что под этой грубой оболочкой бьется недурное сердце...

Заметив нашу группу во дворе, он подошел близко и сказал с грубоватым простодушием, отрубая слова:

— Плачет. Глупая. Жаль. Баба хорошая.

— Баба как есть... Хотя в Расею возьми,— отозвался Тимоха.

— Мог бы, обвенчал бы. Не венчаны. Побожилась. Верю. За грех не почитаю. Имена ты, господи, веси... А мне пятнадцать рублей деньги...

— Как не деньги! — убежденно поддержал опять Тимоха. — По здешним местам где возьмешь?

— Так в чем же дело, батюшка? — спросил я.

— Нельзя... Человек заметен. Не тот человек.

— Правильно! — подтвердил Тимоха.

— И ей не такого бы. Жаль. Ну, нельзя.

Он сунул нам свою огромную руку и пошел к воротам, кидая по белому снегу гигантскую черную тень.

— Ха-а-роший батька,— сказал Тимофей с какою-то особенной теплотой в голосе...

Он пошел к лошадям, а мы вошли в свою юрту. Здесь еще ярко пылал огонь, на столе виднелись пустые бутылки и остатки угощения. Маруся лежала за перегородкой, уткнувшись лицом в изголовье...

Прошло минут двадцать. За перегородкой усилились глухие сдержанные стоны... Мы начинали уже бояться какого-нибудь болезненного припадка, но в это время к общему облегчению вошел Тимоха и сказал как-то просто и решительно:

— Ну, хозяйка! У меня лошади готовы. Едем, что ли.

В его грубом голосе я различил непривычно мягкую ласковую ноту.

— Куда же это вы, на ночь глядя? — сказал мой товарищ. — Да и опасно, смотрите.

— Чего это? — спросил Тимофей. — Это ты насчет татар? Эва! Чего им от нас нужно. Не-ет! Нас не тронут. А в случае чего, у меня дубина. Ну, полно тебе, хозяйка! Вставай! Домой надо.

За перегородкой несколько секунд еще стояло молчание, потом Маруся поднялась как-то вдруг, и ее фигура появилась в темном четырехугольнике двери. Ее праздничная одежда была слегка измята, лицо искажено мучительной судорогой и, как мне показалось, выражением глубокого, мучительного стыда... Тимоха помог ей одеться. Она застенчиво поклонилась нам, и они вышли...

На следующее утро мы стояли с Козловским у ворот, разговаривая о событиях прошедшего дня... День был сравнительно мягкий, градусов пятнадцать, что для тех мест соответствует нашей оттепели, и на улице виднелось немало народу...

Вдруг мы заметили около середины длинной слободской улицы какое-то оживление. Лаяли собаки, выбегали люди, стайка татарчат бежала за всадником, ехавшим по самой середине улицы почти шагом.

— А ведь это, смотрите, Степан, — сказал, вглядываясь, Козловский.

Я сначала не поверил, но стоявший рядом слобожанин Сергей, обладавший чисто рысьей дальноркостью, с уверенностью подтвердил мнение поляка.

— Ну, смелая шельма, — сказал с одобрением Козловский. — Едет себе среди дня, как ни в чем не бывало. Пьяный, должно быть... Вот будет штука, если увидит Абрашка.

Абрашка в это время колол дрова. Заинтересованный шумом, он равнодушно вышел за ворота, пригляделся и вдруг со всех ног кинулся в дом. Через минуту дверь отворилась. Мне показалось, что оттуда мелькнуло дуло ружья, но тотчас же дверь захлопнулась опять. Не прошло и минуты, как из юрты появилась красивая жена Абрама, а за ней — сам Абрам покорно шел с пустыми руками...

Толпа за Степаном росла. Он ехал не торопясь, конь порывался и играл под ним, пугаясь шума и толкотни, но Степан сдерживал его и, казалось, не обращал внимания на все происходившее. Мне показалось, что он действительно несколько пьян. Я заметил, что в толпе было больше всего татар. Слобожане и якуты, наоборот, скрывались в юрты. Степан испытывал еще раз участь героя, оставляемого в трудную минуту теми самыми людьми, которые всего больше ему удивлялись. Сергей тоже с замешательством почесался...

— Уйти, однако, — сказал он, озираясь; но наше присутствие и любопытство пересилило, и он остался.

Степан тотчас же заметил Абрашку и его жену, которые двинулись ему навстречу. Я подумал даже, вспомнив при этом Тимоху, что вся эта бравада Степана имела главным образом в виду Абрашкину юрту и ворота, мимо которых ему приходилось ехать. Заметив своего противника, Степан нервно дернул повод, но затем в лице его показалось легкое замешательство и как будто растерянность. Он, вероятно, ждал чего-нибудь более бурного.

Между тем красивая татарка шла прямо на лошадь плавной походкой полной женщины, — и Степану пришлось остановиться. Толпа тоже остановилась, но было видно, что это просто толпа любопытных. Вдруг среди нее послышался дружный смех, после двух или трех слов Марьи, сказанных по-татарски.

— Что она сказала? — спросил я.

— Ничего, — ответил Сергей, тоже улыбаясь. — Она говорит: «Здорово, Степанушка...», больше ничто не сказал...

— А он разве понимает по-татарски?

— Тюрьма сидел с ними... Знает.

Толпа опять захохотала.

— Что такое? — спросил я опять.

— Ничего, — ответил мой переводчик. — Конфузил больно... Ты, говорит, якутской вера...

— А теперь что?

Он слушал и переводил мне, пока Степан тихо прокладывал себе путь среди толпы, а Марья, держась немного поодаль, продолжала свои язвительные речи.

Через некоторое время к ней присоединился Абрам. Он говорил страстно и все повышал голос.

— А! Че! — восклицал Сергей при каждой новой фразе. — Больна конфузил.

— Да что же такое? — спрашивал я с нетерпением.

— Ты, говорит, с нами хлеб ел.

— Ты, говорит, с нами спал вместе.

— Ты, говорит, нам считался все одно брат.

— Ты, говорит, за джякут заступил, за нас не заступил...

— Тебе, говорит, джякут лучше татарина стал...

— Ты, говорит, научил поганных якутов украсть моего каурка...

Я слушал с удивлением перевод этих речей, в которых, в сущности, не было ничего, кроме изложения действительных фактов. Все, что тут говорилось, была правда, все это было хорошо известно и нам, и Степану, и всей слободе. И я не мог понять, почему эта толпа торжествовала над этим человеком, которому стоило только поднять голову и сказать несколько слов. Я так и ждал, что Степан остановит коня и крикнет:

— Да, я сделал все это и опять сделаю... Собаки!..

Но Степан не говорил этого. Наоборот, его глаза, еще недавно дерзко искавшие опасности и кидавшие вызов, — теперь потупились; он густо покраснел, причем резко выступили опять светлые усы и брови, и, по-видимому, все свое внимание сосредоточил на мундштуке коня, как будто ехал над пропастью. Конь по временам, видимо, просился, поднимал голову и, оскалив зубы и брызжа пеной, тряс над головами шнырявших перед ним татарчат своей красивой головой с страдальческим выражением.

Марья уверенно шла немного в стороне и впереди и продолжала выкрикивать нараспев с какой-то проникающей страстностью... Такая же страстность и такая же изумительная уверенность в своей правоте слышалась в тоне Абрама. Его прекрасные глаза горели и, казалось, метали искры, а голос звенел и заражал глубокой искренностью негодования.

Голоса мужа и жены становились все возбужденнее, смех толпы все громче. Опасаясь, что в случае задержки все это может кончиться какой-нибудь катастрофой, я быстро перебежал через небольшую площадку и стал открывать свои ворота, в уверенности, что Степан едет к нам, и с намерением у своих ворот заступиться за него и остановить толпу.

И действительно, он уже стал было поворачивать за угол городьбы, как вдруг произошло что-то совсем неожиданное. Красавица татарка, державшая себя всегда с таким солидным достоинством, вдруг выступила вперед и перед всеми сделала по направлению к Степану бесстыдный жест...

Толпа неистово загготала.

На наш взгляд такой поступок опозорил бы только женщину; но я замечал много раз, что простые люди принимают это наоборот, как самое тяжкое оскорбление своей личности. И действительно, Степан вздрогнул, конь его, казалось, сейчас кинется на татарку. Но он удержал его, подняв на дыбы. Толпа шарахнулась, расчистив путь, и через минуту Степан исчез за околицей в туче снежной пыли под грохот и улюлюканье торжествующей толпы.

Увы! Это была полная нравственная победа одной стороны и поражение другой. Победа уверенного в себе и цельного в своей простодушной непосредственности злодейства над неуверенной и стыдящейся себя добродетелью...

Недели через две мы с товарищем решили съездить на Дальнюю займку. Обоим нам хотелось повидать Степана и, прямо или косвенно, выразить ему свое сочувствие.

Выехав задолго еще до рассвета, мы только к ночи подъехали к Дальней займке.

Теперь трудно было узнать эту местность. Кругом все было занесено снегом, тайга стояла вся белая, за нею, едва золотясь краями на лунном свете, высились скалы, озеро лежало под снегом и только у берега высились мерзлые края проруби.

Малорусская хатка стояла пустая, с белыми обмерзшими окнами. За нею виднелась небольшая юрта с наклонными стенами, казавшаяся кучей снега. Летом я не обратил на нее внимания. Теперь в ее окнах переливался огонь, а из трубы высоко и прямо подымался бе-

лый столб дыма, игравший своими бледными переливами в лучах месяца.

Все было бело, бледно и прозрачно. Злой лай собаки приветствовал нас еще издали, и навстречу нам вышел, скрипнув дверью, Тимоха. В руках у него была здоровенная дубина. Очевидно, он полагался на нее более, чем на ружье.

Маруся приняла нас с грустной приветливостью, все-таки стыдась чего-то и отворачивая лицо. Степана не было...

В юрте даже как-то незаметно было его отсутствие. Все было тесновато, но уютно, и, по-видимому, Маруся с работником жили довольно удобно... Они ничего еще не знали о происшествии в слободе. Степан домой не являлся. Очевидно, его жизнь начала отделяться от жизни Дальней заимки.

Пришлось все-таки рассказать Марусе о причине нашего посещения.

— Ну, теперь закрутит и еще пуще, — сказал Тимоха.

На шитье, с которым в это время сидела Маруся, капнула слеза... Она зашивала Тимохину рубаху...

Еще недели через две мы узнали, что Степан ушел на приiski.

VII. Заключение

Прошло года полтора. В самом начале осени приехал заседатель Федосеев. Отдав нам письма и газеты, он попросил нас присесть и сказал:

— Да, кстати. Какое неприятное происшествие.

— Что такое?

— На Дальней заимке... Какой-то там Тимофей у них... Работник, что ли, черт его знает...

— Да, работник.

— Ранен или ранил себя по неосторожности. Вообще, таинственная история. Вы ничего не слыхали?

— Нет, не слыхали. Тяжело?

— Нет, легко. Уже поправляется. Я узнал стороной — они сами скрывают. Что, Степан у вас не бывал?

— Нет, он давно на приисках.

— Приходил не так давно за паспортом... Но, по нашим сведениям, он ушел опять недели за две до происшествия...

И вдруг, переходя в «партикулярный» тон, он сказал:

— Между нами сказать,— я уверен, что это его рук дело.

И, лукаво засмеявшись, прибавил:

— Вот оно,— женское сердце! Помните, я-то распинался: любовь... как это еще... идиллия, верность. И ведь работник-то, заметьте, рожа несказанная... Настоящий... Ну, как это?.. Ква... Ква...

— Квазимодо...

— Ну, вот-вот. Я ведь прямо оттуда. Отобрал показания.

— Что же?

— Сам, говорит, по нечаянности; ружьем баловался... Но рана такая, что этого никоим образом допустить нельзя... Понимаете?

— А тюрьма у вас переполнена?

— Как селенок в бочке,— сказал он, махнув рукой.— К тому же... Только уж это, пожалуйста, вполне партикулярно, между нами!

Он оглянулся на запертую дверь и прибавил:

— Пришлось бы, пожалуй, и другое дело подымать... А жаль батьку, батька-то простяк...

— Неужели бродяжий брак? — спросил я.

— А вы почему догадались?

— Я знал об их намерении венчаться. Значит, все-таки Степану удалось это устроить?

— Как Степану?

— А то кому же?

— Ну, там кто устраивал, не знаю. А только обещался все он же, работник этот... На кого, подумайте, променяла! Тот все-таки был действительно молодец!

Мне вспомнилась пророческая вражда Степана и его отзыв о хитрости работника. А между тем я и теперь был уверен, что роль Тимохи была, как всегда, пассивная: наверное, Маруся просто женила его на себе... Изломанная, смятая какой-то бурей, она стремилась восстановить в себе женщину и хозяйку. Для этого ей нужно было ее хозяйство, весь этот уголок. Для хозяйства нужен хозяин. Все это — лишь внешняя оболочка, в которую, как улитка, пряталась больная женская душа.

А впрочем... Кто знает? Иногда мне вспоминалось время, проведенное нами на заимке, рассказ Тимофея, горящие глаза Маруси и почти страдальческое участие ее к этому рассказу. И мне приходило в голову, что,

быть может, в ней, стремившейся восстановить в себе крестьянку, этот Тимоха, так полно сохранивший в себе все особенности пахаря, мог задеть и другие сердечные струны...

Все это, однако, показалось мне слишком туманным и сложным, чтобы делиться этими соображениями с заседателем Федосеевым.

Недавно я получил из тех мест длинное письмо. Моя знакомая отвечала подробно на мои вопросы о местах и людях.

«...О Степане мне трудно было узнать что-нибудь. О нем все как-то забыли. Марья же (по мужу Захарова) живет на «Дальней заимке». Это место пользуется некоторой известностью, и начальство охотно поселяет там русских, на которых можно рассчитывать как на земледельцев. Пожалуй, что это начало будущего значительного поселения. У Марьи два сына, один — подросток, отличный работник. Оба говорят по-малорусски лучше, чем по-русски. Тимофей тоже хороший работник, но, по общему мнению, настоящая хозяйка — Марья. Впрочем, она выказывает ему наружные знаки почтения. Иногда он напивается и под пьяную руку поколачивает ее. Она охотно рассказывает об этом, как будто гордится побоями «своего мужика», или, как она называет, «чоловіка»... В смехе Маруси ничего особенного не заметно... Вообще она, по-видимому, человек вполне нормальный».

«Выпрямилась», — подумал я по прочтении этого письма. Мне опять вспомнилась молодая искалеченная лиственница... Даже эти побои... Вероятно, Марье приходит при этом в голову, что, — не будь всего того, что вырвало ее из родной среды, — какой-нибудь «чоловік Тиміш» где-нибудь в своей губернии так же напивался бы, так же куражился, так же поколачивал бы ее в родной деревне... На то он «чоловік», свой, родной, «законный».

У всякого свои понятия о счастье...

Во времена моей юности один товарищ рассказал мне следующую историю. Как-то, лишившись уроков, он дошел до крайней нужды и не ел почти два дня. В это время ему предложили работу. Он вяло шел по улицам на приглашение и думал, что вряд ли в силах будет исполнить заказ. Вот если бы задаток!.. Хоть рубль...

именно рубль!.. И вдруг в его воображении с необыкновенной яркостью нарисовалась желтенькая бумажка. С этим заманчивым образом в уме он слушал объяснение заказчика. В заключение тот сам предложил задаток и протянул... десять рублей. Студент вяло посмотрел на бумажку. Это было не то, что ему нужно.

— Рупь... — сказал он с выражением тупой жадности в голосе.

— Но позвольте...

— Рупь, рупь, рупь, — повторял он настойчиво. Заказчик пожал плечами, студент получил желаемое. И в эту минуту он был счастлив...

Маруся тоже отвоевала у судьбы свой рубль и — значит, тоже счастлива.

Известия эти доставили мне чувство некоторого удовлетворения, героические усилия молодого надломленного существа не пропали даром. Но, когда я гляжу теперь на несколько пожелтевших листочков, на которых я тогда набросал в коротких чертах рассказ Степана, — сердце у меня сжимается невольным сочувствием. И сквозь благополучие Дальней заимки хочется заглянуть в безвестную судьбу беспокойного, неудовлетворившегося, может быть давно уже погибшего человека...

1899

ПОСЛЕДНИЙ ЛУЧ

I

Нюйский станок расположен на небольшой полянке, на берегу Лены. Несколько убогих избушек задрами прижимаются к отвесным скалам, как бы пятась от сердитой реки. Лена в этом месте узка, необыкновенно быстра и очень угрюма. Подошвы гор противоположного берега стоят в воде, и здесь больше, чем где-либо, Лена заслуживает свое название «Проклятой щели». Действительно, это как будто гигантская трещина, по дну которой клубится темная река, обставленная угрюмыми скалами, обрывами, ущельями. В ней надолго останавливаются туманы, стоит холодная сырость и почти непрерывные сумерки. Население этого станка

даже среди остальных приленских жителей поражает своею вялостью, худосочием и безнадежной апатией. Унылый гул лиственниц на горных хребтах составляет вечный аккомпанемент к этому печальному существованию...

Приехав на этот станок ночью, усталый и озябший, я проснулся утром, по-видимому, довольно рано.

Было тихо. В окна глядел не то тусклый рассвет, не то поздний вечер, — что-то заполненное бесформенной и сумеречной мглой. Ветер дул в «щели», как в трубе, и гнал по ней ночные туманы. Взглянув из окна кверху, я мог видеть клочки ясного неба. Значит, на всем свете зарождалось уже яркое солнечное утро. А мимо станка все продолжала нестись, клубами, холодная мгла... Было сумрачно, тихо, серо и печально.

В избушке, где я ночевал, на столе горела еще простая керосиновая лампочка, примешивая к сумеркам комнаты свой убогий желтоватый свет. Комната была довольно чистая, деревянные перегородки, отделявшие спальню, были оклеены газетной бумагой. В переднем углу, около божницы, густо пестрели картинки из иллюстраций, — главным образом портреты генералов. Один из них был Муравьев-Амурский, большой и в регалиях, а рядом еще вчера я разглядел два небольших, скромных портрета декабристов.

Лежа на своей постели, я мог видеть из-за перегородки стол с лампой у противоположной стены. За столом сидел старик с довольно красивым, но бледным лицом. Борода у него была серая, с ровной густой сединой, высокий обнаженный лоб отливал желтизной воска, редкие на темени волосы — сзади были длинны и слегка волнисты. В общем фигура напоминала духовного, даже, пожалуй, одного из евангелистов, но цвет лица был неприятно бледный и нездоровый, глаза мне казались тусклыми. На шее виднелись, как опухоль, признаки зоба, — болезнь, очень распространенная на Лене, которую приписывают ленской воде.

Рядом с ним сидел мальчик лет около восьми. Мне была видна только его наклоненная голова, с тонкими, как лен, белокурыми волосами. Старик, щуря сквозь очки свои подслеповатые глаза, водил указкой по странице лежавшей на столе книги, а мальчик с напряженным вниманием читал по складам. Когда ему не удавалось, старик поправлял его с ласковым терпением.

— Люди-оп... ло... ве-ди-есть, и краткое...

Мальчик остановился. Незнакомое слово, очевидно, не давалось... Старик сощурился и помог:

— Соловей,— прочел он.

— Соловей,— добросовестно повторил ученик и, подняв недоумевающие глаза на учителя, спросил: — Со-ло-вей... Что такое?

— Птица,— сказал старик.

— Птица...— И он продолжал чтение.— «Слово-иже, си, добро-ять-люди, дел... Соловей си-дел... на че... на че-ре... на че-ре-му-хе...»

— Что такое? — опять вопросительно прозвучал, как будто деревянный, безучастный голос ребенка.

— На черемухе. Черемуха, стало быть, дерево. Он и сидел.

— Сидел... Зачем сидел?... Большая птица?

— Махонькая, поет хорошо.

— Поет хорошо...

Мальчик перестал читать и задумался. В избушке стало совсем тихо. Стучал маятник, за окном плыли туманы... Клок неба вверху приводил на память яркий день где-то в других местах, где весной поют соловьи на черемухах... «Что это за жалкое детство! — думал я невольно под однотонные звуки этого детского голоса.— Без соловьев, без цветущей весны... Только вода да камень, заграждающий взгляду простор божьего мира. Из птиц — чуть ли не одна ворона, по склонам — скучная лиственница да изредка сосна...»

Мальчик прочел еще какую-то фразу все тем же тусклым, непонимающим голосом и вдруг остановился.

— А что, дед,— спросил он,— нам не пора ли, гляди?...— На этот раз в его голосе слышались уже живые, взволнованные ноты, и светлые глаза, освещенные огнем лампы, с видимым любопытством обратились на деда.

Тот посмотрел на часы, равнодушно тикавшие маятником, потом на окно с клубившеюся за стеклами мглой и ответил спокойно:

— Рано еще. Только половина!..

— Может, дедушка, часы-то испортились.

— Ну, ну... темно еще... Да оно, глухой, нам же лучше. Вишь, ветер... Может, мброки-те прогонит, а то ничего и не увидишь, как третьеводни.

— Лучше,— повторил мальчик своим прежним, покорным голосом, и чтение продолжалось.

Прошло минут двадцать. Старик взглянул на часы,

потом в окно и задул лампочку. В комнате разлился голубоватый полусвет.

— Одевайся, — сказал старик и прибавил: — Тихонько, чтоб Таня не услышала.

Мальчик живо соскочил со стула.

— А ее не возьмем? — спросил он шепотом.

— Не... куда ей... И то кашляет... Пусть спит.

Мальчик принялся одеваться с осторожной торопливостью, и вскоре обе фигуры — деда и внука — промелькнули в сумерках комнаты. На мальчике было надето что-то вроде пальто городского покроя, на ногах большие валенки, шея закутана женским шарфом. Дед был в полушубке. Дверь скрипнула, и оба вышли наружу.

Я остался один. За перегородкой слышалось тихое дыхание спящей девочки и хриплое постукивание маятника. Движение за окном все усиливалось, туманы проносились все быстрее, разрывались чаще, и в промежутках все шире проглядывали суровые пятна темных скал и ущелий. Комната то светлела, то опять погружалась в сумрак.

Мой сон прошел. Молчаливая печаль этого места начинала захватывать меня, и я ждал почти с нетерпением, когда скрипнет дверь и старик с мальчиком вернутся. Но их все не было...

Тогда я решил посмотреть, что это их выманило из избы в туман и холод. Спал я одетый, поэтому мне не нужно было много времени, чтобы натянуть сапоги и пальто и выйти...

Оба — старик и мальчик — стояли на крыльце, заложив руки в рукава и как будто чего-то ожидая.

Местность показалась мне теперь еще угрюмее, чем из окна. Вверху туман рассеялся, и вершины гор рисовались отчетливо и сурово на посветлевшем небе. На темном фоне гор проносились только отдельные горизонтальные клочья тумана, но внизу все еще стояли холодные сумерки. Ленские струи, еще не замерзшие, но уже тяжелые и темные, сталкивались в тесном русле, заворачивались воронками и омутами. Казалось, река в немом отчаянии кипит и рвется, стараясь пробиться на волю из мрачной щели... Холодный предутренний ветер, прогонявший остатки ночного тумана, трепал нашу одежду и сердито мчался дальше...

Дома станка, неопределенными кучками раскиданные по каменной площадке, начинали просыпаться.

Кое-где тянулся дымок, кое-где мерцали окна; высокий худой ямщик в рваном полушубке, зевая, провел в поводу пару лошадей к водоюю и скоро ступевался в тепи берегового спуска. Все было буднично и уныло.

— Что это вы ждете? — спросил я у старика.

— Да вот, внучку охота солнушко посмотреть, — ответил он и спросил в свою очередь: — Вы чьи? Российские?

— Да.

— Чернышовых там не знавали?

— Каких Чернышовых? Нет, не знавал.

— Где, поди, знать. Россия велика... Сказывают, генерал был...

Он помолчал, пожимаясь от холода, и, что-то обдумав, опять повернулся ко мне:

— Проезжий тут один сказывал: при царице Екатерине служил Захар Григорьевич Чернышов...

— Да, такой был...

Старик хотел спросить еще что-то, но в это время мальчик резко задвигался и тронул его за рукав...

Я невольно тоже взглянул на вершину утеса, стоявшего на нашей стороне, у поворота Лены...

До сих пор это место казалось каким-то темным жерлом, откуда все еще продолжали выползать туманы. Теперь над ними, в вышине, на остроконечной вершине каменного утеса, внезапно как будто вспыхнула и засветилась верхушка сосны и нескольких уже обнаженных лиственниц. Прорвавшись откуда-то из-за гор противоположного берега, первый луч еще не взошедшего для нас солнца уже коснулся этого каменного выступа и группы деревьев, выросших в его расселинах. Над холодными синими тенями нашей щели они стояли как будто в облаках и тихо сияли, радуясь первой ласке утра.

Все мы молча смотрели на эту вершину, как будто боясь спугнуть торжественно-тихую радость одинокого камня и кучки лиственниц. Мальчик стоял неподвижно, держась за рукав деда. Его глаза были расширены, бледное лицо оживилось и засветилось восторгом. Между тем в вышине что-то опять дрогнуло, затрепетало, и другой утес, до сих пор утопавший в общей сине-угрюмом фоне горы, загорелся, присоединившись к освещенной группе. Еще недавно безлично сливавшиеся с отдаленными склонами, теперь они смело вы-

ступили вперед, а их фон стал как будто еще отдаленнее, мглистее и темнее.

Мальчик опять дернул деда за рукав, и его лицо уже совершенно преобразилось. Глаза сверкали, губы улыбались, на бледно-желтых щеках, казалось, проступал румянец.

На противоположной стороне реки тоже произошла перемена. Горы все еще скрывали за собой взошедшее солнце, но небо над ними совсем посветлело, и очертания хребта рисовались резко и отчетливо, образуя между двумя вершинами значительную впадину. По темным еще склонам, обращенным к нам, сползали вниз струи молочно-белого тумана и как будто искали места потемнее и посырее... А сверху небо расцветалось золотом, и ряды лиственниц на гребне выступали на светлом фоне отчетливыми фиолетовыми силуэтами. За ними, казалось, шевелится что-то — радостное, неутомное и живое. В углублении от горы к горе проплыла легкая тучка, вся в огне, и исчезла за соседней вершиной. За ней другая, третья, целая стая... За горами совершалось что-то ликующее и радостное. Дно расселины все разгоралось. Казалось, солнце подымается с той стороны по склонам хребта, чтобы заглянуть сюда, в эту убогую щель, на эту темную реку, на эти сиротливые избушки, на старика с бледным мальчиком, ждавших его появления.

И вот оно появилось. Несколько ярко-золотистых лучей брызнули беспорядочно в глубине расселины между двумя горами, пробив отверстия в густой стене леса. Огненные искры посыпались пучками вниз, на темные пади и ущелья, вырывая из синего холодного сумрака то отдельное дерево, то верхушку сланцевого утеса, то небольшую горную полянку... Под ними все задвигалось и засуетилось. Группы деревьев, казалось, перебегали с места на место, скалы выступали вперед и опять тонули во мгле, полянки светились и гасли... Полосы тумана змеились внизу тревожнее и быстрее.

Потом на несколько мгновений засветилась даже темная река... Вспыхнули верхушки зыбких волн, бежавших к нашему берегу, засверкал береговой песок с черными пятнами ямщицких лодок и группами людей и лошадей у водопоя. Косые лучи скользнули по убогим лачугам, отразились в слюдяных окнах, ласково коснулись бледного, восхищенного лица мальчика...

А в расселине между горами уже ясно продвигалась

часть огненного солнечного круга, и на нашей стороне весь берег радовался и светился, сверкая, искрясь и переливаясь разноцветными слоями сланцевых пород и зеленью пушистых сосен...

Но это была лишь недолгая ласка утра. Еще несколько секунд, и дно долины опять стало холодно и сине. Река погасла и мчалась опять в своем темном русле, бешено крутя водоворотами, слюдяные окна померкли, тени подымались все выше, горы задержали недавнее разнообразие своих склонов одноцветною синею мглою. Еще несколько секунд горела на пашей стороне одинокая вершина, точно угасающий факел над темными туманами... Потом и она померкла. В расселине закрылись все отверстия, леса сомкнулись по-прежнему сплошной траурной каймой, и только два-три отсталые облачка продвигались над ними, обесцвеченные и холодные...

— Все,— сказал мальчик грустно. И подняв на деда свои печальные померкшие глаза, прибавил вопросительно: — Больше не будет?

— Не будет, чай,— ответил тот.— Сам ты видел: только край солнушка показался. Завтра уже пойдет низом.

— Кончал, брат! — крикнул возвращавшийся с реки ямщик.— Здравствуйте, дед со внуком!..

Повернувшись, я увидел, что у других избышек тоже кое-где виднелись зрители. Скрипели двери, ямщики уходили в избы, станок утопал опять в обесцвечивающем холодном тумане.

И это уже на долгие месяцы!.. Старик рассказал мне, что летом солнце ходит у них над вершинами, к осени оно опускается все ниже и скрывается за широким хребтом, бессильное уже подняться над его обрезаом. Но затем точка восхода передвигается к югу, и тогда на несколько дней оно опять показывается по утрам в расселине между двумя горами. Сначала оно переходит от вершины к вершине, потом все ниже, наконец лишь на несколько мгновений золотые лучи сверкают на самом дне впадины. Это и было сегодня.

Ньюйский станок прощался с солнцем на всю зиму. Ямщики, конечно, увидят его во время своих разъездов, но старики и дети не увидят до самой весны или, вернее, до лета...

Последние отблески исчезли... За горами был пол-

ный день, но внизу опять сгустился туман, склоны гор задернулись мутной одноцветной дымкой. Рассеянный свет просачивался из-за гор, холодный и неприветливый...

II

— Так вы, говорите, тоже из России? — спросил я у старика, когда мы опять вошли в избу и он поставил на стол небольшой, старенький самовар. Мальчик ушел за перегородку к проснувшейся сестре и стал забавлять ее. По временам оттуда слышался слабый детский смех, точно кто перекидывал кусочки стекла.

Старик поправил убогую скатертку и через некоторое время ответил как-то неохотно:

— Да... Что уж тут... Здесь родились, так и здешние. Они вот, дети, пожалуй что и не простого роду...

— Как фамилия? — спросил я.

— Да что!.. — опять так же вяло ответил он. — Авдеевы, скажем, фамилия. Да это так, просторечие. А настоящая им фамилия Чернышovy...

Он вдруг оставил скатерть и посмотрел на меня внимательным и заинтересованным взглядом.

— Вы, вот, про Чернышова Захара Григорьевича тоже, значит, читали. Генерал был?

— Да, был генерал при Екатерине. Только он не был сослан.

— Ну, не он, а видно того же роду... При императоре Николае... При восшествии, что ли...

Он испытующе вглядывался в мое лицо, но я не мог ничего припомнить о Чернышове. Старик грустно покачал головой...

— Говорят: книгочей был. Умирал, все наказывал детям: главное дело за грамоту держитесь крепче...

Он помолчал и затем прибавил:

— Да что уж тут... Известное дело — гиблое место... Дочь моя за внуком его была, за Евгениевым. Вот и пошли Авдеевы... Не живучи... Сам помер, мать померла, вон двое на руках остались... Я старый, они кволые... Мальчик вот припадочный... Так, видно, и изном... Следу не останется...

Дверь отворилась, вошел ямщик, перекрестился на образ и сказал:

— Авдеев... Иди, проезжающих запиши... У старосты.

— Ладно!

— Вас разве тоже Авдеевым зовут? — спросил я.

— Да вот, поди-ты... И меня по ним: Авдеев да Авдеев... Когда-то люди были...

И старик, может быть единственный грамотей на Нюйском станке, взял под мышки истрепанную книгу и вышел.

Больше ничего я не мог узнать из области этой туманной генеалогии и вскоре покинул навсегда угрюмый Нюйский станок. Часа через два, повернув на другое плёсо, я увидел солнце прямо перед собою... Оно стояло невысоко, но все же заливало огненными блестками и берега, и воду... И его тихий, даже, пожалуй, печальный свет показался мне в эту минуту и ярким, и радостным.

III

Впоследствии, вернувшись в Россию, я старался узнать что-нибудь о ссыльной ветви чернышовского рода. Именем Захара Григорьевича Чернышова пестрят страницы екатерининской истории, но он никогда не был в ссылке. Однажды, дожидаясь парохода на волжской отмели, я услышал от рыбака песню о прусском плене русского доброго молодца, Чернышова Захара Григорьевича. Рыбак не знал, конечно, ничего об исторической личности, — но песня все-таки являлась отголоском действительного события. Во времена Пугачева удалой казак Чика принял на себя имя Захара Григорьевича Чернышова и прибавил в народной памяти к популярному имени опальную черту; другая песня говорит уже о темнице на волжском берегу, в городе Лыскове. Удалой добрый молодец, Чернышов Захар Григорьевич, скликает к себе бурлаков и низовую вольницу...

Вообще этому имени почему-то повезло в народной памяти, и среди загадочных личностей Сибири фамилия Чернышовых тоже мелькает довольно часто. Этим я и объяснял себе свою встречу на Нюйском станке; очевидно, действительное происхождение рода, быть может, ссыльного, потерялось, и старик бессознательно взял популярное имя... В его грустном тоне слышались правдивость и убеждение...

Совсем уже недавно, просматривая небольшую заметку о декабристах, я наткнулся на одно мало извест-

ное и мало упоминаемое имя тоже декабриста... «З. Г. Чернышова».

Тогда встреча на Нюйском станке всплыла опять в моей памяти и, казалось, осветилась новым светом: так, — думая я, — старик Авдеев говорил правду.

Дальнейшие сведения, однако, разрушили эту определенность: декабрист Захар Григорьевич Чернышов вернулся в Россию, здесь женился и умер за границей.

Над генеалогией Авдеевых нависла опять туманная завеса... В обширной и угрюмой Сибири затерялось таким же образом немало жизней, и многие роды с вершин, освещенных солнцем, опускались навсегда в эти холодные низы, в ущелья и туманные долины... Выше Якутска, на берегу Лены, стоит утес, по которому змеится над пропастью узкая тропинка. В расселине скалы сохранились следы жилья. С этим местом связана трогательная легенда: здесь много лет жил какой-то ссыльный, прежде человек знатный, попавший в опалу. В Сибири он жил в разных местах и, наконец, поселился здесь, рядом с убогим поселком. Он сам рубил дрова и таскал воду. Однажды, когда он поднимался на гору с вязанкой дров, вверху на тропинке перед ним появилась знакомая фигура. Это была жена, разыскивавшая его в этом ущелье. Ссыльный узнал ее, но от радости или испуга ему сделалось дурно: он покачнулся и упал в пропасть.

Я напрасно старался узнать имя этого человека и подробности этого события: равнодушная и холодная Сибирь плохо хранит эти сведения, и память об этой когда-то, может быть, яркой жизни и трагической смерти замирает отголосками неясной легенды, связанной уже только со скалой, но не с человеком...

Так же неясно и неопределенно происхождение мальчика, которого я встретил на Нюйском станке. Но когда мои воспоминания обращаются к Сибири, в моем воображении невольно встает эта темная щель, и быстрая река, и убогие лачуги станка, и последние отблески уходящего солнца, гаснущие в печальных глазах последнего потомка какого-то угасающего рода...

Как-то давно, темным осенним вечером, случилось мне плыть по угрюмой сибирской реке. Вдруг на повороте реки, впереди, под темными горами мелькнул огонек.

Мелькнул ярко, сильно, совсем близко...

— Ну, слава богу! — сказал я с радостью, — близко ночлег!

Гребец повернулся, посмотрел через плечо на огонь и опять апатично налег на весла.

— Далече!

Я не поверил: огонек так и стоял, выступая вперед из неопределенной тьмы. Но гребец был прав: оказалось, действительно, далеко.

Свойство этих ночных огней — приближаться, побеждая тьму, и сверкать, и обещать, и манить своею близостью. Кажется, вот-вот еще два-три удара веслом — и путь кончен... А между тем — далеко!..

И долго еще мы плыли по темной, как чернила, реке. Ущелья и скалы выплывали, надвигались и уплывали, оставаясь назади и теряясь, казалось, в бесконечной дали, а огонек все стоял впереди, переливаясь и маня, — все так же близко и все так же далеко...

Мне часто вспоминается теперь и эта темная река, затененная скалистыми горами, и этот живой огонек. Много огней и раньше и после манили не одного меня своею близостью. Но жизнь течет все в тех же угрюмых берегах, а огни еще далеко. И опять приходится налегать на весла...

Но все-таки... все-таки впереди — огни!..

1900

СОДЕРЖАНИЕ

Сон Макара. <i>Святочный рассказ</i>	3
Федор Бесприютный. <i>Из рассказов о бродягах</i> . . .	29
В дурном обществе. <i>Из детских воспоминаний моего приятеля</i>	71
«Лес шумит». <i>Полесская легенда</i>	128
Слепой музыкант. <i>Этюд</i>	149
Река играет. <i>Эскизы из дорожного альбома</i>	270
Ат-Давап. <i>Из сибирской жизни</i>	297
Без языка. <i>Рассказ</i>	336
Марусина заимка. <i>Очерки из жизни в далекой стороне</i>	469
Последний луч	532
Огоньки	542

Короленко В. Г.

К 68 Повести и рассказы.—М.: Худож. лит., 1986.—
543 с. (Классики и современники. Рус. классич.
лит.).

В сборник повестей и рассказов самобытного русского писателя В. Г. Короленко (1853—1921) вошли наиболее известные его произведения: «Слепой музыкант», «В дурном обществе», «Без языка» и др. и — несколько рассказов из серии «Сибирских очерков».

К $\frac{4702010100-183}{028(01)-86}$ 11-86

ББК 84Р1

КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННОКИ

Русская классическая литература

ВЛАДИМИР ГАЛАКТИОНОВИЧ КОРОЛЕНКО

Повести и рассказы

Редактор В. Фадеева

Художественный редактор А. Моисеев

Технические редакторы

Л. Вецкувене, М. Плешанова

Корректоры

И. Ломанова, О. Журавлева

ИБ № 4468

Сдано в набор 11.07.85. Подписано а печать 27.01.86. Формат 84×108^{1/16}. Бумага тип. № 2. Гарнитура «Обыкновенная новизна». Печать высокая. Усл. печ. л. 28,56. Усл. кр.-отт. 29,19. Уч.-изд. л. 30,15. Тираж 1 400 000 экз. (4-й завод 700 001—900 000 экз.) Изд. № 1-2201. Заказ № 1414. Цена 2 р. 50 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли, 113054, Москва, Вавочная, 28



2р. 50к.



Русская классическая литература



В.Г.КОРОТЕНКО ПОБЕДИ И РАССКАЗЫ

СН